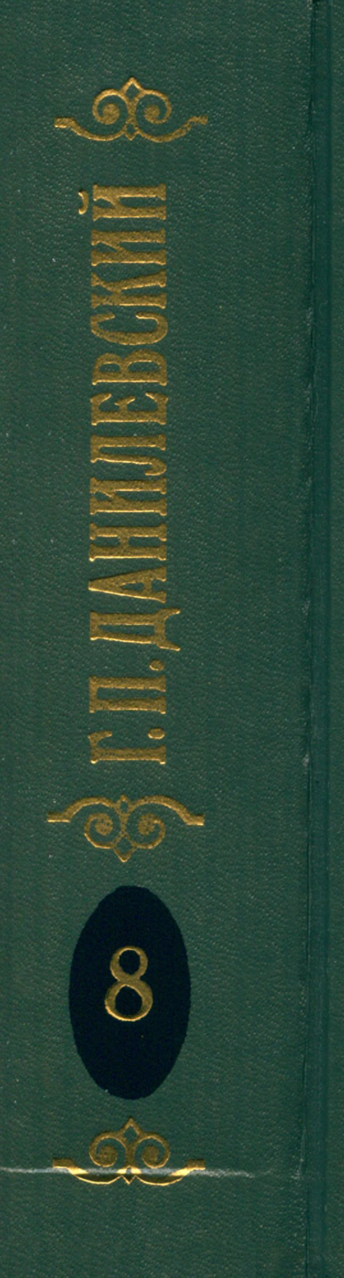


Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

8

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Черный год
Слобожане



Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Черный год
Слобожане

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти
томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том восьмой



МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.
Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 8. — М.: ТЕРРА, 1995. — 640 с.

ISBN 5-85255-749-8 (т. 8)
ISBN 5-85255-702-1

В настоящий том собрания сочинений вошел один из крупных исторических романов писателя «Черный год» и малороссийские рассказы «Слобожане».

В романе «Черный год» писатель мастерски рисует московскую и петербургскую жизнь тех лет и сцены пугачевского бунта, изображенного правдиво и без всякой идеализации, самого Пугачева, который, объявив себя царем, пронесся по Заволжью потоком крови и пожаров.

Д $\frac{4702010100-053}{А30(03)-95}$ **Подписное**

ББК 84Р1

ISBN 5-85255-749-8 (т. 8)
ISBN 5-85255-702-1



Черный год

ПУГАЧЕВЩИНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗОРЕННЫЙ УЛЕЙ

Преданья русского семейства,
Да нравы нашей старины...

Пушкин

Черный год — что туча — не ждешь, набежит!..

Народная поговорка

ОТ АВТОРА

Несколько лет назад я случайно узнал, что в одном старом доме в Москве, в переулке у Чистых прудов, хранится много любопытных бумаг о двенадцатом годе.

При помощи местных рекомендаций мне удалось, проездом через Москву, побывать у владелицы названного дома, вдовы сенатского секретаря NN. Деревянный, в два этажа, обшитый потемневшим тесом, с покосившимися окнами и фронтонами, этот дом был огорожен с переулка высоким забором и окружен обширным старинным садом. Деревянные желтые львы с открытыми пастями стояли на его запертых воротах. Пройдя в калитку, я был введен в стеклянные сени, оттуда в большую, с зеркалами в бронзовых рамах и с фамильными портретами залу и через коридор, загроможден-

ный шкафами, перинами и другой рухлядью, в отдаленную комнату хозяйки. Я увидел перед собой худенькую, лет под семьдесят, но еще бодрую старушку в черном шерстяном капоте и в белом, с оборками, чепце. Она приняла меня, сидя на кровати, покрытой зеленым шелковым, стеганным на вате одеялом. С полдюжины мосек бросились на меня с лаем.

Предупрежденная о цели моего заезда, владелица ласково приветствовала меня, усадила против себя и, потирая в руках серебряную табакерку, сказала: «Знаю, батюшка, знаю — ты насчет нашествия двенадцатого года... Ох, старые мои годы! И что́ тебе рассказать о том времени? Оно, точно, не токмо французов и ихне́го Бонапарта я видела тут своими глазами. Только что́ же сказать тебе? Памятью совсем я ослабла... Немало у меня всяких бумаг в комодах, баулах и по шкафам; не знаю, для чего покойный муж копил. А без него трудно решиться, да вряд ли и что́ путное найдется. Больше почитай служебные; он от французов много спас; нужное сдал, кое-что оставил. Разве вот что, — подумав, заключила старушка, — внуки давно все какого-то вводного листа искали, а намедни из Горок выписала вон этот сундук: кажись, тут тоже были какие-то бумаги, да где мне искать? Я и печатное плохо уже разбираю. Не поможешь ли разве ты?»

Сундук открыли. Он был полон всякой всячиной — мужскими и женскими старинными платьями конца XVIII и начала XIX века, париками, башмаками, обрезками цветных сукон и холста, связками музыкальных нот и счетных хозяйственных тетрадей, ревизских сказок и других частных документов и писем. Просматривая эти бумаги, я между прочим предлагал хозяйке вопросы о старине. Она оказалась очень словоохотливой и передала мне несколько не лишенных любопытства подробностей о нашествии Наполеона, о пожаре Москвы и о бедствиях пленных. Желанного листа в сундуке, однако, не оказалось. Я стал откланиваться. «Да ты, родной, не стесняйся, — сказала, отпуская меня, ста-

рушка, — заезжай на свободе еще; просмотришь и другие мои спряты и укладки; может, пособишь мне найти и тот лист! Ой, трудно нам без него, трудно; заклюют внуков лиходеи». Я обещал еще наведаться к старухе и сдержал слово. Ящики с бумагами во второй мой заезд для удобства их просмотра переносили мне в соседнюю с хозяйской, особую комнату, окнами в сад. Здесь было светло и особенно приветливо. Французские и английские гравюры XVIII века украшали стены. Над письменным, с инкрустацией, бюро висел потускневший портрет пожилой, но еще красивой голубоглазой женщины, в монашеском одеянии, с четками в руках. На канапе лежала искусно вышитая шелками и бисером подушка. На полукруглом отделанном бронзой комоде стояло овальное зеркало в фарфоровой раме из бледно-розовых, с зеленью, цветов. В комнате было жарко. Я открыл окно в сад, из которого повеяло запахом цветущих роз и лип. Усевшись в кресло, я принялся за разборку принесенных бумаг. Хозяйка дома, не желая мне мешать, не покидала своей комнаты. Прислуга ходила мимо моей притворенной двери не иначе, как на цыпочках. Мосек куда-то заперли.

Рассмотрев принесенные бумаги, я принялся за последнюю связку, вынутую из ящика какого-то платяного шкафа. Здесь между планами, тщетно отыскивая вводный лист, я нашел обернутую в обрезок желтого атласа, объемистую, кое-где обгрызенную мышами тетрадь синей плотной бумаги, с золотым обрезом, исписанную по-французски мелким, но четким, очевидно женским, почерком конца прошлого века. На обрывке заглавной полуистлевшей страницы была надпись: «A ma postérité», — а ниже другим, позднейшим почерком было приписано карандашом по-русски: «Советы и поучения потомкам покойной благодетельницы, Марьи Родионовны Дугановой. Жития ее было шестьдесят лет, дни треволненные, а кончина тихая и праведная, в саратовской женской пустыни, сего 2 февраля, 1809 года». Предисловие к этой тетради было в двух списках. К французскому ори-

гиналу кто-то приложил на особом почтовом листе русский перевод.

Вот это предисловие:

«Мои внуки и правнуки и все те, кому попадутся эти страницы! Давно я собиралась изложить, в поучение и на память вам, виденное мною лично и слышанное в жизни от других. Я бралась за перо, приводила в порядок свои мысли и пыталась набрасывать нить необычайных, претерпенных мною событий. Воля судьбы, неведомым путем ведущая смертных, всякий раз устраивала все это, против моей воли, иначе. Я оставляла начатое, разрывала или жгла исписанные листы.

Слушая устные мои рассказы, примечательные и почтенные люди старого, забытого ныне времени — мыслители, сановники и светские остроумцы, — говорили обо мне: «Как жаль! Эта милая Дуганова так много испытала на своем веку, видела, например, лично Пугачева и так занятно, случается, все рассказывает — а не ведет своих мемуаров».

Сердце женщины, даже пожилой, друзья мои, не камень. Честь, оказанная мне столь уважаемыми людьми, сильно повлияла на мое самолюбие. А тут стали одолевать болезни и скука одинокой старости — предел человеческой жизни. Девять лет назад, именно в 1800 г. — на границе двух веков, — в унылый, дождливый, осенний день, в тихой сельской обители, я впервые взялась за бумагу и перо, потом продолжала в городе, а ныне, когда судьбой привелось доживать век в иной, еще более уединенной и пустынной обители и я, ослабев от слез глазами, плохо вижу, даже в очках, — я диктую дополнения и нужные вставки крестнице, дочери моей приятельницы, непоседе Фимочке. Ей семнадцать, мне вскоре шестьдесят лет, но память моя еще не ослабела, и я, грешная, люблю, среди молитв и приготовлений к недальней кончине, переноситься мыслями в прошлое. О, это прошлое! О, золотые, недолгие годы молодости, улетевшего счастья!

Мои дорогие внучки и правнучки! К вам в эти часы взываю в особенности. Ваше сердце мягче, думы отзывчивее.

Склонение к близкой могиле сильнее всего понудило вашу бабку и прабабку оглянуться на свое прожитое и без утайки, как перед вековечным Судией, передать вам, сходя в эту могилу, исповедь о своей жизни, о ее вначале тихих и светлых радостях и о грозных потом испытаниях, когда над нами пронесся страшный, кровавый метеор, чуть не пресекший бедной, давно истерзанной жизни.

Кончу ли, нет ли свои записки, прочтите, мои дорогие, этот рассказ о нашем *черном годе*, эту семейную драму, среди которой я нежданно когда-то была унесена по иному, гибельному руслу появлением беспощадного чудовища, алчного тигра, внезапно вставшего перед нами. Вы увидите, что я, передавая бумаге эти отрывочные заметки и признания о ваших дедах и прадедах, старалась об одном — быть правдивой, а иногда, как может вам показаться, даже в ущерб себе и чересчур откровенной...»

Занятый в то время другой эпохой, я не обратил было должного внимания на эту находку. Стряхнув с тетради пыль, я прочел сперва ее предисловие, а потом и всю рукопись. Безыскусственный рассказ Дугановой об испытанном ею семейном горе и других треволнениях невольно перенес меня в далекие семидесятые годы прошлого столетия, ознаменованные рядом поистине тяжелых общественных бедствий.

Солнце, ярко светившее в комнату через верхи слабых лип, давно спряталось за угол дома. В окно повеяло прохладой вечера. Стали надвигаться сумерки. Раздался звон к вечерне. Я продолжал перелистывать тетрадь. Владелица дома присылала мне варенья, потом фруктовых, собственного изделия, водянок; все это осталось нетронутым. «Барыня возвратились от вечерни и просит кушать чай», — послышалось наконец за дверью. «Сейчас, сейчас», — ответил я,

закрыв дочитанную рукопись. Я встал и оглянулся по комнате. Эта мебель, зеркало в фарфоровой раме, шитая шелком подушка и портрет монахини стали мне понятны. Я по стемневшему коридору возвратился в комнату старушки. «Что, батюшка, все еще не нашел моего листа?» — спросила NN. «Нет, не нашел...» «Что делать! — сказала она со вздохом. — А нам всем он так нужен...» — «Зато мне удалось вот что́ найти, — произнес я, указывая на завернутую в желтый атлас тетрадь. — Знаете ли вы это?» Глаза старухи при взгляде на этот атлас и на давно, очевидно, забытую тетрадь покрылись слезами. «Бог мой! Где ты это выкопал? — вскрикнула она, крестясь и разглядывая тетрадь. — Столько лет считала ее пропавшей, когда еще мы переехали из Горок... Знаю ли? Да ведь Фимочка, о коей тут говорится, — коли ты читал, это я сама... Половина этого мне и диктована!» — «Не позволите ли воспользоваться, списать это хотя бы для себя? — спросил я. — Не теперь, ну позднее. Тут немало любопытного, и все это притом, очевидно, рассказывалось для потомства, а уж сколько времени прошло; никому не будет неприятно, а многих, пожалуй, и займет!» — «Эх, батюшка, да что́ же тут занятного? — ответила старуха, завернув тетрадь в тот же атласный лоскут и засовывая ее под подушки, на кровать. — Во-первых, в те поры хотя все, положим, говорили так же просто, как и тепе́рь, но писали выспренно, подчас и витиевато — еще смеяться над нами будут, а во-вторых — тут одни домашние, никому не нужные и давно забытые россказни!» — «Но здесь не одни семейные события, здесь столько, между прочим, и вообще о том веке приведено!» Старуха покачала головой. «Все это, родной, давно и всем известно и переизвестно... А впрочем, коли уж хочешь, — заключила она, помолчав и как-то особенно глянув в сторону, — как помру, изволь — за твое внимание ко мне — бери... Я надеюсь, не осмеешь дорогой мне старины...» «Но от кого же я это получу?» — спросил я. «Душеприказчиком по мне будет здешней церкви, коли знаешь, священник: я ему беспременно

накажу, и он все тебе, если пожелаешь, отдаст». — «Позволите ли взять, как автограф, хотя приложенный к рукописи перевод предисловия?» — «Его, пожалуй, возьми». — «А кто эта монахиня на портрете в той комнате?» — «Благодетельница наша, моя крестная, Марья Родионовна Дуганова; здешний дом, много хороших вещей и все у нас как есть от нее...»

Прошло после того около года. Я снова навестил Москву, где знакомые старушки мне передали, что она умерла. Заехав к священнику ее приходской церкви, я от него узнал, что все бумаги покойной — как в сундуке, так и в шкафах, и баулах — вскоре после ее смерти сгорели вместе с ее домом на пожаре, истребившем чуть не половину переулка, где она жила.

В нижеследующем рассказе я постарался восстановить все то, что́ мог припомнить из записок Дугановой, — как о московских, так и о иных событиях за 115 лет назад.

I

Было лето 1772 года.

Марья Родионовна Дуганова, урожденная Камынина, за три года перед тем обвенчалась, по любви, с адъютантом московского главнокомандующего графа Салтыкова Глебом Андреевичем Дугановым.

Первую зиму после брака, в начале 1769 года, молодожены провели в Москве. Марье Родионовне тогда исполнилось девятнадцать лет. Несколько задумчивого, сосредоточенного нрава, она со всеми была приветлива и общительна. Все любовались ее статным ростом, грациозною походкой, тонкою талией и целыми волнами светло-пепельных волос, падавших на плечи.

Чувствительная сердцем, она до безумия любила умного, дельного и доброго мужа. Он также в ней души не чаял — дома не отходил от нее, а в гостях, на званых обедах, ве-

черинках и во время танцев не спускал с нее глаз. Да и как было не любоваться ею? Стройная, с светло-голубыми несколько близорукими глазами, она обвораживала всех своим обхождением, ласковою, умною речью и искусством одеваться к лицу. Парикмахеры сооружали из ее пышной шевелюры целые замки и фортеции. Знакомые трунили над Дугановым, говоря, что он ревнует жену чуть не к каждому, кто с нею заговорит. В избытке радостей, Марья Родионовна, разумеется, не обращала на эти толки никакого внимания.

Зима первого года после брака прошла для Дугановых в непрерывных развлечениях, выездах, вечерах. Веселье в ту пору в Москве било ключом. Воспитанная в небогатой семье служилых самарских дворян Камыниных, Марья Родионовна хотя от души веселилась в пышной и шумной Москве, куда перенесла ее судьба, но втайне с любовью вспоминала родную Самару, тихую, широкую Волгу и думала: «Выезжать, развлекаться надо, так принято... но когда бы уже скорее все это прошло!.. Поедем на юг, в Ракитное, к матери Глеба». Увеселения, само собою, вскоре кончились. Весной и летом 1771 года в Москве нежданно разыгралось страшное бедствие: чума и бунт черни, убившей архиепископа Амвросия. Дуганов успел до этих смут заблаговременно отправить жену, уже бывшую в тягости, в Малороссию, в изюмское поместье своей матери. Оттуда в начале весны того года Марья Родионовна известила его, что у них родился сын, Вася. Там она оправилась, окрепла на сельском покое и с началом весны опять расцвела благодаря советам и наблюдению опытного врача, которого ее свекровь вызывала к ее родам в Ракитное из Москвы. Чума в Москве прекратилась. Новый начальник Дуганова, князь Волконский, как и прежний главнокомандующий, также оценил и полюбил Глеба за его усердие к службе и обещал ему отпуск к семье. В мае 1772 года Глеба Андреевича стали ожидать в деревню.

В трех верстах от Ракитного, поместья его матери, было многолюдное село изюмских слободских казаков Кабанье. Через него в то время шла большая почтовая и торговая

харьковская дорога на Изюм и Славянск. Марья Родионовна часто в экипаже и верхом, одна или с племянницей свекрови, Нинéт Лады́женцевой, выезжала на этот путь в надежде увидеть пыль заветной тройки, услышать почтовый колокольчик и встретить там дорогого гостя. Нинет была некрасивая собой и уже немолодая, но умная и начитанная девушка. Худая, с длинною, как у осы, талией, она и нравом своим напоминала осу; любя спорить и противоречить, она, в сущности добрая, язвительно цеплялась за всякое возражение и носила между своими прозвание квакерки, чудачки и пуританки. Увезенная с детства богатыми родными в чужие края, она долго жила в Швейцарии, Англии и Голландии, откуда между другими причудами вывезла благоговение к простому народу — хранителю, по ее мнению, истинной нравственности и веры и смело ставила его в образец высшим классам. Когда она в споре на эту тему сердито опускала веки и, то краснея, то бледнея до синевы губ, сыпала возражениями, старуха Дуганова обыкновенно говорила: «Ну, завела, квакерка, проповедь! Открой, Нина, свои шторы, а то в комнате темно!» Ладыженцева, улыбаясь, поднимала глаза — и в комнате действительно становилось как бы светлее — так при общей ее некрасивости были ласковы и приветливы ее большие серые глаза.

Дни шли за днями. Глеба Андреевича не было. Коротая свои досуги, Мари с Нинет любила останавливаться у молодого рослого дуба при въезде в Каба́нье. Здесь они давали лошадям отдохнуть, а сами садились на землю или рвали целебные травы и цветы. Степи тогдашнего Харьковского наместничества были почти сплошною, вековечною целиной. Свекровь научила невестку собирать и сушить цветы. Целые ворохá сушеных зелий висели у нее в особой, пахучей светелке, куда допускали не всех, но где с некоторого времени невестка стала полною хозяйкой. Добрая ворчунья и хлопотунья свекровь, день-деньской суетясь по хозяйству и звеня связкою ключей у пояса, по вечерам, когда все собирались с работой к чайному столу, с доверчивою важностью пре-

подавала невестке заповедные способы лечения собранными травами, но настрого запретила ей самой ходить за недужными.

— Можешь, друг Марьюшка, — говорила она, — пользовать всякого, кого допускаю к себе в хоромы и кого сама тебе укажу; через это дашь помощь и мне. Но, Боже тебя упаси и помилуй, не вздумай сама посещать больных. Ты, ма шер Мари, неопытна и подчас прытка; из-под пяток твоих иногда чуть не искры сыплются, когда ходишь. А мало ли какие бывают больные из этого черного, бедного мужичья? Они, как поросята, неопрятны; надо умеючи. Берегись, Мари! Еще заразишься их болячками и вконец погубишь себя...

Однажды Мари пришлось особенно долго замедлиться на большой дороге. Она в то время выехала туда верхом одна. Нинет осталась дома дошивать гарусом по канве подушку, сюрприз Мари Глебу. Привязав коня к стволу знакомого дуба, у крайних дворов Кабаньего, Мари уселась на земле, в тени дерева, и задумалась.

Ее мысли были все о той же большой дороге. Ветви дуба тихонько шелестели над ее головой. Каждый листик, каждая световая, между ветвями, прогалина точно говорили ей: «Счастье! Счастье! Вот оно, смотри...» Она смотрела; но по дороге тянулись обозы, шли пешеходы — милого гостя не было видно. Из-за соседнего плетня к ней незаметно подошла старая казачка с ближнего хутора.

— Панночка, голубочка! — сказала она ей, низко кланяясь. — Вы собираете травы, Бог вам помоги, и, мы знаем, лечите ими бедный народ. Не прогневайтесь, зайдите; у нас в хате сколько времени гибнет, лежит без ног знакомый мужа, добрый человек.

— Кто, бабуся, твой муж и где живете?

— Осип Коровка; он вам рыбу с Дона не раз привозил. Вон наш хутор, у огородов.

— А кто этот знакомый твоего мужа?

— Бедный бурлак; помогал мужу, когда был на ногах, ездил с ним весной за рыбой, да захворал и с Пасхи лежит как пласт, а мужа дома нет.

— Что же у него?

— Были раны от болячки на груди и на лице, теперь на ногах... не ходит.

Мари вспомнились слова свекрови о заразе. Она испугалась, не решалась идти. Но мысль, что бедному рабочему человеку лишиться ног значило то же, что умереть с голоду, тронула ее. Она подумала, предложила казачке указать ее двор и поехала за нею. Казачка привязала лошадь Мари у забора, возле своего крыльца, и ввела гостью в чистую, прохладную глиняную горенку с завешенными от мух окнами. Мари взглянула вокруг себя и в первые мгновения, со света, ничего здесь не видела.

В просторной, с земляным полом избе, налево от входа, обозначилась белая, с красными и синими разводами, опрятная печь; рядом с нею — поставец с посудою и окованный железом, разрисованный сундук; в переднем углу — множество старинных темных образов с лампадками перед ними. Большинство казаков села Кабаньего придерживались, как все в окрестности знали, раскола. На скамье, под образами, лежало что-то бледное, прикрытое серым рваным зипуном. На Мари из-под зипуна устремились черные, блестящие, жалобно молившие глаза. Старуха приподняла оконную занавеску.

— Помоги, ласковая боярышня, Бог тебе поможет! — сказал сиповатым, глухим голосом и без украинского выговора больной, очевидно, не здешний человек.

Он с трудом приподнялся на скамье, свесил и стал развязывать обвернутые жалким тряпьем, исхудалые, костлявые ноги. С виду ему было лет тридцать.

— Как это? Где ты, голубчик, так заболел? — спросила Мари, подойдя к больному и с содроганием осматривая его глубокие, зияющие раны.

— Батрак-сирота, бедолага! — с безнадежным вздохом ответил больной, перебирая ветхие тряпицы на изможденных голенях. — Что́ такому? Мучиться в поте лица и в неволе добывать хлеб святой. Волка, барышня, ноги кормят.

«Бродяга!» — невольно подумала Мари́.

— Как тебя звать? — спросила она.

— Иванов... по имени Емельян...

— Здешний?

— Нет, сударынька, с Дону... казак.

— Что же, случайно сюда зашел?

— Где только не хожено, не езжено, какого только землепроходного ветра не пробовано! Да вот притулился у доброго человека, захворал, и аки псу, видно, приходится тут задаром пропадать. Спаси, будь ласкова, трудно так-то. Лежач камень мохом обрастает, стояча вода и та киснет...

— Ну, Иванов, — сказала Мари, подумав, — хотя и трудно, а постараюсь тебе, сколько могу, пособить. Все твоей хозяйке передам...

Выйдя из избы, она приказала казачке, промыв больному раны, обвязать их чистыми холщовыми лоскутьями и обещала доставить лекарство. На другой день в Кабанье съездила Нинет; она по просьбе Мари завезла казачке трав, объяснила ей, как их приготовлять и прикладывать, и сказала, что вскоре наведается опять. Через неделю Мари снова вспомнила о больном, и Нинет, вторично съездив в Кабанье, отвезла туда украдкой новый запас трав и узнала, что больному стало заметно легче.

II

Из Москвы между тем пришло письмо Глеба. Он извещал жену, что его путь замедлился вследствие его поездки куда-то с главнокомандующим и что он будет в Ракитное не ближе двух недель. Как прошли эти две недели, Мари

уже и не помнила. Она не могла ничем заняться, как тень бродила из угла в угол по дому и в саду, ночи проводила без сна и с нетерпением считала не только дни, но часы и минуты. В день, когда, по ее расчету, окончательно должен был в Ракитное приехать Глеб, она с Нинет, чуть не на заре, когда в доме все еще спали, выехала в коляске на большую дорогу и, не утерпев, велела кучеру проехать далее, за Кабанье. Коляска остановилась на возвышенном пригорке. Было чудное, теплое, душистое утро. С пригорка верст на пять и более была видна лента той же харьковской дороги с уходящими в даль зелеными холмами и перелесками, но и там не было видно заветной мчащейся тройки. Слезы душили Мари. Видя ее расстройство, Нинет уговорила ее ехать обратно. «Ах, ведь нельзя же! — увещевала она Мари по пути. — И какая ты, право, странная! Ну, он не приехал утром, может приехать после обеда, к вечеру... Успокойся!» А уж до покоя ли тут? Мари не отрывала платка от глаз, не слышала того, что ей говорила подруга. Вдруг коляска остановилась. Путницы оглянулись. Они были среди улицы Кабаньего.

У переднего колеса экипажа, почему-то пригнувшись к нему, стоял в белой посконной рубахе, в синих набойчатых шароварах и в серой дерюге поверх широких исхудалых плеч среднего роста босой человек с черною бородой. Мари по глазам узнала в нем недавнего своего пациента, Иванова. Его ноги выше ступней были еще обвязаны, но он на них держался уже свободно, слегка только опираясь на суковатую палку.

— Что это? Почему стали? — спросила кучера Мари.

— Постромку левая заступила, я и кликнул его помочь, — ответил кучер, указывая на мужика.

Мужик кланялся, держа шапку в руке.

— Спасибо вам, сударыньки, — сказал он, — за то, что помогли мне, бедному, Бог вам пособит! Только вот лихо, — прибавил он, шаря за пазухой, — сбираюсь в дорогу, а отблагодарствовать вам нечем...

— Полно, полно, — ответила, вспыхнув, Нинет, — выздоравливай, Господь с тобой... Ничего нам не нужно... Счастливого пути...

— Не гоже, сударыня, не гоже, — сказал мужик, протягивая Нинет что-то в грубой, заскорузлой руке, — не обессудь — из Почаевской лавры... сам принес!

Он подал медный, на простой плетеной тесемке, лаврский крестик. Крест был раскольничий. Нинет хотела его принять.

— Не бери, — сказала ей по-французски Мари.

— Почему же? — спросила ее на том же языке Нинет. — Это все твое отвращение к бедному простонародью? Как глупо!

— Да, наш пациент не внушает мне доверия, — ответила Мари, — с виду — ну, сущий разбойник; не желала бы я встретиться с ним в дороге, особенно ночью.

— Вот вздор какой, — ответила Нинет, — по виду он как все, и я его не боюсь.

Казак, очевидно, чутьем понял смысл разговора путниц. Шевельнув плечом, он исподлобья вдруг с такою глубокою ненавистью взглянул на них, что они невольно смутились.

— Из Почаева, ты говоришь? — спросила Нинет, желая загладить произведенное на него впечатление. — Ты был и в Польше?

Казак ответил не сразу. Он тяжело дышал.

— Ходил на богомолье, — проговорил он, переминаясь, — и где после того не был, а вот жив! Не своя воля, — без смерти не помрешь, — заключил он, — в могилу и в ту, видно, надо допроситься.

Нинет приняла от него крестик, надела его, и путницы поехали, рассуждая не без удовольствия, что все-таки вылечили бедного больного.

Вечером того же дня Мари заслышала из цветника звон колокольчика. Над вербами, за садом, у пруда, поднялась стая галок и ворон. Выше и выше вздымались крылатые

полчища, горластым карканьем приветствуя кого-то, подъезжавшего в облаках пыли из околицы. Мари замерла. Что́ с нею затем сталось, она уже и не помнила. Бросившись опрометью в дом, как буря она промчалась через ряд комнат, выскочила, уронив с себя косынку и шляпу, в переднюю и на крыльцо и через секунду, обезумев от восторга, повисла на груди подъехавшего мужа.

В Ракитном настали дни радостей и веселья. Дугановы непрерывно принимали родных и знакомых и ездили к ним. Тучи галок и ворон то и дело кружились над садом и двором, громким криком, точно торжественным «ура», встречая и провожая ракитинских гостей. Глеба расспрашивали о чуме, бывшей в Москве, о столичных новостях. Среди приемов, званых обедов и выездов Мари, разумеется, забыла поездки к заветному дубу, жену казака Коровки и их постояльца Иванова, которого ей привелось лечить вопреки предостережениям свекрови. Но как часто потом, при другом наставшем строе жизни, она вспоминала и этот дуб, и больного казака, и свое тогдашнее ничем не возмущаемое молодое счастье!

Свекровь от кого-то, однако, проведала-таки о лечебных экскурсиях Мари и Нинет. Спустя неделю после приезда сына она как-то, варя в саду варенье, сказала Мари при муже: «Ну, лакомка, казачий фершал, попробуй пенку — готовы ли ягоды?» Мари, не ожидавшая этого разоблачения, вспыхнула и, отведав варенья, объявила, что, по ее мнению, ягоды готовы. А старуха Дуганова, лукаво грозя и улыбаясь на ее растерянность, прибавила: «Впрочем, главный гофмедик на этот раз не ты, а вот она!» — и указала на Нинет.

Глеб Андреевич во время смут в Москве так устал, а в родной деревне ему было так привольно и хорошо, что написал к главнокомандующему в Москву, куда везти жену еще не решался, и выхлопотал себе у князя новый, более продолжительный отпуск. Он с Мари прогостил тогда у матери вплоть до половины октября.

Настала чудная украинская осень. Марье Родионовне долго были памятны эти тихие и сухие, то теплые, как в мае, то слегка прохладные, хотя и солнечные дни, с желтеющими садами и дубравами и летящими в светлом воздухе опустевших полей прядями белой паутины. Хлебные нивы были убраны. Крестьяне праздновали сватанья и свадьбы. Окрестные богатые помещики, — Шидловские, Донцы-Захаржевские и Квитки — охотились с нарядными егерями и бесчисленными сворами гончих и борзых собак в лесах гористого Донца. В дубовых и липовых трущобах раздавались звуки охотничьих рогов, а над скачущими всадниками плыли с звонкими криками стаи отлетающих за море гусей и журавлей. Мари также верхом выезжала на охоту. По вечерам усталые путники собирались у охотников-соседей. Подавался украинский пунш — душистая, с пряностями, вишневая варе́нуха. Молодежь под клавикорды устраивала танцы. Мари очень не хотелось покидать этого простора, этих степей и особенно сада с полчищами кружившихся над безлистыми уже деревьями галок и ворон: в каждой аллее и в каждом тайнике этого сада столько переживала она с Глебом счастливых мгновений, тихих бесед, надежд и ожиданий.

С начала октября Глеб стал думать о возвращении в Москву. Видя, что жена медлит со сборами, он начал ее торопить.

— Да куда же, помилуй, ты так спешишь от этих прелестей? — спросила его Мари, обжившись в Ракитном и со смущением видя, что вскоре надо ехать. — Здесь так еще хорошо.

— Разве ты забыла? — ответил муж. — Я же тебе говорил, что брат Алексей решил, наконец, начало этой зимы провести с нами в Москве. У него важное дело по жениному имению, и он, вероятно, приедет не один, а с женой. Более трех лет мы не виделись; надо все приготовить к их приему, а главное — кое-что переделать в доме, приспособить для них мезонин... Ведь они, разумеется, остановятся у нас.

Алексей Андреевич Дуганов был старший единокровный брат Глеба, от первого брака их отца. Четыре года назад он женился в Москве на круглой сироте, единственной дочери некогда богатого, но разоренного перед кончиной симбирского помещика, Серафиме Львовне Туровцовой, с которою Мари вместе воспитывалась с детства в самарском пансионе и была с тех пор очень дружна. По выходе из пансиона подруги на некоторое время расстались. Мари в то время уехала к женатому брату, служившему в одном из кавалерийских полков близ Самары, а Серафиму взяла к себе в Москву ее тетка, вдова генерал-аншефа Варвара Ивановна Туровцова, бывшая ее опекуншей. Варвара Ивановна терпеть не могла городской жизни и только на время поселилась в Москве, в собственном доме, с целью вывозить племянницу и в надежде, что красивая и обаятельная своею веселостью, находчивая и живая Серафима долго не засидится в невестах. Так и случилось. Выдав в 1768 году племянницу за Алексея Дуганова, Туровцова немедленно возвратилась в свое богатое поместье возле Казани. Да и понятно — это роскошное, снабженное всякими удобствами имение, по общим отзывам, было сущим раем, в котором старая Туровцова жила как властительная королева.

Вслед за помолвкой с Алексеем Андреевичем Дугановым Серафима известила подругу о данном ей слове и пригласила ее на свою свадьбу в Москву. Здесь-то Мари впервые увидела своего будущего суженого, младшего Дуганова, служившего в то время на границе Польши. После свадьбы Алексей и Серафима уехали из Москвы на постоянное жительство в наследственное саратовское имение Серафимы село Горки. Мари, проводив их, возвратилась к брату, в окрестности Самары.

Дальнейшая ее жизнь у брата омрачилась нежданным горем. Простудившись на одном из смотров, брат ее опасно заболел и вскоре после того умер. Мари была сражена этою смертью. Искренняя скорбь о преждевременной потере близкого родного, впрочем, смягчалась —

Мари из Москвы унесла с собой ободряющую, светлую мечту... В ее душу запал образ Глеба. Хотя, в бытность на свадьбе в Москве, Глеб не сделал ей ни малейшего намека на свои чувства, тайный голос шептал Мари, что она встретилась с ним недаром. Привлекательный и зрелый не по летам ум младшего Дуганова, его изящная наружность, красивые, большие, темно-карие глаза и робкое, невольное предпочтение, везде им оказываемое Мари, не покидали ее смущенных мыслей.

III

Единокровные братья, Алексей и Глеб Дугановы, представляли совершенную противоположность друг другу. Рожденный от первого брака родителя, Алексей был вылитый отец: огромного роста, сильно близорукий, с крупными руками и полными, красиво очерченными губами, тучный, но молодцеватый и небрежный в одежде и прическе русых вьющихся волос. Он ходил твердо, всею тяжелою ступней, лениво переваливаясь, говорил внушительным певучим басом, любил деревню, отдых и тихую беседу; в душевном волнении обыкновенно что-либо напевал, хотя сильно при этом фальшивил, а слыша что-нибудь смешное, заливался гомерическим хохотом и, обладая громадною физическою силою, был нежен и до смешного робок с женщинами. Рожденный от второго брака отца и всего двумя-тремя годами моложе Алексея, Глеб был портретом матери — так же, как и она, невысок ростом, худощав, черноволос и с женоподобными, маленькими руками и ногами. Вертлявый и подвижный с детства, Глеб ходил мягкою, легкою поступью, держался прямо и стройно, всегда щегольски, с иголочки одетый, и любил службу и вообще труд. Вспыльчивый от природы, он при чем-либо неприятном только бледнел; что же до женщин, то, хотя он и нравился им более брата, относился к ним обыкновенно сдержанно и сухо. Усмешка редко видне-

лась на его худощавом смуглом лице с тонкими нежными губами, из которых нижняя несколько, как бы презрительно, выдавалась вперед; а когда он улыбался, черты его лица оставались неподвижны и усмехались одни его большие ласковые черные глаза. За эту-то улыбку его глаз, добродушную и подчас детски кроткую, Мари втайне так и полюбила Глеба. Оба брата были питомцами кадетского корпуса, но по окончании учения разошлись по разным путям. Пробыв некоторое время, как и Глеб, в военной службе, Алексей вышел в отставку для помощи отцу в хозяйстве и поселился у него на юге, в имении второй жены отца, где старик Дуганов вскоре умер. Глеб по желанию матери не оставлял службы. Более, чем Алексей, снабженный средствами к жизни, Глеб вначале служил в гвардии и первый год службы ознаменовал шумными кутежами с товарищами, карточною и бильярдною игрой. Особенно он в то время увлекался неким родом азартной игры на бильярде — в три шара. Проводя дни и ночи напролет в излюбленных молодежью притонах бильярдных схваток, он однажды в каком-то загородном трактире проигрался до того, что решил поставить на кон свои часы. Между партиями шли обильные возлияния. Как ни был навеселе Глеб, он вдруг случайно заметил, что его противник, очевидно, подкупил маркера и плутовал, путая счеты. Глеб тут же торжественно уличил его и заявил о том другим посетителям. Вышла бурная сцена. Противник, весь красный от вина и смущения, вышел из себя и, думая напугать Глеба, вызвал его на дуэль, которая тут же и должна была состояться, во втором этаже высокого, деревянного, покосившегося трактира.

— Вы требуете драться? — сильно побледнев, спокойно ответил Глеб. — Извольте, с одним только условием — стрелять не иначе, как по жребию: кто вынет записку со словом «мишень», становится в открытое окно, а тот, у кого на записке окажется слово «пистолет», стреляет в него. Если пуля попадет в цель, раненый падает за окно — и дуэли конец; а если промах или вообще ожидающий выстрела ус-

тоит в окне, он ставит туда другого, берет сам пистолет и стреляет по команде!

Присутствовавшие восстали было против таких диких условий, но охмелевшие противники не уступили. Принесли чей-то пистолет, надписали бумажки, вынули жребий, и Глебу пришлось изображать мишень. Он сбросил мундир, бодро стал на подоконник спиной к раскрытому в сад окну и без смущения выдержал выстрел. Последовал промах. Глеб еще более побледнел, подошел к окончательно растерявшемуся противнику и в то время, когда тот, сняв кафтан, также готовился взобраться на окно, бросил в сторону пистолет и объявил, что он удовлетворен и стрелять более не будет. Эта история огласилась — молодежь прославляла Глеба; но вмешались власти, и Глеб должен был оставить Петербург и перейти в армию. Прослужив там около года, он получил перевод на должность адъютанта к главнокомандующему в Москву и после того вскоре, на свадьбе брата, встретил Мари.

Ближайшую зиму после свадьбы Алексей и Серафима провели в Москве. Переехав туда, Серафима стала настоятельно приглашать к себе и подругу; но Мари в то время только что лишилась брата и своим настроением, разумеется, далеко не подходила под пару жене Алексея Андреевича, страстно любившей светский блеск, выезды, театры и танцы. Нося траур по брату, Мари равнодушно читала письма приятельницы, которая расхваливала то балы благородного клуба, то театры с Дмитревским и Шушериным, то концерты с заезжими знаменитостями Компасси и Сакки. «Ах, дорогая Машенька, — писала подруге Серафима, — разве сомневаешься? Твое горе — горе и для меня! Но верь мне, никто тебя у нас не потревожит и не смутит; будешь жить по своему желанию, не только уединенно, а хоть полной отшельницей. У нас обширная квартира, в том же доме, у ma tante,

на Пятницкой, где мы праздновали свадьбу. Не откажи любящему другу в неотступной просьбе; навести меня, хоть на месяц, ну, на самое короткое время. Дай расцеловать твои чудные глазки и твои дивные, пышные локоны. Помнишь, как мы все убирали их в пансионе?» Сама черноглазая брюнетка, Серафима потому, вероятно, особенно так и ценила пышные белокурые волосы подруги.

Мари в слезах рассталась со вдовой брата и снова отправилась в Москву в надежде пробыть там не более недели. Судьба решила иначе.

В глубоком трауре, с белыми плерёзами, Мари сидела в особой комнате у Серафимы, раздумывая, что на днях — как бы ни просили ее остаться — она должна возвратиться в Самару. К ней вбежала Серафима, вся раскрасневшаяся, ликующая, и, схватив ее за руку, стала увлекать за собой.

— Что такое? — спросила та, побледнев.

— Иди, иди! — говорила Серафима, таща ее по комнатам. — Смотри, кто у нас.

В зале стоял приехавший из армии Глеб Дуганов. Он тут же, при Серафиме, сделал формальное предложение Мари. Залившись слезами, она молча упала на грудь Серафимы.

— Ты мне всегда была родная по сердцу, — сказала ей Серафима, — неужели откажешься быть моею сестрой?

Мари дала слово, но свадьбу до окончания траура они отложили. После сговора и обручения Мари уехала с Дугановыми в Горки, имение Серафимы. Полгода прошло в мучительных ожиданиях. Мари переписывалась с Глебом чуть не ежедневно, хотя почту в Горки из Саратова привозили не более раза в неделю, а иногда и того реже, и коротала время за клавесином. Она страстно любила произведения Баха и Генделя, заигрываясь ими иногда до рассвета.

Горки были расположены на правом, возвышенном берегу Волги. Вид от усадьбы на реку и ее противоположный, низменный берег был восхитительный. Вообще дикие и пустынные берега Волги в то время здесь, ниже Саратова, были уже достаточно населены.

Алексей Андреевич, от природы склонный к простой, деревенской жизни, усердно принялся за хозяйство. Отец Дугановых происходил из небогатых мелкопоместных дворян. Ракитное принадлежало его второй жене, матери Глеба. Алексей у нее провел свою молодость, помогая ей по хозяйству. Теперь, получив за женою большое и расстроенное имение, он с увлечением отдался сельской трудовой жизни и постоянно был то в поле, то на гумне, то при грузке барок хлебом и лесом. Серафима, видимо, тяготилась деревенскою скукой; Мари же со своими сердечными волнениями и тоскою по жениху мало ее развлекала.

Видя приятельницу в задумчивости и слезах у клавесина либо склоненною к окну, выходившему на Волгу, или где-нибудь в уединенной аллее сада, с книгой, которую та не читала, Серафима старалась утешить ее.

— Помилуй, Машенька, — говорила она, — не плачь, ободрись; подумай, ведь ты — подожди только — будешь много счастливее меня.

— Чем же? — спрашивала та с удивлением.

— Как чем? Твой жених переводится адъютантом в Москву. Ты станешь жить в свете, с людьми; а здесь, в этом глухом медвежьем углу, разве люди? Только и слышно — бревна, барки да кули. Это не жизнь, а ссылка... Господи! Хоть бы Алексею выпало тоже какое-либо место, хоть бы провалилось это имение! — прибавляла она, принимаясь плакать. — Но нет, Алексей не хочет и слышать о службе; говорит: надо прежде устроить, спасти отцовское наследие, тогда думать и об ином. А когда же я опять увижу театр? Дают оперу *Альце́сту*, и ее все так хвалят... А балет *Диана и Эндимион*? В нем танцует Анджолини! Открываются маскарады Локате́лли... И все это, все не для меня!

Глеб явился. В начале осени 1769 года отпраздновали его свадьбу с Мари. Он навестил с нею Ракитное, принял от счастливой, растроганной матери благословение и поселился с женою в Москве. Старая Дуга́нова была в таком восторге от красивой, приводившей всех в умиление Мари, что в знак особого своего благоволения к сыну тут же укрепила за ним свой московский весьма изрядный и поместительный дом на Чистых прудах. Два года незаметно пролетели для Глеба и Мари в полном, ничем не возмущаемом счастье.

Одно кидалось некоторым в глаза: Глеб не выносил, когда его жену кто-либо хвалил за миловидность и красоту. «Красива? Вот как! — говорил он, бледнея. — Уж извините... Не ожидал! Это лесть, и вы лучше обратили бы ваши похвалы на другие предметы!» Одного юного светского селадона, расточавшего мадригалы всем хорошеньким женщинам, в том числе и его жене, он отвел в сторону при разъезде с какого-то бала и сказал ему: «Вы ухаживаете за чужими женами? Отлично! Учитесь же заранее владеть шпагой или пистолетом... Пригодится!..»

Серафима радовалась за Мари и чистосердечно высказывала ей невольную зависть. «Ты молода, как и я, — писала ей она из Горок, — но ты веселишься, а я прямо в заточении. У нас обеих — добрые и любящие мужья; но твой служит в столице, на виду и, как слышно, у всех в лестном почете, а мой — в этой вечной возне с мужиками, ссыпщиками и барочниками, скоро обрастет, кажется, мохом. И что́ из того, что у нас земель, лесов и всяких угодий чуть не с немецкое герцогство? Дела наши так плохи. Ах, Маша, за что́ такая напасть? И чем бы я, кажется, ни пожертвовала, чтобы с каким-нибудь бродячим попутным Эолом или на ковре-самолете, хоть на недельку, перелететь к тебе, взглянуть на вас, побывать в театре — у Шереметевых — или на балу, в дворянском клубе, забывшись, пронестись в экосезе или котильоне! Голова кружится при одной этой мысли. Недосягаемые радости! Пожалей меня, Ма-

шенька! И хотела бы в рай, да грехи не пускают. У тетки, в девичестве моем, собирался все важный, но сухой народ — старики играли в ломбер и квинтич, молодые резались в фаро и в контру, а на мою страсть к драмам, операм и балам никто тогда и внимания не обращал».

В начале второго года замужества Серафимы Бог дал ей дочь, через год сына, а еще через год и другого. Радуясь детям, она не удерживалась от горьких жалоб, что труды мужа нисколько не улучшают их дел и хозяйства. Ряд неурожаев ввел обитателей Горок в чрезмерные убытки; повальные падежи уничтожили рабочий скот у них и у крестьян. Долги росли, а с ними куча новых неприятностей и хлопот.

«Ко всему этому в Белокаменной, по слухам, чума, — писала золовке Серафима, — а дома — твой бедный друг, что ни год, как и теперь опять, в интересном положении... Нечего сказать, интересно! Дорогая Маша! Посуди о моем горе-злосчастье и реши, выносимо ли все это для человеческой души?»

Чума наконец прекратилась, Мари снова переехала с Глебом на жительство в Москву, а к концу осени 1772 года туда приехали и давно жданные гости из Горок, — как выразился Алексей Андреевич, «людей посмотреть и себя показать».

Памятна навсегда Глебу и Мари осталась эта роковая зима.

IV

Перед отъездом из Ракитного Мари еще два раза привелось увидеть вылеченного ею и Нинет казака Иванова. Однажды — случилось это в их усадьбе — Мари услышала необычный шум и говор возле флигеля, где жил приказчик и куда в ту пору, как она знала, заехал по какому-то делу становой комиссар. Выглянув на шум в окно, Мари увидела

на крыльце флигеля красноносую и толстую фигуру комиссара, а перед ним двух мужиков. Комиссар, размахивая руками, что-то им с сердцем выговаривал, а они, без шапок, низко ему кланялись, но в чем-то, по-видимому, упорно ему не уступали. «Попомню вам, треклятые, все перечту!» — крикнул комиссар, уходя в дверь флигеля. Мужики, не надевая шапок, медленно прошли мимо окон дома в ворота. Один из них, пожилой и плотный, шел молча, в раздумье опустив длинноусую, коротко стриженную голову на грудь. Другой, моложе и подвижный, порывисто продолжая что-то доказывать, так и метался на ходу и в горячности бил себя в грудь рукою. Мари в последнем узнала постояльца Коровки, Иванова.

— Зачем это мужики приходили к комиссару? — спросила она приказчика, когда тот вечером возвращался с обычного приказа от старой барыни.

— Все насчет соли, — ответил неохотно приказчик, — Бог их разберет.

— Да что же это за дело?

— Казак Коровка, — проговорил, озираясь, приказчик, — привез соль из Крыма и нам вчера часть свалил; я расплачивался, а комиссар на них и напал... Ваше, говорит, Кабанье не уважает начальства; все вы раскольники и вор на воре, да и ты, говорит Коровке, давно у меня в подозрении, всяких беглых передерживаешь. «Каких беглых?» — спрашивает Коровка. «А этот твой царский крестник!»

— Это он о ком? — спросила Мари.

— Да о постояльце Коровки, Иванове, что ли; он выдавал себя за крестника, что ли, Петра Первого. Комиссар потребовал полвоза соли, а те уперлись, особенно ездивший с ними за солью этот царский крестник. Ну, известное дело, власть; комиссар так осерчал, что чуть их не побил.

Мари покачала на это головой и хотела передать про этот случай свекрови, но забыла.

Недели через две после того в Кабаньем была большая ярмарка. Сюда, по пути в Белгород и Харьков, из Крыма,

с Дона и Кубани пригоняли в то время много рогатого скота и целые табуны диких, вскормленных на степной воле коней. Глеб, большой охотник до лошадей, уговорил всех прокатиться на ярмарку. Он, Мари и приказчик поехали в коляске, а старуха Дуганова с Нинет — на любимой своей широкобокой, спокойной долгуше.

Пестрая ярмарочная толпа с загорелыми и оборванными цыганами, узкоглазыми ногайцами и нарядными черкесами в разноцветных кафтанах, с кинжалами у пояса очень заняла Мари. Холщовые палатки, рогожные навесы и ряды возов с разною рухлядью покрывали площадь близ церкви. Скотская и конная ярмарки расположились невдали от знакомого Мари одинокого дуба, у окраины села. Цыгане и татары, продавая коней, вспрыгивали на них и били их босыми ногами по бокам, скача по полю. Старуха Дуганова, Мари и Нинет накупили разных разностей, шитых яркими узорами полотенец и платков, дукатов, шерстяных плахт и кораллов, и уже собирались обратно домой. Глеб тем временем сторговал и купил несколько лошадей, но еще медлил, расхаживая по конскому торгу. Он высмотрел и уже решил было купить еще одного коня. Рыжий, рослый и сухой, с тонкими ногами и широкою грудью, кабардинский жеребец приковал к себе внимание Глеба. Жеребца продавал какой-то приземистый, криволапый ногаец с Молочных Вод. Глеб подошел к нему и уже взялся было за кошелек. Но продавец отрицательно покачал головою. Дуганова предупредил комиссар, отсыпавший перед тем ногайцу за коня полсотни карбованцев.

— Ах, Мари, знаешь ли, — сказал Глеб жене, подходя к лавкам и садясь в коляску, — поедем, я покажу тебе одну прелесть. Меня предупредили — я ее утерял; но что это за диво! С виду неказист, а уверяют, представь, скачет в сутки, без корму и воды, по сто верст. Вот бы для охоты...

Дугановы вернулись к конской ярмарке. Уже вечерело. Торг кончался. Глеб из коляски указал Мари на оседланного

старым потертым седлом кровного скакуна, которого ногаец держал перед комиссаром под уздцы. Цыгане, крупные и мелкие барышники и куча мужиков, окружив покупщика и продавца, следили за исходом состоявшейся сделки. Между ними Мари узнала казака Иванова. Последний подошел к коляске.

— Не упускайте, ваше благородие, перебейте коня, — сказал Глебу Иванов. — Жалко — ваша сударыня мне помогла, такая добрая...

— Кто это? — спросил жену по-французски Глеб.

— После скажу, — ответила ему, смутясь, Мари.

— Будешь, бачка, помнить, будешь! Птица, не конь! — твердил между тем ногаец, глядя то на Глеба, то на комиссара и пересыпая похвалы коню непонятными, гортанными возгласами.

— Так и объезженный? — спросил комиссар, берясь за кошелек. — Не врешь?

— Убей Бог, князь! Из руки ест, не конь, малое дитя! — клялся, бросая шапку оземь, ногаец.

— А дай-ка я испробую... Были когда-то сами в гусарах...

— Садись, князь, садись.

Ногаец, поглаживая и холя фыркавшего жеребца, придержал его. Комиссар, подтянувшись и подбодрясь, подошел к коню, ухватился за его гриву, вложил ногу в стремя и навалился на седло. Жеребец шарахнулся под необычною тяжестью, взвился на дыбы, и всадник с размаху шлепнулся по другой бок его оземь. Толпа не выдержала и громко расхохоталась. В числе смеявшихся комиссару бросилось в глаза лицо постояльца Коровки.

— А, царский крестник! И ты тут? — сказал, прихрамывая и со злобой озираясь, комиссар. — Привяжи-ка своего коня, — объявил он ногайцу, — а я вот с ним поговорю.

Ногаец отвел жеребца в сторону, привязал его к дубу и, чуя грозу, спрятался за толпой.

— Теперь очередь за тобой, — обратился комиссар к Иванову. — Ну-ка, бродяга, подойди, сказывай, какие цари тебя крестили?

— Напрасно обижаете бедного человека, — ответил с поклоном Иванов, не двигаясь с места и надевая тем временем в рукава зипун, бывший на нем внакидку. — Известно, чем мы тебе не любы стали...

— Что-о? — произнес, напирая на него, комиссар. — О чем намекаешь? Говори!

— Соли тебе не дали, вот что́! — громко проговорил побелевшими губами казак. — Ваше благородие, господин Дуганов! Вы здешний, хотя не живете здесь, помещик... Защитите...

Комиссар побагровел и несколько мгновений не мог выговорить ни слова.

— Слышали? — спросил он, не глядя на Глеба и оборачиваясь к толпе.

Все молчали.

— Сотские, сторожа! Вяжи его! — крикнул комиссар.

Народ дрогнул, но не двинулся. Смелый казак спокойно и свободно стоял против растерявшегося комиссара; только угол его виска, с небольшим шрамом у левого глаза, судорожно вздрагивал.

— Да что же вы, разбойники, стои́те? — еще громче крикнул комиссар. — Оскорбление власти и чина! Кто мне воспретит? Крути ему руки, бей его, в мою голову!

Из толпы выдвинулось несколько человек, за ними другие. Некоторые уже коснулись было казака. Он быстро нагнулся, отскочил, как кошка, и, как бы ища чего-то на земле, присел на корточки. Теперь, казалось, легко было окружить его и связать. Глебу и Мари из коляски было видно, как действительно передние из народа навалились на него и смяли. «Пропал бедный», — мыслила Мари. «Задаст ему, однако, комиссар», — подумал Глеб. И вдруг казак высвободился из толпы. Его зипун был разорван, шапка свалилась с головы. В руках у него что-то сверкнуло... Выхватив нож

из-за голенища, он взмахнул им направо и налево, расчистил перед собою дорогу и бросился в сторону.

Не успели нападавшие на него опомниться, он подбежал к дубу, обрубил повод купленного комиссаром коня, вспрыгнул на него и, продолжая размахивать ножом, без шапки, со всклоченными волосами, поскакал в поле, к ближнему лесу.

— Лови, держи его! Сто карбованцев тому, кто поймает! — кричал комиссар, спеша за толпою, гнавшеюся за беглецом.

В чаянии заработка поскакали в поле и некоторые всадники из ногайцев и цыган. Но было уже поздно. Окрестность стемнела. Рыжего жеребца не догнали; беглец бесследно исчез. Наутро в Кабаньем не нашли и казака Коровки. Он также куда-то скрылся.

— Да кто ваш постоялец? — допрашивали власти его жену.

— А Бог его знает! Звался казак Емельян Иванов, с Дону, возил с мужем соль, а куда делся, разве я знаю?

Приехав в Москву, Серафима с мужем, по приглашению Глеба и Мари, охотно поселились у них в мезонине, где Глебом очень уютно и мило было отделано для них несколько просторных комнат. «Наш дорогой домашний улей им понравился! — говорил Глеб жене о гостях. — Какие они оба милые!»

Мари, впрочем, не узнала Серафимы — так последняя изменилась за время их разлуки, сильно как-то опустилась, похудела и, лишившись своей прежней оживленности и подвижности, даже как будто постарела. Мари удивлялась, что Серафима постоянно сидела у окон, как чистая провинциалка, никогда не видевшая столицы, глядя на улицу, на движение экипажей и пешеходов и бесконечную городскую толкотню. Отставший ли от своенравной моды наряд так изменил Серафиму, или она одичала от долгой разлуки с обществом

равных ей по рождению и воспитанию людей, только она, с первой же встречи с золовкой, показалась ей до того жалкою и убитою, что Мари, глядя на нее, едва удерживалась от слез. На ее замечания об этом мужу он, целуя ее, только улыбался.

— Пустое, — говорил он, — ты ее знаешь; она добрая, но у нее все легко и не глубоко. Это дитя минуты. Снова повеет на нее ветерок наших увеселений, и она оправится, оживет. Вот их финансы — другое дело; тем уже вряд ли когда-нибудь поправиться — совсем испорчены... Кстати, в Головинском театре идут *Бригадир* и балет *Китайцы в Европе*, у Титовых — комедия *Indiscret*, у Брамбиллы — забавные арлекинады. Похлопочи везде записаться вперед и достать места. У Мамоновых на той неделе бал; Вязмитиновы о том же извещают. Увидишь, излечишь гостью так, что и не спохватишься... Одно неладно, у них вообще на Волге не совсем спокойно.

— Что же такое? — спросила Мари.

— Ничего пока серьезного. Но князь получил известия и держит их в секрете... На Яике взбунтовались казаки, убили начальника-генерала, и туда послали войско и нового командира. Несомненно, будут экзекуции, но что скверно — пущено много нехороших и злых толков... Среди волжской слепой черни нашелся самозванец, какой-то казак Богомолов. Он объявил себя императором, Петром Третьим, и, хотя его поймали в Царицине, наказали и сослали, но вообще, повторяю, на Волге, в их краях, очень неспокойно и ожидаются новые смуты.

Алексей уже знал от брата об этих вестях, но не обратил на них особенного внимания. Его сильно заботило устройство денежных дел по Горкам, из-за которых он с женою, собственно, и приехал в Москву. Для спасения Горок от продажи за долги с публичных торгов братья стали искать под залог этого имения большой суммы денег. Сперва они думали прибегнуть к займу в так называвшемся тогдашнем «двадцатилетнем банке», где дол-

ги взносами погашались в двадцать лет, но потом решили обратиться к частному кредиту. С утра до вечера у них внизу и наверху появлялись разного рода комиссионеры и поверенные столичных капиталистов, банкиров и купцов. Алексей и Глеб запирались с ними по часам, судили-рядили, но, ввиду предлагаемых тяжелых условий, как примечала Мари, долгое время теряли всякую надежду устроить не только выгодный, а хотя бы мало-мальски подходящий и сносный заем. Крутые в ту пору, после недавней чумы, были времена для бар, навещавших Москву. Алексей, еще пропитанный запахом деревни и ее забот, почти не сходил с мезонина, проверял деревенские счета, писал приказания управляющему, составлял и сам рисовал планы построек, клеил детям из картона игрушки и делал модель какого-то нового, особенно удобного улья для пчел. «Делаю улей, ищу образцы, — сказал как-то при этом Алексей Глебу и Мари, — а что лучше? Взять бы пример прямо с вашего дома: уж вот настоящий, благодатный улей — все заняты, все счастливы и полны довольством».

V

Поразмыслив, Мари, с согласия Глеба, решила заняться между тем костюмом Серафимы. Она и ее муж приехали, как говорится, без гроша. Мари из щедрого подарка свекрови на зубок Васи (старой объемистой братины, полной червонцев) отделила значительную долю и предложила свои услуги дорогой гостье. Серафима обрадовалась этому до слез. Мари с нею объехала Гостиный двор и лавки Кузнецкого моста, накупила разных восхитительных материй и отделки к ним и отправилась в швейный магазин знаменитой французской мастерицы Коллéн. И когда, спустя неделю, к Дугановым на Чистые пруды, с кучею коробок и баулов, явилась сама седовласая, румяная и с усиками мадам Коллен,

когда ее провели на вышку к Серафиме и оттуда, через час, она торжественно сошла со своею заказчицей — Мари не узнала Серафимы.

Темно-пунцовое, перувьéневое, шелковое платье с бусовыми прошвами так шло к ее черным волосам и черным глазам, а крохотные башмачки на высоких выгибных каблуках, с розовыми чулками, так мило выказывали красоту ее стройных, маленьких ножек, что Мари бросилась целовать ее от души, а гордая своим успехом мадам Коллен даже прослезилась. После платьев Мари занялась прической Серафимы. Небрежно, без пудры, по-деревенски зачесанные на гребень косы заменились модною куафюрой. Мосье Шарль с Кузнецкого моста в первый же выезд Серафимы на вечер соорудил из ее волос и цветов как бы корзину или роскошный букет, среди которого на тонких стеблях качались крохотные колибри и мотыльки.

Мари с Серафимой поехала к Вязмитиновым, Архаровым, Смирновым и к другим знакомым. Везде Серафиму принимали радушно. Не прошло и месяца, она, вновь освоясь со столичными забавами, так оживилась, что уже плавала в них, как резвая золотопёрая рыбка в привольной и светлой воде, а затем, убедив также приодеться по моде и своего мужа, окончательно преобразилась. Алексей Андреевич тем временем, кстати, у некоего купца Прядышева успел достать на короткий срок изрядную сумму денег, причем этот же самый купец вел с ним последние переговоры и о ссуде, под залог Горок, более крупного куша.

Серафима, день-деньской и без Мари, стала разъезжать с визитами, бывать с мужем, а ввиду его занятий — и одна, в опере, комедиях, концертах и у общих знакомых. Мари сперва даже несколько смутилась этими чрезмерными увлечениями, но потом подумала: «Бог с нею; пусть веселится, пока молода! Уедет к весне в имение, снова запрется и затоскует в глуши. Ее дети — в деревне, с разумною, опытною няней; их навещает преданный им, давний их сосед-помещик,

и, даст Бог, все у них будет благополучно». Вышло, однако, иначе.

В числе московских гостей, навещавших издавна Глеба и Мари, был тоже их давний знакомец, московский медик Семен Захарович Спесивцев. Это был оригинальный и во многом забавный человек. Он, собственно, только по званию числился врачом и, хотя успешно прослушал курс медицины в Московском университете, у профессоров Эразмуса и Зыбелина, но с выхода из университета не только почти не занимался практикой, а даже открыто высказывался против всех на свете докторов и их, как обыкновенно выражался, вредного ремесла.

Спесивцев был искренний и отъявленный враг медицины. Он всех врачей чуть не в глаза называл шарлатанами и, сплошь отвергая все аптечные средства, верил в одно — в силу природы — vis medicatrix naturae и, как исключение, как некоторое всем доступное пособие, допускал только старинные, простонародные средства — травы, растирания и баню.

— Идите не ко мне, не к медикам, — говорил он удивлявшимся больным, — зовите простую бабу, знахарку какую-нибудь или шептуна. Они если вас и не вылечат, зато уж никакого ущерба вам не причинят.

Старуха Дуганова, сама занимавшаяся простою и немудрою сельскою медициной, особенно высоко ценила достоинства этого чудака. Он посещал ее в ее приезды в Москву, через нее познакомился с Глебом и, когда приспело время родов Мари, был вызван в Ракитное, где и пробыл месяца полтора, балагуря с утра до ночи и всех потешая своими выходками, пока все «само собой», как он это объяснял, кончилось благополучно. Никто не знал ни прошлого, ни средств Спесивцева. Считали его за человека обеспеченного; говорили, что он несколько лет назад много путешествовал по Европе и был в Иерусалиме. Сам он, с виду ленивый и мешковатый, в веснушках и детски румяный, любил подчас рассказывать о своих странствованиях, мало из виденного

хвалил и более всего порицал пресловутую, по его мнению, европейскую медицину, причем отдавал некоторое уважение только немногим врачам, из так называемых виталистов, подобно ему возлагавших спасение больных на одни их собственные жизненные силы. «Я никуда не гожусь, отжил свое!» — твердил он, уверяя, что нигде не бывает, и между тем не мог жить без общества. Перешагнув уже за тридцать лет, он, по его словам, решился остаться холостяком, единственно будто бы потому, что от одной из красивых и милых невест, за которых он было, в молодости, думал свататься, пахло венскими каплями, а от другой — жизненным эликсиром Парацельса.

— Но, может быть, у ваших красавиц болели зубы или давило под ложечкой? — спросила, подсмеиваясь над ним, старая Дуганова.

— То ли было или другое, — отвечал Спесивцев, — только я бежал от них и с тех пор, как видите, холост и одинок.

Злые языки иначе объясняли холостую жизнь доктора и его нападки на медицину. Уверяли, будто по выходе из университета, где-то путешествуя, он страстно полюбил одну замужнюю женщину, и, когда она чем-то сильно заболела, он стал ее лечить, но сделал роковой промах: больная после приема его лекарств скоропостижно скончалась. Этих слухов никто, впрочем, не проверял.

Глеб и Алексей охотно вели знакомство со Спесивцевым. Он являлся к ним всегда таким добродушным и без затей. Замечали его — он, пыхтя, разговаривал, не замечали — по целым часам сидел с трубкой в кабинете, читая книгу, либо устремив рассеянные, полусонные глаза в пространство и в раздумье ероша свою курчавую, нередко совершенно растрепанную голову. Братья любили вызвать его на разговор и поспорить с ним вечером за чаем. Мари с Серафимой также охотно слушали его россказни о новостях и об общих своих знакомых. Не выносила его одна Нинет Ладыженцева, тоже тогда гостившая у Мари. Ее споры со Спесивцевым усили-

лись особенно с того времени, как в Москве распространились слухи о бунте и о наказании мятежников в Яицком городке. Всегда чувствительная и склонная к гонимым и несчастным, Нинет всех уверяла, что виноваты не яицкие смиренные и добрые по природе казаки, а их начальство; доктор же, обсуждая злодейства извергов-бунтовщиков, убивших ни в чем не повинного генерала, своего командира, доказывал, что казаки просто злые и кровожадные звери и что, если их не укротят, далее будет хуже. «Ведь отрезывают же ваши медики члены, пораженные гангреной, — говорил он, — и медики тут, пожалуй, правы; а это разве не гангрена?»

Однажды, как впоследствии вспоминала Мари, вскоре по приезде в Москву Алексея и его жены, Серафима была с Соймоновыми в их ложе, в опере *Семира и Азор*. Оставшиеся дома Глеб и Алексей после дневных разъездов и хлопот сидели в столовой. Мари, разливая им чай, работала здесь же в пяльцах. Подъехал Спесивцев. Усевшись, по обыкновению, своею плотною, мешковатою фигурой поглубже в кресло, он сообщил, что смуты от Яицка перешли и на Волгу и что, хотя казак Богомолов, объявивший себя в Поволжье императором Петром Третьим, пойман и, сосланный в Сибирь, на дороге умер, народ не верит этому и снова ждет его появления.

— Недоставало еще этого! — сказал Спесивцев. — Был у нас самозванец-царь из шляхтичей, теперь пророчат царя-мужика.

— Ну, вы уже слишком, — заметил, поморщившись, Глеб, вообще не любивший у себя политических разговоров. — Не хотите ли чаю? Вы устали?

— Вы желаете замять разговор? — вздохнул Спесивцев. — Извольте; не будем выведывать ваших тайн! Спрашиваете, не устал ли я? Неужели вы думаете, что врачи без практики только и делают, что лежат на боку да созерцают собственное достоинство?

— А чем же им еще заниматься? — спросил, ближе придвигаясь к столу, Алексей.

Мари налила и подала доктору стакан чаю.

— Помилуйте, господа, — произнес с важностью Спесивцев, — да у нас, могу вас уверить, более дела, чем у любой вашей врачебной знаменитости, прописывающей рецепты для облегчения смертным отправиться на тот свет. Я, например, сегодня, хоть и был огорчен слухами о Волге, бегал по всему городу для вразумления одной сердечно-больной...

— Это любопытно, — произнес Глеб, — в чем же ее болезнь? Утолщение сердечной перепонки, что ли?

— Ничуть, — ответил Спесивцев, — милая бабенка просто вздумала топиться.

— По какой причине?

— Предмет ее страсти — женатый человек, а у его жены — как бы вам точнее выразиться? — морское, семимильное зрение. Она все выследила, разгадала и теперь не спускает своего шалуна ни на минуту с глаз.

— Ну, и что же с этою вашею пациенткой? — спросил Глеб.

— Сегодня утром, извещенный ее сестрой, я захватил ее у проруби, на Яузе, а вот только что вечером едва догнал ее, на извозчике, у Дорогомиловского моста и буквально всю измокшую вытащил из тамошней портомойни. Опоздай я на минуту, пошла бы ко дну.

— Как же вы узнали о втором покушении?

— Известил сердобольный муж утопленницы, спокойно между тем изменивший своей жене.

— Да вы, извините, сочиняете, — сказал Глеб, — что-то невероятно; вы уж очень великодушно и так все кстати поспеваете для спасения своей героини.

— Ничуть, Глеб Андреевич, ей-ей! — ответил Спесивцев. — Я потому, собственно, и поспеваю, что в качестве врача без практики занимаюсь настоящим делом, то есть бью баклуши... И ничего тут великодушного нет; ведь я в

некотором роде даже зло поступил — возвратил несчастную жертву изменнику-мужу... Великодушие, доброта! А знаете ли, Нина Александровна, — обратился доктор к Нинет, — ваши добрые яицкие казаки, по последним слухам, предавая смерти своих начальников, не только вешали их вниз головой и вбивали им в голову гвозди, но еще рубили им ноги и руки и в таком виде, истекающих кровью, пускали ползать для забавы толпы... Это ли не доброта? Да здравствует великодушный русский народ!

Нинéт молча встала со стула и, уходя, так сердито двинула им, что пудра посыпалась с ее волос и с покрывшегося румянцем лица.

VI

Все рассмеялись. Разговор коснулся вообще женщин, их характеров и любви к мужчинам и перешел к так называемой супружеской измене. Спесивцев попросил еще стакан чаю, налил в него сливок и, с позволения Мари, закурил трубку. Глеб и Алексей курили редко.

— А в самом деле, господа, — сказал доктор, обратясь к Глебу и к Алексею, — как вы смотрите на измену?

— Кого? — спросил Алексей.

— Разумеется, жены, — ответил Спесивцев, — это для ваших братий, женатых, интереснее, ближе.

— Вопрос щекотливый, — произнес Алексей.

— Пустое толчение воды, — прибавил, нахмурясь, Глеб.

— Однако же, скажите ваше мнение, — обратился доктор к Глебу, — хотя бы для подтверждения того, что это, по-вашему, пустяки.

— Разумеется, — ответил Глеб, — кто же из-за этого полезет на стену? Дело пустое, хоть и ужасное, и вот почему...

Он помолчал с секунду и, не глядя на жену, спокойно облокотился о стол. Сердце Мари невольно забилось.

«Что-то он скажет?» — мыслила она.

— Если бы моя жена мне изменила, — произнес с расстановкою Глеб, — я, без сомнения...

— Ну, уж уволь меня-то хоть слушать ваши признания, — перебила Мари, вспыхнув и с сердцем отодвигая пяльцы.

— Нет, ради Бога, останьтесь, — обратился к невестке Алексей.

Глеб с улыбкой придержал Мари за руку.

— Если бы мне изменила моя жена, — сказал он спокойно, — я об этом, разумеется, никогда не помышлял... Но если бы это случилось — полагаю и даже убежден, — что я на это взглянул бы как на Божью кару и безропотно покорился бы ей.

Слезы негодования кипели в горле Мари. Она готова была осыпать мужа укоризнами, жестокою бранью и молчала, следя за его, как ей показалось, неискренним и лукавым лицом.

— И мне думается, — продолжал Глеб, не глядя на жену, — что тут, в такой беде, не правда ли, все уже непоправимо. Чужой души не осилишь. Чувства и совесть свободны. Полагаю, что я простил бы виновнице и, неся тяжкий крест, желал бы ей одного — счастья с другим.

— Ну, уж это... ну, уж извини, — сорвавшимся, злым голосом крикнул Алексей, — все это, братец, вздор, оскорбительный бред у тебя — и только!

Все удивленно взглянули на Алексея. Он сидел бледный, судорожно постукивая по столу костяным десертным ножиком, и, сердито отдуваясь, растерянно смотрел на всех широко раскрытыми глазами.

— Не согласны? — проговорил он, привстав и как-то криво улыбаясь. — О, разумеется, я не пел бы ощипанным соловьем! Не пошел бы на такие нежные и унизительные тонкости! Скажу прямо... Убедясь в измене, я выследил бы виновных и спрятал бы в руках увесистый железный лом.

— И затем? — спросил, глядя на него, Глеб.

— А уж известно что́... Уложил бы на месте изменницу и ее счастливого соблазнителя! — глухо выговорил Алексей, так сжав при этом в руках ножик, что тот хрустнул пополам.

— Да какой же вы азиат, право, трехбу́нчужный паша! — сказал с усмешкой Спесивцев. — И вам не жаль? Двойное убийство!

— А уж как там хотите! — резко ответил, все еще волнуясь, Алексей. — Наш род не из податливых; один наш предок, слыхал я в детстве, под пьяную руку не то засек, не то замуровал в стену живою неверную жену.

Глеб также нахмурился.

— Не помню я что-то такой легенды о наших предках, — сухо сказал он. — Впрочем, ты старше меня и всегда отличался сильной памятью... Или это, может быть, предок со стороны твоей матери?

Алексей, ничего не ответив на это, прошелся по комнате. Его лицо омрачилось, губы судорожно вздрагивали.

С искренним сочувствием взглянув на него, Мари незаметно оставила столовую, добрела до спальни и, горячо рыдая, упала в подушку лицом. Кто-то тихо вошел в комнату, нагнулся над нею. Она почувствовала нежное прикосновение Глеба. Он целовал ей голову, плечи.

— Прости меня, Маша, я обидел тебя, — говорил он, став у ее изголовья на колени. — То была шутка, вздорная, дружеская болтовня... ну, сорвалось! Я хотел просто подзадорить ревнивца-брата...

— Ах, оставь меня, недобрый, оставь! — ответила Мари, в слезах отстраняя его. — Разве шутят так беспощадно и зло? И разве я... твоя жена... могла бы когда-нибудь...

Размолвка Мари с мужем длилась недолго. Мари старалась забыть о ней, хотя происшедшее оставило в ее душе какое-то смутное, ей самой непонятное ощущение, род гнетущего предчувствия.

Близилась масленая неделя, а с нею увеличивались городские удовольствия. Сделка о лесе с купцом Прядышевым также подходила к счастливому концу. В начале поста Алексей и Серафима располагали возвратиться в деревню. Слухи из-за Волги стали спокойнее. Посланный на Яик новый начальник, по сведениям канцелярии главнокомандующего, окончательно усмирил бунтовщиков. «Яицкая чума вырвана с корнем, как и наша в Москве!» — сказал на одном из своих раутов князь Волконский, укротитель московской чумы. Все повторяли эти слова. Москва веселилась в эту зиму, как никогда. В ней тогда считалось до пятнадцати театров и до десяти тысяч музыкантов.

На масленой у Соймоновых ожидались маскарад и домашний спектакль. Говорили, что здесь готовят новую парижскую оперетту *Rosiere de Salency* и веселый водевиль *Les moeurs du temps*. У Соймоновых в то время собиралось разнообразное и веселое общество, высший свет и некоторая доля среднего богатого московского круга, а главное — много молодежи. Хозяева незадолго перед тем возвратились из-за границы, упоенные Парижем и его модами. То и дело в Москве говорили об их вечерах, многочисленных кавалькадах, катаниях и шумных пикниках. Серафима давно мечтала об этих удовольствиях, и вот — ее не только пригласили на этот вечер, но и предложили ей взять на себя роль в оперетте. У нее еще в пансионе был хороший голос, и она очень мило и бойко могла спеть предложенную ей каватину и участвовать в дуэте.

В числе других любителей-артистов соймоновского спектакля были гостивший в Москве какой-то раненый моряк и Федор Прядышев, молодой сын купца, с которым Алексей вел переговоры о займе. Серафима приняла предложенную ей роль и трепетала в ожидании назначенного вечера. Благодаря Мари, упросившей мужа, знакомый Глебу поставщик шереметевского театра, Имберх, подрядился снабдить Серафиму костюмами для роли, а каватину и свою роль в дуэте она стала репетировать у знаменитого Компа́сси.

Дамский круг Дугановых только и говорил об этом предстоящем вечере, со всех сторон разбирая приглашенных певцов. Раненый моряк пел весьма хорошо, но был мешковат и в обществе застенчив. Федор Прядышев, или Теодор, как его везде звали, хотя был слаб в пении, но зато представлял из себя, как говорят, вполне интересного и милого молодого человека. Его отец, имевший на Урале золотые прииски, а под Москвою, за Рогожскою заставой, меднокотельный завод, где исстари отливались колокола, был крутого нрава купец, из старообрядцев. Все его состояние принадлежало жене, у отца которой он в молодые годы служил простым приказчиком. Разбогатев женитьбой и увеличив заводское производство, он ни в чем не прекословил жене, а та души не чаяла в их единственном сыне. Благодаря ее капризу и советам Соймоновых, с которыми Прядышев имел денежные дела, Теодор, крестник Соймонова, учился некоторое время у гувернера-француза, потом проходил науки в одном из модных московских пансионов и, наконец, с семейством крестного отца провел два года за границей; откуда, к изумлению старика Прядышева и к неописанной радости его жены, возвратился истинным пети́-ме́тром: во французском бархатном кафтане, в башмаках с серебряными пряжками и с напудренною косой. Любуясь нарядом и цветущею наружностью Феди, старуха Прядышева тайно от мужа щедро снабжала сына деньгами и, довольная тем, что Федя, возвратившись из заморских краев, водился не только с сыновьями первых богачей из купцов, но и с высшею, знатною молодежью столицы, сквозь пальцы смотрела на его удалые похождения и подчас громкие кутежи. «Смотри, Аграфена, попадется Федька, — говорил ей иногда муж, — не поглядит тогда начальство, что мы с тобой первой гильдии, живем в эдаких хоромах и ходим в соболях, забреют окаянному лоб!» — «Э, Савва Ильич, — отвечала на это, позевывая и крестясь, жена, — молодо вино, перебродит; не киснуть ему этак-то, на печи».

У Соймоновых и в домах других бар Теодор был принят, как толковали, не столько из приязни к нему самому, сколько

из почтения к сундуку его папаши. Старый крепыш Прядышев, пуская под шумок крупную часть доходов за большие проценты, охотно ссужал деньгами разных бар. Но в то время как дикообразный и стриженный в скобку старик Прядышев ходил в длиннополом кафтане и в сапогах выше колен, румяный и стройный Теодор постоянно одевался как куколка — то в синем демократическом сюртуке, то во фраке с круглою шляпой, тростью и часами, завитой, как пасхальный барашек, и с огромным золотым лорнетом. В театре и маскарадах Лиона он обращал на себя внимание молодежи. Он по моде душился, румянил себе и без того румяные губы, посыпал свои букли пудрою grise и пудрою blonde и, хотя не нюхал табаку, носил, однако, в карманах табакерки с портретами красавиц или изображениями вроде сердца, пронзенного стрелой, причем также, ради моды, помышлял и о метрессе.

VII

Теодор страстно любил цыганское пение и некоторое время, по слухам, до того увлекался красотой и песнями цыганки Луши, что, если бы хор удалого Пантю́шки, в котором она состояла, не уехал неожиданно куда-то из Москвы, он, вероятно, женился бы на ней. Это было до его поездки за границу. С тех пор, как уверяли, он несколько остепенился. Увлечение цыганами вызвало в юном Прядышеве склонность к музыке. Посещая концерты и оперу, он начал брать уроки пения у Добервиля, а спустя некоторое время решился кое-где петь и сам. Ввиду затеянного у Соймоновых театра знакомые дамы гурьбой пристали к Теодору и, как он ни упирался, убедили его также принять участие в оперетте.

С тех пор для репетиций отдельных арий и дуэтов он не раз посещал и Дугановых. Серафима сперва без смеха не могла смотреть на него, когда он, в виде

кудрявого пасхального купидона, разряженный и надушенный, робко появлялся у них, входил на цыпочках, по знаку становился среди залы и под аккомпанемент клавикордов, уморительно раскачиваясь и размахивая руками, вытягивал перед зеркалом свои ноты.

— Ах, какой он забавный, смешной! — хохоча до слез, говорила Серафима, выскакивая в гостиную, где Мари сидела за шитьем для Васи, и принимаясь тормошить ее и целовать. — Ну, видела ли ты, Маша, другое подобное чудовище?

Мари серьезно отвечала, что не видела. Теодор служил бесконечною темой для насмешек Серафимы.

До спектакля оставалось несколько дней. Спевки и всякие приспособления к нему кончились. После театра всему обществу — артистам и зрителям — Соймоновы готовили сюрприз — поездку на двадцати ямских тройках за Серпуховскую заставу, на их летнюю красивую мызу, где гостей ожидал пышный ужин и танцы под музыку рогового архаровского хора.

Был вечер субботы, канун масленой. Алексей повез Серафиму на последнюю спевку к Соймоновым. Глеб в тот день дежурил у князя и еще не возвращался. Нинет также где-то была в гостях. Мари осталась дома одна, за неотложным делом. По субботам она обыкновенно собственноручно мыла своего Васю. Пройдя в его горенку, где уже была готова гретая вода и где няня, седая Сысоевна, держала на руках распеленатого и нетерпеливо кричавшего ребенка, Мари переоделась в ночной капот, завесилась передником и только что принялась мыть сына, как в дверях показался муж.

— Ты будешь на соймоновском спектакле? — спросил он, садясь поодаль, у окна.

— Разумеется! — ответила Мари, намыливая безволосую головку и пухлую спинку приятно замолкшего Васи. —

Столько было приготовлений, хлопот; притом Серафима... А взгляни-ка на этого розового жука, как он шевелит щупальцами...

Глеб посмотрел на сына, потом на Сысоевну, сердито и молча с готовыми пеленками стоявшую в стороне. Старуха Сысоевна, хотя нянчила когда-то самого Глеба, терпеть не могла, когда барин в неурочное время входил в оберегаемое ею, заповедное царство ее нового питомца.

— О Серафиме и речь, — сказал по-французски, с необычным раздражением в голосе, Глеб. — Твоя приятельница, а теперь и сестра, начинает, наконец, выводить меня из терпения...

«Ну, тебе не нравится ее беготня с визитами, а особенно это появление на театральных подмостках, — подумала Мари, продолжая в теплой мыльной воде мыть Васю, — вот ты и злишься; да что же, не всем сидеть взаперти! Воображаю, что́ было бы, — прибавила мысленно Мари, — если б и я вздумала участвовать в спектакле! Вот поднялся бы ураган!»

— Что же, однако, сделала моя приятельница и сестра? — спросила по-французски Мари, в последний раз окачивая ребенка теплою, настоянною на травах водой и готовясь вынуть его из корыта. — Чем она пред тобою провинилась?

— Она становится сказкой города, — произнес медленно Глеб. — Этот матушкин сынок, этот молокосос Прядышев так откровенно и так нагло за нею ухаживает.

— У мужчин всегда виноваты женщины, иной раз не только правые, но и совершенно безупречные! — небрежно ответила Мари, подавая Васю в нагретые раскрытые пеленки Сысоевне.

— Послушай, Маша, — сказал серьезно и с особым ударением Глеб, — ты не ребенок, поймешь! Что этого недоросля везде принимают и что он за тою или другою из дам смеет ухаживать, это возмутительно, но еще не особая беда, но толкуют о худшем — будто Серафима... Ну, ты

этому не поверишь — а говорят, что она к нему неравнодушна и даже... разделяет его страсть...

Мари уже собралась было расхохотаться на эти слова, но взглянула на мужа и остановилась. Его обыкновенно доброе и спокойное лицо было на этот раз строго, озабочено и печально.

— Пустая сплетня, пошлая выдумка! — сказала Мари, взяв мужа за руку. — Серафима! Да возможно ли это? Мать троих детей!

— К сожалению, не сплетня, — с тою же внушительностью и строгостью ответил Глеб, — и я прошу тебя, Маша, ради брата Алексея, а особенно тех крошек, о которых ты упомянула, переговори об этом, да прямо и без обиняков, с Серафимой, вразуми ее и дай ей добрый, родственный совет...

— Какой?

— Немедленно бросить эту соймоновскую дребедень, а вслед за тем и Москву.

— Но неужели это так важно? — спросила Мари́, все еще не веря слухам о Серафиме.

— Настолько важно, — продолжал Глеб, — что, пока злые вести не дошли до Алеши, настои, чтобы она сегодня же под предлогом боли горла, что ли, отказалась от участия в спектакле, а завтра — с Богом — и в Горки! Им помог, кстати, отец Прядышева, прямо купил у них лес; Алеша получил деньги и будет радешенек скорее уехать из Москвы. У них в деревне многое еще не устроено и, главное — сильно распущены крестьяне. При жизни отца Серафимы они состояли на оброке, Алексей же, видя их обеднение и желая им добра, возвратил их на барщину. Не нравятся мне вообще эти приволжские своевольцы: дерзки, отзывчивы на всякие дикие слухи, а в Горках притом половина села староверы...

Утром следующего дня Мари с невольным смущением прошла наверх к невестке. Серафима готовилась ехать на генеральную, в полных костюмах, репетицию спектакля, ко-

торый должен был состояться через два дня, и была в красивом, так шедшем к ней наряде арде́ннской пастушки.

Она сидела перед овальным, в фарфоровой раме зеркалом, полученным Мари в подарок от свекрови. Горничная кончала уборку головы Серафимы.

— Вышли свою дуэнью, — сказала Мари по-французски. — У меня к тебе важное дело.

Серафима отпустила горничную, приколола к волосам последний цветок и спокойно встала.

— Вот я и готова, — сказала она, целуя Мари, — что́ там за важные у тебя дела?

— Ma belle espagnole, — начала Мари по возможности сдержанно, — ты не поедешь на эту репетицию и вообще на этот спектакль.

Серафима с удивлением подняла на нее глаза. В них светилась веселая, недоверчивая усмешка.

— Что за вздор? — сказала она. — Ты шутишь... Москва, что ли, провалилась или сгорел театр?

— То и другое цело; но выслушай, ради Бога, и рассуди... Вот что́ случилось.

Торопясь и обрываясь, Мари, насколько могла, в точности передала ей сообщенное Глебом. Серафима изменилась в лице, сильно побледнела.

— Это сказал тебе, выдумал Алексей! — произнесла она. — Понимаю... Какая злость! Вечные подозрения, снаружи — кротость, а внутри — ад.

— Да не он, помилуй, вовсе не твой муж! — спешила Мари успокоить ее. — Во всяком же случае дело серьезное, надо принять меры.

— Так кто же, говори, кто это сообщил?

— Об этом трубят все.

Серафима замолчала.

— Какая низость! — проговорила она, ломая руки. — И с какой стороны удар?.. Здесь так трудно оправдываться...

— Так ты невиновна, правда? — обрадовалась Мари. — О, скажи, ты равнодушна к Теодору? Все это клевета?

Серафима тихо обняла Мари. В ее глазах стояли слезы; они горели оскорбленным достоинством.

— Чуть нам кто-либо понравится, — сказала она, — ну едва отведешь душу, забудешься в невинном и простом разговоре — сейчас кричат: измена, разбой...

— И он, не правда ли, чужд твоей душе? — спросила Мари, стараясь побороть в себе и тень подозрения. — Еще недавно ты так над ним смеялась!

— Ах, Машенька, да ведь это — сама жизнь! — произнесла Серафима, полузажмурясь, точно видя перед собой некое чудное видение и сторонясь от его ослепительных лучей. — И как чувствителен, пылок, как добр!

Мари похолодела от ужаса.

— Так ты, следовательно, влюблена? — вскрикнула она.

— О, нет, пустяки! Но что это за наивный, милый мальчик, ну чисто девичья непорочность! — стискивая руки Мари, шептала, как во сне, Серафима. — Что за самоотвержение, преданность; а глаза — глаза... Прежде я этого не замечала.

— И он знает твое мнение о нем? — с ужасом спросила Мари, почти не сознавая, что́ говорит. — А твой муж? Тебе его не жаль?

Серафима очнулась, прошлась по комнате.

— Ах, да... про какие, однако, чувства ты говоришь? Уж вот вздор! — небрежно сказала она, оборотясь к зеркалу и смотрясь в него. — Ничего этого не было и нет, нет! Все это я сочинила, а мужчины такие гнусные и негодные ревнивцы!

— Так, честное слово, ничего между вами не было?

— Разумеется... Я над тобой просто подтрунила, прочла тебе свою роль из оперетки... Кроме шуток, это из нее... сама ты увидишь!

Мари отрадно вздохнула.

— А если ничего не было, — сказала она, вспомнив совет Глеба и хватаясь за него, как за соломинку, — то тем лучше. Тебе сто́ит только послать к Соймоновым отказ от

их спектакля, напиши, что заболела горлом, и все рассеется как дым.

При этом, в виде собственной мысли, Мари предложила Серафиме для избежания дальнейших и возможных пересудов немедленно уехать из Москвы. Она высказала это решительно и напрямик.

— Ну, выдумай что-нибудь иное, — прибавила она, — скажи Алексею Андреевичу, что ты видела сон, беспокоишься за него и за здоровье детей.

— Ни за что, слышишь ли, ни за что! — ответила ей с сердцем Серафима. — Как? Чтобы я уступила городским гнусным сплетням? Чтобы струсила, выставила себя смешною перед всякими безмозглыми болтунами? Никогда!

VIII

Проговорив это, она села, но не надолго и опять стала ходить. Ее лицо раскраснелось, глаза горели. Во всей ее фигуре выражалась твердая и спокойная уверенность в себе.

— Повторяю тебе, ничего не было, нет и не будет! — заключила она, остановясь перед Мари. — Довольно тебе этого? Веришь теперь, убеждена?

— Верю, — тихо ответила Мари.

«И в самом деле, — думала она, глядя на Серафиму, — ну, с чего ей так вдруг обезуметь, забыться вконец и еще с кем? С Федором Прядышевым! Да он ее мужу, этому превосходному человеку, не годился бы в лакеи... и она так недавно еще искренно и весело осмеивала его...»

— А если веришь, — сказала, помолчав, Серафима, — то отныне не говори пустяков; не мешай мне в последний раз повеселиться. Ведь ты знаешь, в какую тину мне предстоит снова окунуться.

Серафима дружески обняла Мари и, надев шляпку и меховой плащ, прибавила:

— Наш театр назло сплетникам и подозрительным ревнивцам непременно состоится, и на нем будешь, не правда ли, и ты? А за это заранее — вот тебе, вот и вот.

Она порывисто расцеловала Мари, сбежала вниз, села в экипаж и уехала.

Мари по возможности откровенно передала Глебу свой разговор с Серафимой, обойдя только и несколько смягчив ее отзыв о Теодоре. Уедут, рассуждала Мари, она снова увидит детей, забудет мимолетную встречу, и все обойдется благополучно. Глеб остался недоволен ее сообщением.

— Бедный Алеша! — прошептал он. — Добряк, очевидно, ничего и не подозревает.

Он сердито тер себе лоб.

— Впрочем, брат уже укладывается, — сказал он, оживясь. — Взял сегодня наши чемоданы — столько у них накопилось всяких покупок; часть вещей отправляет завтра по почте вперед. Нечего делать — утром, после этого театра и пикника, я сам помягче намекну ему на необходимость прекратить скорее нелепые толки, а когда они уедут, даст Бог, все уладится, Серафима одумается в деревенской тиши.

С невольным, гнетущим чувством Мари ожидала назначенного вечера. Дугановы отправились к Соймоновым. Спектакль прошел очень удачно. Мари еще кормила сына, и потому, едва кончилась оперетта, в которой пела Серафима, она подала знак мужу. Они незаметно оставили зрительную залу, пробрались к выходу под громом вызовов и рукоплесканий, которыми публика искренно приветствовала на сцене сияющую торжеством успеха и счастья Серафиму, и уехали.

Алексей Андреевич, неловко оглядываясь и растерянно принимая приветствия и поздравления с успехом жены, подозвал брата и шепнул ему, что он решился остаться до конца вечера. «Потянут бедного и на пикник!» — думала

Мари, скользя по морозу на улетающих санях. Потом она с Глебом узнала, что у Алексея от волнения за игру жены сильно разболелась голова и что он возвратился, когда кончился водевиль, поручив жену хозяйке дома, которая, встретив его у выхода, молила до конца этого последнего вечера не лишать их общества такой милой и очаровательной гостьи. «Ведь скоро пост!» — говорила она, обмахиваясь веером и молящими глазами глядя на Алексея.

«Ну, будет утром история! — размышляла Мари дома, накормив сына и, до невозможности усталая, собираясь спать. — Глеб, пожалуй, сразу все скажет брату, тот Серафиме, она вспылит... И в ответе за все перед нею буду, разумеется, я!»

Глеб встал довольно рано. Ему надо было ехать к обычному приему у главнокомандующего, и он, выпив наскоро, без жены, стакан чаю, поспешил к князю. Мари спала очень долго. Ее разбудила Сысоевна. «Помилуйте, барыня, — говорила она, теребя под ее головой подушку. — Василий Глебыч голодны... Пора им завтракать». — «Какой Василий Глебыч? Кто это?» — соображала Мари сквозь сон, не понимая, где она и что́ с нею.

Она открыла глаза. Серенький день уныло глядел в замороженные окна. Падал снег, и по крышам соседних домов срывалась метель. Очнувшись и перекрестясь, Мари присела на кровати, приняла от няни дитя и стала его кормить. Сысоевна молча стояла возле нее. Видно было, что старуха ею недовольна. Глядя на ребенка, в полном блаженстве сопевшего на ее руках, Мари невольно думала о себе: «И поделом тебе, матушка, сама заслужила, забыв свое дитя!»

— Который час? — спросила она няню.

— Двенадцатый.

Не поднимая глаз, Мари переложила Васю на другой бочок.

— Глебушка где? — спросила она, помолчав.

— Известно где — на службе, — ответила Сысоевна.

— А наши, Серафима, Алексей?

— Что им? Нешто и у них служба?

— Так еще спят?

— Не знаю, — сердито ответила Сысоевна, — я к ним не приставница, у них не была.

«Побурчит и утихнет!» — утешалась Мари, отдавая няне дитя. Наскоро одевшись, она прошла в столовую в надежде застать там Алексея и Серафиму; но столовая оказалась пустою. Она вошла в лакейскую. Слуга Сергей сидел там с книжкой.

— Что же это ты за чтением, а чай не готов? — сказала Мари. — Алексей Андреич встал?

— Встали.

— А барыня?

Сергей замялся.

— Спит, что ли? — спросила Мари.

— Оне-с... их нет дома... не ночевали.

«Вот закутила, — подумала Мари, — а впрочем, и хорошо сделала, что после танцев, по такому холоду и в темноте, не поехала, а осталась ночевать у Соймоновых».

— Где Алексей Андреевич? — спросила она слугу. — Подавай самовар и скажи брату, что я жду его к чаю.

— Их тоже нет: ездили в город и воротились, а теперь опять уехали, — ответил как-то странно Сергей.

Мари через гостиную медленно прошла в детскую. Сысоевна, укачав Васю и завесив его колыбель, стояла, нагнувшись, у окна во двор.

— Что ты, няня, смотришь? — спросила Мари.

— Клим утром рано возил куда-то Алексея Андреевича и опять повез.

— За барыней?

— Вестимо.

— Она, вероятно, у Соймоновых?

— В городе нетути их...

— Ну, значит, осталась на мызе, — сказала Мари.

«К завтраку, очевидно, не возвратятся, — подумала она, — успею, следовательно, съездить в ряды». Ей надо было еще кое-что купить, в подарок детям Алексея и Серафимы, и она на извозчике уехала в лавку, соображая, что и Глебу сегодня из-за разъездов брата придется возвратиться со службы не на своих лошадях.

Едва Мари, справясь с покупками, приехала обратно, обогрелась и, войдя в спальню, зажгла свечи, в дверях показался Глеб.

— Скверное, невозможное дело! — сказал он, бросая шляпу на стол и потирая руки от холода. — Нажили, нечего сказать... дождались.

— Что случилось?

— Неужели не знаешь?

— Почем мне знать!

— И не догадываешься?

— Да говори же...

Глеб помолчал.

— Серафима не ночевала дома, — сказал он.

— Я это слышала, — ответила спокойно Мари. — Она за поздним временем, по всей вероятности, осталась у Соймоновых — и хорошо сделала...

— Алеша был в их городском доме, — сказал Глеб. — Они возвратились, но ее там нет. Он наведался сюда, потом завернул на дежурство ко мне и теперь поскакал на мызу. Что́ скажешь на это?

— Да о чем ты беспокоишься? — спросила Мари. — Серафима, без всякого сомнения, на мызе.

Глеб горько улыбнулся.

— Полно, Машенька, — произнес он, — это мог бы еще подумать такой простак и слепец, как Алексей, а не мы с тобой.

— Так где же она?

Глеб присел на софу, взял жену за руку.

— Поклянись, она тебе ничего по этому поводу не говорила? — спросил он.

— Ничего... вот перед образом.

— Так знай же, — объявил Глеб, — Серафима прямо с пикника... бежала с Федором Прядышевым.

Мари всплеснула руками.

— Не может быть! Кто тебе сказал?

— Справляться по полиции, — ответил Глеб, — мне, ты понимаешь, было бы не к лицу. Я обратился к обычному источнику в подобных делах — ты догадываешься, без сомнения, — к Спесивцеву. Он, как и следовало ожидать, все уже, разумеется, знал. Сперва, по обычаю, кротким, невинным голосом отвечал: «Дело щекотливое, я, мол, полагал, что вы сами давно подозреваете и даже, если помните, слегка намекал, хотя ни за что еще нельзя поручиться! — А потом прибавил: — Не я один, и другие замечали, что это готовилось уже давно». «Что готовилось? — спросил я его. — Не томите, ради Бога, скажите прямо и откровенно, если вы истинно к нам расположены». Но тонкий дипломат уперся и стал твердить одно: «Неудобно и ответственно; извините, — спросите у других». Тогда я сам заехал к Соймоновым.

— Так ты был у них? — спросила Мари.

— Да... не входя в дом, я вызвал их кучера и спросил: с кем от них уехала жена брата? Тот, ничего не подозревая, спокойно ответил, что, когда стали разъезжаться с мызы, Серафима Львовна села в сани Федора Саввича Прядышева и уехала с ним, приказав сказать хозяйке дома, что у нее болит голова. Теперь ясно тебе? Герой в пьесе похищал героиню, ну, они, очевидно, и решили, как видишь, разыграть эту пьесу наяву.

IX

Как громом пораженная, Мари не находила ни мыслей, ни слов. Глеб ей еще что-то говорил, упоминал об Алексее и о его положении, высказывал опасения за здоровье брата,

даже за его жизнь. Мари сидела, как в тумане. Близилось время обеда. Все в доме со смущением ожидали возврата Алексея. Обед прошел без него; к вечернему чаю он также не приехал. Вечером Глебу надо было снова отлучиться для исполнения какого-то поручения главнокомандующего, и он уехал.

Разбитая волнениями и несколько недомогая, Мари легла спать ранее обыкновенного. Принеся ей кормить дитя, Сысоевна, вопреки своей обычной говорливости, опять не проронила ни слова и была туча тучей. Мари понимала, что старая, преданная няня простым чутьем угадывала близость грозы и позора в семье своих господ и при всей своей наружной суровости глубоко им сочувствовала. Она обыкновенно думала вслух: «туда-то надо вот пойти, то-то сделать» «ох, затеряла иголку и не найду, чулочки барчука надо выгладить!» Теперь же, подавая и затем унося дитя, она молчала и, только возвратясь из детской к барыне, чтобы потушить у нее свечи, проговорила про себя: «Ох-ох! Сечь бы нашу сестру, да приговаривать — не бунтуй, слушай мужа... не было бы этакого окаянства и греха».

Мари долго не могла заснуть. Вспомнив слова Алексея о железном ломе, она с содроганием прислушивалась, возвратился ли он. Глеб потом ей сообщил, что и он, приехав около полуночи домой и застав ее спящею, все думал о том же ломе и о неминуемости кровавой развязки.

Перед утром, когда за окнами, в морозной мгле, уже стало белеть, Мари сквозь дремоту померещилось, что к наружному крыльцу быстро подкатили сани, кто-то вошел в переднюю и медленно стал подниматься наверх. Ступени деревянной витой лестницы скрипели под тяжелыми шагами всходившего. В спальне за печкой уныло звенел сверчок. Но вот шаги затихли. Позваниванья сверчка охватили Мари нежною музыкальною волной. Она забылась тихим, спокойным сном.

Был восьмой час утра. Очнувшись и увидев, что Глеба уже нет в спальне, Мари вскочила с постели, приоделась и прошла к мужу в кабинет.

— Ну, что? — спросила она, присев у стола, за которым муж брился.

— Заперся, — ответил Глеб, указывая бритвою наверх, — никого не звал, вероятно, еще спит.

Подали чай. Прислуга ходила в смущении, на цыпочках. Глеб и Мари тоже говорили вполголоса, полунамеками, боясь и думать об исходе начавшейся драмы.

— Нет, я пойду к нему, — сказал, наконец, вставая, Глеб, — как бы он еще чего не натворил с собой.

Он поднялся по лестнице. Мари возвратилась в спальню и упала перед киотом на колени. Она горячо молила Бога вразумить Серафиму и дать ей снова мир и тишину.

Нерешительно и в раздумье Глеб взошел наверх, постоял у двери брата и постучал в нее.

— Войдите, — ответил ему из-за двери странный и грубый голос, которого Глеб сперва не узнал.

Он вошел, думая, что Алексей еще в постели. Последний стоял, не оборачиваясь, у окна, уже одетый, в каком-то старепьком, обтрепанном меховом бешмете, какого Глеб еще не видел у него. Над его широкими, плотными плечами, точно чужая, торчала его большая, всклоченная голова.

— Здравствуй, Алеша, — сказал Глеб, подойдя к нему.

— Здравствуй, — ответил Алексей, продолжая смотреть на улицу.

— Я думал, что ты еще спишь.

— Где спать! Знаешь развязку, конец?

— Собственно, верно не знаю, а догадываюсь, — через силу ответил Глеб.

— Какие догадки! Ну, прямо, открыто, взяла да и бросила, как старый, негодный башмак... Надоел, видно, — вот и все.

— Полно, дело еще поправимо, — сказал Глеб, ласково тронув брата за плечо.

Алексей с блуждающим взором обернулся к нему. По его опавшим, вздрагивавшим щекам текли слезы.

— И за что, за что? — вскрикнул он, кидаясь в объятия брата.

Послышались судорожные, глухие рыдания.

— Тебя ли слышу? — старался утешить его Глеб. — Стоит ли теперь эта особа твоего сожаления, слез?

— О, как я мало знал себя, как я был самонадеян и слеп! — всхлипывая по-детски, плакал на груди Глеба этот большой и сильный, как казалось, человек. — Что́ я буду теперь без нее? А дети? Я погиб... погиб!

— Опомнись, брат! Обидчице отныне одно наказание — презрение и забвение навсегда.

— Глебушка, родной мой! — вопил Алексей, хватая руки брата и целуя их. — Спаси меня, помоги.

— Но чем же тут можно помочь?

— Найди ее, уговори! Ничего не жалей, слышишь ли, ничего!.. Дети... О, теперь без нее мне одна участь — смерть.

— Да полно же, голубчик, полно.

Глеб усиливался успокоить брата, позвал слугу, приказал подать стакан воды и напоил его.

— Не ты ли, — сказал он, усадив Алексея, — говорил еще недавно иначе? Вспомни, по поводу подобного же случая ты высказывал такую твердость и решимость... Ты готов был преследовать виновных, мстить. Не месть хотя бы, а мужество в твоем положении, рассудительный отпор!

— Ах, оставь меня, ради Бога... Уйди! Дай хоть забыться! — крикнул в отчаянии Алексей. — Эти муки, эта пытка — выше сил.

Он вырвался от брата и, упав на постель, обхватил руками подушку. Его плечи вздрагивали от рыданий. Глеб постоял над ним, помедлил и вышел. Перед обедом и в течение вечера Глеб снова заходил к брату: Алексей лежал неподвижно, лицом к стене.

— Послать бы за доктором, — сказала мужу Мари.

— Ему не того надо, — ответил Глеб в раздумье, — нужно мягкое, женское слово; сходи — не утешишь ли ты его?

Мари налила стакан чаю, велела отнести его наверх, зажечь свечи и сама пошла туда.

Услышав ее шаги, Алексей встал.

— Ах, это вы, сестра! — сказал он, целуя ей руки. — Что вы беспокоитесь? Мне, право, совестно... Что-то болит голова.

— Полноте, присядьте вот тут, — сказала ему Мари, — напейтесь горяченького чайку, да с ромом.

Она усадила Алексея, придвинула ему стакан, налила рому и отложила ему любимых печений.

— Как вы добры, — сказал Алексей, взглянув на себя и оправляя свой измятый наряд. — Сто́ю ли я вашего внимания?

— Сто́ите, добрый, милый, все перемелется — будете еще счастливы.

Алексей отпил чаю и задумался.

— Сестра, — сказал он, — не скрывайте, где Серафима?

Мари молчала.

— Она приехала? Не решается сюда взойти?

— Приедет, возвратится, — ответила Мари. — Вы только успокойтесь; вот вы как расстроены — у вас дети. Какая мать может забыть детей?

— Да, да, — радостно проговорил Алексей, — вы знаете... Вот если бы Глебушка тут вступился и отыскал бы ее... Он такой разумный, сразу усовестил бы ее... Ведь, уверяю вас, здесь просто какое-то наваждение. Ее околдовали, может быть, опоили. Серафима! Да разве возможно? Я так любил ее; ну, убежден, увидите, если только она встретится с кем-либо из своих — сейчас одумается, пелена с глаз спадет. Ревновать хорошо бессердечному, крепышу — мне, вижу, не под силу... не могу.

«Вот она, истинная-то любовь! — подумала Мари. — Бедный! Куда девались угрозы и похвальбы об отместке, даже о кровавой расправе?»

— Ведь я сам бы поехал, — продолжал Алексей, — и, верите ли, в это время, клянусь, все думал — где бы скрываться беглецам? Но, сестра, вы посудите, здесь, в Москве, из этого такое поднимут и наплетут... Невозможно! Это только повредит Серафиме.

— Да вам, дорогой мой, добрый, и не приходится самому! — сказала Мари. — А вот Глеба мы, пожалуй, попросим и, я надеюсь, уговорим.

В это время вошел слуга. Он доложил, что приехал Спесивцев и что барин просит барыню и Алексея Андреевича сойти вниз.

— Верно, какие-нибудь новости, — с тревогой сказал Алексей. — Вы, сестра, идите вперед; а мне вот надо приодеться — неловко в таком виде, я тоже сошел бы вниз... Нет, останусь, не могу!

— Где барин? — спросила Мари слугу.

— Были с няней и с барчуком в гостиной, теперь пошли за чем-то в кабинет.

— А доктор?

— Остались в гостиной.

Мари вошла в кабинет. Глеб доставал гостю свежего табаку.

— Ну, что? Как Алеша? — спросил он. — Успокоился ли он?

Мари передала ему свой разговор с Алексеем.

— Бедная, жалкая тряпка, — проворчал Глеб, — и ничто его не проймет, даже такие испытания.

— А что нового привез доктор? — спросила Мари.

— Серафимы и ее похитителя в Москве, оказывается, нет; доктор был у родных Прядышева — Федора вчера и нынче искали, но безуспешно. И хорош, однако, этот доктор — всегда словоохотливый, а здесь едва цедит слова сквозь зубы, точно дарит какими-то таинственными откровениями.

X

Из кабинета в гостиную Глеб и Мари прошли через залу, где еще не успели зажечь кенкетов, мимо большого простеночного зеркала. В зеркале наискось отражалась освещенная гостиная и в ней — сидевший на диване Спесивцев, перед ним Сысоевна и на его руках Вася.

— И зачем этот пролаз берет на руки дитя? — с досадой проговорил Глеб. — Вот уж терпеть этого не могу.

— Чего ты сердишься! — прошептала Мари. — Разве не знаешь, он вообще так любит детей; и у Соймоновых — с их Сашей, и у Смирновых — с их внучкой все возится.

— Везде пострел поспеет, — раздражительно прибавил Глеб, замедляясь, как бы оправляя сверток с табаком. — Не люблю я этих трутней; бьют баклуши, так резонёрствуют о семейном счастье, а втихомолку, чай, сами волокитствуют на стороне.

Дугановы вошли в гостиную.

— А у малого-то вашего уже и зуб прорезывается, — заметил Спесивцев, отдавая няне дитя, — из молодых, да ранний.

— Вот вам свежий табак, — сказал ему Глеб, стараясь придать своему лицу и голосу спокойное выражение. — Теперь потолкуем о нашей печальной авантюре.

Он дал знак няне. Та унесла ребенка. Все сели к столу.

— Ваше, Марья Родионовна, мнение? — спросил Спесивцев. — Извините, Глеб Андреевич, начнем с милой барыни; у барынь всегда лучше и тоньше в подобных случаях соображение.

Глеб опять поморщился. Ему не понравилось это небрежное обращение гостя к его жене.

— Начинай, — сухо сказал Глеб жене.

— Я думаю... — ответила она и остановилась. — Мне кажется, вопрос слишком серьезный и в нем, прежде всего, необходимо твое участие и содействие, — обратилась Мари к мужу.

— Верно, сударыня, верно! — произнес, раскуривая трубку, Спесивцев. — И таких жен — простите, Глеб Андреевич, за мою откровенность — я везде и всегда от души превозношу. Действительно, нельзя не согласиться, что в настоящем деле вы один могли бы пособить.

— Но чем же я-то могу здесь быть полезен, не понимаю? — несколько смягчившись, ответил Глеб. — Эта купеческая среда, их обычаи, приемы... Я вовсе с ними не знаком, притом никогда не видел этого старика Прядышева... Брат вел с ним переговоры о займе через постороннее лицо.

— Да ведь это совершенно просто! Ну, вам сто́ит только заехать к нему, — сказал Спесивцев. — Ваше положение при князе, уж один ваш офицерский мундир, помилуйте...

— Мундир, мундир, — с неудовольствием опять нахмурился Глеб, — наслышался я об этих сиволапых гордецах! Много им дела до нас...

— Струсит, — произнес Спесивцев, — положительно струсит и, если знает, где его сынок, немедленно выдаст.

Глеб посмотрел на жену. Та умоляющим взором следила за ним.

— Где они живут? — спросил Дуганов. — Где их завод?

— За Рогожскою заставой.

— Подумаю, если братнина беглянка не объявится сама.

Прошло несколько дней после исчезновения Серафимы. Она не появлялась. Алексей стал сам не свой; писал и рвал наверху какие-то письма или был в непрерывных разъездах и редко обедал дома. К нему наверх то и дело ходили подозрительные личности, в чуйках и армяках. Мари думала, что он собирается уже в дорогу и что приходившие к нему люди — рядчики из ямщиков. Ока-

залось потом, что это были сыщики. Алексей уговорил-таки брата, и тот с разрешения князя предпринял через полицию тайные розыски о Серафиме. Сам Алексей тем временем посещал церкви и монастыри. Сысоевна, разговорясь, наконец внушительно сообщила Мари, что Алексей Андреевич намедни ездил к Неопалимой Купине, вчера утром был у Федора Студита, а сегодня, после ранней обедни, служил молебен у Никиты-мученика и что теперь Господь уже наверное вразумит Серафиму Львовну и она не нынче завтра «беспременно объявится восвояси». Следов Серафимы, однако, нигде не оказывалось, и она не возвращалась домой.

Шла первая неделя поста.

— Ну, Машенька, займись с братом, развлеки, успокой его! — сказал однажды вечером Глеб жене. — Завтра я еду к Прядышевым.

— Так ты решился?

— Да, поиски полиции оказались вполне безуспешны.

Мари с мольбой и надеждой взглянула на образ.

Был полдень. Стояла морозная, тихая погода. Глеб на городских санках миновал Рогожскую заставу и, обогнув бесконечные огороды, подъехал к воротам прядышевского завода. Хозяин оказался дома. Тяжелые ворота со скрипом отворились; Глеб въехал в обширный двор. В рабочих деревянных службах направо и налево слышались звуки молотов; густой дым валил из трубы над закоптевшим каменным го́рном, где плавилась руда. Огромные сторожевые собаки злобно лаяли на цепях у ворот и у подъезда хозяйских хоро́м.

Глеб взошел на крыльцо. Из сеней, через переднюю, его ввели в контору, оттуда через длинный, узкий проход в небольшую, сильно натопленную комнату, с горшками гераней на окнах, с кроватью под стеганным из разноцветных лоскутков одеялом и горою подушек и с огромным окованным сундуком возле киота. В комнате пахло мятой; на столе пыхтел самовар.

У самовара сидел сам хозяин, толстый, румяный и лысый, в меховой шубейке и с повязанной головой, очевидно, только что пришедший из бани; а перед ним — тощий и длинный старообрядческий причетник, с клинообразною бородкой, в черной бархатной скуфейке и тоже с красным и лоснящимся лицом. Они пили чай. Глеб из-за двери услышал сдержанный, наставительный бас причетника: «Ноне всюду грех и царство сатаны — и аще бы чин — даже более ангельский...» При виде офицера хозяин и его собеседник встали.

— Савва Ильич? — спросил Глеб, обращаясь к Прядышеву.

— Так точно-с, — ответил тот, подвигая Глебу стул, — что угодно вашей чести?

— Есть дело.

Прядышев дал знак своему собеседнику. Тот вышел, крякнув и сердито поглаживая бороду. Прядышев не садился и молчал. Глеб, опустясь на стул, тоже некоторое время молча смотрел на него. Отец Теодора показался ему моложе, чем он ожидал. Сильно, ранее времени растолстевший, Савва Ильич, несмотря на свой короткий рост и пухлые, точно обрубленные пальцы, с первого раза даже понравился Глебу. Его нежное и, очевидно, некогда красивое лицо было обрамлено шелковистою темно-русою бородкой, а серые задумчивые глаза так покорно и кротко смотрели на гостя, что Глеб даже подумал: «И за что я его так винил и так злился на этого добряка?»

— Вы, разумеется, догадываетесь, — начал Глеб, — я приехал по делу вашего сына.

— Тэк-с, — сказал Прядышев, приготовясь слушать.

Глеб стал рассказывать. Пока он говорил, Савва Ильич, отерев лицо, налил ему чаю, придвинул ближе банку с изюмом, отлил и себе из чашки на блюдце, взял это блюдце на концы обращенных кверху, растопыренных пальцев, положил в рот изюминку и, наклонив набок голову, молча слушал.

Глеб передал Прядышеву о том, как его сын познакомился с ним через Соймоновых, как он, Глеб, и его семья радушно принимали Теодора и как, сверх всякого ожидания, молодой человек отблагодарил за внимание к нему тем, что позволил себе дерзкую и возмутительную выходку.

— Совсем нестоящий! — заметил Прядышев.

— Он стал ухаживать, — продолжал Глеб, едва сдерживая свое волнение, — за женой человека, далеко не равного ему ни по его годам, ни по положению.

— Тэк-с, — вздохнул, не поднимая глаз, Прядышев.

— Ваш сын, — произнес Глеб, — пользуясь доверием доброго человека, уговорил его жену и, как вам, вероятно, уже известно, тайно ее увез...

— Скалдырник-шельма! — тряхнул головой Прядышев. — На то Федька — мастер!

— Я говорю об Алексее Андреевиче Дуганове, — заключил Глеб, — сызранском помещике; он вам известен, вы имели с ним денежное дело.

— По конторе, — вставил Савва Ильич.

— Но этот Дуганов — мой родной брат, — чуть не крикнул, возмущенный хладнокровием слушателя, Глеб.

Прядышев снова утер себе лицо и шею, опрокинул чашку на блюдце и отставил ее.

— Мы, ваше высокородие, — сказал он с достоинством, — тут не причинны и не защитники сорванцу! Я и допреж того говорил своей бабе: смотри, Аграфена, попадетесь; да что толку? Вывела курка утя, значит — не по рангу! А коли ежели, как перед Богом, правду сказать, то, может, мы и больше терпим. Так-то-с... И хотел бы укусить локоть, да морда коротка. А где ноне Федька, убей Бог, не знаем.

— В чем вы терпите? — спросил Глеб. — Говорите прямо — не понимаю.

Прядышев покосился на дверь.

XI

— Отец Никодим — изволили, чай, видеть тут старичка, — произнес Прядышев. — Мы с ним, значит, по простоте, насчет этого греха-с; так вон он что́ объявил... Коли, говорит, Федька-окаянник не уважил Господа нашего Иисуса и пришедшего ноне поста — нет, говорит, силы не токмо человеческой, даже ангельской, чтоб сломить озорника. У него таперича руки не железные, а золотые.

— Какие бы руки ни были, вы — отец! — ответил Глеб. — По вашему приказу — объявите только, да без лукавства и напрямик, — вас послушают везде.

Прядышев робко поднял глаза на Глеба.

— Не шутишь, барин?

— Какие шутки!

— И коли ежели, значит, к городничему обращусь или к капитан-исправнику?

— Все вам помогут. Повторяю — вы отец, и право ваше велико. Я служу при князе главнокомандующем и тоже предупрежу его...

Прядышев поднялся и с секунду нерешительно смотрел на Глеба.

— Ваше высокородие! — сказал он вдруг, подняв руки и падая на колени. — Не погубите — знаю, где Федька... Он сманил вашу невестку, а у меня, собачий сын, покрал казну.

— Что́ вы говорите?

— Так именно-с, как перед Богом! — ответил, вставая, Прядышев. — Я это был по делу в Симоновом, а его, хмельного, — должно быть, после попойки да картежной игры — сволокли сюда незнакомые люди. Мать-потворщица спрятала его в этой горнице. А он, дьявол, пришел в память, подобрал ключ да и вынул из того вон сундука, под образами.

— Много взял? — спросил Глеб.

— Десять тысяч! — ответил Прядышев. — Всю наличность ограбил; хоть бросай дело, сраму — на век!

— Вы заявили полиции?

— Где нам, ваша милость! Люди мы махонькие... Только тягали бы! — проговорил вполголоса и оглядываясь Савва Ильич.

Гость и хозяин помолчали.

— Что́ же вы намерены делать? — спросил Глеб.

— Сами это взялись за ум... Жене не сказано — баба дура, только плакала бы. Свою полицию отправил на разведки.

— Какую?

— Есть у нас верные слуги, литейщики. Только, правду сказать, везде искали, не токмо по знатным гостиницам и домам — по всем постоялым и харчевням, где только Федьке был притон.

— И нашли?

— Напали то есть на след.

— Где же он?

Прядышев вынул платок, посмотрел на него, свернул его жгутом и еще раз отер им затылок и подбородок. Он хотел говорить и затруднялся.

— Что же вы молчите? — спросил Глеб.

— Ваше высокородие, скажу, не утаю! — ответил, кланяясь, Прядышев. — Один сперва уговор.

— Какой? Говорите, слушаю.

— Готов ехать, разыскивать, ну, ничего не пожалею; только ваша-то милость воспоможете ли мне? Что́ без вас! Одна будет трата казны и труда!

— Далеко ли? — спросил он.

— Не близкий свет; надо было гультя́ям спрятать концы. Верст за шестьсот будет, а то и далее.

— Где же это? В Петербург уехали или в Нижний?

— Не примите во гнев, — ответил, снова кланяясь, Савва Ильич, — опосля все доложу-с.

— Хорошо, — сказал Глеб, — надо взять отпуск; надеюсь, князь не откажет; завтра буду к вашим услугам.

— В таком разе дайте знать, — заключил Прядышев. — Только, ваше высокородие, в тайности держите, лиха выйдет беда, коли кто узнает. А мы все изготовим и тихо выедем, как бы, так сказать, по делу... Да оно и кстати, колокол на Симонов отлили и вчерась отправили — начальству, мол, надо будет по заведенному показать.

«Дело, кажется, слажено, — рассуждал Глеб, возвращаясь с завода Прядышева домой, — и этот купчина прав; ехать ему одному какая польза? Если он и уговорит сына оставить Серафиму и возвратиться домой, что станет с ней на чужой, незнакомой ей стороне?»

В условленное время Глеб получил отпуск и доброе напутствие от князя, которому он еще прежде все рассказал о событии в семье брата, и снова поехал на прядышевский завод.

— Смотри же, Глебушка, — говорил ему на расставание Алексей, — когда вы их найдете... то главное — не горячись!.. Ах, я тебя знаю, не горячись! Ну, ведь ты вспыльчив иногда, а с женщинами высокомерен и сух... Так нельзя! Не смейся, ведь они жалкие, слабые существа... Дай мне слово!

Простившись с братом, Глеб обнял жену и сказал:

— На заводе Прядышева в последние дни усиленно работали; вот, Маша, тебе и предлог избавиться от лишних расспросов. Скажи, что все это выдумки и вздор; льют, мол, у Прядышевых колокола; оттого, по поверью, столько в городе и басен. Ну, что-нибудь в этом роде.

Прядышев, встретив Глеба, предложил ему закусить на дорогу, и, когда все было готово к отъезду, они вышли на двор. К крыльцу подали широкую, на полозьях, кибитку, запряженную тройкой, с рогожным верхом и нагруженную сеном и подушками. Возле кибитки стояли два рослых и широкоплечих литейщика в бараньих полушубках, перетянутых ременными кушаками, и с шапками в руках. Прядышев

шев — в волчьем балахоне и валенках — и Глеб, — в медвежьей шубе и в теплых сапогах — взобрались на подушки, под меховую полость. Литейщики уселись на ко́злы с ямщиком. «В Симонов!» — объявил ямщику Прядышев, кланяясь провожавшим его домашним. Кибитка выехала за ворота.

— Так-то, ваша честь, будет понадежнее! — произнес вполголоса Прядышев, указывая Глебу на плотные спины литейщиков, сидевших на ко́злах.

Кибитка, выбравшись на дорогу, направилась к Симонову.

— Держи направо, на Серпуховский большак, — сказал ямщику Прядышев.

Литейщики переглянулись и только повели плечами.

Тройка понеслась по большой дороге. В Подольске переменили лошадей. Проехали Серпухов и к вечеру следующего дня были в Туле, где и ночевали. Прядышев везде посылал на разведки литейщиков. В Туле он сам куда-то уходил и возвратился поздно вечером. Заснув сильно не в духе, он несколько раз ночью пробуждался, вздыхал и бормотал как бы молитву.

— Что, вам нездоровится? — спросил его из своей комнаты Глеб.

— Да, должно, от этой самой капусты... Да и масло у них не тово!

За утренним чаем путники разговорились.

— Сгинул треклятый и отселева, — объявил о сыне Прядышев, тряся головой.

— Разве он был здесь?

— Был... сорил деньгами как бешеный и уехал.

— Давно ли?

— Два дня тут куражился; пил еще от Подольска.

— Где стоял?

— У Трёшнина; наш тоже купеческий сын и прежде с ним загуливал в Москве. Уж и семейный теперь, а передерживал такую, сказать, мразь!

— И Серафима Львовна с ним была? — нерешительно спросил Глеб.

— На станции оставалась; разглядела гуся, видно, на пути, не подпускала его.

— Где же они теперь? Уехали?

Прядышев возвел глаза к потолку.

— Быдто на богомолье, — сказал он, расставив руки, — в Киев поехали, и он быдто, к слову, ей проводник... А уж какое богомолье! Там, сказывают, всю зиму польское веселье, цыгане, ахтеры, гульба! И дал же Господь такую кару, смертный стыд! Повесить мало этого пса! Оттоль быдто за границу.

Путники снова пустились в дорогу, свернули на Калугу и, меняя то сдаточных, то почтовых; на пятые сутки достигли Киева. Прядышев и его литейщики снова пустились на поиски блудного сына. Но ни в первый, ни во второй день они о нем ничего не узнали. Глеб начал терять терпение. Ему казалось, что хлопоты его и Прядышева не приведут ни к чему, что беглецы, имея большие средства, наверное, уже не здесь, а ушли за границу. На третий день Прядышев возвратился с разведок весь разбитый и еще более сумрачный. При взгляде на него Глеб подумал: «Ну, дело окончательно потеряно, надо ехать назад!»

— Отыскался окаянник! — сказал Прядышев, усевшись и бросая на стол шапку.

— Неужели нашли?

— Накрыл, да что́ с того толку?

— Как что́? Это и было нужно.

Прядышев безнадежно опустил голову.

— Промотал, собачий сын, — сказал он, — а больше того, должно, прямо проиграл все захваченные деньги разным шулерам! В Туле резался на постоялом, а тут уже дернул во все нелегкие! Натолкнулись они здесь, при въезде, на гурьбу саней с цыганами, что́ пели это у нас в Москве. Беспутный узнал между ними Лушу; вызвался барыню уго-

стить их пением, да в таборе их и застрял; пьет без просыпу шестой день.

— А Серафима Львовна, где она? — спросил Глеб.

Прядышев рассеянно-мутным взором взглянул на него, как бы не поняв обращенного к нему вопроса. Он где-то и кого-то в розысках, очевидно, угощал и сам, вероятно с горя, тоже выпил.

— И шут его знает, — продолжал он, путаясь языком и скидывая с себя почему-то кафтан и жилет — ну, в кого уродился? То есть вот в труху стер бы, да сто́ит ли теперича руки марать?

— Как сто́ит ли? — чуть не вскрикнул Глеб. — Жена моего брата... Вы же думаете только о себе.

— Ах, ваше высокородие, — слезливо проговорил Прядышев, отирая глаза, — убил, осрамил вконец. Подсылал я к нему и людей тоже спрашивал, где эта барыня?.. Скрыл, ши́бенник, не говорит.

XII

В это время в комнату вошел старший из провожатых Прядышева. Нагнувшись к хозяину, он сказал ему что-то на ухо.

— Как? — вскрикнул Прядышев. — И теперь у Пантюшки? Да еще при капитале? Извозчика!

Он наскоро опять оделся, позвал и второго литейщика, накинул на себя шубу и предложил Глебу ехать с собой.

— Ну, уж теперь — помогите только, ваша милость, — призна́ется Федька, укажет все.

Глеб и Прядышев отправились на Подол; литейщики провожали их на другом извозчике. По пути они заехали в полицию, где при содействии Глеба Прядышеву дали в помощь квартального поручика. Миновали город; потянулись переулки предместья.

— Здесь, — объявил ехавший на передних санях полицейский, указывая Прядышеву большой, под тесовой крышей дом с закрытыми ставнями.

Вечерело. Дом, у которого путники остановились, стоял за небольшим палисадником, у окраины огороженного пустыря. В нем, как объяснил Глебу полицейский, с начала масленой помещался цыганский хор Пантюшки, и сюда каждый вечер съезжались горожане и посторонние гости выпить цимлянского или польской запеканки, послушать пение и посмотреть на пляску цыган. Главною приманкой посетителей слыла красавица Луша.

Путники постучались в дверь дома. Удивленные ранним заездом гостей, цыгане некоторое время не отворяли. На новый стук у крыльца из-за угла выглянул кто-то с длинными усами. Завидев полицейского, он что-то гортанною речью сердито сказал товарищу, стоявшему за ним, и скрылся. Через минуту дверь снова отворилась. На ее пороге показался седой и плотный, в пестром архалуке и в желтых мягких туфлях цыган, то был сам содержатель хора, Пантюшка.

— Не прибрано у нас, извините, — сказал он, поклонами приглашая гостей в дом.

Приехавшие вошли в приемную. Откуда-то неслись звуки гитары и пение. Из внутренних комнат, справа и слева, выглянули смуглые, с желтизной в черных глазах лица заспанных певиц и певцов, бывших еще в утреннем, домашнем наряде. Звуки гитары вдруг смолкли. За дверьми слышались смущенные возгласы. Прядышев, шедший впереди, за полицейским, остановился, с секунду помолчал и обратился к Глебу.

— Тут силком ничего не сделать, — сказал он ему вполголоса. — Померекайте с полицейским, а я вот на иной лад с Пантюшкой.

Он отвел старого цыгана в сторону, стал спиною к прочим, вынул увесистую кису и начал что-то шепотом объяснять Пантюшке. Он тяжело дышал. Пот крупными каплями падал с его лица.

— Федька Прядышев здесь, — говорил он, — и не упирайся... Знаешь колокольный завод, под Москвой, за Рогожской? Знаешь, ну, ладно! А я отец Федьки... Говори, где он?

Пантюшка покосился на Глеба Андреевича.

— Это кто? — спросил он, указывая на Глеба.

— В адъютантах при московском главнокомандующем, а Федька покрал у него золовку.

Цыган задумался. Он уже достаточно поживился от Теодора и даже прямо спрятал часть его денег.

— Бери, Пантюшка, и Бог с тобой! — сказал Савва Ильич, подавая ему из кисы. — Только по душе все говори и укажи.

Цыган нагнулся к нему боком, принял от него подачку и, сунув ее в карман шаровар, подошел к полицейскому.

— Ваше благородие, — сказал он, кланяясь, — у нас с вечера, значит, загулял гость; не гнать было, по морозу, со двора. А это, полагать надо, их тятенька... Мы с удовольствием... Не угодно ли, господа?

Пантюшка отворил дверь во внутренние комнаты, Савва Ильич пошел за ним. Глеб остался с полицейским. Через минуту из дальней комнаты послышался окрик Прядышева: «Митрич! Елисей!» Туда, через черное крыльцо, вошли литейщики. Цыган, подведя Прядышева и его провожатых к полутемной, окнами выходившей во двор боковушке, остановился. «Здесь!» — сказал он. Пришедшие ступили за дверь. В комнате, на кожаном диване, лежало что-то неподвижное и длинное. Савва Ильич узнал в нем своего беглеца.

Не проспавшийся с ночной попойки, Теодор лежал, как был с вечера, в щегольском французском кафтане из розового шелка с блестками, в таком же камзоле и узорных, со стрелами чулках. Его напудренные волосы с развившеюся косой в беспорядке свешивались с подушки. На отодвинутом от кровати столе были разбросаны карты, стояли с догоревшими свечами подсвечники и недопитые бутылки и стаканы

вина. По комнате валялись пробки, конфетные бумажки, табачный и всякий сор. На стуле лежала брошенная гитара, увитая лентами. «Лушка, это она!» — подумал Прядышев, снимая гитару и садясь возле сына на стул.

Он тронул его за плечо, тот не шевелился; назвал его по имени, стал дергать за руки, за ноги — тот лежал, как неживой.

— Ушат воды! — сказал Савва Ильич. — Да смотри, ребята, похолодней.

— Ваше степенство, — позволил себе заметить старший из литейщиков, — не погневалась бы Аграфена Марковна.

— Я тебе тут сказ, не она!

— Не было бы какой обиды, — вмешался также цыган.

— Не твоя голова в ответе, моя! — ответил Прядышев. — А ты, Пантюха, тащи сюда его шубу, шапку и прочее, коли целы.

Цыган крикнул за дверь своим. Те принесли шубу и шапку Федора. Прядышев стал осматривать карманы сына; в одном оказалась женская перчатка, в другом — горсть серебряных и две золотые монеты.

— Только-то! — сказал Савва Ильич, укоризненно качая головою Пантюшке. — Экую казну, дьявол, скопытил.

— Гром побей! Землю буду есть, больше и не было! — божился и крестился цыган, вспоминая немалый куш, переложенный из карманов Теодора в свой сундук.

— Десять тысяч слопал! Разбойники! — повторял Прядышев, глядя сквозь слезы на остаток сыновней казны, который он держал на ладони. — Открой, Пантелей, может, знаешь, где что припрятано?.. Поделюсь!

— Лопни глаза, сказал бы! — клялся Пантюшка, кланяясь и целуя полы кафтана Прядышева. — Угрели гусары в карты, убей Бог, гусары...

Савва Ильич утер слезы кулаком и сунул найденные деньги цыгану.

— Лушке! Ей, урва́н-ехиднице! — сказал он, махнув рукой. — Эка козырь девка! Барынь даже стала отбивать... А теперича давай ножницы! — прибавил Прядышев, засучив рукава.

— На что тебе?

— Увидишь...

Цыган принес ножницы. В сенях послышались шаги литейщиков, тащивших с надворья ушат воды.

— Слушай, Пантюша, — сказал Савва Ильич, в свой черед кланяясь цыгану. — Уйди, сделай милость! Не мозоль глаз! Что́ тебе глядеть на экое горе и стыд?

— Не ввели бы малого в какой изъян.

— Что ты? Да разве я ему не отец? Вот те крест! — сказал, крестясь, Прядышев. — Свое детище, не искалечу!

Цыган вышел за дверь.

— Ну, ребята, теперь слушать, что́ скажу! — обратился Прядышев к литейщикам. — Брызни ему в рыло.

Те брызнули. Федор слегка зашевелился.

— Заноси, валяй! — объявил Прядышев.

Литейщики подняли ушат и с размаху окатили им спавшего хозяйского сына. Федор дико вскрикнул, вскочил и, как безумный, бросился было бежать, но увидел перед собой отца и в ужасе присел на кровать.

Митрич и Елисей связали его поясами по рукам и ногам. Прибежавший на крик Пантюшка увидел, что Федор сидит уже среди ко́мнаты на стуле, литейщики придерживают его за плечи, а Савва Ильич, отрезав сыну косу, подстригает в скобку остатки его мокрых, напудренных волос.

— Был лепокудрый Авессалом, ходил, как картинка, соблазнял барынь и девок-певиц! — приговаривал, щелкая ножницами, красный от волнения Прядышев. — Быть тебе опять Федькой-мужиком, походить в посконном зипуне, поработать отцу!

Цыган ушел сообщить Глебу о виденном. Вскоре за ним возвратился и Прядышев.

— Ваша милость, простите за все, — сказал он, отведя Глеба в сторону, — наделали мы, окаянники, вам хлопот.

— А братнина жена? — спросил Глеб.

— Допытался у изверга! — ответил Прядышев. — Бросила его, чуть приехала сюда... Раскусила, сердечная, этакого хама! И часу с ним не осталась в гостинице.

— Где же она?

— Возле Лавры, у вдовы-дьяконицы приютилась; спросите дом Михеевой.

Провожаемый Пантюшкой, Глеб вышел на крыльцо, спросил извозчика, знает ли он дом Михеевой и как туда добраться, и велел ехать к Лавре. На углу ближайшего переулка его обогнали двое саней. В одних сидели старик Прядышев и полицейский, в других — литейщики, державшие на коленях закутанного в шубу Федора. Последний, вырываясь из их объятий, повторял всхлипывая: «Прощай, упоительница! Богиня! Гибну, прощай навек!» На повороте к Крещатику он оглянулся и узнал Глеба. Рванувшись еще сильнее, он что-то озлобленно закричал. Глеб расслышал только: «Уважил, мерси! Не будь жив, попомню!..»

Сани мчались к Лавре. Показались верхи церквей, каменные стены. У взгорья, над обрывом, стало видно несколько домишек. Вдова Михеева, у которой стояла Серафима, была просвирней. Молодая стряпуха с засученными рукавами и с лицом, испачканным мукой, провела Глеба из сеней в чистую комнату с запахом свежеиспеченного хлеба.

— Вам матушку? — обратилась она к Глебу.

— Да, побеспокойте.

XIII

Из-за двери выглянула высокая, тощая старуха в меховой безрукавке, повязанная черным платком.

— Просвирок, батюшка? — спросила она, кашляя и придерживая дверь.

— Дело, матушка, к вам, — ответил Глеб. — Здесь ли стоит Серафима Львовна Дуганова?

— Вам, сударь, зачем?

— Скажите ей: брат ее мужа желает видеть ее.

Дьяконица недоверчиво взглянула на Глеба, пошла и опять возвратилась к нему.

— По правде, сударь, говорите? — спросила она, не отходя от двери.

— Горе, матушка, тяжкое горе, — сказал Глеб. — Все ли объяснила вам ваша постоялица?

— И не говорите! — ответила, озираясь, старуха.

Она указала гостю стул и сама села возле него.

— Как она у вас очутилась? — спросил Глеб.

— Увидела я ее в церкви, — начала дьяконица, — молится, примечаю, необычно: упадет на колени, глядит на Пречистую, а слезы так и льются. Стал народ подходить ко кресту; гляжу, где моя сердечная? А она припала в уголку, где молилась, и лежит ничком, как неживая. Я к ней, она без гласа. Подняли мы ее, привели в чувство. Где, сударыня, спрашиваю, живете и кто вы? Ни слова, смотрит только на меня.

Дьяконица помолчала.

— Всякие бывают злосчастные, — продолжала она, — что тут допытываться? Отвела я ее сюда, да вот почти неделю и храню ее, Господь с нею. Не спит, не ест... Вы бы, говорю, сходили к начальству или к судящим; может, что и посоветовали бы. Не идет, убивается, плачет.

— Говорила ли она что о себе?

— Не открыла, упорна.

— Что же, полагаете, в мыслях у нее?

— Уж оченно ожесточилась. Как привела я ее сюда — по вас видно, говорю, не простая вы, может, какие вещи где оставили, послали бы подобрать? Она так и затряслась — ничего, говорит, мне теперь не надо; я пропала и всему, видно, конец!

— Помогите, — сказал Глеб. — Надо ее вывезти отсюда поскорей!

— Куда? — с удивлением спросила дьяконица.

— К мужу, к детям, в родную семью.

— Так она и впрямь замужняя?

— Да, и мой брат такой любящий, добрый; он все забудет, они примирятся.

Старуха сомнительно покачала головой.

— Бог вас разберет, — сказала она в раздумье, — только не о том, кажись, ее мысли; а впрочем, пойду доложу.

Она ушла.

Глеб, разглядывая снежный пустырь, стлавшийся перед окнами убогого домишки, думал: «Бедная Серафима! Жалкая, заблудшая овца... Не смеет и думать о прощении — а я ей именно и привез его... Вот обрадуется!»

За спиной Глеба скрипнула половица. Он оглянулся: перед ним стояла Серафима. Но как она изменилась! Глеб с первого взгляда не узнал ее. Куда девалась сияющая торжеством, миловидная и веселая ветреница в костюме испанской пастушки, какою Глеб в последний раз видел ее среди грома рукоплесканий на подмостках соймоновского театра? Перед ним со скрещенными на груди руками, в измятом дорожном капоте и с пучком кое-как подобранных волос стояла исхудалая и бледная тень Серафимы. Ее глаза смотрели озлобленно.

— Вы зачем здесь? — спросила она, едва кивнув головой на привет Глеба. — Посмотреть на мое посрамление, позор? Что же, глядите! Вот я — перед вами.

— Сестра, дорогая, одумайтесь! Кто Богу не грешен? Брат забудет все...

— Грешен? Ехать с вами, возвратиться домой?

— Да.

— И вы думаете, что это после всего возможно?

— Да, разумеется... Клянусь вам, брат смягчится, простит... Знайте, наконец, — прибавил Глеб, — он вам все простил!

— Простил? — странным голосом спросила Серафима. — И это он, он уполномочил мне объявить?

— Да, да! — твердил Глеб. — Вам остается только благодарить Бога и ехать со мной. Едем, дорогая сестра, едем...

Серафима ухватилась за сердце. Ее бледные губы беззвучно двигались.

— Какая пытка! — вскрикнула она, всплеснув руками. — Простил! Да я-то простила ли его? Как? Четыре года каторги, в трущобе, в дикой глуши? А думал ли, соображал ли он в эти годы, что там, в той норе, рядом с ним и с его важными делами, глохнет любившее его молодое существо? Думал ли, что этому существу хочется жить.

— Но брат, извините, — возразил Глеб, — не сидел сложа руки: он заботился о вашем же достоянии.

— Будь оно проклято, это достояние! — кричала Серафима, ходя по комнате и ломая руки. — Молодая женщина — ну, легкомысленный, если хотите, ветреный ребенок — жаждала света, веселья, забав, а ее держали в четырех стенах деревенской тюрьмы. Она стремилась хоть на короткое время вздохнуть в обществе, порядиться, быть в театре, на вечерах — ну, забыться, поплясать, — а ваш брат все откладывал, дела, видите ли, плохи, денег нет... И довел... А теперь великодушно прощает!

— Но, сестра, ведь действительно брат был крайне стеснен, — заметил Глеб.

Серафима взглянула на него и опять ухватилась за сердце.

— Да, я грешница, — сказала она, — великая грешница, перед Богом и людьми; изменила, скажут, мужу и нет мне прощения вовек. Наказана, дескать, по заслугам; ослепил Господь и не дал тут же умереть, чтоб казнилась вечно... Но я ни у кого не прошу прощения и не принимаю его! Возвращайтесь домой; я с вами не поеду. Нет у меня более ни мужа, ни семьи, ни родных. Оправдываться не намерена! Обвиняйте на всех перекрестках...

— Но ваши дети... Вспомните о них!

— Ах, оставьте меня, Глеб Андреевич! Я все вам сказала. Не приходите более, не терзайте меня. Это мое окончательное решение. Простил, ха-ха! Благодарю!

Серафима зарыдала, бросилась к двери и остановилась.

— Что же до детей, — сказала она, оглянувшись, — пусть и они скорее меня забудут... Какая я им мать? Добра же я их не трону, успокойтесь — оно будет цело.

«Нет, это невозможно, — думал Глеб, возвращаясь в город, — она не в своем уме. Надо принять меры, вразумить ее, обратиться к опытным врачам».

Глеб вспомнил при этом о Спесивцеве. «Недурной медик, находчив и умен, — размышлял он, — но мало вселял доверия... О, этот, наверное, придумал бы выход...»

На постоялом Глеб уже не застал Прядышева.

— Савва Ильич, — сказал ему на его расспросы половой, — извиняются, что не дождались вашей милости.

— Где же он?

— Крепко шумел и буянил их сын. Они одели его в простую как есть одежу — ихний Митрич на рынке купил, — послали за почтовыми, да так его, сердечного, связанного, как теленка, и повезли.

Дуганов еще раз навестил Серафиму. Она не приняла его. Глеб вручил дьяконице сверток денег, сказав, что это на необходимые издержки для его родственницы, и предупредил, что виделся с рекомендованным ему врачом и что завтра тот явится к ее услугам. Утром следующего дня Глебу принесли оставленные им деньги обратно с запиской Серафимы, где та извещала его, что если она в день приезда в Киев променяла лучшую гостиницу на угол у бедной просвирни, то это еще не доказывает, чтобы она нуждалась — у нее есть свои средства, взятые из дому; будучи же совершенно здоровою, она благодарит за заботы и просит одного одолжения — оставить ее в покое. Глеб в тот же день уехал обратно в Москву.

— Нет, это не женщина, демон, — сказал он Мари, возвратясь домой и с чувством горькой досады и негодования передавая ей о неудачной поездке в Киев и о свидании с Серафимой. — Не она оказалась виновною и подсудимой, а мы... Бог с нею! Надо подготовить, убедить брата... Он должен, обязан забыть это бездушное, злое существо.

Рассказ Глеба произвел на Мари удручающее впечатление. Что же до Алексея, то он слова брата о жестоком и бесповоротном решении его жены принял с полною покорностью воле Провидения. Как ни старался Глеб смягчить свой рассказ, Алексей чутьем угадал и взвесил все недосказанное и прикрытое из расположения и жалости к нему. «Да, испытание, кара Божия! — твердил он. — Господь ее рассудит!» Пробыв в Москве еще некоторое время, он по-прежнему посещал храмы, на средокрестной неделе отговел и решился ехать в деревню, но вдруг наставшая распутица опять помешала ему. Алексей отложил поездку до конца поста, чтобы Пасху встретить с детьми, о которых ему из деревни писал сосед. В первый день страстной недели Глеб и Мари с ним простились.

— Ах да, я и забыл тебе сообщить, — сказал Алексей на расставание брату. — Моя-то благоверная чудачка... Что́ сделала?.. Узнала, вероятно, что я еще в Москве, и, как бы ты думал, чем озадачила снова? Выслала, представь, из киевского суда мне дарственную на Горки.

— Чем же чудачка? — ответил Глеб. — Во-первых, Горки не родовая у них вотчина, и, во-вторых, ты ее, разумеется, сбережешь... Лучше оставить детям, чем прокутить с любовниками.

Этот резкий, сухой ответ Глеба болезненно отозвался в душе Алексея. Он хотел возражать и не нашел слов. Деревня не выходила из его головы; он сам уложил в чемоданы белье, платье, игрушки детям, несколько книг по хозяйству и том Четий-Миней, мечтая хоть в них найти успокоение.

Вечером, накануне его отъезда, все, по обыкновению, пили чай в кругу немногих общих знакомых. Здесь был и Спесивцев. Он за чайным столом играл с Алексеем в шахматы. Алексей то мрачно молчал, то как-то порывисто становился весел, шутил и даже острил: королеву звал «зазнобушкой», короля — «Пантюшкой», пешек — «Фединькой».

— А что, в самом деле, — спросил Спесивцев, — где наш этот рыцарь бледного образа, Теодор?

— Имею сведения, — ответил Глеб, — отец привез его на завод, собрал рабочих, дал ему вдоволь лозанов и поставил под строгий надзор в рядовые литейщики.

Все промолчали на эту весть; Алексей, двинув шашечницу, разразился громким, судорожным хохотом.

— Вот так купчина! — заливался он, отирая слезы. — Ай да молодец! Ха-ха! Лозанов... Парижскому пети́-ме́тру! Надоумил, по старому обычаю поучил.

Смеялся ли, плакал ли Алексей, трудно было разобрать. Мари же на другой день не могла без слез смотреть на него, когда он, как-то сиротливо и одиноко сгорбившись, сел в тот самый возок, в котором еще так недавно с Серафимой приехал в Москву, как выразился тогда: «Людей посмотреть и себя показать». «Боже! Неужели скоро увижу Горки, детей? — думал Алексей, вырвавшись наконец из Москвы. — А она-то, она?»

XIV

Тяжелое время пережила Мари вследствие всего, что́ соединилось с неожиданным побегом Серафимы и ее невероятною решимостью более не возвращаться в свою семью. Это обсуждалось между близкими беглянки на тысячу ладов. Мари более всех терялась в догадках. Она пыталась было писать Серафиме в Киев и послала ей туда в марте и в апреле несколько писем, адресуя их в дом дьяконицы Ми-

хеевой, но ответа ни на одно не получила. Теряясь в соображениях, где она и что с нею, Мари хотела было под видом богомолья и сама съездить в Киев, чтобы там подробнее все узнать о Серафиме, но муж восстал против этого. «Не срамись, — сказал он ей, — видишь, какая она стала; ну, охота вязаться с низкою, совсем потерянною женщиной! Брат теперь спасен! Он рожден для деревни, она — его воздух, его жизнь, и, верь, там он окончательно забудет эту тварь!»

Как ни рассуждал и ни доказывал Глеб, Мари было жаль золовки. Она старалась убедить себя, что Серафима вовсе не так испорчена в душе, как это могло казаться другим, и что здесь на нее просто нашло какое-то, непонятное на взгляд других, роковое затмение. Ее добрые мысли о Серафиме не находили себе, однако, ни в чем подтверждения.

С первого года женитьбы Глеба и Мари с ними вел дружескую переписку один небогатый саратовский помещик-старичок, сосед Алексея, Сила Фомич Травкин. Алексей и Глеб вообще были чужды литературе, Алексей же недолюбливал и вообще писания, а Сила Фомич, напротив, при всей скудости личных средств был весьма начитан и в своем околотке считался не только знатоком в литературе, но и бойким и умелым по части всякого писания. Глеб давно хлопотал о каком-то тяжебном деле Травкина в московском Сенате, куда последний явиться не имел возможности. Сила Фомич зато усердно сообщал ему как о здоровье его брата и детей последнего, так и вообще о делах Алексея.

Травкин был невысокий, на согнутых ножках, добродушный и постоянно веселый толстяк. В заезд Глеба женихом в Горки он потешал его рассказами из прочтенных им модных тогда романов — «Похождений Жильблаза де Сантилланы» и «Хромого беса» Лесажа. Кроме «Шутливых повестей» Сила Фомич, впрочем, углублялся в поэзию и философию. Он дамам в семье Алексея декламировал отрывки из «Мессиады» Клопштока и «Ночей» Эдварда Юн-

га, читал им «Штурмовые размышления» и «О происхождении зла» Галлера и, как все знали, выписывал по почте из Москвы сатирические журналы мартиниста Новикова. Сам в душе мартинист и масон, бездетный и вдовый, Травкин обыкновенно говорил: «Не делай зла другим, никто тебе его не причинит, весь мир — твоя семья, люби его и чти!» Он был мягок и добр со своими крестьянами, а из соседей особенно любил Алексея и его семью. Дома у него было два развлечения — виолончель и приемыш-крестник Боря. Ему Травкин сберегал свое небольшое достояние, так как родной брат Силы Фомича, Павел, женатый на богатой яицкой казачке, отказался от наследства по отцу. Двенадцатилетний мальчик, которого Травкин учил грамоте и играть на скрипке, не мог по своему возрасту разделять его умственно-возвышенных досугов. Эти досуги Сила Фомич наполнял мелодическими фантазиями на лютне.

Травкин сообщил Глебу о возвращении в Горки его брата. От него же Глеб и Мари узнали, что Алексей, снова поселясь в деревне, впал в еще большее уныние и скорбь. Вид осиротевших, без матери, детей приводил его в безысходное отчаяние. Хозяйство более не развлекало его. Он без толку слонялся по дому. Прежде любил охотиться, а теперь бросил собак и ружье. В одном он находил еще некоторое утешение: сойдясь с приходским священником, престарелым, набожным и толковым отцом Василием, Алексей целые дни проводил с ним, запершись в своем сельском кабинете и читая Священное писание — «единое, — как выражался Сила Фомич, — утоление скорбящей его души».

«Вы представить себе не можете, — писал между прочим Глебу Травкин, — что́ сталось с вашим добронравным и унылым братцем! Сидит, в точности говорю, по вся дни наедине, хотя и с препочтенным, но дряхлым попом, в ночном шлафроке или в известном вам дорожном драном архалучке, не причесан, а нередко по суткам и не умыт. И что́ делает? Читает о жизни Магдалины, Иродиады и иных

палестинских жен. Домочадцы со скорбью слышат его вздохи, а часто и рыдания. Отец Василий неустанно вразумляет его, хотя, по видимости, и тщетно. Начавшие было, от известных вам причин, копошиться и грубить крестьяне, подданные вашего братца, благодарение Богу, присмирели. Да оно и препонятно; с Яика дошли вести, что состоялась сентенция над главными бунтовщиками — более сорока человек повесить, дванадесять четвертовать, а остальным — нещадные плети».

В начале апреля 1773 года Глеб и Мари получили краткое известие от самого Алексея. Он им писал, что при постигшей его беде ему пришла благая мысль — перестроить в Горках ветхую деревянную церковь; что он начал уже заготовлять для того нужные припасы и что вскоре, с Божиею помощью, надеется собраться со средствами и приступить к обновлению этого храма. «Все предполагаю, — писал он, — окончить не далее лета», причем просил брата и невестку на высланные деньги заказать и доставить ему из Москвы в Саратов часть церковной утвари. О Серафиме с выезда своего из Москвы Алексей не вспоминал ни единым словом.

В конце апреля Глеб от Травкина получил следующее письмо.

«Сообщаю вам некую особливую и любопытства достойную весть, — писал он. — Наша известная авантюрьера, сиречь Серафима Львовна, подала, наконец, о себе весть; она, заблудшая овца, объявилась, токмо уже не в Киеве, а близ Казани, в родовой вотчине превосходительной своей тетушки, генеральши Туровцовой. И представьте, прямо о себе осмелилась написать, кому же? — самому Алексею Андреевичу, и притом так гордо, даже заносчиво! «Известите, мол, прошу вас, милостивый государь мой, что и как с моими детьми?» Каков вопрос и к кому обращен? К несчастному, брошенному ею же

мужу! Алексей Андреевич, разумеется, на оное писание вовсе и не удостоил ответом».

— И отлично сделал! — сказал Глеб, прочтя вслух это письмо жене. — Давно бы так взяться за ум! Не было бы того, что́ произошло.

Наступил май. В течение этого месяца, по извещению того же Силы Фомича, Серафима снова и уже не один раз, а в двух подряд письмах адресовалась к мужу с теми же вопросами о детях.

«Пишет, вообразите, и паки пишет, — сообщал о ней сосед Алексея, — и уж собственною ли это персоной, или по выговорам и должному осуждению разумной своей тетушки-генеральши, только в эти разы многажды мягче и в подобающем приличии. Сейчас и видать, жизнь-то в постороннем, хотя бы и приютившем ее углу, при всех о ней заботах и роскошах, ой как солона, знать, пришлась оной, новой, выразиться так, Пентефрии. И извините меня, глубокочтимый Глеб Андреевич, за такое сравнение; к слову привелось. Не соблазняй, сударушка, глупых молокососов, не греши! Ваш же препочтенный и всякого сочувствия достойный братец, и на те, более искательные, уловления не только вновь не ответствовал, но, как и следует, не обратил ни малого внимания — обоими письмами такожде пренебрег».

— Пентефрия, — с досадою фыркнул Глеб, прочтя и это письмо жене. — Нечего сказать, поделом, удостоилась твоя бывшая подруга клички! И от кого же? От Травкина, ничтожного и глупого однодворца.

Глеб выходил из себя. Мари с болью в сердце слушала его жестокие и резкие отзывы о Серафиме, всячески стараясь возвратить к ней хотя тень снисхождения мужа, но не достигла этого. Глеб оставался при прежнем мнении о Серафиме. Мари после писем Серафимы к мужу пыталась заводить с Глебом разговоры о невестке при посторонних, близких им знакомых. Те, в особенности Спесивцев, открыто держали ее сторону.

XV

Однажды, это было в середине мая, Дугановы беседовали в обычном своем кругу об Алексее и его жене. Мари решилась утверждать, что Серафима, несмотря на внешние поводы к ее обвинению, в душе не испорчена и, как добрая женщина, всегда искренно способна раскаяться.

— Марья Родионовна права, — сказал внимательно слушавший ее Спесивцев, — и вы, Глеб Андреевич, увидите, ваш брат, насколько я его знаю, если не в этом, то в следующем году непременно снова сойдется с женой.

Глеб при этих словах вспыхнул. Краска залила его лицо.

— Как? Мой брат? — спросил он, меряя Спесивцева глазами.

— Да-с, Алексей Андреевич Дуганов.

— И вы такого дурного мнения о брате?

— Чем же дурного? Он человек, и притом с добрым сердцем.

— Так вы допускаете, — продолжал с раздражением в голосе Глеб, — что после всей грязи, запятнавшей его доброе, неповинное имя, он откроет свои двери и скажет этой женщине, этой твари «милости просим, снова водворяйся у меня и по-былому царствуй»?

— Какое же унижение, помилуйте? — возразил Спесивцев. — К мужу придет грешная жена, в двери родной семьи станет стучаться, моля о пощаде и примирении, опомнившаяся мать, и этой двери ей не отопрут?

— Ведь ты же допускаешь, нельзя же не допустить покаяния? — спросила мужа Мари, сжимая и целуя ему руку.

Глеб вырвал у нее руку и встал.

— Все можно говорить, — сказал он, с приливом острой непонятной злобы смотря на доктора и на жену, — но этого... Извините меня!.. Считать моего брата за такое... Жалкое ничтожество!.. Воля ваша, этого я снести не могу!

— Но вы же, да и ваш брат, — произнес Спесивцев, — давно ли вы оба говорили как раз противное тому, что проповедуете, по-видимому, теперь? Ведь он именно делает то, что вы говорили... Вот она, жизнь! Значит, не одно дело — говорить и делать, значит...

Глеб не дослушал доктора. Он встал и направился в кабинет, но увидел в зале свою шляпу, взял ее и вышел на улицу. Мари видела, как он подозвал первого попавшегося извозчика, сел на дрожки и уехал. У него в тот день, как Мари знала, было нужное дело в городе, и обрадовалась, что муж проездится, а следовательно, и успокоится.

— Ну-с, милая барыня, а у вас все ли благополучно? — спросил Спесивцев, тоже взяв шляпу. — Что́ пишут из Ракитного? Незабвенная Украйна!.. Как здоровье вашей свекрови?

— Maman здорова, — ответила Мари, — но вот, право, мы толкуем о разных разностях, а я и забыла... С Васей что-то неладно.

— Что́ же у него?

— Головка горячая, все плачет.

— На зубки, Марья Родионовна... Очевидно, пустяки-с, и вы о том не думайте... Вырезался один, пойдут, с Богом, и другие...

— Легко сказать, не думать!

— Да в детских болезнях, сударыня моя, менее всего прибегайте к медикам.

— Ах, Боже мой, у вас все одна песня! — сказала с досадой Мари. — И помирать-то, кажется, мы станем, а вы будете толковать одно: не обращайтесь к врачам. Не вы ли мне говорили про какую-то чудовую травку для детей — материнку, что ли, — от которой будто даже умирающие воскресают?

— Это истинная-с правда, только вы меня не поняли... Заболей действительно кто-нибудь, о, разумеется, я первый... Зовите тогда и меня, где бы я ни был и что́ бы ни

делал, явлюсь, и не только для вас стану медиком, пропишу и эту материнку.

Спесивцев поклонился и хотел уже идти.

— А кстати, однако, — сказал он, — дайте взглянуть на вашего наследника, из-за чего он у вас стал киснуть?

Няня принесла ребенка. Спесивцев внимательно осмотрел его.

— Малокровие, — сказал он, — вы, впрочем, тоже не отличаетесь особым здоровьем. Мало питаетесь, через вас и он. Памятуйте, повторяю, великих виталистов Броуна, Бартэ и Сталя; я вам о них говорил. Лучше питайте ребенка. Скорее отнимите его от груди и ставьте на общую пищу; а еще будет лучше, если и вы сами, с мальчуганом, это лето, да и часть осени проведете в деревне. Vis medicatrix naturae...

— Нельзя нам на юг к maman; у мужа столько занятий.

— Так переезжайте здесь, в окрестности. Вы же говорили, что князь давно предлагает вашему мужу свою здешнюю казенную мызу, возле Кунцева. Ребенок и вы скоро там оправитесь.

Мари передала Глебу, как бы от себя, эту мысль. Он сам ей не раз в этом году говорил о деревне и был не прочь подышать сельским воздухом. У них же, кстати, постоянно были свои лошади для поездки Глеба на службу, — значит, можно было удобно устроиться — и Дугановы около половины мая переехали на казенную мызу возле Кунцева.

Вскоре после этого переезда Глеб получил от Алексея письмо с извещением, что перестройка церкви идет успешно и что на Петров день он просит и ждет брата и его жену на освящение церкви. Ехать им в Горки не пришлось. Мари недавно перед тем отняла Васю от груди и, хотя чувствовала себя на мызе, вне городской духоты и пыли, отлично и была вообще в духе, хотя и ребенок, перейдя на собственные свои хлеба, повеселел и стал оправляться, не решалась оставить

его одного, на руках няни, а брать его с собою в дорогу, да еще в такую даль, сильно опасалась.

У Глеба около этого времени тоже накопилось много неотложных и важных служебных дел. Князь, охотно отпускавший его по делу брата в Киев, теперь беспрестанно звал его к себе. Ездя по сильной жаре в город и возвращаясь оттуда донельзя усталый, с грудами бумаг, Глеб и дома, на мызе, просиживал над ними иногда за полночь и стал, наконец, поговаривать, что вскоре ему, пожалуй, предстоит новый утомительный отъезд в какую-то дальнюю командировку. На настоятельный вопрос жены, куда это и зачем, он нехотя и озабоченно ответил: «Неприятная комиссия и пока секрет. Одна знатная особа, некто Коронина, подала жалобу самой государыне на неуважение и неповиновение своей вдовой дочери, а ее дочь в Петербурге... Возились мы с этою барыней, разбирали, судили, и теперь князь твердит одно, что без моей поездки в Петербург дело не обойдется. О, как бы мне не хотелось ехать! А нельзя, эта обиженная дочерью Коронина — близкая родня нашему князю».

Переносясь мыслью в Малороссию, к maman, Глеб и Мари с удовольствием вспоминали Ракитное, его сад и грачей, привольную жизнь в деревне и охоту на берегах Донца. «А что-то наш пациент? — сказала как-то Мари, обратясь к Нинет, после одного из таких разговоров с мужем, вспомнив ярмарку в Кабаньем и случай с конем комиссара. — Поймали ли беглеца и возвращен ли похищенный им конь?» — По совету Нинет, она спросила о том в одном из писем к приказчику свекрови, к которому изредка обращалась по поводу внуков Сысоевны, детей Якова, служившего у них садовником в Москве.

«Оный казак Иванов, — ответил приказчик, — объявился закоренелым бродягою и мутьяном, а сбежавший с ним в прошлом году житель Кабаньего, Коровка, возвратился было в тайности к жене и был изловлен, но снова утек, с женою, из холодной, через подкоп. Вам, сударыня, ведомо,

каковы наши сельские остроги. Что же до его постояльца, Иванова, то с той поры о нем ни слуху ни духу. И даже жив ли он, в настоящее время никто про то не сведом, а скорее всего, что ускакал из наших палестин в иные, воровские места, да притом, полагаю, загнал до смерти неповинного коня либо продал его в каком-нибудь, сказать, притоне, а деньги пропил и где-нибудь, под забором или на той воровской дороге, сам пропал, а попросту, аки пес, издох. Все оные так, извините, кончают».

Казак Иванов, однако, не пропал.

XVI

В начале августа 1773 года, в пустынной и дикой сызранской степи, у речки Таловой, на перепутье от реки Иргиза к Яицкому городку, стоял одинокий постоялый двор, по прозванию в околотке Таловый умёт.

Это была невысокая, но обширная, в два жилья, мазанка из плетня, с сараем, погребом, баней-землянкой, камышовою огорожей и с далеко видным колодезным журавлем.

Был вечер субботы. Погода стояла тихая и сухая. На небе ни облачка.

Над пожелтевшими скошенными жнивьями и выбитыми скотом травами медленно парили коршуны, в терновых кустах и уцелевшем ковыле высматривая дремлющих, с открытыми, пересохшими ртами дроф и выводки куропаток. Изредка в знойной, безветренной тишине то здесь, то там сами собой по дороге и по новой пахоти срывались, кружа и неся густую пыль, высокие черные вихри.

Кругом было тихо. Издали слышалось только серебристое ржание жеребенка, потерявшего на тощей пастьбе свою мать, да из скрытого, за пригорком, в овраге, дубового леса доносился клекот степной орлицы, сзывавшей слетков-детенышей к растерзанному зайцу или к молодому сайгаку — дикой козе.

Хотя солнце клонилось к вечеру, в воздухе было еще знойно. На дороге и вокруг умета не было видно ни души. Два сторожевых пса-волкодава, один — рыжий, куцый, другой — серый, с репейниками на боках и в сбитых клубнях хвоста, спокойно спали у открытых ворот. Окрестные поселяне в ожидании праздника заранее разбрелись с поля по домам. Одни пастухи маячили в опустевшей степи, да и те от духоты попрятались по рытвинам и оврагам или в тени курганов и одиноких терновых кустов.

Старый хозяин-уметчик, отставной пехотный солдат, Степан Оболяев, был старовер беспоповского толка. Он сидел тоже в холодке, у заднего крыльца мазанки, своею тенью уже застилавшей почти половину двора, а ввиду того что его хата и двор были пусты и что перед праздником не ожидалось прохожих, от скуки портняжничал. Надев на нос большие оловянные очки и что-то бормоча себе под нос, он заскорузлыми, мозолистыми руками чинил какую-то меховую одежонку. Он был высокого роста, с подстриженною седою бородой, с юношески румяным, приветливо улыбающимся лицом и с серьгой в правом ухе. Набожный и добрый, он в молодые годы много натерпелся, живя сиротою в работниках, на Яике, и теперь охотно давал у себя приют всяким гонимым, бездомным и утеклецáм. По смерти жены, оставшись один, с малолетним племянником, он невольно втянулся с тех пор в женское хозяйство, сам стряпал и мыл, не стыдясь, подвязывался передником, месил и пек хлебы, прял кудель и доил коров.

У него и теперь скрывались двое бродяг, бежавших с дороги в Сибирь. Кто они, за что ссылались и как бежали, он их не спрашивал. За кров и пищу беглецы свезли ему сено и теперь стерегли его скотину, носили ему из лесу валежник и исполняли всякие нужные требы. Их пребывание здесь не тревожило старика; пора была глухая, да и его двор стоял так далеко от всякого надзора и полицейских команд. Племянника в то время он куда-то услал за солью и мукой.

Оболяева втайне занимал третий его постоялец, вторично пришедший к нему на днях и особенно просивший его о приюте. О нем-то задумался теперь уметчик, изредка поглядывая в ворота и продолжая работать иглой в холодке крыльца.

«Странный человек, — рассуждал Оболяев о своем госте, — чуть свет ушел на охоту с ружьем, говорит: надо бы, как след, встретить воскресный день, уважить хозяина, достать кой-какой дичины. Да вот с утра и нет его; взял сухарь хлеба и не идет. Так-то приходил он сюда и недавно, да вдруг и сгинул — тоже пропал. Назвался тогда донским казаком, нашей старой веры; сказывал, что прячется, страждет за истинный крест и бороду и что хотел бы послужить единому, праведному, древнему Богу. Потом это, вдруг, признался, что он не казак, а быдто богатый заморский купец; что был он в чужих странах — в Неметчине, в Египте, в Ерусалиме, а опосля в Изюме и на Яике. И быдто летось подговаривал донских и наших яицких казаков от гонений за веру переселиться в Турцию, за Терек; что там-де у него припасено для казачества сотни две тысяч рублями и больше чем на полсотни тысяч товаром и что турский паша встретит наших с честью и лаской, даст всем вольную волю — земли сколько хочешь, всяко жалованье и почет. Я его спрашиваю: откуда же, миленький, у тебя этакое аховое богатство? А он: я, мол, выходец из Польши, из тамошних князей, да скрываюсь. А, князь, думаю, так и князь! Только попался это малый, с подговорами, сперва на Тереке, потом на Дону; приковали его в Моздоке на цепь к стулу, да скоро, провора, бежал. А как изловили на Дону, оттоле уже, в кандалах, прямо погнали его в Казань. Плохо было сердечному в казанских черных тюрьмах. Все рассказал он, даже плакал, как его там мыкали и томили... Подговорил молодец товарища, оба отпросились с конвойным на молитву, к знакомому попу; послали за угощением, напоили попа и солдата, а на пути сын товарища подхватил их в припасенную телегу — и поминай как звали, — оба ушли из Казани сюда, на Иргиз.

«Ловок, шустрый, бестия! — подумал уметчик, с удовольствием вспоминая рассказ постояльца о его смелом побеге из Казани. — И ведь не попался, Ерема, Еремкин — курица те в рот! А поп-то, ох, этот-то хмельной поп! Видит он из окна, сели они с конвойным в телегу, быдто договорили подводчика подвезти их хмельных в острог, проехали этак малость да вдруг столкнули пьяного солдатика наземь и поскакали».

Глаза Оболяева при этих мыслях весело прищурились; сквозь редкие, съеденные зубы послышался кашель и смех, и все его тело приятно заколыхалось. Нитка выпала из иглы. Отерев слезы, но еще смеясь, он ссучил и прикусил нитку, только что нацелил ее в иглу, как свет ему заслонило что-то белое и лохматое. Уметчик поднял глаза.

Перед ним стоял, с ружьем в руке, придерживая на плече убитую козу, среднего роста, сильно исхудалый, загорелый и широкоплечий, лет тридцати двух мужик с редкою черноватою бородкой, в которой уже пробивалась ранняя седина, в посконной, примаранной кровью рубахе, синих набойчатых шароварах, сермяжном колпаке и в худых, на босу ногу, войлочных котах. Лохматые псы пропустили подошедшего без лая, как знакомого человека.

— Освежуй-ка, надежа! — усталым, хриплым голосом сказал подошедший, сбрасывая наземь дичину. — Уж и походил же я, полазил за нею; сайгачок хоть куда.

Он снял шапку, отбросил со лба слипшиеся темные волосы и рукавом отер сильно вспотевшее лицо. Его глаза раздражительно улыбались; у левого виска от усмешки обозначалась белая морщина.

— Молодец, Ерема, Еремкин-курица! — воскликнул уметчик, радостно разглядывая молодую, светло-желтую козочку с гладкою шерстью и красивыми глазами. — Будет на праздник кашица; так-то! Ждал тебя долго... Наварим таперича и напечем.

Тот, кого Оболяев обзывал Еремой и Еремкиным-курицей, носил, как он знал, другое имя, эти же прозвища были

любимыми присловьями уметчика, из-за которых его самого звали в околотке Еремкиным-курицей.

— Да ты как же это, Емельян Иванович? — спросил Оболяев. — На пастьбе его стрелил али так угодил, на бегу?

Охотник презрительно повел черными, наигранными, арестантскими глазами и молча стал опять поднимать козу.

— На бегу? — спросил он. — Да нешто у меня, как у какого пана, готовые патроны при поясе и всякое снадобье? Всю картечь давеча расстрелил; вышел с двумя пульками, сам знаешь, и все... Пан!.. Говорю тебе, выследил в гаю... Ну, думаю себе, — продолжал он, — пойдут они к вечеру в лощинку, на водопой; опознал это я козьи следы по грязи у ключа и пополз. Каки-таки мы богачи? На заряды капиталов нету. С версту я лез в гущине, руки во как исцарапал — и залег. Вижу, жар отвалил. Идет это она, да сторожко так ступает ножками; спустилась к камышу, потянула студеной струйки, весело так дышит — и глянула вверх на меня, а я в траве лежу и целюсь прямо ей в морду... Да ласково так, треклятая, ну, точно человек, поглядела! Я и стрельнул...

Уметчик замахал от смеха руками и, старчески охая, поднялся на ноги.

— Иди же, родимый, — сказал он, ковыляя на крыльцо, — потрудись Богу, наруби дровец, истопим баню... И сам ты у нас еще не мылся... ишь как окровянился... А я все изготовлю. Не хочешь ли щец? Животы с утра, чай, подвело? Там оставил племяшку; хватит и тебе.

XVII

Охотник, взвалив козу на плечи, пошел от крыльца к сараю. Солнце спустилось за дальние синеющие холмы. Степь покрылась мглою. От соседнего лесистого оврага потянуло прохладой. Во дворе раздались звуки топора. У ворот плетневого база, скотского сарая, гость уметчика сильным

взмахом худых загорелых рук рубил на осиновой колоде сучья валежника. Сам Оболяев в сарае, против ворот, сидел на корточках с ножом в руках, свежуя висевшую с перекладины дичину. Из трубы землянки-бани, вырытой обок с сараем, валил дым.

— Так плохо нашим-то яицким казакам? — спросил гость, останавливаясь рубить дрова.

— Еще бы, батюшка, не плохо. За убивство немца-енарала сколько старшин сослано! А за пограбленное у него добро на всех рядовых войсковой руки наложили пеню, да какую! — по полсотни и более целковых. Опять казаки стали мутиться; сбираются всем войском за море, в Астрабад либо в Золотую Мечеть. Да как его идти? Везде караулы, начальство; кто и как проведет?

— Я проведу! — сказал гость и так при этом ударил топором по сучьям, что сразу перерубил целый их пук.

— Может, соколик, и проведешь, — ответил, покачав головой, Оболяев, — да с чем они тамотко, бросив свое добро, возьмутся за дело?

— За границей, у турского паши, — проговорил гость, — моих пять миллионов оставлено... Надо, старик, ой как надо вызволить страждущих братий.

Оболяев чуть не выронил ножа. Он с удивлением взглянул на гостя, соображая, шутит ли он или говорит правду. А тот по-прежнему сильными взмахами рубил дрова. «Чудны дела Твои, Господи, — набожно мыслил уметчик, — бывает всяко, Господь правит... И в древности важные и чиновные мужи смиренно ходили промежду убогих и простецов, чиня всякую помощь угнетенным и сиротам».

Баня была готова. Оболяев и его гость усердно выпарились и вымылись в ней, и оба оттуда вышли красные, в чистом белье и с расчесанными надвое головами и бородами. Уметчик дал гостю вместо его грязной, замаранной кровью рубахи свою — чистую, из тонкой синей бязи. Они закусили постными щами с луком в ожидании назавтра козьей похлебки и разошлись: уметчик — доить пришедших с поля

коров, а гость — в темный чулан, прилаженный в углу скотского база.

Настала ночь. В бане еще светилось. Там мылись пригнавшие с поля скот бритые лбы. Но скоро и они, поужинав, напоили волов и коров и снова погнали их на ночную пастьбу. Кругом опять стихло. Изредка только раздавались ворчание и лай собак, лежавших за воротами и чутко глядевших на потемневшую дорогу.

Уметчик возвратился в избу и лег на полатях. Но ему не спалось. Из его головы не выходили слова гостя о пяти миллионах. Но более этой суммы его занимало то, что он вдруг разглядел на лице и теле гостя в бане: беловатого цвета шрам под волосами, у левого виска, и такого же вида, как бы вдавленные друг в друга, желобки или рубцы на плече и на груди, ниже соска.

«Что бы это за знаки? — размышлял Оболяев. — Откуда они у него? От золотухи или от иной болячки? Или рубцы от катовых плетей?.. Так нет, по его словам, он убежал от казни. Спросить разве, да не скажет... Важный, шельма! Хоть худой, а такой корпусный, проворный да строгий, с виду же совсем простой человек! Обиняком выпытать, что ли, пойти?»

Уметчик встал, накинул на плечи шубейку и вышел во двор. Ночи прошло не мало. Месяц уже высоко стоял в безоблачном небе. Кругом была мертвая тишина. Заслышав шаги, собаки с лаем шарахнулись с дороги к припертым воротам.

— Цыма-те, треклятые! — крикнул на них уметчик. — Цыц.

Он, однако, остановился, подумал: «Нет, лучше завтра! Теперь уж, видно, спит!» — и, покряхтывая от лома в старых костях, возвратился в хату, раздумывая: «Купец бестоварный, бродяга... а вышел вон что...»

Гость Оболяева также еще не спал. Раскинувшись под зипуном на дощатом помосте, прилаженном в углу чулана, он думал крепкую думу.

Мысли о молодых годах, когда он жил еще подростком на Дону, при отце, сменялись в его голове воспоминаниями о походе с казаками в Пруссию, где он на Одере, на смотру, впервые увидел чужеземного венценосца, прусского короля, окруженного генералами и пышною, в золоте, свитой, и где между тем наутро его самого нещадно высекли плетьми за пропавшую на пастьбе лошадь полковника.

Вспоминались ему возврат с границ Неметчины и краткое пребывание на родине с женою и детьми, посылка с командой для ловли беглых раскольников, близ Польши, поход под Бендеры, новый возврат в родную станицу, побег на Терек, арест и цепи, казанский острог и новые шатания по степным притонам. Все вспоминал он — бедность и лишения, тюрьмы и кандалы, зависть и злобу к богатым и сильным и неутомимое стремление к воле и чему-то волшебному и сказочному, что так его манило и о чем он иной раз боялся даже думать.

И как было не думать о лучшем, не завидовать другим, когда кругом всем было лучше? Многие из казаков родной станицы, бывшие с войском в Пруссии, возвратились оттуда с завидною прибылью. Тот вывез с похода дорогое оружие и лошадей, те раздобыли женам и дочерям шелковых и бархатных нарядов, а этот после взятия завоеванного Берлина уже прямо стал богачом, вывез кожаный пояс, полный золотых иноземных дукатов. И по-домашнему дело удалось многим. Те небывало расторговались солью, эти рыбой, а ближний сосед даже, по слухам, нашел где-то целый клад, попросту же, как его подозревали, убил и ограбил в степи проезжего с Каспия купца. Всем было хорошо; у него только хата стояла с продырявленною крышей и нечем было ее покрыть, а его жена и дети сидели голодные, по месяцам питаясь пресными лепешками, без сала и соли. Возвратился он в прошлом году из бегов и самой хаты своей не нашел; ее продали за долги в соседнюю станицу, семья

же из милости жила у родичей, в новых долгах. Мельнику жена задолжала за муку шесть рублей, попу, за зимовлю коровенки, два с полтиной. И опять он ушел бродить и шлялся, проживая то здесь, то там, вспоминая укоры и брань голодной жены.

Болезнь застигла его в Изюмском уезде, у казака Коровки. Излечась, он убежал оттуда, добрался до Царицына, услышал там о появлении, наказании и ссылке самозванца Федота Богомолова; расспросил о нем, переплыл на челне через Волгу и, побывав в Яицком городке, направился к знакомцу Коровки, Оболяеву, на Иргиз. Уметчик был также одно время в Изюме; служа в солдатах, он водил туда каких-то беглых и ночевал по пути у Коровки.

«Не сумел Федот-простота! — рассуждал о Богомолове гость Оболяева. — Назвался спьяну царем Петром Федоровичем и знаки какие-то показывал на груди и плечах; все ходили взглянуть на новоявленного, аки бы чудом спасенного императора. Не его ума дело! Сплоховал, замучили, сгинул! Не так надо было начинать и не так кончать... А его дело, сказать правду, не умерло, далеко пошло и живет... Все ждут, все алчут видеть новоявленного общего избавителя. Другого такого случая не было и не будет. Рот раскрыли, души раскрыли, ждут... Давно это думаю и я... Смелое дело; дьявол манит... Ведь и у меня знаки от болезни... Да как взяться?.. Иль настала пора?»

Гость Оболяева ворочался с боку на бок в темном чулане. Смелые мысли уносили его далеко.

Настало утро. Среди двора уметчика на таганке кипел котел с похлебкой, и тут же на лучинках хозяин дожаривал нарезанный ломтиками козий бок. Запах вареного и жареного мяса приятно распространялся по двору. За воротами скрипел рычаг колодезного журавля. Постоялец Оболяева, опершись разутою волосатою ногою в сруб колодца, мокрыми, покрас-

невшими руками подхватывал брызжащую бадью и выливал ее в корыто, для пойла коней каким-то подошедшим подводчикам.

Накормив и отправив фурщиков, Оболяев и его гость постлали наземь, в холодке у сарая, скатерть, принесли туда миски с едой и уселись за праздничную трапезу. Уметчик был в новом азяме; его гость тоже приоделся и обул коты. Истово помолясь двуперстным крестом на восток, оба они сперва принялись за мясную, с чесноком, похлебку, потом за жаренный с солью и перцем козий шашлык. Их лица от удовольствия раскраснелись и вспотели; глаза не поднимались от мисок; полные рты молча и старательно жевали. Утершись концом общего ручника, Оболяев перевел дух, протянул руку к пузатой, поливянной фляге и налил из нее по стаканчику какой-то золотистой настойки. Хозяин и гость, перекрестясь, выпили и повторили еще по стаканчику.

— На тысячелистнике, — заметил Оболяев.

— Вижу, — ответил постоялец, — знать, давняя — захватывает дух.

XVIII

— А скажи-ка, Пугачев, — обратился к гостю Оболяев, — что это вечёр за знаки я видел у тебя на груди?

Пугачев не ответил.

— Быдто орлы али кресты у тебя, — продолжал уметчик, — на плече и на груди...

— Знаки государевы! — спокойно проговорил, утираясь другим концом общего ручника, Пугачев.

— Как государевы знаки? — спросил, чуть не привскочив на земле, старик. — Ах ты, Еремкин-курица, шутник! И придумал же, матушка ты моя! Откуда на тебе быть царским знакам?

— Ну, прямая же ты, вижу, курица, коли так! — небрежно зевнув, ответил гость. — Сколько лет живешь, был

в солдатах, а о царевых приметах даже не слыхал. Ведь каждый государь от рождения имеет на себе телесные, для отличия, знаки.

— Что ты это, Емельян Иванович, помилуй! — в страхе произнес уметчик. — Опомнись! К чему сказывать такие слова!

Пугачев помолчал. Он не глядел на уметчика. Пальцы его рук, перебирая утиральник, судорожно двигались.

— Экой ты безумный, — сказал он вдруг, гордо оправляясь, — и догадаться не мог! Полно с тобой скрываться. Благодарим за хлеб-соль и за приют. Ведь я не донской казак и не заморский купец, а только прикрывался, по нужде, до времени... Я — государь ваш Петр Федорович.

Уметчик вздрогнул. От испуга на нем как бы подрало кожу и сперло дыхание в груди. Несколько секунд он не мог выговорить ни слова.

— Господи! С нами крестная сила! — проговорил он побелевшими губами. — Государь! Да ведь он уже двенадцатый год, как помер! Панихиды мы, сорокоусты пели...

— Врешь ты, мужик! — презрительно и гневно возразил Пугачев. — Петр Федорович жив... смотри, вот он перед тобою — я сам...

Уметчик окончательно растерялся и, разводя руками, только кланялся.

— Надежа-государь! — произнес он, чуть не плача. — Все бери, все мы твои! Не изволь гневаться; прости, коли чем, по незнанию, изобидел тебя, не помяни лихом, что обращались с тобою, как с простым.

Глаза Пугачева засветились удовольствием. Первый, признавший за ним похищенное имя, обращался к нему с слепою, беззаветною преданностью.

— Ничего, ничего, старичок! — сказал он с снисходительным одобрением. — За что гневаться, оченно тебе за все благодарны. Только ты до времени не моги нас называть царем и, главное, слышь, не проговорись. Пусть пока я буду

для тебя и для всех, как был, донской казак Емельян Пугачев. Слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Благодарите Бога, — продолжал Емельян, разувшись и перестилая ветхие онучи, давившие ему ноги в котах, — вам отныне открывается благополучие, а когда мне объявиться народу, про то подумаем и решим.

Совсем смутившийся Оболяев, поглядывая на босые ноги и убогую, истоптанную обувь гостя, наскоро дрожащими руками убрал посуду, скатерть и ручник и, отдав рабочим остатки козы, ушел в хату, раздумывая: «Вот нежданное, вот Господь сподобил! Да правда ли все это?» До вечера Пугачев не выходил из сарая. Думая, что он спит, Оболяев перед ужином заглянул в его чулан. Пугачев, сидя на корточках, чистил развинченное и положенное на помост ружье.

— Что это, батюшка, изволишь делать? — спросил уметчик.

— Новая охота понадобится, нужно в порядке, а я люблю сам.

— И все своими ручками?

— В поте лица, старик, сказано... И всему народу так след!

— Ах-ах! — удивлялся Оболяев. — Чудны дела твои, Господи!

— А вот я тебе, мужичок, — сказал Пугачев, — прочту из Писания. Ты набожный, вижу, — слушай.

Он достал из мешочка с разною рухлядью затасканную тетрадь, вынес ее из сарая, прошел с уметчиком к хате и сел на крыльце.

— Сон Богородицы, молитвы Пречистой и всех святых за нас, грешных! — сказал он, держа тетрадь низом вверх, и, как бы читая, стал наизусть перевирать то, что́ помнил из Писания.

Уметчик, не слушая и не понимая мнимого чтения, только отирал слезы от радости и вздыхал.

— «И спросила Богородица: кто те, что стоят в огне по шею? И сказал Архистратиг: это те, что мучили и поедом ели безвинных людей... И бысть слава велия гонимым и убогим! — читал, глядя в тетрадь, Пугачев. — И всякому помощнику восхваление, честь и дар, вовеки...»

— Так, так, — говорил, кланяясь, Оболяев, — а скажи, ваше... то бишь, Емельян Иваныч, как же ты спасся?

— Везде не без добрых людей, — ответил Пугачев, — изволь, расскажу тебе... Отпустил меня в Питере из-под стражи верный офицер, Маслов, а похоронили тамотко вместо меня другого, померщего в то время простого солдата.

— Где же ты скрывался до сей поры?

— Не в одном месте, в разных, больше в Ерусалиме и в Египте, у тамошних преклонных мне царей, коли слышал.

— Потерпел же ты, родной, как подумаешь; вынес всякой тяготы.

— Да, старик, было всего. А теперь, вижу, вы и вся чернь до краю обижены моею женой.

— Это царицей-то Екатериной Алексеевной?

— Ну, да! Вот я не вытерпел, решил заступиться и всем как есть вас довольствовать. И хотя не время еще, кажись бы, явиться, да уж Бог, видно, привел.

Оболяев от умиления сидел ни жив ни мертв. «Экое благо открылось! — повторял он мысленно. — И у кого, поглядишь, царь-то объявился, изыдет отколь? Богоносные Аким и Анна... Симеон Богоприимец... молите о мне, грешном рабе!»

— Таперича, значит, как ты узнал и все то есть должо́н понимать, — сказал, помолчав, Пугачев, — надо начать самое дело... Так вот что, старина, завтра помой мне белье, нужен запас; да свинцу нет ли? Нарубил бы картечи, жеребков.

— Все тебе, батюшка, будет; есть, кажись, завалялся и свинец. Вот вернется племянник, найдет.

— А потом, опять же вижу, у тебя бывают знакомцы из Яицка-городка.

— Как же, сам я сколько годов жил в Яицке и кого там не знаю!

— Войсковой или старшинской руки?

— Больше нашей, войсковой.

— Ну, и ладно. Как подъедут это, выбери мне, кто понадежнее да умней и проворней, и объяви им, по тайности, про меня.

— Все объявить?

— Придет пора, прикажу; только, смотри, скромненько да умеючи, держи язык на привязи и ухо востро. Подумай, высмотри и пригласи сюда из разумных старичков... Я бы с ними тут погуторил, а там — Бог благословит — объявлюсь в городе и везде.

— Подумаю, выберу и позову.

Утром следующего дня уметчик у колодца старательно вымыл государево белье, развесил его по забору, между огородом и избой, а пока оно сохло, осмотрел телегу и стал ладить хомуты, на случай, если знатный гость пожелает куда-либо ехать. Пугачева не было видно в умете. Возвратившийся племянник достал свинца. Емельян нарубил картечи и со словами: «Мне тут негоже пока, на людях!» — взял сухарей, вскинул на плечи ружье и пошел в степь на куропаток и турухтанов.

В тот и в следующие дни на постоялый заезжали из Яицка кое-какие казаки. Они, по обычаю, жаловались на свое тяжкое житье и на притеснения вновь поставленных над ними командиров. Уметчик толковал с ними, расспрашивал их, но ни одному из них не решился открыть вверенной ему тайны.

Возвращаясь к ночи на постоялый, Пугачев расспрашивал уметчика, добыл ли он подходящих людей, чтобы через них вступить в сношения с Яицким городком. Получая отрицательные ответы, он начинал терять терпение и уже подумывал о новой перемене места. После своего признания

Оболяеву он стал испытывать необычное ему чувство страха, мучился подозрениями и вместе с тем не мог побороть в себе жажды смелого и безумного подвига, вдруг охватившего все его помыслы. Останавливаясь в поле у одиноких путников, варивших себе близ дороги кашицу, либо сталкиваясь с такими же гулебщиками-охотниками, как и он, Пугачев также начинал с ними речь о тяготах и бедствиях черного люда и готов был сделать им то же роковое признание. Слова рвались с его языка, но он вспоминал недавние свои бедствия и участь самозванца Богомолова и молчал, выжидая более удобного случая, который вскоре и представился.

XIX

Недели полторы спустя в Таловый умет завернул смышленый, средних лет знакомый уметчика, яицкий казак, за покупкой у Оболяева лошади, взамен украденной у него. Это было вечером, при Пугачеве. Емельян уговорил уметчика уступить бедному казаку лошадь в долг, причем не вытерпел и в присутствии Оболяева объявил казаку, что он царь. Смущенный вестью, казак вызвался тайно сообщить надежным из товарищей о важном госте, явившемся на Таловый, и в радости, что приобрел лошадь, ускакал в Яицк. Прошло еще несколько времени. Пугачев по-прежнему проводил все дни на охоте.

— А что, батюшка Емельян Иваныч, — сказал как-то Оболяев, когда Пугачев, усталый, возвратился к ночи в умет, — не лучше ли, чем здесь попусту ждать подхожих людей, ехать прямо в городок и объявить старикам, а после и всему народу?

Пугачев на это ничего не ответил.

«Уж не прогневил ли я его, непутный, лишним словом? — мучился в ту ночь сомнениями Оболяев. — Вечно, леший те в горло, хочешь, как лучше, а выходит невпопад!»

— Едем! — вдруг объявил наутро Пугачев. — Ты вчера ладно сказал! Только не в повозке, а верхом; у тебя двое кони... Оно легче, да и способнее, коли надо, каждому скрыться.

— Слушаю, надежа... а куда?

— Увидишь.

— Стар я стал, — сказал уметчик, — да для тебя, изволь, уж потружусь.

Он оседлал двух лошадей, навьючил в их торока сена, запасся хлебом и надел дорожный чапан. Гостю он дал ненадеванный верблюжий зипун и новые сапоги. Они выехали за ворота и направились напрямик, глухою степью, к Яику. Ехали целый день. Вечерело. До Яика оставалось верст с тридцать. Путь лежал по выжженному солнцем, пустынному и дикому бугру. Решив остановиться и покормить лошадей в долине, бывшей за бугром, путники медленно плелись чуть видною проселочною тропинкой. Усталые лошади, нагибаясь, пощипывали остатки иссохших, скудных трав. Путники, дремля, покачивались на седлах.

Вдруг Пугачев, ехавший сзади уметчика, приподнялся на стременах и тревожно стал вглядываться вперед. Его зоркие глаза различили в сумерках, на конце бугра, двух всадников.

— Берегись, — крикнул товарищу Пугачев, — какие-то гулебщики; не старшинской ли стороны?

Дремавший Оболяев вздрогнул, торопливо подобрал поводья, тронул коня нагайкой и сделал по склону бугра большой круг. Передний из всадников, ехавших навстречу им, также сделал вдали круг. Это на языке степных мест значило, что предстояла встреча своих, не врагов. Всадники приблизились. Уметчик разглядел в них знакомых яицких казаков.

— Мы, батюшка Степан Максимович, — отвечали они, — для ловли лисичек.

Оболяев оглянулся; Пугачев исчез, точно в воду канул. Недоумевая, как и куда он мог так скоро и на

ровном месте скрыться, уметчик стал расспрашивать казаков о Яицке.

— Что, дедушка, — ответил старший из охотников, — народ изморен до краю; то за убитого енарала секли, рвали ноздри и сослали больше ста человек, а ноне на все войско, за разор и грабеж начальства, наложена выть, да не поровну, с бедного больше, с богатого меньше, а ведь все равны. Казаки упираются, а старшинам то и на руку; опять пошли беды, пытки; в тюрьмах уже места нет, и никто не спокоен, не токмо за себя, а и за свою семью.

— Что же вы намерены делать? — спросил Оболяев.

— Все ждут государя; сказывают, появился здесь где-то в хуторах.

— Как же вы-то, братцы? Экое диво и счастье выпало черни, а вы ездите по охотам.

— Обеднели, надо выть сборщикам припасать. Закапканили мы это и выкурили из нор с полдюжины лисиц, да все мало.

— Эвоси, — прибавил другой из охотников, показывая на лисьи шкуры у седла, — в Пахомиев скит отвезем, заказывал на шубейку старец Филарет.

— Дома ли старец-то?

— А где ему быть? Видели, как ехали на ловлю, с пасеки шел.

Путники разминулись. Оболяев выждал, пока казаки скрылись в темноте, осмотрелся во все стороны, слез с седла и свистнул. Ему никто не ответил. «Да куда же он делся? — думал о своем госте Оболяев. — Или он по какому слову сквозь землю ушел, либо его крыла какие унесли?» Он хотел еще раз свистнуть и обомлел. В темноте послышался тихий шелест по сухой траве. «С нами крестная сила!» — прошептал уметчик, собираясь снова вскочить на седло и ускакать. На него лицом к лицу надвинулось что-то высокое и косматое.

— Боже! Да это ты, Емельян Иванович! — проговорил он, разглядев подъехавшего на коне Пугачева. — Ну, и про-

ворен же ты да ловок, точно ветром тебя сдуло; а я это с охотничками толковал.

— Все я слышал, тут недалеко, из кустов, — в раздумье ответил Пугачев, — пошла молва, не перенять ее теперь! Тот казак, видно оповестил... В Яицк нам уже не ехать, а наведаемся, значит, в Мечетную, в скиты; старец Филарет мне давний благоприятель.

— Для чего, батюшка?

— Письменные люди теперь мне нужны, бумаги, манифесты писать, а там между старцами их вдоволь. Туда же вызовем и главных из войска.

Спустившись в долину и переночевав там, Оболяев и Пугачев утром напоили подкормленных лошадей, взяли влево и тем же прямиком, через пустынный Сырт, пустились в Мечетную. Солнце еще не заходило, когда они увидели крылья мельницы и крайние заборы раскольничьего Пахомиева скита, стоявшего на берегу Иргиза, возле Мечетной.

Пугачев подъехал ко двору игумена Филарета, а Оболяев направился в монастырскую слободку, на постоялый двор. Накрапывал дождь. Пугачева опознал шедший навеселе из скита житель Мечетной, видевший Емельяна прежде и знавший, что его везде ищут после его бегства из Казани, особенно за толки о нем в Яицке.

— Ба, куманек! Откуда? — спросил мужик, остановясь.

— В город еду, по делу.

— А паспорт, Емеля, есть? — подумав, прибавил незнакомец.

— Как не быть!

— Где же он?

— В мешке; видишь, дождь.

— Пойдем-ка лучше к выборному.

— Ужо сходим, некогда, скоро вернусь! — ответил Пугачев, стегнув по лошади.

Он ускакал и у слободки догнал Оболяева.

— Беда, Максимыч, — сказал он, — меня признали тут; дадут, я чай, знать выборному, надо скрыться, бежим.

— Да чего же я-то, батюшка, буду прятаться? — удивился уметчик. — Коли ты решил объявиться, и объявляйся прямо; все за тобой пойдут... Разве знаешь что за собой, а мне нечего хорониться.

— Ну, как хочешь! — ответил, отъезжая, Пугачев. — Ведь и я ничего дурного им не сделал.

Оболяев последовал за ним. Оба они въехали в ворота Пахомиева скита. Но едва Пугачев слез наземь и начал под навесом близ колодца расседлывать коня, с околицы послышалась погоня. Монастырские старцы с тревогой выходили из келий.

— Беги, хоронись, — сказал Пугачеву вышедший из трапезной знакомый ему пекарь, — слышишь топотню? Это ищут тебя.

«Опознали! Неужели конец?» — подумал Емельян.

Он бросил лошадь и только что хотел уйти, его обхватили чьи-то сильные руки.

— А, куманек! — произнес, выступив из-за колодца хмельной мечетец, спрашивавший его о паспорте. — Теперь уже не уйдешь, выборный рассудит.

Пугачев изловчился, вырвался из его рук и так толкнул его в грудь к колодцу, что тот с размаха упал навзничь, через сруб. Пока упавший барахтался в неглубокой воде, Пугачев оглянулся, подбежал к плетню, перескочил через него в скитский огород и, как кошка, прыгая и мелькая белою рубахой в лопушнике и крапиве, добежал до спуска к Иргизу, спрыгнул в лодку, стоявшую у берега, переплыл на другой берег реки, втащил лодку в камыш и скрылся в прибрежном лесу. «Не робей, Емеля, — думал он, запыхавшись и едва переводя дух, — твоя стежка еще не исхожена».

Емельян слышал за собою крики выборного и мужиков, тщетно искавших его по кельям, сараям и погребам. Углубясь

в лес, он залег в его гущине. Здесь он дождался ночи, украдкой, в темноте, снова пробрался к берегу, сел над крутизной в траве и стал смотреть и слушать. Все стихло в скиту и в монастырской слободке.

«Ушел, а чуть опять не попался! — рассуждал Пугачов. — Близка была гибель... Нет, теперь уже дешево не продамся... Не с старцами и не с гулебщиками вести дело — надо звать выборных, главарей всего войска, да не в такую толчею, как здесь, а сперва, по тайности, в иное, укромное место... Нужно поднять все казачество. Время приспело; ждут царя стар и млад, — царствуй, Емеля! Смелому скатертью путь!»

XX

Пугачев вытащил лодку из камыша, снова переплыл через реку и пробрался в монастырский двор. Он в темноте прошел под навес, отыскал там и оседлал своего коня, тихо вывел его мимо спавших конюхов за ворота, вскочил на седло и ускакал в степь. Едва рассвело, он подъехал к Таловому умету. Усталый, голодный, с обветренным лицом и в намокшей от пота рубахе, Емельян молча слез с дымившейся, едва живой лошади и ввел ее во двор.

— А дедко где? — спросил его арестант, постоялец Оболяева, над чем-то копавшийся у сарая.

— Поймали, видно, Еремкина-курицу да, чай, ощипали ей уже не токмо перья, а и хохолок, — ответил Пугачев, отплевываясь пересохшим ртом.

— Как так?

— А так же, малый; нам самим ныне надо думать о себе. Были какие гости без нас?

— Были.

— Откелева?

— Из Яицка.

— Зачем? Что делали? Спрашивали меня?

— Прибегали верхом со степи, увидели, что никого нетути дома, и отъехали.

— Угощали вы их? О чем они пытали?

— Чем угощать? Сами без деда на одних сухарях... Все он запер... А те пытали о тебе.

— Что же спрашивали разведчики?

— Да как-то мудрено... Тут ли, мол, обретается батюшка наш, государь Петра Федорович, и здоров ли?

— Что же им отвечено?

— Здоров, мол, да уехал в городок; ну, они померекали еще маленько, сказали: коли вернется он и будет дома, дайте нам, ребята, какой знак, и уехали.

— Ну, карауль же, любезный, — сказал Пугачев, — не пропусти нужных гостей. Да племяннику не говори, что деда поймали, — еще станет реветь, до времени разгласит.

Сильно задумался, узнав о разведчиках, Емельян. — «Пришла окончательно пора! — мыслил он. — В Яицке дело, видно, на всем уже ходу. Надо быть ой как настороже... Знаю их... Не нынче завтра явятся и выборные от стариков. На что арестант, и тот догадался!»

Поставив лошадь к корму, в конюшню, он прошел в избу и стал шарить в печи и в поставцах, отыскивая чего-нибудь съестного. Печь с отъездом уметчика осталась нетопленой; на полках и в разных закутах, где обыкновенно у деда хранился хлеб, валялись только остатки сухарей. Пугачев прошел к колодцу, напился, умылся и сел у ворот. Он рассеянно глядел в степь. Голодные, отощавшие, как и он, собаки, бродя по двору, уныло смотрели на него, помахивая отвисшими хвостами. Настал вечер.

— Да как же это, парень, чем вы тут живы? — спросил он арестанта, гнавшего волов к водопою.

— И не говори, кормилец, — ответил тот, — то была еще мучица, болтушку стряпали, а нынче грызем последние сухари; дедкин племянник утек это на слободку, к крестной,

а землячок наш другой и вовсе помандровал на Узени... Хоть бы молока, кайкаму! Коровы разбрелись в лесу, без помочи и не найдешь.

Озлобленный Емельян лег в сарае. Ему не спалось. «Господи! Да неужели же все так-то будет и дале? Неужели не решусь? За тем-то, за Богомоловым, ведь шли же, верили ему. А у меня знаки на теле и на лице почище будут... Скажу, что я-то именно, а не он и был в Царицыне и ушел оттоле сюда. Нет, так просто нельзя; надо, ой надо иное что — похитрее! Серому мужику, драному зипуну, сказано верно, и не попасть в царствие Божие; богатому да сильному — вот кому легко... Нужны сила да богатство... А Господь грехи-то простит.

Ворочаясь с боку на бок, Емельян снова всю ночь думал о скудости, убожестве и бедности своей семьи. «Как-то им там живется без меня? Исчахла еще, чай, более жена Софьюшка; голодают, видно, как и он, малые дочки — Аграфена да Христина, и ни на что извелся сын, подросток Тришка». И до утра грезились Емельке душистые и мягкие пшеничные пампухи, блины с конопляным маслом и с луком. Он мысленно глотал их целые миски, запивая брагой и пивом. «Да и что высоко метить? — рассуждал он. — Хоть бы ублажить скорее казачество, поднять и вывести его в другие, вольные места, на иные, турецкие, что ли, воды да попасть притом, за заслугу, в старшины. Зажил бы вот как! Изба в две клети, с резным коньком, ворота расписные, круторогие волы да пара, а то и две лихих коней. Раздышался бы вволю на сытой еде, на сладком питье... А выше? Почему же, спросить, и не выше?»

И вспомнился Емельяну один вечер. Он вторые сутки скакал из Кабаньего к Дону на похищенном у комиссара ногайском жеребце. Лихой был конь; мчался с малыми отдыхами, где пощиплет травки, где хлебнет воды из тощей степной речонки, а крутые ребра так и ходят, налитые кровью глаза пылко глядят: скоро ли опять в дорогу? На последнем перегоне долго скакали без воды. Конь шатался,

измучился жаждой и седок. День был знойный; в степи, куда ни глянешь, ни признака жилья или реки. И увидел вдруг Емельян из-за холма верхи зеленых верб. Он направился туда. Подъехал — глубокий лог, за логом — лес, а внизу его — ручей и невдали от берега — колодец. У колодца девушка, только что набравшая ведра воды.

— Кормилица, красавица! Дай испить, — крикнул ей, подъезжая, Емельян.

— Пей, родимый, спасет тебя Господь! — ответила та, кланяясь. — Напои и коня.

Соскочив с жеребца, Емельян жадно припал к ведру, напился и посмотрел на девку. Она, полная, статная, чернобровая, с длинною русою косой, не поднимая глаз, поила тем временем коня. «Красавица и одна!» — подумал Пугачев, оглядываясь кругом. Девушка исподлобья посмотрела на него. Давно бродяга не видел женщин, да еще таких, а был он к ним падок с молодости, жена часто журила его за то.

— Откуда, милая? — спросил он, утираясь.

— С пасеки, — ответила девка, указывая обнаженною, полною рукой на лес и снова черпая ведрами воду.

— Одна водишь пчел? — охорашиваясь, улыбнулся Пугачов.

— Для че одна? Дедушка тамотко! В певчих в станице был, да одряхлел; воды у нас нетути, а в ручье непитома, горька.

Ловким взмахом она подняла ведра на плечи и, быстро отойдя от колодца, направилась к ручью.

«До лесу далеко, пасека еще дальше, — мыслил Емельян, охваченный дрожью, — перед лесом кусты... Кругом ни души!» Он вскочил на освеженного коня. Девка успела сойти в ручей. Вода в нем была ей выше щиколоток.

— Топко тут, душенька? — спросил Емельян с коня.

— Не проедешь с конем, загрузнешь, берегись! — ответила девка с середины ручья. Она шла по руслу до колен в воде.

— Стой, красавица, слушай! — крикнул вдруг Емельян, поскакав следом за нею.

Конь, достигнув ручья, остановился и уперся; Пугачев понукал его уздой и ногами. Тот взвился на дыбы и ни шагу с места.

— Да загрузнешь, утопишь и коня, — смеялась девка, выйдя на другой берег и отирая мокрые ноги о траву.

— Слово одно, — крикнул Емельян. — Постой! Скажи, ласковая, утешь словом... Где на земле воля и счастливое житье:

Из-за ручья на Емельяна смотрели серые усмехавшиеся глаза.

— Счастлив, парень, только Бог на небе да царь на земле! — ответила девка, прилаживая гибкое коромысло на плече. — У царя да у Бога добра много.

— Будь же ты мне царицей, прими, любушка, к себе в куренек.

— Стань прежде сам ты царем! — с гордой усмешкой ответила красавица, обернувшись так быстро, что заплескалась из ведер вода.

— Что ты! Статочное ли говоришь? — укоризненно крикнул ей Емельян. — Нешто захотел стать царем — и стал?

— Постарайся... Всяко диво бывает, може, еще и станешь! — звонко смеялась, уходя и более не оглядываясь, девка.

«Напророчила ведь, предсказала! — думал теперь Емельян, ворочаясь в сарае с подведенным от голода животом. — А впрочем, захотят и примут казаки, остальные покорятся. Соберу отряд, да какой! Двинусь под именем покойного государя — не одна Волга признает, и Москва... Там войска, по слухам, мало, даже вовсе, сказывают, никакого. Дело начато. Выборные от казачества вот-вот явятся... Так тому, видно, и быть. Надо их поднять».

Ожидания Пугачева сбылись. На другой день, перед вечером, в степи, позади умета, показались двое верховых казаков. Выехав из-за чуть видного кургана, они двинулись к умету, остановились, как бы разглядывая окрестность, и стали подвигаться ближе. Второй день, впроголодь, Емельян мучился раздумьем: как он примет и чем будет потчевать гостей? Принимает такой сан, а на умете, кроме воды, в редкость были бы и сухари.

XXI

В конце июня, вскоре по переезде на мызу в Кунцево, Глеб и Мари получили от Силы Ильича Травкина следующее письмо:

«Милостивый государь и благодетель мой Глеб Андреевич! Приготовьтесь сведать от меня, нижайшего, нечто необычайное и простому уму, каков мой, даже непостижимое. С вашим досточтимым братцем приключилось событие, коему я случайно был персональным свидетелем и все оное зрел собственными недостойными очесы. Алексей Андреевич вчера строгали сыну копьецо в портретной, а отец Василий сидел против них и, по обычаю, читал о великомученице Анастасии. Камердинер Дрон подал вашему братцу на подносе некое письмо, с почты, и сам стал в сторону. Алексей Андреевич взглянули на конверт, отложили его на стол и кивнули отцу Василию: ничего, мол, продолжай свое; а сами, вижу, все поглядывают на ту цидулку. Наконец, не вытерпели, вскрыли ее, прочли и изменились в лице. «Что такое?» — спросил священник. «Читай»!» — ответили они ему. Тот начал честь письмо. От кого же оно было? От Серафимы Львовны, да какое! «Прости, Алеша, прости, друг, — писала она, — у ног твоих молю; забудь мои злые прегрешения, мой позор, не отвергни; обрати меня, куда знаешь, хоть в судомойки или в коровницы; на коленях к тебе приползу, смилуйся только, не кляни! Сны меня, смертные

сомнения замучили и вконец истерзали. Жить без тебя и без детей не могу. Не простишь, руки на себя, окаянная, не прощенная тобою, наложу!» Выслушали все мы, сильно смутились и, не зная, что сказать, молчали. А ваш братец как вскочат, вытянулись во весь рост и говорят: «Что же вы, государи мои, молчите? Ведь это она, моя жена, венчанная со мною, молит; ведь это законная моя хозяйка, матерь наших детей!» Тут Алексей Андреевич упали на колени перед образами, воздели руки, тихо и со слезами стали молиться, паки поднялись и отвесили отцу Василию пренизкий поклон: «Благодарствуй, батюшка! Наставил ты меня, слепого, и вразумил; Господь дает всем нам великую и благую милость». Обратились они и к плачущему тут от радости Дрону: «Ну, Дронушка, сысканы мы Богом; готовь барину лучший наряд, карету и все как есть — поедем в Казань! Хозяюшка паки обращается к нам и к деткам своим». И представьте, глубокочтимые Глеб Андреевич и Марья Родионовна, ваш братец как сказал, так и совершил; вчера всем парадом выехал в туровцовскую вотчину, а нас всех, смиренных соседей, оповестил, приглашая кстати и на посвящение новозданного храма. А в пригласительных от его милости цидулах сказано: «Алексей и Серафима Дугановы всепокорнейше просят и надеются, что добрые соседи неукоснительно почтут прибытием как оное торжество, день коего будет обозначен особо, так и радостный, по поводу того, семейный в Горках обед». Слышно, что братцем приглашены и многие сторонние, даже из Саратова, в том числе всеми хвалимый тамошний архимандрит Игнатий, коему уготовано совершить и освящение храма. Пир, можно сказать, затеян на славу, послано на пристань за первейшими рыбами, в город — за лучшими винами и прочею бакалеей, а я почтен приглашением в распорядители. В качестве же оного и дабы во всем приспеть и все, как подобает, уладить, я осмелился при сем случае указать братцу и лучший день для семейного и церковного торжества, а именно в конце августа, на честной праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. И замечу: в оном ука-

зуемом мною дне — нарочитое знамение. В древности хитроумная и злая жена Иродиада, не милуя, усекла преподобному святителю Иоанну главу; наша же рекомая грешница, а ныне, по-моему, почтенная и достохвальная госпожа Серафима Львовна, видимо смирясь, не погубила души неповинного, за что от мужа и от Бога сторицею будет награждена. Ждем и вас, с супругою и с сынком, на оный, всеми нетерпеливо ожидаемый и, сказать к слову, небывалый, второбрачный вашего братца праздник. Чудны деяния свыше, и да славится имя Господне отныне и до века».

— Ни за что! — сказал Глеб, прочтя и скомкав это письмо. — Уж меня-то они не дождутся; ты же, — обратился он к жене, — как знаешь, я умываю руки.

Мари, видя раздражение мужа, промолчала.

— Да и вообще, — прибавил Глеб с досадой, — все точно рехнулись! Такое важное дело, целый новый переворот в семье брата, а о нем пишет гороховое чучело, этот Травкин, от самого же брата о том ни строки!

Как-то Мари и Глеб были в отличном настроении духа. Мари за клавесином играла отрывки из оратории Генделя. Глеб, любуясь ею, припоминал подробности первых лет женитьбы и счастья. После истории с братом он вдвое оценил свой семейный покой, не знал, как за него благодарить Бога, и боялся лишь одного, как бы не исчезло это слишком дорогое для него счастье. Принесли с почты письмо Алексея. Тот писал кратко откуда-то по пути к Казани. «Дорогой брат Глебушка, — извещал он, — я без ума от счастья; пролил его на мою недостойную голову Господь. Серафима нежданно обратилась ко мне с полным раскаянием и так искренно, сердечно и совершенно просто. Никогда бы того и не придумал. Точно все это случилось во сне. Порадуйтесь за меня и приезжайте, только не на Усекновение, как нам советовал было добряк Травкин, а на Петров день: не откладывайте. Лечу к ней, не помня себя».

— Тряпка и сущий дурак! — сказал Глеб, прочитав это письмо брата.

Второе, более пространное известие от Алексея получилось уже из-под Казани. «Приехал я, други мои, в Туровцово и увидел Серафиму, — сообщал он, — ах, что это была за встреча! Сколько трогательного и поучительного! Она вышла ко мне вся в темном, как приговоренная к казни преступница, и при всех пала мне в ноги. И как плакала, как молила меня простить ее и забыть все. Ты не узнал бы, увидев ее. Из ветреной стала рассудительною, из заносчивой, легкомысленной бабенки, каких везде немало, — строгою и дельною женщиной, любящею и заботливою матерью. Я на нее гляжу по часам, не спуская с нее глаз, а она торопит меня в Горки, к оставленным птенцам. «Детки мои, детки ненаглядные! — повторяет она, — Петечка, Колечка, Надя! Ангелочки мои, где вы?» Ну, просто как помешанная!»

Ожидания Глеба о командировке сбылись. Недели через полторы по получении последнего письма от брата он был экстренно вызван к князю, получил наставления о Корониной, простился с женою и на следующий же день уехал в Петербург. Для того же, чтоб окончательно не обидеть Алексея Андреевича отказом от поездки в Горки, Глеб и Мари предложили Нинет поехать туда за них, что Нинет вскоре и исполнила.

Невольное раздражение, овладевшее Глебом при первых известиях о новых решениях и действиях брата, мало-помалу улеглось. Он под конец, видимо, с этим стал примиряться. Но Мари нежданно заметила в нем другую, новую и до тех пор незнакомую ей черту. Ее поразила какая-то особенная сухость и сдержанность в его обыкновенно мягком и искреннем обращении и разговорах не только с нею, но и с прочими домашними.

Он вдруг точно подтянулся и подобрался. Всегда предупредительный и в существе несомненно добрый, Глеб куда-то точно ушел, а на месте его в семье как бы явился другой

Глеб. Он, казалось, радушно смотрел на всех, но в его взглядах просвечивалась не свойственная ему до той поры пристальность, а особое внимание, с которым он прислушивался к каждому слову окружающих, точно ища в нем чего-то недосказанного и скрытного, невольно смущало Мари. Глебу, видимо, было не по себе.

— Что с тобою? — решилась, наконец, Мари спросить его, глядя с тревогой в его грустные, потускневшие глаза. — Здоров ли ты? Отложил бы свою поездку! Неужели нельзя этого уладить? Князь знает и ценит тебя; позволь, я поеду и попрошу его.

— Благодарю, милая, я здоров, а медлить не из-за чего, — ответил Глеб, особенно горячо и нежно целуя жену, — все это пустяки, пройдет и так... Ведь разлука, согласись, кого не смутит? Притом мне дано такое важное и ответственное поручение. Будь только ты внимательна к себе и дитяти, все остальное пройдет и кончится благополучно.

Ласковый ответ Глеба несколько успокоил Мари. Она старалась себя убедить, что он говорит искренно и от души. Ее сердце, однако, ныло. Да и как было не томиться о муже? По ночам он ворочался с боку на бок, вздыхал и от мрачных мыслей, видимо, почти не спал.

Глеб уехал в середине июня, и Мари, только впоследствии узнав, какая ехидна в то время вползла в сердце мужа и сосала его, убедилась, как были правы ее предчувствия. Все, что испытала она затем, оставило в ее домашней жизни тяжелый и неизгладимый след.

Событие, повлиявшее на Глеба, — как потом доведалась Мари, — случилось за несколько дней до его отъезда в Петербург. Он, как нередко случалось, возвратился в то время на мызу особенно усталый, голодный и потому не в духе. Пыль покрывала его платье и лицо. Обойдя комнаты и не видя жены, он прошел к себе в

кабинет, потребовал воды, умылся и стал переодеваться. При этом он приметил на столе письмо, запечатанное черною печатью и адресованное на его имя. Мари в то время с Сысоевной перебирала в детской белье ребенка. О возвращении мужа никто ей не сказал. Озадаченный черною печатью и незнакомым почерком на конверте, Глеб позвонил слугу. «Не случилось ли чего, Боже сохрани, с матушкой и не предупреждает ли нас о том кто-либо из соседей?» — пришло ему в голову.

— Кто доставил это письмо? — спросил он вошедшего слугу Сергея.

— Садовник Яков.

— А он откуда его взял?

— Какой-то господин давеча подъехал к воротам, а Яков воду на цветы качал; господин кликнул его, спросил, дома ли барин, и велел вам отдать.

— Знакомый? Он видел его когда-нибудь?

— Говорит, увидел впервые; должно, городской и богатый, своя коляска и такой нарядный.

— Хорошо, иди себе.

Глеб вскрыл письмо, прочел первые строки и обмер, Мари лишь впоследствии и после ряда многих других скорбных испытаний, навалившихся на нее, узнала об этом письме.

XXII

Письмо оказалось анонимным, и в нем, видимо, поддельным, ломаным почерком были написаны следующие слова: «Горделивый слепец и фанфарон! Ты смотришь зорко, ан ничего не видишь; лезешь в чужие дела, а у себя под носом — что? Ужели не сведом? Ай, как жалко! Знай же, несчастный, тебя ловко проводят; ты обманут и давно рогат. Приглядись получше, все тебе станет ясно».

«Обманут, рогат!» — прозвучали страшные слова перед Глебом. Первым его движением было идти к жене и показать ей это подметное письмо; затем он хотел ехать в город и во что бы то ни стало разыскать и притянуть к ответу написавшего эти строки. Но как и где найти? Зачем попусту тревожить жену? Ломая себе голову, Глеб перебирал в уме, кто мог бы решиться на такую низость и кому было бы на руку нанести ему этот удар? Ни в обществе, ни по службе он, по совести, не имел и не знал подобных врагов. «Злая шутка пустоголовых, клубных блюдолизов!» — решил он, вспомнив, что только в клубе могли на него особенно злиться, так как он туда не ездил, в карты с его посетителями не играл и вообще держался вдалеке от тамошней среды. Затаив в сердце полученную весть и никому о ней не намекнув, Глеб нежно простился с женой, с сыном и домочадцами и уехал из Москвы.

Всю дорогу и первое время по приезде в Петербург он старался не думать о безымянном доносе и прилежно переписывался с женой. Не зная о происшедшем и грустя в разлуке с любимым человеком, Мари, разумеется, ничего и не подозревала, а несколько мрачное настроение в письмах Глеба приписывала разлуке с собой и тем же огорчавшим его известиям о брате.

Прошел июнь, наступила середина июля. Жизнь на мызе шла благополучно. Мари за это время получила с Волги от Алексея и Серафимы и переслала мужу несколько трогательных писем. Оба они хотя кратко, но радостно извещали ее о счастливом своем возврате в Горки, об освящении при этом перестроенной церкви и об общем мире и довольстве, наставших в их семье.

Описывая званый свой обед, Алексей даже ударился в шутки и остроты. «Наш же главный распорядитель на оном торжестве, Сила Фомич Травкин, явился в вишневом матерчатом кафтане и, прикрыв скудоволосый череп с сиво-белою косичкой чьим-то завитым и напудренным преогромным париком. На башмаках имел серебряные, с бантами, пряжки,

а за камзолом на груди букет из лакфиолей и роз. Когда же мы попарно стали шествовать из церкви под звуки громогласного монастырского хора, мне даже показалось, будто он, как некий гвардейский тамбурмажор, шагает перед нами с золотою булавой». Мари с несказанною радостью читала эти письма из Горок. Уехавшая туда с июня Нинет также сочувственно описывала счастливую встречу и искреннее примирение Алексея с женой.

На вопросы Мари, как удалась командировка, Глеб вначале писал, что все идет благополучно и ладно, что он часто видится не только с приглашенными к делу важными сенаторами, но и с самим фаворитом государыни, Григорием Орловым, а вскоре, вероятно, удостоится лицезреть и самою монархиню. Но потом он известил, что дело снова запуталось, даже остановилось и что он возвратится теперь, по всей видимости, никак не ближе августа, а то, пожалуй, и позже.

Травкин по-прежнему писал о событиях в Горках. В одном из писем, передавая некоторые местные слухи, он сообщил и о новых толках между крестьянами: будто где-то опять появился считавшийся покойным государь Петр Федорович. «Разумеется, то все глупые и дерзкие сплетни, — выразился при этом Травкин, — но что удивления достойно — ваша почтенная родственница, Нина Александровна, узнав о том, выразилась: «А почем знать? Может быть, это и в самом деле настоящий, скрывавшийся где-нибудь доныне в чужих землях, наш государь?» Мысль безумная и опасная, а ее держатся, вообразите, и другие. Я же, навестив некогда своего брата в Питере, был самолично на похоронах покойного государя. Оный мой брат Павел ныне в Яицке, у больного тестя. Пишет, опять там неладно; казаки мутятся и слышать не хотят начальства.

Мари, порицая в душе Нинет и не желая огорчить мужа, не послала ему этого письма Травкина; остерегаясь за последствия, она даже сожгла его.

В исходе июля в Москве пошли проливные дожди. Ребенок Мари на мызе снова расхворался. Видя, что приглашенный к нему известный детский врач-немец мало помогает, Марья Родионовна предложила ему позвать на совет другого медика. Тот привез на мызу какого-то француза; ни немецкие, ни французские пилюли, однако, не помогли. Вася продолжал хиреть. Измученная тревогой, Мари подумала и решилась позвать Спесивцева. Последний долго отнекивался. Он обменялся с Мари несколькими письмами. «Я, как вы знаете, не практикую, — писал он, — приехать по знакомству готов, но какой же я медикус, коли вы знаете мой взгляд на медицину?» Мари шутками и ласками старалась убедить его, приводила разные доказательства и, наконец, уговорила его. Он смиловался и приехал.

Осмотрев ребенка и найдя у него новый упадок питания и от того общее расстройство здоровья, Спесивцев посоветовал ему хороший бульон, ароматические ванны и втирания и стал бывать на мызе чуть не каждый день. Ребенок начал чувствовать себя лучше. Мари отрадно вздохнула. Даже Сысоевна, вообще не любившая Спесивцева за его насмешливый нрав и за то, что он ни при звоне благовеста, ни при ударе грома не крестился, выразилась о нем: «Не дохтур, чистый ведун; его бабка, видно, знала все и ему в ладанку свое ведовство зашила». Старая Дуганова, узнав от Мари об отъезде Глеба в Петербург и о болезни своего внука, собралась было из Ракитного в Москву с целью помочь невестке и затем, когда внуку станет лучше, проехать, кстати, на Волгу к своему пасынку. Но и она в то время разнемоглась и отложила свою поездку до более удобного времени.

В хлопотах о ребенке Мари бросила чтение и музыку и вообще мало обращала внимания на посторонние вещи. Даже известие о болезни свекрови она приняла как обычное недомогание вообще слабой здоровьем старухи. Из числа знакомых горожан Марью Родионовну в Кунцеве навещали

изредка жена одного из сослуживцев Глеба, их домашний врач-немец, лечивший и князя главнокомандующего, неизменный Спесивцев и одна дальняя родственница Мари, вдова бедного чиновника, умершего во время чумы, Надя Шимкова. Последняя жила в крайне стесненном положении. Узнав с полгода назад о ее нужде, Мари пособляла ей, чем могла, и радовалась, что Надя, навещая ее, хоть несколько отдыхала от своей тяжкой доли. Глеб вызвался похлопотать для нее о казенном месте. По праздникам названные лица иногда обедали у Мари, причем она, имея собственных лошадей и пользуясь снова наставшею хорошею погодой, иногда угощала их прогулками в окрестностях Кунцева. Эти поездки, впрочем, обыкновенно предпринимались более для Васи, которого, по совету Спесивцева, Мари почти безвыходно держала на воздухе. Видя, что ребенок снова стал оправляться, Мари не тревожила мужа известием о его болезни, а чтобы еще более быть спокойною, решила по возможности скорее возвратиться в город.

Однажды Спесивцев, по обычаю, заехал на мызу. Любуясь поздоровевшим Васей, он взял его на руки от няни и стал его целовать.

— Не делайте этого, — сказала ему Мари по-французски...

— Почему? — удивился он.

Мари покраснела.

— Муж не любит, когда ребенка ласкают посторонние, — ответила она.

— Но вашего мужа здесь нет, — улыбнулся Спесивцев, — а я разве посторонний?.. Я для вас сделал невозможное — медиком стал.

— Вздор, вздор, — сказала Мари, не помня себя от смущения, — оставьте его!

— Да почему же?

— Боюсь, что сглазите.

Взяв от него ребенка, она отослала его с Сысоевной и в досаде на себя замолчала. Спесивцев грустно вздохнул,

угнездился в угол софы и, по обычаю, когда он начинал о чем-нибудь усиленно и с недовольством думать, засопел носом. Мари расхохоталась.

— Смейтесь, смейтесь, — сказал он, — собственно, ведь и я весел, потому что почти счастлив; все идет хорошо в этом лучшем из миров.

— Чем же вы особенно довольны?

— А как же? Вашему сыну, во-первых, лучше, недолго притом ждать осени, настанет слякоть, вы переберетесь снова в город, и мне незачем будет сюда трястись на наших гитарах, отбивающих бока.

— Ну, и не ездите больше, — сказала Мари, — я вам очень благодарна, но не желаю вам дурного.

— А во-вторых, — продолжал Спесивцев, — подъедет ваш муж, и опять мы с ним сядем за шахматы; и в таком простом виде кончится весь мой век. Скажут, был когда-то лекарь без практики, хотя кое-кому иногда помогая, избавляя людей от ядов латинской кухни, и умер, сожалея, что ровно нечем ему было заняться под конец жизни.

— Как нечем? Вы же такой охотник до общества, особенно... до семейных драм...

— В том-то и дело, что драм более нет. Ваш вон свояк нежданно примирился и от души, как уверяют, вновь сошелся с своею женою; ну, драма и кончилась, а других не нарождается. Что же мне делать, о чем думать и что говорить? Меня соблазняют на разные кондиции, в отъезд; один помещик даже обещает отказать мне, по смерти, свое состояние, лишь бы я переехал к нему в деревенскую трущобу... Великий чудак и масон...

— И что же?

— Да разве можно променять на что-нибудь Москву? Здесь все-таки люди, увидишь и услышишь кого-нибудь. Потом этот господин уж очень доверчив, не видит риска, отказывает доктору состояние, а тот каждый день может по всем правилам искусства отправить его к праотцам.

Мари с улыбкой молча слушала балагура. Он надулся.

— Вижу, вы мысленно разбираете и определяете меня, — произнес он. — Скажите откровенно, кто я такой, по-вашему?

— Вы? — спросила, смеясь, Мари.

— Да.

— Трутень! — ответила она, снова и уже громко расхохотавшись.

Спесивцев был озадачен.

— За этот, милая барынька, сюрприз, — сказал он, — позвольте...

Он схватил и быстро поцеловал ее руку. Мари не заметила, что в это время в комнату вошла и стояла у двери Сысоевна.

— Что тебе? — обратилась к ней, не глядя на нее, Мари.

— Василию Глебычу готовить и сегодня купель?

— Не надо, — ответил Спесивцев, встав и откланиваясь Мари, — лечение кончено; твой барчонок здоров.

XXIII

Он пошел в зал и на пороге встретился с подъехавшею из города Надей Шимковой. Они поздоровались.

— А вы, извините, все так же бледны, — сказал, кланяясь ей, Спесивцев.

Надя с грустною улыбкой молча подошла к Мари. Они обнялись.

— Кстати, Захар Семенович, — сказала Мари Спесивцеву, — вот я все убеждаю ее. Здешняя мыза нам уступлена до зимы; я думаю на днях переехать в город и предлагаю Наде остаться здесь. Одобряете ли вы это?

— Совет полезный, — ответил Спесивцев, — Марья Родионовна лучше придумать не могла... Школа виталистов умножается! Сельский воздух, молоко и прогулки — что мо-

жет быть лучше? Вы теперь худы и бледны — здесь наверное и быстро еще оправитесь.

— Я притом не одна, — произнесла Шимкова, — у меня девочка и тоже хворая. Одного здесь боюсь — без докторов.

— Да бросьте их, ради Бога.

— Ее лечит Лельевр, — сказала Мари.

— Оттого она и хворает, — ответил Спесивцев.

— А вы нас навестите, если будет нужно? — спросила Надя.

— С превеликим моим удовольствием; уж хоть бы в тех видах, чтобы вылечить вашу девочку от принятых ею лекарств.

В двадцатых числах августа Мари возвратилась в город, о чем и известила мужа. Погода держалась еще теплая и ясная. На мызе в Кунцеве поселилась Надя Шимкова. Мари оставила ей часть прислуги и мебели, провизии и водовозку с запасными дрожками для поездок в город, где Надя в некоторых домах брала себе шитье белья и другую работу. Мари навещала ее из Москвы.

Было, как часто потом вспоминала Мари, двадцать восьмое августа. Перед вечером, в сумерки этого дня, Глеб совершенно неожиданно возвратился в Москву. Письмо Мари о ее переезде в город уже не застало его в Петербурге. Едучи в Москву, он также никого не предупредил о своем возврате. Мари не было в тот вечер дома. Глеб обошел комнаты и, не видя жены, заглянул в детскую.

— Где же барыня? — спросил он Сысоевну, поцеловав Васю, которого та держала.

— На мызе.

— Разве вы не совсем переехали оттуда?

— Там осталась приятелька барыни, с дитем.

— Кто?

— А как ее, право?.. Шимкова, что ли.

— Надежда Павловна?

— Она.
— Зачем же Маша туда поехала?
— Навещает ее.
— Давно сами вы в городе?
— Ден с пять.
— А барыня скоро думала быть назад?
— Что им там? Сейчас, должно, будут. А вашей милости как ездилось? Все ли вы в добром здоровье?
— Ничего, няня, спасибо. Все хорошо.

Глеб зашел в кабинет, развязал часть своих вещей, покопался в рабочем столе и в шкафах, что-то начал было писать, но изорвал написанное и, надев шинель и шляпу, вышел на крыльцо.

— Будете, сударь, пить чай? — обратился к нему слуга.
— Не буду.
— Что сказать барыне, коли пожалуют без вас? — спросил Сергей.
— Скажи, что поехал по делу и вернусь позднее...

Пройдя Чистые пруды, Глеб на Покровке кликнул знакомого извозчика Фролку, обыкновенно стоявшего здесь у богатого трактира, сел на его дрожки и велел ехать в Кунцево.

— С приездом, ваше сиятельство! — сказал румяный и кудрявый Фрол, сняв шапку.
— Благодарю.

Красивый Фролкин рысак медленно двинулся.

— Гони, любезный, смеркается, — сказал Глеб, — нужное дело, ничего не пожалею... А конь у тебя еще, вижу, стал резвей.

Польщенный Фрол подобрал вожжи и пустил своего серого полным ходом. Он скоро домчал Глеба в Кунцево. На дворе между тем совсем стемнело. Миновав крайние домишки Кунцева, за которыми, у края лесной просеки, начинались парк и сад при мызе главнокомандующего, Глеб велел извозчику вдоль просеки ехать шагом.

— Придержи коня, — сказал он, — пусть отдохнет.

— Помилуйте, сударь, ничего! Рад стараться.

— Нет, лучше шагом...

В узкой просеке было еще темнее. Вправо белела крашеная решетка парка, огражденная от дороги глубокою канавой. Поверх решетки, в прогалине между деревьями, был виден свет. Глеб узнал окна княжеской мызы. Разглядев в темноте ряд высоких тополей, он вспомнил, что против них из парка на просеку была калитка.

— Стой здесь, — сказал он извозчику, — я пройду садом; когда будет нужно, кликну тебя; вот обрадуется жена.

— Вестимо, сударь.

Глеб отыскал и отпер калитку. Войдя в парк, он шел сперва бережно, опасаясь в лесной мгле наткнуться на ветви, потом пошел скорее. Дорога от тополей вела прямо к дому. Парк кончался широким прудом; за берегом последнего начинался плодовый и цветочный сад. От пруда стал виден дом. Несколько окон в левой его стороне были освещены. На пруду послышался плеск.

— Кто здесь? — спросил Глеб.

— Садовник.

— А, это ты, Яков?

Садовник узнал голос барина и подбежал к нему.

— С приездом, сударь... Вот не ожидали.

— Что ты делаешь тут?

— Привязываю лодку.

— Разве на ней кто теперь ездил?

— Наша сударыня, Марья Родионовна.

— Она еще здесь?

— В комнатах.

— С кем плавала на лодке?

— С дохтуром.

— С каким?

— С Захаром Семеновичем.

Глеб помолчал.

— Одни они плавали?

— Одни-с.

— А барыня что, здесь гостит?

— Их не было.

— Дома ли она?

— Что-то не видел... Надо полагать, дома, а може, еще в городе; после обеда куда-то ездили.

— Наша барыня ожидает ее здесь, что ли?

— Полагать должно. Барынины и дохтурские кони еще на конюшне; я эвоси туда носил овес, а рыжего не видел.

— Какого рыжего?

— А водовозки... Им барыня для надобностей оставила. Да позвольте, сударь, я сбегаю, узнаю.

— Не надо, ступай себе, Яков, но никому не говори; я сам туда, через балкон...

— Вот, сударь, барыня обрадуется, — сказал Яков.

Отпустив садовника и выждав, пока затихли его шаги, Глеб остановился, увидел под деревом скамью и беспомощно опустился на нее.

— «Обрадуется! — сказал он себе с горечью. — Так вот оно что, вот разлука! Кто мог думать и ожидать? У Маши в гостях tête-a-tête Спесивцев... она ездит сюда... Неужели условленные свидания?» Глеб с горечью посмотрел через пруд на освещенные окна. Он уже приподнялся и решился было пройти туда, смутить виновных, по его мнению, и потребовать от своего соперника ответа. Ему уже мерещилась грозная сцена, запирательства соблазнителя, вопли жены и роковой лом, о котором говорил при нем Алексей. «Нет, быть не может! — сказал себе с отвращением Глеб. — Тут непонятное стечение случайных обстоятельств, не более... Но если?..» Он оставил скамью и парком пошел назад.

— Фролушка, ты здесь? — окликнул он у калитки извозчика.

— Здесь.

— Едем назад.

— Не застали, значит, хозяюшки?
— Уже уехала.
Дрожки помчались обратно в Москву.

«Невероятное, безобразное событие! — повторял мысленно Глеб, разглядывая впотьмах заборы и домишки предместья, в которое въехали дрожки. — А впрочем, чего с женщиной не может приключиться? На что они не способны? Серафима... казалась тоже такою невинною, смиренницей, а что натворила!» Острая боль щемила сердце Глеба. Шум и движение городских улиц, по которым несся Глеб, несколько развлекли его. У одной из площадей он узнал двухэтажный, с колоннами и садом, дом Туровцовой, где на свадьбе Алексея он впервые увидел Мари.

Глебу вспомнились первые годы после его женитьбы, его пребывание с женой у матери в Ракитном, рождение там, в его отсутствие, сына и собственные радостные слезы, когда он впервые увидел ребенка и взял его на руки. Нежданная, жгучая мысль потрясла его... Он вдруг припомнил, что Спесивцев гостил в Ракитном во время родов Мари, что он приехал туда заблаговременно и уехал значительно позже, когда все благополучно кончилось.

«Нет, нет! Не может быть! — твердил он себе, с дрожью. — Матушка писала мне тогда, что сама задержала этого гостя!» Глеб доехал до угла Покровки и Чистых прудов, остановил извозчика, расплатился с ним и, чтобы хоть несколько рассеяться, пошел вдоль прудов домой пешком.

XXIV

Пугачев сидел в воротах сарая, набивая обруч на походный бочонок, в то время когда подъехавшие казаки приблизились к огороду, бывшему за двором. Они привязали коней

под вербами и остановились у забора, за которым копал грядку узнавший их бродяга-арестант. Они с ним разговорились через забор. Емельян искоса наблюдал, как прибывшие нерешительно спрашивали о чем-то арестанта и как тот отвечал им, поворачивая бритую голову к сараю.

— Так это и есть наш батюшка царь? — спрашивали казаки.

— Он самый.

Казаки, сняв шапки, с крайним любопытством смотрели через забор в ворота сарая, где в простой мужичьей рубахе и в набойчатых штанах новоявленный царь, отесав обруч, собственноручно набивал его обухом на днище бочонка.

— И в какой скудости, простоте! — невольно умиляясь, рассуждали между собой казаки. — Претерпел, сердечный. До времени, аки под спудом, был сокрыт!.. Можно, миленький, к нему?

— Примет ли еще? — с важностью заметил бродяга.

— А что? Гневен, что ли, бывает?

— Всяко случается. Ждал вас, а все-таки надо спросить.

— Иди, спасет тебя Господь! — ответили, кланяясь, казаки.

Арестант подошел к Пугачеву. Тот, оправясь, проговорил: «Зови!» Казаки перелезли через забор, прошли огородом и приблизились к сараю. Это были еще неженатые, бесхозяйные парни, малолетки.

— Ты ли, надежа, наш государь Петр Федорович? — спросили они с низким поклоном.

— Я самый. От кого обо мне известны вы стали?

— Тот казак объявил, что добыл тут коня. В городе, кормилец, все бают, ждут и не дождутся тебя, нашего избавителя.

— Кто вас прислал? Войско? — с недоверием спросил Пугачев.

— Все, как один, всем миром, стар и млад! — врали казаки.

Пугачев на миг просиял, хотя в его глазах еще виднелись сомнение и как бы испуг.

— Войсковой, стало быть, не старшинской руки? — спросил он, разглядывая безусые, простодушные лица молодых казаков.

— Вестимо, батюшка; за тебя вся убогая чернь, обиженная, бездомная серома, голяки... Что брюханам да богачам? Они, воры, и без тебя всем довольны.

«Так вот что, старшие еще не за меня!» — подумал Пугачев.

— Знаю я брюханов! — сказал он, помолчав. — Садитесь, поговорим.

Казаки переглянулись.

— Мы, твое царское величество, — ответили они, — и постоять перед тобой охочи.

— Приказываю, так садитесь, — с досадой объявил Пугачев, — не в ногах только служба!

Казаки сели наземь у ворот сарая. Пугачев положил недоделанный бочонок на край колоды, на которой сидел, и сбросил с нее стружки.

— Ну, яицкие казаки, — начал он, — я точно ваш государь Петр Федорович. Коли вы решили, так примите меня и защитите, а не угодно, уйду на Узени и в дальние дикие степи — буду ждать другой пособки и иных времен.

— Не токмо примем, на все готовы! — отвечали казаки, встав и кланяясь до земли. — Старики бают, все наши достатки и животы положим за тебя.

— По правде?

— Как перед Господом Богом.

— Поклянитесь мне, своему государю.

Казаки обратились на восток и, крестясь двуперстным крестом, клятвенно подтвердили свои слова. Глаза Емельяна засветились снова довольством. От радостной усмешки на виске у него сложилась морщинка. «Так и есть, царский знак!» — подумали казаки, разглядывая морщину, о которой уже слышали.

— Слышал я вашу клятву и вам верю теперь! — сказал Пугачев. — Вижу, объявиться мне приспело время. Помогайте же, детушки, соколы ясные, не покидайте... Что надумали, говорите.

— Не нам, батюшка, решать, пуще нас есть! — ответили с новым поклоном казаки. — Мы только проведчики, подростки-ходоки.

— Где же ваши старшие? — спросил Пугачев. — Что медлят? Говорю, время пришло.

— Нас вперед послали, сами ждут зова.

— Оробели, что ли? Кличьте, с честью приму.

— Не твоего величества боязно, злых супостатов сколько!

— Где ждут старшие, далеко ль?

— За тем эвоси курганом, в логу.

— Что же медлите? Зовите.

— Мы, батюшка, знак дадим.

— Давайте.

Один из подростков, помоложе, взобрался на крышу сарая и стал оттуда махать палкой. Вдали показались три новые вершника. Они тихо приблизились к умету, объехали огород и двор и показались в воротах. Один из них был высокий, худой, с окладистою русою бородой; другой — приземистый, черноволосый, скуластый и смуглый; третий — среднего роста, плотный, рябой и с узенькими, на калмыцкий лад, глазами. То были уполномоченные от яицкого войска — Мясников, Зарубин Чи́ка и Шигаев. Они слезли с лошадей, привязали их у ворот к забору и достали из тороков какие-то торбы. На них были нарядные китайские азямы, на двух синие, на третьем зеленый, у каждого ружье и сабля или кинжал у пояса.

— Дозволишь ли, батюшка, им подойти? — спросил подросток, махавший с крыши.

— Зови. Только вот что... Никто из вас, вижу, не бывал в Питере и не знает этих придворных делов. Как подойдут, вы, мальцы, станете в сторонке, а они пусть упадут на колени и поцелуют мою руку.

Уполномоченные, оправясь и неся с собою торбы, подошли без шапок к сараю, опустились перед Пугачевым на колени и по очереди поцеловали протянутую им мозолистую и загорелую его руку. Сильное волнение охватило Емельяна. «Вот, наконец, настоящие первачи, рукоданники войска! — мыслил он, стараясь сохранить строгий и спокойный вид. — Зачем-то явились и что-то объявят мне?»

Понимая, что перед ним настоящие, матерые казаки, а не мелкота, он готовился сказать им нечто важное и решительное, подбирал в уме слова, чтобы вышло торжественно и вместе милостиво, как, по его понятию, должны были говорить высокие властители-цари.

— Здравствуйте, войско яицкое! — сказал он, чуть кивнув головой на приветствие казаков. — Чай, удивляетесь? Ваши отцы и деды езжали к моим предкам в Москву и в Питер; а ныне сам монарх пожаловал к вам...

— Помилуй, отец! Осиротели мы, страждем! Помилуй, кормилец! — восклицали уполномоченные, припадая к земле.

— Не кланяйтесь, детушки, встаньте; садитесь против меня, поговорим.

Уполномоченные сели. Емельян внимательно вглядывался в их, как ему показалось, донельзя растерянные и оробелые лица. Казаки после первого смущения смотрели, однако, более с любопытством, чем с робостью. «Царь, а глядит как есть мужиком!» — думал длинный Мясников. «Одежонка совсем плоха, бородат и рылом как бы точно не вышел!» — мыслил, искоса поглядывая на царя, и черномазый Чика.

— Не вам, говорю, детушки, кланяться мне! — начал, заметив пытливые взгляды казаков, Емельян. — За меня заступитесь! Плохо мне; погубили было вконец бояре, жена и начальство.

— Не прогневайся и не обессудь, — произнес, встав и кланяясь, рябой Шигаев, — время обеденное, а живешь ты, видим, в скудости, пока мальцы покормят и напоят

коней, дозволь угостить — прими от нашей нуждишки хлеб-соль.

Шигаев вынул из торбы свежий пшеничный каравай и несколько арбузов; Чика достал паляниц с салом и дынь; Мясников — соленой рыбы, объемистую флягу с водкой и стакан, завернутые в войлочную полсть.

— Что ж, — ответил бывший все время без Оболяева впроголодь Пугачев, — мы не брезгаем подданными, угощайте.

XXV

Казаки разостлали в воротах сарая полсть, нарезали хлеба и арбузов и разложили рыбу. Все, помолясь, уселись за трапезу. Пугачев расспрашивал гостей о последних событиях в войске, о нуждах казаков и о притеснениях новых поставленных над ними командиров. Собеседники, закусывая, выпили за здравие государя по стакану и по другому. По третьему он сам предложил выпить.

— Здравствуй я, царь Петр Третий! — сказал он при этом. — Пью и за здравие маво сына, наследника Павла Петровича. Разумный он, и жаль мне Павлушу... Надо его скорее ослобонить! Царицу мою запру в монастырь, пусть замаливает грехи.

Пятна румянца выступили на лицах сотрапезников. Языки их развязались.

— Детушки мои, соколы вы ясные! — воскликнул Пугачев, перестав есть, хотя вновь разрезанная, душистая дыня еще привлекала его к себе. — Претерпел я, ох, много! Пеш ныне стал сизый орел; подправьте орлу крылья — вот как вас обряжу и вознесу. Бояре, офицерство умничают, стоят за жену; надо истребить эту всю царицыну офицерщину, все ее порядки.

— Благодарствуем, отец! — говорили, кланяясь, казаки. — Видим, стоишь ты за нас, сирот.

— Всем вас одарю, — продолжал Пугачев, — Яиком, с притоками и рыбными ловлями, землями, всякими угодьями, солеными озерами, вези рыбу и соль, куда хошь, безданно и беспошлинно, торгуй на все четыре стороны... Пожалую вас древним крестом и бородой! Яицкий город сделаю Питером, Астрахань — Москвой! Казакам быть надо всеми!

— Очении благодарны! Так едешь, что ль, с нами?

— Оставив царство, — говорил Емельян, — я принял странствие, скрывался и претерпел — за кого? За народ! Дай Бог до Питера, скорее сына сваво Павла повидать здорова. Мало будет войска, скроюсь опять; много пристанет, прямо пойду к Москве и далее...

Казаки, покачиваясь и продолжая жевать, молча слушали его. За трапезой прошло более часа.

— А теперь, перво-наперво, — объявил Емельян, — где же это видано? Обносился я вон как, одежишка у меня совсем негодящая.

— Это можно, для че нельзя? — перебил более других охмелевший Мясников. — Нас уважь, и мы свое дело докажем, так-то...

— Припасите платье подхожее, шалевый али парчовый бешмет, — говорил Емельян, — бархатную также шапку, красного либо желтого сафьяну на сапоги, чтоб все было, как след.

— А ты езжай с нами и дай указ, — вставил на это Мясников.

— Опять же нужны будут знамена, — продолжал Пугачев, как бы не расслышав сказанного ему, — накупите голи разных цветов, шелку, позументу и шнура. Да как бы пушек добыть? Антирелия нужна...

— А ты дай нам на все то бумагу! — повторил Мясников.

— Какой же вам, детушки, указ или бумагу, когда нету еще писаря? Ведь я своей руки не должон казать до времени, вплоть до самой Москвы, пока не верну царства и венца.

На то великая причина. Ворвалась в душу смелость, дольше терпеть не могу; изныло сердце, да вижу, надо быть еще ой как настороже.

Казаки молча глядели на самозванца.

— Ну, ладно, — сказал, встав и крестясь, Чика, — все, ваше величество, будет тебе... Только уже не рано, лошади готовы; коли едешь с нами, не откладывай. Не налетели бы от коменданта гонцы.

Пугачев нехотя тоже поднялся. Ему хотелось еще поговорить, допытаться яснее о числе и силах единомышленников и поставить наперед свои условия. Солнце клонилось к земле. Надо было торопиться. Выборные отослали вперед малолетков и стали седлать лошадей. Емельян зашел в чулан, уложил в мешок кое-какие свои пожитки, налил водой исправленный им походный бочонок и прицепил его к седлу подведенного ему коня. Все сели верхом и выехали за ворота.

Сердце Емельяна сжалось, когда он с сопутниками поднялся на косогор и оттуда издали, у речки Таловой, в отблеске догоравшего заката, увидел покинутые им, очевидно уже навсегда, белую мазанку, камышовый забор и сарай дедки Оболяева. «Что-то теперь с Еремкиным-курицей? — мыслил он, — чай, заперли бедного в темную, пытают; промедлил бы я, то же было бы и со мной».

Путники ехали молча.

Тени от лошадей и всадников становились длиннее. Близились сумерки, а за ними скоро должна была настать и ночь. Казаки подъехали к отвершку лесистого оврага и решили здесь подождать ночи и восхода месяца. Они стреножили и пустили лошадей на траву, а сами сели на склоне оврага, под деревом, и разговорились.

— Куда же это везете вы меня? — спросил Пугачев спутников.

— На хутора, на Усиху либо на Узени, — отвечал Шигаев, — там скроем тебя у старцев либо в ином

потайном месте; подождем! Все уладим и явимся всему народу, в городок, как соберется казачество на ба́гренье, либо и скорей!

— Поддержите, ребятушки! — сказал Пугачев. — Дед мой, Петр Первый, восемь годов странствовал в чужих землях, а я двенадцать... Много, ой как много претерпел я бедности и всяческого труда... За меня заколот и схоронен другой, верный мне, коли слыхали, казак Пугачев... Ой, жаль, детушки, его!

— Что, батюшка, старое вспоминать! — перебил его молча глядевший в землю Чика. — На хутора не успели мы, а теперь еще видно... Предъяви-ка ты нам лучше свои царские знаки.

Пугачев вздрогнул. «Что это? — подумал он. — Не успели выехать, а уж хотят мною помыкать?»

— Да, кормилец, покажи! — прибавил сидевший рядом с ним Мясников. — Николи мы того, слепцы, не видели...

Он отрезвился несколько в дороге и с умилением готовился убедиться в подлинности найденного ими государя.

— Раб ты мой! — ответил с сердцем Пугачев. — Мой подданный, а восхотел мне повелевать! Что же, коли сумневаетесь, изволь, глядите.

Он выхватил из-за пояса нож и хотел им распороть ворот рубахи.

— Зачем портить рубаху! — возразил Чика. — И так ты в какой еще скудости; спусти ее, мы и этак-то просто поглядим.

«Спина!.. Битую спину увидят!» — подумал, колеблясь, Емельян.

— Негоже простым людям, — сказал он, — видеть всю мою наготу... Вот вам одна грудь, смотри... Вот они прирожденные царские знаки...

Он взрезал ворот рубахи. Несмотря на сумерки, казаки ясно разглядели на его груди два беловатых пятна.

Эти знаки снова отуманили Мясникова. Мысленно повторяя: «Свят-пересвят! Избави, Господи, и помилуй!» и молча пощипывая свою бороду, он подобострастно смотрел на сидевшего перед ним Пугачева и удивлялся, как он так смело требовал от него указа на доставку платья и знамен.

— Все ли цари так родятся? — осмелился он спросить.

— Не ваше дело то знать! — грубо ответил Пугачев. — А кто не поверит, пес ему в рот, о тех рассудится опосля.

— Да ты что же, милостивый, гневаешься? — проговорил Шигаев, также не зная, куда деться от страху.

Чика тоже старался показаться смущенным. Емельян с удовольствием заметил произведенное им впечатление. Чика, впрочем, лукавил; он прежде уже не раз видел мнимого царя, и близко, знал, что он не царь, а донской казак.

— А впрочем, чада мои, коли желаете видеть, как еще узнают царей, — глядите! — сказал он, откидывая со лба волосы.

Казаки увидели на виске шрам.

— Верим, кормилец, верим! — заговорили они. — Не оставь только нас и обряди, как след, а уж мы тебя не кинем до конца живота.

Собеседники еще несколько поговорили и прилегли. Степь и овраг окончательно стемнели. До восхода месяца было еще далеко. Все стихло. Слышалось только постукивание копыт да фырканье спутанных коней, пасшихся по склону оврага. Свежая августовская ночь давала себя чувствовать. Путники укрылись с головой попонами. Чика лежал рядом с Пугачевым; остальные двое поодаль от них. Прошло часа два. Высунув голову из-под попоны, Чика прислушался. Мясников и Шигаев храпели, Пугачев лежал молча. «Наверное, не спит, — подумал о нем Чика, — да и как ему теперь спать, то ли в голове?»

— Ваше величество, ты не спишь? — спросил он вполголоса, тронув Пугачева.

Емельян приподнялся, зевнув и протирая глаза. Чика возле него сел на корточки.

— А что, батюшка, о чем я тебя спрошу, — произнес он, также вполголоса, — не прогневайся и не поставь в укор.

— Говори, не бойся, что там?

— Не в опаске дело, а вот, — начал Чика и помолчал.

«Что он затевает?» — подумал Емельян.

— Нас только двоечко теперь, — продолжал Чика, — и никто как есть нас не слышит... Скажи, только по истинной правде, кто ты в самом деле такой?

— Известно кто... ваш государь.

— Прости, кормилец! Мы ведь людишки темные, не знаем, как слово молвить, как сесть и встать. Видели тебя иные и опознали в городе и в скиту да и бают совсем уже несуразное.

— Что же говорят?

— Быдто ты не царь, — проговорил Чика, — а донской казак, ну, просто сказать, как все мы, мужик, — Емельян Пугачев.

— Врешь, дурак! — вскрикнул, не помня себя, Емельян.

— Тише, батюшка, что ты! Еще побудишь товарищей, — спокойно произнес Чика, — а лучше скажи ты мне поистине... От людей схоронишься, от Бога не утаишь.

Сильное волнение охватило Пугачева. Он остолбенел и решительно не знал, что ответить. «Так и есть, — думал он, — этот скуластый все спознал и обсудил... Высмотрел, выследил, стоглазый, и теперь я у него в руках. Не захочет — погубит, захочет — вознесет...» Емельян робко осмотрелся кругом. Золоторогий месяц начал вырезываться из-за вершин деревьев. Степь далеко осветилась голубоватым, мягким блеском.

— Никому не скажешь? — прошептал, нагнувшись к Чике, Емельян.

— Вот те крест.

— Побожись, Иван!

— Убей Бог! — ответил мучимый любопытством Чика.

— На образ поклянись... чтобы ни на сем свете, ни на том, коли что, счастья, мол, не было бы тебе.

Чика вынул из-за пазухи тельный крест и, повторяя слова Емельяна, поклялся на нем.

— Ну, ладно, — проговорил Емельян, — помни... Я точно не царь, а донской казак Пугачев... Принял на себя государево имя, чтобы помочь вам же, казакам, и всей черни...

— А нам, кормилец, того ведь и надо! — сказал Чика. — День мой, век мой! Хоть на час, да наша власть! Нам кака нужда, царь ты али названец-мужик? Из грязи слепим князя и уж за тебя, Емельян Иванович, тоже попомни, вот как постоим! Одежа, знамена ли нужны — все тебе снарядим; писаря — указы да минифесты писать — и того, не печалься, найдем. Так согласен нам верой и правдой служить?

— Согласен!

Чика медленно встал и подошел к спавшим Мясникову и Шигаеву.

— Максим, Тимоха! — громко сказал он, расталкивая товарищей. — Вставайте други! Его величество, наш светлый государь, изволит ехать в путь.

Казаки растреножили, взнуздали отдохнувших лошадей и сели на них. По предрассветному, острому холодку всадники быстро понеслись по пути к Малому Чапану и далее к Усихе, где и решили до времени скрываться в диких, пустынных местах.

О том, что случилось на Таловом умете и в соседних с ним степных тайниках, не доходило еще в то время вестей не только до Петербурга или до Москвы, но даже до бли-

жайших местностей по Волге. Жизнь везде шла своим чередом. Начинавшийся пожар тлел еще в виде крохотной искры под пеплом.

XXVI

Глеб подошел к своему дому и позвонил.

— Барыня приехала? — спросил он слугу, забыв, что оставил ее в Кунцеве.

— Никак нет-с, — ответил Сергей, — должны скоро быть.

Под предлогом нездоровья, отказавшись от чая и ужина, Глеб сказал, что заснет в кабинете, отпустил слугу, заперся, лег, не раздеваясь, на софу и потушил свечи. Сон бежал от него. Мрачные представления вертелись в его голове. Дремота казалась действительностью. То ему виделось, что Мари бросила его, бежала с кем-то за границу, и он все усиливался вспомнить и угадать, кто ее увез. То он видел себя в Москве, на каком-то общественном гулянье, где встретил жену под руку с незнакомым человеком. Неописанной красоты незнакомец, в бархатном черном плаще и в широкой тирольской шляпе с красным пером, вел Мари, а она что-то громко и весело говорила. Глеб, подойдя к жене, поклонился; но она, прищурив удивленные глаза и с улыбкой указывая на него своему спутнику, спросила: «Что это за господин? Я его не знаю!» Слезы душили Глеба.

Было уже девять часов утра, когда он проснулся. Не вставая и сквозь грезы прислушиваясь к домашнему движению, он старался угадать, дома ли и проснулась ли жена. Наконец он встал, оправил на себе платье, порылся в портфеле, взял что-то оттуда и вышел из кабинета. Слуга в зале обметал пыль.

— Барыня встала? — спросил он.

— Оделись.

— Где она?
— В уборной.
— Кушают чай?
— Пишут.

Глеб вошел в уборную, где Мари, в неописанной тревоге, сидела у рабочего столика, перебирая пачку писем, полученных в последнее время от мужа. Она еще с вечера узнала от садовника о приезде Глеба на мызу и о внезапном, необъяснимом его возвращении оттуда, без свидания с нею. Пораженная этою вестью, она тогда же опрометью понеслась с мызы обратно в город, но уже не догнала мужа и приехала домой, когда он, отпустив слугу, заперся в кабинете и, по-видимому, уже спал. «Что же это такое? — говорила она себе. — Неужели опять ревность? Как это глупо! Или случилось что неприятное по службе?.. Он не хотел огорчить меня при посторонних и потому, узнав, что я не одна, так внезапно уехал. Или, наконец, что-нибудь другое? — пришло ей в голову. — Не писал ли он мне какие-нибудь распоряжения, на которые я в суете не обратила внимания?» И она старательно просматривала его письма.

Заслышав, наконец, на пороге шаги мужа, Мари вскочила и со слезами радости и тревоги бросилась к нему навстречу.

— Здоров ли ты? — вскрикнула она, обнимая его. — Что случилось? Как ты вчера меня смутил и напугал!..

Глеб тихо отвел ее руки.

— Что произошло? — повторяла Мари. — Да говори же... Отчего ты вчера был на мызе, узнал, что я в доме, и не зашел туда?

Глеб взглянул пристально в глаза жене, вынул из кармана какую-то смятую бумажку и молча положил ее перед нею на стол.

— Что это? — спросила Мари, глядя на мужа и не понимая, что он делает.

— Прочти, — сказал сухо Дуганов, отвернувшись к окну.

Мари прочла безымянный донос, полученный Глебом перед отъездом в Петербург. Низкие и грубые выражения этого пасквиля с первых слов глубоко возмутили ее. Но когда она прочла выражение: «Ты давно обманут, рогат — ищи и легко узнаешь своего соперника», кровь бросилась ей в голову и она ухватилась за сердце.

— Боже! Да что же это, Глебушка, родной? — вскрикнула она. — За что́ такая обида? Неужели допустишь?

— Тебе лучше все знать, — холодно ответил Глеб.

— Как? Что? — спросила Мари. — Что ты сказал?

— Обманутый муж, всем уже известно, последний обыкновенно узнает об измене жены, — с дрожью проговорил Глеб, думая между тем: «И как я мог в то время, когда брат стоял за кровавую расправу, так великодушничать насчет всепрощения?»

— Бессовестный! — крикнула Мари. — И тебе не жаль? Да как ты смеешь так подозревать и оскорблять меня? Какой я подала повод?

Слезы хлынули у нее из глаз. Она вне себя, рыдая, опустилась на стул. Все перед нею кружилось. Обида была слишком тяжела. Глеб несколько мгновений молча постоял возле нее. Жалость прокрадывалась в его сердце.

— Послушай, — сказал он, тихо обняв жену, — я готов не верить гнусному извету. Но если ты... скажу откровенно... пойми меня, если тебе более близок другой... не терзай меня, Маша, скажи правду, сущую правду. Она будет мне менее мучительна, чем эти невыносимые сомнения, это постыдное, унизительное незнание.

— Да ты с ума сошел? — возразила Мари. — Сознаешь ли ты, что говоришь?

Мысли возвратились к ней. Она осыпала Глеба укоризнами. Всего сказанного ему, своего негодования и горьких упреков она не помнила впоследствии. Ей представлялось одно, что ее слова, ее негодование и слезы как бы усовестили Глеба, смутили его. Это ей, впрочем, показалось на мгновение, но и того ей было достаточно.

Она отрадно вздохнула и, отерев слезы, молча протянула мужу руку. Ей не хотелось верить тому, что вдруг так неожиданно принижало в ее глазах и отталкивало от нее любимое существо.

Общие знакомые, считая Глеба Дуганова за умного, честного и дельного человека, находили его, однако, не то чтобы холодным и черствым, а несколько сухим, не в меру себялюбивым, утверждали, что его эгоизм иногда в нем пересиливает обычную его мягкость нрава и доброту. Мари с этим не соглашалась. «Может быть, тонкая чувствительность к собственному достоинству, — рассуждала она о муже, — к врожденной его честности и чести у него иногда и выходила из меры и казалась, пожалуй, излишнею; но холодности и сухости в нем нет, и я не вижу». Теперь она с горечью втайне сознавала, что толки других были как бы правы. Но чтобы эгоистическое раздражение и сухость могли в муже дойти до таких болезненных размеров, до подозрения ее, такой любящей жены, в неверности, в измене, этого она никогда не могла себе представить, даже во сне. Луч раскаяния, блеснувший в глазах Глеба, снова расположил Мари к нему.

— Слушай, недобрый, — сказала она ему, — ты, как вижу, наконец, ревнивец по природе. Зачем же было тогда жениться? Зачем было оставлять так долго без себя ту, которой ты не доверяешь и которую теперь так коришь?

Она обняла мужа, нежно прижалась к нему.

— Вселить недоверие к неповинному близкому существу, — продолжала она, глядя ему в глаза, — могут только злые люди, из ненависти и холодного расчета, или несчастные роковые обстоятельства. Но у разумного, уважающего себя человека есть средства проверить подозрения.

Мари поцеловала мужа.

— Ты разумный, — сказала она, — и у тебя много всяких средств... Как ни обидно для меня, прошу тебя, справляйся везде — проверяй.

Глеб, ухватясь за голову, опустился в кресло.

— О, что бы я дал, — проговорил он, — если бы мог найти гнусного клеветника, написавшего этот безымянный извет! Мало дуэли... Я нашел бы его и при первой встрече без сожаления убил бы на месте, как собаку.

Слезы текли по его щекам.

— Успокойся, — сказала Мари, взяв его за руку и целуя ее, — не стоит того... Общее презрение — вот что будет возмездием обидчику.

— Да, тебе это легко говорить, — ответил Глеб, — мне же иначе не смыть обиды; ты не знаешь нашего общества... Огласка, очевидно, уже пущена, мне не простят.

В это время в уборную вошла няня с Васей. Она объявила, что приехала Шимкова — принять ли ее? Глеб взял ребенка на руки и, нежно приникнув к нему, сказал жене: «Выйди, прими гостью», — а сам, через коридор, направился в кабинет. Там, как узнала впоследствии Мари, он некоторое время, не выпуская ребенка и лаская его, смотрел в окно, потом притворил дверь и сел у стола.

— Вот, Сысоевна, как я счастлив, — произнес он, качая ребенка на ноге, — и какая у меня разумная и добрая жена.

— Спасет вас Господь, — ответила няня, кланяясь.

— Да красивая какая!

— Еще бы, краля писаная, полновидная, кровь с молоком... А косица! Идет, все не наглядятся; а у посторонних-то слюнки даже текут.

Сказав это, старуха заколыхалась от смеха, прикрыв рот рукой. Усмехнулся и Глеб.

— А скажи, няня, — обратился он к Сысоевне, — действительно Маша заботилась без меня о ребенке?

— Просто убивалась, особенно как занемог.

— Ну, а гости у нас часто бывали без меня?

— Какие там гости при больном дитяти! Его лечили, а тут мы и переехали сюда.

— Переписывалась барыня с кем-нибудь, кроме меня?

— С кем же? К этой самой барыньке посылали записки, к дохтуру, к Семену Захарычу.

— Кто доставлял письма, когда жили на мызе?

— Яков — садовник, а больше Сергей, когда ездили за провизией.

— Ну, а по секрету, скажи, так откровенно, — тебя ведь приставила старая барыня, — ухаживал Семен Захарыч за Машей?

— И не говори, — ответила, оглядываясь, няня, — все ей ручки, блюдолиз, целовал.

— А она?

— Известно, ни-ни, не позволяла, даже вот как серчала.

Глеб отрадно вздохнул.

XXVII

Он отдал дитя Сысоевне. Когда она вышла, он некоторое время еще побыл в кабинете. Рой странных, тяжелых мыслей кружился в его голове. Он не мог дать себе отчета, на что решиться и что предпринять. Слуга напомнил ему, что он не умывался. Глеб распаковал остальные вещи, умылся, тщательно выбрился и надел все чистое. Подали завтрак. Мари пригласила Шимкову в столовую и, заварив на спиртовой лампочке кофе, послала слугу звать мужа. Глеб прибрал разбросанные бумаги в стол, запер его и взял головной гребень.

— Скажи, Сергей, — спросил он слугу, оправляясь перед зеркалом, — часто к вам ездили доктора?

— Как же, сударь, не часто? Барчонок так хворали! — ответил Сергей.

— Кто более ездил?

— Семен Захарович, они, сказать, только и помогли ему. Уж и мы, рабы, за них молимся, спаси их Господь. Вот и

в Писании, сударь, сказано-с, барыня книжку такую давали... чти не токмо, выходит, отца, но и благодеющаго ти́.

— Ну, а сам доктор являлся или посылали за ним?

— Как случалось; иной раз и меня отряжали.

— Ты куда за ним ездил? Он живет на прежней квартире?

— У Покрова в Левшине-с, дом Сусекиной, наверху, где и жили.

— Всегда он охотно ездил или иногда и отказывался письменно? Ведь у докторов капризы...

— Не ездили, когда сами хворали; а раз было некогда, у них шла, должно, спевка... И было то в постный день...

— Какая спевка? — спросил Глеб.

Сергей усмехнулся. Он когда-то сам готовился в певчие и кое-что в этом понимал.

— Тальянцы, что ли, на арфах или немцы какие-то играли, — ответил он, — таталакали по-своему... да вовсе плохо-с.

— У доктора — итальянцы?

— Так точно-с.

— И он тут был?

— А как же-с, слуга их сказывал: по их приглашению, был и эфтот, значит, сбор. О, Господи, люди, сказать, постятся, а у них почитай содом.

«Вот не ожидал! — подумал Глеб, — искусством тоже, мусикийством, гороховый шут, занимается! Какая, подумаешь, нежность у доктора! И эту черту также осторожно от всех таил... Даже не подозревали... С виду так прост, а оказывается... И вдруг попался. Не люблю я этого Сергея, — ученик Мари, начётчик и ханжа, а за это открытие награжу...

Мысленно усмехаясь над доктором, Глеб прошел в столовую, подсел к Шимковой и был так внимателен к гостье, так угощал ее кушаньями и вином и, сам с удовольствием закусив, так искренно и спокойно под конец шутил с женой

и Шимковой, что Мари не заметила в нем и следа давешнего его настроения.

Шимкова собралась уезжать.

— Куда же вы, Надежда Павловна? — спросил, точно очнувшись, Дуганов. — Еще посидели бы с нами.

— Надо купить гродетура и целую штуку фландрского холста, — ответила Шимкова. — Получила заказ на новую работу... Приданое богатой невесте.

— Холста? — спросил Глеб. — Какого? Есть у вас образец? Позвольте и цвет гродетура... Я к князю, мне по дороге, и я счел бы за особую приятность...

— Помилуйте, что вы! — ответила Надежда Павловна, смутясь от такой нежданной любезности. — Мне, право, совестно... Я сама поеду.

— Нет, нет, я этот холст куплю выгоднее, у меня знакомые, хорошие купцы, — настаивал Глеб. — Побудьте с Машей, а мне, уверяю вас, по дороге... Где образцы?

Надя, покраснев до корней волос, стала неловко рыться в дорожном ридикюле, достала оттуда и медлила подать ему образцы. Он с улыбкой тихо высвободил их из рук Шимковой, завернул в карман и направился в прихожую.

— Лошади еще не готовы, — сказала Сысоевна, встретив его в зале.

— Я пешком — голова что-то тяжела! — ответил Глеб, надевая шляпу и шинель.

«Холст, — думал он, выйдя на крыльцо, — зачем, бишь, он нужен? Да! Этой бледной и милой Наде, приятельнице жены. А какая она, бедняжка, худая... Я зато как счастлив!.. Конечно, объяснено! Мари, разумеется, ни в чем не виновата. Неосторожность праздных шатунов и городские сплетни, вот и все! Да иначе и быть не могло... Жена Цезаря должна быть без единого упрека, без тени подозрения... а Мари моя жена; честность и честь выше всего».

У крыльца Дуганов увидел свою водовозку и Якова — садовника, сидевшего на козлах расхожих дрожек.

«Это он Шимкову привез», — подумал Глеб, сперва удивясь, зачем Яков явился с мызы.

— А рыжий-то опять, кажется, захромал? — сказал он, нагибаясь к лошади. — Ишь как ногу отставляет.

— Заковали, полагать надо, маленечко, — ответил Яков, снимая шапку.

— То-то, гоньбы, видно, было немало... Ты тоже ездил с письмами к доктору?

— Ездил.

— Он по-прежнему живет у Покрова в Левшине?

— Так точно-с.

— Эка даль...

Глеб перешел улицу и направился вдоль прудов. Кое-где уже тронутый утренником желтеющий лист сыпался с деревьев. Солнце весело и ярко светило в прохладном и тихом воздухе.

«Так вот что, однако, — мыслил Глеб, идя тропинкой по берегу пруда, — она с доктором действительно сносилась письменно. Интимная переписка молодой замужней женщины с холостым врачом — как это мило! Поздравляю, дружище, — проездился в командировку...»

Сердце Глеба сильно забило тревогу. Глаза застилал туман, земля точно колебалась под его ногами. Он остановился, прислонясь к дереву. Мимо прудов шли выпачканные известкой каменщики и плотники с топорами. Споря и размахивая руками, спешили какие-то бабы в кумачовых передниках. «Аны, дьяволы, ломят, галдят, — говорила одна из них, — а я, касатка моя, ластовка, — что мне? Вестимо, как на грех...» Сморщенная, красная и вспотевшая старушонка, пыхтя беззубым ртом и едва переваливаясь, тащила перед собой увесистый узел с бельем. Она его уронила на тропинку и, бессильно охая, никак не могла снова его поднять. Глеб помог ей справиться с ношей.

— Для чего, бабушка, сразу-то? — сказал он ей. — Снесла бы по частям.

— Урвушке, родименький, светику, ей! — с слезливым кашлем и новым оханьем ответила старушонка, шамкая и еще что-то бормоча под нос, чего Глеб уже не разобрал.

«И у нее свое близкое существо, — подумал он, — какая-то Урвушка... Урывает, видно, этот светик остатки ее сил. А моя-то?..»

Глеб миновал пруды, оглянулся и несколько мгновений не мог понять, где он. То была Покровка. С соседнего перекрестка кто-то, сняв шапку, кланялся ему, встряхивая русыми кудрями. Чье-то веселое, с рыжею бородкой лицо улыбалось ему, скаля белые, красивые зубы. Он узнал вчерашнего извозчика Фролку.

— Подвезти, что ли, ваше сиятельство?

— Подавай, — рассеянно ответил Глеб.

— Куда прикажете?

— Прямо! — сказал, сев на дрожки, Глеб.

Фрол оправился, вежливо перегнулся, вытянул руки и подобрал вожжи. Отдохнувший с вечера серый рысак, набирая хода, понесся к Кремлю, оттуда по Никитской и Арбату.

«Да, нехорошее, скверное дело, — думал Глеб, разглядывая вывески харчевен, трактиров и лавок. — Холст!.. Нужно купить хорошего, это непременно, я обещал... А посудить, действительно, Маша женщина молодая, красивая, притом неопытная... Этим подлипалам, глотающим слюнки, — сущая находка... Мало ли чем не изловчатся? Могут увлечь, того и гляди, — ну, и все пропало... Фу, какая, однако, гадость — эта ревность, и неужели я, как сказала Маша, действительно, ревнивец? Глупости, бред расстроенного случайностями воображения!»

Серый мчался. Мелькали улицы, площади, переулки.

— Стой, однако, свороти! — вдруг сказал Дуганов, опомнясь, извозчику. — Я и забыл, надо в город... Кое-что купить...

Фрол повернул снова к Кремлю и стал близиться к рядам. Под Кремлевской стеной, у моста через реку Неглинную, послышались крики. На перекрестке, возле кабака Агашки, Заверняйка тож, шумела хмельная толпа рабочих.

«Праздник сегодня! — вспомнил Глеб. — Так и есть; лавки, пожалуй, закрыты».

— Как думаешь, — обратился он к извозчику, — не везде торгуют сегодня?

— Должно, сударь... Нонче воскресенье.

— Ну, так ступай на Кузнецкий; у заморских достанем скорее... У них всегда торг.

Дрожки понеслись мимо Курятного ряда, на Кузнецкий мост. Замелькали вывески нарядных модных магазинов, кондитерских, брадобреев и винных погребов. У знакомого магазина Глеб остановился, вошел, купил по образцу, не торгуясь, штуку лучшего фландрского холста и потребовал гродетура. Услужливый купец, торговавший холстом и кружевами, объявил, что у него шелковых товаров нет и что желаемую материю можно купить в соседнем магазине, у Дюкро. Глеб зашел к Дюкро, купил гродетура и, выйдя снова на улицу, увидел у дверей следующей лавки, на складном стуле, толстого, красноносого, в восточном архалуке и в феске, торговца армянина.

— Есть канаус? — спросил он, вспомнив, что еще в Петербурге собирался и не успел купить красного канауса на рубашку сыну.

— Первый сорт, — ответил, входя в лавку, армянин.

Канаус был также куплен. В лавке, загроможденной разнообразным пестрым хламом, высвистывал в клетке черный, с длинным желтым носом, дрозд и пахло чем-то приятным и пряным. Глеб остановился, соображая, чем это пахнет, и разглядывая товары. За стеклами, в ящиках и шкафах, виднелись куски ярких штофов и парчи, расшитые золотом кисеты и туфли, янтарные мундштуки для трубок, кальяны, фески и в чеканном серебре кинжалы, а по стенам, на коврах, были развешаны ружья, бердыши и ятаганы.

XXVIII

— Как у вас хорошо пахнет! — сказал Глеб.

— Масло, розовый мускат — желаешь?

— И оружие у вас, как вижу? — сказал Глеб рассеянно.

— Первый сорт, лучшего не найдешь.

— Кажется, и пистолеты? — произнес Глеб, взяв покупку и собираясь идти.

Армянин подставил лесенку и быстро поднялся по ней к стене.

— Нет, не надо, — ответил, не оглядываясь, Глеб уже с порога.

— Есть, скажу тебе, штучка, только непарная, — сказал с лесенки армянин. — За эту, гляди, вот как дешево возьму.

Он снял со стены небольшой, двуствольный, в простой отделке пистолет и подал его, отирая с него слой пыли. Глеб возвратился, поднес покупку к окну. На стволах пистолета красовался штемпель знаменитого Кухенрейтера.

— Цена? — спросил Глеб.

— Два червонца... Убей Бог, и то дешево, один князь два давал.

— Мне, впрочем, не нужно... А зарядить, попробовать в цель можно?

— Только не тут, душа-барин, не тут... Я слаб желудком, стука боюсь.

— Разумеется, у себя можно испробовать или за городом.

Армянин прочистил дула пистолета, зарядил их пулями, оправил кремни и насыпал на полки пороху.

— На двадцать пять шагов вот какую доску пробьет! — показал он на большой, с насурьмленным ногтем, палец своей руки и хотел завернуть пистолет в бумагу.

Глеб что-то вспомнил; ему казалось, что он должен был еще что-то сделать, что-то немедленно решить.

— Не трудитесь заворачивать, я и так возьму, — вдруг сказал он, вынимая и подавая продавцу деньги. — Некогда, спешу.

Он быстро сунул пистолет в карман брюк и вышел.

— Искупили сударушке хозяйке обновок? — с добродушною улыбкой спросил Фрол, придерживая коня.

— Да, теперь уже, Фролушка, прямо домой, — ответил Глеб, садясь и укладывая в ноги свертки покупок.

«Обновки сударушке! — думал он, уносясь с Кузнецкого по Мясницкой. — О, если бы этот добряк знал про мою хозяюшку? Нет, простые женщины, нежеманные, скромные жены в кумачовых передниках лучше. Не мучают так хитро и тонко, не терзают исподтишка! Блажен брат Алеша, счастливы невзыскательные и мягкие сердцем слепцы... Но неужели же ежедневно и ежечасно так мучиться, ревновать? Неужели змея ревности так ненасытна и безумно зла?»

Глеб вынул часы, посмотрел на них; до обеда еще было далеко. Вдруг он вспомнил, что, отправляясь из дому, предполагал заехать к главнокомандующему. Он еще не представлялся ему с дороги. Надо было безотлагательно сообщить князю о результате поручения, о петербургских высших и иных новостях; но он выехал из дому запросто, не в полной форме. «Завертела эта глупая история, — подумал он, — не беда, впрочем, успею завтра». Миновав Мясницкую, Фрол своротил вправо.

— Нет, бери налево, — подумав, сказал ему Глеб. — Я вспомнил одно нужное дело... Знаешь Денежный переулок, у Покрова?

— Как, сударь, не знать! Сколько раз дохтура туда возил от вашей милости.

— Когда?

— Прошлою зимой.

«Всем извозчикам пролаз известен! — сердито подумал Глеб. — Пожалуй, и все прочее о нем знают...»

Мучимый взрывом новых диких предположений и догадок, Глеб подъехал к церкви Покрова и остановился у дома

купчихи Сусекиной, где жил Спесивцев. Зачем он неожиданно решил направиться сюда и навестить доктора, Глеб впоследствии, обдумывая этот заезд, не мог дать себе отчета. Помня из рассказов Спесивцева, что последний обитал во втором этаже, Глеб осмотрел этот небольшой деревянный дом и вошел в ворота. Со двора, над балконом второго этажа, он увидел парусиновый навес, а под ним горшки цветущих роз, азалий и гелиотропов. Глеб опять нахмурился.

«Новое открытие, медикус — поклонник жизненных удобств и цветов! — презрительно подумал он, взбираясь со двора, от палисадника, по лестнице. — И опять мы ничего этого не знали! Казался таким стоиком и простаком!» Дойдя до верхней площадки лестницы, Глеб замедлился. Из-за полуотворенной, обитой клеенкой двери, на которой была выдвинута дощечка с надписью «Нет дома», слышались мелодические аккорды клавесина, которым аккомпанировал чей-то приятный, грудной голос. Глебу послышались звуки женского контральто. «Mia cara, carissima diva!» — выводил кто-то нежную итальянскую канцонетту, разливаясь в плавных и тонких, как паутина, dólce и ласкающих, трепетных trémolo.

«Войти ли? — подумал Глеб. — Еще нарушу романическое свидание. А впрочем, дверь не заперта; тайны, очевидно, нет. Если нельзя, скажут; если же можно, окончательно увижу вкус этого селадона!»

Он вошел в прихожую. Она была пуста. Не видя прислуги, Глеб сбросил на окно шинель, отворил следующую дверь, ступил и невольно остановился. Среди комнаты, уставленной раскрытыми ящиками, чемоданами и сундуками, спиной к двери и лицом к окну, без кафтана и камзола, у клавесина сидел, перебирая клавиши, Спесивцев. Более в комнате не было никого. «Так вот кто пел! — подумал Глеб. — К нежным привычкам вдобавок голос и склонности трубадура». Глебу почему-то в это мгновение до крайности вдруг показалась смешна и красивая вообще фигура доктора, его полный, нежный заты-

лок с завитками белокуро-рыжеватых волос, его тонкая, батистовая рубаха с кружевным воротником и приподнятые в последней страстной руладе плотные плечи. Он чуть не расхохотался на пороге.

— Браво, браво! — сказал он, подходя.

— А, это вы! — вскрикнул, смущенный окликом, доктор, вставая и надевая скинутое платье. — Извините, застали врасплох.

— Не беспокойтесь, что вы!

— Собрался, как видите, в дорогу, — продолжал Спесивцев, — да стал раздумывать и засиделся. Нелегко расставаться с Москвой.

— Куда в дорогу? — удивился Глеб.

— Да тот же все чудак-помещик, масон и садовод, устроил у себя богадельню и при ней больницу и меня все зовет к себе. Не его наследство — дело хорошее способно увлечь. А вас давно ли Бог принес?

— Как видите, приехал, — сказал, спокойно усаживаясь, Глеб, — и дома не ожидали... Впрочем, я на время.

— Все ли благополучно в вашей семье? — спросил Спесивцев.

Глеб не нашелся сразу ответить. «Что он, издевается, что ли, надо мной? — пронеслось в его мыслях. — Ах ты, рыжий певун!» Бешенство вдруг охватило его. Он готов был броситься на Спесивцева, раскроить ему голову шандалом, стоявшим на столе. «Нет, еще успею, подожду! — с дрожью сказал он себе. — И как я мог тогда так легко отнестись к мысли о возмездии за обиду?»

— Вы спрашиваете о моей семье? О, у меня все и вполне благополучно, — ответил он с легким поклоном.

— А наследник? Вот прелесть мальчонка! А ведь хворал-с, да еще как!

— И он совершенно оправился, — прибавил Глеб, опять кланяясь.

— Да-с, пришлось-таки и мне изменить принятому обычаю, — прибавил Спесивцев. — Вероятно, изволили слы-

шать? Рискнул-с, практиковал... Да и втянулся; кажется окончательно поеду к тому чудаку.

— Как же, слышал, честь вам и хвала за сына, — ответил Глеб, — а главное — отменная благодарность от матери...

— А от отца? — улыбнулся Спесивцев, лукаво глядя мимо гостя в открытую дверь балкона на цветущие розы, азалии и гелиотропы.

Глеб промолчал. Спесивцев удивленно оглянулся на него.

— Что же, вы, следовательно, недовольны? — спросил он.

— О, помилуйте... сына спасли, еще бы! — ответил Глеб, покачивая ногою, перекинутой на ногу. — Но скажите, милейший... — Он откашлялся и повел головой, как бы освобождаясь из воротника, давившего ему шею. — Скажите, Семен Захарович, — повторил он. — Вы переписывались за это время с моею женою?

— Что за вопрос?

— Нет, так откровенно, для меня, ответьте: писали вы ей, а она вам?

— Разумеется; было нужно, были и письма.

Глеб опять повел головой.

— Нужно, вы говорите? — спросил он с тем же приветливым вниманием, спокойно разглядывая доктора.

— Без сомнения; встречалась надобность, меня приглашали.

— Не будете ли вы столь добры, не покажете ли мне этих писем моей жены к вам?

— То есть как же это? — удивился доктор.

— А очень просто: ведь у вас все так в порядке, хотя вы и собираетесь уезжать, вещицы и прочее на месте, — сказал Глеб, осматриваясь по комнате, — откройте хотя бы вон тот шифоньер или это вон бюро и достаньте письма: согласитесь сами, не всякому мужу приятно знать, что у постороннего человека хранятся письма его жены...

Спесивцев вспыхнул.

— Послушайте, — сказал он, нахмурясь, — вы или в шутку это говорите, или неделикатно глумитесь надо мной. Разве можно так? Вспомните, если бы Марья Родионовна сама еще пожелала; но подумайте, как я могу? Письма женщины...

— Позвольте и вам напомнить, — ответил, глядя на доктора, Глеб, — Марья Родионовна мне, согласитесь, несколько ближе, чем вам... Я настоятельно прошу письма.

«О-го, — подумал Спесивцев, — да он, черт его возьми, настаивает, требует...»

— Что бы вы ни говорили, — произнес он, — это решительно невозможно... Притом вы в таком тоне...

— Даю вам еще две минуты, ну, три! — сказал Глеб, не спуская глаз с доктора.

— Никогда, ни за что! — ответил Спесивцев. — Я вас, наконец, не понимаю!.. Хотя бы, повторяю, она сама...

XXIX

Глеб медленно встал со стула. Его лицо мгновенно побледнело.

— Никогда? — спросил он дрожащими губами. — Ни за что?

— Да, это письма не мои, — ответил Спесивцев, — и если вы, Глеб Андреевич, подумаете спокойно... если все это...

В глазах Глеба сверкнул злой огонек. Он выхватил из кармана пистолет, быстро щелкнул его курком и навел его в упор на доктора.

— Немедленно, слышите ли! — сказал он. — Или, видите, я вас положу на месте.

Глаза Спесивцева удивленно раскрылись. Он отшатнулся и не мог произнести ни слова.

— Так вот вы как, — проговорил он, наконец, — насилие сумасшедшего? Не поздравляю! А впрочем, Господь вас разберет...

Он подошел к бюро, вынул из ящика портфель, порылся в нем и, отделив из него пачку писем, зажег свечу, запечатал пачку в пакет и, надписав на нем имя Марьи Родионовны, подал его Глебу.

— Я уступил грубому натиску, вот вам письма вашей жены! — сказал он. — Но ваша совесть воздаст... Я всегда и везде к вашим услугам... Сочтемся!

— Мою совесть, господин Спесивцев, оставьте в покое, — ответил Глеб, пряча в карман поданную ему пачку. — Что же до моих прав, то их никто не оспорит... А если вы в чем-нибудь остаетесь недовольны, я тоже к вашим услугам.

Он взял шляпу, не кланяясь, вышел и уехал.

Желание немедленно, безотлагательно ознакомиться с письмами жены к доктору поглощало Глеба. Он сперва приказал было извозчику ехать прямо на Чистые пруды, но раздумал и велел сперва завернуть к кондитерской, мимо которой в ту минуту они ехали по Тверскому бульвару.

— Стакан шоколаду! — обратился Глеб к слуге, войдя в кондитерскую и садясь поодаль, в углу общей комнаты.

Пока приготовляли и подали шоколад, он склонился к окну, вынул письма и стал их одно за другим просматривать. Фразы в первых же из них, где Мари, испуганная болезнью сына, молила доктора приехать: «дорогой мой» — «голубчик Семен Захарович» — «светик, золотой!» — «приезжайте же, милый, добрый, жду», бросили Глеба в краску, и он, сжимая кулаки, мысленно восклицал: «Какая необдуманность, какое легкомыслие! Молодой, замужней женщине так обращаться к постороннему человеку!»

В письмах были и другие, искренние и задушевные выражения; на них Глеб и не обратил уже особого внимания.

Но вдруг он остановился читать. Строки запрыгали в его глазах. В одном из писем он прочел нечто, как ему показалось, невозможное. Потрясающая, убийственная истина вдруг как бы предстала перед ним во всей своей наготе. Ему бросилось в глаза сперва выражение: «муж не знает, молю, приезжайте» и далее: «я одна, — вся утеха теперь, все надежды в вас». «Да что же это?» — мысленно восклицал Глеб. Письмо дрожало в его руке. Багровые пятна выступали на лице. Он с болью в сердце принудил себя перевернуть страницу и на ней прочел уже нечто, по его мнению, превосходящее всякие меры, нечто безобразно-наглое и циническое. «Наш сын, наш Вася, было сказано на этой странице, — дважды обязан вам жизнью... родившись и снова теперь».

Глеб в бешенстве бросил это письмо. «Боже, — повторил он, — еще открытие... так вот чей это ребенок! Но какая низость и каков удар!» Он хотел немедленно возвратиться к Спесивцеву и покончить с ним. «Нет, нужна очная ставка, надо проверить, доказать!» Тысячи жгучих мыслей и решений кружились в голове Глеба. Он снова брал письма, пробегал их и опять бросал, не понимая уже ни прочитанного, ни того, где он находился.

— Сударь, простынет-с! — раздался над ним голос слуги, подавшего ему шоколад.

— Ах, да! Извини, братец, — проговорил Глеб. — Я и забыл... Что следует?

Не прикоснувшись к стакану, он расплатился, сунул смятые письма в карман и уехал. «Прости, мой дорогой, ныне злодейски разоренный улей!» — думал Глеб, подъезжая к Чистым прудам и издали видя свой дом.

Марья Родионовна сидела за работой в той же уборной комнате, как и утром. Шимкова, не дождавшись обещанных покупок и, в качестве большой трусихи, боясь возвращаться на мызу в сумерки, по дурной дороге, давно уехала. Заслышав на

улице стук колес, Мари решила, что, наконец, возвратился Глеб, сложила работу и собралась уже сказать прислуге, чтоб подавали обед, но в доме было тихо, никто не появлялся в нем. Часы мерно тикали на камине. Ей стало грустно. Она так давно не была вместе с мужем. Глеб вечером не виделся с нею на мызе, а с утра у них был этот неприятный разговор по поводу анонимного письма. Хотя они искренно, по-видимому, тогда объяснились, но не вполне; приехала Шимкова, и они прекратили неоконченный разговор.

На улице снова загремел экипаж. Он остановился у крыльца. Мари узнала шаги мужа в зале и в гостиной.

— А, наконец-то и покупки! — сказала она, участливо и ласково подходя к Глебу. — Потрудился, голубчик, устал, зато мы тебя подкормим... Твои любимые перепелки и уха из ершей.

Глеб молча бросил покупки на диван, притворил дверь в гостиную и дверь в коридор, запер их обе на ключ и стал перед женой.

— Что это? Что снова с тобой? — спросила Мари, томимая каким-то неясным, тяжелым предчувствием.

Глеб тихо взял ее за руку и несколько секунд молчал.

— Так ты ни в чем не виновна? — спросил он, пристально глядя в глаза Мари.

— Опять глупости! Да перестань, пожалуйста! — сказала она. — Довольно шутить!

— Не глупости и не шутки, — проговорил Глеб упавшим и, как показалось Мари, молящим голосом. — Дело идет о моей... о нашей чести... Ты, Маша, безжалостно поступила. Все мое дорогое погибло, разорено...

— Да что же это, наконец, за темные намеки и укоры? — не вытерпела Мари, чувствуя, как нечто страшное и холодное в ту минуту становилось между нею и Глебом. — Перестанешь ли ты, бессовестный, злой, терзать и мучить меня?

— Злой? — прошептал Глеб, стискивая до боли руку жены. — Темные намеки? Изволь... Скажи мне, — я слы-

шал прежде мельком, а в Ракитном Сысоевна, как-то хваля мне тебя, сообщила подробнее, — правда ли, что до меня у тебя были другие ухаживатели и между ними один даже сильно был в тебя влюблен?

— Вот когда спохватился! — сказала Мари, невольно краснея. — Надо было бы ранее наводить справки. Кто же, однако, ухаживал? Кого тебе называли? Это любопытно...

— Спесивцев, — ответил Глеб.

— Придумай кого-нибудь лучше и позавиднее для твоей жены, — сказала Мари, — пока слышу одни басни.

Глеб молча вынул из кармана пачку скомканных писем Мари к доктору и поднес их к ее глазам. Сперва она не поняла, что нужно Глебу, и несколько мгновений растерянно смотрела на письма и на него; наконец, догадалась, в чем дело. «Он, очевидно, недоволен, что я переписывалась с доктором! — подумала она. — Это, впрочем, еще не беда, надо было...»

— В чем же ты коришь меня? Что доказывают эти письма? — спросила Мари.

— Ты... неравнодушна к Спесивцеву! — проговорил Глеб, пряча письма. — Ясно!.. Ты была с ним близка прежде и стала еще ближе теперь, без меня.

XXX

Мари помертвела. Слова мужа, как обухом, ударили ее по голове. Пол заходил под ее ногами. Она силилась крикнуть о незаслуженной обиде, о пощаде и не могла. «Слушай, — думала она сказать мужу, — ведь я знаю, ты благороден... Твоя мать и все близкие считали и считают тебя рыцарем добра и чести. За что же такие убийственные и несправедливые укоры?» Рой мыслей с страшною быстротою кружился в голове Мари. Она теряла сознание.

— Да, да! — продолжал, глядя на ее смущение, Глеб. — И ваши амуры увенчались успехом, даже принесли желанный плод... и — как и подобает мужу — я, разумеется, узнал об этом последний.

Все это он сказал, как потом вспомнила Мари, особенно отчетливо ясно.

— Что тебе, наконец, нужно? Договаривай, мучитель! — произнесла Мари, все еще не вполне понимая всей тяжести падающих на нее позорных обвинений.

— Договаривать? О, так слушай! — с незнакомым для нее язвительным спокойствием произнес Глеб. — Я только что допытался, узнал... Вася не мой, а *ваш* сын... Твой и Спесивцева!

Безобразно-дикое обвинение, брошенное в глаза Мари, окончательно взорвало ее. Мысли ее помутились. «А! Так вот что, вот награда за мою безграничную любовь и преданность! — пронеслось в ее голове. — И в своих укорах ты, гордый себялюбец, даже не допускаешь сомнений, — стал сразу безжалостным судией и палачом?» Злая, страшная мысль невольно охватила ее. «Ты казнишь невиноватое перед тобою, беспомощное существо, — сказала она себе. — Казнись же до конца и сам, неправедный и бесчеловечный судия!»

Мари вдруг почувствовала облегчение в душе. Пришедшее ей в голову соображение охватило ее восторгом. Ей показалось, что она вдруг вырвалась из каких-то душных потемок и с стремительною, поражающею быстротой неслась к воздуху и свету. Она скрестила на груди руки, отступила на шаг и с презрительною усмешкой взглянула на Глеба.

— Если так... если ты, как говоришь, в самом деле до всего допытался и все узнал, — сказала она, — смотри только, не раскайся, что и меня вызвал на сознание...

Мари помолчала. «Остановись, безумная! — шептал ей внутренний голос. — Будет поздно, все погибнет, улетит навсегда!» Ее глаза горели бешеною местью. Она дрожала, как дикий конь, закусивший удила.

— Ты спрашиваешь? — проговорила она. — Изволь, не скрою; как ни тяжело, а действительно... ты сам сказал...

Она не кончила.

Перед нею мелькнули чьи-то исковерканные гневом, странные и незнакомые ей черты. То был Глеб, а не кто-то иной, кого она здесь увидела впервые. Чьи-то покосившиеся от злобы и ненависти глаза приблизились к ее лицу. Она почувствовала нестерпимую боль в крепко стиснутой руке. В комнате раздался зверский, хриплый крик. Что-то рвануло ее, что-то возле нее затрещало... Мари как подкошенная упала к углу софы, уронив с нее вышитую гарусом подушку, ее подарок, в Ракитном, мужу. Был опрокинут стол, рассыпалась в осколках китайская ваза. Над нею стоял бледный, с искривленным от бешенства лицом и поднятыми кулаками Глеб. Он дрожал, осыпая ее проклятиями...

Никому и никогда впоследствии Марья Родионовна Дуганова не говорила о том, что произошло в те мгновения в отдаленной от прочих комнат уборной. В ее «Записках», вместо всякого рассказа, были здесь написаны только слова: «Власть Господня на все! А что случилось, о том знают только рабыни, жалкие парии востока, да их грубые, бессердечные палачи».

Мари опомнилась наверху, в антресолях, куда она вбежала бессознательно и дрожа всем телом. В слезах обиды и стыда, она беспомощно опустилась на тот диван, на котором минувшею зимой, плача и дергая плечами, лежал Алексей, узнавший о бегстве жены. «Но ведь та ему действительно изменила, бежала от него, — твердила Мари себе, собираясь с мыслями. — А я? За что же это, за что?» Вот и то фарфоровое зеркало, перед которым она, о масленой, допрашивала Серафиму. Думалось ли тогда, что вскоре случится с нею самой?

Прошло более часа. Мари не думала об обеде, и никто не звал ее вниз. «Значит, все в доме знают!» — ужасалась

она. Надвинулись сумерки. На лестнице послышались шаги. На антресоли вошла Сысоевна, носившая ребенка, по обычаю, перед вечером, гулять и ничего, казалось, не знавшая о происшествии в уборной.

— Пора бы уж Васеньке ужинать и бай-бай, — сказала она и остановилась.

Измученное лицо Мари, упавшая на грудь, в беспорядке рассыпавшаяся ее коса и пальцы, судорожно перебиравшие эту косу, сказали Сысоевне более, чем могли бы объяснить слова Мари. Слезы навернулись на глазах старухи.

— Эхма, барынька, молодой ты мой птенчик! — проговорила она, всхлипывая. — Все перемелется, будет мука. Суров-от, бывает, хозяин, да отходчив, — молись!

«Все знают, все»! — подумала Мари, мертвея от стыда.

— Да что, милая, — продолжала няня, — нашим сестрам-от и косы за провинность режут, а пока гнев на милость склонится, какие еще отрастут.

— Так и ты, няня, и ты? — вскрикнула Мари, заливаясь слезами. — Безбожные вы все, безбожные! С вами не жить... Уйди, ради Бога, уйди!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НА ВОЛГЕ

Руби столбы — заборы сами повалятся!

Слова Пугачева

Маркиз Пугачев, как его зовет г. Вольтер, мне наделал много хлопот. После Тамерлана не было никого, кто бы так истреблял человечество.

Письма Екатерины II к барону Гримму и Вольтеру. 1774 г.

I

Едва няня удалилась, Мари быстро подошла к окну, распахнула его и взглянула вниз на улицу. Ее охватил злой, мучительный трепет. «Броситься через это окно, разбиться! — думала, замирая, Мари. — Пусть он увидит мертвую, с изломанными членами, с размозженною головой!» Опомнившись через секунду, Мари с ужасом отвернулась от окна. Ее голова кружилась. Мысли путались. «О, ему будет, разумеется, приятно! Пусть так, пусть насладится!» — шептала она. Ухватясь за сердце, она помедлила, тихо сошла по лестнице во двор и направилась в сад при доме. Несколько минут она ходила по саду. В конце его был глубокий, старый колодец. Из него редко черпали воду. «Да, да, здесь утопиться! —

вдруг подумала Мари. — Не скоро спохватятся, не скоро найдут!» И она, припав к колодцу, стремительно нагнулась над ним. «Ведь миг один, миг, — мыслила она, держась за сруб, — и ты будешь счастлива, покойна навек!» «Мама, мама», — послышался сзади ее знакомый голос. Мари оглянулась. Сысоевна несла к ней по аллее Васю, махавшего издали пухлыми ручонками. Мари, судорожно зарыдав, обхватила ребенка. «Спасибо, няня, что ты его принесла, — сказала она, — мне легче так; гуляйте». Отерев слезы, Мари тихо возвратилась в дом, прошла в спальню, заперлась на ключ и бросилась на колени перед образами. Долго она молилась, никого к себе не звала, а ночь напролет провела в новых муках сомнений и безысходной тоски. «Он-то, он, — восклицала она мысленно, — Глебушка мой! Да за что же? О, Господи!» Мари представлялось, что совесть должна укорять Глеба, что он вскоре одумается, придет и с раскаянием попросит о мире и забвении всего, что было. В доме, как казалось Мари, слышались торопливые шаги, необычная возня. Сердце в ней сильно билось. «Вот идут к двери!» — думала она... Ее ожидания не сбылись. Глеб не являлся. Стал брезжить рассвет, когда донельзя измученная Мари припала головой к подушке и забылась тяжелым, прерывистым сном.

Мари проснулась поздно. Открыв глаза, она с ужасом вспомнила все, бывшее с нею. «Нет, этого не было, это привиделось мне! — старалась она себя убедить. — Это невозможно!.. А если действительно все то было, какой позор! Этого не прощают... С таким мужем не живут...»

Мари встала, не торопясь оделась, снова помолилась перед любимым киотом и с проясненною душой стала вынимать и откладывать особенно ей дорогие вещи. Все до безделицы она разобрала и положила по местам, присела к столу и взялась за перо. Она написала Наде Шимковой, прося ее немедленно снова приехать, чтобы выслушать от нее одно важное дело, позвонила и отправила через поваренка письмо

на мызу. До приезда Шимковой она по-прежнему не выходила из своей комнаты. «Ты не идешь ко мне, — думала Мари о муже, — не пойду и я!» Сысоевна принесла ей в спальню чай и завтрак. От всего она отказалась.

— Нездорова, матушка? — спросила няня.

— Да, болит голова.

— Принести Васеньку?

— Нет, Бога ради, уйди теперь... после!

Старуха еще как бы хотела что-то сказать и вышла, жалобно качая головой.

«Не утешишь теперь!» — мыслила ей вслед Мари.

Она продолжала укладывать вещи в последнем из ящиков комода, когда послышался наконец знакомый стук расхожих дрожек. Мари подошла к окну и увидела на крыльце Надю и Сысоевну. Старуха, очевидно, поджидала здесь Шимкову и что-то передавала ей, разводя руками. Сердце Мари сжалось и заныло. «Боже! О чем это еще они? — подумала она, замирая. — Неужели глупая старуха, если что и узнала, решилась передать Наде? Нет, она слишком предана мне». В спальню постучались.

— Войдите, — сказала Мари, присев снова к столу и стараясь быть как можно спокойнее.

Вошла Шимкова. На ней не было лица. Испуганные ее глаза смотрели странно. Снимая шляпу и мантилью, она с трудом переводила дыхание. «Да, и она, очевидно, все знает! — подумала Мари. — Старуха выдала ей секрет». Она молча поцеловала Надю.

— Ты всегда была мне близка, — сказала она, усадив гостью возле себя, — не правда ли, ты не оставишь меня в тяжелую пору?

Надя тихо пожала ей руку.

— Я приняла решение, и оно бесповоротно, — продолжала Мари, — если не знаешь причины, объясню после... Так долее нельзя... Либо надо окончательно переговорить — он обязан извиниться, — либо подумать и... расстаться навек... да, навек!

— Но ты не знаешь, — проговорила, вглядываясь в нее, Надя, — ах, Боже мой, как мне это тебе передать, объяснить?..

— Что такое?

Надя медлила ответом.

— Да говори же, что еще? Все какие-то неожиданности.

— Ты еще только думаешь, — прошептала бледными губами Надя, — а другие уже и решили... Все кончено, и тебе, как я узнала, запрещено это сообщать.

— Что запрещено? — допытывала Мари. — Да брось, ради Бога, загадки, говори...

— Ах, Маша, помнишь, что я, потеряв мужа, говорила тебе? Нет в свете прочного счастья... все шатко, все тлен и прах... Я сию минуту узнала — Глеб Андреевич с вечера начал делать распоряжения... Он, очевидно, уезжает...

— Ну, уезжает, так что же?

— Да ведь он в Петербург, слышишь ли, едет и, кажется, навсегда...

Мари вскрикнула и в беспамятстве упала со стула.

С трудом придя в себя, она не хотела слушать никаких увещаний приятельницы. Когда Шимкова, по возможности успокоив ее, уехала, она решила немедленно бросить мужа и разорвать с ним всякие сношения. «Но куда ехать?» — терялась в догадках Мари. В Ракитное, имение свекрови? Это было, по ее мнению, немыслимо. Если Глеб еще не извещал матери о своем разрыве с женой, то, наверное, скоро должен был ее о том известить. Мари не могла рассчитывать на покровительство и помощь свекрови, так любившей своего сына и веривший в правоту всех его действий. Оправдываться перед нею — значило обвинять ее кумира, любимца. И какую цену старуха Дуганова могла бы дать ее голословным объяснениям? Обиженная гордость не дозволяла Мари и думать о Ракитном. Она вспомнила о вдове своего брата; последняя, незадолго перед тем, вторично вы-

шла замуж и находилась в Петербурге, где ее муж служил в Сенате. Но, поехав к ней, Мари могла там встретиться с Глебом, и он, пожалуй, подумал бы, что она ищет его прощения и примирения с собой. Она безуспешно перебирала разные предположения.

На Усихе Емельян и его сообщники остановились на плоской, безлюдной равнине, под высоким явором, одиноко стоявшим у обрывистого берега. Сюда не было никаких дорог. Место зато было «караулисто». С полузасохшего дерева, на котором чернело несколько опустевших коршуньих гнезд, далеко виднелась пустынная степь с синеющими холмами и курганами.

Распоряжавшийся государевым станом и всем его обиходом Чика разбил для Пугачева под явором палатку из конских попон. Сами казаки расположились под открытым небом. Отсюда, поодиночке, они сделали несколько разведок в окрестные хутора и в Яицкий городок. Добыв съестных припасов, а также цветных тканей, позументов и шнура для знамен, они привезли из городка несколько новых охотников послужить государю, в том числе и столь желанного для него грамотея.

Это был почти еще мальчик, весьма смышленый и наторелый в войсковой канцелярии, сын богатого яицкого казака, Ивашко Почиталин. Белокурый и румяный, не по летам высокий, сутуловатый и с неуклюжими крупными руками, он сильно трусил, когда впервые его подвели к государевой ставке. В руках Ивашко держал подарки от старика отца, благословившего его на служение царю: новый синий китайчатый зипун, персидское, с вышивками, седло, бешмет из бухарской зеленой термаламы, малиновую бархатную шапку и желтые сафьяновые сапоги. Мясников объяснил Пугачеву, что это грамотный человек.

— А это что? — указал Емельян на подарки, оглядывая сгорбленную и длинную фигуру Ивашки, у которого на поясе

висела медная чернильница, а из кармана выглядывали пучок бумаги и перо.

— От тятеньки, — ответил Ивашко, кланяясь и подавая гостинцы.

— Ростом хоть и в гвардию, — сказал Емельян, принимая дары, — а что так сутулишься? В школе, чай, изогнули?

Ивашко только моргал белесоватыми испуганными глазами. Прочие казаки громко рассмеялись.

— Ну, оставайся, будь при мне секлетарем, — объявил Пугачев. — Служи верно и пиши, что велю.

— Худо, ваше величество, пишу, — отвечал Почиталин.

— Ничего, письма будет мало, больше делов!

Емельян оделся в платье, привезенное Ивашкой. Казаки собрали сухого бурьяна, разложили в расселине берега огонь и стали в походном котелке варить на обед кашу. Но едва запылал костер, вдали показалась какая-то движущаяся точка. Стал виден скакавший к Усихе всадник. Он близился, маяча над собой пикой. То был гонец, посланный к Пугачеву окольными путями из Яицка. Казаки узнали в нем посланца от войсковой руки и пропустили его к ставке царя.

— Беги, государь! — проговорил гонец, доскакав к ставке и спрыгнув с изморенного коня. — О твоем прибытии сюда проведано, и за тобой послана сильная погоня.

— На конь, ребята! — крикнул Емельян. — Спасайтесь, да вызволяйте, детушки, и меня.

Он растерялся и, бледный, бегал по берегу. Казаки мигом оседлали лошадей. Бросив палатку, костер и съестные припасы, все стремглав ускакали вниз по Усихе. Столб пыли несся за ними пустынною степью по пути на Толкачевы хутора. Скакали до ночи и всю ночь. Вечером отдыхали на растахе, у какого-то провалья. Пока провожатые пасли лошадей, Пугачев подозвал Почиталина.

— Доставай свою бумагу, пиши манифест! — сказал он ему. — Да проворь, чадо мое, не люблю мешкоты...

Ивашко присел на земле, вынул бумагу и перо, откупорил походную свою чернильницу и на снятом ленчике седла стал писать то, что ему говорил Пугачев. Выслушав написанное, Емельян сказал: «Добре, проба хороша».

На Толкачевы хутора приехали рано утром. Чика разослал гонцов по соседним зимовникам и уметам. К избе, где остановился Пугачев, стали собираться бездомные казаки, бродяги и калмыки с ближних кочевок. Вечером на сборном пункте, среди хутора, гудела уже толпа человек в триста. Чика объявил, что вскоре выйдет государь. Все почтительно смолкли, с жадным любопытством глядя на низенькую, покосившуюся дверь, из которой должен был, наконец, объявиться народу давножданный император. Тут же сидел отбитый казаками по пути из-под стражи в соседнем хуторе пересылавшийся из Мечетной в Яицк старик Оболяев. Уметчика трудно было узнать. На нем был снятый с убитого старшины новый зеленый тонкого сукна кафтан с позументом и новая черная смушковая шапка. Из избы на крыльцо вышел широкоплечий, бородатый и дюжий человек в зеленом бешмете и красных сапогах, с саблей у пояса. Он исподлобья, медленно оглянул толпу и направился к ней. «Батюшка! Сильный да статный какой! — шептали в толпе, снимая шапки. — Кормилец наш! Вот оно, царское-то древо!» — «Эк, брешут! Да разве можно? Слепые вы! В бороде-то разве бывают цари?» — толковали другие. «И впрямь, — прибавляли третьи, — не царь, а наш брат, казак, либо каким обманом купец!» — «Дурни вы, дурни! — перебивали первые, верившие, что к ним выйдет царь. — Был бы обман, разве долго побриться?» — «Да, делать нечего, — вздыхали старики, — допустили, так надо принять; иначе, коли оплошаем, бабы засмеют!» Емельян вошел в круг. Все пали перед ним на колени.

— Здравствуйте, други мои, войско яицкое! — сказал Емельян, сам не снимая шапки.

Пот крупными каплями выступил у него на лице. Левый глаз подергивался судорогой.

— Опознайте меня, детушки, смотрите! — продолжал он. — Вот я весь теперь тут — ваш государь; не умер, а жив... Одиннадцать годов странствовал... Бог за старую, прямую мою веру опять вручает мне царство. Служите по правде — будете у меня первые люди... Держитесь за мою правую полу, соколята, орлами будете.

— Рады, батюшка! До последней капли крови... Бери все наши животы, родимый, ваше величество!

Пугачев оглянулся к избе.

— Иванушка! — крикнул он стоявшей там своей свите. — Читай им манифест; слушайте, братцы-станичники.

Почиталин подошел к кругу, достал из-за пазухи заготовленную на растахе бумагу, развернул ее и стал читать.

Толпа с любопытством и страхом слушала то, что нараспев, по-дьячковски, произносил писарь. «Самодержавного ампиратора... как вы, други мои, прежним царям служили, — вычитывал Иванушка, — и ни источит ваша слава... и которые мне, ампираторскому величеству, винные были, прощаю... и жаловаю я вас ря́кою, с вершин и до усья, и порахом, и провиянтам, я, великий ампиратор, жалую вас, Петр Федорович... 1773 года, 18 сентября».

— Веди нас, государь, куда хочешь! — крикнули все. — Мы твои; отстоим, поможем тебе!

II

Пугачев подозвал Чику.

— На конь, ребята, поход! — объявил он молодецки и громко, вспоминая, как при нем точно так же, на стоянках в Пруссии, командовали его бывшие полковники. — А ему, — крикнул он, подзывая Еремкина-курицу, — вручаю мою походную икону и главный штандарт. Ты, старик, потрудился; заслужи еще, береги то и другое!

Казаки засуетились, развернули пять смятых, заготовленных в торбах знамен с нашитыми на них восьмиконечными

крестами, преклонили их перед новоявленным царем, сели на коней и направились вверх по Яику. Впереди, на небольшом пегом иноходце, ехал сам Пугачев. За ним, недавно еще кряхтевший при взлезании на коня, бодрым скоком поспевал теперь Оболяев, со значком в руке и с небольшою, на ленте, иконкой поверх кафтана. «Господи, Боже Ты наш, — думал сквозь радостные слезы старый уметчик, — кто явился и обрящен кем? Обещает семиглавые церкви строить, потрудиться Богу, миловать и жаловать всех! Как за такого не положить жизни, не пострадать?» Казаки приблизились к Яицку.

У Чаганского моста их встретил высланный против них, для разведки, комендантом Яицкой крепости небольшой отряд пехоты и казаков, с пушками. Емельян, засевший в обрыве, под мостом, бросился из засады и охватил часть этой команды; остальные ушли. Отряд Емельяна усилился до семисот человек. Его сообщники связали одиннадцать пленных и стали усиленно просить Емельяна казнить пойманных. «То все твои супротивники, — говорили они, — великие злодеи, кумовья и посланцы старшин. Веревок! На надолбы их!»

«Что ж, надо их довольствовать! — подумал Емельян, оглядывая запыленные и потные лица пленных, испуганно смотревших на него. — Таперича на всяк грех не намолишься!»

Он дал знак Чике и отъехал с ним в сторону.

— Как думаешь? — спросил он, перебирая в руках уздечку.

— Да что, батюшка, — ответил Чика, — между пленными попался непричастный, сторонний офицер... ехал по своему делу из Яицка, его, значит, и схватили.

Говоря это, Чика поглядывал на бричонку, в которой сидел связанный офицер и где было немало ценной поклажи. Пленный офицер был брат Травкина, Павел.

— Так что же? — спросил Емельян.

— Барина следовало бы помиловать, — ответил Чика, сообразив, что за свое ходатайство заработает с офицера хороший бакшиш.

— Барина? — сердито спросил Емельян, вспылив и покраснев до поту. — Меня учить? Да не за алтын всякого удавлю! Над самими висит петля, а ты о господах? Бей их, дави, полосуй, от прапорного до енерала! Чего жалеть проклятый род дворян? Руби столбы — заборы сами повалятся...

Пугачев отдал приказ. Чика отошел к мосту.

На старых палях и надолбах, из конских оброте́й, устроили первые ре́ли. На них повесили всех одиннадцать пленных. Особенно долго боролся и бился повешенный офицер. Более других над ним положил труда Оболяев, так недавно еще мысливший о милованиях и печалованиях найденного им царя. Отдав подручному значок, Еремкин-курица, с болтающейся на груди иконкой, лихорадочно копошась у почерневшей мостовой пали, торопливо наладил веревку и, шепча побелевшими губами: «О, Господи Иисусе! О, Господи, помилуй грешных!» — первый дрожащими руками затянул петлю над связанным Травкиным и пинком столкнул его с моста. И когда повисший над омутом несколько секунд еще вертелся на веревке, Оболяев, глядя на его побагровевшее лицо и в ужасе широко раскрытые глаза, не переставал твердить: «Господи, Пречистая... Ой, грех! Помилуй нас, Иисусе, и спаси!»

Разделив поровну меж всеми одежду казненных, Пугачев двинулся к Яицкому городку. В коляске повешенного офицера нашли ящик с вином; у соседнего кабатчика прихватили к нему еще увесистый бочонок с водкой. Все дружно выпили. В передней кучке казаков оказалось несколько беглых малороссов. Сильно подвыпив водки и вина, кто-то из них затянул песню, под которую запорожцы в недавнем набеге за Днепр громили, жгли и били польские села. Запевало начал:

Да прибье́мо па́на
До стены плечи́ма,
Щоб на нас диви́вся
Черными очи́ма...

Хор подхватил. Густая пыль столбом понеслась вслед за отрядом, скакавшим к видневшимся вдали мельницам и предместьям Яицкого городка.

Мари терзалась, не находя выхода из томительных колебаний. Переходя от одного предположения к другому, она решилась было ехать в Самару, где когда-то жил ее отец, небогатый отставной офицер, имевший под городом небольшую деревеньку, Свиблово. В этой деревне родились Мари и ее покойный брат, в ней была похоронена их мать, и здесь же теперь доживала век старая их тетка, сестра покойного отца. Мари изредка переписывалась с нею и знала, что старуха еще бодра и что в Свиблове есть небольшой уютный домик, где Мари провела однажды целое лето, в бытность свою в самарском пансионе. Но Мари могла бы найти приют и в Горках, у Алексея и Серафимы. Они же, кстати, так убедительно, после отказа Глеба ехать к ним, упрашивали Мари навестить их в это лето непременно. «Мы сильно огорчены вашим отказом, — писал ей еще недавно Алексей, — но, милая сестра, помните, что наш кров и все наше всегда к вашим услугам. Брат Глеб, как мы знаем, теперь не с вами; он в Петербурге, и вы, наверное, скучаете в одиночестве. Приезжайте к нам в Горки, да не только, как говорится, собак подразнить, а если осчастливите заездом, то со всеми домочадцами, и по искренней к вам приязни просим вас пробыть хоть и вплоть до возвращения брата в Москву. Тогда даем слово и лично вас проводить туда, если брат не явится сам вслед за вами в наши места».

«И кстати, — подумала Мари, вспомнив это письмо Алексея, — ехать прямо в Свиблово с дитятею не совсем удобно — осень, дожди не за горами, да и хорошо ли еще теперь прилажен тамошний дом? Предупрежу тетку, она такая добрая — будет, наверно, рада мне и внуку; а на пути сперва заеду в Горки и оттуда уже все устрою и всем распоряжусь».

Мари снова вызвала к себе Шимкову, съездила с нею к знакомому ювелиру и заложила у него алмазный браслет и ожерелье, свадебный подарок свекрови. По отъезде Шимковой она написала большое письмо в Свиблово, предупредив тетку, что ответа будет ждать в Горках, наскоро уложилась и в следующее утро, узнав, что Глеб у князя, отправилась в извозчичьей коляске, с няней и сыном за город, в Донской монастырь. Помолясь там в церкви и со слезами приложась к иконам, она, не заезжая домой, проехала на мызу в Кунцево. Там она оставила Шимковой для передачи мужу следующие строки: «Ты оскорбил меня, поверив гнусной клевете и моей умышленной неправде, которою я хотела тебя окончательно испытать, и решил бросить меня. Предупреждаю твое намерение. И если ты, как я теперь убеждена, после всего происшедшего между нами начнешь и доведешь до конца дело развода, — не мне когда-нибудь придется о нем пожалеть». Городской извозчик был отпущен. Пока гости Шимковой закусывали, к крыльцу мызы подъехал заранее приготовленный синий берлин, подарок свекрови Дугановой. Марья Родионовна простилась с Надей, села с Васей, няней и Сергеем в берлин и, выехав просекой парка на Рязанскую дорогу, отправилась, на Тамбов и Саратов, в Горки.

После утомительной езды на долгих, с отдыхами в пыльных городах и на душных постоялых дворах путники приблизились к окрестностям Волги поздно вечером. В воздухе посвежело. До Горок еще оставалось верст десять. Лошади по гористому проселку тянулись медленно. Темнота сгущалась. Месяц еще не всходил. Серая, туманная мгла покрывала небо. Выехав с последнего постоялого двора, Мари сперва то и дело торопила ямщика; теперь же, боясь, чтобы лошади вовсе не пристали, сидела молча, прижимая к себе спавшего у нее на руках ребенка и высматривая, скоро ли мелькнут вдали знакомые плесы Волги.

— Месяц всходит! — сказала, полуоборотясь, сонная Сысоевна, сидевшая на передке берлина, спиной к кучеру. — Теперь будет виднее...

Мари взглянула туда, куда смотрела няня. Несколько влево от берлина, между невысоких песчаных холмов, стали видны белесоватые заводи Волги, а над ними вдруг действительно засветилось что-то круглое и яркое, только не месяц. Нечто красно-огненное и ослепительное с поражающей быстротой понеслось по небу, бороздя туман и оставляя за собою как бы кровавый, длинный след. Пролетев над рекой, огненный шар с оглушительным треском лопнул и разлетелся над головами путников. Мари в ужасе вскрикнула, невольно закрыв ослепленные глаза.

— С нами крестная сила! — шептала, крестясь, Сысоевна.

— Полыхает, — произнес, подбирая вожжи, ямщик, — сказывают, к вёдру! Эх вы, детки!

Он ударил по лошадям. Четверня, спустившись на равнину, побежала крупною, дружною рысью. Кровавый метеор не покидал смущенных мыслей Дугановой... «Что-то он пророчит?» — невольно думалось ей.

Приезд Марьи Родионовны в Горки был всеми встречен с искренним сочувствием. Алексей и Серафима всячески старались ей угодить. В огромном деревянном доме Горок Дугановой с сыном и прислугой отвели лучшую и удобнее устроенную половину нижнего этажа. Сами хозяева, с своими детьми, перебрались для того в верхний этаж, спускаясь вниз, в общую столовую, только к чаю, обеду и ужину. В нижнем этаже по другую сторону столовой, делившей эту часть дома пополам, поместилась гостившая в Горках со дня освящения церкви Нинет Ладыженцева.

В день приезда Мари для нее и ее спутников вытопили баню. После бани все сошлись к Мари пить чай

и застали ее в дорожной блузе и в чепце поверх еще мокрых волос, среди кучи полуразвязанных, нагроможденных по столам, стульям и диванам укладок, корзин и узлов. Посыпались новые приветствия, поцелуи и рассказы.

— Так вы, душенька сестра, говорите, что командировка Глеба еще не кончилась? — спросил Алексей, усаживаясь возле канапе, на котором, кутаясь поданною шалью, полулежала раскрасневшаяся Мари.

— Да, не кончилась.

— И он от этого вас не провожал?

— Вслед за моим отъездом, вероятно на другой же день, уехал в Петербург.

— Жаль, жаль, а мы вас обоих ожидали.

— Порученное ему дело очень важное. Им интересуется сама государыня.

Мари все это говорила и объясняла так спокойно, что никому в то время и в голову не могла прийти мысль о печальной драме, которая разыгралась в Москве между нею и мужем и привела их к неожиданному и, как убедилась Мари, полному разрыву. «Узнают от других, — думала она, — может статься, с первою же почтой, напишет он и сам, это в его духе, тогда поневоле все расскажу и я».

— Ну, как же ты ехала? — спросила Серафима. — Вот воображаю... Эта пыль, духота, остановки на постоялых дворах.

— И такой дальний путь вы ехали одни, только с прислугой, — удивлялся Алексей, ероша волосы и счастливо улыбаясь радостными, близорукими глазами. — Вот какая храбрая!.. А уж подарок нам, никогда не забудем!

И он рыцарски вежливо, нагибая свою богатырскую фигуру, целовал маленькие руки покрасневшей еще более свояченицы. Мари едва успевала отвечать на расспросы.

— Ромку, сестра, в чай! — вскрикнул Алексей. — Нина Александровна, прикажите.

— Да мне и так жарко, уф! — отвечала Мари, обмахиваясь концом шали.

Нинет принесла флакон с ромом.

— Кушай, Маша, это полезно с дороги! — сказала она, подливая в чашку дорогой гостьи.

— А мне можно войти? — раздался голос за дверью.

— Кто это? — в смущении прошептала Мари, кутаясь в шаль по горло.

— Не лишите узреть нашу залетную пташку! — молил голос за дверью. — Очаровательная богиня, дозволь...

— Нельзя, нельзя! — отрицательно качала головой Мари.

— Да это Сила Фомич, — произнес Алексей. — Это Травкин... Ему можно... Уже проведал, селадон, прискакал с хутора.

III

Дверь отворилась. Вошел и среди комнаты замер кругленький, румяный и подвижный старичок. Он был в суконном кафтане светло-песочного цвета, в голубом камзоле и в завитом парике. Подняв руки к потолку, он несколько секунд в безмолвном умилении смотрел на нежданную гостью, почтительно шаркнул ножкой и подкатился к канапе Мари.

— Какое счастье! Какое! — вскрикнул он, отирая искренние, радостные слезы. — После одиночества — такое свидание, после бед — утешение... И я притом не один. Позволите ли, милая путница? Здесь за дверью птенец, которому вы первая вселили любовь к прекрасному, к музыке и стихам... Помните, в ваш первый приезд сюда? Он был еще вот какой шарик... А теперь уж сам играет на флейте и лихо танцует... Боря! Входи!

Травкин отворил дверь и ввел в нее своего крестника. Двенадцатилетний Боря, в коричневой драдедамовой курточ-

ке с бронзовыми пуговками и в больших белых отложных воротничках, войдя, смущенно и робко поцеловал руку Мари. Его умные черные глаза также блестели счастьем и радостью. Общий разговор стал еще оживленнее. Вспоминали прошлое. Мари расспрашивала о других дальних и ближних соседях. Те умерли, те поженились.

Пришли на поклон гостье старые слуги: седой, главный слуга Дрон и сморщенная, под пару ему, седая буфетчица и чайница Софьюшка. Они кланялись, вспоминая, как гостила и горевала здесь Марья Родионовна, еще девушкой-невестой. «А теперь вы, спаси вас Господь, уже барыня, да какая красивая, и с дитем!»

Остановили, с приветом, и вошедшего за чем-то сюда слугу Мари, Сергея, родом из Свиблова. «Поедешь туда, закормят тебя родичи!» — шутил Алексей. Обласкали и вошедшую с ребенком Сысоевну. Васю познакомили с детьми хозяев. Последние, широко раскрыв на гостя глаза, сперва молча и с суровым любопытством разглядывали тоже вначале строгое и озадаченное личико незнакомого им Васи, который молча, даже как бы враждебно следил за их странными для него лицами и движениями. Но кто-то из детей крикнул: «А у нас котенок и повозочка!» — и все шумною гурьбой увели Сысоевну с Васей к себе наверх.

Растроганная общими ласками, Мари чуть не расплакалась. За обедом не прерывались новые расспросы. После ужина, перед сном, все собрались в кабинете Алексея Андреевича и так снова здесь заговорились и засиделись, что, когда опомнились, было уже недалеко до рассвета. Травкин с племянником даже заночевал в Горках, хотя отсюда до его хутора считали не более трех-четырех верст. То же повторялось и в следующие дни. Алексей и Серафима водили Мари осматривать переделанную церковь. Мари любовалась ее благолепием и в первое же воскресенье, после обедни, отслужила в ней благодарственный, за счастливый свой путь, молебен.

Расспросы и толки обо всем, что могло на первых порах особенно занимать хозяев и гостью, иссякли. Вспоминались еще кое-какие семейные и посторонние события, о которых не успели подробно поговорить. Но и все подробности, наконец, были изложены и обсуждены до мелочей. Мари тем временем все установила и по-своему распределила в отведенных ей комнатах. В свободные часы, между общими сборами в столовой или наверху у хозяев, она осмотрела сад, где так давно не была, и даже заглянула в соседний, прилегающий к саду лес. Дорожной усталости и душевного волнения у Мари не осталось и следа. Ее мысли приняли обычное, спокойное течение. Упрошенная не торопиться с отъездом, она решилась долее погостить в Горках. Так прошел месяц.

Еще в первое время по приезде в Горки Мари в разговорах Алексея с Травкиным и с Нинет несколько раз слышала имя «Пугачев». Оно при ней упоминалось вполголоса и как бы неохотно. Видя, что от нее нечто скрывают, повидимому, не желая на первых порах тревожить ее, она вспомнила, что это имя мельком она уже слышала в Москве, и решилась при удобном случае расспросить обо всем Серафиму.

— Скажи, дорогая, я все собиралась и забывала у тебя узнать, — обратилась она к Серафиме, когда та после ужина однажды проводила ее наверх и присела у нее в спальне, — этот, как его, Пугачев, что ли, — что слышно о нем?

— Ах, уж и не говори, — ответила недовольно Серафима, — сколько вести о нем испортили крови! В первое время, когда прослышали о нем, мы не спали по нескольку ночей. Положим, отсюда до места, где появился и действует этот зверь, далеко, более трехсот верст... А все-таки жутко! Alexis ездил в Саратов, справлялся; воевода и все уверяют, что неопасно, а как подумаешь...

— Где он и что с ним? — спросила Мари, расчесывая и свертывая на ночь перед зеркалом распущенную косу.

— Нет, уволь, расспроси лучше мужа.

— Ну, полно, расскажи.

— Но я могу спутать... мало ли что толкуют! Охота об этом говорить на ночь?

— Ах, нет, за меня не бойся... Лучше знать, быть готовой.

— Да что готовой? Говорят тебе, что здесь неопасно... Ну, этот бунтовщик поднял на Яике казаков и часть мужиков, уверяет, что он государь Петр Федорович... Только сюда ему не дойти, кругом войско и приняты меры.

— А там, на Яике?

Серафима не отвечала.

— На Яике, надеюсь, его одолели, разбили? — спросила Мари, оглядываясь на нее.

— Нет, он там усилился, взял какую-то крепостцу или две, казнил несколько офицеров, истиранил их семьи и теперь, по слухам, обложил Оренбург.

— Как? Целый город? И это считают пустяками? — спросила, снова обернувшись от зеркала, Мари.

— Да и я говорю: дождетесь вы его здесь — смеются надо мной. Он в лагере под Оренбургом устроил себе настоящий дворец; стены оклеил золотою бумагой, отделал зеркалами и напоказ всем тут же поместил где-то отбитый портрет цесаревича Павла — вот, мол, мой первенец, дойду до Питера, посажу его с собой на престол.

— Ловкий враль! — сказала, двинув плечами, Мари.

— Это еще что! На знаменах у него Святой Спас и угодник Николай, — сказала Серафима, — а едва одолеет какое место, хуже всякого людоеда.

— Что же он делает?

— Да нет, не спрашивай — говорили страшные вещи, может быть, этого и не было...

— Даром не станут сочинять.

— И я спорила и доказывала то же. Помилуй, аптекарша из Саратова приезжала, также здешний земле-

мер — передавали слышанное от беглецов из того края множество дворян он убил прямо дубьем, других повесил, застрелил, засек... Тех казаки пришибли кистенем, закололи пиками либо заживо сожгли, а с какого-то офицера с живого сняли кожу. Считают злодейства сотнями... Страшно!

— Да, небывалые ужасы! — сказала Мари. — Что же начальство? Посланы ли туда войска?

— Посланы, но ничего не поделают; самозванец поднял помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян. Слепой народ верит и помогает ему; да и как не слушаться его, он считает его за настоящего государя; а что велит государь, то, по мнению народа, должно исполнять.

— Согласна, народ, но как могла вооруженная крепость сдаться нестройной черни?

— Это действительно ужасно, — сказала Серафима, — случайность все погубила. Жители, городские мещане, взлезли на колокольню и зазвонили в колокола; гарнизонные солдаты с испуга поверили, что и впрямь со степи идет с войском сам государь, не послушались офицеров, растворили ворота и вышли навстречу злодею с знаменами, хлебом-солью и с распущенными по плечам волосами. Ждали, что он всех помилует и наградит за верность. Да и как было этого не ждать гарнизонным инвалидам, когда вслед за ними вышло духовенство и встретило злодеев с иконами и крестами?

— И самозванец всех помиловал? — спросила Мари.

— Какое! С солдат снял мундиры, обрезал им косы, остриг их в скобку и всех обратил в казаков, а офицеров, торговцев и кто случился там из дворян — без жалости повесил... Нет не могу, ты лучше спроси Алексея или Силу Фомича; они все знают.

— Но как же вы тут живете так спокойно? — спросила Мари. — Далеко-то, далеко, но злодеи могут нагрянуть и сюда.

Серафима не знала, что отвечать.

— Успокойся, — сказала она, — как это ни страшно, Alexis да и все говорят, что эти скопища скоро рассеют; туда форсированным маршем пошли свежие отряды, а мы, сверх того, имеем защиту в гарнизоне и пушках Саратова.

Несмотря на заверения золовки, Мари в ту ночь спала очень плохо. В первый же заезд Травкина она сказала ему: «Вы давно так любезно предлагаете мне взглянуть на вашу усадьбу, — сегодня я готова, едем» — и, когда обрадованный Травкин после обеда объявил ей, что его одноколка подана, она села с ним без кучера и, выехав из Горок в поле, спросила его: «Скажите, Сила Фомич, что это толкуют о Яике? Невероятные ужасы какие-то, ничего не пойму...»

— Да, дорогая Марья Родионовна, — ответил, подгоняя савраску, Травкин, — посетила нас лютая политическая чума. Шутка сказать, сброд всякой голытьбы, самомерзостных каналий охватил, взбудоражил целый край и держит в тисках, как в нравственном лабиринте... И этой гидре, стоглавому змею, нет доныне конца; зверояростная сволочь, к позору и огорчению всех истинных патриотов, держит ныне в осаде — что же? — губернский город Оренбург!

— Да, я слышала. Говорят о неистовствах злодея, о замученных им офицерах, помещиках; имен мне не называли...

— Там погиб мой брат Павел, я оплакал его, жалею, но его мало знали в свете... А вот храбрый комендант Харлов, трагическая судьба взятой в плен красавицы его жены!

— Как? Погиб Павел Фомич? Где, когда? — в ужасе спросила Мари.

— А вы этого не знали? Что же, однако, я? Алексей Андреевич ведь запретил беспокоить вас...

— Расскажите, где, когда и как погиб ваш брат? — сказала Мари, отирая слезы. — Боже мой, давно ли он был у нас в Москве?

Травкин поник головой и несколько мгновений молчал. Савраска шла в гору шагом.

IV

— Павел был у тестя в Яицком городке, — начал Травкин, стараясь говорить спокойно, и рассказал переданное беглецами с Яицка о Харловых и о том, как его брат Павел при возвращении оттуда встретился с Пугачевым, был им схвачен и только потому, что он дворянин и офицер, повешен.

В конце рассказа Травкин не осилил себя и, тихо всхлипнув, отвернулся.

— Но какая причина этого бунта? — спросила Мари, чтобы хотя несколько развлечь его. — Что тянет темный народ к самозванцу?

— Здесь, сударыня моя, — ответил Сила Фомич, — дело понятное, а если хотите, так и совершенно простое — восстание мужика-армяка против боярина, серого порванного зипунишки — против шелка и пудры, кабацкой голи — против всякого порядка и властей — чья, мол, возьмет?

— Следовательно, восстают недовольные. Но чем же? Нынешняя государыня такая милостивая, о помещичьих былых насилиях не слышно.

— Чернь, народ всегда недоволен властью, как бы она ни была справедлива и добра.

— Но почему же такие неистовые злодейства: виселицы, убийства кистенями, дубинами, сдирание кожи с живых людей?

— Как повелевает самозванец, народ так и действует. Злодей отлично знает, что дворяне, офицеры и духовенство — противники ему, как врагу порядка, и рассылает приятные черни приказы — не отбывать барщины, не платить и казне, а истреблять дворян и всякие власти. Кто разорит десять дворянских усадеб и домов, объявил он, да еще убьет столько же помещиков, в награду тому он обещает тысячу рублей и генеральский чин.

— Но как же, Сила Фомич, не пойму я, — ответила Мари, — народ наш религиозен, а слепо слушается таких

варварских приказаний и исполняет их! Где же его христианские верования, совесть?

— Да как же, Марья Родионовна, и не слушаться ему! Ведь, повторяю вам, это, по мнению его, то есть по убеждению, хотя и ложному, повелевает ему сам император, государь... Как же ослушаться? Жив, мол, идет к вам царь Петр Федорович!

— Да народ-то наш ведь добрый, — не могла успокоиться Мари, — он верующий, повторяю вам, знает, слышал, наконец, что не повинных ни в чем не казнят, не истязают... Этого я не могу взять в толк!

— Хороши верующие! — сказал Травкин. — Большинство бунтовщиков ведь раскольники. Что о них говорят: налетают они на церковь, рвут с икон оклады, поповские ризы отдают женам на исподницы, на дискосах мясо едят, утираются антиминсами, как полотенцами. Это ли христиане?

— Но что же им нужно? Чего они добиваются? — спросила Мари.

Одноколка в это время въехала в лес.

— Казаки, знающие, что самозванец не государь, — ответил Травкин, снова придерживая коня, — думают, дай, мол, на престол посадим мужика-царя... всякой голытьбе будет благодать! Мужичье царство оснуем... Потому-то в помощь к ним и к самозванцу охотно шествует такая же всякая подлость, все холопство и чернь, как они сами, и все они, с своим вождем, ждут не дождутся растерзать всех чиновников, офицерство и дворян. И какие у него подобраны помощники палачи! Одни клички, поистине сказать, чего стоят! В камергерах у злодея состоит казак Давилин, а в капитанах Мертвецов.

Травкин смолк. Мари в волнении обдумывала все роковое и ужасное, слышанное от него.

— Скажите откровенно, Сила Фомич, — спросила она его, — здесь небезопасно? Не за себя боюсь, за ребенка... Не уехать ли отсюда?

Травкин подумал.

— Оно точно, — ответил он, — Алексей Андреевич и другие не разделяют моих сомнений. И надо прибавить, в здешних рассказах и письменных ремарках от сторонних лиц немало всяких преувеличений и авантюрьерского вранья. Что же до здешних мест, то по совести скажу, во-первых, наши палестины далеко от того края, а во-вторых, и народ здесь в полной еще тихости и не таков сумнителен и зломыслен, как в тех диких, степных пустырях, по этому Яику и хоть бы по Узеням. Здешняя чернь спокойна, и неслышно еще промеж нее бездушных и крови жаждущих мутьянов. Да и чего нашим-то здешним мутиться? Алексей Андреевич, по чести сказать, не владелец, а отец своим подданным, — и все подтвердят, добрейший; воды не замутит и скорее последнюю рубашку отдаст мужику, чем обидит его. Таковы и прочие помещики в здешней окольности... Не говорю о себе, но и другие — Шихматовы, Толпыгины, Болотины, вы их знаете, Лаптев, ну, все... ни насилий, ни стеснения подданным. Скажу, наконец, более: и там, в той дикой глуши, если бы не колеблемость нерегулярных, сиречь казачества, коего непорядочное житье правительство решило ныне ограничить, — не было бы открытого мятежа и там.

— Странно, — сказала Мари, — мой муж служит при главнокомандующем в Москве, а там об этом почти не знают, и если говорили, то вскользь, уверяя, что смуты вскоре будут прекращены.

Одноколка, миновав лес, стала спускаться с холма в долину.

— Вон мое жилье, — указал Травкин с холма, — то мой сад, а среди него домишко... Надежд, сударыня, и у нас немало, а на деле что-то не так; злодей открыто рассылает манифесты, грозит взять Оренбург и двинуться оттуда к Волге и к Москве. Все мы давно погибли бы, извините, аки черви капустные, и злодей перебил бы и передушил бы нас всех, если бы не такие патриоты, как князь Голицын и Мансуров. Те уже двигаются к нему...

— Манифесты, вы говорите? Что же он в них оповещает?

— Казакам сулит на Яике поставить главное царство и Яик объявить на место Петербурга и Москвы, а всей вообще черни на многие лета обещает разные льготы и перевес над прочими сословиями. В Саратове ходила письменная ремарка с одного из таких его воровских листов.

— Ну, и что же это за произведение? Вы его читали? — спросила Мари, когда одноколка уже въезжала во двор, обсаженный вербами.

— Безграмотно-с и совсем детски грубо, — сейчас видно, что у него нет еще знающих, толковых секретарей... Народу же это, разумеется, невдомек.

Травкин ввел гостью в дом. Они обошли его и сад и сели на крыльце, у которого крестник Травкина Боря держал под уздцы савраску.

— Видел ли кто этого Пугачева? — спросила Мари Травкина. — Каков он из себя? Похож ли на покойного императора Петра Федоровича?

— Ничуть, — ответил Травкин, — злодей средственного роста, сутулый, рябоватый и невзрачный мужичонка, пьяница, грубиян и притом волокита, похитил в разных местах и держит при себе несколько не только простых девок, но и боярских дочерей. А как сядет на коня, сущая, говорят, картина — молодец и бесстрашен, кидается прямо в огонь; не только мужики — солдаты, глядя на него, говорят: и впрямь он царь, его, мол, и пуля не берет... Одно, впрочем, дело — толки, а другое — настоящее войско; он его еще не видел, а как встретит, всем его шайкам несдобровать.

Мари встала, прощаясь.

— Так вы думаете, во всяком случае, здесь еще нечего опасаться? — спросила она.

— По совести спрашиваете?

— Да, вам я поверю от души.

Травкин радостными глазами взглянул на Дуганову.

— Для вас, Марья Родионовна, — сказал он, снова подсаживая гостью в одноколку, — за ваш лестный для меня визит не только услуги, жизнь готов отдать... Да-с, густой, беспросветный туман, нечего сказать, еще носится над нами. Но, голубушка вы моя, дорогая барынька, велика милость Господня... Надо именно думать, что зло не пойдет далеко — здешние крестьяне еще спокойны, и семя бунта, смею думать, вскорости, на общее благо, будет истреблено.

Савраска весело помчалась обратно в Горки.

Травкин был прав: не только горецкие, но и все окрестные крестьяне вели себя вполне смирно, охотно исполняли свои работы, с барщины возвращались с песнями, а идя мимо господских хором, вежливо снимали шапки и кланялись, хотя бы в окнах никого не видели из бар. «Что, ребята, слышно о злодее? — спрашивал их иногда на работах Алексей. «О ком, батюшка?» — «Да о Пугачеве...» — «А Господь его знает, далеко он, и ничего мы о нем не слыхамши». «Сказывают, в цари метит», — улыбался Алексей. Мужики строго смотрели на барина. «Шутишь, сударь, — отвечали они, — куда сиволапому до царя!.. Вон Федька в старосты норовил, да и то шею ему добре набили». Толпа громко хохотала. Алексей, успокоенный, возвращался домой. «Ну, наши еще надежны — их скоро не собьешь!» — рассуждал он и старался еще более угождать крестьянам — дал им лесу на избы, иным с весны обещал отвести лишнего сенокоса, бабам к посту простил срочный взнос холстов, кур и яиц. В Горках и кругом в окрестных деревнях все действительно было вполне спокойно.

Как ни старалась также быть спокойной, Мари не находила в себе желанной душевной тишины. Она стала раскаиваться, что вместо тихой, далекой Малороссии приехала

сюда. Раздумывая о предположенной поездке в Свиблово, она пришла к убеждению, что, поселясь в той, еще более глухой деревушке, она будет менее безопасна, чем в Горках, в близком соседстве с таким большим городом, как Саратов, где, по слухам, было достаточно войска и всяких средств к обороне, не говоря уже о лучших удобствах к жизни. Решив поэтому еще пробыть в Горках, она послала в Свиблово с письмом к тетке слугу Сергея, который, кстати, просился туда, так как его сестра была замужем за кем-то из тамошних крестьян. Дав ему письмо и денег на дорогу, она снабдила его наставлениями, как получше и не возбуждая подозрений осмотреть тамошний дом, удобен ли он для зимы, есть ли там особая теплая комната для Васи, да с лежаночкой, не дует ли в окна и чем топится дом — дровами или гречаною трухой, от которой заводится много мышей.

— Тебя жду обратно через три недели, — сказала Мари Сергею, — а тетушке кланяйся и передай, что, если не захвораю и все будет благополучно, мы с Богом двинемся и приедем к ней по первому санному пути.

Шли недели; прошел месяц и начался другой. Настала половина октября. Сергей не возвращался. Мари написала тетке в Самару; ответ пришел, что Сергей с родными сестры ездил на богомолье в какой-то монастырь, возле Самары, где свихнул ногу, хотя начал уже оправляться. Тетка просила Мари скорее обрадовать ее приездом. Новых слухов о самозванце в Горки не приходило. Знали только, что он все еще под Оренбургом, где, по саратовским сведениям, ожидалось полное его истребление отрядом шедшего туда Голицына. Кстати настала ранняя стужа, степи замело.

С первым снегом жизнь в Горках потекла уютнее и веселее. Алексей не стеснялся в доме расходами. В теплых и светлых комнатах просторного дома чуть не каждый день были гости. Кроме Травкина вблизи проживал другой, тоже страстный любитель музыки, старик вдовец, из отставных военных, Лаптев, прозванный за жизнь в лесном своем хуторе Волком. Он играл на скрипке. Две его дочери обучались

в пансионе, в Саратове, и тоже на праздники посещали Горки. На одиночестве Лаптев кроме скрипки коротал время охотой, хотя уже плохо видел, и в шутку говорил, что на охоте надо так выпить, чтобы из одного взлетевшего вальдшнепа казались три... «бей в среднего и наверное попадешь!» Соседи целыми семьями съезжались с утра поиграть в карты, побеседовать и послушать музыку. Радушное гостеприимство состоятельной и домовитой стародворянской семьи охватывало всех, в том числе и Мари, своими ласкающими, мягкими волнами. Короткие дни и длинные вечера пролетали незаметно. Гости в этом искони радушном приюте среди общего довольства, жизни нараспашку, искреннего смеха и веселостей без затей чувствовали себя, как дома. Светлое настроение сошло и на душу Мари. Ничто в окружающем более не волновало и не тяготило ее. Вася окреп и поздоровел; дети хозяев были также здоровы. Целый день весело раздавались по комнатам их голоса. Одно подчас смущало Мари: она с ужасом стала замечать, что никогда до сей поры не сознавала она себя настолько спокойною и счастливою, как теперь. Образ мужа невольно воскресал и оживлялся в ее душе. «Что, если бы он увидел меня теперь? — рассуждала она. — Если бы перенесся, заглянул сюда? Что же, сам ты, подозрительный, злой и неправый, оттолкнул от себя это тихое счастье, эту мирную, искреннюю жизнь; ты далеко, даже не подозреваешь этого, — ну, и казнись...»

Слушая пение Серафимы под арфу, на которой та в последнее время выучилась играть у соседки, Баратаевой, Мари и сама вспомнила свою временно забытую любовь к музыке, отыскала в нотах Серафимы несколько пьес Скарлатти, Паскини и Баха, которые когда-то здесь разучивала, и с увлечением занялась игрой на клавикордах. С ее легкой руки в Горках стали исполняться не только итальянские рондо и пасторали, сонаты и фуги Баха, но и кантаты и целые арии из гайдновских опер и ораторий. Здесь, благодаря Серафиме и Мари, начали устраиваться даже трио и квартеты.

Серафима пела, Мари играла на клавикордах, Травкин на виолончели, его крестник на флейте, а Лаптев-Волк на скрипке. После успешного опыта с баховскими прелюдиями и санктусами в Горках, наконец, задумали к Рождеству исполнить целый концерт из оратории Гайдна «Сотворение мира».

Небольшое, дружно сплоченное общество не замечало в этих занятиях, как текло время.

V

Однажды после ужина, когда ближние из гостей разъехались, а более дальние разошлись по отведенным им комнатам, Серафима, разговаривая с Мари и доведя ее со свечой в спальню, собралась уже с нею проститься и остановилась. Выслав горничную и продолжая какой-то обычный рассказ, начатый наверху, она подождала, пока Мари разделась и легла в постель, сказала: «Ну, пора, однако, мне и тебе спать» — и поцеловала Мари, но вместо того, чтобы уйти, села на кресло у ее кровати и задумалась.

— Что странно, — произнесла она, — ты, Маша, ни единым словом до сих пор не намекнула мне об одном обстоятельстве.

— О каком? — спросила, вспыхнув, Мари.

«Это о Глебе, наверно, о нем!» — подумала она, замирая.

— Послушай, будем откровенны, — проговорила Серафима, — отчего ты так недоверчива со мной? Относишься ко мне как бы с каким-то снисходительным... не то что прощением, а даже презрением.

— Что ты, дорогая? Да разве я могу, смела бы? — вскрикнула Мари, вскакивая и садясь на кровати.

— Нет, нет, не отпирайся... Почему ты ни полусловом не намекнула, не спросила меня о том печальном прошлом... о киевском событии?

На душе Мари отлегло.

— Да о чем же спрашивать? — сказала она. — Ну, разве непонятно? Было мимолетное, легкомысленное увлечение... ну, глупая и, разумеется, невинная вспышка безумной и слепой молодости, не больше... О чем же спрашивать?

Серафима схватила руку Мари и с чувством пожала ее.

— Так ты веришь мне, допускаешь, — спросила она, — что я, при всем безобразии этого поступка, осталась... могла остаться непорочной?

— Успокойся, милая, дорогая, клянусь тебе, я ни в начале, ни потом, когда все это произошло и огласилось, иначе не думала и не могла думать о тебе...

Серафима взглянула на киот с образами, перед которым, заботами Сысоевны, в комнате Мари постоянно горела лампада.

— Слушай, — сказала она, встав и с чувством простирая руки к киоту, — моими детьми и всем святым я клянусь тебе, я действительно, благодаря Промыслу Господню, осталась правою и чистою перед совестью и мужем... Alexis, этот дивный, божественно-добрый человек, — продолжала, сдерживая слезы, Серафима, — от сердца простил мою глупость, дал слово все забыть и забыл... Я боялась одного — да, да! — день и ночь я мучилась, что подумаешь и скажешь обо мне ты.

Мари обхватила Серафиму и нежно привлекла ее к себе, осыпая поцелуями.

— Ах, Мари, что я пережила и что испытала, — продолжала, удерживая рыдания, Серафима, — это было какое-то дикое, слепое, необъяснимое безумие. Начать с того... Приезд тогда отсюда, из тихой деревни, в шумную Москву... началось какое-то нравственное опьянение, вечные выезды в театры, на концерты и балы... Масса новых знакомых вскружила голову. То и дело мелькали новые лица. Меня хвалили, льстили мне. А тут этот домашний спектакль. Я ночей не спала, твердя роль и думая, как это я выйду, — сотни глаз на меня глядят... И вот я очутилась, сама не своя, на сцене

перед публикой. Помню, как охватил меня трепет, как я была потрясена собственною игрой и пением. Где-то далеко гремели шумные аплодисменты; я чуть не упала в обморок от восхищения и боязни за себя. Потом поездка с факелами на мызу, танцы там чуть не до зари, ужин с шампанским, а кстати притом все упрашивали меня пить и, вероятно, усердно подносили. Этот несчастный Прядышев, сильно влюбленный в меня, давно молил меня с ним бежать; я, разумеется, на это только смеялась... а пастушка, которую я играла, тоже, — как помнишь, в пьесе, на сцене, — куда-то бежала с обожателем... Ну, я в непонятном забытьи, недолго думая, села в сани, — бешеная тройка помчалась; хмельная молодежь все это устроила... Мне грезилось, что я еду обратно в Москву, и только утром я увидела, что это не Москва и что мы уже в Подольске... Ты спросишь, почему я не возвратилась? Одно скажу — меня охватывало то же безумие, тот же полусон... Мне мерещилось, что мы несемся в какой-то опьяняющей сказке; спать хотелось и было так весело, а мой сопутник все твердил мне заверения, что вот-вот снег, ухабы, тройки кончатся, мы промчимся через холодную Россию и скоро очутимся в невиданных, теплых, райских странах, с пальмами и вечно цветущими розами, под небом роскошной Италии. Мысль о Москве не пугала, а смешила меня... Вот, думала я, наслаждаясь бешеною ездой, там ахают, бьют тревогу, ищут! Пускай...

— Чудеса ты рассказываешь! — не утерпела заметить Мари.

— Безумный мальчик, — продолжала Серафима, — платил двойные и тройные прогоны; меняя лошадей и едва успевая обогреваться на станциях чаем, мы неслись, как на крыльях. В Серпухове, пока мне подали обедать, Прядышев вдруг как бы что-то вспомнил, ушел куда-то и возвратился сам не свой. Я в ужасе чуть не лишилась чувств: взглянула, он был навеселе... ласковый, такой же вежливый, но едва стоял на ногах. Где, спрашиваю, как? Молчит. Что же тут было еще говорить или делать? Возвратиться? Я и молила

его... он обещал взять обратную подорожную из ближайшего города — и обманул... А уж что было потом — и не спрашивай: далее он просто напивался! Этой страсти мне и в голову не могло прийти, а он, появляясь в Москве, среди лучшего общества, тайно кутил и пил в грязных притонах, о чем никто тогда и не знал. На остальном пути я уже не позволяла ему садиться рядом с собой; он ехал либо на облучке, либо от станции до станции беспробудно спал у меня в ногах, на дне саней. Опять порывалась я бросить его, ехать назад, но у меня не было ни паспорта, ни обратной подорожной, ни денег.

Серафима закрыла руками глаза.

— Воображаю, бедная, твое положение, — сказала Мари.

— Ужас! А лошади мчатся, меняются станции. Да если бы и удалось как-нибудь достать денег и лошадей, как было бросить его, среди незнакомых людей, на дороге? Он пока вел себя тихо, а увидя мою попытку к бегству, спьяну мог бы поднять шумную историю, безобразничать... Спас меня Киев... При въезде в него Прядышев увидел несколько троек с цыганами и цыганками, узнал между ними свою прежнюю Дульцинею и пришел в неописанный восторг: вот, кричит, услышишь божество, соловья: что за голос, душа!.. Едва мы прибыли в гостиницу и поместились, — разумеется, порознь, — он наскоро умылся, нарядился и вылетел... Сейчас, говорит, буду, привезу ее сюда!.. Остальное ты знаешь; более мы не виделись. Приезжал звать меня Глеб... Но не будем вспоминать. Он так нежданно и так сухо, свысока, объявил мне о прощении мужа... Ах, могла ли я вдруг тогда опомниться, принять это великодушное прощение?

Кончив рассказ, Серафима склонила голову. Ее щеки пылали, грудь тяжело дышала.

— И вот все мое горе, мой бывший грех! — сказала она, щипля конец мокрого от слез платка. — Долго я не решалась писать мужу, думала покончить с собой либо скрыться навсегда, идти в монастырь... Да и теперь иной

раз совестно людям в глаза смотреть... А ведь и в помыслах, клянусь, и в помыслах не было у меня тени греховной...

Мари быстро спустила ноги на коврик у кровати, поймала ими туфли, обула их и, накинув на плечи кофту, села на краю постели рядом с Серафимой.

— О, да, ты чиста, повторяю тебе, чиста, и твой детски взбалмошный проступок тебе прощен не одним мужем, всеми! — сказала она. — Но ты все-таки подала повод, необдуманно бежала... Ведь правда же, ты открыто пренебрегла приличиями — с посторонним человеком бежала в такую даль? Другие ничего подобного не делали...

Серафима вспыхнула. Ее глаза с изумлением устремились на Мари.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она. — Я недостойна, по-твоему, прощения?

— Не о тебе, дорогая, ах, не о тебе! — ответила Мари. — Есть другие... Ты меня также поймешь и, может быть, пожалеешь.

Она ломала руки, не находя слов.

— Слушай, Серафима, — сказала она, — ты все мне открыла, а я была неискренна с тобой. Тебе не все известно; я стеснялась, не имела духа все тебе объяснить. Между тобой и твоим мужем был хоть какой-нибудь, по существу, пустой, внешний, но все-таки повод к разладу. Ты откровенно сознала свою вину; великодушный, честный, добрый муж понял дело и все тебе простил, все забыл; вы снова живете в полном согласии и счастье. А я... знаешь ли ты? — сказала Мари, ухватив Серафиму за руку. — Между мною и Глебом все кончено... Да, я бросила его, мы расстались навсегда!

Серафиму как громом поразило это признание. Она без движения, без слов, молча смотрела на золовку широко открытыми глазами.

— Как? Расстались? Когда? Почему? — выговорила она наконец.

— Из дикой, слепой ревности Глеб придрался к ничтожному поводу, — ответила Мари, — и глубоко оскорбил меня, не повинную ни в чем.

— Но ты могла же оправдаться, доказать?

— Мне доказывать? — вскрикнула Мари. — Кому? В те часы, когда я умирала от страха за жизнь ребенка, а он был в отсутствии... Когда я по целым дням молилась, прибегая к помощи врачей... Сперва он получил безымянный извет, а потом угрозой вытребовал от Спесивцева мои письма... И решился обвинять меня по ним.

Слезы не дали продолжать Мари. Осилив себя, обрываясь и снова плача, путаясь в словах и забывая подробности, она кое-как рассказала историю своего столкновения и разрыва с Глебом.

— И это за пять лет брака, честный муж и семьянин! — сказала, кончив, Мари. — Осыпать позорными укорами — и ни слова, ни признака раскаяния. Что же, буду, по воле его, вдовой живого мужа!

— Пустяки, забудется! — старалась утешить ее Серафима. — Посуди, наконец, сама... ведь между вами ничего же, в сущности, не было, даже тени каких-либо сердечных с твоей стороны увлечений. Я знаю тебя... ты осмотрительна, горда, всегда любила мужа, а рыжий и лысый Спесивцев — ну, разве мог он явиться соперником — и кому же? — Глебу!

— Да, да, — вскричала Мари, — это-то и возмутительно! Никогда и ни за что я не прощу ему этого. Такое возмутительное обхождение; беспощадный укор в измене, в развратном поведении... Он даже посягнул на неповинного ребенка! — бешено кричала Мари. — В глаза мне бросил упрек, что это не его дитя... Вася-то, Васенька!

Мари, рыдая, упала головой в подушку.

— И все это, поверь мне, кончится миром и раскаянием, — успокаивала ее Серафима, — завтра же я ему напишу, мы объясним ему, он явится, и ты охотно простишь ему злую, ревнивую выходку.

— Никогда! Ни за что! На всю жизни кончено, слышишь ли? — вопила, глядя на образ, Мари. — Ты не знаешь этого самолюбивого, сухого чудовища... Он сразу высказался... Язык отсохни, если я позволю себе хоть единым словом намекнуть ему о примирении. Пусть помнит, если смотрел на меня, как на рабыню, пусть знает, что есть самолюбие и у рабы!

«Ну, ты сердишься, еще зла на него, — подумала Серафима, — а мы с Alexis все-таки ему напишем, чтобы он не дурил и скорее приезжал бы сюда. А тут уж устроим примирение. Она клянет его, осыпает обвинениями — и он сто́ит их, — но и в гневе видно, как он дорог ей и как горячо по-прежнему она любит его».

Серафима еще посидела у Мари. По возможности успокоив ее, она уложила ее, поправила ей подушки, прикрыла одеялом, даже перекрестила и с облегченным сердцем поднялась к себе наверх, где утром все и рассказала мужу. В тот же день они оба написали и послали по почте письма Глебу в Петербург.

VI

Узнав об отъезде жены из ее письма через Надю Шимкову, Глеб впал в крайнее смущение и раздражение. После резкого и до неприличия грубого объяснения с нею он сам, решившись бросить ее, мог ожидать и от нее всякого крайнего поступка, новой бурной сцены с ним, присылки к нему с требованием объяснений Спесивцева, но столь решительного, быстрого и открытого разрыва он никак не ожидал. Тень некоторого раскаяния и даже жалости к жене шевельнулась в душе Глеба. Избегая всякой огласки и чтобы не дать домашним ни малейшего повода к подозрениям и пересудам, он позвал слугу, спокойно приказал ему отложить запряженный и поданный уже к крыльцу экипаж, вышел как бы прогуляться, крикнул на Покровке того же извозчика

Фролку, сел в его дрожки и велел везти себя к Покрову в Левшине. Глеб увидел знакомый дом и взошел по лестнице к Спесивцеву. «Удивится этот гусь, да черт его возьми! — думал он. — Нечего церемониться! Допрошу его, — наверное, знает и скажет, куда уехала жена». Отворив дверь, он увидел, что передняя и кабинет доктора были совершенно пусты; валявшийся на полу сор и клочки бумажек показывали, что жилец оставил эту квартиру. В полуотворенную дверь из коридора выглянул, с метлой в руках, старик дворник, из отставных солдат.

— Вам кого? — спросил он.

— Где доктор?

— Съехали.

— Куда?

— Не могим знать.

— На новую квартиру, что ли?

— Должно, совсем из города.

— Но куда же?

— Не могим, ваше благородие, знать.

— Послушай, ты мне скажи; я требую, — возвысил голос Глеб, — я служу при главнокомандующем, не может быть, чтоб ты не знал от его прислуги.

— Извольте, ваше сиятельство, спросить у хозяйки; мы что? Они с нею рассчитывались, а мы, сейчас помереть, в том непричинны.

Глеб пошел к хозяйке. Его приняла больная и полуглухая старуха, давно не встававшая с постели. То и дело кашляя и оправляя сползавший с седой головы платок, она спросила, что ему нужно. Глеб объяснил.

— Семен Захарыч, известное дело, — ответила старуха, — был жилец из жильцов, тихий, аккуратный и не токмо платил в срок, жил без всякого окаянства, а еще лечил, сказать, даром... Куда же выехал, не знаю, не то к сродственникам куда-то, не то на кондиции в деревню, к какому-то богатому человеку, за Тверь.

— На время?

— По видимости, надолго, если не навсегда... Распродал мебель и прочее... Дешево распродал, спешил...

— На почтовых он уехал или на долгих?

— Кажись, батюшка, на почтовых, — я хворая, не встаю, — входил ямщик, в армяке и с орлом на шапке.

«Так вот оно что, теперь ясно, — рассуждал Глеб, выйдя на улицу, — они, очевидно, условились и все заранее обдумали; выехали порознь, а где-нибудь далее и встретятся».

Бешенство овладело Глебом. Он, едва помня себя, возвратился домой, упал на диван, стонал, бил себя кулаком в голову и до крови грыз себе ногти. Он было решил ехать в Кунцево, допытаться, кто из ямщиков и на какую дорогу вывез его жену с мызы. Предполагал обратиться и в полицию, также на почту, чтобы узнать, по какому виду и куда именно выехал из Москвы Спесивцев, но тут же безнадежно и злобно махнул на все рукой. «Какая польза, — сказал он себе, — осведомляться, следить и раскапывать эту грязь? Не все ли равно? Так или иначе, но я одурачен и проведен... Проклятие изменнице и ее соблазнителю! Пусть будет, чему быть суждено. А с нею отныне история раз навсегда кончена!»

На другой день Глеб явился к главнокомандующему. Он доложил ему, что устроил домашние дела, для которых приезжал, и что, если князь разрешит, он готов немедленно снова возвратиться в Петербург. Получив согласие князя, он откланялся, взял нужные бумаги, заехал к себе домой, все запер там на замки, сдал под охрану оставленной прислуге, уложился, послал за почтовыми и в тот же вечер выехал обратно в Петербург. Расписываясь в Клину об уплате прогонов и в получении лошадей, он хотел было осведомиться, куда отсюда проехал Спесивцев, и уже стал перелистывать книгу, но остановился и с презрением отбросил ее на конец стола. «Нет, Господь с ними! — решил он. — Забыть их, забыть окончательно и скорей. Украденной души не воротишь! Начать новую, спокойную жизнь...

Служба — вот отныне моя задача, вот удел! Она спасала не раз меня прежде, спасет и теперь!»

В первое время по возвращении в Петербург Глеб был сильно не в духе. Одинокая жизнь в номере гостиницы тяготила его, и он очень обрадовался, когда ему представилась возможность устроиться на квартире с давним своим знакомым, гвардейским офицером Галаховым, состоявшим также и при канцелярии фаворита государыни, князя Орлова. Покойный отец Галахова был в молодости дружен с отцом Глеба. Возлагая теперь все свои надежды на Орлова, как по делу, порученному ему Волконским, так и относительно своей дальнейшей карьеры, Глеб был рад, что и Галахов, близкий к Орлову, мог ему пособить. Но его сожитель, откровенный с ним во всем, лично об Орлове и о поручаемых ему делах молчал. Выбрав удобный час, Глеб навестил Орлова. Князь милостиво и ласково встретил его.

— Очень рад, Дуганов, что ты возвратился, — сказал он. — Государыня склоняется окончательно к мнению моему и твоего шефа по жалобе обиженной матери на непослушную дочь; от Сената ожидаются последние справки. Вот тебе экстракт из производства; составь из него краткую ремарку для меня, на случай, если потребуется для последнего доклада ее величеству; дело во всяком случае теперь уже не затянется, о чем можешь отписать и князю Михаилу Никитичу... Обрадуй его, хотя, по правде сказать, государыне теперь не до того... По случаю приезда невесты цесаревича Павла Петровича и предстоящего их обручения, а затем и свадьбы при дворе будет целый ряд торжеств. Ты здесь будешь скучать, но что же делать — служба! Могу, впрочем, посоветовать, — заключил с улыбкой князь, — ремарку составляй скорее, а затем — вместе со всеми — веселись и ты.

«Не до веселья мне», — хотел ответить Глеб. Он в смущении молча стал откланиваться.

— Ведь, кстати, и ты получишь доступ на все торжества, тебя не забудем, велю записать! — сказал Орлов, по-своему

объяснив растерянность и смущение своего гостя. — Ты хоть не вышел рангом, удостоишься доступа, как москвич, расскажешь там всем впечатления, как очевидец.

Польщенный такою любезностью, Глеб не решился в этот раз беспокоить князя просьбой о покровительстве ему на дальнейшем служебном пути. Обещание Орлова касательно придворных торжеств вскоре осуществилось: Глебу прислали форменный ордер с разрешением ему в качестве адъютанта московского главнокомандующего присутствовать на всех придворных выходах, раутах, балах и иных собраниях по случаю ожидаемого бракосочетания наследника-цесаревича.

Летние маневры гвардии в лагере под Красным Селом в 1773 году были окончены в середине августа. Двор возвратился из Царского Села в Петербург. В день обручения цесаревича и его невесты, 16 августа, на придворной сцене Эрмитажа давали итальянскую оперу «Антигона». Здесь впервые в течение целого вечера Дуганов имел случай видеть вблизи императрицу Екатерину, ее сына, его невесту и всю ближнюю свиту государыни. Вскоре ему удалось быть на представлении во дворце и другой итальянской оперы — «Психея и Купидон». Блеск роскошно убранной залы, раззолоченные мундиры гвардии и высших гражданских чинов ослепили Глеба. Но его взоры были обращены на государыню.

Не смея из кресел, как и другие, наводить на царскую ложу зрительной ручной трубки, Глеб восторженно вглядывался в лицо Екатерины, приподнимаясь из-за высоких дамских причесок и шляп, мешавших ему вдоволь на нее смотреть. «Боже, как бы я желал услужить ей чем-либо особенным, пожертвовать для нее жизнью, совершить перед нею какой-либо выходящий из ряду, высокий подвиг», — думал Глеб, замирая и почти не слыша арий и нежных рулад, которыми заморские певцы и певицы пленяли и потрясали слушателей, переполнявших залу. При вызове, под гром рукоплесканий, артистам аплодировали, как видел Глеб, сама

императрица и стоявший за ее креслом, в пудре и голубой ленте, счастливо улыбающийся, худенький и стройный цесаревич Павел. Дуганов следил за небольшими, обтянутыми длинными перчатками, руками императрицы и, когда она, улыбаясь на сцену, хлопала ими, думал: «И эти маленькие, в перчатках по локоть руки правят судьбою миллионов! По их мановению созидаются и разрушаются союзы, движутся громадные армии... О, если бы этот взор, хотя бы случайно, упал когда-нибудь на меня, если бы судьба избрала меня для принесения ей жертвы моим умом, силами, жизнью!» Опера кончилась, занавес опустился, публика, среди последних вызовов, разъезжалась. Дуганов, на которого никто не обращал внимания, возвращался домой взволнованный, с чувством необъяснимой досады и душевной пустоты. Нехотя и сухо отвечая на расспросы своего сожителя, которому, вследствие порученных ему неотложных работ по канцелярии, не удавалось попадать на эрмитажные спектакли, он долго не засыпал, обуреваемый разнообразными и тягостными мыслями. «Проситься в действующую армию, в Турцию? — думал он. — Но что из того толку? Там достаточно таких же заурядных малопоместных дворянчиков и без меня, да и не предвидится особых дел. Войска стоят на Дунае в выжидательном положении; вместо боевого подвига попадешь еще в лапы гнилой горячки или чумы, безвестно околеешь в каком-нибудь голодном и грязном госпитале. А главное — все это будет неведомо ей, великой монархине, вдали от нее».

Приходя затем в себя и зрело обдумывая свои мысли, Глеб иной раз даже зло смеялся над собою. «Чего захотел, — рассуждал он, — заслуги, подвига перед лицом самой государыни! Да это в целой мировой истории если и выпадет, то редко и на долю одного, много двух счастливцев из миллионов подданных монарха. Несбыточные грезы, пустые надежды жалкого мечтателя. Ниже, ниже, у ног твоих, на земле, ищи обычной людской доли!»

В начале сентября Дуганову снова удалось близко увидать государыню и весь ее близкий штат при посещении ею

работ заложенного тогда мраморного Исаакиевского собора. Фундамент собора был в то время уже кончен, и начали класть на нем цоколь. Дуганов не знал о предстоявшем заезде сюда государыни. Идя от Сената мимо изгороди, окружавшей эту постройку, он вдруг увидел четверню серых цугом, открытую, высокую коляску императрицы и ехавшего за нею на дрожках, запряженных тройкой, князя Орлова. Князь подбежал к коляске, отворил дверцу, откинул складные ступеньки и подал государыне руку. Не успела она сойти с последней ступеньки, пристяжная коляски испугалась чего-то и, бросаясь в сторону, поднялась на дыбы. Глеб успел ухватить ее за уздцы и придержал. «Теперь увидят, заметят меня!» — подумал он, замирая и продолжая держать испуганную лошадь. Но князь Орлов, грозно взглянув на кучера, поспешил к калитке, к которой шла, улыбаясь и кланяясь столпившимся прохожим, императрица Екатерина. Свита последовала за нею. Калитка захлопнулась. «И чего я ищу, чего мне надо? — горько усмехнулся Глеб, возвращаясь домой. — Мне поручены ремарки; надо получше заняться ими». Он засел за окончательное изготовление выборок из дела.

В Петербурге все заговорили о предстоявшей 13 сентября поездке двора на дачу Нарышкина, где государыня изъявила готовность принять предложенную охоту на оленей и обед в лесу. Дуганов также получил разрешение ехать туда, но раздумал и решил сказаться больным. «Лишние развлечения и лишняя трата времени!» — сказал он себе, сидя над сенатскими бумагами.

VII

Накануне назначенной охоты поднялся сильный ветер с моря. Нева к утру вздулась, началось наводнение, из-за которого цуг придворных карет, шарабанов и линеек не мог переехать по Калинкину мосту через разлившуюся Фонтанку.

Императорский поезд поневоле возвратился назад. В городе по этому поводу прошла молва, будто государыня, подъехав к мосту и увидев, что вода бушевавшей Фонтанки доходила уже до осей колес, открыла окно и сказала кучеру: «Что же, на мосту будет не выше дна кареты, мы подожмем ноги, ступай!» — но в это мгновение порывом ветра сорвало с головы государыни поярковую, с соколиным пером, охотничью шляпу, которая улетела за ограду набережной и понеслась по волнам. Все и больше всех сама императрица много смеялась этому на возвратном пути. «Гляжу, она уже, как корабль, на воде, — покатывалась со смеху императрица, — перо точно парус... а вы, как следует рыцарю, и не вздумали броситься в реку, спасать мой наряд!» — сказала она толстому Нарышкину, сидевшему против нее в карете. «И зачем меня там не было? — с досадой думал, слыша рассказ об этом, Дуганов. — Я не Нарышкин; я не задумался бы броситься вплавь и спас бы шляпку государыни. Сумасшествие! Безумные, несбыточные мечты! — сказал он себе через минуту. — В этот прозаический, холодный век таким поступком только навлечешь на себя насмешки, разыграешь роль общего забавника, шута! Нет, кончу работу, сдам ее князю и стану проситься на Дунай; там Суворов — он как-то знал отца, вспомнит и меня... Там поле чести, не все же будут даром стоять наши войска».

Наступил день бракосочетания цесаревича. Венчание совершилось 29 сентября в Казанском соборе. Императрица выехала из дворца в раззолоченной сквозной карете, запряженной восемью белыми, разубранными в страусовые перья лошадьми. В карете перед государыней сидел цесаревич, рядом с ним его невеста, великая княжна Наталья Алексеевна. Государыня была одета в русское платье из алого атласа, расшитое жемчугом, и в горностаевой мантии. Карету сопровождали верхом командиры кавалергардского конвоя, князь Григорий и его брат граф Алексей Орловы; впереди, также верхом, гарцевали, в шляпах с плюмажем и в залитых золотом мундирах, камергеры и камер-юнкеры. В конце вен-

чания раздалась пушечная пальба. Площади и улицы города оглашались радостными кликами.

После торжественного обеда в тронной зале, с новою салютационной пальбой, все перешли в боковые залы, где начались танцы. Императрица, новобрачные и все гости были веселы. Дуганов в новом, с иголочки, сшитом для этого бала мундире стоял у одного из окон. Из-за цветущих азалий и олеандров он любовался толпой разряженных красавиц, под певучий стон и рев струнного оркестра то грациозно приседавших и медленно плывших в менуэте, то резво уносившихся в веселом котильоне.

Между танцующими более всех выделялась, в белом тяжелом серебряном платье, усыпанном алмазами, и в серебряной, унизанной жемчугом короне, утомленная и бледная новобрачная. Императрица в особой ложе, на возвышении, радостно следила за общим оживлением и веселостью. В промежутках среди менуэтов, гавотов и котильона скрытый за колоннами, в глубине залы, хор придворных певчих, в алых кафтанах с золотом, возглашал кантату, написанную к этому торжеству:

Пойте, музы восхищенны,
Род Петров воскреснет днесь!

Другой хор певчих, в голубых кафтанах с серебром, подхватывал этот стих на другом конце залы и, потрясая густыми басами слух, выкрикивал: «Род Петров, род Петров воскреснет... воскреснет днесь!»

Любуясь танцами, музыкой и пением, отуманенный всем, что происходило в этом пышном, горевшем тысячами свечей царском чертоге, Дуганов вдруг заметил, что общее веселье и общая торжественность как бы стихли и мгновенно стали бледнеть. Он услышал за собою странный, сперва сдержанный шепот.

— А каково? На Яике-то? — вполголоса сказал кто-то камергеру, стоявшему возле Глеба, за боскетом из живых цветов. — Слышали? Рассказывают страхи.

— Нет, не слыхал, — ответил камергер.

— За Волгой, на Яике, появился самозванец, — продолжал вестовщик, — и представьте, дерзнул принять имя покойного государя, собрал войско и взял уже несколько крепостей... Сейчас прибыл курьер из Москвы, государыня очень опечалена и удалилась во внутренние покои.

Дуганов оглянулся: ложа императрицы действительно опустела.

Говор в разных группах гостей стал явственнее, толки громче.

— Да, батюшка, вот тебе и «род Петров воскрес!» — сказал важный сановник в александровской ленте, с толстыми икрами ног, туго обтянутыми в белые с золотым лампасом панталоны, проходя с худым и тощим, трясущим головою адмиралом мимо цветов, за которыми продолжал стоять Дуганов, — днесь, днесь... а грозная тень покойника воскресла-таки из гроба.

— Saluez les morts! Saluez! — насмешливо шамкал адмирал, двигаясь к выходу на тонких, слабых ножках.

Начался общий разъезд. Внизу, в сенях, Глеб впервые из группы уезжавших услышал и прозвище того, кто дерзко принял на себя имя покойного императора. «Донской казак Емельян Пугачев», — повторяли гости, разъезжавшиеся из дворца.

На другой и в следующие дни Дуганов старался более подробно узнать о самозванце. К кому он ни обращался, все оказывались знающими не более его. Сожитель его, Галахов, бывший накануне дежурным при гауптвахте, у военной коллегии, даже видел того фельдъегеря, который прискакал с первою вестью из Москвы, но и от фельдъегеря, снова усланного с бумагами в Москву, он не доведался будто бы ничего.

Новые торжества и веселости после брака цесаревича продолжались, впрочем, без перерыва еще около двух не-

дель. Под их впечатлением в городе хотя и говорили о событиях за Волгой, но уже без особого внимания и тревоги. Некоторые еще утверждали, что бунт на Яике дело нешуточное, что волнение и мятеж там разрастаются с неимоверною быстротой и что если государыня еще показывается на придворных празднествах, то либо она это делает с целью наружным спокойствием хотя несколько ослабить толки общества, либо сама не знает важности события, так как министры скрывают от нее истинное положение дел. Тем не менее вскоре стало слышно о посылке свежих войск за Волгу, к осажденному Оренбургу.

— Карр назначен! — радовалась немецкая партия. — Он примерный служака, неутомим и честен; к нему присоединили Фреймана; зададут они этой казацкой сволочи!

— Но отчего же не русские? — ворчали патриоты.

— Да где же их, отцы вы наши, взять?

— Как где? А Суворов, Бибиков? — возражали русские.

— Но первый за Дунаем, а второй, будто не знаете, в опале.

— Какая тут, сударь, опала, когда повторяются времена Разина и Дмитрия-царевича и всем грозят смертные беды? Увидите, увидите.

Толки о самозванце стали затихать среди дальнейших брачных торжеств, завершившихся пышным придворным маскарадом на три с половиною тысячи гостей.

Иностранные принцы, родичи цесаревны и их свита разъехались в чужие края. Императрица с семейством в начале ноября возвратилась в Царское Село. О событиях под Оренбургом более не говорили. Жизнь Петербурга с началом зимы пошла обычным порядком. В частных домах по-прежнему собирались для игры в бостон, макао и в вист, по десять копеек партия. В виде отзвука недавним придворным балам и маскарадам высший и средний круги столицы наперерыв стали также давать балы и маскарады. Молодежь по утрам гуляла по Дворцовой набережной и носилась на рысаках по

Невской перспективе, а вечером толпилась в итальянских и швейцарских кондитерских, где пели арфянки, и в бильярдных модных гостиницах, где игра кончалась шумными попойками. Кроме придворной итальянской оперы и русской комедии столичное общество посещало также представления заезжих эквилибристов Прони и Брамбилла, поражавших всех невиданным дотоле и изумительным балансированием на туго натянутой проволоке, причем одетая Коломбиной красавица Брамбилла, по словам видевших ее, так быстро вертелась на проволоке, что совершенно, казалось, исчезала в воздухе.

Близилось, наконец, к решению и дело Корониной, порученное Дуганову. Его раза два вызывали в Сенат для дачи последних разъяснений, о чем он и поспешил сообщить в Москву главнокомандующему. Но встретилась новая затяжка. Сенаторы, как предполагал Глеб, под влиянием небезгрешного тут обер-секретаря, потребовали дополнительных справок. Последние были затребованы не только из Москвы, но, по жительству ответчицы, даже из Калуги, и дело, сверх всякого ожидания, опять очутилось под сукном. Оставшись в ожидании затребованных справок снова без всяких занятий, Дуганов решительно не знал, что ему делать, и сильно скучал. Возвратиться на время в Москву он не решался, — справки могли прийти без него. От скуки он посетил несколько раз театр, заглянул и к эквилибристам, но все это мало развлекало его. Зайдя как-то с Галаховым в гостиницу, где тот условился с кем-то сыграть на бильярде, Глеб уселся в общей зале и около часа пробыл здесь, с давно не испытанным удовольствием следя за состязанием игроков. Сам браться за кий он не решался, боясь увлечься игрой, когда-то чуть не разорившей его. Около двух недель после того он не только не посещал гостиниц, но даже далеко обходил подъезды, над которыми красовались вывески с изображением бильярда и шаров.

По приезде в Петербург Дуганов изредка переписывался только с матерью. К брату, после своего разрыва с женой,

он не писал ни разу, довольный и тем, что и Алексей, вообще большой неохотник до корреспонденций, также не напоминал ему о себе. «И о чем я буду ему писать? — рассуждал, желчно усмехаясь, Глеб. — Что нежданно стал рогат и что без вести пропала моя благоверная? Есть о чем оповещать и чем хвастать!»

Идя однажды по Гороховой, Глеб увидел Галахова, подъехавшего к какому-то трактиру.

— Ты сегодня дома обедаешь? — спросил он его.

— Вряд ли, обедай без меня, — ответил Галахов. — Тут проявился восточный какой-то искусник на бильярде, всех обыгрывает наповал... Как я ни занят, хочу посмотреть, зайдем!

— Нет, уволь, я дал зарок никогда более не брать кия в руки.

— Вздор, зайдем, погляди только.

Глеб зашел с Галаховым и увидел в небольшой, наполненной табачным дымом комнате несколько игроков, напряженно следивших за невысоким, тощим и лысым человеком в красной восточной феске, неумело в то время садившим в лузы свой шар вместо шаров противников. «Плут, — подумал о нем присматривавшийся к игре Дуганов, — заманивает, поддается! И удивительно, как это не замечают другие!» Он кивнул многозначительно Галахову: «Берегись, мол, дело не чистое!» — и ушел.

Возвратясь домой, он нашел у себя на столе два письма с почтовыми клеймами. Он прежде всего узнал руку брата и вскрыл его письмо. Алексей поздравлял его с днем рождения, о котором Глеб и забыл, и вскользь прибавил: «Что же до Мари, то она и Вася совершенно здоровы, а с их приездом и у нас все благополучно. И уж как было бы хорошо, — приписал к концу письма Алексей, — если бы и дорогой наш Глебушка скорее покончил свои служебные комиссии и также пожаловал бы к нам. Какие у нас составляются музыкальные вечера! Марья Родионовна вспомнила свои девические упражнения на клавикордах, Серафимочка

свое пение, а при помощи окольных доморощенных виртуозов на виолончели, скрипке и даже на флейте у нас происходят, говоря не в шутку, целые концерты преизрядной камерной музыки». Другое коротенькое письмо было от Серафимы. Оно заключалось только в следующих словах: «Дорогой брат! Не все то верно, что кажется. И неужели всякое решение безупречно? Ах, спросите ваше сердце — оно вам скажет: любившее вас существо не достойно ли вас и теперь?»

VIII

«Так вот где она! — сказал себе Дуганов, дочитав письма и озадаченно потирая лоб. — Приютилась у наших и, очевидно, не все им открыла... Что ж, и с Богом! Живи, матушка, хоть и там; езди, куда знаешь и хочешь, — скатертью дорога. Сокровенный же друг, счастливый соблазнитель, вероятно, вскоре где-нибудь устроится поблизости, в Саратове или в ином месте, уладятся тайные свидания, нежданные будто бы встречи. В город легко съездить, голубки и увидятся. Меня же ты, сударыня, разумеется, уже никогда более не увидишь!» Глеб еще раз пробежал письма брата и невестки, скомкал их, разорвал и бросил в печь.

Не обедавший дома Галахов возвратился в тот день поздно. Зайдя в комнату Глеба, он застал его сидящим с ногами на канапе и спокойно читающим у канделябра модный французский роман, который он ему откуда-то привез и чтением которого давно уговаривал его развлечься.

— А я, дружище, проигрался, — сказал Галахов, сев в кресло возле Глеба и позевывая, — зато этот искусник в феске, хоть обобрал нас, угостил превосходным обедом, то есть, собственно, ужином... Какие вина, ликеры! Только что из-за стола.

— Так ты таки отдал дань? — спросил Глеб, не отрываясь от книги.

— Да, обыгран, но счастлив! Что за удары, что за ходы, быстрота зрения, а сперва... как бы нарочно уступал...

Дуганов на это не отвечал. Прошло несколько минут общего молчания.

— И тебе не скучно? — спросил с сожалением Галахов, когда Глеб, дочитав страницу, закрыл книгу. — Удивляюсь тебе, жить в одиночестве, в холостой обстановке, когда есть и свой дом, и милая, достойная подруга жизни, есть, наконец, семья... Ты извини меня, но такие блага... Я давно хотел тебе сказать...

— Слушай, Александр Павлович, — ответил Глеб. — И я давно собирался тебе объяснить... Иного счастья не желаю, да лучшего, пожалуй, и нет на земле.

— Как? Жить в разлуке с ближними, бобылем?

— Да, бобылем.

Галахов удивленно взглянул на Дуганова.

— Ты шутишь, или я тебя не понимаю, — сказал он.

— Не понимаешь? Изволь, поясню. Я потому несказанно счастлив, именно здесь, в одиночестве, в этой нашей холостой конуре, — сказал Глеб, указывая кругом по комнате, — что я здесь свободен, как воздух, ничем не связан и, главное, ничем не смущен, а еще более потому, что там, — прибавил он, указывая за дверь, на прочие комнаты квартиры, — живешь только ты и нет за этою дверью ни тени какой-либо, по-твоему, очаровательной Клеопатры или Пентефрии Николаевны.

— Что ты этим хочешь сказать? — смущенно спросил Галахов, даже покраснев при мысли о том, как мог его сожитель так выразиться о своей жене.

— Да, да, милый мой! — продолжал Глеб. — Ты сам тронул этот вопрос, буду откровенен до конца. Ты холост, никогда не был связан рабскими цепями Гименея, а в браке, да будет тебе известно, непременно одна сторона является злосчастною искупительною жертвой. Не испытав брачных оков, ты не можешь верно и судить о семейных событиях, драмах, комедиях, а подчас и траге-

диях. Одиночество... Да что может быть выше его? Знать, что никакая в мире Пентефрия или там Клеопатра сейчас вот, каждую секунду, не появится из-за этой вот двери, — злобно указывал худым, длинным пальцем Глеб, — что она, эта обольстительница, не зашуршит своим очаровательным платьем, не склонится к тебе лебяжьей шейкой, с надушенными локонами и при этом не станет тебя беспощадно, разными милыми попреками да экивоками, пилить, пилить и пилить, — да разве, милый, это не великое благо на свете, не своего рода земной Эдем?

Проговорив это, Глеб встал и нервно захохотал.

— Именно Эдем, и тем более истинно благодатный и вечный, что без Евы! — сказал он, прохаживаясь по комнате и продолжая смеяться. — Удивляешься? Не удивляйся — поживешь — увидишь... Эх ты, простота! Кстати, у меня вышли сигары, есть у тебя лишняя?

«Он рехнулся!» — подумал Галахов, торопливо вынув и подавая Дуганову сверток сигар.

— А впрочем, не думай, я говорю не о себе, а вообще, — продолжал, закуривая сигару и как бы спохватясь, Глеб, — холостяку все это кажется в идеале, в розовом свете; от женатого ничто не ускользнет, нет, нет! Повторяю, речь не обо мне. Я счастлив, да иначе не может и быть. Ты верно выразился — у меня молодая, умная и, прибавлю, красивая жена. Но представь себе такой милый случай, что в одно прекрасное утро безмерно блаженный и совершенно спокойный муж вдруг очнется и воочию убеждается, что своим счастьем он пользуется не один, а что оно, с доброго согласия его жены, разделяется еще другим, что он, этот феноменально доверчивый муж, так сказать, состоит в доле, на паях, еще с таким-то! Не о себе говорю, а тебе надо знать... Вот и в этом романе то же.

Проговорив это, Дуганов замолчал и как-то осунулся, точно истомясь от подъема непосильной тяжести. Галахов тоже молчал.

— Да, подолее береги свое одиночество, — сказал Глеб. — Тебе оно кажется убийственным, а в нем бывают свои прелести. Углубляешься в свою душу, перебираешь... Кстати, что нового? Я эти дни не видел никого.

«Не рехнулся, а блажит недаром! — подумал, глядя на него, Галахов. — Надо его как-нибудь развлечь!»

— У князя Орлова под Гатчиной затевается большая охота, — сказал он, — облава на медведей.

— Да, знаю.

— Будешь на ней?

— Получил приглашение, но вряд ли поеду.

— Отчего?

— Будет толпа всякого люда, выпивка, суета; намерзнешься, а толку мало... Я не пью. И хотя стреляю, но какой же я охотник?

— Что касается меня, — сказал Галахов, — то я бы тоже очень желал туда попасть, но от князя привезли новую кучу бумаг, весь стол завален, — прибавил он, указывая на свой кабинет, дверь в который он обыкновенно держал на запоре.

— Не спрашиваю тебя, что за дела, но скажи, что слышно о самозванце?

— Да что, Оренбург по-прежнему в осаде, — ответил Галахов. — Жители терпят голод, и между ними большая смертность.

— Все это, разумеется, скоро кончится, — возразил Глеб. — Туда подходят усиленными маршами и, вероятно, уже подошли свежие войска... Осаду не сегодня завтра отобьют.

— Нет, Дуганов, ошибаешься, — ответил, подумав, Галахов, — говорят... этот, между прочим, восточный кудесник вынул французскую газету и нам за обедом прочел кое-какие вести... Нашему сермяжному Аттиле охотно несут присягу не только села и местечки, чуть не целые уезды. И он ошеломляет народ; без сожаления перед ним вешает и расстреливает помещиков, офицеров, чиновников и купцов. Жен

их мучает, обращает в своих стряпух, то есть попросту в любовниц.

Глеб изменился в лице. Он вспомнил, что его жена была теперь на Волге, а шайки самозванца могли проникнуть и туда.

«Что же, — пронеслось в его голове, — не жилось тебе, изменница-сударушка, в мире и честном согласии с мужем, испытаешь, может быть, долю и стряпухи самозванца-мужика». Злобная вспышка мстительной мысли сменилась иным раздумьем: «Сын... Вася!.. Что будет с ним? Неужели брат не спохватится и вовремя не вывезет всех из Горок?»

— Твои вести прискорбны, — сказал Глеб, — но Бог не без милости, а наше войско таково, что, если только ему дадут настоящего вождя, оно разобьет и развеет полчища какого угодно Аттилы.

Однажды в декабре, незадолго до Нового года, Галахов, после нового крупного проигрыша вовсе прекративший игру на бильярде, едучи с Дугановым по Гороховой, указал ему на трактир, где он проигрался.

— А представь, — сказал он при этом, — тот восточный маг, что обобрал нас, исчезал было куда-то, а теперь, как говорят, вновь появился в Петербурге и царит у Шлейеля.

— Где это?

— На углу Вознесенского и Мещанской.

— Да он просто шулер, если только в бильярдной игре бывают шулера, — сказал Глеб.

— Ну? — удивился Галахов.

— А ты и не подозревал?

— Да, не верится...

— Не плут, не картежник, так, ночной подорожник, и все его ухватки — чисто мошеннические; знаю я их, испытал, меня не проведешь.

— Что же полиция? Отчего его не вышлют?

— А вот поди же, — многозначительно заметил Глеб. — Хорошо, что ты сказал; увижу обер-полицеймейстера и сообщу ему, надо принять меры.

И Дуганов их принял. Он вечером того же дня взял полный кошелек золота, зашел в трактир Шлейеля, застал там человека в феске, с полчаса последил за его игрой и, подойдя к нему с кием, небрежно предложил ему партию в три шара. Игроки сразились, ставка была небольшая. Глеб подряд выиграл две партии. Его противник предложил увеличить ставку. Глеб проиграл. И пошло... Его глаза горели, руки дрожали. Соперник его также, по-видимому, горячился. Посторонние зрители тесною толпой окружили бильярд. Ставки увеличивались. Глеб опомнился за полночь.

— Не прекратить ли игру? — спросил его противник (разговор между партнерами шел по-французски).

Глеб вспыхнул. Он вспомнил, что в опустевшем его кошельке осталось на дне только два червонца. Он взглянул на своего партнера; тот, с невинной улыбкой щурясь на свой кий, молча намеливал его.

— Да, — ответил Глеб, вынув часы и глядя на них, — поздно... Кончим завтра.

Противник вежливо поклонился ему. Игроки расстались.

— Нет, он не шулер, — объявил Галахову бледный, с измученным лицом Дуганов, возвратясь домой, — это поистине маг какой-то, истинный кудесник! Такого я еще и не видывал... Завтра условились снова... о, я отыграюсь, разобью!

— Увы! — улыбнулся на это Галахов. — Отложи попечение; без тебя привезли из Гатчины повестку; завтра у князя сбор на охоту... Приглашен и я, отказываться нельзя, надо ехать... Утром займемся приготовлениями. Я достал тебе и себе отличные штуцера, даже испробовал их, бьют превосходно... Кроме того, почистил свои и твои пистолеты.

— Ну, ладно, голубчик, — ответил со вздохом Дуганов, все еще в тумане от впечатлений того вечера. — Спасибо за все! Теперь давай спать, а свой проигрыш я наверстаю!

Он лег, погасил свечу, но сон не скоро сошел на его усталую голову.

Давно условленная охота состоялась в гатчинских лесных дачах князя Орлова. Сборным местом для охотников был назначен лесной дом арендатора главной из дач. Старик арендатор, отставной гвардеец, был записной хлебосол, любитель компанства и весельчак. Он когда-то оказал услугу бывшему еще в бедности и неизвестности князю и с тех пор, состоя при его частных делах, был одним из его любимцев. Он встретил съезжавшихся с вечера охотников роскошным ужином и обильною выпивкой. Для гостей в лесном доме и в нескольких при нем флигелях приготовили отлично натопленные комнаты, мягкие постели и от главного управителя Гатчины вдоволь прислуги.

— Ну, господа, — сказал гостям в конце ужина арендатор, строго соблюдавший правила охоты, — обойдено в трех местах пять медведей; надо вставать и выезжать на линию до рассвета. Князя знаете, он и спать не будет, и явится, как снег на голову, прямо на место. А потому не угодно ли приказать снести к себе недопитые бутылки и стаканы — и за мною! Удостойте по своим апартаментам...

— Верно, верно, отец командир! Надо знать егерские порядки! — заговорили гости и, поднявшись, веселою гурьбой, в сопровождении слуг, несших за ними напитки, разошлись по двое и по трое в отведенные им комнаты.

Все разделись и улеглись, но долго еще, попивая английский портер, бишоф и другие напитки, беседовали, передавая друг другу обычные и, как всегда, наполовину преувеличенные и даже неправдоподобные рассказы о своих и чужих охотничьих подвигах. Дуганову с Галаховым ночлег был отведен во флигеле, невдали от дома арендатора.

IX

Осмотрев еще раз перед сном оружие, приятели зарядили по одному стволу в штуцерах пулями, а другие — картечью, обменялись несколькими словами о предстоящей облаве и стали раздеваться. Из соседней комнаты, вблизи которой стояла кровать Дуганова, сквозь тонкую перегородку слышались оживленные голоса других охотников. Кто-то там, очевидно, смешил зашедших к нему соночлежников, покрывавших его слова взрывами дружного хохота. Скоро голоса в этой комнате стали тише; в ней, как надо было полагать, остались, наконец, и продолжали разговаривать только двое.

— А этот весельчак-арендатор, наш хозяин, поистине предусмотрительный человек, — сказал Галахов, улегшись в постель и завертываясь в одеяло.

— Почему?

— Да как же, и лекаря с инструментами на всякий случай добыл от Тарбеева; говорит, медведь не свой брат, выскочит на иного, всяко случится.

— От какого Тарбеева? — спросил Глеб, тоже уже лежавший на кровати, задувая свечу.

— Здешний по соседству помещик, масон, богач и замечательный чудак. У него в поместье школа для мужиков, больница и какие-то особые правила насчет барщины.

— Не слышал, — ответил Дуганов. — Он тоже будет здесь на охоте?

— О, нет, он в параличе, с весны собирается куда-то в теплые края и для того выписал этого доктора из Москвы, такого же, говорят, как и сам он, чудака.

Глеб навострил уши.

— Ты видел этого лекаря? — спросил он.

— Не видел; за ним посылали с утра, но он приехал в конце ужина, усталый, — ответил Галахов, — и прошел прямо во флигель спать.

— Кто тебе это сказал?

— Наш хозяин; видя, что мой сосед по ужину мало ест, почти ничего не пьет и все кашляет, подошел к нему, осведомился о его здоровье, не простудился ли он, и предупредил его, что, если бы встретилась надобность, у них и доктор к его услугам.

«Доктор-чудак и из Москвы! — не без волнения подумал Дуганов. — Да неужели же такая странная случайность? Неужели это Спесивцев? Быть не может!» Он завернулся с головой в одеяло, закрыл глаза и старался, не думая о дикой мысли, пришедшей ему на ум, скорее заснуть. Но голоса за стенной перегородкой не унимались и ввиду общей тишины, мало-помалу наставшей в комнатах флигеля, стали еще слышнее. Явственно раздавались два голоса. Глеб не вытерпел и освободил голову из-под одеяла.

Один из говоривших в соседней комнате был, очевидно, тот охотник, который за ужином ничего не ел и не пил; он и теперь изредка покашливал, рассказывая своему соночлежнику о каких-то своих страданиях. Ему коротко и вразумительно отвечал другой голос, по всей видимости доктора; за стеной слышались медицинские термины и обстоятельные порицания принятого больным способа лечения. И вдруг Дуганов вскочил как ужаленный и присел на постели. Его охватила дрожь. Зубы его стучали... Он вполне расслышал и узнал голос Спесивцева: те же приемы и те же знакомые поговорки.

— Бросьте вы, батенька, всех этих наших врачей! — сказал, между прочим, голос за перегородкой. — Все-то мы, не исключая и меня, никуда не годимся; пейте то, что вам советует эта ваша знахарка, Степанидушка, — свежий морковный сок, по стаканчику утром, днем побольше теплого парного молока, ешьте разварную кашу с гусиным сальцем и запивайте рюмочкой-другой хорошей настойки, да избегайте простуды, — словом, все, как говорит ваша Степанидушка. Это вам никоим образом не повредит и уж во всяком случае, как другие ваши лекарства, не отправит вас на тот свет.

«Он, он! — говорил себе в волнении Дуганов, отыскивая ногами у кровати сапоги и наскоро их обувая. — Судьба, странная и загадочная судьба! И ею надо воспользоваться безотлагательно!» Затаив дыхание, он бережно ощупал соседний стул, нашел на нем свое платье и, не зажигая свечи, наскоро оделся. Галахов уже спал. С другого конца комнаты, впотьмах, доносилось его мерное, тихое дыхание. Глеб взглянул к стороне выходной двери. Из-под нее, у порога, виднелась слабая полоса света; коридор, следовательно, был еще освещен. Дуганов помедлил. Голоса за перегородкой затихли. «Заснули тоже, — подумал он, — ну, да ничего, увидим».

Он на цыпочках, беззвучно подошел к двери, тихо отворил ее и коридором приблизился к соседней комнате. Его сердце сильно билось. Он минуты две постоял у входа в эту комнату; голоса в ней действительно смолкли; там была полная тишина. «Отворить ли? Войти ли? — колебался Дуганов. — Если дверь заперта на замок, придется постучать — и кто первый очнется? Разумеется, этот больной... Объяснения, переговоры, нежелаемый свидетель... Но, может быть, у них еще горит свеча, этот гусь не спит и сразу меня узнает... что я ему скажу?» Горло Дуганова сжалось судорогой; он едва не раскашлялся: «Безумие! — сказал он себе. — Приход, объяснение ночью. Какая чепуха! Надо уйти...»

В коридоре, так же как и в комнатах, было сильно тепло; пахло сеном, из которого вечером устраивали постели для гостей. Где-то мирно позванивал сверчок. Глеб с минуту подумал, отошел в сторону, стал лицом к стене, постоял так минуты две, круто обернулся, подошел опять к двери, которую оставил, и тихо тронул ее ручку. Дверь оказалась запертой изнутри на задвижку. Он еще помедлил и осторожно стукнул в дверь. За нею никто не отзывался. Он еще раз постучал. За дверью было тихо. «Ну, не судьба, — подумал Глеб, — время есть, объяснюсь и завтра; а то и впрямь — крадусь, точно вор!» Он ступил шаг от двери. Дверная задвижка щелкнула.

На пороге темной комнаты, в мерцании коридорного ночника, обрисовалась босая и в одном белье знакомая фигура. Перед Дугановым стоял Спесивцев.

— Это вы? Что вам? — спросил тот, в изумлении разглядывая Глеба.

— Да... вы, разумеется, не ожидали?

Доктор молчал.

— Прошу без шума и отказа, — сказал Глеб. — Время дорого... Оденьтесь, на пару слов.

Спесивцев растерянно смотрел на него.

— Я только сию минуту узнал, что мы, то есть что вы... — проговорил, путаясь, Дуганов, — и надеюсь, вы не откажетесь поэтому объясниться.

Спесивцев с секунду подумал, оглянулся в полураскрытую дверь, скрылся за нею и вскоре вновь показался оттуда одетый. Дуганов знаком пригласил его и провел в глубь коридора, куда свет ночника едва достигал слабою, трепетною полоской.

— Послушайте, — начал, приблизясь к нему, Дуганов, — не вам удивляться — мне! Вы исчезли из Москвы так неожиданно быстро, без следа.

— Вы слышали ранее... Я, сколько помню, вас предупреждал...

— Никто, решительно никто не знал, куда вы скрылись, — продолжал, не слушая возражений, Дуганов, — а между тем дело так просто и ясно...

— Что же вам угодно от меня? — спросил Спесивцев.

— Марья Родионовна, моя жена, одновременно с вами тоже скрылась... И если она, как я убедился, не с вами еще пока, то, согласитесь, никто не поручится, что после всего, что совершилось, вы оба впоследствии...

— Не понимаю, — перебил Спесивцев. — Как все это может относиться ко мне?

— Не понимаете? Вам не ясно? — торопясь и обрываясь, продолжал Дуганов. — Извольте-с, поясню. Но зачем отговорки, зачем комедию ломать? Вы тогда выразились, что

всегда будете к моим услугам. Я это помню; а вы, как честный человек, скажите, помните ли это?

— Отлично помню.

— О, так извольте, — заговорил, еще более торопясь и глядя в угол, Дуганов, — только никому, слышите ли, ни слова... Утром, через несколько часов, здесь охота. Медведи обойдены в трех или четырех местах. У меня план, и вы, надеюсь, поймете меня... Вам почин... Не угодно ли выбрать более отдаленное, поглуше место и покончить там между нами, прямо и без свидетелей, раз навсегда?

Глеб смолк. Зубы его стучали, как в лихорадке.

— То есть как же покончить? — спросил, не совсем поняв его, Спесивцев. — Дуэль предполагаете, что ли?

— Именно, дуэль-с... и один на один.

— Но как же без свидетелей?

— О, разумеется, не из-за угла же вас или меня убить, — лепетал, странно улыбаясь, Глеб, — а впрочем, если хотите, то, пожалуй, и даже именно почти из-за угла, то есть... ну, из-за дерева... из-за куста...

Удивление Спесивцева возрастало. Едва улавливая несвязные слова Дуганова, он старался в полусвете рассмотреть его лицо. Перед ним мелькали только странно расширенные глаза и бледные губы Глеба.

— Объясните, прошу вас, подробнее, — сказал Спесивцев, — вы говорите, без свидетелей, следовательно, без секундантов?

— Да-с, без них! — отрезал, вспылив, Глеб. — На что они в нашем положении? Лишняя только огласка! Вы же человек без предрассудков... Мы с вами проедем туда, станем, понимаете, невдали друг от друга, ну, с краю какой-либо линии, взведем курки, даже целить заранее дозволяется, если хотите... и, вслед за криками гонцов, с первым чьим-либо выстрелом на нашей линии — так это уже и положим, условимся, — пустим друг в друга пули. Повторяю, с криками гонцов — целиться, а при первом выстреле в цепи — спускать курки...

— Дуэль на пистолетах? — спросил, как бы просыпаясь от тяжелого сна, Спесивцев.

— Разумеется, не на охотничьих же длинных штуцерах.

— Но мне дали здесь штуцер, у меня нет пистолета.

— Выберите из моих, я приготовлю, — сказал Глеб.

«Он решительно с ума сошел, — мыслил Спесивцев, глядя на дико сверкавшие глаза и бледные, странно шевелившиеся губы Дуганова, — доказать ему его безумие, неправоту? Но разве это теперь возможно? От помешанного, безумного нигде не уйти! Да при этом его раздражение, и все равно — не здесь, в другом месте, даже здесь же в лесу, на этой самой охоте, он нарвется вдруг или подкараулит и подстрелит также из-за угла. Впрочем, и терять-то особенно нечего, хотя тут еще роковой вопрос, жребий: я или он? Чего мне жалеть в жизни? Жаль вон кого — бедную брошенную им превосходную женщину... А она и не подозревает в эту минуту, что за нее решается судьба двух жизней. Если он свернется в виде подстреленного бекаса — сам заслужил такую собачью судьбу!.. Ну, а если я?..»

— Вы этого настоятельно требуете? — спросил, помолчав, Спесивцев.

— Бесповоротно и окончательно, — сказал Глеб, — притом не далее сегодняшнего утра... Надеюсь, все до времени останется в полном секрете. Выстрел окажется потом как бы случайный... Охотники ведь нередко сами в себя по неосторожности пускают заряд, не только в грудь, но часто и в живот... и это бывает очень мучительно, — с злою улыбкой прибавил Дуганов, — нам с вами, впрочем, не так ли, все равно...

Сердце Спесивцева било тревогу. Он боролся с собой.

— Извольте, я согласен, — ответил он, наконец. — Справлюсь о месте, сообщу вам при отъезде, мы и встретимся там.

Дуганов и Спесивцев, поклонясь друг другу, разошлись по своим комнатам. Возвратясь в раздумье к себе,

Спесивцев зажег у ночника свечу, раскрыл походную шкатулку с инструментами в суконном чехле, достал оттуда клочок бумаги и карандаш и несколько минут с расстановками что-то писал. Кончив письмо, он сложил его, надписал над ним адрес, снова запер шкатулку, положил письмо возле себя на стол и, задув свечу, улегся в постель. Он лежал, не смыкая глаз. Тяжелые мысли носились перед ним. Ему вспоминалось прошлое, годы учения, путешествие в чужих краях, молодая женщина, которую он когда-то страстно любил и которая, лечась у него, нежданно скончалась на его руках, возврат в Москву, горькое одиночество и отрадные часы, проведенные в кругу Дугановых. И вдруг такой случай, это невозможное подозрение и дикая месть озлобленного слепою ревностью человека. «О, его не переубедить, не разуверить! — мыслил Спесивцев. — Так тому и быть! Значит, судьба!» Во дворе послышались голоса. Фыркали лошади. «Запрягают, скоро ехать!» — подумал Спесивцев. В окнах соседних зданий замелькали свечи. Коридор огласился шагами прислуги, поднимавшей господ и выносившей вещи. Спесивцев разбудил своего соночлежника. То был морской офицер.

— Не откажите, — сказал он ему, — доставить в город по адресу это письмо.

— Запечатано? — спросил тот спросонья.

— Сейчас попрошу в конторе сургуча, запечатаю.

— Так положите в карман моей шинели; вон она на стуле...

— Да пора и вам, вставайте, все уже одеты, едут! — сказал Спесивцев, выходя в коридор. — А если хотите знать мое искреннее мнение, то еще лучше — вовсе не вставайте и спите себе, не рискуя вконец простудиться.

Соночлежник перелег на другой бок и с мыслью: «А и в самом деле, чего я поеду туда на толкотню и мороз, когда еще так рано, а здесь так уютно и тепло?» — укрылся получше одеялом и снова заснул.

X

— Мы едем вместе? — спросил припоздавший с одеванием Галахов, увидев уже одетого Дуганова, который, в высоких сапогах и в теплой на еноте шинели, укладывал свой штуцер не на вчерашние городские извозчичьи сани, в которых они приехали, а на крестьянские дровни с намощенной на них соломой.

— Нет, голубчик, поезжай с другими, — ответил Глеб. — Я приглашен тут одним знакомым на дальнюю цепь.

Охотничий поезд двинулся. Скоро ожидался рассвет, но было еще темно. Вереница саней, скрипя по крепкому морозу, двинулась из усадьбы, миновала парк и понеслась к ближнему лесу. Едва охотники въехали в его просеку, сзади раздалось звяканье серебристых бубенчиков и мимо поезда, в клубах снега, летевшего из-под четверки серых жеребцов, промчались широкие, крытые персидским ковром пошевни, на которых сидел, кланяясь обгоняемым гостям, закутанный в соболя и в высокой куньей шапке с заломленным бархатным верхом, весь опушенный инеем князь Орлов. «Останусь жив, — думал Дуганов, провожая его глазами, — отличный случай, — здесь же попрошу его о переводе на Дунай...»

Гости и княжеские стрелки устанавливались на назначенных местах. Сани сворачивали с дороги то в одну, то в другую просеку. Между посеребренными деревьями в начинавшемся бледном рассвете виднелись копошившиеся с рогатинами и дубинами гонцы, расставленные с ночи вокруг обойденных медвежьих берлог.

— А где же доктор? — спросил кто-то управляющего, подъехавшего к ближайшей линии стрелков.

— О, у него на все особые соображения; он пробрался на самый край, к лесной сторожке.

— Почему?

— Туда, говорит, всем сходиться; в начале все будут осторожны, а в конце разгорячатся, и он там будет, по его мнению, полезнее.

Цепь стрелков в конце леса, у сторожки, была расположена на песчаном взгорье, у непролазной гущины сосен, кустарников и берез, спадавших к небольшому круглому озерку. Узкий, чуть видневшийся в снегу проселок шел вдоль этого места к озеру. Дуганов и Спесивцев расположились у левого края последней линии стрелков, ставших за деревьями лицом к озеру, из-за которого ожидался выход зверей.

Когда охотники заняли места и Дуганов справа, за можжевеловым кустом, разглядел белую барашковую шапку и серый, на лисьем меху, бешмет Спесивцева, он, несколько подумав, подошел к нему.

— Выбирайте, — сказал он, протягивая ему пистолеты.

— Заряжены? — спросил Спесивцев.

— За кого же вы меня принимаете? — ответил, презрительно пожав плечами, Дуганов. — Вот вам и патроны.

Спесивцев стал заряжать выбранный им пистолет. Дуганов занялся своим. Его руки дрожали. Доктор, по-видимому, был совершенно спокоен. Только его лицо было несколько бледно, да глаза от бессонницы красноваты.

«Это, наконец, ведь черт знает что такое! — думал, глядя на Дуганова, Спесивцев, — Ну, хоть бы словом его образумить, показать ему все безобразие этого дикого и бессмысленного решения. Будь свидетели, секунданты, как у других, я все разъяснил бы, остановил... А так... Какое возмутительное безумие! И ничего не поделаешь; все он перетолкует в гнусную сторону, огласит, ославит трусом, подлецом».

Пистолеты были заряжены. Спесивцев взвел курок, насыпал на затравку пороха, снова прикрыл затравку, и в раздумье поглядывал на пистолет, как бы не зная, что далее с

ним надо делать. «Скажу я ему: слушайте! — мыслил он. — Не страх смерти, не сожаление о чем-либо из прожитого останавливает меня... Но согласитесь, ведь это злая нелепость и чепуха!.. Мы с вами неглупые люди, разберите, наконец, хладнокровно!»

— А теперь, можете для практики и целиться в дерево, а то и в меня, — объявил Дуганов, спокойно уходя на свое место. — Не забывайте главного, при первых окриках гонцов наводить пистолеты, а при первом выстреле в нашей цепи, кто бы ни выстрелил, спускать курки.

Окраина леса, где за деревьями и кустами разместились охотники, более и более светлела. К Спесивцеву с линии, промеж кустов, подошел с огромною старомодною винтовкой через плечо высокий и румяный старик помещик в меховой куртке и шапке с наушниками. В его руках были дорожная фляга и серебряный стаканчик.

— Не хотите ли? — сказал он, показывая на флягу.

Дуганов, поблагодарив, отказался. Спесивцев с удовольствием выпил.

— Да у вас тут и вполне безопасно, — сказал, проходя мимо Глеба, помещик, — доктор под рукой... Ведь ваш сосед — доктор, кажется?

Дуганов утвердительно кивнул головой.

— И отлично, на всякий случай... Изранит медведь, помощь и готова.

— Ну, уж и изранит, почему же? — сказал Глеб.

— Медвежий ход, государи мои, как раз сюда с озера, — сказал, затыкая флягу, старик. — В прошлом году на этом самом месте одного гонца медведица свалила и так изгрызла, что, пока подоспели соседи-стрелки, он и душу Богу отказал... Берегитесь, миленькие; да цельте под лопатку, вот сюда... А ножи, пистолеты, кроме ружей, припасли?

— Ножей нет, а пистолеты есть, — ответил Дуганов, показывая свой.

Старик, переваливаясь, пошел на свое место. Лес впереди за озером и вокруг стрелков замолк. Гонцы, очевидно, при-

ближались к месту, с которого должен был начаться общий гон. В мертвой тишине, вдруг наставшей кругом, слышался только лай собак в каком-то дальнем поселке да осторожное, едва уловимое ухом переступание в кустах зябнувших ног соседних стрелков. С высокой ели беззвучно сыпался снег от прыгнувшей с ветки на ветку белки. Сухой валежник предательски хрустел под чьими-то валенками, а сосед, в отчаянии присев, укоризненно махал неосторожному руками. Дуганов покосился на то место, где стоял Спесивцев. Он поверх невысоких можжевеловых кустов явственно разглядел его плотную фигуру, серый бешмет и белую барашковую шапку. Опершийся о ствол сосны доктор был виден до пояса. Пистолет торчал у него из-за лацкана бешмета. Штуцер он держал в руке и, казалось, рассеянно смотрел прямо из-за березы на озеро.

«О чем он мыслит? — подумал Дуганов. — Спокойно ли обсуждает, что вот, мол, жалкий, обманутый муж предложил ему безрассудную, короткую разделку, и презрительно в душе издевается над ним? Или спокойно рассуждает о том, как он, обстоятельный и сдержанный человек, спокойно прицелится в этого бедного мужа, спустит в условленное мгновение курок и влепит ему пулю прямо в лоб?»

Порыв злобной ненависти и жажды мщения охватил Дуганова. Руки его тряслись, озноб пробегал по спине. Он положил ружье на землю и взялся за пистолет. Вдали как бы что-то ахнуло. «Начинается!» — подумал он, взглянув на Спесивцева. Доктор не изменил своего положения. Звуки росли; гон становился явственнее. «Да, участь моя решена, — мыслил Глеб, — я волнуюсь, а он совершенно спокоен, обдумал, как видно, все и ждет... Бей же! Погаси эту мятущуюся, никому не нужную, жалкую жизнь».

За озером, в ближайшей линии, послышалось несколько выстрелов: «паф-паф» в одной стороне, «паф» в другой. «Разом вышли два зверя», — подумал Дуганов. Голоса кричан раздавались по всему лесу. Послышалось постуки-

вание дубин о деревья, ближе и ближе. Гонцы, огибая последнюю из обойденных берлог, надвигались к линии, стоявшей перед озером. На берег выскочили и робкими прыжками пронеслись по льду несколько зайцев. Выбежала, остановилась, нюхая воздух, и наискось, вдоль цепи стрелков, помчалась, расстилая хвост, спугнутая лисица. По ним, в ожидании медведя, положено было не стрелять. Крики гонцов стали раздаваться у окраины озера. «Да где же берлога? — думал Дуганов, глядя из-за куста навстречу гонцам. — Или зверь ушел ранее?» Он взвел курок пистолета и оглянулся на то место, где стоял Спесивцев.

Там, за кустом, у высокой суховерхой сосны, он увидел хмурое лицо и пристально устремленные на него глаза какого-то, точно незнакомого ему, человека. Этот человек, держа в протянутой руке пистолет, целился прямо в него. За озером в это мгновение мелькнуло и выкатилось на лед что-то рыжевато-черное и косматое. «Медведь! — сообразил Дуганов. — Но почему же в него не стреляют? А, понимаю! Он вышел между мною и Спесивцевым, а нам не до него...» Отведя глаза от косматой фигуры, которая, сбивая снег с кустов, катилась на мягких лапах по льду, Дуганов подумал: «Неужели время настало и мы должны стрелять?» И также навел пистолет на Спесивцева. «Бум! Бум!» — раздалось в это мгновение несколько оглушительных выстрелов по линии. Одновременно с ними послышались два негромких пистолетных выстрела...

От опушки леса на озеро, пересекая полосы беловатого дыма, сбегались с ружьями ближайшие стрелки. Гонцы, справа и слева, тащили по льду огромные медвежьи туши.

— Кто убил? — слышались голоса.

— Двух, наповал... Одного князь, медведицу — Семен Васильевич. Побежали, ловят медвежат.

«Боже! Что я наделал! Что случилось? — подумал Глеб, быстро кинувшись с своего места сквозь цепкие, колючие кусты. — Неужели Спесивцев упал, умрет и я, я его убийца?» Он ясно впоследствии вспомнил, что вслед за выстрелами по линии его рука нажала пружину, спустила курок, впереди его тоже мгновенно что-то сверкнуло, и он, услышав треск веток и падение чего-то тяжелого, несколько секунд не сознавал, что именно упало. Он приблизился... Перед ним без движения лежал тот, которого он за секунду так глубоко ненавидел. Сердце Глеба дрогнуло, он наклонился к лежавшему и приподнял его за плечи. Глаза Спесивцева были закрыты; бледное и спокойное лицо его как бы говорило: «Все кончено; чего еще нужно тебе, мой ожесточенный, слепой и счастливый в своей злобе и мести враг?» Острое, жгучее раскаяние, презрение к себе и стыд за исполненное деяние охватили Глеба. К раненому сбежались другие стрелки. «Бешмет расстегните, что вы? Голову сюда, повыше!» — слышались голоса. «Кто ранен?» — «Да сам доктор...» — «К князю скорее...»

Охотники, столпясь вокруг князя на озере, рассматривали добычу. Счастливо улыбавшийся Орлов, отирая вспотевшее лицо, в распахнутой шубе и с шапкой на затылке, стоял в пошевнях. Егеря угощали гонцов. Толстый и важный дворецкий держал перед князем за спину пойманного, забавно рычавшего медвежонка.

— Да, господа, — произнес Орлов, — удача разлюбезная; и второй раз... на том же самом месте.

К князю подбежал, запыхавшись, без шапки, его любимый егерь.

— Ваше сиятельство, — сказал он, — ранен один из охотников... и опасно-с!

— Зови лекаря, скорее!

— Да лекарь-то и ранен.

— Какой? Тарбеевский?

— Он самый.

— По неосторожности?

— Должно статься.

— Вот они, эти торопыги. Где?

— Эвоси, в тех кустах, ваше сиятельство, под тою вон сосной.

— Пошел туда!

XI

Княжеские сани, окруженные гурьбой охотников, двинулись по направлению к указанному месту. Здесь между можжевеловых кустов, опершись головой о ствол сосны, лежал на снегу, поддерживаемый стариком помещиком, бледный, с закрытыми глазами Спесивцев. Возле него валялись штуцер и пистолет. Кровь сквозь расстегнутый бешмет сочилась из груди его, окрашивая под ним притоптанный снег.

Орлов встал к нему из саней.

— Перевязку, бинтов! Еще сани сюда! — обратился он к окружающим раненого, расстегивая свой кафтан.

— Простудитесь, ваше сиятельство, — говорил дворецкий. — Мы, помилуйте, и сами!

Князь сорвал с себя батистовое жабо; другие подали ему платки. Сделав наскоро перевязку раненому, его бережно подняли и уложили в сани. Он медленно открыл глаза и вздохнул. Странный хрип слышался из его груди.

— Что с тобою, голубчик? — спросил его Орлов, угадывая, что доктор ранен в грудь.

— Пустяки-с... второпях уронил пистолет, — чуть слышно проговорил Спесивцев. — Падая, он курком, вероятно, задел за куст... и выстрелил... арники надо бы, корпии...

«О лекарствах, о корпии вспомнил! — презрительно подумал Глеб. — Куда делась vis medicatrix naturae?»

— Не беспокойся, — сказал раненому Орлов, — послали в город за твоим коллегой.

Сани тихо двинулись. Спесивцев махнул дворецкому рукой. Тот подбежал и нагнулся к нему.

— Этот господин, — прошептал через силу раненый, указывая на Дуганова, неподвижно и молча стоявшего поодаль, среди других стрелков.

— Позвать их? — спросил дворецкий.

— Нет, зачем? Отдайте ему... пистолет... я выпросил у него, на всякий случай, — он ссудил и, как видите...

— Все будет исполнено, — ответил дворецкий, укрывая раненого полстью. — Главное, сударь, будьте спокойны.

— Ничего не жалеть! — сказал дворецкому Орлов, провожая глазами увозимого доктора. — Дать помещение и все... Неприятная оказия, да, авось, Бог помилует. А, Дуганов! — произнес князь, увидев Глеба среди прочих охотников. — У меня к тебе дело, садись со мной.

Дуганов, не помня еще себя от всего рокового, что совершилось перед ним, поклонился и сел рядом с князем.

— Каков случай, — заметил Орлов, — и надо было, как вспомню, все это почти предвидеть... С вечера вчера мой комнатный меделянский пес, ну, веришь ли, выл, как по покойнику!

«И в этой смерти, если ей быть суждено, — думал, замирая, Дуганов, — я виноват!»

— Ты стоял в этой же цепи? — спросил князь.

— В этой, — ответил Глеб.

— Далеко от него?

— Почти рядом, в десяти, пятнадцати шагах.

— Как он еще не прострелил тебя самого? Ох, уж эти штафирки! Его позвали как врача; так нет, не вытерпел, тоже стал с оружием, покажу, мол, свою ловкость и храбрость.

Глеб молчал. Ему вспоминались глаза Спесивцева и протянутый в направлении к нему пистолет.

— Кстати, однако, — продолжал Орлов, — медведь медведем, а я могу тебя поздравить и с другой, убитой тоже наповал, добычей — с медведицей! Государыня вчера под-

писала резолюцию по делу той московской барыни. Согласно с прошением старухи Корониной, велено все имения, подаренные ей обидчице-дочери, отписать обратно за дарительницей, а ей самой, за дерзости и обиды, нанесенные матери, отправиться отсюда под строгий надзор и ответ князя, в Москву. Делать тебе здесь более поэтому нечего... Понимаю твое нетерпение. Можешь обрадовать жену... Завтра или послезавтра выдадут тебе все нужные бумаги, и поезжай с Богом. К князю буду писать сам; перед отъездом, впрочем, зайди — напишу через тебя князю.

— Слушаю, ваше сиятельство, и приношу глубокую благодарность, — ответил Глеб, — но могу ли при этом побеспокоить вас еще об одной милости?

— Говори, слушаю.

«Ну, к чему я буду проситься на Дунай? — подумал Дуганов. — Дело там, того и гляди, скоро кончится; попрошусь лучше на службу лично к нему...»

— Так как поручение князя теперь исполнено, и, если на то будет его согласие, могу ли утруждать ваше сиятельство о зачислении, переводом, меня в штат лично служащих при вашей особе?

Орлов рассеянно слушал его.

— Хорошо, милый, хорошо! — ответил он, оглядываясь на сани доктора, которые показались в это время из лесу. — Жаль этого лекаря, говорят, веселый, хороший человек, и вдруг такой случай.

Более Орлов, до Гатчины, не говорил. Он думал вообще о превратностях судьбы, предвидя роковые перемены и для себя.

В Гатчине Дуганов отыскал Галахова и с ним возвратился в Петербург. За закуской, которую от имени князя предложил охотникам гатчинский управитель, все толковали о печальном приключении с доктором.

— Пустяки, — сказал кто-то, — легкая рана в плечо.

— Не умеешь обращаться с оружием, лучше и не берись за него.

— Да почем вы знаете, — возразил сидевший тут старик помещик в серой куртке, — да он, может быть, прирожденный охотник? Как выпил ром! Сейчас видно... Да я с ним за секунду перед тем говорил. Случай, не больше; сорвалось, и все... Да-с, доктор ранен, зато мы вот все целехоньки... Выпьем!

И все выпили.

«И я уцелел благодаря случайности, не более», — думал, слушая общие разговоры, Дуганов.

На пути в Петербург Галахов заметил смущение Глеба.

— Что, и тебе жаль этого господина? — спросил он.

— Еще бы, старый знакомый, нежданно встретились.

— Да ведь у тебя и пистолет он, кажется, взял?

— Стояли рядом.

— Толкуют: пустое, — сказал Галахов, — хороши пустяки!

— А что, разве?..

— Его осмотрел другой доктор; говорит, пуля пробила плечо и задела легкое... Ну, а ты знаешь, чем это пахнет... Фью!..

— Кто это тебе сказал? — спросил Глеб.

— Управляющий.

— И что же?

— Говорит, рана тяжелая и, по всей видимости, безнадежная.

Дуганов помертвел.

«И неужели я, именно я желал его смерти, вызывал и торопил его к ней? — думал Дуганов, войдя в сумерки в свою комнату. — Но зачем я молчал, как трус, там в лесу и за завтраком? Почему не объявил всем, что я ранил его?.. Нельзя было иначе! Так было решено, дело шло о чести женщины... Но восстановлена ли этим чья-либо честь? Может ли быть после этого близка для меня та, из-за которой гибнет он, дорогой ей человек, а мне, очевидно по ненавистной и несчастной для нее случайности, суждено жить? Безумное решение, безумный конец...»

Через несколько дней, получив нужные бумаги по делу Корониной, Дуганов воспользовался общим приемом у князя Орлова и поехал к нему в городскую квартиру — откланяться.

— Что скажешь? — спросил князь, увидев его среди других посетителей.

— Еду обратно в Москву.

— Когда отправляешься?

— Завтра.

— Ну, вот что, — сказал, подумав, князь, — теперь некогда; заезжай по пути ко мне в Царское Село — я туда возвращусь сегодня же; у меня будет письмо с одним документом к твоему шефу, князю Волконскому, тот документ в Царском, и мне нужно, чтобы ты лично передал его в руки князя Михаила Никитича.

Глеб ответил, что он исполнит желание князя. Ехать в Царское он решил также в тот же день, с вечера, чтобы, переночевав там, пораньше явиться к Орлову. Вещи давно были уложены. После раннего обеда Глеб послал за почтовыми лошадьми и, когда их подали, зашел проститься к своему сожителю. На дворе шумел ветер, шел снег.

— Ну, до свидания, Александр Павлович, — сказал он, входя в дорожном наряде в комнату Галахова.

Последний, по обычаю, сидел у письменного стола перед грудою бумаг, которые он при входе Глеба прикрыл портфелем.

— Как? Ты уже едешь? — удивился Галахов.

— Да, необходимо, мне назначен срок.

Приятели дружески обнялись.

— До скорого, надеюсь, свидания, — сказал Галахов, — но зачем едешь против ночи? Лучше бы завтра, с утра... смотри, какая непогода, будет метель.

— Нельзя, — ответил Глеб, — князь Григорий Григорьевич, отпуская меня сегодня, пожелал, чтобы я завтра по пути заехал к нему в Царское, — ну, лучше, не

правда ли, заранее прибыть туда и, там обождав, явиться вовремя?

— Разумеется, — ответил, как бы что-то обдумывая, Галахов, — видно, что-нибудь очень нужное, если князь, чуть не при ежедневной отправке фельдъегерей пользуется оказией с тобой.

— А как полагаешь, где мне придется его видеть там? Тебе это должно быть известно.

— В собственном, разумеется, его флигеле — справа от дворца.

— В котором лучше часу?

— Пораньше явись; встает же он в разное время — то с рассветом, а иногда и в полдень.

— Хорошо, значит, что еду накануне... Кстати, однако, — прибавил Глеб, — столько времени мы прожили вместе и я тебя не спрашивал... Скажи, если это не особый секрет, по части каких вообще бумаг ты работаешь для князя? Военных, придворных или политических? Если тайна, не смею спрашивать и ты мне не говори.

— О, пустяки! — ответил, улыбнувшись, Галахов. — Частные дела князя, ну, больше по его имениям — он плохой хозяин и считать почти не умеет, кроме того, семейная переписка... Ничего, уверяю тебя, о чем бы стоило говорить, ни важного, ни любопытного.

— Ну, будь же здоров, не поминай лихом, — сказал, протянув руку, Дуганов.

— Прощай, Глеб Андреевич! Не забывай и ты, да хоть изредка пиши о себе.

Приятели простились. Доехав до Царского Села, Глеб переночевал там на постоялом и рано утром отправился к князю Орлову. Дежурный камердинер объявил ему, что князь, возвратясь из Петербурга, вспоминал о нем и приказал принять его, но с вечера играл долго во дворце в карты и еще не вставал. Глеб, по совету камердинера, пришел через час. Перед подъездом дворца и флигелем Орлова стоял уже ряд придворных и городских экипажей.

— Князь только что ушли во дворец и просили вас явиться туда, — сказал камердинер Глебу.

— Куда же это? Как пройти? — спросил Глеб.

Камердинер указал парадное крыльцо.

— Идите, сударь, прямо, — сказал он. — Доложитесь там: князь, мол, лично приказал.

XII

Дуганов вошел в обширные теплые сени, наполненные ливрейными слугами, дневальными и вестовыми. Придворный скороход в золотой шапке со страусовыми перьями провел его через небольшую приемную залу, где сидело несколько лиц, представлявшихся в тот день государыне, и длинным, полуосвещенным коридором нижнего яруса, потом рядом небольших внутренних комнат достиг правой стороны дворца, окнами выходившей в сад. Дуганов очутился в угольной комнате с китайским бильярдом, зеркалом между окон и диванами вдоль стен. Предложив ему сесть, скороход сказал: «Здесь приказано подождать» — и ушел. «Государынин бильярд! — подумал Глеб, с благоговением осматривая комнату. — Она развлекается здесь в минуты отдыха, для моциона». Стены комнаты были увешаны картинами, изображавшими сцены морских и сухопутных сражений. На одной из них масляными красками был нарисован бой под Полтавой, на другой — взятие Нарвы. Прочие изображали походы и битвы крестоносцев. Дуганов стал рассматривать их. Кругом было тихо. Только от движения экипажей, подъезжающих ко дворцу, изредка слышалось позвякиванье стеклянных призмочек, висевших под потолочною бронзовою люстрой. «Где же теперь князь? — раздумывал Глеб. — В приемной большею частью не важные лица, а у подъезда столько придворных экипажей. Не совет ли какой-либо собрался у государыни? И скоро ли освободится князь?» Прошло полчаса, час и более. На дворе вдруг стемнело. Нашла

туча, ворохами повалил снег. С вершин деревьев поднялась и стала кружиться в снежной пелене туча ворон и галок. Глебу вспомнились пернатые полчища над садом в Ракитном. Он перенесся мыслью к матери. «Здорова ли она, — думалось ему, — знает ли о моем разрыве и разлуке с женой? Надо бы проведать ее; едва сдам дело главнокомандующему, отпрошусь в отпуск, навещу ее». Еще прошло несколько минут. За дверью, противоположной той, в которую вошел Дуганов, послышались неспешные, тяжелые шаги. Дверь отворилась, на пороге показался князь Григорий Григорьевич. Лицо Орлова было возбуждено. Пятна румянца проступали на гладко выбритых щеках. Глаза были отуманены.

— А, ты здесь? — сказал он рассеянно, мельком взглянув в зеркало и оправляя на себе кружевное жабо и манжеты. — Очень рад; иди за мной. Вот тебе письмо к князю Михаилу Никитичу, — сказал он, подавая Глебу пакет, — но это не все... Государыня, узнав, что я пишу с тобой к князю, также пожелала лично, через твое посредство, послать письмо к князю и от себя...

Орлов повернулся и пошел обратно. Дуганов, замирая, молча последовал за ним. Они миновали несколько пустых комнат. Одна из них показалась Глебу уборною, другая была, очевидно, библиотекой, третья — нечто вроде оранжереи, с цветущими растениями на окнах и вдоль стен.

— Я за тебя, сударь, поручился, — строго сказал, идя далее и не оборачиваясь, Орлов, — аттестовал, помни, тебя как скромного и усердного человека, способного соблюсти монаршее поручение.

— Не знаю, ваше сиятельство, чем я удостоился и могу ли в жизни хоть чем-либо заслужить столь великую милость? — ответил, кланяясь, Дуганов.

— Не я, впрочем, тебя указал, сама государыня услышала о тебе и решила.

«Теперь уже князь не откажет взять меня к себе, — подумал, следуя за Орловым, Дуганов, — исполнив поручение, напишу ему из Москвы».

Шаги Орлова вдруг затихли, точно куда-то исчезли, хотя он продолжал идти вперед. Глеб под ногами почувствовал нежный и мягкий, как пух, ковер. В комнате, куда они вошли, окна, ввиду наступившей перед тем от падавшего снега темноты, были закрыты гардинами, и комнату освещали восковые розовые свечи в красивых фарфоровых кенкетах, висевших по стенам. Слева, у двери в следующие комнаты, стоял высокий, с коричнево-бронзовым лицом и такими же руками араб в ярко-пунцовой куртке, расшитой золотыми шнурками, в зеленых шароварах, желтых туфлях и в белой огромной чалме.

— Побудь здесь, тебя позовут, — произнес Орлов, указав Дуганову мягкую шелковую кушетку у двери, возле которой стоял страж.

Араб, склонясь, отворил дверь. Орлов скрылся за нею. «Так вот что, — с невольным трепетом подумал, усевшись, Глеб, — сама государыня удостаивает меня высокой чести доставить ее строки главнокомандующему. Но ведь это, действительно, простая случайность; она узнала, что едет нарочный, и пожелала воспользоваться оказией. Где в эту минуту государыня? Неужели невдали, даже, быть может, прямо за этою стеною? И что здесь рядом за комната? Приемная для немногих ближайших к государыне особ или собственный ее рабочий кабинет? Вот взглянуть бы, если там нет никого... Каково убранство этой комнаты? Увидеть бы ее кресло, рабочий стол, за которым она решает дела великой империи».

Из-за двери между тем Глеб расслышал звуки голоса. По соседству кто-то, казалось, говорил или что-то читал, смолкал и снова говорил. Кто говорил и о чем? Докладчик ли излагал какое-либо сообщение, или изволила говорить сама императрица? «Вот приотворить бы дверь, посмотреть бы в нее, хоть секунду, послушать бы! — пришло на мысль Дуганову. — Нельзя! Это губатое чудовище тут настороже!» Араб между тем, прислонясь плечом к косяку двери, стоял как вкопанный, не шелох-

нувшись и так спокойно, точно дремал. «Неужели и впрямь дремлет?» — досадливо мыслил Глеб. Он обернулся к нему. Черные круглые глаза араба с желтыми белками пристально глядели на него. «Попросить его? — подумал Глеб. — А как откажет да еще передаст князю дерзкую мою просьбу?»

За дверью послышался серебристый звонок крохотного колокольчика. Араб встрепенулся, беззвучно шагнул за дверь и, вновь появясь обратно с бумагами, направился с ними в другую дверь. Дрожь охватила Дуганова... Голоса за дверью, из которой араб вынес бумаги, стали вдруг до того явственны, что Глеб слышал чуть не каждое слово говоривших там. Араб, уходя с бумагами, очевидно, неплотно притворил дверную половинку. Глеб тихо встал, подошел на цыпочках к двери и взглянул сквозь ее щель. Его сердце сильно забилось.

Он увидел круглый широкий стол, покрытый зеленым сукном. На столе стоял канделябр с зажженными свечами. За столом, лицом к двери, сидела императрица, в сером шелковом платье, с жемчугом в напудренных волосах. Справа возле нее помещался канцлер граф Никита Иванович Панин; слева — генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский; далее, вполоборота к двери, сидели: с одной стороны — князь Григорий Григорьевич Орлов, с другой — Григорий Александрович Потемкин и — уже спиной к двери — бывший гетман, граф Кирилло Григорьевич Разумовский и фельдмаршал граф Захар Григорьевич Чернышев. Дуганов узнал не только старых, всему Петербургу известных давних пособников Екатерины, но и новое, восходившее над придворным миром яркое светило — Потемкина, которого он не раз видел в проезды последнего через Москву. «Тайный совет ее величества! Экстренное собрание! — пронеслось молнией в мыслях Глеба. — И я его вижу, услышу, может быть!» Он оглянулся, прислушался, не возвращается ли усланный страж, и, с восхищением и ужасом за свою решимость, припал глазом к двери. Он слушал, мысленно

повторяя: «Боже мой, Господи! И я действительно это вижу и слышу!» Через минуту он опомнился. «Но зачем я, безумный, так рискую? — подумал он. — Араб может каждую секунду возвратиться, застать меня здесь... Ведь будет слышно и так!» Он, в неодолимом волнении, опустился на ту же кушетку у двери. И точно, каждое слово говоривших в соседней комнате явственно по-прежнему долетало до него из-за порога.

— Так вы, господа, не одобряете? — слышался, с заметным немецким акцентом, голос Екатерины. — Не советуете, чтобы я, как мне хотелось, сама ехала для спасения государства в Москву и лично стала бы во главе войск, посылаемых для истребления злодея Пугачева? Что скажете, но откровенно, вы, граф Никита Иваныч? Не следует, по-вашему, нехорошо?

— Не только нехорошо, но, в рассуждении достоинства и целости империи, даже бедственно, — ответил негромкий и вместе твердый голос Панина. — Эта поездка, увеличив небольшую еще в общем опасность, только ободрит и умножит мятежную чернь. А! Скажут, вот как, сама государыня бросила столицу и сына и уехала к войску, значит, совсем неладно... Она и в Турцию к Румянцеву, против самого султана, лично не выступала, а тут — против мужика... Значит, и впрямь он вовсе не мужик!

Екатерина помолчала. Молчали и остальные.

— Согласна, уступаю, так и запишите, господин секретарь, — сказала Екатерина, обращаясь к какому-то, кого Дуганов не разглядел в дверь, за секретарским столом. — назначим, когда понадобится, изберем для того иное, с полною силою и властью, лицо. А теперь об ином, не менее важном... Вы слышали, — продолжала императрица, — князь Григорий Григорьевич считает, что нынешний за Волгой обширный и беспримерный по дерзости и жестокостям бунт черни главнейше вырос и усилился вследствие многих бедствий крепостного народа, угнетаемого помещиками, мо-

настырями и казной, и предложил мне частно, а здесь при вас и вторично отмену крепостного состояния... Что скажете на это?

— Мера гибельная и бедственная, — произнес, подумав, генерал-прокурор Вяземский. — К смуте одной губернии прибавятся смуты в остальных, сказать проще — бунт целой империи.

— Лучше умножить число войска за Волгой, — сказал фельдмаршал Чернышов, — послать в распоряжение князя Волконского еще несколько полков пехоты, пушек и кавалерию.

— Именно, прежде надо истребить мятеж, и тогда уже подносить монархине прожекты новых законов, — отозвался бывший гетман граф Разумовский. — Не в бурю и не в хозяйскую страду перестраиваются дома и хижины, а в пору отдыха и полной тишины.

— Матушка, мудрая монархиня! — не вытерпев, вскрикнул князь Орлов. — Не слушай их, слушай своего сердца! В чем колебания? Скажи одно слово — и цепи народного рабства рухнут, распадутся! Все мы, владельцы крепостных душ, — и я, каюсь, не последний из их числа, — грешны и виновны перед тобой и законом за подданных своих. Не мы ли проигрывали дарованных нам тобою и твоими предками крепостных людей в карты, меняли их на резвых скакунов и роскошные мебели? Не мы ли, стыжусь повторить, закладывали их, как движимость, продавали, разлучая семьи, на перевод — в дальние окраины и в зачет рекрутов? Скажи слово — и все высшее, все знатное, среднее и мелкое дворянство, как истые патриоты, ударят тебе челом, многомилостивая, своими вотчинами, селами и хуторами... Бери их для спасения и замирения отечества обратно! Объявляй неотлагательно общую вольность наших и твоих собственных, казенных рабов; церковь с монастырями последует за тобой! Не будет у стесненного народа причины к мятежам, бунт за Волгой утихнет, и сами крамольники приведут и выдадут

тебе головой своего вождя, на твое решение и правый суд.

Общее молчание было ответом на слова Орлова. Все ждали, чем выразится мнение самой государыни относительно небывалого по смелости, даже дерзости предложения, которым, как думали некоторые, терявший свое значение фаворит, очевидно, стремился с этой стороны восстановить свое значение и силу. «Тебе легко вольнодумствовать на чужой счет! — мыслили противники Орлова. — Ты, выскочка, давно ли снискан поместьями и всякими благами без числа? У тебя возьмут, наверстаешь втрое... а мы, наследственные, исконные дворяне, — нам не до твоих акробатских головоломных фокусов и скачков!»

Видя смущение, вызванное в главных членах совета словами Орлова, Екатерина молча вынула из кармана крохотную табакерку, раскрыла ее и поднесла к носу, глядя на Потемкина, с хмурым лицом нагнувшегося и недовольно сопевшего над листом белой, чистой бумаги, лежавшей перед ним на столе.

— Смело и дельно, как всегда, выразились вы, князь Григорий Григорьевич, — сказал Потемкин, слегка склонясь в сторону Орлова и продолжая смотреть на лист бумаги. — Кто возразит против святой истины, что рабство недостойно нашего века и славы свободолюбивой и великодушной нашей монархини? Нет спора, все мы сочувствуем вам... Не правда ли? — обратился Потемкин к прочим членам совета.

Все несколько смущенно молча поклонились ему.

— Но кто поручится, — продолжал Потемкин, — что ваше добро не станет худшим злом для того же народа?

— Как это? Почему? — опять не вытерпев, с горячностью возразил Орлов.

— А так, батюшка, ваше сиятельство, очень просто! — ответил спокойным, твердым голосом Потемкин. — Неразвитая, слепая и дикая чернь — разнуздайте вы только ее, дайте ей вольную волюшку, и вы увидите:

она бросит неблагодарный и тяжкий труд земледельца и бурным потоком хлынет из сел в города. Что вы сделаете в то время? Кто будет возделывать хлебные нивы, платить оброки, давать рекрутов? Деревни опустеют, поля зарастут сорными травами и лесом. Что скажет отечество, когда ему станет грозить голод, а преступления всякого рода, кражи, грабежи, насилия и убийства обратят великую империю в страну ирокезских дикарей, чуть не людоедов? Кем вы станете укрощать буйства и мятежи? Войска некем будет комплектовать — вольные люди не дадутся, чтоб им брили лоб... Не на манер ли Англии станете вербовать охотников на базарах и площадях? О прочих в столь важном деле потерях государства и частных лиц не говорю — они всякому известны...

XIII

«Ай да мастер! — думали, слушая Потемкина, старейшие из членов совета. — Так говорить и мыслить под стать хоть бы и многоопытному дельцу, убеленному сединой. Угадал, забил вольнодумца! Далеко пойдет!»

— Не спорю о потерях, не спорю! — вскрикнул Орлов. — Все мы, от богачей до бедных, сильно потерпим от предлагаемой мною меры, даже, быть может, разоримся вконец. Но надо, государи мои, думать не о нас лично, а об отечестве и о славе великой монархини, которой мы обязаны служить до последней капли крови. Не она ли, первая в государстве вняв голосу и нуждам народа, еще недавно созывала, на вечную память о себе, комиссию для начертания проекта нового уложения? И не там ли, не в этой ли комиссии впервые перед всеми раздались заглушенные, впрочем, недальновидными слепцами голоса, что назрело время подумать коли не о полной отмене, то хотя бы о сокращении унизительного рабства? Говорите против меня, возражайте; я остаюсь

при своем: ранее подумали бы о моей мысли, не было бы ни бунта за Волгой, ни Пугачева...

— Не было бы! Не случилось бы! Вот как! — произнес, глядя на Орлова, Потемкин. — Все это, извините, ваше сиятельство, такие же загадки, как и этот чистый лист бумаги... Написать на нем можно все, что угодно, как легко составить и издать всякий закон... Да что вычитает из этого писания народ? Готов ли он ко всякой, хотя бы и мудрой, мере? Вот вы тоже упомянули о комиссии... Но знаете ли...

— Позвольте, — возразила императрица, видя растерянность и затруднение остальных членов совета, молча слушавших препирательства соперников-фаворитов, — лучше нам о комиссии здесь не упоминать... Вы, князь Александр Алексеевич, знаете, — обратилась Екатерина к генерал-прокурору Вяземскому, бывшему председателю той комиссии, — каковы, поистине сказать, плоды упомянутого здесь собрания? Всем известно, депутат столь важного учреждения, яицкий сотник Падуров, не только не останавливал и не вразумлял бунтовщиков, а сам из первых передался самозванцу и ныне, по слухам, командует у него целым полком! Это ли не утешительный дар нашего первого опыта с русскими парламентами?

Екатерина, опять поднеся к носу табакерку, помолчала.

— Благодарю вас, князь Григорий Григорьевич, и вас, Григорий Александрович, — сказала она, обращаясь к Орлову и Потемкину. — Благодарю и всех вас, — взглянула она на остальных. — Никогда я не сомневалась в ваших чувствах и в вашей преданности отечеству и мне, но с столь важным делом, как предложение князя Григория Григорьевича, надо, как я полагаю и как убеждена, повременить.

— Но этот шаг прославит и вознесет ваше величество на неизмеримую высоту! — воскликнул князь Орлов. — Все препятствия гений ваш преодолеет, как всегда, и затмит...

— Александр Македонский, — ответила с улыбкой Екатерина, — укорял память своего отца, Филиппа, говоря, что его родитель так много прославился и столько совершил великого, что почти ничего не оставил для своего наследника. Не все же делать современникам, надо кое-что оставить на долю и своим преемникам, потомкам!

— Сама истина глаголет вашими устами! — произнес, склоняясь, князь Вяземский.

— Немало чести подготовить славные дела и для потомства! — прибавил канцлер Панин.

— Что же, повторяю, до выбора главного полномочного лица по укрощению бунта за Волгой, — сказала Екатерина, — то я, забыв личное неудовольствие, изберу и назначу достойнейшего, и князю Волконскому я на этот предмет напишу инструкции...

Далее Дуганов ничего не слышал. Мимо него в это мгновение незаметно скользнул по ковру и опять стал у порога возвратившийся араб. Заметив, что дверь в комнату совета приотворена, он плотно закрыл ее и по-прежнему неподвижно замер у ее косяка. Голоса за порогом разом стихли. Так прошло еще несколько минут. Дуганов, пораженный тем, что дошло до его слуха, сидел, не помня, где он и что с ним. В комнате совета снова раздался звук колокольчика. Араб вошел туда.

— Пожалуйте, вас просят, — сказал он, возвратясь, Дуганову.

Глеб вступил в комнату совета, сделал шаг от порога и, вытянувшись, стал неподвижно. Прямо перед ним была государыня. Справа за нею, близ окна, у особого столика, сидел тот, кого именовали секретарем и лицо которого теперь ясно было ему видно. Глеб взглянул на него и не верил своим глазам. У столика, перед зажженной свечой, сидел его недавний сожитель Галахов, с которым он простился только вчера. «Так вот твои тайные занятия у князя Орлова!» — подумал Глеб, в волнении ожидая, кто и что ему скажут теперь.

— Адъютант московского главнокомандующего? — спросила Екатерина.

— Поручик Дуганов, ваше величество, — ответил Орлов.

— Подойдите, господин поручик, и станьте ближе! — сказала императрица.

Глеб мерным, форменным шагом обошел стол и приблизился к креслу государыни.

— Вот письмо, господин Дуганов, — произнесла Екатерина, протягивая ему запечатанный пакет. — Отдайте его лично князю Михаилу Никитичу. Кланяйтесь ему и скажите, что я с особым удовольствием решила дело его родственницы. Вам, кажется, князем специально было поручено это дело?

— Точно так, ваше величество, — ответил Глеб.

— Очень рада, князю будет приятно ваше усердие... Счастливого пути! — сказала Екатерина, ласковой улыбкой и чуть заметным наклоном головы показывая Глебу, что он может удалиться.

Все глаза были, как чувствовал Глеб, обращены на него, когда он, повернувшись налево кругом, направился тем же мерным шагом к двери и скрылся за нею. Спрятав на грудь, под кафтан, пакет императрицы, он в сопровождении араба, не слыша под собою ног, прошел тем же рядом внутренних комнат до парадных сеней, оделся и вышел на крыльцо. Снег прекратился. Солнце ярко и весело светило, красиво золотя розовым отблеском крыши дворцовых зданий и опушенные серебристым инеем вершины садовых деревьев. Дуганов ничего этого не видел, не любовался ничем. От его глаз не отходила чудная улыбка, а в ушах раздавался нежный и ласковый голос императрицы. Не помня себя, на верху блаженства, он поспешил на постоялый, приказал подавать обед и послал за почтовыми лошадьми.

«А Спесивцев? Что с ним?» — вдруг пришло ему на мысль, когда он, наскоро закусив, узнал, что лошади поданы

уже. «В Гатчину! Надо видеть его, навестить! Это, кстати, почти и по дороге!» — сказал он себе и, выехав из Царского, приказал ямщику свернуть в Гатчину.

Доехав туда, он отыскал врача, лечившего Спесивцева, и узнал от него, что раненый, заботами князя, помещен в соседнем доме.

— Вон, через улицу, — указал врач в окно, — красная крыша и зеленые ставни.

— Могу ли я его видеть? — спросил Глеб. — Хотя на минуту; мы старые знакомые, и я еду надолго, далеко.

— Больной в беспамятстве, бредит, — сказал врач, — все равно не узнает вас, да и опасно тревожить его.

Глеб помолчал.

— Есть надежда на спасение? — спросил он.

Доктор поднял над головою палец.

— Там на небе все, разумеется, возможно, — сказал он, — а здесь, — доктор опустил палец к полу, — здесь могу сказать одно: рана такого рода, что ваш знакомый или даже, может быть, приятель вряд ли дотянет до весны.

Дуганов постоял еще с минуту перед доктором, молча пожал ему руку, поклонился и уехал, в смущении поглядывая на невысокий деревянный домишко с красной крышей и зелеными ставнями, где лежал, бредя, вероятно, о чем-либо счастливом и светлом из прожитого, приговоренный к печальному исходу Спесивцев.

«Да, судьба! — мыслил Глеб, выехав из Гатчины на московский почтовый тракт. — Но ведь такая же точно судьба могла постигнуть и меня!» И, невольно радуясь, что он во всяком случае был цел и невредим, что его грудь, сердце и все его крепкое, пышущее жизнью тело было здорово, Глеб плотнее уселся в кибитке, с головой укутался в теплую шубу и, изморенный суетой и тревогами последних тяжелых дней, крепко заснул. Почтовая тройка понеслась.

На третьи сутки безостановочной езды Дуганов благополучно возвратился в Москву.

Довольный успешным окончанием дела, главнокомандующий от души благодарил Глеба и, дав ему отдохнуть некоторое время, сказал, что приготовил для него другое важное поручение в один из уездов Московской губернии, где предстояло произвести следствие о подделке фальшивой монеты на фабрике богатого раскольника-купца Суслова. В этом же уезде были имения Корониной, присужденные государыней ко взятию в опеку. «Ты помог решению этого дела, — сказал князь, — ты же наблюдешь и за приведением его к концу».

Москва охватила Дуганова скукой и тоской. Осиротевший, пустой дом у Чистых прудов, где еще так недавно все было полно жизни, где царила женская, прямая предупредительность и раздавался смех и звонкий голос ребенка, были теперь для Глеба невыносим. Он обедал в клубе, домой едва заглядывал. Объездив коекого из знакомых, он написал короткие письма к матери и к брату, известив их, что едва кончил одну командировку, как пришлось ехать в другую, и сильно обрадовался, когда действительно, наконец, выехал с поручением князя из Москвы.

Следствие о подделке монеты Дуганов повел настойчиво и умело. Начались розыски и допросы на фабрике Сусловых и в уездном городе, где пало подозрение в подкупе и в укрывательстве виновных не только на полицию, но и на земский суд. Пришлось воевать с исправником и с весьма ловким и влиятельным уездным судьей, который, по слухам, был должен по горло заподозренному Суслову и потому особенно мирволил ему. Все это Глеб расследовал и разобрал, а в промежутках розысков составил опись имениям Корониной и сдал их в опеку. Кончив следствие, он написал князю рапорт с

требованием уличенного Суслова арестовать и доставить на суд не иначе как в Москву, вследствие того что местные власти относительно его не без греха.

При одном из последних допросов, собирая на фабрике сведения о прошлом и настоящем образе жизни и о родных вдруг разбогатевшего Суслова, он неожиданно услышал фамилию Прядышева, с которым Суслов оказывался в близком родстве.

Это имя кольнуло Глеба. Он вспомнил бегство Серафимы в Киев, свою поездку туда, переговоры с нею, а затем и собственный разлад с женой.

— Какой это Прядышев? — спросил он сусловского приказчика, стоявшего перед ним на допросе.

— Савва Ильич, — ответил свидетель.

— Разве он родня твоему хозяину?

— Свояки-с. Аграфена Марковна, супруга Саввы Ильича, выходит, двоюродная сестрица нашему Доримедонту Кузьмичу.

— Не от свояка ли Суслова в таком случае пошло и все состояние самого Прядышева? — спросил Глеб.

— Никак нет-с, ваше благородие, — ответил свидетель. — Тятенька Аграфены Марковны исстари был первостатейный московский купец, а они у него состояли единственной дочкой; и у ихнего тятеньки не токмо первый под Москвой исстари колокольный завод, а за Уралом еще богатейшие рудные прииски.

— Кстати, почтенный, — сказал, подумав, Дуганов, — у Прядышевых, помнится, был тоже единственный сын — не знаешь ли, что с ним и где он нынче?

Свидетель помолчал.

— Верно-с изволите говорить, есть сын, Федором звать, — ответил он, — и мы сами видали их вот еще каким махоньким, когда оттуда колокол брали сюда на собор... Не наша сторона хозяйские дела... А жаль...

— Что же именно?

— Свертели молодца гулянки да колобродства, и попал он родителю на искус, поставлен был в простые как есть чернорабочие, в молотобойцы... Этакого богача-магога сын и в такой черноте!

— Он и теперь на этой работе? — спросил Глеб.

— Мать увидела его, оборванного да в саже, в окно, возрыдала, сердечная, и заступилась; слышно, отослали его ноне зимой в дальнюю поправку, на ихние Куршавинские заводы, за Урал. Да что? Сильно, сказывают, огорчился малый вообще, запил там и в горести чуть рук на себя не наложил. Наши сильно жалеют его.

— Отчего же отец не держит его при себе?

— Видно, думка такая: исправится, мол, на дальней работе.

В конце великого поста Дуганов возвратился в Москву. Князь Волконский одобрил все его действия, Суслова вытребовал к себе и посадил в московский острог. Дуганов за успешное ведение следствия о подделке монеты был представлен к награде крестом.

— Твоя жена еще у родных? — спросил князь.

— Так точно.

— Где она? В Малороссии?

— Нет, на Волге, у брата.

— Не хочешь ли проехать туда?

Глеб промолчал.

— Постоянно, как знаешь, туда оказии теперь, — продолжал князь, не заметив смущения Глеба. — Недавно посланы гусары, а на днях отправляю пехоту и пушки... Ты мог бы проводить их до Казани, а оттуда завернул бы и к своим.

— Усерднейше благодарствую, ваше сиятельство, — ответил Дуганов, — но моя жена, как полагаю, вскоре выедет оттуда.

— Ну, как знаешь, любезный. Во всяком же случае, встретится нужда, просись — не откажу. Прием имений будет не ближе июня; тогда опять поедешь в уезд.

XIV

Близилась Пасха. В воздухе потемнело. Настало водополье.

Возобновив свои обычные занятия у князя, Дуганов не замечал, как текло время. Переписываясь иногда с матерью, он знал, что в Ракитном все благополучно. О Горках и их обитателях он старался не вспоминать. «Не пишут оттуда, стало быть, все хорошо! — с горечью думал он. — А не спрашивают, почему мы расстались, значит, жена не смеет признаться, что у нас вышло. Ну, и Господь с нею».

Вернувшаяся в Петербурге былая страсть к азартной бильярдной игре более не напоминала о себе Глебу. Все прошлое в нем, казалось, успокоилось, заснуло и как бы умерло. В доме у себя он уже не томился, проводя время здесь только в кабинете и в столовой. В спальню, уборную жены и детскую он более совсем не заглядывал, и двери туда были постоянно на замке. Портрет жены, висевший в гостиной и когда-то с такою любовью заказанный знаменитому живописцу Тишбейну, он покрыл кисеей и перенес в запертую на ключ уборную. Но все это наружное спокойствие далеко не соответствовало внутреннему состоянию. Нечто вроде раскаяния начинало сказываться в его душе. Прав ли он был в своем решении насчет жены? Не увлекся ли он ошибочным подозрением? И действительно ли была измена, или только совпадение улик, в сущности не доказывающих ничего? Неуверенность в правоте относительно разрыва с женой начинала тяготить его; ну, как она невинна ни в чем и он все это сделал в порыве раздражения, не имея на то права? Перед Пасхой Глеб получил письмо в

несколько строк от брата с поздравлением и извещением, что все живы и здоровы, что зима была студеная и что наступило тепло. На это он ответил столь же краткою отпиской, что, мол, также жив и здоров и что думает переменить службу. Он действительно написал в Петербург Орлову; ответа не приходило.

В конце вербной недели, на обычном утреннем приеме у главнокомандующего, Глеб получил от Волконского поручение — съездить к митрополиту и лично у него испросить указание и совет по одному духовному делу. Дуганов поехал, долго дожидался владыки, в то время служившего где-то в дальнем монастыре, а когда возвратился с нужными указаниями от митрополита, прием у князя уже кончился.

Дуганов прошел в кабинет князя, доложил ему справку, принял от него для передачи в канцелярию накопившиеся без него бумаги и откланялся. Проходя из кабинета князя опустевшими залами, он в стороне, в боковом коридоре, услышал странный шум, как бы спор. Заглянув туда, Глеб увидел растрепанную и лысую фигуру невысокого пожилого купца в долгополом кафтане и с медалью на шее, стоявшего перед княжеским слугой. Размахивая руками, купец о чем-то, с поклонами, просил; официант заграждал ему дорогу.

— Да вот их милость, господин адъютант, решат, — сказал официант, указывая просителю на Дуганова, — и как это можно беспокоить князя, когда объявлено более не принимать никого?

— В чем дело? — спросил, подходя, Дуганов.

Купец оглянулся. Дуганов узнал в нем Савву Ильича Прядышева, но в каком виде? Сытой, презрительной чванливости и дерзости, с которою он когда-то в Киеве, у цыган, обливал водою сына и стриг ему косу, не было и следа. Куда делись складки жирного подбородка, красный, плотный затылок и объемистый живот? Худые, костлявые плечи уныло торчали из-под широкого, точно чужого кафтана. Борода

была всклочена. Потускневшие глаза умоляюще и жалобно смотрели на Глеба.

— Ваше... ваше высокородие, — вскрикнул он, хватая Дуганова за руки и вдруг падая перед ним на колени, — спасите, не погубите.

— Что с вами, Савва Ильич? Успокойтесь! — произнес Глеб, поднимая его. — Вы, вероятно, о родственнике вашем, о Суслове, насчет монеты?

— Господь с ним, — ответил, отирая слезы, Прядышев. — Сусловы не подростки; коли не по вине угодил в острог, сами себя отстоят.

— В чем же ваше дело? — спросил Глеб. — Прием у князя действительно кончен; если у вас неотложная, важная нужда, скажите, я передам ему, он примет вас завтра.

— Поздно будет, поздно! — простонал Прядышев. — Коли милость князя, штафет бы или иное что, да не от всякого берут. Только вот нынче известил по почте.

— О ком говорите?

— Федор-то мой, Федя... что в Киеве, помните....

— Знаю; он, слышно, у вас за Уралом?

— Там-то окаянный, там, да спятил как есть с ума. Ох, матушки вы мои, ох, родные! — всхлипывая, бормотал Прядышев. — И кто ожидал экого божеского наказания? Прогневали мы Господа. Мать с горя захворала, померла; ныне срамит весь наш род...

— Да что сталось с вашим сыном? Сядьте, расскажите.

Глеб увел Пря́дышева в залу и усадил его на софе. Руки старика тряслись, губы силились что-то выговорить и не могли. Он беспомощно поник головой.

— Отступился окаянный, — проговорил он. — Извещают, задумал передаться злодею, Пугачу!.. Да что, барин, на, читай! — заключил Прядышев, вытаскивая из кармана и подавая Дуганову скомканный обрывок толстой синей бу-

маги. — Сорок дсн не прошло со смерти покойницы, а тут такая напасть.

Глеб стал читать письмо к Прядышеву его заводского приказчика. «А наш-от Федор Саввич, — выводил каракулями приказчик, — забыл Божеские заповеди и отцово наставление; как узнал о смерти родительницы, пуще запил, а в прошлую среду, супротив ночи, отбил замок в каморе, где, по приказу вашему, его хмельного держивали взаперти; тайно забрал пожитки, казну и соболью твою новую, данную ему на дорогу шубу, да с Апронькой, да с Борькой Кривым запряг лучших ездовых жеребцов и сбежал с завода. Сказывают, подался в горы, к демидовским да белорецким заводам, решил передаться оному окаянному ироду и злодею, самозванцу Пугачеву. Апронька, дьячий сын, с ним и остался, а кривой черт Борька вернулся ноне на заре, быдто в совесть пришел, а в тайности — сманивать остальных заводских, и мы его, изловимши, связали и держим взаперти. И сказывает Борька-паршивец, быдто Федор-то наш Саввич, забыв оные Господни заповеди, в точности поехал, неведомо для какой нужды, сиречь к тому окаяннику и злодею и повез ему казну да твою шубу и быдто тому отступнику все уже присягают и целуют руку, а сам ирод отошел намедни от Оренбурга к Магнитной и скоро-де объявится на заводах и в наших местах. Мы день и ночь, батюшка Савва Ильич, на сто́роже, рвы порыли и огородились рогатками; да ружей мало, пушчонка была одна, и ту намеднись — чаю, ведомо тебе, — о масленой, как салют в твою честь чинили, — разорвало на части. Просим, милостивец, о присылке защиты. Войска тут и в помине нетути. Ой, плохо нам, грешным, свет не мил. До дна, благодетель, дошли, гибнем вконец!»

— Что же вам нужно от князя? — спросил Дуганов, дочитав письмо.

— Хоть бы штафет в Курша́вино, на завод, пытался, не берут, — твердил, кланяясь, Прядышев, — грамотку бы к Федору, не одумается ли? Дай охрану или такой лист, не

токмо из своих кого послал бы, одно детище, — сам бы поехал туда.

Глеб прошел к князю. Волконский, уже в шлафроке и вместо парика в белом, с розовою лентой, колпаке сидел за чтением новых немецких газет. Дуганов доложил ему о просьбе Прядышева.

— Гони его, голубчик!.. С ума он сошел! — вскрикнул князь. — Сын дерзнул изменить, — не далеко, знать, ушел и его батюшка; под надзор его! Боже, Господи, что за дела! Взгляни, что печатают о нас берлинские газетиры! Мерзавцы! Недаром их сек на Унтер-ден-Линден Чернышев по взятии Берлина! Теперь публично заверяют, будто этот приговоренный к плетям каторжник, этот казак-воришка и впрямь... Да нет, что же это? Светопреставление!

Князь закрыл лицо руками. Глеб стал просить за старика Прядышева.

— Ну, ты прав, милый, прав! — одумался князь, бросая под стол газеты. — Этого сына, наверно, спьяна совратили, иначе как же?.. Ведь я, помню, своими глазами видел его у Архаровых, Мелецких — смирный такой, менуэты отплясывал... Ступай, Глеб Андреич, устрой там, что можно, для отца.

Дня через три Прядышеву, за скрепой главнокомандующего, выдали охранный лист и письмо к казанскому губернатору фон Брандту. Савва Ильич решил ехать за Урал лично. Собравшись и распорядившись по заводу, он засунул за пазуху изрядный сверток денег, отслужил напутственный молебен, сел в пошевни с теми же двумя здоровенными литейщиками, с которыми год назад ездил в Киев, и завернул проститься на Чистые пруды.

— В опасный путь пускаетесь, — сказал ему Дуганов. — Что ни день, какие известия! Пугачев усиливается... все Зауралье в восстании...

— Бог милостив, доеду, сына спасу.

В Казани Прядышева нагнала эстафета московской его конторы. Он вскрыл ее, прочел и упал без чувств. Контора извещала его, что сын, как стало ныне известно, окончательно бежал к самозванцу, с жалобой на родителя за захват будто бы материнских заводов и других имений. «Господь взял жену, — подумал, придя в себя, Прядышев, — надо ехать, охранить хоть завод, горное начальство просить; а Федьке, каторжному искариоту, вспомянется, видно, на том свете и тут!..»

Губернатор, однако, остановил его. К Уральским горам уже не было свободного проезда. Пугачев, грабя и выжигая все по пути, близился лесами по сю сторону гор.

Настала пасхальная неделя. Москва, несмотря на слухи о Пугачеве, веселилась. Главнокомандующий в раззолоченной голубой коляске выехал с племянницами под качели, на Девичье поле. Увидев здесь среди гуляющих Дуганова, он подозвал его к себе. Глеб протискался мимо знакомых и незнакомых, толпившихся вокруг князя, и подошел к нему.

— Ну, что, довольны в народе нашею нынешнею публикацией? — спросил Волконский, нагнувшись к Глебу из коляски, стоявшей в это время против балагана, где на балконе кувыркались и смешили зрителей акробаты.

— Еще бы, ваше сиятельство, — ответил Дуганов, — только и слышно, прославляют новую славную победу Михельсона над злодеем.

— Да! Разбит под Магнитною, притом как счастливо! — улыбнулся князь, обратясь к племянницам. — Избавил Господь! Исчез, рассеян без следа. Ну, да вам это не любопытно... Брамбилла и арлекины у вас в голове.

— Mon oncle! Можно ли! Разве мы не патриотки? — обиделась старшая из племянниц, лорнируя публику, теснившуюся перед балаганом, где акробатов сменили Пьеро и Коломбина.

— Так иди же, голубчик, — обратился князь к Дуганову, — всем говори: злодея, мол, гоним, скоро и вконец его истребим. А тебе с Фоминой в отъезд; барыня известила, будет в имении к концу Пасхи, она желает быть при их сдаче.

Коляска главнокомандующего двинулась далее. Дуганов снова зашел за канат, ограждавший пеших от экипажей; но, едва он вмешался в толпу, кто-то, следивший за ним глазами, пока он говорил с князем, тронул его за плечо. Глеб обернулся. Перед ним стоял высокий и тощий, с впалыми, бледными щеками морской офицер в отставном мундире.

— Извините, — сказал, касаясь шляпы, моряк, — вы состоите при князе?

— Так точно.

— Дуганов?

— К вашим услугам.

Незнакомец сильно закашлялся.

— Отойдем к стороне, здесь так тесно, — сказал он. — У меня к вам личное дело. Вчера, как приехал, я был у князя на дежурстве, но прием по поводу праздников был отменен.

Глеб и моряк вышли из толпы.

XV

— В Петербурге, — продолжал моряк, — то есть под Гатчиной, минувшей зимой, если помните, была охота... и я находился там...

— Охота, действительно, была, — ответил Дуганов, — но, извините, вас я не помню.

— Да, мы не виделись, — продолжал моряк, — я был с другим, с доктором. Спесивцева изволите знать?

— Знаю... Он ранен там, — ответил Глеб.

Моряк промолчал.

— Жив он? — спросил Дуганов.

— Жив-то еще жив, только вот что, — ответил, сдерживая порывы кашля, моряк, — я, видите ли, мало его знаю, но пришлось тогда спать в одной комнате... Уезжая на охоту, он разбудил меня и оставил мне записку, я спросонья сунул ее куда-то и о ней совсем позабыл. Охоту проспал. О ране доктора услышал уже в Гатчине, когда все туда возвратились, да не до того было самому: слуга в суете, видно, не притворил как следует двери или охватило от плохо вставленного окна, только кашель усилился, пошла кровь горлом, ну, и все, как следует, — очутился в госпитале. Да уже там сунул руку в карман шинели, вижу, письмо и на нем надпись — Дуганову. Какой такой, извините, Дуганов? Насилу вспомнил и то, кто и когда дал мне это письмо. Хотел обратиться к тому доктору, стал о нем расспрашивать, говорят, его уже нет...

— Где же он?

— Чахотка, что ли, развилась у него от раны в груди или вообще плохо стало, только тот больной богач, Тарбеев, у которого он жил, взял его и увез с собой в чужие края.

— Что же с ним теперь?

— А Господь его знает... Должно, помер! Рана в это самое место, навылет, — показал моряк на свою тощую впалую грудь, — тут, батюшка, запоешь поневоле...

Он снова закашлялся.

— Как же вы узнали обо мне?

— Думаю, доктор умер, а в письме-то, пожалуй, что-нибудь важное. Друг он вам.

— Да, мы были знакомы...

— Ну, перед выходом из госпиталя я и написал в Гатчину, к управляющему князя Орлова: кто, мол, такой Дуганов, что был тогда на охоте? Он и ответил. Меня посылают в Киев, на поправку, к отцу; думаю, буду ехать через Москву и лично отдам. Вчера вас не нашел, а сегодня — тепло, прелесть, не утерпел взглянуть на гулянье — Бог и привел. Сейчас съезжу за письмом... Где живете?

— Очень вам благодарен, — ответил Глеб, — но зачем же вам беспокоиться? Я и сам к вам заеду завтра, на днях.

— О, нет, если уже вы сами, так едем теперь. Я завтра уже в Киев, нашел и попутчика... И что, представьте, странно — я совсем здоров, — добавил моряк, закашливаясь до синевы лица. — Иногда вот только еще першит; а доктора уверяют Бог знает что.

Глеб отыскал свою лошадь и поехал с моряком. Дрожки остановились в переулке за Сухаревой башней. Войдя по черной, узкой лестнице на антресоли закоптелого деревянного дома, стоявшего в глубине двора, наполненного извозчиками, неразгруженными возами и всяким хламом, моряк отворил низенькую дверь и вошел в душную, крошечную комнату.

— Это я у того попутчика, что договорились до Киева, — сказал он, в одышке опускаясь на стул. — Блаженный край, солнце, зелень, молоко... Ребенком бегал там... Ну и, признаться, невеста... Это уже родитель приготовил. Вы сами, извините, женаты?

— Да, я семейный человек.

— Великое счастье и нет выше его! — произнес, надрываясь от кашля, моряк. — Однако что же я это балясы точу?

Он пересилил себя, вытащил из-под кровати чемодан, достал из него сверток бумаг и, порывшись в нем, подал Глебу смятое, с полусломанной печатью письмо.

— Извините, — сказал он, — долго везде таскал его, ну и примарал.

Глеб узнал руку Спесивцева. Поблагодарив моряка и пожелав ему счастливого пути и скорого выздоровления, он вышел за ворота, сел на дрожки, вскрыл письмо и прочел следующее: «Вы меня вызвали на поединок, — писал Спесивцев, — так тому и быть; я принял ваш необычный вызов. Через час, через два раздадутся два выстрела, и одного из нас, как надо полагать, не станет на свете. Оставить безумное решение, образумить вас — я не в силах, да и к чему?

Избранный вами способ и предлог к этой разделке останутся тайной для всех. Если погибнуть суждено вам, клянусь в эту минуту, я всю жизнь буду о том жалеть. Шевельнется ли, однако, в вас сожаление, если погибну я, не думаю. Но есть еще одно существо — ваша жена. Слышал я и скорбел — вы с нею разошлись. Зная вас, думаю, что этот разрыв не шуточный; вы порвали душевные связи навсегда. Но правы ли вы? Становясь под вашу пулю, рискуя с рассветом умереть, я решил не себя оправдывать, а сказать вам: вы преступник перед вашей женой. Да, да! И вы это узнаете, если я не останусь в живых и не возьму обратно у случайного своего соседа этих своих строк. Жертва недостойной ревности либо злонамеренной клеветы, вы не задумались бросить и тем заклеймить перед светом любящее, безгранично вам преданное существо. Знайте же, злой, ослепленный ревнивец: ваша жена, клянусь, неповинна перед вами. Она достойна одного — глубокого, безмерного вашего уважения. За нее некому отомстить. Ваш вызов принимаю как возмездие вам. И если *мне* суждена смерть, охотно прощаю вас, моего убийцу. За меня, правого перед вами, и за вашу неповинную перед вами жену воздаст вам ваша совесть! Клянусь, говорю в этот миг святую истину. *З. Спес-в*».

«Да что же это такое? — мысленно воскликнул Дуганов, дочитав письмо. — Или новый обман? Нет, он писал это, готовясь умереть. Но ее письма к нему? В них говорилось другое... Там прямо, бесповоротно сказаны страшные, позорные слова...» Рой мучительных сомнений с новою силою поднялся в душе Глеба, терзал и жег его. Он понукал кучера, глядя на прохожих, на вывески и дома, и не узнавал, где он едет.

Очутившись у своего крыльца, Глеб быстро прошел в сени, в кабинет, открыл потайной ящик рабочего стола, где лежала пачка, угрозой когда-то вытребованных у Спесивцева, писем Мари. Он, задыхаясь от волнения, дрожащими руками сорвал ленточку, которою они были связаны, сел к окну и снова стал их читать. Прочел одно, другое и отшатнулся на

спинку кресла. Комната заходила в его глазах. Он опять стал перечитывать письма и не узнавал их. То, что когда-то, под влиянием подозрений, казалось постыдною изменой, преступлением, теперь являлось в другом виде; что тогда раздражало, мучило и жгло его, было теперь так просто и так объяснимо. Любящая мать молила доктора, в которого верила, о спасении сына; подразумевая мужа, выражалась этому доктору «наш сын», то есть сын ее и мужа. Где же тут измена, где явные, проклятые улики, где оправдание жестокой семейной беды?

«О, я, безумный, злой слепец!» — воскликнул Дуганов, хватаясь за голову. Он рвал на себе волосы, глядел на письма и силился сообразить, что именно в те безобразные, тяжелые минуты произошло между ним и его женой. Забытая сцена вспоминалась ему до мелочей. «Ты хочешь знать, злой человек, — сказала тогда Мари, — виновата ли я? Изволь, узнай... Ты сам это сказал!» Глеб вскочил с кресла, стал ходить по комнате. «Ясно, ясно, — повторял он себе, — это она, огорченная, несправедливо обиженная, так говорила от отчаяния, в отместку! О, все теперь понятно — и мое нравственное перед нею ничтожество, и ее душевная непорочность и чистота! Как теперь поправить дело? Как воротить потерянное счастье? Простит ли она?»

Глеб прошел ряд комнат и повернул ключ в дверях уборной. Ключ звонко щелкнул в тишине. Глеб вошел в уборную, поднял опущенную оконную штору, сдернул кисею с портрета жены и сел перед ним. Заходящее солнце золотило миловидное лицо с розой в светло-пепельных волосах. Большие голубые глаза приветливо и ласково смотрели с этого портрета. Глеб не помнил, где он и что с ним. Радостные, горячие слезы текли по его лицу... «Она великодушнее, чище меня, — говорил он себе. — Она все забудет, все простит! Злой я, сухой, это правда, и не стою этой дивной, бесконечной доброты... Но если все забудется, Боже, как я буду снова лелеять ее и любить!»

В начале апреля Травкин рано утром приехал в Горки. Торопливо осведомясь в прихожей, где господа, и узнав, что все были внизу, за чаем, он, не снимая верхнего платья, быстро прошел туда и в волнении замер на пороге. Все с изумлением взглянули на него.

— Ура! — крикнул он, не помня себя и от радости размахивая шляпой. — Ура!

— Да говорите, что́ такое? — спросили его.

— Ура! Пугачев разбит, — кричал и махал шляпой Травкин, — поздравляю, Оренбург спасен от осады... Спасены и мы все!

Крики общего восторга встретили эту радостную весть. Все бросились обнимать и целовать ликующего старика.

— Кто сообщил? Где узнали? Да говорите же скорее! — приставали к нему и тормошили его.

— Дайте отдохнуть, уф! — ответил он, опускаясь в изнеможении на стул и обмахиваясь платком. — Верхом прискакал... Одно верно и точно: злодей разбит и бежал в самый день Благовещения... Вот уж именно благая весть — праздник из праздников, чудо!

— Да откуда же, не мучьте, вы это узнали?

— Из Саратова, родные мои, из города, становой нынче, чуть рассвело, промчался мимо меня; встретились мы с ним под садом, у мельницы, — сукновальню это я пустил, — он все и объяснил... К губернатору вчера утром гонец прискакал из Оренбурга... Ох, не могу, соколики, дух замирает, дайте отдохнуть... А ведь Сергей-то ваш, — обратился Сила Фомич к Алексею, — раньше пронюхал; говорю моим на мельнице, а они — знаем, мол, вчера еще Сережка дугановский сказывал: не устояли казаки, за горы ушли.

— Как Сергей? Да разве он возвратился? — с удивлением спросили Алексей и Мари.

Травкин недоумевающим взглядом окинул присутствующих.

— Но разве вы не знаете? — произнес он. — Сергей, возвращаясь из Свиблова, шел вчера вечером от Саратова

пеший, притомился и отдыхал у нас на сукновальне... Да неужели его еще нет?

Послали справиться. Оказалось, что Сергей возвратился еще к ночи, но ждал у ключника, пока господа кончат чай.

— Сюда его, сюда! — приказали хозяева.

Сергей вошел, низко всем поклонился и подал Мари письмо. При взгляде на его огрубелое, обросшее бородой лицо и на потертый дорожный зипун трудно было узнать его. Он походил теперь скорее на рыбака или хлебного ключника, чем на недавнего столичного слугу, и держался тоже не по-прежнему, а как-то понуро и мужицки тупо. «От болезни», — подумала, взглянув на него, Мари.

— Что тетушка? — спросила она, прочитав поданное ей письмо.

— Здоровы-с, кланяются вам, сударыня, и всем и просят к себе.

— Где же ты так долго пропадал? — спросил, вглядываясь в него, Алексей.

— Еще бы, судьба-с! Всю зиму почитай хворый пролежал на печи, — ответил Сергей, не поднимая глаз. — Ознобился, полагать надо; думал — пришел смертный час.

Он, заложа руки за спину, тихо вздохнул.

— Расскажи-ка, милый, — обратился к нему Травкин, — как это ты, говорят, слышал насчет самозванца? Ведь его разбили? Правда, ведь прогнали Пугачева? Он бежал?

Сергей молча глянул на господ.

— Это точно-с, в Саратове на постоялом у Давыдыча и на базаре сказывали, — ответил он, переступив с ноги на ногу, — будто он и все казачество отступили... А в Свиблово тоже правда-с приходили с Белой мужички; ну, они толковали вовсе иное... Жить — Богу служить... а кто велий-с яко Бог?

— Ну, оставь поговорки; что же именно они говорили? — спросил, впиваясь глазами в слугу, Травкин.

Сергей посмотрел на свои сапоги.

— Разное слышно, а главное, будто у него уже сто двадцать тысяч войска и сто пушек.

— Ну, и что же из того? — спросил, привскочив, Травкин. — И все-таки его разбили!

— Разное толкуют, — загадочно ответил Сергей, — друг по друге-с, а Бог, значит, по всех.

— Иди себе, иди, отдыхай, — сказала Мари.

— Да эту бороду свою соскобли, — прибавил Алексей.

Сергей пошел, но остановился у порога.

— Монашка тоже один сказывал, — прибавил он, — будто его, Пугачева-то, и пули не берут, ружья в него не стреляют... Без Бога-то, видно, и червяк сгложет...

— Да уходи же, полно пустяки-то болтать, — с сердцем крикнул Алексей, — вот дуралей, наслушался вранья.

Сергей вышел. Все некоторое время по уходе его молчали.

XVI

— А что, господа? — произнес Травкин. — Ведь мы главное забыли... Не послать ли за отцом Василием, да не отслужить ли благодарственный молебен?

— И правда! Именно! — отозвались все.

Дали знать священнику. Он послал звонить и отпер церковь. Все радостно и торжественно направились туда. Молча подошли молельщики и из деревни. Алексей объявил всем радостную весть и после молебна, подозвав старосту, приказал все село на три дня избавить от работ. К вечеру и на другой день стали съезжаться соседи. Все толковали о счастливом событии, передавали много подробностей и пророчили близкий конец бунту и смутам. Время катилось незаметно. А тут, кстати, настали теплые, ясные, безоблачные дни. Весна вдруг разыгралась со всеми своими прелестями.

Мари, получив письмо от тетки, думала было через день-два укладываться и ехать в Свиблово. Убеждаемая хозяевами

Горок, она решила, однако, остаться еще на время в Горках. Серафима и Алексей еще с осени предполагали совершить поездку к крестной матери Серафимы, к Варваре Ивановне Туровцовой, в ее поместье под Казанью Красный Кут. Туровцова в каждом письме напоминала об их обещании. Ввиду прибытия Мари они решили навестить ее с детьми ко дню ее рождения, в начале июля. «Мы отправимся в Красный Кут, — убеждала Серафима Мари, — тогда и ты съездишь в Свиблово; а теперь погости еще, дорогая, пробудь с нами». Мари согласилась. Да ей, кстати, было здесь так хорошо. Погода стояла превосходная. Всюду начинала проявляться зелень, и луговины запестрели цветами. Еще не покрывшийся листьями сад наполнился птицами. Толкаясь между оголенных ветвей жимолости и сирени, скворцы, малиновки, серые и черные дрозды вили гнезда в незримых затишьях. Звонкою свирелью отзывалась зелено-желтая иволга, взлетая и ныряя между зацветавших яблонь и груш. По мшистой, корявой березе, отыскивая оживших червей, прыгал и долбил носом дятел, то складывая, то распуская веером свой хохолок. С вершины могучего, еще безлистого дуба на все садовые заросли и тайники куковала кукушка, и с утра до ночи в нижнем, а частью и в верхнем саду гремели соловьи.

— Ах, Серафимочка, как у вас здесь хорошо! — вскрикивала Мари, вслушиваясь в эти свисты и крики. — Хорошо и в Ракитном; но там степь, мало воды, а здесь эта Волга...

Накинув на голову косынку, Мари, без мантильи, выходила с Серафимой на просохшие аллеи верхнего сада и спускалась по убитой щебнем дорожке к обрыву над рекой.

— Смотри, какая прелесть! — указывала она на синие подснежники и желтые одуванчики, выглядывавшие из-под старых листьев и мха. — Вот восторг... А воздух... так и опьяняет, а этот вид отсюда... Волга, бегущие суда...

Присев на дерновую скамью, Мари по часам любовалась широким разливом Волги, подошедшей к Горкам и далеко затопившей противоположные синеющие берега.

— Что это? — спрашивала она, указывая Серафиме чуть видные точки за рекой.

— Прямо — рыбацкая слободка, — отвечала Серафима, — вправо — видишь маковку церкви? — то на холме монастырь.

— А это будто лес или горы?

Серафима объясняла. Мари едва слушала.

Ее мысли носились далеко.

«Все обняла и все потопила могучая река, — думала она, — нет другим места, одна она. Но пригреет солнце, воды спадут, обсохнут берега... Горе людское злее; оно неукротимо, топит все на пути и не отступает...» Вспомнилось Мари недавнее прошлое, жизнь в Ракитном, ожидание мужа, встреча с ним, возврат из Ракитного и тихая, радостная жизнь в Москве. Где же все это теперь? Откуда взялся страшный и грозный поток и куда он унес все эти радости, все счастье? «О, этому горю, одиночеству не будет конца! — мыслила она. Счастье, как молодость, приходит раз в жизни и больше не повторяется».

— О чем думаешь? — спрашивала ее в такие минуты Серафима.

— Так, вспомнила, что давно пора ехать в Свиблово... Да вот кончится половодье, просохнут дороги, тогда и в путь.

— Полно, Машенька, выкинь эти мысли из головы, оставайся у нас, июнь не за горами... Тогда разом и уедем.

— Ах, дорогие мои, не то, — отвечала Мари, утирая катившиеся слезы, — не то в мыслях... Прав был великий писатель, из которого читал Сила Фомич, — нет полного счастья на земле, оно только поманит и скроется; ищешь его и видишь — оно уже не здесь, а в загробной жизни, в небесах.

— Да полно отчаиваться, — утешала ее Серафима. — Всякому горю бывает конец... Посуди сама, ты молода, безупречна. То, что совершилось, — какой-то странный, невероятный сон.

— Нет, нет, оставь меня, ни слова! — отвечала Мари. — Донесу крест до гроба, а счастья не воротить.

В такие минуты Серафима смолкала и незаметно оставляла Мари.

«Пусть выплачет подступившие слезы», — думала она, возвращаясь в дом. Проходил час-другой. У балкона мелькала кисейная косынка. Мари медленно всходила на крыльцо. Вскоре из раскрытого в сад окна ее комнаты доносились звуки клавикордов. Тихая и нежная мелодия народной итальянской канцонетты переходила в бурную фугу Баха и завершалась страстною, точно плачущею, серенадой Моцарта.

— Старается успокоиться, бедная! — говорила Серафима мужу, указывая на комнату Мари. — Уж я ей и то, и другое, толкует одно — горе мое без конца! Не ожидала я и от Глеба... Ты знаешь их размолвку; ведь чистые пустяки; как молчать столько времени? Не говорю о нас, о жене, хоть бы о ребенке ласково вспомнил... Написал два раза по пяти строк, да и то — словно на казенный запрос ответил.

— Да, он упорен и не по летам суров, — ответил, почему-то краснея, Алексей. — Бывают такие натуры. И это не зло и не черствость души; скорее чрезмерное самолюбие, мнительность.

Серафима нежно, с любовью, слушала мнение этого огромного, со всклоченною головой человека, близорукими глазами смущенно глядевшего в это время в раскрытую перед ним книгу, и думала: «Так, милый, добрый, так! Ты великодушно, честно простил когда-то меня... Все ли способны быть такими возвышенными и прощающими, как ты?»

Сад окончательно зазеленел. Старые липовые и березовые аллеи стемнели. Мари брала зонтик и книгу и уходила на любимую лужайку, над спуском в нижний сад; здесь она ежедневно сидела, читая и любуясь выходившими из воды полянами и холмами заречной луговой стороны. Там теперь ясно виднелись очертания пристаней, оврагов и лесов. Серебристо-голубыми лентами между лугов извивались еще полные весенних вод ручьи и озера. У берега и по окрестным

холмам паслись стада. Серые дымки, пророча долгое вёдро, медленно поднимались над чуть видными поселками. С плывущих на Волге барок доносились песни и крики рабочих, сплавлявших лес и хлеб на низ.

Однажды Мари, кончив чтение, с книгой под мышкой медленно возвращалась по саду домой. Вечерело. В росистом, теплом воздухе пахло отцветавшей в то время сиренью. Соловьи перекликались со всех сторон. Один из них, в конце верхнего сада, пел особенно восхитительно. Мари, остановясь, послушала его и решила подойти к нему ближе. Она осторожным шагом миновала одну дорожку, другую. Плодовый сад сменился рощей диких деревьев, растущих на его краю. Пройдя по мосту через ручей, отделявший сад от рощи, Мари взяла вправо и очутилась у остатков ветхой изгороди, окружавшей поляну, где когда-то стоял пчельник. Это место теперь было заброшено и заросло кустами, крапивой и лопухом. Дорога от моста в рощу шла левее. Соловей, так чудно гремевший здесь где-то за минуту назад, смолк, очевидно, перелетев в другое место. Мари остановилась, глядя на этот дикий, пустынный угол, и невольно вздрогнула. В гущине кустов, за изгородью, ей послышался странный шорох, как бы кто-нибудь рыл и тихо отбрасывал землю. Мари замерла. «Верно, собака роется за кротом, — подумала она, слушая, — а что, если не собака, а волк? Здесь, может быть, его нора...» Она уже хотела опрометью бежать обратно, как явственно расслышала вздох и чьи-то слова. Она обошла кусты, за которыми слышался шорох, и увидела белую шапку и худые плечи кого-то, согнувшегося у изгороди над травой. Мари узнала старого кучера Корнея, давно жившего при горецкой усадьбе на покое. Возле него, кроясь за кустом, стояла седая, сгорбленная старуха. Двинувшись к изгороди, Мари в этой старухе узнала хворавшую в течение всей зимы, тоже отставную, птичницу Дарью, жену Корнея. Она ласково окликнула их.

— Что вы это копаете? — спросила Мари, подходя к ним.

— Ой, как вы, барыня матушка, испугали нас, — ответила Дарья, крестясь и опуская какой-то узел в траву.

Корней, сняв шапку, смущенно почесывал в бороде.

— Зелье какое или грибы? — спросила Мари.

— Какое зелье! А грибам время ли? — ответил Корней. — Не выдай, матушка сударыня, добро свое закапываем.

— Зачем?

— Как зачем, барыня ты наша хорошая? Антихрист народился; сколько губит, калечит и грабит неповинных душ! Был в оны годы, сказывают, сто лет назад, в тутошних местах душегуб-разбойник, Стенька Разин, тоже всех истязал. Да ведь на то он и был разбойник, бурлак, по-разбойничьи и жил. А ведь этот, спаси, Господи, и помилуй, эко дело затеял, царское имя на себя взял... не попросту жить хочет. Ему все мало, все подай.

— Что же, Корней, его бояться? Слышно, его уже разбили, прогнали за горы, за Урал.

— Не разобьют такого, болезная, и не прогонят, — ответил, покачав головою, Корней. — Он по всему царству тайно ходил, все разведывал; белый да черный порох делал... Черный бы еще ничего, у солдат есть, а белый, сказывают, тайно палит, а огня не дает.

Мари улыбнулась.

— Не смейтесь, барыня, — укоризненно сказал Корней, глянув на Дарью. — В него и пушки не стреляют; это наведут на него, фитиль к затравке приложат, а бонба хоть вылетит, да к ногам, как яичко, и прикатится!

— Полно, Корней, это все глупые россказни, нарочно сбивают народ.

— Не нарочно... Не токмо мы, рабы, многие господа и попы уже признали его, крест ему целуют, а на ектениях не царицу нашу, Катерину Ликсевну, а уже супружницу его, какую-то, прости, Господи, Устинью поминают.

— Откуда ты все это знаешь? — удивилась Мари.

Корней опять глянул на Дарью; та сердито отвернулась.

— Как не знать? Оно точно, мы тут сидим, как в норе, — ответил старик, — а спросите хоть Сергея; он был в людях и наслышался. И сказывает всем тот Пугач: разорю и покорю — не токмо Яик и Каму, всю Волгу; пойду к Москве, как глава к главе, и все ко главе моей преклонятся и мне присягнут. Ох, матушка, явится злодей, антихрист и в наших местах... Как не бояться и не хоронить добра? Только ты-то, барыня, никому не сказывай.

— Не губи, милостивая, — обратилась к Мари и Дарья, кланяясь ей в пояс, — всяко бывает; хорони до случного часа свои пожитки, добро.

XVII

Задумалась Марья Родионовна над тем, что увидела и услышала, и до времени решила об этом помолчать. А дня через два увидела, что и другие слуги в сумерки, тайком уходили с узлами в рощу и на деревню, с целью, очевидно, припрятать более ценные вещи. Приметила она, наконец, что и Сысоевна, долго засидевшись за чаем в каморке ключницы, придя от нее, стала как-то особенно внимательно копаться в хламе своего дорожного сундука. Она отбирала и откладывала из него в особый сверток разные вещи: два шерстяных праздничных цветных платка, шелковое платье, свадебный подарок матери Глеба, парадный кисейный чепец с оборками и бархатною лентой, мешочек ладану, которым она любила в праздники курить, и складной походный образок.

— Что это, няня, ты делаешь? — спросила Мари, входя в детскую.

Сысоевна тяжело вздохнула и, продолжая копаться, ничего не ответила.

— Разве и ты собираешься что прятать? — спросила Мари.

Старуха обернулась.

— А ты, матушка, думаешь, — сердито ответила она, — что так-то им, извергам, и оставлять напоказ все наши похоронки, как сюда налетят?

— Да неужели, няня, ты думаешь, что злодеи могут явиться и в эти места? Такая, во-первых, даль, а они бежали еще за семьсот верст от Оренбурга, в Башкирию, и во-вторых, чтобы добраться сюда, им надо вновь пройти мимо крепостей, где уже их разбили и куда посланы новые войска.

— Эх, матушка, птенчик ты молодой, — ответила старуха, прикрыв сундук и присев на него, — тутошние старики не то говорят; есть промеж их вон какие древние, хоть бы Роман Сухоня или охотника Пармена дед, по сту лет и более живут. Они царя Первого Петра видели и помнят, а от отцов-дедов слышали о Разине. Тот, сказывают, летал понизу, как черный ворон, падалью не брезгал; этот же летает высоко, как орел. Тот грабил барки да купцов, по-мужицки жил; этот норовит на царство сесть. Ты пойми, матушка: с чего ему, царю-то мужику, надо было начать? — спросила Сысоевна, понизив голос и оглядываясь. — Рассуди сама... Он объявил черни, всем мужикам — не быть за помещиками, не быть за монастырями, дворцами и казной, а всем стать вольными. А черни того и надо. Стали убивать старост, приказчиков, а ныне, прости, Боже, и господ!..

— И... няня! Бывают тяжкие времена, да милостив Бог... Будем молиться; бунт, слышно, совсем затих. Воевода на днях самому Алексею Андреичу сказал: нечего мол, более бояться, от злодеев не осталось и следа.

— Дай-то, Господи, — раздумчиво крестясь и опять раскрывая сундук, сказала старуха, — а я все-таки подарки твои и твоей свекрови от тех убивцев схороню, где знаю... Да и тебе советую, не ровен час, припрятать, что подороже, — алмазные серьги — зачем их носишь по всяк день? Колечки, зеньчуг да хоть и Васенькин, от бабушки, золотой с бирюзами крестик. Хоть и ехать нам в Свиблово, на дороге могут отнять.

Мари задумалась от этих слов.

— Где же тут спрятать? — спросила она.

— Отдай отцу Василию; он Богу служит, его не тронут, в церковной ограде, полагать надо, и для душегуба свят человек.

— Ох, няня, так ли это? Впрочем, подумаю, — ответила Мари.

Вспомнив о Сергее, она выбрала минуту и решила расспросить его подробнее. Но на все ее вопросы сбривший бороду и по-прежнему служивший в доме Сергей отвечал одно: «Что нам, сударыня, знать! Мы люди темные, темных и слушали... Мало ли что толкуют!» Так Мари и не добилась от него никаких разъяснений. Но как она ни была убеждена в том, что никакие опасности в то время более не грозили Поволжью вообще, а Горкам в особенности, однако перед отъездом в Свиблово некоторые свои ценные вещи оставила на хранение отцу Василию.

Выезд хозяев в Красный Кут, а гостьи в Свиблово назначался и отменялся несколько раз подряд. Все уже оказывалось вынесенным и уложенным; слуги ждали, и запряженные экипажи стояли у крыльца, но вдруг являлась какая-нибудь нежданная преграда — не удавались пирожки на дорогу, вовремя не просохло и не было как следует выглажено все белье дам и детей или кто-либо из множества слуг на прощанье оказывался до того пьян, что боялись обронить его на пути, — и опять лошади отпрягались, путники, уже одетые, снова входили в комнаты, и отъезд отлагался. Наконец выбрали самый удобный день — не понедельник, не среду и не пятницу, но вторник — и решили, уже без всякой отмены, пуститься в дорогу в этот день.

Путников, по обычаю, собрались провожать многие соседи. Весь двор в Горках с утра наполнился экипажами. Ранее всех, разумеется, явился Травкин с своим племянником Борей. Приехал и Лаптев с дочерьми и скрипкой. Отслу-

жили напутственный молебен. После завтрака, когда экипажи стояли у крыльца и слуги сносили в них последние укладки, ящики, свертки и узлы, Мари присела за клавикорды, а Серафима под ее игру спела арию из «Антигоны: «Вперед, проводник, вперед!» Сила Фомич схватил из передней привезенный им футляр с виолончелью, Лаптев принес скрипку, Борис взял флейту, и проводы завершились квинтетом Боккерини.

Алексей приказал подать венгерского, налил бокалы и сам их разнес. Все пили, желая отъезжающим счастливого пути и скорого, благополучного возвращения. Пили также за находившихся в Ракитном, Красном Куте и Свиблове. Алексей вспомнил о Москве и предложил выпить за здоровье Глеба. Он взглянул на Мари: у нее слезы стояли в глазах.

— А ну, Сила Фомич, веселенькую! — обратился он к Травкину, указав ему на Мари.

Старик не заставил долго ждать себя. Он подошел к крестнику, оправил на нем коричневый шерстяной камзольчик, откинул ему кудри за уши, шепнул: «Ну, Боря, не осрамись... «Варварушка!» — и, шевеля плечами и подмигивая ему и своей вторе, Лаптеву, стал пиликать на виолончели нечто веселое и подхватывающее. Боря уставил руки фертом в бока, вытянулся, сделал несколько тихих и плавных движений, живо метнул в воздух одною ногою, потом другою, поднес флейту к губам, проиграл на ней ответную трель и, взявшись снова под бока, ухарски взглянул на дядю. Согнувшийся над пузатою виолончелью, Травкин быстрее задвигал смычком по струнам и, продолжая шевелить плечами, отвернулся в сторону. В комнате послышался звук приятного, нежного, хотя несколько дрожавшего баритона. Мари с удивлением, оглянулась, не зная, чей это голос. Пел старик Травкин...

Сударушка, Варварушка,
Не гневайся на меня,
Что я не был у тебя...

Боря под это пение зачастил ногами, пронесся волчком в один конец комнаты, потом в другой и в самом разгаре музыки, вновь замирая на месте, взглядывал на дядю и ждал. А дядя, еще ниже сгибаясь над виолончелью и подмигивая не только Боре и Лаптеву, но и всем остальным, подхватывал:

Сударь, барин, приходи,
Подарочки приноси —
Подарочек не простой,
Перстенечек золотой.

— Браво, браво! — раздались восторженные возгласы, когда Боря кончил.

Из коридора и прихожей выглядывали радостные лица слуг, шептавших: «Ай да молодец барчонок! Вот так отхватал Варварушку!»

— Да какой же у вас и голос приятный, — повеселев, обратилась Мари к Травкину, скромно принимавшему общие похвалы себе и Боре, — уж вот подарили, и не ожидала!

— Э, да ты многого еще в нем не знаешь, — улыбался Алексей, — он и сам лихо пляшет.

Все окружили Травкина, прося и его на прощанье протанцевать.

— Нет уж, други мои, нет, — отговаривался Сила Фомич, утирая платком лысину и лицо, — не теперь, в другой раз, как все вернетесь. А вам, скажу, пора и ехать. Вон солнце зашло за облако; еще сберутся тучи, не быть бы грозе.

— И в самом деле, как потемнело! — сказала Нинет, ехавшая в Свиблово с Мари и сильно боявшаяся грозы. — Лошади готовы, едем.

Все взглянули на окна. На дворе, действительно, как бы померкло.

— А что, не остаться ли нам до завтра? — вдруг сказала, посмотрев на мужа, Серафима.

— Нет, нет! — закричали все. — Все уже вынесено и уложено... Легкий день, и притом серенькая, нежаркая погода.

— А ехать, действительно, так и ехать, — объявил, наконец, Алексей. — Что, все готово? — обратился он к слугам.

— Все-с, — ответили те с порога.

Хозяева и гости сели по стульям, помолчали и, встав и крестясь, начали прощаться. «Не забыли ли чего?» — «Все взято и вынесено». Путники вышли на крыльцо и стали снова прощаться.

— Да что же мы, — улыбнулась золовке Серафима. — Ведь до города нам всем один путь.

И действительно, до Саратова все ехали вместе. Далее их пути расходились. Пока экипажи миновали деревню и выбрались в поле, грозы не было. Из надвинувшихся туч упало только несколько капель дождя. Но едва путники, поднявшись в гору, выехали на почтовый тракт, шедший по берегу Волги, подул свежий, порывистый ветер, на дороге поднялись и закружились столбы пыли, ударил гром, и обильный дождь косым ливнем зачастил и загудел над полями.

— Благодать! Счастье! Дорогу смочил! — весело толковали путники, прячась под кузовами карет, колясок и бричек.

— Подвинь-ка ноги, тесно, — сказал Сергей горничной Аннушке, сидя с нею под синим холщовым зонтом сзади кареты Мари.

— Сам, черт, лапища расставил, а тоже командует, — сердито огрызнулась Аннушка, видя, что дождь мочит ее новое розовое тарлатановое платье.

— Не командую... Другой над нами командир!

— Какой это еще другой?

— Не видишь разве ливня, грозы? Откуда все взялось? Царя нашего, батюшку, не уважают... Господь-то и гневается. В мале Бог и в велицей Бог... Жив Бог, жива душа моя... Мало ли еще чему быть!

— Ну, ври, толстомордый, пока не урезали языка... Да ты что это весь зонт заграбастал на себя? Давай, — крикнула Аннушка, оттаскивая покрышку зонтика на себя. —

Мое платье не твоему сукницу чета, опять же только что пошиты башмаки.

— Воздастся вам за грехи, воздастся! — ворчал под брызгами дождя Сергей. — Бог по ны, никто же на ны... о, Господи, всевидец, укротитель и судия!

Путники благополучно и в свое время добрались как в Красный Кут, так и в Свиблово. Они расстались в Саратове, где заезжали к знакомому профессору, астроному Ловицу, у которого отдохнули около часа. Это был добродушный, очень мало обруселый немец, совершивший путешествие в Среднюю Азию и в Гурьев пять лет назад, наблюдавший прохождение Венеры через солнце.

— Bitte, bitte... уф, август, — сказал Ловиц. — У меня отличне телескоп, увидите кольца Сатурн.

В Красном Куте Алексей и Серафима были встречены со слезами радости. Крестная Серафимы не знала, как лучше их угостить. Особенно она восхищалась их детьми. Прошло около двух недель. Алексей написал обо всем в Свиблово, откуда в Красный Кут также пришло письмо.

— А наши вояжеры не обошлись без приключения, — сказал Алексей, прочитав на балконе в саду это письмо. — Мари, представьте, сообщает, что их слуга, этот-то Сергей, едва прибывши в Свиблово, исчез без следа.

— Куда же он пропал? — спросила Варвара Ивановна Туровцова, удивленно оглядывая всех в лорнет.

— Мари только и пишет, что, едва он приехал, внес и распаковал вещи, отпросился будто бы к родным, на деревню, и исчез!

— Какая, однако, причина? Его притесняли? Обижали, или он пил? — спросила Туровцова.

— Воли, видно, захотел, понюхал воздуха тамошних степей.

— Да, недаром он у вас, как я была в Москве, все священные книжки читал, — заметила Варвара Иванов-

на. — Ох, не люблю я этих слуг-грамотеев; глядит в книжку, едва разбирает по складам, а у самого мысли далеко, и все дурные.

— Полноте, maman, — возразила Серафима, — ведь сама Мари учила его грамоте; он читал все святые книжки, Богу все хотел послужить... Будь-ка образован наш народ, ну, хотя бы как наши соседи, саратовские колонисты... От чего же и все грубые страсти и преступления народа?..

— От бедности и нравственной тьмы! — отозвалась Нинет.

— Ну, старая песня, Нина Александровна, — с неудовольствием возразил Алексей. — Вам, извините, только бы изучать философов да вольнодумствовать о мнимых бедствиях черного народа. А чем он у нас здесь или в Свиблове стеснен или отягчен? Все у вас, извините, фантазия! — заключил Алексей, барабаня пальцем по столу и думая между тем: «А все ли, однако, у нас в деревнях так благополучно и хорошо?»

XVIII

Отбитый от Оренбурга и Татищевой Голицыным, Пугачев странствовал с остатками своих шаек в Уральских горах, выжигая и грабя башкирские деревни и рудокопные заводы, забирая на последних оружие, порох и деньги и «скопляясь» силами для новых набегов и грабежей. Он находился еще в Башкирии, когда настала весна 1774 года.

Снега в степях затаяли, вскрылись реки, и по ним мимо освобожденных от самозванца крепостей поплыли тела убитых в последнем его набеге на Татищеву. Осиротелые казачки, стоя у берегов, с воплями и причитаниями ловили баграми плывшие трупы, распознавая в них своих мужей и отцов.

Был теплый апрельский день. Пугачев задумал разгромить и выжечь Саткинский и Златоустовский заводы, но

еще не решался двинуться туда. Главные из его сообщников и помощников в последних стычках с Михельсоном были взяты в плен: Шигаёв и Почиталин — в Сакмарском городке, в Табынске — Зарубин Чика. Емельян подбирал себе новых. Сменивший Зарубина состоявший когда-то в церковных певчих казак Иван Творогов подыскивал способного грамотея для составления манифестов и указов самозванца. Многих приводили к нему. Он испытывал их в писарстве и не одобрял. Вдруг ему сообщили, что в лагерь прибыл зело грамотный сын богатого заводчика с просьбой дозволить ему явиться к царю. Творогов доложил Пугачеву.

— А! Это с куршавинских руд! — сказал Емельян. — Слышал... Тысячники!.. Как его имя?

— Зовут Федором, по прозвищу Прядышев.

— Веди его...

Творогов послал за Прядышевым. Подъехавший к ночи в обоз Пугачева, Теодор с тревогой и любопытством всматривался в необычное и странное зрелище, встретившее его здесь.

Лагерь и обоз Пугачева в то время были расположены на взгорье, у опушки большого леса, невдали от казенного чугуноплавильного и железного завода, накануне только разгромленного, ограбленного и сожженного отрядом Пугачева. С холма, через речку, в темноте виднелось еще пламя дымившихся развалин литейных, кузниц, складов и других зданий завода и прилегавших к нему предместьев. Нападавшие, окружив завод, кинулись ночью без выстрела на приступ, с чекушами, дрекольем и пиками, зажгли избы и сараи предместьев и стали ломиться в ворота высокого деревянного частокола, которым завод исстари охранялся от нападений башкирцев и киргизов. Кучка гарнизонных инвалидов, составлявших заводской караул, отбила ворота и с хлебом-солью и с церковным причтом во главе покорно вышла навстречу самозванцу. С заводской церкви загудел колокольный набат. Солдаты шли без оружия. Бледный и растерянный священник, спотыкаясь и боясь поднять глаза, шел с

крестом и хоругвями за певчими, возглашавшими самозванцу: «Тебе, Бога, хвалим». Знамя преклонили перед Пугачевым, церковники и прочие целовали ему руку. Он велел остричь солдатам косы и объявил их казаками. Гарнизонный офицер и смотритель завода, отказавшиеся покориться самозванцу, были повешены; посаженные ими под арест подозрительные рабочие выпущены на свободу. Победители взломали кладовые, церковь и погреба, выкатили бочки с запасом казенного вина и всю ночь в обозе и у ставок начальства шла непрерывная попойка и гульба, слышались буйные крики и песни.

Зарю в лагере самозванца возглашали пушечными выстрелами, а когда у него не оказывалось пушек — барабанным боем.

Кое-как задремав у себя в санях, под полстью, Теодор был разбужен странным и резким звуком барабана. Он раскрыл глаза. Невдали от места, где стояли его сани, между войлочными кибитками, землянками и коновязями ходил в нагольном тулупе и бабьем волоснике вместо шапки огромный и бородатый мужик, с саблей на боку и барабаном на привязи через плечо, будя разоспавшихся и хмельных гулебщиков. Рассвело. Там и здесь на площадках лагеря и в обозе у дымившихся костров кипели котлы с кашей, бараньей похлебкой и щербой — ухой из мелкой рыбешки.

Проголодавшийся за ночь среди опасной, наполненной мятежниками дороги верзила Апронька, спутник Теодора, поглядывая то на распряженных жеребцов, евших в торбах овес, то на сновавшую в обозе пеструю челядь, жадно принюхивался к смешанному вкусному запаху рыбы и баранины, доносившемуся с ближнего костра.

Лишенный отцом со времени своего побега в Киев модного французского кафтана, камзола, башмаков с пряжками и напудренной косы, Прядышев и теперь был одет в простой купеческий долгополый кафтан, в высокие сапоги, черный башкирский полушубок, подтянутый поверх кафтана зеленым кушаком, и в серой шапке на острижен-

ных в скобку волосах. Он сидел на облучке саней, следя за суетой обоза и лагеря. Мимо него сновали продавцы хлеба, связок лука, вяленой и сухой рыбы и чеснока. Полупьяные оборванцы, горланя, носили и продавали разную рухлядь из остатков вчерашнего грабежа: сапоги, зипуны и шапки с убитых заводских рабочих, куски холста, подушки, муку и горшки с квашеной капустой. Хромой краснокожий здоровяк нес в руках женский шелковый роброн; сам он был одет в церковную глазетовую ризу, а поверх лисьего малахая с ушами имел на голове бархатную поповскую камилавку. Толпа, состоявшая почти сплошь из раскольников, со смехом и прибаутками провожала этого продавца по обозу, а он выкрикивал: «Вот наряды, платье сама заводчиха носила, на осину у батюшки угодила!» Лагерь был особенно шумен выше, на взгорье, где виднелись, невдали одна от другой, три большие войлочные палатки. У входа в одну из них с саблями наголо стояли, в красных чекменях, часовые. Прядышеву сказали, что то была государева ставка; на ней развевалось белое шерстяное знамя с восьмиконечным золотым раскольничьим крестом.

«Государь он и вправду, — думал Теодор, глядя на эту палатку, — по всему, что видно и слышно, должно быть — государь. Прибегал это к нам на завод лазутчик, саткинский пономарь; божился, уверял, — разве пошли бы так за другим? Не токмо отставные гвардионцы, — служащий во фронте офицер-поручик, слышно, признал его. А пономарь сказывал, что государя украл и выпустил из-под караула в Ропше капитан Маслов; сел избавленный на коня и поскакал да в три дня от Питера в Киеве стал, загнал восемнадцать верховых лошадей и за каждую выплатил по сто червонцев. Щедрый! А у меня к нему важное дело... Матушка, как повидела меня из саду в ту пору, в черной, срамной работе, в саже, рваной сорочке да в посконных портах, упала без памяти и заболела. Тятенька ту ж минуту будто смиловался, приодел меня и

отправил сюда за горы, в Куршавино. «Ты, — говорит, — Федька, стал в ум приходить, пора; езжай, будь моим главным оком на заводе; веди себя честно да боязно, оправишься, буду сам туда летом и вот как тебя превозвышу и отличу». Я сдуру и поехал! Матушка без меня, с нового горя, с разлуки нашей, не долго прожила, вскорости померла. Как узнал я про то, должно с горя, опять запил, закурил. Страшно и вспомнить, как пил! По задворьям валялся, у кабаков поднимали, приносили в контору. Тут пожалеть бы, а отец как есть ожесточился. Пошли сюда письма, приказы; пишет: в холодной его, дьявола, держать. И держали; да теперь уже баста. Пускай старый московские пожитки, завод и весь тамошний капитал на свое имя перевел; здешние все заводы и руды — матушкины, стало быть, мои... Царь рассудит нас, отберет заводы и велит числиться за мной».

— Кто тут из куршавинских? — раздался голос за спиной Теодора.

Он оглянулся. Перед ним стоял в тулупе и в волоснике, с саблей у пояса, бородач, барабанивший утром зарю. Теодор встал с саней.

— Ты будешь Прядышев? — спросил подошедший.

— Я.

— Как тебя величать?

Теодор назвал себя.

— Ну, иди же, Федюха, — сказал бородач. — Царь-батюшка, милостивец наш, жалует тебя, допущает перед свои очи.

Теодор оправил на себе шапку, подтянул пояс, взял с саней привезенную с завода соболью шубу, крытую тонким синим сукном, и пошел за провожатым.

— Подарок? — спросил, глядя на шубу, бородач.

— Не прогневить бы... Примет ли его величество?

— Все примет, тащи... А нам будет что от милости твоей?

Теодор вынул кису и подал провожатому серебряный рубль.

— Дай пару, — сказал вполголоса, оглядываясь, бородач, — али нет, обожди, дай три... Нужно три монеты!

— Добрый он? — спросил Теодор, подавая опять провожатому из кисы.

— Как для кого... А осерчает, беда! — ответил бородач, шагая вывернутыми, огромными ногами в разорванных, из сыромятины, котах. — Намедни прогневился тут на одного попа, что не помянул в церкви новую его царицу, и велел ему саблей отесать бока, а попадью просто удавил. В одной тоже крепости взял в полон толстого-претолстого офицера; говорит — присягай, тот отказался... Он с него живого и снял кожу... Мы, братец, салом с его туши, как он еще шевелился, — усмехнулся бородач, — и раны себе мазали... Добре заживают!

Ужас объял Прядышева при этих словах. Чем ближе к палаткам, видневшимся с пригорка, лагерь становился оживленнее и шумней. Из землянок, бревенчатых и войлочных шатров то здесь, то там выглядывали женские лица и слышались пискливые женские возгласы и смех.

— Так с вами и бабы? — спросил Прядышев.

— Не наши, заемные, — ответил, озираясь, провожатый. — Балуются парни, да и кто постарше... нехристи-татары да башкирство пример подают.

— Откуда эти бабы?

— Все жены и дочки побитых офицеров, иные же и волей сюда пошли.

— Кто у вас, дядя, нынче главные тут возле царя?

Бородач остановился.

— Дай-ка еще монету, нужно долг отдать! — сказал он.

Прядышев вынул и подал ему рубль.

— Были тут прежде возле него все свои, — сказал, продолжая идти, провожатый, — да перестреляны либо взяты в полон; теперь, опричь Ивашки Творогова, все чужаки... Вон, гляди, у его ставки бритоголовые татары, Идорка да Баранка... То наши и первачи.

XIX

Сказав это, провожатый снова остановился, подтянулся и, молча взглянув на Прядышева, стал идти тише. Его лицо приняло озабоченное и растерянное выражение. Они подошли к окраине холма, на котором перед обширной палаткой, подаренной самозванцу киргизским старшиной Лай-ханом, стояли несколько казачьих старшин и между ними худой и высокий, как шест, изуродованный оспой, в верблюжьем армяке и сивой калмыцкой шапке Идорка, и приземистый, на дугообразных ногах, толстый и смуглый, с вырванными ноздрями Баранка. У первого за поясом торчал широкий кинжал, второй опирался на длинное персидское ружье, треснувший приклад которого был связан бечевкой. Тут же, в стороне, виднелась куча каких-то вещей, и между ними лежал связанный по рукам и ногам, в офицерской шинели и бараньей шапке, с подвязанною щекой, средних лет пленный офицер. Его растерянные глаза моляще и испуганно смотрели на татар, споривших между собой гортанною, резкою речью.

— Руби ему башку, руби! — говорил Идорка, сердито топчась на месте кривыми ногами. — Не хотел царю давать коня.

— Тебе все рубить, дьявол, шайтан! — отплюнулся, косясь на связанного пленника, Баранка. — И того мало... Сжечь еще разве? А почем он знал, кому конь?

— И сжечь, сжечь! — твердил осипшим от злости голосом Идорка. — Отбивался, а как брали, пустил ночью коня в степь... Камень ему на шею, да в воду.

— Сунься-ко сам!

— И сунусь.

Пола войлочного шатра поднялась. Из-под нее показался плотный и русый, с окладистою бородой и красивыми серыми глазами казак средних лет. На нем был подбитый лисьим мехом канаватный шелково-узорочный охабень, офицерская треуголка с черными перьями и у пояса кривой ятаган. То

был уцелевший из рассеянной военной коллегии самозванца, бывший начальник его артиллерии и провианта, Иван Творогов. За ним вышел понурый сгорбленный старик в зеленом с позументом кафтане поверх шубы и с медною складною иконкой на шее. В старике трудно было узнать уметчика Степана Оболяева.

Еремкин-курица по-прежнему состоял при самозванце, в сан которого он слепо верил. Сопровождая его в походах, он возил и носил за ним значок с его штандартом и пользовался полным его доверием и почетом. Старый и благочестивый уметчик, однако, во многом в последнее время изверился и на многое из того, что видел, смотрел с тайным осуждением и даже со злобой.

Особенно ему не нравилось женолюбие объявившегося у него на умете царя. «Ну, идет супротив постылой, ополчившейся на него жены, — рассуждал Оболяев, — пусть так, всякому понятно; обзавелся и повенчался с новою супружницею, из простых, и то ничего, на то он волен... А зачем кухонная палатка полна девок и баб? И хоть бы одни боярские дочки да жены — ровня ему; нет, набрал всяких куховарок да стряпух! Какую только на селе или в заводе наметит, ту и в стряпущую... Девки и бабы ему варят есть, подают кушанье и водят его под руки на коня и с коня. Срам один и соблазн! А скажи слово — мигом удавит!»

— Про что, князья, спор? — спросил Ивашко татар, выйдя из шатра самозванца.

Идорка объяснил. Творогов взглянул на связанного пленника.

— Жаль тебя, — сказал он, — попрошу за тебя государя, коли хочешь ему служить... А ты, — спросил он татарина, — с какого хаяру лезешь не в свое? Тужит, видно, веревка и по тебе?

— Да он коня не дал, присягу не исполнял, — ответил, не унимаясь, Идорка.

Баранка стал ему возражать.

— Цыц, черти! — прикрикнул на них Ивашко. — Его величество беспокоите. Коня государю найдем... Ты из Куршавина? — обернулся он к Прядышеву.

— Так точно, — ответил Теодор с поклоном.

— А это батюшке, видно, царю? — спросил Ивашко, глядя на соболью шубу, которую тот держал в руках.

— Ему, ваша честь!.. Не обессудьте, удостойте аудиенции, лицезреть его пресветлое величество.

— Обсудим, решим, — с важностью сказал Ивашко, — а допреж того, любезный, слышно, у тебя тройка добрых коней. Правда ли то? Чьи кони и хороши ль?

— Собственные, ваша честь, не кони, а сущие львы, — ответил, снова кланяясь, Теодор. — Тут у нас собственный завод...

— Доморослые, значит?

— Первый сорт.

— И резвы?

— Дышловый рысистый, а правого пристяжного ни в жизнь никому не перескакать.

— Ну, это его величеству, нашему батюшке милостивцу, почище будет твоей шубы, извелись мы в походах лошадьми, — сказал Творогов. — Дорого ли возьмешь?

— Мы с нашим то есть, как след, почтением, — ответил Прядышев, — и не токмо шубу, а в презент, коли его царское величество удостоит, готовы и жеребцов.

— Молодец малый! — сказал Ивашко, ласково потрепав его по плечу. — Чай, просьба есть к царю?

— Великая! Не оставьте, ваша милость, — сказал Теодор. — Век Бога будем молить...

— Ну, Степан Максимыч, — обратился Творогов к Оболяеву, — веди покамест купца к себе в хибарочку да накорми его с дороги; государь отдыхает, еще не кушал... Разберет он твое дело, — сказал он связанному пленнику, — и призовет к себе господина купца.

Прядышев, с новым поклоном Ивашке, пошел за Оболяевым. Землянка последнего в лагере была вырыта за хол-

мом, невдали от палатки Творогова. Пока Прядышев был у шатра самозванца, со стороны леса подул сильный ветер и стал падать снег. Идя за Оболяевым, Теодор сквозь снег разглядел что-то темное и странное, торчавшее у холма, на что он прежде не обратил внимания. Теперь он ниже ставки Пугачева увидел две виселицы, из которых на одной, раскачиваясь от ветра, в мундире с красным воротником, висел лысый, в бакенбардах, очевидно немец, смотритель завода, на другой — полураздетый, в напудренных буклях и косе, не признавший в самозванце царя красивый, в ботфортах, офицер. Шайка самозванца потешалась над ними и по их кончине: лицо и грудь офицера были исстреляны пулями, и все его платье было залито кровью; у немца-смотрителя была отсечена одна нога, а из проколотого живота висели какие-то окровавленные ленты. «Внутренности!» — с ужасом подумал, глядя на казненных, Теодор.

Оболяев ввел его в свою кибитку. Он достал из торбы краюху яичного каравая, печеных яиц, баклагу с вином и серебряную чеканенную стопу.

— Господская! — произнес он, указывая на стопу и наливая в нее вина. — Ну-ка, с холоду!

— Знатная вещь, — сказал Прядышев, отпив из ковша и любуясь им, — такие видел я в чужих краях.

— Нешто ты там был?

— Где только не был!

— А штука эта, жалованная царями, княжеская, — заметил Оболяев, — у барыни, княгини Звенигородской, взята; а вот и часы, — сказал он, вытаскивая худыми, неповоротливыми пальцами из-за пазухи золотые, луковицей, английские часы, — тоже, братец, из княжеского дома, Барятинских; его величество, наш, значит, государь, за супротивность дворецкого порешил; там же взято два пуда серебра, а всякого добра — и не сосчитать.

Прядышев, закусывая, стал рассказывать о своем пребывании в чужих краях.

— И тамошних видел королей?

— Видел.

— В роскоши живут?

— Точно в сказке.

— То же, малый, будет и у нас, — сказал Оболяев. — Батюшка вот скопляется пока силами; даст Бог, уберется, пойдем на Уфу, а там и в первопрестольную. Много ему делов; везде непорядок, народу крайняя беда.

— А у меня, дедушка, к царю просьба, — сказал, помолчав, Прядышев, — тятенька обидел; уговори его величество, защити...

— Что же, мы всякому готовы, спасет тебя Господь! В чем твое прошение?

Теодор начал излагать свое дело. С надворья послышались шаги.

— Степан Максимович, — раздался голос за палаткой, — давай малого, требует царь.

— Ну, иди, — сказал, убирая закуску, Оболяев. — Христос тебе в помогу.

— Все ли ему говорить?

— Все.

— Не осерчает государь?

— За правду-то! Говори, как Богу... Все повернет, все по правде решит.

Прядышева подвели к ставке Пугачева. Ожидавший его Творогов приподнял полу шатра и, пропустив просителя в сени, сам остался снаружи. Сени от внутренней половины шатра отделялись ковром. Теодор взялся за ковер и вошел.

В глубине ставки, увешанной тканями и оружием и освещенной сверху, сквозь круглую отдушину в крыше, на куче сложенных одна на другую цветных татарских подушек, на пестрой войлочной кошме сидел широкоплечий, с тонким перехватом у пояса, краснолицый и с виду как бы хмельной человек. На нем были широкие, очевидно с чужого плеча, бешмет голубого штофа, черная мерлушковая шапка и внакидку, поверх бешмета, беличий охабень. За поясом торчали

два пистолета и большой походный нож; сбоку на ковре лежала кривая сабля. По черным, пытливым, исподлобья на гостя устремленным глазам Прядышев угадал, что перед ним сидел объявивший себя царем. Где-то слышался женский сдержанный смех, бренчание гитары.

— Подойди, стань ближе, — раздался с подушек глухой, хриплый голос. — Что скажешь?

Прядышев поклонился в землю и положил на ковер принесенную соболью шубу.

— Смилуйся, государь, — сказал он, стоя на коленях и не поднимая головы, — не обидь, прими презент... Позволь бить челом и тройкою коней.

— Благодарствую, дело говоришь, — ответил Пугачев. — Нам, расейскому великому государю, в нашей нынешней скудости и тесноте, все нужно, а паче — одежа и добрые кони от подданных. Садись, будешь гостем... Потчую тебя, — прибавил самозванец, протягивая Прядышеву руку.

Целуя эту руку, Теодор с удивлением увидел, что перед государем, к которому он явился, на татарской низенькой скамеечке стояла простая глиняная миска с пахучей рыбной щербой, деревянное блюдо с чем-то белым и еще более пахучим и несколько фляг с водками, квасом и вином.

— Ваше царское величество, — сказал, снова кланяясь, Прядышев, — окажите Божескую милость; обижены мы и разорены вконец.

— Ты с дороги, бери, закуси.

— Довольны мы вашею милостью, дозвольте о деле сказать.

— Не хочешь есть, выпей, — сказал Пугачев, наливая и подавая гостю водки, — а мы закусим, не бойся, говори, что надо, потому я царь!

Теодор, отпив из рюмки, стал рассказывать. Пока он говорил, Пугачев опорожнил миску с щербой, вынул из-за пояса нож, накрошил им полную тарелку того белого, что лежало на блюде, истолок и размял его ручкой ножа, полил из фляги квасом и начал есть, закусывая хлебом. В палатке

распространился острый запах чеснока. «Неужели его величество так-таки и ест это голяком? — удивился, не веря своим глазам, Теодор. — Или цари и в самом деле вкус ко всему простому имеют?»

— Так приказчик твоего отца и впрямь, — спросил, жуя полным ртом, Пугачев, — вязал тебя и в холодную сажал?

— Сажал, ваше царское пресветлое величество, — ответил Теодор, — и мало того... Забрал завод и все руды как есть, собственность нашей, выходит, покойной родительницы, а тятенька тут ровно ни при чем-с. Я тебе, говорит приказчик, покажу, в рог тебя, собачье мясо, согну... Можно ли? Ведь я, ну как есть все-таки хозяйский сын!..

— А вот мы ему камень на шею да в воду, — сказал Пугачев, кончив одну тарелку чеснока и принимаясь крошить себе другую. — Ты, брат, нам хороших вот рысачков, а уж мы тебе... То есть все...

XX

«Но что же это? Неужели же он и по правде царь? — вдруг подумал Теодор, пристальнее вглядываясь в краснорожего, вспотевшего от еды и водки, почти пьяного бородача, который едва ворочал перед ним языком. — Видел я у московских бар гравированные и масляными красками портреты царя Петра Федоровича; тот был полновиден, высок, белолиц и с светлыми глазами, а этот сухощав, мал ростом, смуглый и черноглазый... И смотрит он все искоса, да страховито, часто оглядывается, точно боится всего... А эти казачьи ухватки, грубая, мужицкая речь? Если царь, то как он, в бедности, гонении одичал! А если не царь — ужли всех провел и обманул?»

Пугачев, кончив трапезу, утерся концом скатерти, которою была покрыта скамейка, опять налил из фляги два стакана, один выпил, а другой подал гостю.

— Благодарствую, — отказался тот с поклоном.

— Пей, коли даю сам! — сердито крикнул самозванец.

Прядышев выпил.

— Грамотен ты? — спросил его Пугачев.

— Грамотен, в пансионе обучался в Москве.

Пугачев помолчал.

— Ну, слушай же, — сказал он, — мы, значит, теперича собрались, оружия и пушек добыли, сколько надо, войска тоже прибыло вдоволь. Видел лагерь?

— Видел.

— Десять тысяч, нет, — что я? — двадцать, опричь башкиров и мордвы. Оставайся при нас, назначаю тебя главным писарем. Согласен?

Прядышев стоял ни жив ни мертв.

— О заводе, о достатках своих материнских не печалуйся, все тебе будет, служи только верою и правдою.

— А с приказчика, ваше царское величество, взыщете? Сколько терпел от него утеснения, обид!

— Вызовем, — одно слово, петля! И не его одного, передавим енералов! Эй, кто тут? — крикнул Пугачев, хлопнув в ладоши.

Из-под ковровой занавески, с задней стороны шатра, показалась высокая и худощавая, в шелковом зеленом платье и в кружевном чепце, молодая, очевидно не из простых, женщина. Ее бледное лицо было сумрачно. Впалые глаза глядели презрительно и строго.

— Княгинюшка, слушь-ка, подь, скажи Ивану, — обратился к ней Пугачев. — Нет, лучше пошли Дуньку, сама туда не ходи... Пусть Иван отрядит в Куршавино за приказчиком, доставит его нонче же сюда.

Женщина молча скрылась за занавесью. «Княгиня? — подумал Теодор. — Пленница? Вот участь!»

— А ты, ну-ка, еще выпей, — сказал Пугачев Прядышеву, наливая ему третий стакан. — Мы сбираемся далее... Завтра поход, и ты, слышь, с нами. Согласен? Целуй крест, вот мой крест.

Пугачев вынул из-за пазухи и подал Прядышеву тельный крест. Теодор подумал: «Царь ли он или обманщик, не все ли пока одно? Лишь бы вырвать пока мое достояние, а там уйду от него!» — и, перекрестясь, поцеловал крест.

— Имеем намерение, — продолжал, хмелея, Пугачев, — разорять и бить непокорных вплоть до Казани, до самой Москвы... И вот, ребятушки, слышно, сын наш, великий князь Павел Петрович, встал за нас, ведет на помощь сорок тысяч, и не нынче завтра будет здесь... Так остаешься?

Прядышев, раздумывая: «Нет, Господь с ним, лучше, видно, выждать ночи да уйти!» — молча поклонился самозванцу. Вошли еще две женщины; одна, в простой мещанской душегрейке и с красным платком на черных волосах, была особенно красива. Румяное и полное лицо ее дышало здоровьем, быстрые глаза улыбались. Женщины подняли Пугачева от трапезы и под руки провели его в правый угол шатра, где и опустили на укрытый ковром пуховик.

— Ну, иди же, Творогов отведет тебе фатеру, — сказал Прядышеву Пугачев. — Назначаю тебя секретарем, будешь при нашей главной военной коллегии и переводчиком для бумаг.

Прядышев, не помня себя от виденного и слышанного, вышел из шатра. Хмель от выпитых угощений кружил ему голову. В глазах его рябило. За шатром стоял Творогов и развязанный пленник. Прядышев сообщил Ивашке слышанное от государя.

— Ну, и ладно, — отвечал Творогов, — на ваш завод, за приказчиком, уже послано.

— Куда же мне теперь? — спросил Теодор.

— А туда же пока, к Степану Максимовичу: надо будет, позовут.

Прядышев отправился к Оболяеву, которого не застал в землянке; уметчик был в обозе, на совещании войсковых старшин. Почти не спавший в минувшую ночь, Теодор прилег в землянке.

«Где же вольность и права? — рассуждал он, лежа на ворохе сена. — Думалось, поживу; завод-то отберут у тятеньки, отдадут мне, а самому тут велено быть, бумаги писать... Собираются в новый поход, к самой Москве... и шляйся теперь с ними... Будут стычки, сражения, кровь польется, а я не военный; бумаг тоже писать вовсе не умею — какой я секретарь? Еще напутаю, навру — взыщут, да хорошо, как только выбранят, а то у них и горшего примешь... За все у них виселица. Как бы выждать время, как бы отсюда уйти?»

Теодор заснул и спал долго. Открыв глаза, он увидел, что на дворе уже темно. Наступила ночь, костры в лагере едва дымились. Оболяев еще не приходил; он сменял прежние и расставлял новые караулы вокруг лагеря, со стороны леса и моста на реке. Давно прогремел заревой барабан. Говор, шум и песни кругом затихли; в темноте слышались только оклики часовых, кое-где мелькали фонари есаулов и десятских, обходивших дозором лагерь и обоз, да издали виднелось зарево догоравших предместьев. Укутавшись с головой в шубу, Прядышев опять заснул. Он не слышал, как возвратился уметчик, как он, кряхтя и повторяя: «Спас, Спас, Пречистая, помилуй и спаси!» — клал поклоны, и как, наконец, помолясь и свернувшись калачом, также улегся в другом углу землянки. Теодор крепко спал; ему снился странный сон. Он мчался на бешеной тройке, а рядом с ним в кибитке — похищенная им Серафима. Кони неслись безбрежною снеговою поляной, а вдали, в лучах солнца, точно вылитые из голубого стекла, горели и переливались радугой заоблачные Альпийские горы. «Смотри, смотри, — шептал он Серафиме, прижимая ее к себе, — снег кругом, везде; как блестит! Но он уже тает, бегут и шумят ручьи, то вечные Альпы, за ними Италия... Пальмы и розы... Туда, дорогая, туда...»

«На слом, братцы! На слом!» — вдруг послышались сперва неясные, потом более громкие крики за землянкой. Прядышев вскочил, протер глаза. «На конь! Оружайся!

Седлай!» — кричали казаки, бегая по обозу. Раздался невдали ружейный выстрел, за ним другой. «Дядя, Степан Максимович, дядя, что это?» — вскрикнул Теодор, увидев в сумраке чуть брезжившего рассвета согнутую спину Оболяева, который уже встал и над чем-то возился у двери землянки.

— Царицыно войско! Штурм! Сполох! — проговорил Оболяев, с захваченным ружьем исчезая за дверью. — Вон в углу сабля, бери, выходи.

Прядышев подвязал к поясу саблю, оделся и выскочил наружу. На дворе было холодно и сыро. Густой туман стлался над лагерем. Взгорье с шатром Пугачева и виселицей позади точно плавало поверх облаков. В тумане со стороны реки слышалась учащенная пальба. Ружейные огоньки, кучей и рядами, вспыхивали у реки и на мосту. Им в ответ трещали разрозненные выстрелы по сю сторону, в обозе. Слышался плач женщин, дикий визг и гик калмыков и башкир.

Отряд самозванца был застигнут врасплох. Полураздетые казаки, инородцы и всякий сброд, выскакивая из землянок, кибиток и из-под возов, строились в беспорядке по откосу берега. Имевшие мушкеты и винтовки наскоро заряжали их и стреляли, целясь к мосту и за реку. Остальные, с чекушами, пиками, саблями и топорами, нестройною толпой теснились впереди обоза. Проскакал к мосту на рыжей худой лошаденке Ивашко Творогов. Становилось светлее, туман расходился. С холма, где стоял наблюдавший за боем Пугачев, послышался зычный крик: «Не выдавай, ребятушки! Дружно, дружно!» Раздался топот нескольких всадников. Среди лагеря, направляясь к обозу, показалась конная стража самозванца. За нею, в сопровождении главных есаулов, Оболяева и Идорки, скакал Пугачев. Прядышев узнал своих серых жеребцов: на широкогрудом и рослом кореннике Соколе сидел сам Пугачев; на правом, долгогривом Анпрасе, — Оболяев, на левом, в яблоках, Орле, — Идорка. Крича и

размахивая ятаганом, Пугачев, еще не проспавшийся от вчерашней попойки, красный, как из бани, твердо сидел на седле.

«А мне коня? Ведь я теперь пеш!» — подумал Прядышев, видя, как все эти всадники, спустясь со взгорья, помчались к мосту, у которого не переставала греметь ружейная перестрелка и слышались вопли и стоны раненых и умирающих. «Лошадей моих взяли, а меня забыли, и никому до меня дела нет». Теодор бросился к обозу в надежде купить у кого-нибудь коня. «Денег не пожалею, хотя бы плохого достать!» — думал он. Между саней, телег и возов он увидел метавшихся в ужасе и кричавших без толку женщин. Два дюжих парня запрягали четверню изморенных кляч в желтобокий помещичий возок. В последнем, теснясь и молча посматривая на мост, сидели прислужницы и стряпухи самозванца. Теодор узнал бледную, смуглую княгинюшку, рядом с нею сидела полная и румяная молодуха, в кичке с жемчугом.

— Да ну же, скорее же, дьяволы! — кричала молодуха, поднимавшая накануне государя под руки. — Да помог бы и ты, паренек, — обратилась она к Теодору, — что так-то глазеть!

Прядышев стал помогать кучерам.

— А что, — спросил он вполголоса одного из возниц, приправляя постромку пристяжной, — моих коней взяли под государя; нельзя ли тут у вас присесть хоть на облучок?

— Лезь, — ответил, подтягивая последнюю подпругу, возница, — ишь ты, Божье попущение, дождались чего!

— Кто же это нападает?

— Должно, сам Михельсон, — ответил возница, трясущимися руками закрепляя вожжи. — Пропали наши головушки, не успеем, — порешат.

— Сам Михельсон? — спросил в ужасе Прядышев.

— А кто же иной? Не енарал, черт! — с неудовольствием ответил возница, крестясь и взлезая на козлы. — Один на тысячи прет.

— Ну, что ж это, скоро ли? — пищали голоса из загроможденного возка. — Дунька, подвинь ноги... А ты, толсторожая, не видишь, держу батюшкино добро.

— Эй вы, други! — крикнул возница, хлестнув по лошадям. — Что же, сударь, не садишься? Есть место, вот...

Прядышев стоял неподвижно. Ему было не до того.

XXI

Из-за реки, от моста, раздался оглушительный пушечный выстрел. Ядро прогудело над лагерем. От берега мгновенно грянули еще выстрелы. Ядра последних упали среди обоза. Прядышев увидел батарею в несколько пушек, направленных на лагерь с другого бока реки. Взвод конных гусар охранял пушки. Полный, с плюмажем на треуголке, начальник стоял у берега, командуя артиллеристами. Мелькали над батареей банники, поднимались белые клубы дыма, и чаще и чаще, один за другим, гремели через реку оглушительные удары. Полчища самозванца у моста дрогнули и с криками, стреляя наугад, в беспорядке бросились обратно к лагерю. Сквозь пушечный и ружейный дым было видно, как бравый, круглолицый и тучный командир вскочил на коня и впереди небольшой колонны из черных гусар и синих улан, с саблями и пиками наперевес, понесся к мосту и под прикрытием ядер и гранат, летевших из-за реки, помчался вслед за теснимою, бежавшею к лесу толпой. «Кроши их, полосуй!» — кричал, подняв саблю, командир колонны. «Михельсон, Михельсон!» — повторяли казаки, на бегу оглядываясь на него.

Прядышев был увлечен и куда-то притиснут бежавшими мятежниками. В нескольких шагах от него, с остатками свиты, обратно проскакал на Соколе Пугачев. Голубой штофный бешмет на нем был расстегнут, шапка свалилась с головы; потное лицо было растерянно. Испуганные глаза устремились к опушке леса, куда в то время въезжал возок с его сожи-

тельницами и добычей. Идорка, на раненом Орле, едва поспевал за Пугачевым. Творогов скакал, окровавленною рукой придерживая насквозь простреленную щеку. Сзади всех ехал Оболяев. Старый уметчик был ранен в грудь. Бледный, истекая кровью, он, с значком Пугачева в руке, чуть держался на седле, склонясь грудью к шее коня.

Среди бегущих упала и с оглушительным треском разорвалась граната. Толпа в ужасе отхлынула и без оглядки побежала далее. На месте осталась безобразная куча растерзанных, залитых кровью тел. Отброшенный взрывом гранаты и натиском толпы в сторону, Прядышев увидел, как его правый, бывший под Оболяевым, жеребец Анпрас взвился на дыбы и сбросил с себя седока. Теодор поспешил к Оболяеву. Конь фыркал и рвался, сдерживаемый уздою, обмотанною вкруг руки старика. «Дедушка, вставай, помогу тебе!» — говорил Прядышев, нагибаясь к неподвижно лежавшему уметчику. Оболяев не отвечал. Его глаза были открыты. На шее висел походный образок самозванца; свободная рука прижимала к вышитой позументами груди остаток разорванного гранатою штандарта. Кровь струилась из плеча. «Бей их! Коли!» — послышались новые крики от моста. К холму скакала вторая шеренга гусар. «Прости, дедушка, не поминай лихом!» — сказал Прядышев, распутав узду и вспрыгивая на Анпраса. Конь, почуяв на себе знакомого седока, помчался вскачь. «А, старый черт в позументах! — раздались сзади его крики. — Давно тебя, сатану, искали!» Обскакивая по пути к лесу пригорок, Прядышев оглянулся. Два рослых гусара, подняв раненого Оболяева, прикручивали его к седлу запасной лошади.

Войско Пугачева было разбито наголову. Сам он с остатками отряда скрылся в смежном, шедшем на десятки верст лесу. Убедившись, что измученный непрерывною гоньбою за ним Михельсон остановился дать отдых солдатам, он кое-как привел в порядок свой отряд, перевалил с ним лесными дорогами за Уральские горы и, присоединяя к себе обманными листами и силой новые шайки башкир и с разоряемых за-

водов крестьян, вышел на большую дорогу и потянулся к Уфе.

Лазутчики вовремя дали знать об этом Михельсону, и тот, опередив самозванца, встретил его 5 июня на пути и снова рассеял его скопища. Пугачев бросился к Кунгуру, потом к Екатеринбургу, но, узнав, что и там стояли сильные правительственные отряды, вышел на красноуфимскую дорогу и направился к пригороду Осе. Прядышева он не отпускал от себя.

Теодор был при осаде и взятии Осы. Подойдя к ней 18 июня, Пугачев послал воззвание к гарнизону, грозя сжечь пригород и предать смерти всех его защитников, если они ему не сдадутся миром. Командиры гарнизона, майор Скриницын и капитан Смирнов, не уступали. Самозванец с старшинами осмотрел берега Камы, исправил на ней переправы и мосты, подкатил к деревянным стенам крепости с подветренной стороны ряд возов с сеном, берестой и соломой и собственноручно их зажег. Крепость и пригород запылали. Сильный ветер усиливал пожар. Гарнизон отворил ворота и сдался. Пугачев простил офицеров. Спасшиеся майор и капитан с младшим подпоручиком Минеевым написали извещение к казанскому губернатору, оправдывая себя и предупреждая его, что злодей замышляет набег и на Казань. Заготовленное письмо майор носил при себе, ожидая случая переслать его в Казань. Подпоручик выдал товарищей самозванцу. Майор и капитан были повешены. Доносчика Пугачев в награду произвел в капитаны и отдал ему имущество и пожитки казненных. Все в отряде завидовали новообъявленному государеву любимцу. «Эка, дьявол, успел! — толковали о нем в старшинской избе и на базаре. — Сколько посуды ему досталось, какая коляска и кони! А зубастый, должно, сатана, хоть и из молодых!» — «Задаст он вам, толоконникам... Ведь не наш брат, — отвечали другие, — офицерская косточка, дворянин!» С любопытством Прядышев ожидал увидеть этого офицера, так как до казни выданных последним товарищей он находился за пригородом,

в команде Баранки, тушившей горевшие предместья и охранявшей обоз. По прекращении пожара все потянулись в пригород. Прядышев вышел на базарную площадь. Часть казаков чистила и ладила найденные в пригороде пушки. Творогов из казенных амбаров раздавал обозным пекарям провиант. Согнанные жители грузили из амбаров на обозные фуры кули с мукой, крупой, солью и овсом. Толпа зевак глядела на просторный дом соборного протопопа, где остановился самозванец. Вдруг толпа зашевелилась. На крыльце этого дома показался вертлявый, худой и остриженный в скобку, по-казацки, в пехотном полинялом мундире курносый офицер. «Новый капитан, капитан!» — заговорили в толпе, указывая на крыльцо. Прядышев взглянул на офицера и остолбенел.

В переодевшемся подпоручике он узнал офицера Федора Минеева, который, вслед за выходом из кадетского корпуса, встречался с ним на разных увеселениях Москвы, в театрах, на маскарадах и холостых попойках. Он же, с другими знакомыми, на одной из пирушек обсуждал с ним увоз Серафимы Дугановой и приготовил для увоза лошадей. «Да неужели же это он сам, мой тезка? — спросил себя Прядышев, вглядываясь в знакомые маленькие глаза и смуглое, с выдававшимися скулами курносое лицо Минеева, который с важною осанкой, гордо шел мимо толпы, снимавшей перед ним шапки. «Вот неожиданность! Его за пьянство и буйство перевели из полка в гарнизон, и вдруг он тут!» Он подошел к Минееву.

— Федор Ильич, — сказал он, — тебя ли вижу? Узнаешь ли меня?

Минеев с секунду пристально и удивленно всматривался в лицо Прядышева.

— Как не узнать! — произнес он, отворачиваясь. — Первый по Москве знаменитый ухарь, угоститель приятелей и сердцеед Теодор, хоть ты уже не в пудре, да и я не в косе. Только, батенька, помни, — прибавил он вполголоса и оглядываясь, — о прошлом здесь, а особ-

ливо обо мне, ни гу-гу. После все узнаешь, вечером заходи...

Сказав это, Минеев снова принял важный, начальнический вид. Небрежно кивая головой кланявшимся ему из толпы, он отошел к возам, на которые грузили провиант, и оттуда долго еще раздавались его громкие приказания, выговоры и крупная брань. «Из молодых, да ранний, — подумал о нем, прислушиваясь к его восклицаниям, Прядышев. — Впрочем, оно тут и полезно; хоть и шут гороховый, а все-таки способный и знающий, среди здешней сутолоки и беспорядков».

В сумерки Прядышев подошел к небольшому дому, который занимал Минеев, невдали от квартиры самозванца. У его ворот, как и у квартиры Пугачева, стояла стража.

— Ну, старый знакомец и тезка, — начал Минеев, когда Прядышев вошел к нему в комнату, — очень рад встрече, а еще более, что и ты, дружище, как слышу, одумался и передался истинному нашему, гонимому государю. Выпьем, брат, на радости! — прибавил он, указывая гостю на стол, обильно уставленный питьями и закусками.

— Так он и в самом деле настоящий? — спросил Теодор и, спохватившись, что сказал неладное, прибавил: — То есть видишь ли, врут разное; хотелось бы, Федор Ильич, узнать истину, доподлинный ли он, по-твоему, государь?

— А ты думал как? — строго взглянув на гостя, спросил Минеев. — Эх ты, простота, Федя, вижу... Был и есть перед Господом младенец.

Минеев встал, запер дверь на задвижку, прошелся по комнате, ероша свои обрезанные в кружок волосы, и стал перед зеркалом, висевшим на стене.

— Да как же, подумай ты, мог бы хоть и я присягнуть ему? — сказал он, глядя в зеркало и выпячивая грудь. — Ну, как эти силы, голова, решились бы на этакое даром, без причины? Ведь ему, как настоящему прирожденному государю, присягнула уже половина царства. Да здравствует наш истинный царь, Петр Федорович! Пей, братец, ура!..

Хозяин и гость чокнулись полными стаканами, с криком «ура!» выпили и снова повторили.

— Закуси, дружище, — обратился к гостю Минеев, указывая на миски и блюда. — Караси в сметане, пельмени с бараниной, уха из стерлядей...

— Да это просто бал, — вскрикнул гость, давно в походах питавшийся одними сухарями и солониной. — Откуда такая стряпня?

— Повар покойного здешнего майора, — ответил Минеев, уплетая уху. — Не покорился майор, повешен, нам зато такая благодать.

Собеседники помолчали.

— Куда же его величество отсюда? — спросил Прядышев, кончив уху и принимаясь за пельмени.

— В Казань, дружище, в Казань! Там цесаревич, его высочество Павел Петрович, ждет спасенного отца с свежим войском... Тридцать, коли не более, тысяч привел и всю как есть гвардию. Всех разнесем, покорим.

Прядышев на это поморщился.

— Так-то так, — сказал он, качая головой, — разнести все можно, отчего ж, только не по мне это, не по душе.

— Почему? — нахмурился Минеев.

— Да потому, брат на брата, свои ведь, это подло!

— Как подло? — вскрикнул и вскочил Минеев. — Так ты, выходит, трусишь? На попятный двор?.. Да знаешь ли, подлая твоя душа, — шептал он, напирая с кулаками на гостя, — что если здесь заметят, ну, только догадаются, несдобровать, слышишь ли, ни тебе, ни мне. Мало петли, с живого кожу сдерут.

— Да я ничего, полно, Федор Ильич, — опомнился Теодор. — Я только так, что свои, мол, — повторял он, оправдываясь. — Не мое дело... Мне бы только бумагу на тятенькин завод.

— Какой завод?

Прядышев рассказал.

— Будет тебе все, будет, вот тебе Бог! — объявил, указывая на образ, Минеев. — Помоги только нам и ты.

— В чем же моя помощь?

— Ты грамотнее, ученее меня, в первом пансионе обучался, был в чужих краях; а нужно половчее написать манифест в Казань.

— Да помилуй, я и простые письма с трудом, едва пишу.

— Вздор, братец, напишем вместе! А как возьмем Казань да Москву, превознесут нас, родной ты мой, вот как! Орловы нынче в силе и славе, а в то время, дружище, будем милы отечеству и мы!

— Так действительно, слушай, не серчай, он государь? — спросил опять Теодор. — Ну, для меня скажи, ты веришь тому?

— Не верил бы, не пошел бы, — ответил, зевнув, Минеев, — простота, вижу, ты, простота. Как не понять? Веревка тут, веревка и там, так уж лучше, братец, верить тому, что сам видишь, авось выгорит. Ну, разве сам не примечаешь, как к нему льнут и сколько у него войска?

— Ура! — крикнул, махнув на все рукой, Теодор. — Счастье, значит, выше всего, за ним идем!

Минеев хотел еще что-то говорить и оглянулся на Прядышева. Тот, склонясь на стол, уже спал.

XXII

Перед выходом из Осы на Узы и Малмыж Пугачев учинил суд и казнь над последними из указанных ему непокорных офицеров, дворян и купцов, достояние которых было взято в обоз самозванца. Их повесили на базаре; некоторых прямо топили в реке, а на выгоне устроили еще особую расправу. Захожий изувер, из толка бегунов, гостя в пригороде, встретил самозванца на улице, верхом

на коне, разглядел подслеповатыми глазами, как многие из народа, крестясь, падали перед новоявленным государем на колени, не вытерпел, выхватил из-за пазухи походный нож и с криком: «Антихрист, тьфу! Бей его, сатану! Рассейся!» — бросился с ножом на самозванца. Изувера схватили. По совету Минеева, в острастку прочим, его привязали на выгоне, у оврага, к столбу и, созвав городских подростков, объявили, что злодей отдан им на расстреляние. Куча безбородых малолетков бросилась с отцовскими ружьями на выгон. Тем временем Пугачев покидал Осу. В отряде слышали звуки выстрелов и хохот потешников. Когда же войско проходило невдали от оврага, с дороги увидели страшную мишень — освещенный лучами заходящего солнца столб, на котором, в последних судорогах, под неумелою пальбой ребят, корчилась и билась длинная окровавленная фигура казнимого.

— Что, батенька, отвернулся? — спросил с усмешкой, подъехав к Теодору, Минеев. — Сердце, видно, не мужское, а бабье?

— Ах, ужас! — ответил, смигивая слезы, Прядышев. — Ведь человеческая все-таки душа, жизнь ведь это, а ты шутишь.

— Полно, баба, ахать, недолго ждать! — сказал Минеев. — Все решено; указаны мною средства, пути и все! Ведь недаром я казанец, все норы знаю, проведу. Все пока успешно... А сколько этого народу со всех концов идет, просится в государево войско! Сегодня опять принято без счету и конных, и пеших. Эх вы, купчишки, не военная косточка, где вам понять? А впрочем, Прядышев, будет хорошо и тебе. Как возьмем Казань, там губернаторская канцелярия, эти все бумаги, законы и все. Государь вспоминал еще сегодня, беспременно подпишет и выдаст тебе документ.

Прядышев ехал молча. Не то теперь у него было на уме. «Казни, пожары, грабежи и кровь, — думал он, — и все это на моих глазах, ко всему я поневоле причастен. Во-

дят, тягают от Урала до Кунгура, назад до Красноуфимска и снова вон куда. Я им бумаги пишу, объявления, обносился, голодаю... Шубу приняли, коней, сбрую и все деньги забрали, даром загубили приказчика, а резону насчет наследия ни на алтын. Какой он и впрямь государь? Чеснок да щербу тарелками ест, пьяница, развратник и всех вконец поит... Лучше бы, видно, на заводе было сидеть и ждать. Нет, кончено, бросить их надо, убежать. Вином заливают, диктуют воззвания, а что иной раз пишу пьяный, и не сообразишь... И зачем я тогда, в Киеве, связался с цыганами?.. Не споил бы, не обобрал бы Пантюшка, — божество Серафима была бы моя! Проживал бы я в чужих краях, а не тут, с мужичьем, душегубами! Насолил врагу подметным письмом, да что вышло? Думал — нарвется от ревности на лекаря, а тот пришибет его; одначе не удалось... А красавица? Будь силы, будь капитал, кажись, опять выкрал бы, увез бы кралю... Исполнит царь просьбу, минуты не останусь, убегу...»

Мысль о побеге из отряда самозванца не давала Прядышеву покоя. Но как уйти? Поймают, коротка расправа, петля и на сук. Он мучительно выжидал случая, стычки какой-нибудь, ночного нападения на завод или помещичье село, пожара, грабежа, чтобы под общую сумятицу и возню отбиться в сторону, засесть в какой-либо водороине или в лесу и оттуда, когда все смолкнет, уйти куда глаза глядят. Не встречалось, однако, ни новых стычек, ни пожаров.

Путь от Осы до Узы и до обоих Кильмезéй был пройден без всякого отпора и преград. Везде самозванца встречали с хлебом-солью; сельские причты ожидали его у церквей с хоругвями, а чернь, выслушав от него указ о воле, присягала ему, целуя крест. Подошли к Малмыжу. Наутро готовились переправиться через Вятку.

«Ну, тут непременно убегу!» — решил Прядышев, с замиранием ожидая ночи. Он прилег у старшинской палатки и притворился, что спит. Солнце давно зашло за

прибрежными холмами, но сумерки еще длились, не сменяясь ночной тьмой.

— Федя, а Федя! Теодор! — раздался чей-то голос над Прядышевым.

Кто-то теребил его за плечо. Он поднял глаза. Перед ним стоял Минеев.

— Что тебе? — спросил Прядышев.

— Не знаешь новости?

— Какой?

— Да твоя-то былая Дульцинея, эта Дуганова... Знаешь ли, где она?

— Не знаю, говори! — вскрикнул, поднявшись на локте, Прядышев.

— Под Казанью, в имении своей крестной, этой генеральши Туровцовой, что ли.

— Кто тебе сказал?

— К нам, уже вторые сутки, с другими пристал один новобранец, из барских лакеев... И как бы ты думал, кто? Помнишь Сергея дугановского, московского слугу? Начетчик еще такой, все святцы читал.

— Еще бы не помнить! Сколько раз с письмами ко мне ходил.

— Ну, он самый и есть.

— Где же он? Где? Неужели здесь?

— У Идорки, кухарем у артельного котла; узнал меня, сейчас и сообщил: вся, говорит, дугановская семья гостит теперь у Туровцовой, под Казанью.

Прядышев вскочил.

— В какой стороне артельные котлы? — спросил он, оглядываясь.

— Иди, дружище, прямо, вон, видишь, дым — у самого берега.

Прядышев пошел по указанию.

— А что, — усмехнулся Минеев, — теперь уже без колебаний пойдем на Казань?

Прядышев на этот вопрос не оглянулся и ничего не ответил.

Красный Кут, имение Варвары Ивановны Туровцовой, крестной матери Серафимы Дугановой, находился на правом берегу Волги, в пятнадцати верстах от Казани. Обширная барская усадьба этого села выходила на почтовый сибирский тракт. Фруктовый сад и парк упирались в лесную дачу, через которую шла дорога от Красного Кута, вдоль Волги, в Казань. Перед старинным деревянным домом, с залой в два света, в тридцать окон, с галереями, винным и рыбным погребами, расстилался зеленый, усаженный кустами большой двор с чугунною решеткой и высокими чугунными воротами, на резной перекладине которых красовался бронзовый герб владелицы, а по ночам, для удобства приезжающих, постоянно зажигался большой фонарь. На вышке бельведера, над которым развевался флаг, собственный крепостной астроном Туровцовой, Антонушка, содержал для ее гостей большую зрительную трубу. Вид отсюда на ближние холмы и лес и на синеющие, чуть видные в туманной дали очертания Казани был живописный и привлекательный. Парадное крыльцо господского дома с началом лета уставлялось магнолиями, олеандрами и другими растениями из теплиц. Здесь обыкновенно толпились свои и заезжие слуги, ожидая зова господ и пересуживая то, что слышали в доме или о чем шли толки на стороне. Кроме астронома, у Туровцовой были собственные актеры, музыканты, парикмахер, хор певчих и даже артиллерия, так как по бокам ворот, на лафетах, стояли две медные пушки.

— Весело у вас тут, — сказал молодой и франтоватый заезжий лакей пожилому, в серой куртке, кухонному слуге, давшему ему, на ходу, у крыльца потянуть из коротенькой, дымящейся трубочки. — И это у вас часто?

— Почитай каждый Божий день, — отвечал тот, сплевывая, — с приезда этих Дугановых, ихней, значит, родни, ни сесть, ни лечь — с утра до поздней ночи у печки, завтраки, обеды, полудники, ужины, не напасемся дров. Вы будете, значит, из Тевкелевки?

— Из Сурмыша, дяденька, По́розовых.

— А что, паренек, — спросил вполголоса кухонный мужик, отводя лакея от крыльца, — что слышно то есть нонче в вашей стороне?

— О чем спрашиваете?

— Да о тех же все, о ездящих тут в степи! Правда ли, сказывают, быдто он вор как есть и быдто вовсе не царь, а только взял на себя такое имя?

Франт лакей тоже сплюнул и опять затянулся из трубочки.

— Нам какое дело! — ответил он, отставив ногу, одетую в голубой плис с серебряным позументом, и вертя ею перед собой. — Мы не баре, холопы, наше дело — молчать. Опять же где нам про такое то есть дело судить? Оно точно, слышно, быдто именно всякие люди ездят в тутошних местах; а вор ли он, заправский ли государь, про то, дядя, мы не сведомы.

— Нет, слушай, малый; набью тебе еще трубочку, покури, — продолжал, оглядываясь, кухонный мужик, — ты, как перед Богом, скажи, правда ли, что он, этот-то старый или новый царь, отбирает у господ, ослобоняет то есть мужиков, и правда ли, быдто, как только осерчает, сейчас вешает не токмо начальство, а и господ?

— Как какие господа! — с важностью ответил, взглянув на старика, лакей. — Ваша, чай поди, живодерка?

— Что ты, что ты! — в ужасе замахал руками старик. — Нечего Бога гневить, тятенька ихний был точно — куда строг, а она сердечная, ничего... Одна беда, наедут гости из города, али как вот ваши, допоздна сидят; кричат, гляди, петухи, а им ужин подавай... Ну, а как ваши? Строгоньки, спуску не дают?

— Изверги, — усмехнулся лакей, кончив курить и выбивая о ладонь трубку. — Да что! У вас, дяденька, до петухов, а у нас до солнца; музыка, карты, пляс... Особенно эти карты, ломбер али тот фараон; доиграются инова́, на столах негде записывать выигрыша, пишут на сапогах.

— Насчет воли этой что слышно? Будто ни податей, ни барщины больше не отбывать?

— Как не слышно! Всякое толкуют, да мы на это плевать. У нас две барышни на выданье; так будет такой развальяж, фейерверки, комедия, из Казани ждут трубачей... Нам справляют новые ливреи, желтые... Опять же и насчет шляп...

— Ну, на барынино рождение и у нас будет фейверк, — ответил, уходя и не желая уступить заезжему молокососу, старик, — а музыка и всякое угощение к нам выписаны не токмо из Казани, из Москвы. Да у вас сколько душ?

— Триста.

— Ну, а у нашей — три тысячи! Одной прислуги пятьдесят человек, да своя вон антиллерия...

Дом и усадьба Варвары Ивановны Туровцовой с приездом Серафимы Львовны и ее семьи наполнились давно небывалым здесь оживлением. Гости из города и окрестных поместьев съезжались сюда чуть не каждый день. За стол садились по сорока и более человек. Предпринимались поездки в поле, на берега Волги и в лес, где пили чай, собирали цветы и грибы. Устраивались катанья, с музыкой, в лодках — по лесным озерам и на большом парусном катере — по Волге. Пожилые по вечерам играли в карты, молодежь собиралась у клавикордов; пели, играли в фанты и танцевали.

XXIII

Если молодые, заезжие из Казани и отдаленных деревень помещики привозили и шепотом передавали какую-либо неприятную весть о новых похождениях и неистовствах Пугачева, вновь, как стало слышно, появившегося из-за Уральских гор и бунтовавшего тамошние помещичьи и казенные заводы, то другие, пожилые, этим слухам не придавали особого значения и старались им не верить.

— Все это бабьи страхи и вздор, — рассуждали выросшие в давнем, глубоком мире и тишине старожилы. — Ну, где ему против регулярных войск! Притом такая даль, где-то в башкирских и киргизских степях... Да в Казани сколько полков — вятский, владимирский, томский, гренадеры, карабинеры, бахмутские гусары!

— А как злодей все-таки нагрянет сюда? — возражали робкие и более впечатлительные вестовщики. — Ведь у него скопища по десяти, двадцати тысяч!

— В Казань-то, батенька? На этакую крепость? — усмехались старики, служившие когда-то в военных и участвовавшие в походах с Минихом. — По-вашему, этот разбойник, казак некий, — что ли, герой, Марий-бесстрашный или Цезарь-стратег?

— А что же такое Пугачев?

— Маркитантишка плюгавый, не больше! Пьяница был всегда и грубиян, как и следует мужику, а все его войско — сброд каналий, оборванной голытьбы, вот и все. Настигни его настоящее войско, произведи, как след, атаку, с диверсией, обходом с флангов и прочим, не устоять ему и часу. Хорош стратег, удирает в степь от первой правильной пальбы. Трус он подлый и только изменой, предательством берет!

— Однако же, — не унимались возражатели, — что ни говорите, а Пугачев дерзок и смел; носится на коне под пулями перед нашим фронтом; топнет ногою, — легионы из-под земли выходят... А как мучает пленных, непокорных ему? Офицеров расстреливает, священников ребром вешает на крюк, истекающих кровью раненых топит без сожаления в колодцах и прудах... Детей, невинных младенцев, вверх ногами вешает на глазах матерей... А жен и девиц берет к себе в поварихи. Это ли не смелость? И уж если Емелька не римский герой, то, по правде сказать, сермяжный Аттила, крещеный, для позора народа и нашей веры, современный Тамерлан.

— Эх, видно и впрямь, сами вы, господа, храбрецы! — отвечали прижатые к стене старики. — Верите всякому об этом разбойнике авантюрьерскому вранью и галиматье. Уж и Аттила, и крещеный Тамерлан! Ну, чего бояться его хоть бы нам с вами? Посудите толково... Казань окружена крепостью, батареями; в ней свыше двухсот пушек. Так ли это? Нет, вы скажите, ложь это или верно?

— Ну, верно. Что же далее?

— А если верно, то где же этой, извините, беспорточной команде, этой ораве мужиков, отважиться хоть бы на осаду, или на штурм такой правильной и всем снабженной крепости, когда, во-первых, о их подступе все будут знать наперед, — не степная же это жалкая фортеция, вроде Озерной, — и, во-вторых, защищает ее, с достаточным войском, такой опытный генерал, как наш губернатор фон Брандт... Пусть попробуют! Притом и измены нам не ждать, кругом нас тихо, ни голода, ни мора, ни поветрий, а урожай, кстати, какой — давно не было такого. Так-то, государи мои, напрасная тревога... Народ не глуп, истязателей между нами нет, и не из чего ему бунтовать.

— Но позвольте, позвольте, — не унимались спорщики-пессимисты, — кому же неизвестно, что все на свете рабы испокон веков всегда того только ждали и ждут, чтобы освободиться, и для этого готовы хоть растерзать своих владельцев, как бы последние, подобно нам с вами, ни были склонны сердцем и добры...

— Что вы, что вы! — шептали, в ужасе оглядываясь, старики. — Говорите такие слова! Затворили бы хотя двери, слуги услышат.

— А именно-с... И нечего затворять дверей. На то подданные мужики и чернь, чтоб питать ненависть и сокровенную злобу к власти, к достатку и к господам. Нет между нами бездушных истязателей, вроде хотя бы московской, по правде надо сказать, просто безумной Салтычихи; это истина-с, и наши, да и соседние дворяне не ославлены еще, благодаря Бога, никаким вопиющим претекстом к бунту и

насилиями над крепостными. Но так всегда было в мире, так и будет... раб остается рабом.

Старики хотели возражать.

— Non, non, messieurs, notre peuple n'est pas sûr, — перебивали их спорщики уже по-французски, увидев лакея, входившего с чашками чая на подносе, — et vous le savez bien, vous memes, que le scélérat fera beaucoup de mal, s'il parvient jusquá Kazan.

— Mais écountez donc, Степан Романыч, — перебивали старики, когда лакей удалялся с чашками, — ну, чем соблазняют хоть бы этот народ? Вы читали воровские листы, эти манифесты самозванца?

— Нет, не случалось.

— Ну, а вот я читал, губернатор привозил... Штиль, батюшка, глупый, подлый и чисто мужицкий, как и все у этого злодея мужицкое и подлое.

— Да что вы толкуете? Да ведь мужику того только и нужно! Что ему обещает Пугачев? Полную свободу от барщины и податей... И ему только этого и надо...

— Я, сударь, сам подати за своих плачу.

— А он обещает им и землю даром.

— Да и у меня бери земли, подлец, сколько хочешь.

— Бери, однако, с моего согласия! А тогда мужик и сам возьмет, так-то-с!

— Опять же чем их манит этот злодей? На что, говорит, церкви и попы? Хочешь венчаться, обойди с девкой вокруг куста и баста, ты совершил брак... Самокруткой, понимаешь?

— Ну, это вы уже чересчур, Иван Ильич!

— Нет, не чересчур-с! Эх вы, вольнодумцы, послать бы вас в гости к Шешковскому, посадить бы хоть одного из вас в его кресло с секретом... Был это я намедни в полицейской ратуше; привели при мне пойманного под городом лазутчика. Связали, стращают, грозят плетьми; сказывай, мол, говорят, видел ты Пугачева? Каков он собой? А лазутчик отвечает: что же, господа? Правду скажу, видел ба-

тюшку царя, и таков-то он милостив, нищелюбив, светлодушен и сладкоречив.

— Задал бы я ему это светлодушие!

— Да и задали... Не будь подстрекателей и мутьянов, не совратить наших подданных. Во всем нашем округе не из чего бунтовать. Да хоть бы и дерзнули, один наш православный герой Михельсон чего стоит? Налетит сюда и сразу прекратит политическую чуму, неистовство и злое похабство слепой и глупой черни. Он один справится, возвратит и усилит символы нашего счастья, снимет веревку с шеи всего российского дворянства.

— Вашими устами мед бы пить!

На эти и подобные им разговоры Алексей Андреевич Дуганов наружно не обращал никакого внимания. Внутренне же они тревожили его и смущали, и он не раз после такой беседы долго бывал не в духе.

Стояли превосходные, теплые дни конца июня. Рабочая пора была в разгаре. Поля кишмя кишели народом. Убирали сено. Поспевала рожь, на славу отцветали просо и гречиха. Был обильный пчелиный взяток; улья ломались от меда, и пчелинцы не успевали собирать роев. Ожидался незапамятный урожай огородины и плодовых садов. Деревенские околицы по вечерам оглашались песнями возвращавшихся с поля загорелых косарей и убранных цветами и лентами гребчих. Довольство радостного трудового народа отражалось и на веселии господ...

В туровцовской усадьбе уже более двух недель готовились к празднованию дня рождения Варвары Ивановны. В саду, над ближним озером, ставили шесты и размалеванные декорации для фейерверка. Из Москвы пришли подводы с винами и заморскою бакалеей, из Казани — с свежепросоленною, копченою и вяленою рыбой. В Казани же договорили для танцев хор военных трубачей, а для парадной обедни — соборных и архиерейских певчих;

собственный домашний хор должен был петь за столом. Из Москвы к церковному служению доставили новые богатые ризы, а каменный пятиглавый храм, еще с весны, подновлялся живописью и украсился новою утварью, в том числе дорогим хрустальным паникадилом и выписанными с ярмарки, из Астрахани, персидскими и тибетскими коврами. Все любовались отделкою богатого, старинного храма. Домашний священник, отец Гервасий, надев новую шелковую голубую рясу с широкими рукавами чувствовал от предвкушения радостей праздничного торжества, что он не ходит, а как бы носится, парит на пышных, лазоревых крыльях. Все было уже вполне наготове; свезен на конюшни в кладовые запас сена и овса для лошадей ожидаемых посетителей, садовый павильон, один из флигелей и несколько пустых амбаров на главном дворе были очищены, убраны и превращены в спальные помещения для гостей. Ранее других ожидали Марью Родионовну с Нинет Ладыженцевой да Силу Фомича Травкина, который вызвался встретить Мари при ее возвращении из Свиблова в Горки и проводить ее сюда. Время, назначенное для приезда Мари в Туровцово, давно прошло. Ожидали еще неделю и две. Мари не являлась.

«Что бы это значило? — раздумывал Алексей Андреевич. — Уж не заболела ли она? Ни писем по почте, ни нарочных. Заболела бы — Травкин наверное бы известил!» Поднимаясь, как бы для развлечения, утром и вечером на вышку бельведера, Алексей не без тревоги наводил зрительную трубу в ту сторону, где лежал путь от Самары, и высматривал, не видно ли облака пыли, не катит ли издали в Туровцовку знакомый синий берлин Мари. «Сюрприз хочет нам сделать, — думал он о свояченице, — нечаянно решила подкатить!» Но ожидания Алексея оказывались тщетными. С самарской дороги он невольно обращал зрительную трубу на сибирский тракт, уходивший в загадочную даль, раздумывая, все ли там благополучно.

XXIV

Однажды вечером, в воскресенье, когда все сидели на балконе и Серафима вслух читала Варваре Ивановне недавно полученный из Петербурга новый французский роман, человек подал Алексею Андреевичу несколько писем с почты.

— От Силы Фомича, — сказал Алексей, распечатав один из конвертов.

— Не пишет ли чего о Мари? Читайте, — послышались голоса.

Дуганов пробежал про себя полученное письмо, соображая, все ли в нем можно сообщить слушателям. Над некоторыми сведениями он было задумался, но затем прочел письмо вслух.

«Досточтимейший Алексей Андреевич, — писал Травкин, — сообщаю вам горестные вести, до коих доведался вчерась в Саратове, куда совершил краткий вояж к знакомому вам ученому звездочету г. Ловицу. Колец Сатурна в его телескоп еще не видно — будут зримы, как ведомо вам, токмо в августе. А бывшие у него гости, толкуя о Сатурне, повели речь и о земной, всех нас занимающей яицкой гидре. Оный ядовитый зверь, представьте, покинул Магнитную крепость, разорил и ограбил за Уралом множество рудных заводов и сел и перешел снова, как слышно, по сей бок тамошних гор. Упаси нас, Господи, от него и помилуй. Но к сему и приятное услышал я. Ваш всеми хвалимый герой Иван Иваныч Михельсон, яко истинный патриот, неусыпен в гоньбе за ним. И что за молодец! Нынче разбивает изверга здесь, завтра наносит ему пагубу там, но под силу ли, скажите, все то совершать с малою горстью храбрых, почти одному? Аки аравийский вихрь, на истомленных казенных лошадках он настигает оборванное скопище; а те нахалы и срамцы разве стесняются? В каждом селе силою берут новых, свежих коней и, завидя погоню, летят далее, аки снеговой ураган. Защитительное попечение бесстрашного героя

и малой горсти его улан, гусар и прочих при нем штатных людей, хотя весьма и ободряет наши ду́хи и смущенные сердца, но остановит ли оная горсть злобного того яицкого тигра и всю его зверояростную месть? Преградит ли она вконец путь его дерзким и пронырливым набегам? Театр бунта, увы, видимо расширяется, растет. Ахти-хти, как бы отрожденный христианскою утробою Чингиз не наскочил на нас, истребляя всех неповинных, здесь живущих по Волге дворян, как перебил и захватил по Яику и иным рекам? Ужли погибнем и впрямь, аки ночные весенние бабочки, сиречь эфемериды? В сих-то тисках, почтенный Алексей Андреевич, не от трусости и не как чехвал или пустой фанфарон, а из расположения, яко друг вашей семьи, нахожу за нужно сообщить сии, без должных, может быть, комм и пунктов, предостерегательные ремарки. Эй, благодетель наш, берите меры, укладывайтесь, уговорите и ее превосходительство, высокочтимую Варвару Ивановну, и — у́тру-су́щу либо во едину из тихих нощей уезжайте, не откладывая, с домочадцами и с добром, какое поценней, из ваших сельских мест, да не в Казань, а прямо в Москву, еще же того лучше в Питер, где близость самой монархини и столько защиты от войск. И если бы, прямо из Свиблова, прибыла к вам Марья Родионовна с Ниной Александровной, берите, не медля, и их с собой. Ведь поместье, где ныне обретаетесь, на исстари ведомой, сиротской и гулевой сибирской дороге. Ах, берегитесь! По ней, того и гляди, нежданно объявится треклятый могильный филин. Его пособников-нетопырей, слышно, уже во множестве половили и ощипали; да он, дерзостный и ядовитый убийца, еще цел и, на пагубу неповинных, носится крылатый. И все-то домашние воры, скрытные злодеи, видимо, молятся в сердце: гряди, семо, сын геенны, ждем не дождемся тебя! Эй, спасайтесь, пока есть время, бегите, хоть то и тяжело. Не глядите на нерешительных; запрягайте коней, спешите, памятуя изречение: отруби руку по запястье, коли добра себе не хощет. О главном думайте — о жизни, а не о мелочах. Меня же, малого, за сии дерзкие, может

быть, строки не осуждайте. Огненная лава, кровавый поток настигает. Не теряйте времени. Остаюсь — Сила Травкин».

Это письмо сильно озадачило слушателей.

— Что же это, однако? — произнесла первая Серафима Львовна. — Неужели все это верно и опасность, даже здесь, так велика? Да говори же, Alexis, как твое мнение?

— Не думаю, — ответил Алексей Андреевич, желая по возможности успокоить взволнованных. — Травкин получил сведения в Саратове, но оттуда Пугачев чуть не за тысячу верст; мы ближе, и в Казани, разумеется, знают обо всем лучше, чем там, здесь же все спокойны.

Поднялись горячие споры. Одни стояли за немедленное исполнение совета Травкина: «Недаром старик тревожится, он желает нам добра!» Другие уверяли, что все это ложные и преувеличенные слухи, что Сила Фомич хотя дельный и прозорливый человек, но уже чересчур напуган роковою кончиной своего брата на Яике и что, наконец, во всяком случае, даром бить тревогу и укладываться в путь, когда под боком укрепленная Казань и все уже готово к празднику, значит, не только попусту смущать прислугу, но и вообще подавать пример трусости и излишней суеты.

Варвара Ивановна, все это время молча вязавшая, в очках, какой-то шелковый с бисером кошелек, спокойно выслушала все мнения, поправила спавшую у нее на коленях под гарусным одеяльцем крошечную, с розовым бантиком на шее, болонку, откинулась в мягкое кресло, на котором обыкновенно сидела, придвинула ближе к глазам очки и сквозь них пристально взглянула на спорщиков.

— Слушала я вас, слушала, — сказала она, — и, признаюсь, немало удивляюсь. О чем споры? Дело так просто. Вы, Alexis, съездите в город, повидаетесь с губернатором и допросите его, от моего имени, да построже, толком, чтоб он внял, ну, и все узнаете... Есть какая-либо опасность — наш праздник можно и отложить; нет ничего важного — все пойдет своим чередом... Аттила, Чингиз, Тамерлан!.. Какие,

подумаешь, страсти! Бунтует горсть глупых мужиков — и все тут. Разве у нас войска мало? Поль Потемкин приехал, строят батареи, даже гимназистов вон вооружили. Будет опасно — скроемся в крепость... А наконец, эка невидаль, ну, уедем, пожалуй, и в Москву.

— Но, maman, — начала было Серафима, видя по лицу Алексея, что тот не совсем разделял мнения ее крестной, — пока соберемся в Казань или в Москву, все вдруг может случиться.

— Перестань, ma chère, неподходящие вещи говорить, — недовольно перебила Туровцова, опять подвигая очки к глазам и через них оглядывая присутствующих. — Да ты забыла, сам губернатор удостоил принять приглашение к нам, и, если бы дела здешних мест находились мало-мальски под сомнением, неужели он не прислал бы заранее отказа и не дал бы должного, по своей обязанности, совета и руководства? Поезжайте же, Alexis!

Алексей Андреевич утром следующего дня отправился в Казань. Проезжая парком, потом тенистою лесною просекою, он вглядывался в вершины столетних дубов, вязов и лип, ветви и листья которых были недвижимы в сонной и пахучей прохладе, оглашаемой только стрекотанием кузнечиков, и думал: «Как здесь тихо, спокойно! А там, на востоке? Ждать ли оттуда беды?»

В городе, куда он приехал, было, по-видимому, также все спокойно. Стены старинной крепости были подновлены и на них, кроме прежних, установлены новые пушки из арсенала. Со стороны Арского поля, Суконной и других подгородных слобод насыпались и вооружались новые батареи. День стоял безоблачный, жаркий. По улицам города и крепости мирно двигались пешеходы, дребезжали пыльные извозчичьи дрожки и долгуши, раздавались крики разносчиков: «Блины горячие!», «Сбитень, сбитенек!» — и на скамеечках у лавок, обмахиваясь от мух, дремали толстые и загорелые, изнывающие от жаркой, безветренной погоды купцы. Торговки, грызя вечные семечки и повторяя со вздохом: «Ох,

тошно, матушки! Тошнехонько чтой-то!» — также чуть не падали от дремоты.

Коляска Дуганова подъехала к губернаторскому дому. Алексей Андреевич взошел на крыльцо, обмахнул платком пыль с сапог, оправил на себе платье и шляпу и поднялся по парадной лестнице. В прихожей от гарнизонного дневального, снявшего с него плащ, он узнал, что губернатор, генерал фон Брандт, дома и что никого из посторонних у него нет. Войдя в приемную, Дуганов увидел у окна седого и толстого губернаторского слугу, спавшего на стуле с чулком в руках, который он по уроку вязал. Алексей едва добудился его.

— Ах, батюшка Алексей Андреевич, это вы-с! — вскинулся, отирая губы, лакей. — И не приметил вас, извините...

— Принимает ли генерал?

— Вас-то, батюшка? Помилуйте, что вы! По всяк час... Пожалуйте-с! А мы, день-то жаркий, маленечко вздремнули; их превосходительство тоже купались и только что вернулись с реки.

«Огненная лава, кровавый поток настигает! — думал Алексей, идя за слугой по тихим, пустым комнатам. — А они купаются ради прохлады, спят!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КРОВАВЫЙ МЕТЕОР

И, видев некоего — обидима, способствова и сотвори отмщение.
Деяния Апостольские, VII, 24

I

Лакей отворил Алексею Дуганову дверь в губернаторский кабинет.

Генерал фон Брандт, худой и высокий, с красными от недавнего купанья глазами, полулежал на мягкой софе, просматривая полученные в то утро гамбургские газеты. Он был в зеленом шелковом халате, в бухарских туфлях на босу ногу и в черной шелковой шапочке поверх мокрых и развившихся после купанья волос.

— Ба! Кого вижу? — с удивлением и радостью вскрикнул Брандт. — Милости прошу, дорогой гость, садитесь. Как здоровье Варвары Ивановны?

— От нее-то, по ее поручению, я и приехал, — ответил, усевшись, Алексей, — скажите, ваше превосходительство, мы получили письма... Что слышно о злодее?.. Где он, далеко ли? И нет ли какой-либо от него опасности здешнему краю?

— Опасности, гм!.. — произнес Брандт. — Да не хотите ли трубочки? Вот вам табак, рекомендую — свежий.

— Нет, благодарствую; курил дорогою.

— Вы получили, говорите, письма? — продолжал Брандт. — А вот я ничего и ни от кого не получаю; точно сговорились, точно ничего нет! И если что, сказать вам, знаю, то единственно отсюда, — указал он на пачку немецких газет.

— Что же говорят газеты?

Губернатор потер себе переносицу и, взяв с двух сторон шапочку, передвинул ее на лысой голове.

— О, эти заграничные газеты, — ответил он, — хотя они, знаете, все наше русское осуждают и подчас зло острят, но говорят и правду. По их мнению, мы проиграем дело, а Пугачева, представьте, эти столь умные и серьезные немцы считают, как бы вы думали, кем?.. Братом претендентки на престол, княжны Таракановой.

— Но как ваше мнение о здешнем народе, о крае? Сладим мы с Пугачевым?

— О, в этом будьте спокойны! — ответил Брандт. — Благодаря Богу, здесь у нас все еще пока благополучно. Я еще сегодня делал смотр гарнизону и артиллерии. Приняты все меры, и, хотя вначале скудно было в орудиях, порохе и офицерах, теперь все то улажено, а если дерзкий самозванец осмелится явиться перед нашими стенами, мы его не допустим и отобьем. Одно горе, — сказал и остановился Брандт, запахиваясь в халат.

— Что именно? — спросил Алексей.

— Прислали нам этого Павла Сергеевича Потемкина. Я буду с вами откровенен, — произнес Брандт, — ну, я вас спрашиваю, на что он мне, и как тут упражняться с серьезным делом, когда тебе на шею садят этакого, извините, надутого чехвала и вредного хвастуна? Кузен фаворита! Да нам-то, верным слугам монархини, на что он? Врет, похваляется, будто ему дана верхняя над всеми власть. Дух отбивает... приходится одно — сложить руки и терпеливо сидеть, аки... Как это говорится? Аки Иову на гноище...

— Что же здесь поручено Павлу Сергеевичу? — спросил Алексей.

— А Господь его знает. Инструкций не показывает, вмешивается во все, подрывая решпект к истинному владыке края, — вот и все его дело... Придирчив, мелочен и груб.

— Но почему же все это вышло так? — спросил Алексей.

— Благоговение перед державством смыкает верным рабам уста, — ответил, склонив голову, Брандт. — Тут я, государь мой, безгласен и нем! Но чтоб я спустил обидчику потому только, что он двоюродный братец фаворита? Атанде-с! Извините... Великая монархиня по высокоматерней любви к подданным всех призревает и отличает равно... За что же такая власть выскочкам и блюдолизам двора? Я старше его годами, чином и службой. Обиды такой не прощу.

«Экое горе! И такова судьба всех наших дел! — подумал, слушая эти жалобы, Дуганов. — Тут бы заботиться о единении, об общих усилиях для охраны города и края, для истребления врага, а они не успели встретиться, и уже оба чуть не на ножах!»

— Как же, однако, вы думаете, ваше превосходительство? — спросил Алексей. — Опасность не грозит нам? И вы первый — можно ли надеяться — удостоите ли нас, по обещанию, своим заездом?

— Пока, сударь мой, повторяю, — сказал, покраснев и хмурясь, Брандт, — пока я на этом месте, злодей не осмелится, не дерзнет сюда приступить! Есть слабые духом, не скрою от вас, есть трусы, собрались и уже тайно выехали из города.

— Давно ли?

— По ночам, батюшка, украдкой, — горько усмехнулся Брандт, — но что же это значит? Ровно ничего, малодушие, и только.

— Так что же окончательно сказать Варваре Ивановне? — спросил Дуганов, вставая и взяв шляпу.

— Кланяйтесь ее превосходительству и скажите: пусть будет совершенно покойна... Не допущу злодея на пушечный выстрел, сам выступлю впереди войска и горожан, а в доказательство, что все страхи ложны... из первых, да, из первых буду на вашем празднике.

Алексей поклонился и вышел.

— Еще слово, — сказал по-немецки Брандт, догнав его в зале, — если бы, однако, сверх ожидания, злодей предпринял покушение сюда, я дам тотчас знать, и тогда милости просим в нашу крепость. Тут увидите, как я разнесу и добью злодея. Так и передайте почтенной Варваре Ивановне.

«Передать-то все это я передам, — рассуждал Алексей, едучи обратно тем же дремучим, спокойным лесом из Казани, — но дело, кажется, действительно неладно, и надо, ввиду их несогласий, принять решительные, безотлагательные меры».

Возвратясь в Туровцово, Алексей успокоил, как мог, Варвару Ивановну и остальных домашних. В тот же вечер, однако, когда в доме все затихло, он призвал к себе своего кучера, спросил его, подкованы ли лошади и исправна ли карета, и объявил, что надо готовиться, так как он получил письмо из Горок и, вслед за днем рождения Варвары Ивановны, должен ехать восвояси. «И отлично, сударь, — ответил кучер. — Пора! И то лошади томятся, точно от домового, по ночам корма не едят...»

Под шумок последних приготовлений к празднику Алексей и Серафима, которой муж по секрету объяснил свое решение, уложили свои чемоданы и сундуки.

— Это уже вы и собираетесь? — спросила Варвара Ивановна, застав их за укладкой.

— Нельзя, maman, — ответила Серафима. — Хлеб у нас поспевает; да и Мари беспокоит своим молчанием. Приготовимся заранее; наедут гости, в суете при них будет не до сборов.

— Так, так, — вздыхая и уходя, сказала старуха.

Слуги и все в доме также знали уже, что Алексей и Серафима едут тотчас после праздника, и потому никто не удивился, когда к садовому крыльцу, откуда был ход на половину Дугановых, подкатили укрытую белым чехлом их карету, а для вещей и прислуги фургон. Варвара Ивановна старалась быть покойною, но она с грустью смотрела на Серафиму и на ее резвившихся по дому и по саду детей.

«Все это шумно, полно жизни теперь, — думала она, — а скоро все разъедутся, дом опустеет, и опять я останусь одна. Ну, да я готовлю им сюрприз. Все собиралась к ним в Горки; теперь, едва уедут, покачу к ним и сама».

До праздника Варвары Ивановны оставалось не более трех-четырех дней. В это время ждали окончательно приезда Мари. «Не пишет, значит, едет!» — думали все. Но Мари не ехала и не отзывалась.

— Что же это, наконец, значит? — не вытерпев, с тревогой спросила Туровцова Алексея. — Уж и в самом деле, здорова ли Маша? Написали бы вы к Травкину или к Нинет.

— Писал, успокойтесь; думаю, она будет не нынче завтра.

За день до праздника, утром, когда в доме еще спали, Алексей, по обычаю, поднялся на бельведер и с мыслью: «Ну, наверное, ничего опять не увижу!» — навел подзорную трубу на окрестности. На сибирском тракте было пустынно и тихо; там лениво тянулся какой-то обоз и чернело несколько отдельных пешеходов. Алексей навел трубу на лесную просеку и стал смотреть пристальнее. По дороге от города столбом неслась пыль. Среди просеки он увидел всадника, скакавшего к туровцовскому двору. Миновав мост через ручей, всадник скрылся за садом. «Не с почты ли?» — подумал Алексей, вспомнив, что с вечера поговаривали о посылке в город, и сошел с бельведера. Внизу на галерее, со-

единявшей дом с служительским флигелем, он увидел своего камердинера Дрона. Постоянно в пудре, в сером ливрейном фраке, в башмаках с стальными пряжками, солидный, важный и плотный Дрон теперь казался растерянным.

— Что это? Нарочный из города? — спросил его не совсем спокойным голосом Алексей.

Дрон молча подал ему на подносе несколько писем. От крыльца к конюшне через двор шел, пошатываясь, ездовой Сашка, ведя под уздцы дымившегося, усталого коня. Алексей в поданной пачке пакетов разглядел письмо от Мари, вскрыл его и начал читать. Письмо было из-под Самары. Мари извещала, что нежданно возникшие слухи о приближении самозванца и его полчищ от Уральских гор к Волге так сильно смутили ее и напугали, что она, как ей это ни прискорбно, после долгих колебаний решила отменить свою поездку в Туровцово и обратилась с просьбою к Травкину — прибыть в Свиблово и немедленно проводить ее в Горки, где она и будет ждать возврата Алексея и Серафимы. «Поздравьте за меня почтенную Варвару Ивановну, — писала Мари, — а на меня не сетуйте. Вы себе представить не можете, дорогие мои, какие ужасы и страсти рассказывают здесь о неистовствах злодея и его изуверов. Казаки-раскольники из его войска врываются в церкви православных, обдирают оклады с образов, пьют водку из причастных чаш, на дискосах едят мясо, утираются антиминсами, как платками, а в алтари пускают собак и свиней. Недавно гусары, заняв разоренную мятежниками крепость, нашли все образа храма в пулях извергов: злодеи нарочно расстреливали их, причем в уста Спасителя на распятии вбили гвоздь. Все это, Серафимочка, пишу тебе, прибавляя: ох, не сидите долго возле Казани; сейчас видела исправника — самозванец, по слухам, повернул на Осу, а это ведь на пути к Казани. Уезжайте скорее да берите с собой и крестную. Молюсь Пресвятой Божией Матери, защитнице праведных. И знайте, если в Горках не застану вас, уговорю Силу Фомича и, долго не думая, пущусь с ним на Воронеж, в Ракитное.

Туда злодей авось уже не достигнет. Господь-вседержитель! В руце Твои предаюся, спаси нас, помилуй и защити».

— Итак, Марья Родионовна не будет, — сказал Алексей, дочитав письмо.

— Нездоровы? Занемогли? — спросил Дрон, глядя на барина и как бы собираясь еще о чем-то сказать.

— Нет, здорова... Но вышли такие обстоятельства...

Между прочими письмами Алексей разглядел пакет с почерком Травкина.

— Иди себе, — сказал он Дрону, вскрывая и читая это письмо.

II

Дрон отошел в сторону. Письмо Травкина еще более взволновало Алексея.

«Вечно незабвенный и высокочтимый благодетель мой и дорогой сосед Алексей Андреевич, — писал Травкин, — на днях дерзнул в репортиции своей дать вам от сердца совет. Ныне паки и паки считаю долгом подтвердить его. Эй, не отлагайте! Молю, заклинаю, спешите — великое началось шатание уже и в нашем народе; пошли везде крайне вредительные толки и колобродства. Чернь мятется на базарах, в кабаках и вопит: «Это нам, братцы, свет открылся, Господь нас сыскал; казаки, башкиры и всякие орды нашему батюшке, новоявленному царю, покорились; нам ли ему противотворничать? Надо милостивцу сдаться, надо пресветлого встретить, без лукавства, криводушия и пременения сердцов». Так-то, благодетели вы мои, толкуют у меня и даже в Горках. О, ужас! О, существо! Да неужели же, вслед за слепцами, верить тому, что злодей, оное подлое чудище, не самозванец, а воистину царь? Разве мог он, пытался я говорить заблудшим, сверх натуры воскреснуть и вторично объявиться живой? И царь ли он, твердил я

вашим и своим крестьянам, когда оскверняет храмы, без суда вешает и бросает в огонь неповинных священников, благодетельных вам помещиков и офицеров, а их семьи казнит десятками, сотнями! Обижают ли, мучают ли вас, скажите?.. Молчат на это омраченные слепцы и думают, по всей видимости, злое... До чего мы дождались! И неужели нам суждено вернуться к варварской эпохе, к безвременью Стеньки Разина, к смутам, бывшим за сто лет назад? Сердце болит, а поток грабежей, огня, виселиц и крови, по всей видимости, двигается и к нам оттоле, где погиб неповинный мой брат Павел. Его гласом снова заклинаю вас, Алексей Андреевич, и ваших: не слушайте легкомысленных и непрозорливых упорственников, бегите, спасайтесь! Аз же, грешный и малый, получив вчерашнего числа краткую цидулочку от дражайшей и всякой жертвы достойной Марьи Родионовны, в ту ж минуту, как пишу это, уже добыл почтовых и лечу к ней, дабы вызволить ее, со чадом и с кузиною, и сюда проводить в сохранности. И тако, мне шествующу, глаголю и со слезами клятвенно восклицаю: бросьте заверения хвастунов и претендантов на знание истины, недоступной им. Верьте испытанному другу и, хотя бы на крыльях ветра, спешите в свой угол, а тут уже потолкуем, как и что далее. С. Травкин».

— Варвара Ивановна проснулась? — спросил Алексей, дочитав письмо Силы Фомича и видя, что Дрон не уходил с галереи.

Дрон не отвечал. Алексей пристально взглянул на него. Смущенное лицо слуги озадачило его.

— Что с тобой? — спросил его Алексей.

— Огорчительные письма, видно, изволили получить из ваших мест, — сказал Дрон, — да неладные дела, сударь, смею доложить, и по здешней близости.

— Что такое? Говори, — произнес, подходя к нему, Алексей.

— Помирать, видно, отец родной, всем нам, — несмело, упавшим голосом, ответил Дрон.

— Не понимаю, объясни.

Дрон оглянулся. Руки его дрожали. Полные щеки тряслись от заглушаемых слез.

— Злодей... Пугач, — выговорил он с трудом, — идет к Казани... Поблизости уже видели... Тьмы то есть тем...

— Кто тебе это сказал?

— Сашка, ездовой, как отдавал письма.

Алексей взглянул в сторону конюшни. Сашка привязывал к яслям лошадь. Толпа дворни окружала его, очевидно, слушая его вести. Алексей с секунду подумал.

— Старая барыня оделась? — спросил он. — Чай, надеюсь, готов?

— Оделись, все приготовлено-с...

— Ну, Дронушка, ничего; все это, может быть, еще пустые россказни и слухи. Иди, не тревожь никого, все узнаем и примем меры.

— Ох, сударь, не слухи, — сказал, покачав головою, Дрон, — Сашка говорит, в городе такой переполох, суета; толкуют, за слободами видимо-невидимо злодейского войска... Поблизости гарцуют верховые, а дальше валом валит пехота...

— Повторяю тебе, это еще, весьма может быть, вздор... Подавай чай и поменьше пока об этом говори. Сейчас пошлю нового нарочного к губернатору. Молчи же... Понял?

— Понял-с.

Алексей, оставив галерею, направился к конюшне.

— Чего собрались? — громко крикнул он, останавливаясь перед дворовыми, окружавшими ездового. — Слушаете дурака?

— Да мы, батюшка, Алексей Андреевич, ничего, — отвечали, расступаясь и снимая шапки, дворовые. — Мы только так, что, мол, он бает?

— То-то, ребята, лучше по местам! — скомандовал Алексей. — А чтоб вам доказать, что не все то правда, что

сорока носит на хвосте, ну-ка, Филат да Сысой, — обратился он к своему и туровцовскому кучерам. — Готовьте лошадей, мы с Варварой Ивановной сами съездим вечером в город... Никакого Пугачева там нет.

— Одначе, барин, помилуйте, — отозвался было кухонный мужик в серой куртке, — оно бы, точно, ничего... Да вон Сашка божится...

— Ты сам его видел? Сам? — крикнул опять Алексей, наступая грудью на Сашку. — Ну говори, ракалия, говори при всех!

— Я, ваша милость, не то чтобы сам, — ответил, кланяясь, Сашка, — а люди, помилуйте, сказывали.

— То-то, люди! Сам где-нибудь увидел стадо коров, либо свиней... Ну, с пьяных глаз и струсил, небо с овчинку показалось!

— А и впрямь, ребята, может, так! Молодец барин! — рассмеялась, расходясь, толпа. — И взаправду Сашка, может, видел свиней...

Все общество Алексей застал в гостиной. Поздоровавшись с Варварой Ивановной и с прочими, он подсел к Серафиме, шепнул ей, чтоб она не выдала того, что услышит, и наскоро передал ей о полученных известиях.

— Так это правда? — спросила, помертвев, Серафима.

— Более я не сомневаюсь, будь готова, сегодня в ночь мы едем, — сказал Алексей, с чашкой чая пересаживаясь к общему столу.

— Какое чудное утро! — сказал он, спокойно оглядывая всех. — Не жарко, ветерок... Вот бы всею компанией проехаться в город.

— Quelle idée! — поморщилась Туровцова. — То разбойников ждут, а то вдруг кататься по лесам.

— Не пугайтесь, mesdames, никаких разбойников; но недурно бы снова справиться. Вон Травкин опять пишет...

— Ах, уж этот ваш Травкин, — вздохнула Туровцова, — надоел он, как горькая редька.

— Получено, однако, письмо и от Мари.

— Что же она, будет наконец?

Алексей помолчал.

— Нет, не будет, — сказал он.

— Почему?

— Боится и всем советует отсюда уезжать.

Туровцова подняла глаза к потолку и стала искать в ридикюле и карманах флакон с нюхательным спиртом.

— Прочти, что пишет Мари, — обратилась к мужу Серафима, подавая крестной лежавший на столе флакон.

Алексей прочел вслух письмо Мари, потом и письмо Травкина. Лица всех вытянулись и побледнели.

— А опасности, по-моему, все-таки никакой нет, — сказал Алексей. — Вы не хотите ехать, съезжу, пожалуй, снова я один и все разузнаю. Если же хотите окончательно успокоиться, я советовал бы, не долго думая, собраться да всем на время и переехать в Казань. Это, во-первых, город, а не деревня, во-вторых, там и войско, и полиция под боком... Береженого Бог бережет, да и губернатор почти приятель.

Все на это промолчали.

— Вы кончили? — спросила Варвара Ивановна, обращаясь к Алексею.

— Кончил... Это мое искреннее мнение.

— И отлично! — сказала Туровцова, надев очки и глядя сквозь них на Алексея. — Вы, Alexis, можете хитрить и дипломатничать, как знаете; скажу прямо, я вашу стратегему проникла. Не возражайте, вы в глубине души считаете меня неправою и находите, что отсюда прямо надо бежать... А я вам отвечу: отправляйтесь из этих мест с Божьей помощью, куда знаете, я же отсюда, — прибавила Варвара Ивановна, оглядывая гостиную, — и вообще из этого дома — ни ногой... Да, да, ни ногой!

III

Туровцова сказала это так решительно и с таким достоинством, а высокая, с зеркалами, бронзами и портретами императорской фамилии и предков, гостиная так весело освещалась солнцем сквозь ветви столетних деревьев, что все невольно подумали: «Да, эта стойкая и властная, подобно гордой львице, хозяйка не покинет этого дома и спокойно останется здесь».

— И что вы, в самом деле, думаете, — продолжала старуха, — неужели ваш этот Тамерлан и Чингиз — excusez du peu, как вы его называете, — осмелится с своими бунтовщиками проникнуть сюда и тронет меня или вас?.. А мои-то здешние подданные? Разве они выдадут меня? Ее величество, для ободрения края, назвала себя казанскою помещицей. Она сделала этим честь нам, да скажу прямо — и себе самой... Я же исстари, от предков, здесь, в селе, помещица, тоже царица... У меня тут три тысячи душ, и из них чуть не полторы тысячи здоровых и крепких хранителей. Я их не тиранила, я заботилась о них, холила и лелеяла их по все дни. В голод, сударь, сама толоконные лепешки да блины из лебеды с ними ела, а их детишек и жен от цинги в собственных моих хоромах лечила и кормила... так им бунтовать, за душегубами идти? Дронушка, а Дрон! — крикнула Туровцова, увидев в зале слугу Алексея, поливавшего из лейки на окнах цветы. — Иди, рассказывай им... Да святую правду... Ты не здешний, сторонний, говори, что слышал?

— Что приказать изволите, ваше превосходительство? — спросил Дрон, остановясь у двери.

— Говори, любят меня, почитают мои мужики?

— Как не любить свою то есть благодетельницу и мать! Одно слово, все ваше превосходительство хвалят.

— Слышите? А теснила я их? Обижала в чем-нибудь?

— Что вы, матушка, да когда же? Глаза лопни, ничего не слыхал, как есть.

— Ну, а защитят они меня, если бы, на случай, эти изверги... ну, вздумали бы прийти сюда?

— Живот, милосердная, положат, дубинами всякого побьют... Самому мне, глаза лопни, похвалялись...

— Vous voyez? — с торжеством оглянула всех Туровцова. — Ну, иди себе, Дрон, благодарю... Филиппычу и другим приказчикам уже велено, а ты моим именем еще подтверди, чтобы созвали сейчас всех сотских и старост и поставили бы с вечера караулы, с дубинами, а то и с ружьями — охотников у нас немало, — вокруг деревни и выселков, на дороге и у двора. Понял?

— Все, матушка, понял, — ответил, уходя, Дрон.

— А вы, господа, как знаете, — заключила, вставая, Туровцова. — Завтра я пойду к обедне, помолимся, закусим, много гостей, ввиду таких слухов, пожалуй, вправду, и не ждать, — поморщилась старуха. — Можете ехать куда угодно — в Казань, в Горки, хоть в Москву, я же, с Божьим благословением, останусь здесь.

С уходом Варвары Ивановны Алексей, Серафима и прочие домочадцы сперва помолчали, потом стали толковать: «Неужели же так и оставить здесь старуху? И что, если ездовой Сашка в самом деле сказал правду?» Перед обедом решили снова послать, для более точных разведок, верного нарочного в Казань. Алексей тем временем на всякий случай настоял на окончательной укладке. Серафима с горничной не только собрала, но и упаковала последние из имевшихся своих и детских вещей. Оставалось только вынести все это в стоявшие у крыльца экипажи. Лошади Дугановых с обеда ели корм в хомутах.

Обед и вечерний чай прошли невесело. Все с видимым смущением, нетерпеливо ожидали вестей из города, куда Алексей Андреевич написал обстоятельные письма не только к губернатору, но и знакомому полицеймейстеру. «Разъясните, наконец, — спрашивал он их, — верны ли дошедшие

до нас слухи, будто злодей уже невдали от Казани, и не уехать ли нам, для спокойствия, из этих мест?»

Солнце склонилось к закату. Посланный с письмами «верный разведчик» еще не возвращался. «Написали бы вы только губернатору, — вскользь заметила за чаем Варвара Ивановна Алексею. — Он экспедитивнее и ответил бы сейчас, а полицеймейстер — порядочный суета, и где его там найдут, в постоянном шнырянии по городу?» Не менее других томясь неизвестностью, но скрывая это, Туровцова ранее обыкновенного велела подавать ужин и, не дождавшись конца его, встала, под предлогом усталости, простилась со всеми и ушла к себе.

Стемнело. Все в доме и флигелях улеглись. Настала общая тишина. Часы с музыкой нежным певучим звоном пробили в зале девять, десять и одиннадцать. В окна замолкшего дома из сада глядела тихая звездная ночь. Караульные во дворе, на деревне и за садом били в чугунные доски. Скоро и они угомонились. Заснула деревня, как и барский двор.

Туровцова не спала. Из-за белого кисейного полога ей была видна ее просторная, уставленная комодами и канапе опочивальня с лампадкой, горевшей у образов. Перед окнами чуть шевелились в темноте верхушки деревьев.

«И неужели, наконец, это правда? — невольно раздумывала в постели Туровцова. — Неужели и в самом деле надо бросить этот угол, родное гнездо предков, и бежать, спасаться, от кого? От горсти бунтующих, подбитых каким-то казаком мужиков? И этот дом, эти комнаты, мебель, картины и гобелены — все нажитое дедами и отцами, может достаться разъяренной черни, будет разграблено и истреблено? И за что?.. Я здесь бегала девочкой, росла; став законной владелицей вотчин, я заботилась о подданных, была им матерью, праведным судией, защитницей и другом. Неужели же эти самые люди, среди которых я выросла, в случае нападения на меня не станут за меня грудью, не защитят своей благодетельницы и госпожи? Быть не может!

В детстве рассказывали няни, пращур наш, при Стеньке Разине, был спасен своими подданными... Они спрятали его в стоге сена и, как ни грозили им Стенька и его клевреты, не выдали его. Пугачев принял имя покойного государя, но у правительства много войска и силы, и злодея, наверное, скоро уймут. Alexis не понимает сути дела, а она так проста. Для слепой, глупой черни самозванец — истинный царь. Чтобы повластвовать, хотя ненадолго, хоть накоротке, он истребляет главных своих противников — офицеров, чиновников, духовенство и дворян. Говорят, народ исполняет его казни; но он это делает не потому, что и сам он будто бы кровожаден или имеет причину мстить, а потому, что ему это приказывает мнимый, для него же настоящий государь. И что они толкуют? Крестьяне вон со слезами, не из одного села, везли к этому извергу своих помещиков и их семьи, говоря: «Вы нам отцы родные! Да что делать, надо слушаться — приказывает сам царь!» Их сбивают... Я же проповедников, возмутителей к себе не допущу... У меня своя полиция, не посмеют, буду в оба смотреть... У правительства достаточно войска; Казань укреплена, а губернатор клялся, что злодей не посмеет сюда. И разумеется, он, как честный, заботливый человек, известит, коли что... С этими мыслями Туровцова закрыла глаза и стала дремать.

Что-то неожиданно разбудило ее. Она взглянула по комнате. Поверх деревьев как бы что-то светилось. Сперва старухе показалось, что это всходит месяц; но тут же она сообразила и вспомнила, что месяц в это время над садом поднимался несколько левее, именно к стороне гостинного балкона. «Не начинается ли рассвет? — подумала она. — Нет, не может быть, с полчаса назад часы явственно прозвонили полночь, и я, помню еще, сама считала их бой». Полоса света над деревьями из бледно-розовой становилась красною и поднималась выше и выше. «Что же это, однако? Не пожар ли? — спросила себя Туровцова, спустив ноги с кровати и отыскивая ими на коврике туфли. — Надо разбудить прислугу, послать справиться, где это, у нас или

соседей? Как бы в стороне Волги, у Воейковых как будто или Ильиных, — село горит или лес?..»

Туровцова встала, набросила на плечи ночной белый капот, оправила на голове чепец и взяла бронзовый канделябр, стоявший на туалете, у ее изголовья. «Пройду к Аринушке, — подумала она о главной своей прислуге, старой ключнице, спавшей в особой каморке у буфета. — Она разумная, не поднимет спросонья лишней тревоги и суеты». Варвара Ивановна, проходя к лампадке, чтобы зажечь канделябр, невольно взглянула на окна. Зарево захватило уже чуть не половину неба. До слуха Туровцовой дошли странные звуки, но не снаружи, а точно кто-либо ходил по коридору или в гостиной. «Должно быть, проснулась Аринушка, прошла в девичью», — решила Варвара Ивановна. Но в это время как бы под чьею-то ногой треснула половица. Звук донесся из залы. «Эх, так и есть, Арина побудила горничных, и зачем? — подумала старуха. — Точно не знает их: еще даром разбудят и напугают Серафиму и детей!» Туровцова зажгла свечи, накинула себе на шею фуляровый платок и, с канделябром в руках, тихо отворила дверь в гостиную. Она ступила за порог и остолбенела. Канделябр чуть не выпал из ее рук.

IV

По освещенной зале двигались с поклажей слуги. Ими распоряжался встревоженный Алексей. Одетая в дорожный капор и манто, бледная Серафима сидела у двери гостиной на стуле, держа младшего из детей на руках, а двух других, также дремавших, — у своих колен. Толстая, подслеповатая, с непокрытою седою косичкой, Аринушка стояла поодаль, глядя в зальные окна на зарево, полыхавшее над садом.

— Серафима, да что же это? — в ужасе вскрикнула Туровцова, медленно выступая от двери спальни на середину гостиной.

— Ах, maman, — ответила Серафима, передав детей Аринушке и со слезами припадая к плечу крестной. — Великое горе! Мы все готовили, чтобы вам рассказать и предложить... Ах, родная! Пугачев действительно подступил к Казани и... зажег ее. Город с вечера горит со всех сторон.

Туровцова опустила канделябр на стол и молча перекрестилась. Ее окружили.

— Кто привез это известие? — спросила она.

— Посланный не возвратился из города: он либо попался в плен или погиб, — ответил Алексей. — Я перед вечером посылал другого, этот даже не доехал, к городу уже нет доступа.

— Тимошка братнин впервое ездил, ой-ой! — захныкала Аринушка. — Убили, видно, там, извели!.. Конец всем, конец пришел.

— Да полно, Арина, не смущай глупостями! — сказал Алексей, подвигая Туровцовой кресло. — Садитесь, Варвара Ивановна, и прежде всего, ради Бога, успокойтесь.

— И с чего ты взял, что я беспокоюсь? — ответила Туровцова, оглядываясь и ища в карманах свои очки.

Ей подали их.

— Я нимало не встревожена, — продолжала Туровцова, — а только удивлена. Творится что-то непонятное. Дарьюшка, Гаша, дайте мне шаль, тут что-то свежо. А ты, Alexis, говори, что это вы затеяли?

— Ехать надо, вот что! — сказал Алексей. — Мимо нас с вечера уже проехали Писаревы, Татищевы, Шеншины; дорога вправо и влево полна бегущими из Казани. Мы, Варвара Ивановна, только ждали конца укладки, чтобы вас не тревожить даром и разбудить, когда все будет уложено, и наше, и ваше. Все готово; лошади запряжены, надо ехать. Позван и священник для напутственного молебна.

— Едем, chère maman, одевайтесь, не медлите, — сказала, плача, Серафима. — Долго ли вам собраться?

— Служите, мои милые, молебен! Что же, Господь вам поможет! — ответила Туровцова, кутаясь в шаль. — И я охотно помолюсь с вами, но ехать — не поеду.

— Бабенька, не бросай нас! — закричали старшие дети Серафимы, вырываясь от матери и подбегая к старухе. — В нашей карете поедем; наша просторная, и Филат на козлах, — будешь нам говорить сказки, а у нас варенье и все...

— Спасибо, дорогие, и у меня карета и варенье, — ответила Туровцова, нежно обнимая и целуя детей. — Ну, можно ли расстаться с такими прелестными крошками, и есть же еще на свете такие наслаждения! Поезжайте, дети, я подожду и вас непременно догоню.

— Mais, de grâce, maman, au nom de Dieu, — сказала Серафима, подсев к старухе и всячески стараясь убедить ее не медлить.

— Да у меня дела, помилуйте, расчеты... Я остаюсь, а вы — что же? — поезжайте, с Богом. Все ли у вас готово? Эй, кто тут? Позвать Филиппыча... Не простудите только ночью детей. Деньги есть ли у вас на дорогу? Припасли ли мелочи?

— Есть, благодарим.

— И куда же это вы решили? В Горки?

— Нет, туда уже опасно — в Москву.

— На Арзамас и Рязань?

— Да, на Рязань.

— Ну, Господь с вами! Помолимся пойдем!

Туровцова вышла со всеми в залу.

Отслужили молебен. Отец Гервасий окропил всех святою водой. Слуги, крестясь, растерянно смотрели из коридора, буфета и прихожей на отъезжавших. Серафима с чувством склонилась на грудь крестной.

— Благословите, родная, нас и детей, — сказала она, отирая слезы.

— Господь вам да поможет, — произнесла Туровцова, крестя Серафиму, ее мужа и детей. — Не сомневаюсь, до-

едете благополучно, а там, даю слово, двинусь и я. Не в Рязани догоню, увидимся в Москве. Благодарю за посещение... Ну, сядем же, по обычаю, — заключила Варвара Ивановна, первая сев на стул и кивая Аринушке и прочим, чтоб и те сели.

Господа и слуги разместились по стульям.

— А теперь с Богом! — произнесла, вставая, Туровцова. — Кто вас провожает из наших? Без нашего собьетесь с пути.

— Дрон отлично знает дорогу, — сказал Алексей. — Он не раз отсюда ездил с нами в Москву.

— И отлично, смотри же, Дрон, в оба, береги господ... Кормить будете в Курмыше. Зайди к воеводе и кланяйся; скажи, его подарок — чайные розы — здравствуют... Повидимся вскоре, отблагодарю сама, а нашим, мол, прошу во всем пособить.

Все стали прощаться и медленно вышли на крыльцо. У подъезда стояли с зажженными фонарями готовые в путь экипажи. Слуги стали подсаживать в карету и коляску господ и детей. Одетый по-дорожному, у дверец кареты стоял без шапки важный и почтительно нахмуренный Дрон.

— От Курмыша на Пензу? — спросил он, обращаясь к барину. — Или прямо, на Москву?

— Поедешь, куда велят, — ответил Алексей.

Дрон молча захлопнул дверцу, подтянул на себе пояс и влез на козлы.

— Провизии взяли ли? — спросила его Туровцова.

— Все взяли, — ответил уже невидимый на козлах Дрон.

— Ну, с Богом! — объявила Варвара Ивановна, крестя с крыльца тронувшиеся экипажи.

Гремя колесами и тяжело переваливаясь кузовами, карета шестерней и коляска четверкой медленно выехали за ворота. Стук рессор несколько времени слышался за садом. Прогремев по каменной настилке мельничной запруды, экипажи выехали на большую дорогу и затихли.

— Ну, даст Господь, доедут благополучно, — сказала Варвара Ивановна, в сопровождении Филиппыча и Аринушки возвращаясь в дом. — Ступай, Филиппыч, осмотри — везде ли на местах стража?

— А как же на завтра? — спросил Филиппыч.

— Скажи священнику, я буду, как всегда, к ранней обедне... Все, что велено готовить, готовьте. Насчет же всего прочего призову утром и распоряжусь.

Туровцова прошла снова в спальню. Слуги и служанки, погасив в доме свечи, также разошлись по своим углам. В наставшей тишине слышались только постукивания в доски разбуженных Филиппычем сторожей. Кухонный мужик в серой куртке вышел на крыльцо поварни, глядя на яркое зарево, по-прежнему стоявшее над садом. «О, Господи, — подумал он, — Царица Небесная! Кому конец? Нам ли или господам? Воля или та же неволя, да еще хуже?» Над садом что-то громко бухнуло от Казани и гулко пронеслось к мельнице, по реке. За первым звуком раздался еще громче и раскатистее второй. «Палит! Пушки стреляют! — подумал, крестясь, мужик. — Он ли бьет по городу, его ли гонят оттоль?»

Возвратясь в спальню, Варвара Ивановна оправила лампадку перед образами, перекрестила комнату, погасила свечи, разделась и легла в постель. Звуки выстрелов остановили было ее внимание. «Наконец догадались, — подумала она, — стреляют по злодеям, наутро им конец... А ехать, пожалуй, надо. Все устрою завтра и двинусь. Одной, действительно, неловко в такой смуте; да могут даром и напугать». Часы в зале прозвонили с обычною трелью два часа, потом три... Туровцова более не слышала их колокольчиков: она крепко заснула.

Настало утро, день рождения Варвары Ивановны. С первым звоном колокола она встала, оделась в лучшее свое платье и, спросив у прислуживавшей ей Ариши, все ли готово для приема гостей, с обычною торжественностью, в сопровождении ключницы и главных горничных, несших над

нею зонтик, а в руках веер, платок и ее накидку, отправилась к обедне.

Церковь уже была полна народом. Кроме своих, туровцовских, пришло немало и чужих, окрестных крестьян и крестьянок, всегда помнивших этот день и шедших сюда поздравить генеральшу и вкусить ее щедрых угощений. Туровцова стала на особый новый коврик, слева у алтаря; справа, возле клироса, она увидела несколько мелкопоместных, всегдашних своих посетителей, из соседних дворян и дворянок. Перекрестясь и поклонившись при входе налево и направо, Варвара Ивановна мысленно сосчитала прибывших посетителей: их с стоявшим впереди отставным полковником-стариком, в пудре и косе, с подвязанною раненою рукой, было всего семь человек. «Немного! — подумала, вздохнув, Туровцова. — Ни Щетининых, ни Чоглоковых! Хороши!.. Но авось еще подъедут». Старуха, впрочем, тут же утешилась: отец Гервасий, в розово-золотой глазетовой ризе и фиолетовой бархатной камилавке, полученной им благодаря генеральше, служил так благоговейно и чинно, а вновь отделанный заботами хозяйки храм, благоухая ладаном, смирной и живыми розами и левкоями, так сиял резьбой, обновленною живописью и хрусталем паникадил и подданные Варвары Ивановны в то же время так усердно молились, крестясь и кланяясь в клубах кадильного дыма, что Варвара Ивановна даже прослезилась и в умилении прошептала: «Господи! За что же мне, грешной и недостойной рабе, все радостное сие?»

После обедни был отслужен молебен с водосвятием и провозглашено, подхваченное хором певчих, многолетие строительнице и благодетельнице храма. Отец Гервасий при этом сказал красноречивое слово, с чувством воскликнув в конце его: «О, сколь поучительно, братие, сколь радостно видеть нам, что в оное время, когда мир земной мятется и наша бренная персь обуревается, готовая изныть от надвигающихся на нас смертных страхов и ожиданий, она, благодетельница сей Господней тихой храмины, спокойно предстоит здесь пе-

ред Творцом и ближними во всеоружии веры, благой надежды и неколебимой великости своей души! Помолимся, братие, за нее!» Вся церковь молилась, творя земные поклоны.

Варвара Ивановна, отирая слезы и набожно потупясь, тихо вышла из церкви, сопровождаемая домочадцами и гостями. Главный барский двор тем временем был устлан скатертями и цветными портищами. На них разложили нарезанные ломти караваев и уставили миски, тарелки, кухвы с дымящимися яствами. Народ уселся на досках и на траве вокруг портищ и скатертей. Священник благословил трапезу. Туровцова некоторое время с парадного крыльца смотрела в лорнет на обедающих среди двора, затем с малым общим поклоном пригласила в дом соседей и духовенство. Угостив их роскошною закуской и винами и выпив сама только небольшую японскую чашечку зеленого чая с бисквитами, она взяла зонтик и перчатки и в сопровождении священника снова вышла во двор.

Нескольким стам трапезующих здесь уже были под наблюдением Филиппыча не по одному разу поднесены мед, пиво и разные водки. Языки у всех развязались. Веселый, громкий говор несся из густых рядов крестьян. Красные от вкусной еды и обильной выпивки, мужики и бабы, не слушая друг друга, горланили, размахивая руками; некоторые целовались друг с другом и, подняв шапки, затягивали песню:

Малинушка... распрекрасная... ой, сморо-о-дина...

Варвара Ивановна, с лорнетом у глаз, благосклонно подошла к обедающим.

— Все ли вам, ребята, подано? — спросила она. — Довольны ли вы?

— Благодарим, матушка... Разлюбезная... во как то есть благодарим!

— А ты, Ульяша, — обратилась с улыбкой Туровцова к одной из баб, служившей у нее когда-то в горничных. — Ты одна, а где же твой муж?

— Мы, сударыня, ваши то есть подневольные, — ответила совсем опьяневшая Ульяша, оправляя съехавшую с головы на затылок кичку. — Одно слово, рабские рабыни!.. ну, ён, выходит, Петра, и голодает, потому больше около тваво стада... Те бражничают, им что! А приказные тиранят его, да и ты, правду сказать, поедом ешь его, вот что!

— Что ты, что ты, кувалда! — замахали на бабу соседи и соседки. — Эк, надрызгалась, чертова глотка, замолчи!

— Почему молчать? Нам тоже с господами антиресно!

— Ты прости ее, мать государыня, — сказал, поднявшись с травы и целуя руку барыне, худой, как шест, и бледный, недавно умиравший от лихорадки, а теперь также пьяный лесовщик Тихон, — что бабу слушать — она одна сырость и дрянь!.. А мы то есть все за тебя, родимая, как один... Вот как, грудью! Преположим животы!

— Все, все! — оглушительно крикнули ближние и дальние из рядов.

Священник нагнулся к Туровцовой.

— Изволите видеть, ваше превосходительство, как предан вам народ, — сказал он ей вполголоса, оправляя из голубой рясы свои белые, полные руки. — Еще намедни была у них сходка, — с дрекольем, говорят, с топорами, коли что, а мы уж своей владелицы не выдадим.

— Все, матушка милосердная, поголовно все! — продолжали кричать мужики и бабы, поднимаясь от скатертей и шумною толпой окружая барыню.

V

Туровцова рукой дала знак, чтобы помолчали. Отец Гервасий тоже махнул шляпой, что барыня, мол, хочет им говорить. Все мигом стихли.

— Вот что, милые мои, — сказала Варвара Ивановна, принимая от глаз лорнет и странно, подслеповато поэтому глядя на толпу, — вы знаете, слышали, вероятно, что зло-

дей, именующий себя государем, пришел и в наши места... Говорят, что он будто уже и возле Казани.

— Что ж, коли его царское величество, значит, к нам, — начала было пискливо и развязно в толпе другая баба, из соседских.

— Шш! Нишкни, кол те в рот! — закричали на нее свои и чужие мужики, отпихивая ее в задние ряды.

— Так вот, если бы этот злодей Пугачев, — продолжала, не обратив внимания на дерзкую, Туровцова, — если бы он вздумал в наши места, сюда, — как, скажите, поступили бы вы?

Толпа молчала. Одни умильно и жалобно, как бы ожидая чего-то трогательного, смотрели прямо в рот Варваре Ивановне; другие, сопя носом и глядя в землю, вертели в руках шапки.

— Да вы скажите, чада мои, — вмешался, крякнув, священник, — в случае чего, Боже упаси, будете ли верны то есть своей благодетельнице, станете ли ее защищать?

— Все, одно слово, все! — дружно крикнула опять толпа. — Да как ему, окаянному, ироду, посметь? Да мы его, матушка, шапками! Ни в жизнь то есть не пустим сюда.

Туровцова пристально оглянула окружавших ее. Лица всех были так искренни и так преданно добродушно смотрели на нее, что она радостно вздохнула.

— Спасибо вам, ребята! — сказала она, кланяясь. — Дайте им еще вина! Пейте на здоровье, веселитесь!

Варвара Ивановна спокойно возвратилась в дом. Время до обеда прошло в беседах с гостями. Некоторые из соседей, робко оглядываясь, начали было говорить, что вот отец Гервасий верно выразился о тяжких и смутных временах, что Казань действительно, по слухам, осаждена уже второй день, город горит, и как бы непрошеные гости не нагрянули из-за Волги и ближе.

— Полноте, государи мои, — возразил раненый полковник, глянув в садовое окно гостиной, в которой все сидели, — дым нонче стал куда меньше, пожар, по видимости,

гасят и, может, уже погасили; а нешто злодеев так и пустят, куда они захотят? Прежде всего надо супостатам разбить в баталии регулярные наши войска, чего еще, благодаря Бога, с нами не случалось, а потом перейти по сю сторону Волги. Где им, сермяжникам, взять судов, да и кто их пропустит?

Все благодарно взглянули на полковника. Пригласили всех в столовую. Обед прошел чинно, но несколько натянуто.

— Хоть нас и мало сегодня, — сказала Туровцова, грустно оглядывая гостей, — пейте, дорогие, кушайте во здравие! Филиппыч, подливай шампанского, мальвазии сюда! Полковнику — венгерского.

За обедом пели певчие, а во время тоста за хозяйку во дворе раздались выстрелы из медных пушек, стоявших у ворот. После обеда гости с хозяйкой гуляли по саду. За вечерним чаем на садовом балконе Варвару Ивановну вызвали на парадное крыльцо, во двор. Сюда собрались старые и молодые краснокутские бабы, с курами, подситками яиц, пряжей и отрезками холстов — обычными отдариваниями барыне за щедрое угощение того дня.

— А Ульяша и не пришла? — улыбнулась Туровцова, милостиво принимая подношения дарительниц и давая им целовать свою руку.

— Вестимо, родимая, стыдно ей! — скалили зубы еще краснолицые от обеденных питий бабы. — Не гневайся на скалдырницу, забудь.

— Она без ног в погребу свекрухи спит! Что ей, кобыле, станется! — хохотали, утираясь, дарительницы.

Варвара Ивановна сказала несколько слов стоявшему возле нее Филиппычу. По его знаку из-за угла дома вышли деревенские музыканты с балалайками и бубнами. Ключник с подвальным в то же время выкатили из погреба новые бочонки с медом и пивом. Раздалось треньканье балалаек. Пожилые бабы взмахнули платками, молодые взялись под бока. Из кухни и служительского флигеля выскочили парни, и все пустились в пляс.

Варвара Ивановна и ее гости долго не сходили с крыльца, любуясь весельем народа, пляски которого с наступлением темноты сменились песнями. Когда дворецкий доложил, что готов ужин, Туровцова провела гостей в столовую и усадила их, но сама извинилась, что не останется с ними. «Стара я стала, — сказала она, откланиваясь, — будьте как дома; что всякому нужно, требуйте, а я наморилась, простите, уйду!»

Удалясь в опочивальню, она выслала оттуда горничных и велела позвать к себе приказчика.

— Что, Филиппыч? — спросила Туровцова, когда он вошел и стал у трюмо, за которым она кончала ночной туалет. — Есть ли новые слухи о Казани? Возвратился ли посланный к губернатору?

— Посланного, сударыня, еще нет, а пожар уменьшается, видно и отсель, мало уже огня.

— Погасили, стало быть?

— Нечему, видно, больше гореть! — ответил со вздохом Филиппыч. — Нефедовские давеча проехали, сказывают, выгорели не только слободы, и весь город до самого Кремля.

— Ну, а этот... Ихний царь, где он? — спросила Туровцова.

— Там же, слышно, в лагере, под городом.

— Ты же от себя посылал проведать?

— Что даром-то посылать! Второй и третий гонцы там же остались.

— Остались? Да как они смели? — спросила, обратясь к приказчику, Туровцова. — Или ты нестрого приказывал?

Филиппыч почесал у себя за ухом.

— Ох, милостивая, как не приказывать? Только нонче, не во гнев вам будет сказано, такое тут и кругом деется, такое... И что у них, вражьих сынов, на уме, не поймешь!

— О чем ты это?

— Как о чем? От кабака народа никак не отженешь; вся слобода почитай там вторые сутки, толкуют неподобное,

орут, а подойдешь, как воды в рот набрали: ни словечка тебе, ни намека.

Туровцова встала от трюмо.

— Завтра чтоб все было готово, — сказала она. — Когда выеду, еще не знаю, но, может быть, вскорости... Даже и завтра...

— И давно, матушка, пора, — ответил Филиппыч. — Мало ли что может выйти! Опять же подозрительный человек нонче наезжал сюда — привозил какую-то бумагу, будто бы манифест... Я к ним, грозил, не говорят... все как ошалели!

— Манифест? — встревожилась Туровцова. — Это новости!.. А как, полагаешь, далеко ли наши уехали за сутки?

— Лошади у Алексея Андреевича резвые, отдохнули... верст за сто, пожалуй, коли не более, будут ночевать.

— Ну, иди с Богом, — закончила Варвара Ивановна. — Обойди только, получше осмотри нашу полицию — не пьян ли кто из сторожей? А утром позову тебя, и все остальное уладим.

Приказчик, поклонясь в пояс, вышел. Туровцова заперла обе двери на замок, помолилась, разделась, откинула полог, погасила свечи и легла. «Манифест! Да, более нечего медлить, завтра же отдам последние приказания и уеду, — мыслила она, засыпая. — Подослали-таки совратителя, проник... По всему видно, действительно, на время надо уехать, пережидать в иных, более безопасных местах».

VI

Непонятный, странный шум разбудил Варвару Ивановну. Она открыла глаза. К ее удивлению, было уже почти светло. Солнце косыми лучами освещало из-за угла галереи березу и кусты сирени, росшие у окон. Туровцова по приметам поняла, что было уже не менее пяти-шести часов утра. Она отдернула у кровати полог, стала обуваться. Странный шум

усиливался. Послышались возгласы, даже как бы крики, сперва у ворот, возле конюшни или амбара, потом ближе. «Филиппыч на кого-нибудь сердится, кричит, — подумала Туровцова. — Верный слуга, а подчас ротозей и несносный горлан!» Шум становился громче. Кто-то быстро пробежал мимо окон по саду. Раздался крик: «Эй, сюда, ребята, тут!» «Уж не пожар ли на дворе? — пришло в голову Варваре Ивановне. — Натопили кухню спозаранку, видно, и вспыхнуло!» Она вскочила, наскоро накинув на себя капот.

— Арина, Дарьюшка! — крикнула она. — Да кто же тут? Скорее, сюда!

Никто в доме не отзывался. «Что это они, оглохли?» — подумала Туровцова, с сердцем дергая за шнурок звонка.

Не дождавшись никого и на звонок, она вышла в коридор и оттуда, мимо столовой, в девичью. Все комнаты были пусты. Видя в девичьей на сундуках неубранные постели горничных и валявшиеся по полу их платья и башмаки, она снова сказала себе: «Да, и впрямь, видно, пожар! Все как оглашенные выскочили, забыв обо мне!» Варвара Ивановна возвратилась в спальню, раскрыла комод, достала из его потайного ящика сверток с более ценными из золотых и брильянтовых вещей, сунула его и кошелек с деньгами в карман капота и, с облегченною душою, мысля: «Если и впрямь пожар, сберегу хоть это!» — поспешила к парадному крыльцу. Минуя прихожую, она взглянула в окно и отступила. Двор от ворот до кухонного флигеля и конторы был полон народа. В распахнутых зипунах, с шапками на затылке двигалась, горланила и размахивала руками толпа странных, незнакомых людей. Между ними некоторые были с дубинами. «Где же Филиппыч, приказные? Что это за народ?» — подумала Туровцова, ближе подходя к окну. Экипажей гостей не было уже во дворе; гости, очевидно, разъехались. Вправо от палисадника сквозь деревья была видна площадка парадного крыльца. На ней, держась за перила, осаждаемый напиравшими на него какими-то оборванцами, стоял бледный, с растрепанными волосами Филиппыч. Он растерянно при-

жимал руки к груди и, кому-то низко кланяясь, о чем-то говорил. «Что это? Перед кем он?» — удивилась Варвара Ивановна, берясь за ручку выходных дверей. Она отворила их, ступила в запертые сени, помедлила и вышла на крыльцо.

Гул толпы, стоявшей перед крыльцом, совершенно глушил ее. При ее появлении голоса понемногу смолкли.

— Что вам надо? — громко спросила Туровцова, разглядев в дальних рядах несколько знакомых мужиков своей деревни. Впереди стояли, в чекменях, какие-то незнакомые казаки.

Мужики молча попятились. Кое-кто снял шапки. Казаки, мрачно потупясь, не двигались с места.

— В чем дело, Филиппыч? Что это здесь за люди?

Приказчик молчал.

— Если вам что нужно, идите в контору, — продолжала Туровцова, — а хотели меня видеть, вот я...

Спокойный, властительный вид уверенной в себе старухи, ее белый длинный капот и седые букли под высоким с оборками чепцом подействовали на всех. Толпа дрогнула, несколько осела назад.

— Вы вчера так уверяли меня в преданности, — начала было, обращаясь к своим, Туровцова. — Где же ваши заверения, божба?

— Да что на нее смотреть! — раздался голос из задних рядов. — Колдовка-черт! Заговорит...

Вперед выступил рослый и рыжий, в красном казацком чекмене, бородач. Где-то в толпе вертелась, размахивая руками, и Ульяна.

— Батюшка, наш государь, — сказал он, став у крыльца, — прислал нас, боярыня, к тебе... Волею покорись; отдавай все, что у тебя есть, — корми, угощай царево войско.

Туровцова поняла ужас своего положения. Она взглянула на Филиппыча. Тот молча стоял, прислонясь к двери. В разных углах виднелись оттертые от дома, испуганные слуги-лакеи, горничные, певчие и повара.

Прошло несколько секунд общего недоумения. Все глаза были устремлены на Туровцову. Она, судорожно перебирая ленты чепца, думала: «Кончено! Правы были Серафима и Алексей! Да, надо было ехать с ними. Неужели же уступить, отдать этим насильникам дом, кладовые и все? Или следует противиться им, попробовать усовестить их, уговорить? Не успел известить губернатор, погубил льстивый немец! Перехвачен, видно, и последний гонец!»

За двором в это мгновение на церкви раздался звук набата. Ворвавшийся под общий шум на звонарню отставной, с вечера выпивший где-то солдат бил во все колокола. От деревни ко двору бежали остальные, запоздавшие туровцовские мужики.

— Ну-ка, ребята, вперед! — объявил, взбираясь по ступенькам, рыжий казак. — Бери ее, хрычовку, вяжи!

— Но вы же вчера, вы же... Одумайтесь! — вскрикнула из всех сил Туровцова. — Вы христиане... Господь накажет!

— В Сибирь, в белую Арапию нас сошлешь? — визгнул чей-то женский голос. — Ну, это уж погоди!

— Ура! — гаркнули чужие и свои. — Чего на нее глядеть? Ура!

Толпа навалилась на крыльцо. Филиппыча и конторщика сбросили с площадки через перила. Испуганная, бледная Туровцова исчезла среди серых зипунов, чекменей, бараньих шапок и в кучу сбившихся плеч и спин. Раздался неистовый женский вопль. В воздухе бессильно мелькнули белые и худые руки и с развившеюся тощею косой седая голова... Все смешалось в кучу. Верблюжьи кафтаны, сермяги и чекмени, обрушив перила, разделились. Часть толпы бросилась к палисаднику, ограждавшему дом с этой стороны. Рвали из рук в руки сверток, выпавший из кармана старухи. Остальные ломились в дубовую, кем-то изнутри снова запертую огромную дверь сеней. Дверь затрещала и рухнула. Толпа, колеблясь и напирая друг на друга, хлынула в сени, оттуда в

прихожую и залу. Через садовый балкон в гостиную ввалилась другая толпа. В разных концах дома слышались отчаянные, молившие о пощаде крики. Здесь и там полилась кровь. Падали с раздробленными черепами сбежавшиеся последние защитники барского добра. Дом наполнился треском разбиваемых шкафов, комодов, баулов и сундуков! «Гостей, братцы, забыли!» — раздался голос. «Где они, брюхатые, разве не все убегли?» — «В погребе Митька нашел, за бочками!» — «Волоки их сюда! На березы!»

Приземистый, в рысьей шапке на бритой голове, скуластый, с узкими глазами башкирец, войдя в залу, с размаха ударил дубиной по старинному зеркалу в раме из разноцветного хрусталя. Зеркало разлетелось вдребезги. Толпа захохотала. Одни ломали штофную раззолоченную мебель, кресла, диваны, стулья и канапе; другие тащили из кладовых серебряную и фаянсовую посуду, бутылки с вином и ликерами, иконы, подушки, ковры и пуховики. Некоторые на ходу ели захваченные в шкафах остатки булок, сладких чайных печений и пирожных.

В буфете шла драка за столовый серебряный сервиз. В спальне делили и рвали друг у друга из рук платья хозяйки, роброны, мантильи, оконные занавесы и полог ее постели. К садовому балкону из главного подвала подкатили бочку старой водки, отбили топором ее дно, и все черпали, чем попало — стаканами, шапками и пригоршнями. «Еще бочку! Волоки!» — кричали пьющие. Косой и тощий псаломщик в нанковой рясе, черной скуфье и с саблей у пояса, сопровождавший грабителей из Казани, бросился в залу, сел за клавикорды и крикнул: «Я музыкант, ребята, слушай!» Он ударил по клавишам и пьяным хриплым голосом запел: «Пей, православные! Исайя, ликуй!» С вышки бельведера толпа, раскачав, сбросила на землю, найденного там астронома Антонушку, проглядевшего набег незваных гостей. «Колдун-ведовщик!» — кричали, сбрасывая его. Сверху же было видно, как казаки с татарами, окружив церковь, ломились в ее двери, стреляя в окна по спрятавшимся в ней причетникам.

Сквозь оглушительные крики и гам грабившей и пившей под звуки набата толпы послышались выстрелы на улице. К воротам подскакал, стреляя на воздух, отряд новых всадников. Впереди ехал Идорка; рядом с ним Прядышев. Идорка с седла что-то издали кричал.

— Казань взята! Ура, Казань! — слышалось во дворе.

Прядышев соскочил с коня, отдал его подручному казаку и бросился к кучке мужиков, обдиравших у конюшни с поваленного и разбитого в щепы венского дормеза остатки кожи, бронзы и сукна.

— Ты здешний? — спросил он ближайшего мужика.

— Здешние, туровчане, а тебе что?

— Где ваши господа? Где их родичи, Дугановы, коли слышал?

— Вон тебе кого надо! — не оглядываясь, ответил спрошенный, отрывая мозолистою волосатою рукой полоски шелкового аграманта внутри кузова. — Побегли.

— Куда?

Мужик не отвечал.

— Да говори же, чертова голова! — крикнул Прядышев, наступая на него.

Мужик оглянулся, увидел, что перед спрашивавшим его все стояли без шапок, и тоже снял шапку.

— Куда убежали Дугановы? — повторил Прядышев.

Мужик молча указал шапкой на гору, за сад.

— Это куда же дорога?

— В Нижний, родимый, а то и в Курмыш.

— Все убежали?

Мужик почесал в бороде.

— Генеральша ваша ушла? — спросил Прядышев.

— Осталась.

— Где же она?

Мужик молча указал на палисадник, в котором росло несколько красивых, развесистых берез. На одной из них висело что-то длинное, белое, как бы закинутая на ветви для просушки простыня. Из-под складок этого белого и длинного

виднелись вышитые гарусом и бисером туфли с высокими выгибными каблуками. Невдали, на других трех березах, висели найденные в погребе гости хозяйки...

Прядышев, отвернувшись и крестясь, пошел к боковой галерее, соединявшей дом с кухонным флигелем.

— Батюшки, родименькие, светики! Бьют! — раздался крик из конторы, смежной с флигелем.

На конторское крыльцо выскочили несколько казаков и башкир. Они тащили спрятавшихся на чердаке младшего конторщика, поваренка-подростка в фартуке и белом колпаке и кухонного, в серой куртке, мужика.

— Говори, где господские деньги? — твердил старший из казаков, нанося удары побелевшему от страха конторщику. — Ты записывал, ты собирал! Где скрыня с казною? Где холсты, пряжа, меха?

— Все было у самой енаральши, у нас ничего! — вопил конторщик, вскидывая на окружающих молящие глаза.

— Ну-ка, Гассан, — сказал казак, мигнув стоявшему рядом с ним башкирцу, — спроси ты его!

Башкирец молча поднял дубину и ударил ею по затылку конторщика. Тот, обливаясь кровью, упал ничком.

Другие стали рубить саблями по плечам поваренка и кухонного мужика. Оба, окровавленные, хватались за сабли мучителей.

— Стой, изверги, что вы! — крикнул, подбегая к крыльцу, Прядышев. — Не смей трогать! За что?

— А ты что за сказчик? — огрызнулся на него казак. — Откулича взялся?

— А вот откуль, душегубы вы! — бешено крикнул Прядышев, выхватывая пистолет. — Не смей бить неповинных: батюшке царю доложу!

— Далеча до него, — презрительно усмехнулся казак. — Был, да, може, весь уже вышел, а тут мы все цари!

— Нет, не далеча, следом поспевает, — объявил Прядышев.

— И мы скажем ему, — подхватили другие грабители.

— Что скажете? Ну, говори, что?

— А то же, добычу делим — не смей мешать... Подступи только.

— И подступлю! — крикнул Прядышев, целясь из пистолета. — Вон отсюда!

VII

Казаки один за другим удалились. Прядышев, шагая через тело конторщика и кухонного мужика, подошел к поваренку, еле дышавшему в углу крыльца.

— Где, скажи, — обратился он, нагнувшись, к нему, — где родичи вашей госпожи?

— Ой, ой, родимые! — ухватясь за плечи и качаясь, стонал окровавленный мальчик. — Голубчики мои, помираю!

— Куда уехали Дугановы? Говори, голубчик, не бойся, я им не враг.

— В Москву, сердечный, в Москву.

— Ты правду говоришь?

— Бог убей, не прими мать-сыра земля.

— А может быть, они еще в доме, не ушли, заперлись где в подвале?

— Ушли, батюшка, ночью ушли. О, милые, смерть!

Из дома, со стороны сада, послышался отчаянный женский крик. «Она, она! — подумал Прядышев. — Мальчик утаил; ее нашли, терзают!» Он без памяти бросился на галерею.

Крыльцо последней было залито кровью; здесь лежала убитая, красивая, с развившеюся косой горничная Глаша. Далее, на полу галереи, среди пролитых вин и водки, валялись окровавленные, с отсеченными головами и руками тела садовника, седого парикмахера и старших музыкантов, сбежавшихся при появлении шайки защищать барыню. В воздухе чувствовался тяжелый запах водки и свежей крови. В окно галереи Прядышев увидел кучу казаков и мужиков, стоявших

у входа в липовую аллею. Они смотрели на крайнюю липу, в ветвях которой виднелся босой, в синей рубахе казак. Он держал в руках веревку, другой конец которой двое стоявших внизу привязывали к шее кричавшей и молившей о пощаде толстой и приземистой, с седою косичкой старухи ключницы Арины.

— Соколики! Голубчики! — вопила старуха, ловя и целуя руки и полы кафтанов своих палачей. — Ангелы-светы! Все укажу, бери! Душеньку на покаяние пустите...

— Врешь, чертовка! Не говорила — поздно теперь!..

Со двора бритоголовый, без шапки, красный от хмеля Идорка сюда же со смехом тащил за волосы окровавленного, в разорванной синей рясе отца Гервасия. «Что, и батьку?» — кричали ему навстречу от деревьев. «Присягу не принимал, отказал!..» — «На сук его, жеребца, на сук!»

Прядышев ухватился за голову, припал головой к окну. «Треклятые изверги, палачи! — мысленно вскрикнул он. — Вам только этого и нужно — крови, убийств, грабежей! Не царь он, такой же изверг. Будьте вы прокляты! Прочь отсюда... Но куда? И как я спасу без них ту, неповинную, и ее семью? Спасти можно только с ними и через них! Они действительно здесь сила, цари! Но куда это тащат солому, неужели поджигать?»

За садом, от мельницы, в это время послышался конский топот. Прядышев сквозь деревья увидел отряд улан, скакавших с саблями и с пиками наперевес. Впереди отряда, на пегом костлявом иноходце, рысью ехал плотный, в черной венгерке, с болтавшимися у висков гусарскими локонами командир. Прядышев узнал в нем грозу Пугачева — Михельсона.

— Ребята, уланы! Сам Михельсон! — крикнул он толпе, вешавшей рядом с ключницей еще кого-то из слуг.

Толпа рассеялась врассыпную по саду, а он выскочил через окно галереи во двор, подбежал к конюшне, отвязал своего серого, прыгнул на него и с криком: «Грабят!» — прилег к луке седла. Конь, приученный к этому сибирскому

окрику, понесся стрелой. Прядышев, под пулями, успел промчаться до конца села, когда уланы влетели во двор, а с мельничной плотины грянула поставленная Михельсоном, наперерез бегущим, пушка. Картечь засвистела по саду и по прыгавшим через заборы и канавы сада, застигнутым врасплох грабителям.

— Ни одного не выпустить! Бей их, вали! — слышался охрипший голос Михельсона.

Проскакав полем и лесом верст пять, Прядышев остановился на пригорке у Волги и оглянулся. Со стороны Красного Кута поднимался громадный столб дыма. С пригорка было видно, что горела подожженная грабителями усадьба Туровцовой: дом был уже весь в пламени; загорались и другие постройки. За Волгой виднелись полосы дыма над догоравшею Казанью; по реке плыли барки, расшивы и лодки с мятежниками, переходившими на эту сторону. По дороге неслась пыль экипажей с беглецами, спасавшимися в направлении к Москве.

Алексей и Серафима с детьми благополучно миновали Свияжск, Цивильск и приблизились к реке Суре. В двое суток они сделали более полутораста верст. Невдали от переправы через Суру их обогнал посланный в Москву, от казанского губернатора, гонец. От него Алексей на почтовой станции узнал, что Казань вся почти сожжена, что из трех тысяч ее домов истреблено более двух тысяч и что Пугачев, отбитый от города, перейдя по сю сторону Волги, бросился, в обход Свияжска, на Чебоксары и чуть ли оттуда не пойдет на Москву. «Так сказывали на допросе пленные, — говорил гонец. — Меня послали прямым трактом на Курмыш». Алексей вздохнул свободнее. Он был далеко впереди самозванца и его злодеев.

Лошади Дугановых в двухсуточной езде сильно притомились. Приходилось дать им хорошую дневку либо нанять других лошадей — но где? Настигая по дороге множество других, таких же, как они, беглецов, путники убедились, что в эти смутные дни не было никакой возможности не только

нанять, но даже ни за какие деньги и купить новых, сносных лошадей. Содержатели переполненных постоялых дворов неохотно пускали к себе проезжих, а иные, боясь налета разбойничьих шаек, бросали свои дворы и прятались где попало.

Прошли еще сутки. День клонился к вечеру. Дорога шла вдоль опушки большого леса. Истомленные лошади, кое-как подкормленные в какой-то деревеньке, едва тащились. Путников под лесом стала настигать чья-то бричка. Сидевшие в ней, очевидно, ехали не издалека. Рослые, сытые лошади неслись дружно. Зависть взяла кучера дугановской коляски, в которой ехал, изнывая от жары и пыли, сам Алексей.

— А что, сударь, — сказал кучер, обращаясь к Дуганову, — не свернуть ли в лес? Постояли бы, покормили бы на травке, как след, а завтра, то есть на зорьке, и с Богом... Куда не уедешь, коли лошадь сыта!

— Да ведь до Курмыша не более двенадцати верст.

— Так-то, так, — вздохнул кучер, — а достанем ли на постоялом не то чтобы овса, хоть бы сносного сена? Чем кормили у этой мордвы? А в лесу, сударь, прохлада, ни этой жары, ни мух... Трава тоже свежая, найдем и воды.

Алексей взглянул на небо. Безоблачная, тихая, прозрачная синева была так привлекательна. Солнце, обливая алыми лучами лес, поля и вербы почтовой дороги, готовилось зайти за дальние, тонувшие в легком тумане, холмы. На взгорье, с которого спускалась дорога, показалась пыль; послышался прерывистый звук колокольчика. Между верб обозначалась подъезжавшая к лесу почтовая телега. На ней, покачиваясь между подушек, сидел, с подвязанною рукой, красивый, очевидно раненый, офицер. Алексей, видя, что телега, объезжая дорожную водороину, поехала шагом, встал из коляски и вышел навстречу офицеру.

— Извините, — сказал он, подходя к нему с приподнятою шляпой. — Откуда вы? Успокойте нас... Мы из-под Казани, спешим в Москву...

— И я оттуда, — ответил, кланяясь, офицер. — Ранен на Арском поле в грудь и руку... Торопитесь!.. Отпросился

с эстафетой, да вряд ли донесет Господь... Убиты генералы Нефедов и Кудрявцев, а сколько отставных!

— Правда ли, что Пугачев уже на этой стороне? И что сталось с самой Казанью? — спросил Алексей.

— Следом, батюшка, следом победители за нами! — безнадежно махнул рукой офицер. — А Казань — море огня, груда тлеющих развалин. Пугачева видел я лично — в красном кафтане, на белом коне и с саблей наголо пронесся он перед нашим фронтом. Солдаты оторопели и не стреляли. Ужас, сударь, ужас!

Офицер тронул за плечо ямщика, чтобы тот ехал далее. Тройка понеслась. Алексей молча взглянул на небо. Ясная синева была так же прозрачна и тиха. Жаворонки звенели над полями. «Неужели все кончено? — подумал Алексей, — неужели нам, счастливым доныне, не повинным ни в чем, также суждено стать жертвами?»

— Ну, что? — спросила его Серафима, когда он, стараясь быть спокойным, подошел к карете. — Что сказал этот офицер?

— Ничего особенного, — ответил Алексей, — а вот кучер советует свернуть в лес; здесь, действительно, и покормим, и отдохнем лучше всякого постоялого.

— Что же, и отлично, — весело сказала Серафима, удерживая радостные возгласы и прыжки детей, заслышавших об отдыхе в лесу.

Экипажи своротили в лесную просеку; пока было светло, проехали еще несколько верст. Лесная чаща становилась темнее, деревья гуще и выше. У перекрестка двух дорог встретили пешего мужика.

— Чей, дядя, лес? — спросил пешехода кучер.

— Демкиных купцов.

— Далече ли отсель до Курмыша?

— Верст семь, да вы не туда едете.

— Знаем. А есть ли тут поблизости жилье?

— В лесу жилья нету, один мельник, вона, за лесом, — указал мужик вдаль, — а вам, родимые, что же?

— Покормить бы лошадок, притомилися.

— Бери, милый, влево... Тут тебе будет вражек, а маленечко подальше полявинка... Трава богатеющая и ручей по овражку-то — попоить лошадей.

Экипажи направились к овражку, миновали его и остановились на просторной, уютной поляне. Кучера распрягли упаренных лошадей и стали их водить. Прислуга, развязав разные укладки и узлы, занялась самоваром. Серафима умылась и умыла детей, сняла с них запыленные дорожные платья, одела их полегче и пустила бегать по траве. Вода в ручье оказалась отличною для чая. Алексей, с Дроном и горничною, разостлал под деревом ковер, уставил его дорожною холодною закуской и, когда принесли сюда же приветливо пыхтевший самовар, кликнул жену и детей.

— Готово, пожалуйте, — сказал он, разливая в чашки чай.

— Как здесь хорошо! — невольно воскликнула Серафима, окидывая счастливым взглядом поляну с распряженными на ней экипажами и радостно фыркавшими на прохладе лошадьми. — А какой чудный, душистый воздух и какая, точно сказочная, тишина!

— Добраться бы скорее до Москвы, — вздохнул, как бы не слыша слов жены, Алексей.

— Ну, что же, доехали сюда, — ответила она, — доедем и далее.

— Да, это правда, Курмыш — рукой подать, за ним Арзамас. Переедем Оку, тогда уже безопасно.

— А как-то выбралась maman? — сказала Серафима, намазывая детям и мужу масло на хлеб. — Вот не догнала же, как обещала сама; пожалуй, до Москвы и не увидимся.

— Отчего же? — возразил муж. — Не в Курмыше, на переправе, авось догонит еще на Оке.

«Сказать ли ей о переходе Пугачева через Волгу? — думал между тем Алексей. — Нет, лучше завтра; пусть не тревожится и получше отдохнет!»

VIII

Сумерки сгустились на поляне, хотя над деревьями еще виднелся свет. Лошади попаслись на траве, их напоили и засыпали им в торбы овса. Вкусившие сочной, свежей пищи, лошади дремали, не касаясь овса. Убрав посуду, стали закусывать слуги. Над стемневшими верхушками леса проглянули звезды. Скоро все небо засветилось ими. Ни единый звук не доносился на поляну из таинственно молчавшей окрестной гущины.

— Смотри, — сказала Серафима мужу, — как там, вверху, торжественно и ясно и как здесь, внизу, тихо и темно; усталые лошади насытились и не жуют больше, спят.

— И прибавь, слава Богу, что ни одна из них в этой гоньбе не захромала, — заметил Алексей. — Натерпелись бы мы, страх и подумать, не то что испытать.

Дети давно спали в карете. Серафима еще что-то рассказывала и вдруг, покачнувшись, смолкла.

— Эге, сударыня, да и ты клюешь носом, — улыбнулся Алексей. — Иди, пора спать.

Он провел жену к карете, помог ей устроиться там, рядом с детьми, подозвал Дрона, обошел с ним поляну и остановился у коляски.

— Ну-ка, Дронушка, — сказал он, — достань здесь из-под сиденья ящик.

Дрон исполнил приказание Дуганова.

— Видишь ли, голубчик, — произнес Алексей, отпирая ящик и доставая оттуда оружие, — все может случиться, злодеи отбиты от Казани, но, слышно, перешли на сю сторону... Двинулись к Чебоксарам.

— Это, упаси Господи, следом за нами?

— Да, все может случиться, нагрянут, пожалуй, и сюда.

— Так что же мы стоим, сударь? Ехать бы, хоть помалу, дальше.

— Нет уж, видишь ли, не так еще, думаю, опасно: отдохнут лошади, побегут скорей.

— Положим, сударь, и у казаков кони тоже не железные; одначе, осмелюсь доложить, они, слышно, налетают и силой везде свежих берут.

— Это правда, — сказал Алексей, — потому-то и надо нам особенно жалеть своих.

— Ироды, сударь, как подумаю, сущие ироды искариотские! — в негодовании даже плюнул Дрон.

— Так видишь ли, голубчик, — продолжал Алексей, — не хотел я тревожить барыню, а тебе все теперь открою. Плохо, надо быть очень настороже. А потому вот тебе, Дронушка, ружье. Кучеру отдай это другое, вот и заряды, а себе я оставляю штуцер и пистолеты. Хорошо я сделал, что купил, по случаю, у татарина в Казани эти ружья; думал в Горках охотиться осенью на гусей. Ты исстари был у покойного тестя егерем, кучер тоже стреляет, даром хоть не отдадимся.

— Оно, сударь, правда, — ответил в раздумье Дрон, — даром что же гибнуть? Да как помыслишь, эх...

— Что же? Говори.

— Да, сказывают, его, окаянного, прости Господи, ни пули, ни бонбы не берут.

— Вздор, сущий вздор! Ну, не стыдно ли? — с досадой возразил Алексей. — Вот уж вам нагородили! Не дай только промаха, увидишь, свалится, как и всякий. А еще хуже, не вздумай струсить, изменить... Ты смотри у меня, на руках у нас молодая барыня, надо ее беречь, опять же малые дети.

— Что вы, сударь батюшка, да можно ли? Да я землю буду грызть, разорвись утроба, лопни глаза!.. У самого дети...

— То-то, Дрон, я и не думаю, а великий грех возьмешь на душу! Иди же, объяви кучеру и всем; заряжайте ружья и глядите в оба, а как что — слушаться и от меня не отставать. Помни одно, мы погибнем, несдобровать и вам!

Алексей влез в коляску, поднял ее верх, положил возле себя заряженный штуцер, прилег и вскоре заснул.

Ночь прошла благополучно. С восходом солнца путников разбудили птичьи крики. Алексей выглянул из-под зонта коляски. Вершины деревьев золотились лучами зари. Лес стонал от голосов пернатого населения. Над прогалинами, гоняясь за мухами и комарами, кружились ласточки. Черные желтоносые дрозды с резким щелканьем проносились между кустов. Зеленые иволги звуками флейт перекликались в вершинах деревьев. Стайки диких уток спускались к ручью, но, видя на поляне людей, с шумом взлетывали и уносились далее. Вдруг в воздухе потемнело. Откуда-то, поднявшись над лесом, с громким карканьем неслась туча ворон. «Что это они разоралисьʔ — подумал Алексей, взглянув на вершины деревьев. — Все ли благополучно у леса, на дорогеʔ Пора запрягать!»

Напившиеся чаю дети прыгали по траве и собирали цветы. Серафима с горничной кончала укладку вещей.

— Выкупали бы вы до запряжки лошадей, — обратился Алексей к кучерам.

— Выкупали, сударь, и сами искупались, — ответил Дрон, оправляя на себе еще мокрые волосы, — а тут, дальше по ручью, смею доложить, есть мельница и при ней на хозяйстве мельник живет. Там для сударыни и деток можно бы достать свежего хлеба и молока.

— Ты откуда это знаешьʔ

— Шел, как мы купались там, у вражка, пастух-скотарь и сказывал.

— Где же это будет, в какой сторонеʔ

Дрон указал на солнце, к востоку.

— Не по пути, — ответил Алексей. — Нам к Курмышу вот куда, а то будет крюк. Ну-ка, ребята, проворнее!

— Все готово, — произнес, усаживаясь на козлы, старший кучер.

Все разместились и снова выехали на почтовый тракт. Лошади по утренней прохладе бежали резво и дружно. Скоро стали видны церкви, а там и дома Курмыша. Доносился колокольный звон; в тот день был праздник. Невдали от

города надо было проезжать большое село. Едва экипажи, взбивая пыль, приблизились к въезду в околицу, их с шумом остановила толпа мужиков. Народ после обедни уже подгулял у кабака. Одни, стоя в синих кумачовых рубахах и заложив руки за пояс, весело усмехались, глядя на подъехавших бар. Другие, с красными потными лицами, лезли прямо на лошадей, хватаясь за уздечки и постромки. От общего шума и гама трудно было понять, в чем дело.

— Э-эх, малинушка-матушка! — плаксиво голосил совсем пьяный, растрепанный мужичонка в дырявом зипуне, ни с того ни с сего кланяясь в землю перед экипажами. — Милостивые, добрые, кормильцы вы наши!

— Пошел прочь! Слышишь ли ты? — крикнул кучер кареты, стегнув по лошадям и стараясь прорваться сквозь буянов. — Еще наеду, берегись!

— А ты постой, — отозвались из толпы, — ишь, какая цаца! Говори, что за проезжатели?

— Полковник из Казани.

— Полковник, вот что! А куда?

— На что вам?

— А на то — всякого то есть проезжателя приказано подозревать.

— А как не скажем?

— Ну, и ладно, не скажешь — не поедешь, не велено пущать.

— Кто не велел?

— Батюшка царь.

— Где он?

— Подходит, ждем милостивца, а тут енарал сидит.

«Опоздали! — подумал, бледнея, Алексей. — Дать им денег, хуже не вышло бы... Все отнимут, задержат самих».

— Давно ли генерал в Курмыше? — спросил он.

— Эвоси, только туды прошел.

— Уходите, родименькие, — голосил, кланяясь, мужичонка, — то есть с глаз долой!.. Мы что? Нам велено... Отпустишь их, православный народ?

— Для че не пустить? — ответили из толпы. — Не едут далее, ну, и уходи, значит, откулича пришел.

Алексей велел ехать обратно. Лошади снова рысцой добежали до леса и остановились.

— А ведь отделались недурно, — сказал по-французски Алексей, подойдя к жене. — Могли бы попасть в большую беду.

— Чем же, однако, все это может кончиться? — спросила Серафима.

— Пустяки, объедем город кругом.

— Куда прикажете, сударь? — спросил кучер, придерживая лошадей, на вспотевшие бока и спины которых жадно бросались слепни и оводы.

— Заедем опять в лес, — обратился Алексей по-французски к жене. — Этот набег на Курмыш сделан, очевидно, какою-нибудь ничтожною шайкой... У них всякий головорез — генерал. Нечего делать, переждем; нас тут не увидят; буяны потешатся и уйдут, тогда и двинемся опять.

Серафима, с трудом удерживая слезы, молча глядела на детей. В знак согласия она кивнула головой. Алексей отдал приказание кучеру. Экипажи снова свернули в лес.

IX

На этот раз ехали недолго. Узкая, сыроватая колея пошла книзу песчаным косогором. Лес поредел. Слева тянулись березы и ольхи, справа выглянул ручей, у вершины которого путники ночевали. Здесь он был уже рекою, красиво извивавшеюся между отлогих, поросших кустами берегов. Далее стали видны верхушки водяной мельницы и стоявшей возле нее избы. Послышался шум бегущей по желобу и падавшей в омут воды. Рабочее колесо стояло неподвижно. Седой, сгорбленный мельник в белой рубахе сидел, греясь на солнце, у мельничного крыльца.

Алексей вышел из коляски.

— С праздником, дедушка! — сказал он, подходя к нему.

Мельник снял шапку и молча поклонился.

— Мы издалека, — продолжал Алексей. — Нужно в город, а у вас непокойно, мутят мужики. Где бы нам тут укрыться, переждать.

— Укрыться, родимые? — прошамкал мельник, оглядывая грузную, запыленную карету, из окна которой испуганно смотрели глаза бледной молодой барыни и весело улыбались лица детей, занятых шумом падавшей воды.

— Да, дедушка, — обратилась к мельнику, удерживая детей, Серафима, — нет ли тут поблизости спокойного пристанища? Мы въехали в ближнее село на почтовой дороге, но там народ буянит, не пускает.

Старик покачал головой.

— Не вовремя, кормильцы, едете, — сказал он, вздохнув. — Оно точно, сумнительно стало в нашей стороне, а в город лучше вам и вовсе не ехать.

— Почему? — спросил Алексей.

— Нешто не сказывали на селе? Это нынче ехали с базару мужики... Сказывают, поднялся народ вчера с вечера и порешил воеводу и приказных.

— Как порешил? — спросила Серафима.

— Прискакал это гонец, — шамкал мельник, не видя, что барин делает ему знаки, чтоб он молчал, — говорит, ждите, ребята, наутро енарала, а следом и самого батюшку царя; ну, народ возрадовался, приказных связали, всех потопили, а воеводу — о, Господи! — ввели на колокольню да сбросили, что ли, оттоль.

Серафима в ужасе закрыла глаза.

— Mon Dieu, mon Dieu! Quelle horreur! — вскрикнула она, прижимая к себе детей. — Demandez, priez le de nous sauver...

— Это все еще, может быть, одни слухи, — спокойно сказал Алексей. — Люди испуганы и толкуют. У тебя, де-

душка, негде приютиться, ты на проезжей дороге. Нет ли тут поблизости, в лесу, пчельника или лесной сторожки.

— Лес, батюшка, монастырский, его Бог бережет, а пчел монахи ноне, по засухе, держат за Куро́й, на лугах.

Алексей взошел на мельничное крыльцо.

— Город в ту сторону? — спросил он, указывая за реку.

— Нет, кормилец, вон где, — указал мельник левее.

— А это же что за церковь?

— Монастырь.

— Нельзя ли там укрыться?

— Трудно, — монахи уже три дня как заперлись, не пускают к себе никого.

— Ну, прощай, дедушка, — сказал Алексей, возвращаясь и садясь в коляску, — поедем, авось сами найдем себе приют.

— Бог в помочь, кормильцы! Счастливо, миленькие!

Лошади уже тронулись.

— А слушай-ка, старик, — отозвался с козел Дрон. — нет ли у тебя свежего хлеба барским детям, либо крынки молока?

— Ничего нетути, — шамкал, почесываясь и щурясь от солнца, дед. — Хозяйка холсты на монастырь понесла, коровенку зимой еще волки заели, — рад бы, миленькие, да нетути!

— И все врет скалдырник! — ворчал, оглядываясь на мельницу, Дрон. — Уж народец! Сам гладок, как бык, а детям жалеет молока...

Не о детях думал в это время Дрон. Он еще с вечера голодал, рассчитывая на лучшую пищу в городе, а теперь видел, что опять быть ему и прочим слугам на одних сухарях.

Новое место в лесу, выбранное Алексеем для остановки, оказалось, как и вчерашнее, также укромно и защищено со всех сторон.

— Вот уж именно медвежий угол! — сказала мужу Серафима, оглядывая громадные деревья, когда экипажи, версты через две от мельницы, снова свернули с проселка в гущину. — Чисто разбойничья глушь.

— Зато никакие калабрийские бра́ви нас тут не найдут.

Кучера опять распрягли и пустили на траву лошадей. Снова вынуты узлы с закуской. Пока принесли воды и ставили самовар, дети с горничной собирали цветы. Серафима, под вуалью от комаров и мошек, чтобы рассеяться хотя немного, достала из кареты книгу и села под деревом.

— Я тебе, Alexis, почитаю вслух... Хочешь? — обратилась она к мужу.

— Сделай одолжение.

Алексей опустился на траву. Чтение, однако, не клеилось. Комары и мошки кусали Серафиму и сквозь вуаль. Она то и дело с досадой отгоняла их книгой. Алексей не слушал чтения. Подошел, с озабоченным видом, Дрон.

— Ну, чай готов? — спросил Алексей.

— Готов-то, готов, да смею доложить о другом.

— Что еще?

Дрон оглянулся.

— Припасы, сударь, повышли, — сказал он. — Вам и деткам будет еще до вечера булок, сыру, есть и целая жареная курица... Ну, а на завтра?..

Алексей молчал.

— В Цивильске, сударь, помните, не во гнев будет вам сказано, — продолжал Дрон, — я советовал больше брать живности, масла, хлеба, ну и прочего.

— Так что же?

— Не помирать же, сударь; вам маловато, а у нас, простите, ничего не осталось, кроме сухарей.

— Что же делать? — озабоченно спросил Алексей. — Не придумаешь ли чего? Без овса тоже не быть же лошадям.

— Уж я, сударь, про все думал и сам с кучером говорил... Пострелять бы дичинки, и ружья есть, да боязно, — ну, как на выстрелы нагрянут, найдут здесь?

— Вот что, — сказал, вставая, Алексей, — зови форейтора Митьку.

Митька подошел.

— Лезь, Митя, на березу, — сказал ему Алексей. — Гляди, не видать ли церкви?

Мальчик скинул армяк и сапоги и, как белка, вскарабкался по ветвям.

— Видно, — крикнул он с вершины дерева.

— Пятиглавая?

— Так точно.

— Далеко ли?

— Верст пять будет.

— В какой стороне?

— Эвоси, — крикнул сверху мальчик, показывая через лес, — тут сбоку и дорога, видно, туда, вон и поворот.

— Ну ладно, лезь долой. Так вот что, — обратился Алексей к Дрону, доставая кошелек, — вот тебе деньги, езжай в монастырь и купи всяких припасов... Ну, муки там, зелени какой, овса для лошадей, круп, котелок хоть небольшой добудь у монахов, рыбы свежей, а не то и соленой, хоть постного масла, да хлеба готового побольше... Скажи, что ты проезжий, из купцов, что ли, обоз, мол, пристал в лесу, так подводчикам нужна, мол, провизия. Понял?

— Как не понять! Не впервое, — замялся Дрон, — только в эвтой-то ливрее, опять же в косе... Ну, какой я купец?

— Так разве кучера послать? — обратился Алексей к Серафиме.

— О, Боже! — вздохнула она. — Такую-то простоту?

— И то правда, ему не след бросать и лошадей.

— Да я, сударь, коли угодно, — объявил Дрон, — переоденусь в его армяк, готов обрезать и косу.

— Зачем, Андрон Ильич, резать ее? — вмешалась слышавшая это горничная. — Можно и под шапку подвернуть.

— А и то правда, — ответил Дрон, — так ехать, сударь?

— С Богом.

X

Сказано — сделано. Дрон, в кучерском армяке и с подвернутой косой, опростал от вещей телегу, запряг в нее пристяжного из коляски и, сунув деньги за пазуху, двинулся по направлению к монастырю. У опушки леса, отделенная оврагом от его белых высоких стен, расположилась небольшая, но, благодаря соседству с монастырскою святыней, зажиточная деревушка с постоялым двором и двумя лавчонками. Въехавши в ее околицу и увидев эти лавки, Дрон сердито подумал: «Эка, брехун мельник! О лавках, старый черт, и умолчал. Не хотел пособить этаким-то господам!» Приметя, что ворота монастыря точно заперты, он подъехал к одной из лавок, отыскал во дворе ее хозяина, купил у него муки, два мешка овса и круп, а детям, кстати, фунт орехов и спросил лавочника, где купить хлеба. Тот ему указал двор пекаря. «На обитель, дядя, нечем!» — с гордостью сказал выпивший для праздника хлебник, укладывая в кулек все, что у него осталось от утренней продажи.

— А нет ли хоть постного маслица? — спросил довольный покупками Дрон, доставая из кошелька деньги.

Хлебник с удивлением в руках покупщика разглядел между мелочью несколько золотых монет.

— Купцы будете? — спросил он.

— Да, обоз тут в лесу... Работнички проголодались, — небрежно ответил Дрон, подавая для размена червонец. — Всякому давай свеженького.

— Обнаковенно, — согласился хлебник, — не токмо, значит, человек, всякая тварь. Вот, дядя, тебе сдача.

Дрон вышел, уложил кулек и, видя, что к лавке подошли еще два мужика, поспешил сесть в телегу.

— Одначе, землячок, стой, обожди, — сказал ему с крыльца хлебник, переговорив с подошедшими мужиками.

— Что тебе, милый человек? — спросил, обернувшись с телеги, Дрон.

— Да вот что, любезный, точно ли ты купец? Господ ноне велено хватать, не пропускать; а у тебя такие то есть деньги? Не из господских ли ты? Могим за то отвечать.

— Брешете, ребята! — ответил Дрон, хлестнув по лошади, и помчался.

— Стой, — закричали ему вослед, — держи его.

Не обращая внимания на крики, Дрон проскакал улицу, выехал за деревню и уже стал близиться к лесу. Навстречу ему из-за пригорка показалась куча парней. Они шли, заломив шапки и покачиваясь, горланили песню.

— Стой, держи! — громче послышались сзади Дрона крики.

Он оглянулся. От деревни за ним, крича и размахивая руками, гнались несколько всадников. Пешие, увидев погоню, бросились навстречу Дрону. Его задержали и окружили. Из-под упавшей шляпы у него обозначилась коса.

— Так вот ты кто! — пристали к нему верховые, между которыми Дрон увидел и хлебника. — Признавайся, покупал не себе, господам?

— Знать не знаю ни о каких господах, лопни глаза.

— Снимай его, ребята, волоки...

— Полноте, православные, за что?

— А вот узнаешь... Сказано, не велено пропущать господ; приказ такой вышел — ловить их и представлять в город начальству. Бей его, ребята!

— Стойте, соколики... Отпустите душу на покаяние.

— Бей, Андрюшка! Тащи, Демид.

Андрюшка дал Дрону такого тумака, что не надо было его и тащить, он сам свалился с телеги наземь. Дрон, оглядывая сумрачные лица окружавших его, подумал: «Господи,

прости прегрешения!. Их спасти — погубить, значит, себя! Так за что же?» — и рассказал всю сущую правду.

— Вона что! — толковали озадаченные мужики. — Надо, выходит, повестить стариков. Мы, дядя, не то чтобы как, — старались они успокоить Дрона. — Мы, как перед Богом, все то есть без обиды... Потому начальство велело... А нам как не послушаться, нет ли, выходит, чаво?

— То-то, детушки, не обидьте ни меня, ни их, — кланялся мужикам Дрон. — Господа у меня добры, не люди, сказать, ну, ангелы, и детки у них, да и у меня семья, дети тоже и внуки.

— Зачем, дядя, обижать? Мы все ладом, как есть. Гони, Родька, к Власычу, а ты, Андрюшка, к Кузьмину; задержали, мол, барского холуя.

Поскакали Родька и Андрюшка. Мужики, балагуря, уселись на земле вкруг телеги. Дрон, несколько обиженный прозвищем холуя, так, впрочем, был доволен добрыми заверениями крестьян — все уладить мирно и без обид, что достал мешочек с орехами и угостил ими своих стражей.

— Откули вы, по правде? — спрашивали его мужики, щелкая орехи.

— Говорю по истинной правде, — произнес Дрон, — мы саратовские; под Казанью были — у генеральши, первой богачки в губернии, и тут, значит, в лесу, ее родичи.

Возвратились верхами Андрюшка и Родька. Чернобородый, в новых сапогах, Андрюшка засуетился и объявил, что барского лакея надо прежде всего вести на допрос к сотскому. Седой, с ввалившейся грудью и в худых лаптишках Родька долго вглядывался в Дрона и объявил, что нечего ходить к сотскому, сотский с утра загулял, а нужно дать знать прясловцам.

— У них, ребята, лучше ведомо, — сказал он, глухо кашляя, — они с самим енаралом говорили и уж, как и что, обсудят.

Ребята поспорили и положили тем же Андрюшке и Родьке ехать в Пряслово. Часа через два в лесу послышался

говор множества голосов. Между деревьями замелькали серые и черные зипуны. На поляну высыпала толпа мужиков с вилами, дрекольями и косами. То прибыли прясловцы.

Впереди всех, с дубиной на плече, шел невысокого роста, широкоплечий, с опухшим лицом, вывернутыми врозь ногами и в порванной войлочной шапке, пьяный и, очевидно, от давнего запоя страдавший желтухой кузнец. Прясловцы окружили Дрона.

— Ну, барский раб, сказывай, — обратился к нему кузнец, — где твои баре?

Дрон замялся. Кузнец, покосясь на него желтыми белками, с размаха ударил его по уху.

— За что, милый, дерешься? — вскрикнул, пошатнувшись, Дрон. — Мы люди смирные, никому никакого зла...

Кузнец ударил его в другое ухо. Дрон упал на траву. Кровь сочилась по его лицу.

— Веди, холуишка, указывай! У, пришибу! — свирепо крикнул кузнец, поднимая его за шиворот.

— Иди! Что упираешься? Велено, значит, к допросу! — орали остальные мужики.

Оторопевший Дрон, обиженно отирая кровь полою кафтана, пошел впереди галдевшей и размахивавшей руками толпы. «Тише, черти, не ори! Выпустишь лисовина и лисят!» — окрикнул товарищей кузнец. Все тихо, скучившись, вошли в лесную просеку.

— У кого, ребята, нож? — спросил кузнец.

Ему подали нож.

— Становись к дереву! — сказал кузнец помертвевшему от страха Дрону. — Нечего ждать; был ты барским слугою, будь сразу царским! — И, прижав его к древесному стволу, он обрубил ему косу до затылка.

Толпа покатилась со смеху: так был смешон остриженный Дрон.

— Тише, зубоскалы! Смирно! — командовал, идя далее вывернутыми ногами, кузнец.

XI

Ничего не подозревавший Алексей Андреевич, с нетерпением ожидая возвращения Дрона, прохаживался у экипажей по поляне. Кучера у коновязи от скуки играли в карты. Серафима в тени берез, вынув из кареты подарок Туровцовой внукам, немецкую книжку народных сказок, переводила из нее детям сказку о Красной Шапочке и о лютом волке. В то время когда она дошла до рассказа о девочке, увидевшей под чепцом мнимой бабушки зубастую голову волка, в гущине леса послышался треск валежника, как бы что-то шло и надвигалось оттуда. Дети в страхе прижались к матери. Серафима взглянула на мужа. Алексей Андреевич, в смущении стоя среди поляны, что-то говорил подходившему к нему кучеру.

— Что это? Что там? — спросила, роняя книгу, Серафима.

Алексей молча махнул ей рукой. Переговорив с кучером, он поспешил к коляске, вынул оттуда двуствольный штуцер и саблю и подошел к жене. Его лицо было бледно; губы подергивались судорогой.

— Не бойся, милая, ничего особенного! — сказал он, стараясь быть спокойным. — Какие-то мужики подошли и стоят вон там, за деревьями, в гущине... Должно быть, пьяные.

— Но что же им нужно?

— А вот увидим, — ответил, отходя, Алексей. — Собирайся, да живо; я велел запрягать, торопись, — бери детей... Не успеем вместе, уезжай пока вперед одна.

— Alexis! Mon Dieu! Que signifie tout cela? Да куда же ты? — говорила Серафима, хватая мужа за руки. — Не ходи, они тебя могут убить!

Алексей обнял жену, тихо отстранил ее и, перекрестив ее и детей, молча пошел по поляне. Шум в гущине усилился. Послышались отдельные голоса. Из-за крайних деревьев выглянула голова в разорванной войлочной шапке.

— Не подходи, что тебе надо? — крикнул, остановясь среди поляны, Алексей.

— Для че, ваше благородие, не подходить? — спросил кузнец.

— А для того, — я приказываю! Детей напугаешь!

— Детей? У нас приказ повыше! — ответил, взявшись под бока и покачиваясь на расставленных кривых ногах, кузнец.

Сзади его из-за ветвей выступили еще несколько мужиков, с дрекольями в руках.

«Неужели опознали Дрона? — в ужасе думал Алексей. — Где он, бедный, сам? Жив ли?»

— Кто вас послал сюда? По чьему приказу явились? — спросил он передовых.

— От батюшки, самого царя, повеление! Так-то! — ответили мужики.

— Ну, слушай же, не подходи никто! Буду стрелять! — громко сказал Алексей, взводя курок ружья и оглядываясь на жену и на кучеров.

Карета уже была запряжена. Серафима подсаживала туда последнего, меньшего ребенка. Второй кучер возился с запряжкой коляски.

— Стрелять? — усмехнулся кузнец. — Вот как! Руки, барин, коротки — шею, може, свернешь....

Он выступил ближе из-под деревьев. За ним вышли на поляну другие, посмелее.

— Эй, уходи, выстрелю! — объявил, беря на приклад ружье и целясь, Дуганов.

— Покоритесь, батюшка Алексей Андреевич! Вам ничего вредного не будет! — вдруг послышался из толпы знакомый, плаксивый голос. — Не то... Пропадать, видно, и нам!

Алексей опустил ружье. Среди мужицких зипунов и бород он разглядел растерянного, остриженного по-мужицки Дрона.

— Так это ты, старый отцов слуга, привел их сюда и еще предлагаешь мне сдаться? — вскрикнул Алексей. — Ужли, бессовестный, изменил, продал нас?

— Не продал, батюшка, казни Господь! — ответил, всхлипывая, Дрон. — Убивством грозили... А ведь не мы, сударь, одни... И прочие, посуди, господа, служащие вон офицеры признали, целуют крест новоявленному государю...

Алексей оглянулся. Карета с Серафимой и детьми уже выбралась с поляны на дорогу. Серафима оттуда махала ему платком. Коляска тоже была запряжена; кучер с горничной бросали туда последние узлы.

«Прощай, жена! Прощайте, дети!» — мысленно произнес Алексей, видя перед собой более и более надвигавшиеся к нему хмурые и грозные лица мужиков.

— Да что, братцы, глядеть? — визгливо крикнул кузнец. — Бей его, вяжи, ура!

Толпа, размахивая дубинами и косами, бросилась на Алексея. Он снова поднял ружье, приложился и выстрелил... Нападающие шарахнулись назад, к деревьям; дым рассеялся. «Ранен ли, убит ли кто-нибудь?» — думал Алексей, взводя курок второго ствола.

Поляна опустела. У ее окраины валялось на траве несколько оброненных шапок и дубин. Распластав руки, навзничь лежал убитый выстрелом кузнец. По лесу шел треск от бегущей врассыпную толпы. Между берез, невдали от дороги, бились испуганные выстрелом лошади, опрокинувшие коляску с кучером и горничною. Алексей бросился к ним на помощь. Кучер, придавленный кузовом коляски, с трудом вылез из-под него и, когда поднялся, Алексей увидел, что его лицо и руки были в крови. «Зарезали, голубчики, убили!» — ревела, припав ничком к траве, выброшенная из коляски горничная.

— Уходите, сударь, хоть пешком, а не то верхом! — сказал кучер, дрожащими руками силясь освободить спутавшихся в ветвях и оборвавших сбрую лошадей. — Сами изволите видеть, можно ли ехать? Из четверни осталась тройка, и лопнула ось...

Он указал на опрокинутый кузов коляски. Отлетевшее с концом задней оси колесо лежало у ближних кустов.

— Барыня, барыня где? — спросил растерявшийся, видевший отъезд жены Алексей.

— Далече уже, видно; Филипп тоже, полагать надо, не сдержал лошадей — не свалился бы только со страху фалетор с выносного.

— Куда они поехали?

Кучер указал вправо, к стороне большой дороги.

— Готово, батюшка, садитесь, да скорей! — произнес он, опростав и подводя барину пристяжного коня. — Еще догоните, успокоите сударыню и деток.

— А ты же?

— Нам что! — ответил кучер, отирая травой раненую руку. — Нас, холопей, не тронут; мы им нешто нужны?

— Да возьми хоть это, — сказал Алексей, бросая на траву саблю, — авось пригодится.

— И, батюшка! Еще хуже будет; своею смертью помрем! Супротив такой оравы нешто устоишь?

— Ой, ой, зарезали младешеньку, погубили сироту! — выла, припадая к траве, хорошенькая перепуганная горничная.

— Ты, Семен, береги Феклушу! — сказал Алексей, вскидывая перевязь ружья через плечо и взлезая на коня. — Найдешь знающих людей, почини коляску — вот тебе деньги, — да спеши, догоняй... А ее чтоб не обидели!

— Что ей, паскуде, станется! Не съедят! — презрительно глянул на горничную кучер, освобождая из сучьев запутавшихся дышловых. — А вы, сударь, гоните — не рано, да и душегубы эти как бы не перестреляли.

Алексей поднял пристяжного вскачь. Его мучило сознание, что Серафима с детьми без него должна была теперь особенно тревожиться, кучер мог сбиться с дороги и, вместо почтового тракта, врезаться глубже в лес. А тут еще близились сумерки. Алексей, как ему показалось, ехал долго, никого не встретив на пути. Но лес в той стороне, куда он ехал, не прекращался и большой дороги, которая, по его

мнению, была тут недалеко, еще не было видно. «Что бы это значило? — рассуждал он, разглядывая извилистую колею и не видя на ней следов каретного хода. — Или я пропустил поворот, или попал не на тот путь?» Сердце Алексея сжалось. В лесу между тем заметно становилось темнее. Он то гнал лошадь, то замедлял ее бег, давая ей вздохнуть и прислушиваясь: не гремят ли где, невдали, рессоры и не слышен ли бег каретной шестерни? Он поднял голову; вверху над деревьями было еще светло. Облака золотились отблеском зари. Вдруг Алексей замер; ему где-то почудилось фырканье лошадей; послышался стук экипажа. Он снова погнал лошадь. Но мелькали деревья, кусты — он убеждался, что слух обманул его. Впереди и по сторонам все молчало, дорога была пуста. Прошло еще около получаса. Пар валил с лошади. Алексей не знал, что делать. Не привыкший к езде без седла на тряской, костлявой упряжной, он наконец почувствовал, что далее ехать не в силах. «И какая цель? — думал он, теряясь в догадках, где же он теперь и куда едет. — Сомнения нет, я, очевидно, сбился среди этих лесных разбегающихся тропинок... Заморю только даром коня; надо остановиться, ждать рассвета... А жена, а дети?» Он в отчаянии сжимал кулаки. А тут еще голод стал напоминать о себе. Алексей сообразил, что с утра почти ничего не ел. В лесу совершенно стемнело.

Своротив в чащу деревьев с дороги, Алексей слез с лошади, кое-как пробрался сквозь ветви, привязал лошадь за уздечку к кусту, положил ружье на траву и сам свалился тут же. Угнездясь у древесного пня, он прилег к нему головой, но, как ни был утомлен, нескоро заснул.

XII

Спал он, как показалось ему, недолго. Его разбудило что-то неприятное и холодное, падавшее ему на лицо. Он очнулся, открыл глаза. Начинался бледный, пасмурный рассвет. Набе-

жавшее облако роняло сквозь деревья крупные, тихие капли дождя. Лошади у куста более не было. Она, вероятно, сорвала с ветви уздечку и ушла пастись на приволье. Алексей вскочил, бросился искать ее. Он ходил долго, промочил ноги и сам промок, но не нашел лошади. «А ружье?» — вдруг вспомнил он и начал искать то дерево, под которым провел ночь; оглядывался, ходил вправо и влево, возвращался назад, соображал, но тщетно. Алексей очутился без лошади и без ружья. «Теперь все кончено, я бесповоротно пропал! — решил он. — Первый встречный прохожий увидит меня, тотчас по одежде и по всему признает меня за барина, за дворянина и без жалости выдаст меня. Побег наш оглашен в окрестности... Там на поляне убитый мною мужик... Развязка неминуемая...» Алексей снял шляпу, отер вспотевшее лицо, перекрестился и пошел по лесу, отыскивая дорогу. Скоро он увидел в стороне, между деревьев, тропинку и свернул на нее. Лес поредел. Тропинка вышла к реке. День прояснился. Облака разошлись. Солнце начинало припекать. Томимый жаждой, Алексей напился в реке и пошел ее берегом. Вдали показалась верхушка какого-то здания. Алексей узнал мельницу, к которой он подъезжал вчера утром с семьей.

Серафима, выбравшись из леса после нападения мужиков, то и дело выглядывала из окна на дорогу: не догоняет ли ее муж? Коляски Алексея не было видно.

— Да куда же ты торопишься, Филипп? — спросила она кучера. — Барин нас так не догонит.

— Эх, матушка, сами-то думайте о себе да о малых детях! — укоризненно ответил кучер, понукая лошадей. — Барин-то еще справится, коли что, а уж вам хоть бы доехать до города. Вот мы стороной, сударыня, мимо того каторжного села... Прежде было бы так-то... Да и город недалече, вон верхушки церквей, — указал с пригорка Филипп. — Должно, это и есть самый тот Курмыш... Объехать бы и его... Гони, Митька! — крикнул он форейтору.

Карета с почтовой дороги спустилась влево на луг и понеслась извилистым проселком, между свежей черной пахоти и пасущихся по снятым покосам овец и лошадей. Версты через две проселок поднялся на новое взгорье. За взгорьем оказалась деревушка, дворов в десяток. «Объехать бы как-нибудь и это новое чертово гнездо?» — подумал кучер, видя с досадой, что дорога идет прямо на этот поселок. Он направил лошадей по лугу еще левее, в объезд огородов и огуменников деревни. Но встретился крутой овраг; внизу оврага струился ручей, а мост через него был разорен. Пришлось опять сворачивать. Кучер поехал прямо в околицу. Карету здесь уже заметили. Из-за плетня крайнего огорода на подъезжавших смотрела высокая старуха, знаками подзывая кого-то с грядок. С улицы в ближний двор, крича, оглядываясь и махая руками, стремглав бежала куча ребятишек. Митька-форейтор без крика: «Пади!» из всех сил понукал выносных.

Едва карета въехала в деревню, навстречу ей из ближних ворот вышел с рубанком в руке, босой, с бельмом на глазу бородатый мужик.

— Куда, дядя, едете? — спросил он, вытаскивая из бороды древесные стружки.

— На богомолье были... Мы сами курмышские, — ответил, пошевеливая вожжами, Филипп.

— Чьих же будете? — недоверчиво уставился на него бельмом бородач.

— А вы?

— Мы синдеевцы... Выселок наш — Синдеевка... А я, выходит, бондарь.

— Ну, а мы Лаптевых купцов... Басонщики они, опять же держат и винный подряд, — придумал наудачу кучер. — Эй, вы, други! Недалечко до дому! — прибавил он, спокойно ударив по лошадям.

— Басонщики? Лаптевых? — произнес бондарь, загораживая лошадям дорогу и хватая под уздцы дышловых. — Не слыхано что-то таких!

Кучер оглянулся. Справа и слева подходили другие мужики. Они окружили карету, заглядывая в окна. Дети снова подняли плач.

— Что вам нужно? — строго спросила Серафима. — Видите, дети... Пугаете... Ну, разве можно так?

— Зачем пугать? У самих, сударыня, ребята, не щенки! — заговорили крестьяне. — А только таких делов не попустим... Нельзя!

— Но какие же, скажите, дела?

— Курмышские, видишь, басонщики-купцы! А таких и не слыхано.

— Кучер с испуга напутал... Мы дальние, посторонние, — оправдывалась Серафима.

— Ужо вот повидим! Начальство разберет! В город их! Садись, Михеич, и ты, Парамон... Вези их, — настаивала толпа, так близко наваливаясь к окнам, что в карете стало трудно дышать.

— Да что же это, о, Господи! — проговорила, заливаясь слезами, Серафима. — Петя, Коля, просите их.

Дети, прижимаясь в страхе к матери, еще более разревелись.

— Почто, милые голубятки, плачете? — спросил ближе всех стоявший к окну кареты подслеповатый и курносый, в дырявых лаптишках, старик Ермил. — Дай, батюшка, ручку! Дай! — обратился он к плакавшему Пете.

Понукаемый матерью, озадаченный Петя протянул в окно пухленькую, мокрую от слез руку.

— Ай да барчонок! Молодец распрекрасный! — воскликнул Ермил, щуря смеющиеся глаза и целуя руку дитяти. — Не бойся, с матушкой! Государь-от наш милостивый пряничков даст.

Прочие мужики, тоже присмирев, умильно смотрели на дитя и на Ермила.

«Что же это, Бог мой? Во сне или наяву? — думала Серафима, разглядывая казавшиеся ей теперь добрыми, ласковыми и совершенно искренними лица мужиков. — Я

ошиблась; бояться их нечего... Это не те, что грозили с дубинами в лесу!»

— Так что ж, Парамошка? Михеич, лезь! — заговорили в толпе. — Нечего, братцы, зевать! Велено, ну и вези.

— Да куда лезть-то?

— На козлы.

Михеича подталкивали в спину. Он подумал, ухватился за колесо, стал на его ступицу и, оборвавшись, упал. Толпа захохотала. Дети также развеселились. Михеич снова полез; добрался до козел, уселся там и втащил за собой Парамона.

— И мне, видно, с вами! — сказал Ермил, взлезая на запятки.

— С Богом! Счастливого пути! — заговорили, кланяясь, мужики.

Филипп шевельнул вожжами. «Господи, дай нам благополучно доехать!» — шептала, крестясь, Серафима. Карета понеслась, гоня по улице кур и гусей и подняв облако пыли.

— А ведь барыню и ребяток-то порешат! — сказал бондарь, качая головой вслед удалявшимся путникам.

— Ну, дядя Сысойко, може, рассудят еще и инако! — возражали, расходясь, мужики. — Погрозят и отпустят.

Карета, свернув из Синдеевки, выехала снова на большую дорогу. Невдали обозначались берега Суры.

— Где же мы остановимся? Куда нас везете? — спросила Серафима Львовна проводников.

— Да ты не сумлевайся, не бойся как есть ничего, — ответил, нагнувшись с козел, Парамон, — к самому енералу представим.

— Он праведный, вчерась, слышно, вот как дела разбирал! — отозвался с запяток Ермил. — У кого что взято — отдадено, а кому, сказывали нонче ребята, так и прибавил еще от казны.

Миновав Суру, путники въехали в город и приблизились к площади, полной народа.

— Куда теперь? — спросил, оглядываясь на провожатых, кучер.

— Вон тесовые новые ворота, воеводская фатера, — указал рукой Парамон.

— Да нет, в ратушу держи, — вмешался Михеич, — туды сказано.

— Знаешь ты много, черт! Ратушу енерал увольнил, закрыл.

Карета остановилась у каменного, в один этаж, воеводского дома, перед крыльцом и воротами которого стояла с пиками и шашками кучка яицких казаков и башкир. Далее толпился народ.

— Где изымали? — спросил чей-то голос. — Кто везет?

— Синдеевские.

— Красный, видно, зверь...

— Иди, доложи.

Серафиме указали на крыльцо. Входя на него, она оглянулась: ее проводников уже не было видно. Надвинувшаяся с площади горланившая толпа захлестнула их своей волной. Держа младшего ребенка на руке, она с двумя другими робко ступила через порог сеней.

Задержанных ввели в просторную комнату, где у стола, покрытого зеленым сукном, перед зерцалом сидел широкоплечий плотный человек с светло-русою широкою бородою и голубыми красивыми глазами. То был опередивший самозванца ближайший из его пособников Ивашко Творогов.

— Ты кто? — спросил он, оглядывая Серафиму.

Та назвала себя.

— Это твои, что ль, малюки́? — указал он на детей, жавшихся к матери.

— Мои.

Творогов оглянулся на стоявшего за ним, в синем кафтане, молодого казака. Серафима остолбенела. В казаке она

узнала того офицера, который под видом мнимораненого под Казанью вчера обогнал ее и Алексея на дороге под лесом. «Эмиссар! — подумала она, — Спешил сюда на казенных почтовых, бунтовать народ!»

— Это в Пряслове, что ли, вас остановили вчера? — спросил, переговорив с товарищем, Творогов.

— Да, мы ехали вчера через какое-то село и нас далее оттуда не пустили.

— А почто муж твой, али он тебе родич какой, отгонял давеча в лесу царских дозорцев? Только вот донесли оттоль верховые.

— То действительно был мой муж, — ответила Серафима, — но набежали вдруг крестьяне и чуть не до смерти напугали меня и детей.

— Нежные какие! — усмехнулся Творогов. — А для че было стрелять в народ? Ведь убит ни за што прясловский кузнец.

Серафима не чувствовала ног под собою.

— За то ответишь, с мужем, — объявил Творогов. — За убивство — знаешь что?

— Скажите на милость, не знаю, как вас звать, — произнесла Серафима. — Где же мой муж? Жив ли он?

— Найдется, красавица, попусту не томись! — ответил Творогов.

Он дал знак казаку, стоявшему у дверей.

— Кликни конвой, отведи их к прочим, а ты, молодуха, не бойся; завтра ждем самого государя, он разберет твое и всякое дело.

Серафима, не кланяясь, молча направилась к выходу.

— Так ты будешь Дуганова? Помещица? — спросил ее вослед Ивашко.

Серафима, оглянувшись, молча качнула головой.

— Где ваша вотчина?

— Возле Саратова.

— Как звать?

— Горки.

Творогов записал на клочке бумаги ее слова.

— А едете откуль? — спросил он.

— Из-под Казани.

— Зачем там были?

— В гостях у моей крестной.

— Как ее звать?

— Вдова генерал-аншефа, Варвара Ивановна Туровцова.

Творогов подумал, как бы что-то вспоминая, и сказал:

— Так, так, знамое дело... Ступай, молодка, отдыхай, завтра все порешим!

Серафиму сквозь толпу теснившихся, напиравших друг на друга зевак конвойные провели в соседний, в два яруса, дом городской ратуши. «Сердечная, да с махонькими ребятками!» — слышался при ее проходе голоса баб. «Одна дорога душегубке! Все они, дьяволы, одного сада малина!» — отзывались мужские голоса.

XIII

Невысокая и длинная комната второго яруса, куда ввели Дуганову, выходила окнами на площадь и во двор. Она была переполнена задержанными в городе и окрестностях дворянами. Здесь находилось не менее тридцати человек. Старые и молодые помещики, чиновники и отставные офицеры, женщины и дети, тихо разговаривая, сидели или лежали на скамьях и прямо на полу. В сумерках еще можно было разглядеть их бледные, у некоторых спокойные, у других испуганные лица и заплаканные глаза. При входе новой арестантки двое-трое взглянули на нее с состраданием; прочие — в тупом отчаянии даже не повернулись к ней.

— Послушай, милый, — сказала вполголоса Серафима конвойному казаку, проводившему ее сюда. — Там, в нашей карете, узелок с закуской... Достань, голубчик, принеси сюда детям.

Казак молча вышел. Закуски не приносили. Серафима с девочкой, заснувшей на ее руках, села к окну, выходившему на площадь. Петя уселся рядом с нею; Коля подошел к окнам во двор.

— Мама, мама, — сказал ей вполголоса Коля, подбегая от окон, — смотри, что во дворе делают мальчики... Да смотри же.

Серафима пошла за Колей, взглянула в окно. Уличные ребятишки, устроив среди двора из палок виселицу, втягивали на нее веревкой за шею связанного котенка. Куча взрослых, надседаясь от смеха, следила за их забавой.

— Комическая репетиция — en petit — грустной и грозной трагедии — en grand! — тихо проговорил кто-то за спиной Дугановой.

Она оглянулась. Возле нее стоял пожилой и высокий, несколько сгорбленный господин с бледным и важным лицом. Он был в сером суконном рединготе, но без камзола, в батистовой тонкой рубахе с кружевами и в одних чулках, без сапог.

— Да, сударыня, — сказал он со вздохом, — эти маленькие будущие Калигулы и Нероны репетируют здесь запросто, в миниатюре, то, что их родители и близкие уже проделывают на площадях торжественно и на виду всех.

Серафима в ужасе отвела ребенка от окна.

— Отставной гвардии капитан Федор Копьев, — сказал, идя рядом с нею и вежливо кланяясь, пожилой господин, — взят под городом, в собственной усадьбе, и, как видите, — прошу извинить, — в чем был, почти босиком... А мой брат, Петр Копьев, цивильский воевода, два дня назад испытал в своем городе участь той кошки, которую вы видели сейчас.

Серафима готова была разрыдаться.

— Но за что же все это, за что? — спросила она, в изнеможении опускаясь на стул. — Ведь на все есть какие-нибудь основания... Тигр, крокодил нападают от голода... А здесь?

Копьев, молча расставив руки, поднял глаза к потолку.

— За грехи наши! — сказал он. — Бедным и богатым одна участь... Наш род не из богатых, а терпим тоже... С кем, извините, имею честь говорить?

Дуганова назвала себя. Копьев присел рядом с нею.

— Как попали сюда? — спросил он. — Где ваш муж, родина?

Серафима обо всем рассказала.

— Да, ваша история, как и моя, как и моего брата, одно и то же, — тяжкий сон наяву! — произнес Копьев. — А вон, сударыня, в углу, у печки, господин, — продолжал он, понизив голос, — видите, в темно-вишневом бархатном кафтане с золотыми кистями у петель, завитой, в серебряной пудре... Это первый в нашем округе богач и мот, князь Сивский... Ох, обижал же он бедненьких соседей, да как! Не крестьян — с ними он дружил и бражничал, — нет, своего брата, дворянина! У того вон, в суконном архалучке, отставного майора Юрлова, что спит, свернулся на полу, этот Сивский силой вырубил последний лес, скосил в прошлом году все сено, а нынче хлеб; а у этой вон барыни, Маковневой, и у ее брата, Дмитрия, что сидят у двери, загнал скот, связал и высек их управителя... В службе не был, грамоте не учен и не умеет писать... А франт, внучатый племянник Орловых, ну, везде терпели и вышел сух из воды... Попался обидчик, наконец, сюда, да что! Этакий выйдет сухонек и здесь.

— Что, Федор Ильич, поешь новой гостье? — отозвался от печки мягкий, насмешливый голос Сивского, дремавшего там и услышавшего кое-что из слов Копьева. — Раньше тебя не вздернут! Извините, сударыня, что вмешиваюсь и перебиваю. Он ведь у нас святоша, даже в скоромные дни ест постное... А лучше пусть скажет, как он радовался и предрекал, что скоро, мол, все избавимся от бича, вот и избавились.

— Доныне во хмелю, — шепнул Серафиме Копьев.

«Боже! — подумала Дуганова. — В таком месте и то перекоряются, ссорятся!»

— Полно вам, бесстыдники, спорщики, душу всю за день истерзали! — отозвалась из дальнего угла старушка в черном платье и черном головном платке. — У нее, сердечной, дети голодные, сама она не своя и, чай, тоже голоднешенька, а они языки чесать, сплетни плести, тьфу!

Старуха, встав, пригласила Серафиму в свой угол, где сама сидела с миловидной девушкой-внучкой, достала из какого-то свертка хлеба, сухой рыбы и пирога и накормила детей Серафимы, убедив закусить и ее. В комнате стемнело. Бывшие в ней, знакомые друг с другом и незнакомые, мало-помалу затихли.

— Да, тяжкая и главная наша беда — общий разлад и ссоры! — сказала старуха, разостлав на полу свой капот и манто внучки и уложив на них детей Серафимы. — Я, матушка, сама коренная здесь в городе дворянка, вдова Наталья Прокофьевна Ульянова. Не любят меня за правду здешние, груба, мол, очень откровенна и зла на язык! А уже где там зла? Истину говорю... Вот хоть бы и это наше тяжкое горе... Разве все то, что наступило, случилось бы, если бы, сказать, эти Сивские, да хоть бы и Копьевы, вместо перекоров да тяжб, дружно собрались да объяснили толково своим подданным, как и что, вооружили их и смело вышли бы на злодеев? Почему их гонят? Трусы! А сами злодеи чуть услышат — Муфель либо граф Меллин, и все врассыпную.

— И что еще удивительно, — проговорила чуть помнившая себя от усталости и пережитых тревог Серафима. — Как духовенство не поднимает голоса, не толкует черни?

— Да какое, мать ты моя, духовенство? — с горечью шептала и вздыхала Ульянова. — Какое оно нынче у нас? Поп и дьякон в селе пьяные, дьячок неграмотный, читает понаслышке... А была я с покойным мужем в Неметчине; он от хворости воды тамошние пил... Ну, там не то, куда!

Не токмо высшие — все дружны, чернь почитай вся грамотна до одного, а уж духовенство... Да что и говорить! Я не помещица, как ты либо как Копьев да Сивский, а попала сюда по доносу здешних же соборных попов, Евдокима да Адрияна.

— За что?

— Обнесли, что я мнимого царя открыто зову Емелькой и вором. Да ведь он вор — Емелька и есть! Свояченица маво мужа ему в Казани, в тюрьме, и милостыню подавала, знает его. Мне что, вдова и сирота, некому жалеть, в гроб давно гляжу... А они, бородачи, хоругви поднимают, сбираются встретить его с иконами и звоном, а его, прости Господи, царицу Устинью на ектенье поминают.

Долго еще говорила Ульянова. Серафима уже не слушала ее. Примостив детей ближе к себе, она спала крепким, тихим сном.

Арестованные, спавшие вповалку, где и как кто устроился и лег, были разбужены шумом с надворья. Утро только что занималось. Подошедшие к окнам увидели, что площадь снова уже полна народом. Духовенство, в облачении, с хоругвями и крестами, стояло на паперти, глядя в соседнюю улицу. Плотники у церковной ограды строили какой-то помост и по бокам его ставили столбы. Сторожа принесли заключенным пищу. Князь Сивский тщетно уговаривал их добыть чаю, сахару и самовар. Пришел сбитенщик; некоторые стали пить сбитень. Сивский, морщась, подсел к ним. Серафима, выпросив у конвойных кувшин воды, умыла и прибрала детей. Прошло несколько часов. «У меня есть деньги, — подумала Серафима, — что, если подкупить стражу, вырваться, уйти?»

Сидевшие у окон нежданно крикнули: «Едет, едет!» Все всполошились, бросились к окнам. Через головы и спины других Серафима увидела въезжавших рысью на площадь

запыленных, на тощих лошадях казаков. Во главе их, на высоком чалом коне, ехал, с саблею в руке, худой и сильно загорелый, глядевший исподлобья всадник в красном чекмене, в черной барашковой шапке набекрень и в наперсном архимандричьем кресте с голубой лентой на шее.

«Пугачев, это Пугачев!» — с ужасом твердили арестованные, видя в окна, как при проезде этого всадника у паперти преклонялись хоругви, духовенство осеняло его крестом, а он кланялся народу, падавшему перед ним без шапок на колени.

— Ваше величество, ваше!.. — смеялся князь Сивский, кланяясь и прикладывая руку ко лбу, как бы к козырьку. — Обрадовал, отец наш, спасибо! Оживил!

— Да полно, князь, паясничать! Вот скоморох, и в такую минуту! — огрызнулась на него Наталья Прокофьевна. — Мало тебя, видно, в детстве секли.

— Бросьте его, бабенька! Охота! — шепотом остановила Ульянову внучка.

— Вот и правда на земле! — обиженно сказал Сивский. — Я скоморох... А что же лучше, не терять ли духа или отчаиваться и печалить других? Так ли я говорю, товарищи по общему горю?

Никто Сивскому не ответил. Все молча глядели в окна.

Пугачев встал с лошади, взошел на паперть и положил свою руку на руку Творогова, обмотанную желтым шелковым платком. Народ, целуя крест, протягиваемый священником, тут же прикладывался к руке самозванца.

— Тьфу, богохульники! — не утерпев, плюнула Ульянова. — И это слуги алтаря! Так вот, кажись, своими руками выщипала бы им бороды.

— Не торопись, тетенька, сама присягнешь! — вполголоса сказал Сивский.

— А уж это увидим, кто первый поподличает, — отрезала ему Наталья Прокофьевна, одергивая на голове платок.

XIV

Присяга народа самозванцу была кончена. Окруженный приближенными, он прошел от церкви вправо, к воеводскому дому, в котором опрашивали Серафиму и которого не было видно из ратуши. Толпа повалила туда к крыльцу. Прошло более часа. Мимо окон ратуши в это время то и дело сновали пешие и конные посланцы. Казаки провели к воеводскому дому какого-то с связанными руками, хмурого и толстого старика, очевидно зажиточного купца.

— Мама, — обратился к Серафиме Коля, — а котенок все висит во дворе...

— Не смотри туда, милый, — остановила Колю Серафима, уводя его в глубину комнаты.

— А посмотри, бабенька, что это? — сказала внучка Ульяновой. — Вот, вот у церкви.

Серафима тоже взглянула на площадь. Ее близорукие глаза у церковной ограды увидели что-то темное и высокое, чего прежде за народом не было видно. То были два столба с перекладиной; такие же два столба виднелись далее, у деревьев ограды.

Сердце Серафимы упало. «Для кого это? — подумала она. — Неужели и здесь будут казни? Воевода уже сменен; на его месте вчера заседал другой. Неужели смененного осудят, замучают?». И ей вспомнилось прощание с крестною, ее поклон этому воеводе, благодарность за чайные розы... Серафима перенеслась мыслью на Волгу, в Красный Кут и Горки.

— Кто здесь Маковнев? Маковнев Дмитрий, майор? — громко спросил казак, войдя с пикой и в шапке к пленным.

Все молча и с тревогой переглянулись. Отдохнувший за ночь и подкрепившийся сбитнем с булкою, Маковнев спокойно выступил вперед. Серафима со слов Ульяновой знала, что его, с пожилою его сестрой, привезли за двадцать верст из их деревни, на телеге, связанных и в чем утром застали:

ее — в капоте и ночном чепце, его — в ситцевом халате телесного цвета с пуговками в виде бомбочек и в вышитых гарусом башмаках на босу ногу. Больная зубами, его сестра всю ночь не спала, сидя с подвязанною щекой. Он, умывшись и закусив, смотрел свежо и, для утешения сестры, даже весело.

— Я Маковнев майор! — ответил он посланному, застегиваясь и оправляя на себе волосы.

— Иди, ваше благородие, требуют! — сказал казак, отворяя дверь.

Маковнева увели. Прочие арестанты стали рассуждать, зачем и куда повели майора, о чем будут его спрашивать и чем кончится его дело. Серафима увидела, что некоторые под шум разговоров молились, другие, добыв от стражи клочок бумаги, перо и чернил, писали, вероятно к ближним, письма. Так прошло не менее двух часов.

«А что же делает мнимый царь?» — подумала Серафима. Она осведомилась у сторожа.

— Раздавал батюшка милостивый деньги, потом делил всем вино, теперь обедать сел, — ответил сторож.

— Куда повели майора?

— Не могим знать... Должно, допроса в воеводской ждет.

Еще прошло с полчаса. Серафима ощупала на пальце дорогой, с изумрудом, перстень. «Подкупить их, бежать!» — мыслила она, с дрожью ходя по комнате и поглядывая на дверь, за которою стояла стража.

— Юрлов Василий! Секунд-майор Юрлов! — объявил тот же казак, снова войдя в комнату.

Отставной кавалерист и страстный охотник, Юрлов был схвачен под городом при переправе через Суру. Прослышав о переправе Пугачева через Волгу, он затеял бежать из своего поместья в Москву и для того нарядился мещанином, в поношенную серую поддевку и в длинные смазные сапоги,

а для большей неузнаваемости даже по-мужицки остригся, в скобку. Собственный его пьянчужка егерь, ездивший в Курмыш за лекарством для собак, узнал его и разболтал о нем на переправе.

— Прощайте, други, — сказал Юрлов, кланяясь и, как ни был взволнован, стараясь улыбнуться товарищам по заключению, — не поминайте лихом. Копьев!.. Заберите борзых, коли пришибут.

— Полноте, мужайтесь! — успокаивал его Копьев. — Все это, даст Бог, кончится благополучно.

— Да я и не смущаюсь! — ответил Юрлов. — Как это сказано? Dieu ne peut, roi ne daigne, Rohan... Сиречь Юрлов — je suis! Salut, mesdames et messieurs!

Юрлов, поклонясь, вышел. За ним через некоторое время потребовали Ульянову.

— Дворянка Наталья Ульянова! — послышался голос конвойного. — Кто здесь Ульянова?

Наталья Прокофьевна молча встала. Помолясь в окно на церковь, она обняла внучку, трижды перекрестила ее, поцеловала, и, когда та, прощаясь с бабкой, горько заплакала, старуха снова перекрестила ее и, целуя, тихо сказала ей в утешение несколько теплых, ободряющих слов.

— Ну, а теперь вы, Серафима Львовна! Честная любящая мать! — обратилась Ульянова к Дугановой, отводя ее в сторону. — Иду в отверстый зев лютого тигра, и, уж так думаю, меня ему не пощадить. Прости, родная! Сохранит тебя Господь, побереги Сонечку, мою сироту. Да сейчас, постылый, дай проститься! — крикнула Наталья Прокофьевна казаку, звавшему ее вторично. — Не на радость иду, вернусь ли?

Голос старухи дрогнул. Слезы побежали по ее бледному морщинистому лицу. Серафима обняла ее, поцеловала в плечо и стала утешать.

— Пощада, прощение? Нет, добрая, стой, не говори, — перебила ее старуха. — Разве не видишь? Никто из позванных к злодею не возвратился... Сама, разумная, молись; про-

си у Господа жизни для малых твоих деток. Не скрою, и твоя участь на волоске, — заключила Ульянова, строго и важно смотря в глаза Дугановой. — Будь готова, понимаешь, ко всему, хоть и думается мне, за что гибнуть такой красивой, доброй да молодой? Да, сердечная, жди всего... Вон, гляди, все прочие поняли, убиваются... И князь-скоморох плачет!

Серафима оглянулась. Щеголь Сивский, ухватив себя за волосы, сидел в дальнем углу, склонясь к коленям. Его плечи тихо вздрагивали от заглушенных слез. На новый зов конвойного Ульянова, крестясь и шепча молитву, низко поклонилась всем и молча вышла за дверь.

«Не возвращаются, точно падают в пропасть! — в мучительной тревоге думала Серафима. — Неужели суждено не возвратиться и этой бедной старухе? Да что же с ними делают?» Кто-то, идя по комнате, взглянул в окно на площадь и в ужасе что-то вскрикнул. Все снова бросились к окнам. Поднялись отчаянные вопли, рыдания. «Боже мой! Что они видят там?» — замирая, думала Серафима. Растерянные, с обезумевшими лицами, женщины, ломая руки и продолжая что-то кричать, метались по комнате. Бледный, потерявшийся, как все, с испуганными глазами и развившеюся косой князь Сивский, припав к полу, приводил в чувство упавшую в обморок внучку Ульяновой. Серафима вспомнила о виселицах, стоявших на площади. «Вот о чем ужас и крики!» — сказала она себе и с мыслью о перстне, о спасении, схватив детей, бросилась к выходу. «Бежать, бежать» — мыслила она.

Дверь отворилась. У порога стоял тот же конвойный.

— Помещица Дуганова и капитан Копьев! — сказал он, глядя на пленных.

«Кого это он зовет?» — подумала Серафима, видя, что на нее все смотрят. Она не двигалась с места. Подошел сумрачный, сгорбленный Копьев.

— Вас и меня, — сказал он тихо, оправляя на себе платье.

Серафима бросилась к детям, прижала их к углу и, заграждая их, обернулась.

— Не смейте трогать детей! Не отдам! Уходите! — кричала она, не помня себя.

Конвойный выглянул за дверь; оттуда вышло несколько сторожей.

— Возьмите деньги! Это кольцо! У нас много, алмазы! — вопила, дрожа и плача, Серафима. — Меня берите, ведите на казнь, оставьте детей.

Сторожа подошли к Дугановой, отстранили ее, подняли на руки плачущих и рвавшихся к ней детей и понесли их из комнаты. Серафима, поддерживаемая Копьевым, последовала за ними.

— Du calme, chère dame, du calme devant ces brigands! — успокаивал ее бледный, старавшийся идти твердою поступью Копьев. — On nous ronda la liberté et vous partirez...

Шум и говор тысячеголовой толпы оглушил Серафиму, едва она вышла на площадь. На крыльце воеводского дома, куда ее подвели, перед широко расступившимся народом, на стуле с высокою спинкой, опершись ругами в колени, сидел тот загорелый и бородатый, в красном кафтане всадник, которого Серафиме называли Пугачевым. Он исподлобья глядел на подходивших новых арестантов. Сердце Серафимы сильно билось. Не слыша за собою шагов стражи, несшей ее детей, она замедлилась у крыльца и оглянулась. Копьев, следуя за нею, пристально смотрел на Пугачева и на вооруженных его охранников, стоявших по бокам подъезда!

— Ты, сударыня, первая! Стань ближе, сюда! — услышала Серафима грубый и хриплый голос с крыльца.

Она медленно поднялась на нижнюю крылечную ступеньку. Детей поставили с нею рядом. Где-то за народом, на углу ближней улицы, Серафима увидела свою карету, на козлах которой вместо Филиппа сидел, в лохматой шапке, косоглазый калмык. Пугачев, посмотрев на арестантку, обернулся к стоявшему за его стулом Творогову и тихо ему сказал: «А ведь красавица какая!» Творогов стал ему что-то говорить.

XV

Прошло несколько минут. Видя устремленные на себя глаза смолкшей и как бы ждавшей чего-то толпы, Серафима переживала мучительные мгновения. Тысячи мыслей, образов и воспоминаний проносились перед нею. «Где я? Неужели, наконец, перед этим извергом, о котором столько говорили и который везде вселял столько ужаса? — мыслила она, разглядывая Пугачева. — Вот он, облитый кровью, замучивший десятки, сотни жертв, таинственный для многих, непонятный и для меня царь-мужик! Он взял ряд крепостей, осаждал Оренбург, Казань и теперь идет на Москву. Что он мне скажет, зачем меня позвал?» Дугановой вспомнились ее детские годы, пансионские мечты с Мари, ее свадьба и жизнь в Горках, приезд с мужем в Москву, безумный побег с Прядышевым и появление Глеба в Киеве. «Отчего, вместо Глеба, не догнал нас тогда Алексей? — спрашивала себя Серафима. — Зачем меня простил он, не убил нас тогда на месте?»

— Ты вдовая, али есть и муж? — послышался с крыльца тот же хриплый и грубый голос.

Дуганова поняла, что ее спрашивает Пугачев.

— Замужняя, — ответила она.

— Твои это дети?

— Мои, — проговорила Серафима, потупясь и судорожно гладя тонкими, белыми пальцами растрепанные и вспотевшие головки детей.

— Помещица! Лиходейка! — громко, чтоб все слышали, произнес Пугачев. — Много вы тиранили, пили людской крови, попробуйте ноне, какова своя!

Серафима вытянулась, подняла глаза на самозванца.

— Никого наша семья не тиранила, — сказала она. — Может быть, в других местах, хоть не слышала и не знаю... Может, другие люди, — говорила она, спеша и обрываясь. — Наши же деды и отцы, мы с мужем, клянусь всем

святым, заботились о подданных, кормили их в голодные годы и всем жертвовали для них.

— Вотчина под Саратовым, что ли? — подумав, спросил самозванец, глядя на Творогова. — А есть родичи у тебя в Малороссии... На Донце? Нам сказывали о них.

— Золовка там жила, мужниного брата жена, — тихо ответила Серафима.

— И нонче она там?

— Не знаю, недавно гостила в нашей вотчине, на Волге...

— Так вы проезжие, дальние... Ладно! Авось и нас приведет Господь в Саратов, сами повидим и расспросим, — сказал Пугачев. — А это дети твои, наследники? У меня самого, чай, знаешь, тоже сын, Павел... Смотри же, молодуха, найдется твой муж, и, коли что да не так, несдобровать тебе и с хозяином. По многим из ваших веревка плачет...

— Ейный муж, ваше величество, вчера стрелял по народу, — заметил Творогов. — Двух ранил, одного убил; для ради примера, надежа-государь, станичники просят и ее тож, с прочими...

Серафима вздрогнула, чуть устояла. Она силилась что-то сказать и не могла. Кровь стучала ей в голову.

— Видела, красавица, наши качели? — спросил, глядя на нее, Пугачев.

Серафима молчала.

— Ейного мужа, батюшка, ищут и вот-вот найдут, — сказал Творогов, — а пока суд да дело, ведь она в ответе!

Пугачеву жаль было молодой и красивой арестантки, но она уже очень смело глядела на него и не стеснялась ответом.

— Наши подданные все равны перед нами, — произнес самозванец, возвышая голос. — Ослушнику одна доля. Взгляни, сударыня, на висюлю, не опознаешь ли тут кого из знакомцев? — прибавил он, указывая на церковь.

В прогалину между народом, у церковной ограды, были видны обе виселицы. На одной, в мундире и треуголке, со шпагой, висел тощий и длинный какой-то канцелярист; рядом с ним — полный, с седою бородою купец. На другой виселице Серафима разглядела нечто ужасное. С высокой перекладины спускались знакомые ей халат телесного цвета с пуговками в виде бомбочек, серая мещанская чуйка и длинное, с оторочкой, черное платье. Серафима узнала Юрлова, Маковнева и Ульянову... Она вскрикнула, пошатнулась и без чувств упала со ступени на руки стоявшего возле нее Копьева.

— Жидка на расплату! Крупитчатая! — слышалось в толпе казаков.

— Ну, а ты, брат крамольника и сам бунтовщик! — обратился самозванец к Копьеву. — Оставь-ка барыню, досмотрят ее и другие; брата твово, за упорство, порешили... Ну, а ты как? Признаешь ли меня государем?

Копьев стоял молча. Его бледное лицо стало еще бледней; глаза были опущены к земле, впалая грудь дышала тяжело.

— Что же молчишь? — спросил самозванец. — Отвечай, слушаем.

— Боже Господи, Вседержитель! — проговорил Копьев, медленно крестясь на церковь и кланяясь. — Поддержи мя, грешного! Укрепи милостью Твоею, не попусти...

Пугачев махнул рукой. Казаки бросились на Копьева, связали ему руки и повели к церкви.

— Следующего! — крикнул Пугачев, оглядываясь на ратушу, у ворот которой шла свалка.

С криком и гамом конвойная стража, одолев нового, боровшегося руками и ногами арестанта, вела его из ратуши. Он вырвался; его поймали и за волосы тащили к крыльцу. То был князь Сивский. Темно-вишневый бархатный кафтан на нем был разорван; багровое от натуги, искаженное бешенством лицо было окровавлено.

— Каины, изверги! — кричал он, силясь вырваться. — Я потворствовал черни, насильничал над равными себе... Господь покарал, но я неповинен в человеческой крови! Не мне, а вашему названцу быть на виселице, и он примет казнь... Какой он царь? Душегуб, кровопийца и Каин, как вы все!

— Бей его, души! — крикнул с крыльца Творогов.

Самозванец дал знак. Сивского потащили к церкви, рубя его по плечам саблями.

— Убрать и эту! — произнес Пугачев, отворачиваясь и указывая на лежавшую без чувств Серафиму.

Ее подняли на руки и понесли вслед за Сивским.

— А этих? — спросил Творогов, указывая ногой на детей Серафимы, прижатых толпою внизу крыльца.

— Что хошь с ними! Хоть удави и их, чертенят! — ответил самозванец, вставая со стула и пристально глядя через толпу в соседнюю улицу.

Оттуда к площади, из-за церкви, быстро приближался верховой казак. Доехав до крыльца, в то время когда народ стал тесниться к церкви, за новыми обреченными на смерть, казак спрыгнул с коня и, подойдя к Творогову, что-то проговорил ему, запыхавшись.

— В чем дело? Откуда? — спросил самозванец.

— Уланы, граф Меллин! — ответил вполголоса Творогов. — Переправились вброд через Суру, у Пряслова, видели пастухи...

Пугачев молчал, пощипывая бороду. Левый глаз его щурился. «Неужели перестрели? Неужели конец?» — думал он.

— Спасайся, государь, что же медлишь? — сказал Творогов. — Аль у всех у нас двойные животы?

Пугачев опомнился, выступил на край крыльца.

— На конь, ребята, оружайся! — зычным голосом крикнул он, глянув направо и налево. — Поздравляю, детушки! Идем далее, на Москву!

Толпа, напиравшая к церкви, отхлынула назад. Одни стояли в недоумении, другие бросались из стороны в

сторону. Пугачев и его приближенные стали садиться на подведенных лошадей. Карета Дугановой с выглядывавшею из нее женскою свитой самозванца двинулась по площади и, обогнув ближний дом, скрылась за углом, направо. За нею стал вытягиваться конный обоз самозванца. Нагруженные добычей возы и телеги скрипели; в облаках пыли слышались удары кнутов и крики погонщиков. Выезжавшие из соседних дворов казаки, калмыки и башкиры строились у воеводского дома. Почуявшие беду горожане разбегались с площади.

Очнувшись у церковной ограды, брошенная здесь конвойными Серафима увидела бегство толпы, сквозь которую несколько мужиков и мещан тащили по площади бледного, со связанными руками Копьева.

— Да бросьте, не успеете! Сами спасайтесь! — сказал кто-то, убегая за толпой.

Дуганова поняла, что нечто грозное и роковое для мятежников и благодатное для их жертв вставало откуда-то, близилось и что она сама еще в это мгновение могла бы спастись. Она собрала последние усилия, встала и бросилась бежать...

— Мама! Мама! — послышались ей знакомые голоса.

Серафима оглянулась и увидела среди казаков и мужиков, тащивших к виселице Копьева, своих детей, рванулась к ним и ухватилась за рослого бородача, державшего младшего ребенка. Мужик с силой оттолкнул ее, так что она чуть не упала.

— Что с ними валандаться?.. Долбани их, Тереха! С барыни почин! — раздался голос сзади Дугановой.

Увесистая дубина поднялась и размахнулась в воздухе. Кровь брызнула, деревья у ограды покрылись красными пятнами.

— Скачут, скачут! — крикнул Творогов, еще стоявший на воеводском крыльце, указывая рукою по другую сторону церкви.

Пугачев приподнялся на стременах. Через головы народа он увидел двух всадников, въезжавших слева на площадь сквозь бежавшую им навстречу толпу.

— Да что вы, черти! — досадливо вскрикнул самозванец. — То не уланы; а наши Баранка да Федька Прядышев... Эвоси, за оградой. Отбой, братцы, отбой!

Сказав это, Пугачев взялся за седло, слезая с коня. Но с правой стороны площади, откуда примчался первый вестовщик, показался новый верховой, «граф Панин» — первый есаул самозванца, хромой Овчинников.

— Сполох, батюшка, сполох! — кричал он во весь голос, махая шапкой. — Гренадеры в городе, прошли задворками... Стража проглядела... Уланы!.. Спасайся.

Пугачев взглянул на ближайших из сообщников и молча оправил на себе кафтан и оружие. Его черные глаза смело светились.

— За мной, братцы-атаманы! — крикнул он, стегнув из всей силы по коню. — Наша стежка не исхожена еще, не изъезжена!

Начальство, стража и весь казацкий отряд поскакали за самозванцем.

— Куда теперича? — спросил, равняясь с ним при выезде из Курмыша, Творогов.

Самозванец молчал.

— На Москву, что ли? — спросил, догнав его, Овчинников, в силу сдерживая взятого в обозе нового коня.

— Да что, братцы-станичники? Нешто не видите? Проспали! — сердито ответил самозванец. — Куда на Москву? Книзу, к Волге ближе, в Алатырь!

— Ну, а задержанные, решенные? — осведомился Творогов. — Мало ли взято? Нешто так и бросить? У одного князя сколько пожитков, всякого добра.

— Баранка-пес рассудит, да и Федька маху, чай, не даст, коли успеют и не передавят, дьяволов, самих! — ответил, не оглядываясь, Пугачев.

XVI

Очутившись пешком и без оружия в лесу, невдали от Курмыша, Алексей Дуганов выбрался с трудом из чащи на берег реки и, увидев оттуда крышу мельницы, к которой подъезжал накануне, ускорил шаги.

«Добуду у мельника хоть ломоть хлеба, — рассуждал он, — а если удастся, то, укрывшись там, выжду и разведаю, как быть далее».

День становился жарче. Река, сверкавшая на солнце в середине, у берега манила затишьем и прохладой.

«Дай, кстати, выкупаюсь, — пришло в голову Алексею, — освежусь здесь, пока на безлюдье, в тени деревьев; далее, у мельницы, еще кого-нибудь встретишь, будет не до того».

Алексей пологим берегом спустился к реке, разделся, положил возле себя под деревом платье, обувь и шляпу и вошел в воду. Река тихо плескалась о пустынный зеленый берег. Кузнечики звонко стрекотали в траве; ласточки с веселым писком реяли над камышом и водой, ловя мошек. Желтые и белые мотыльки мелькали между спящими в знойной тишине кустами. Алексей с наслаждением донельзя изморенного человека несколько раз погрузился в прохладную, светлую воду и собирался снова окунуться.

Над рекой послышался странный звук. Как бы кто-то ухарски гикнул вдали. За этим окликом в лесной глубине раздались другие звуки, — ближе и ближе. Явственно стал слышен конский бег, а вскоре и голоса нескольких всадников, несшихся из леса к реке. — «Пастухи! — подумал было Алексей. — Гонят табун к водопою...» «Нет, — решил он тут же, — не пастухи! Это погоня за мной, меня ищут! Надо спасаться!» Бросившись к одежде, он сообразил, что одеться уже не успеет, схватил платье, обувь и шляпу, быстро спрятал их далее, под деревья, в траву, и с мыслью: «Тут нельзя оставаться,

заметят!» — поплыл из всех сил к противоположному берегу, где и забился под старую развесистую иву, склонившую ветви к воде.

Река здесь была еще глубже. Алексей, не достав ее дна, ухватился за толстый ивовый сук. На берегу, от которого он только что отплыл, показался небольшой отряд вооруженных казаков. Истомленные лошади, тяжело дыша, едва переступали ногами. Потные, запачканные пылью, всадники в расстегнутых кафтанах и с шапками на затылке ехали, очевидно, после долгой и быстрой гоньбы, покачиваясь от жары и истомы.

— А что, ребята, закусить бы тут? — сказал ехавший ближе других к реке бритоголовый, в татарской тюбетейке бородач.

— Слышь, Федька, — окрикнули казаки всадника, несколько отставшего от них. — Баранка бает, закусить, а ты думал купаться. И ладно бы с похмелья-то... Попаслись бы малость и кони. Что говорил проводник? Далеко ли до Курмыша?

— Будет сперва село, там переправа и город, верст семь.

— Слезай, братцы! Дедко Устин, привал! — послышались голоса. — Еще успеем. В Ядрине наложили в спину, и не донесешь.

Всадники спешились, напоили, стреножили и пустили на траву лошадей; отвязав с седел торбы, они разделись и стали купаться. Первые вошли в воду бережно, прочие стали бросаться в нее с разбега. «Микишка — пес! Не замай!» — кричали одни. «Ой, Ванька, дьявол, лоскотно!» — отзывались другие, барахтаясь друг с другом у берега и взбивая руками и ногами столбы воды. Спины и плечи у некоторых были в синяках. «Одначе немец-то на память тебе всыпал! — смеялся красивый молодой парень, плывя на спине у берега. — Порох расстреляли царицыны объедки... А гнались же, дьяволы!» — «Дна, братцы, нетути! Прощай, Пашутка! — откликнулся другой

парень, с повязанной, окровавленной головой, выплыв на середине реки и с поднятыми руками ныряя в глубину. — Вода-то, вода!» «Вот уж Федька придумал, удружил!» — толковали старшие из казаков, выйдя на берег и с приятною дрожью отираясь пучками мягкой осоки. «А у тебя, дедко Устин, с немецкой бани-то индо чернила по брюху с бороды потекли!» — острила молодежь над вымывшимся седым есаулом. «Веничков, ребята, нарезали бы, да и впрямь попарили бы лысого!» — крикнул с реки парень, нырявший на дно.

«Боже Господи! — замирал тем временем у другого берега, под ивой, Алексей Дуганов. — Что, как найдут мое платье? Расположились невдали — откроют и меня».

Казаки один за другим вышли из воды, оделись, разместились под деревьями, развязали торбы и стали есть. «Устин Наумыч, у тебя в баклаге не высохло?» — спросил кто-то. «Есть, детушки, пейте!» — ответил старик, подавая бочонок. «Графская?» — «Она! Первый сорт, крепыш!» «А бился пузатый, как тянули на релю!» — заметил первый, выпивший из баклаги. Все захохотали. «Как ты, Наумыч, допрос ему чинил?» — «Да что, сколько уже сказывал!» — «Скажи еще!» — «Сняли это с него часы, кафтан и нарядный такой, с позументом камзольчик, — говорил есаул, щурясь на сотрапезников смеющимися глазами, — ну, и связали его, надели петельку, а Макаров да Ахметка стали на древо и тянут. Я велел маленько ослобонить его и спрашиваю: «Что, ваше графское сиятельство, горька смерть?» — «Ох, горька, горька!» — плачет он и хрипит... Я кивнул, его и вздернули... вот от него и крепыш!» Дружный хохот казаков покрыл слова старика.

«Найдут, откроют! — с приливом нового ужаса думал Алексей, держась за дерево, по горло в воде. — Кто-нибудь отойдет в сторону и наткнется».

Казаки, закусив, увязали снова торбы, улеглись вповалку под деревьями и заснули. Прошло более часу. Алексей выглянул из-под ивы. Казаки еще спали. Лоша-

ди, фыркая и отмахиваясь головами и хвостами от мух и шмелей, паслись, рассыпавшись по берегу. На солнце надвинулось облако. Тень застлала реку, деревья и лошадей. Бритая, без шапки голова поднялась над спящими, сонно оглянула их и снова опустилась под дерево. Еще прошло с полчаса.

— Ну, ребята, вставайте, пора! — раздался голос есаула.

Казаки встали, потягиваясь. Дед Устин уже взнуздывал своего коня.

— А что, Федор, еще бы пополоскаться? — сказал кто-то. — Как писал Ивашко? Где к батюшке царю сбор?

— В Курмыше, — ответил за писаря Устин.

— Да мы мигом, еще помалости...

Некоторые снова разделись и бултыхнулись в воду.

— На конь! Ребята, на конь! — командовал уже строго дед Устин, ходя по берегу с писарем, походка и лицо которого Алексею показались как бы знакомыми.

«Где я его видел, где встречал? — раздумывал Алексей, едва держась за ветви.

Казаки растреножили, снова напоили лошадей, сели на них и, двинувшись берегом, скрылись в извилинах поросшего кустами прибрежного проселка. Алексей выждал, пока затихли звуки копыт, бережно выплыл из-под ивы, огляделся кругом и, доплыв к берегу, где оставил платье и обувь, начал одеваться. Окоченевшие, сморщенные от воды пальцы едва ему служили. Все его тело намокло и вспухло. Стуча зубами от холода, он кое-как оделся и, чтоб скорее согреться, быстро пошел к мельнице, которую заслонял песчаный, поросший ельником пригорок. Прислушиваясь к малейшему шороху и оглядываясь, Алексей поднялся на пригорок, миновал ельник и обмер.

Мельница была от этого места в нескольких стах шагов. Не доходя до нее, по тот бок реки, Алексей увидел худую и пожилую бабу, которой до той минуты он не замечал и

которая, полоща там белье, очевидно, следила за ним с того берега. Выйдя из-за кустов, она кому-то махала рукой на мельницу, указывая на Алексея и как бы говоря: «Глядите, вот он!» — у мельничной плотины виднелись три всадника, отставшие от прочего отряда и о чем-то до той минуты говорившие с мельником. Алексей со всех ног бросился с пригорка в лес; но его у мельницы увидели. Всадники поскакали за ним.

— Не уйдешь, сдавайся! — кричали они.

Алексей бежал, пробираясь сквозь ветви и прыгая через валежник и кочки. Гущина деревьев стала скоро редеть. Между ветвей замелькали широкие просветы, обозначилась поляна, а за нею еще более густой лес. Всадники настигали Дуганова. «Не уйдешь, говорят тебе, верзила! Не заяц!» — слышались их голоса. Алексей побежал по поляне. Сзади его раздался выстрел. «Миновало!» — с радостью подумал Алексей, перемахнув через поляну и в ее конце чувствуя, как бы что-то вцепилось в его ногу. Он сделал еще усилие и покачнулся. Ноги его подкосились; он с размаха упал лицом в траву.

— Вяжи его, долговязого! Барин и есть... Ишь, умаялся, как дышит! Снимай, Петруха, пояс — в торока его! — раздавались над ним голоса.

Алексей лежал неподвижно. В левой голени он ощущал нестерпимую боль. Его чулок и штиблеты пропитывались сочившеюся из ноги кровью.

— Зачем его вязать? Не убежит, помечен! — сказал один из всадников. — Слезай, Микишка, бери, и так довезем.

— Эдакого-то борова, а мне пешему, что ли? Сам слезай.

— До мельника покамест, чертова голова! У него повозка... Дичина, видать, не малая; ишь, какова одежа! Батюшка отблагодарит! Тутошние его ищут — семья его, сказывают, ушла от них...

XVII

Казаки подняли Алексея, посадили на одну из лошадей, а сами, с лошадьми в поводу, пошли пешком. На все расспросы, кто он, откуда и как сюда попал, Алексей не отзывался. От потери крови он едва сидел, а у мельницы уже не мог встать с лошади и едва помнил себя. Его сняли и положили под плотиной. Сюда между тем на выстрел в лесу примчались посланные есаулом другие из всадников, уехавших вперед, и с ними писарь.

— Боже Господи, кого вижу! — проговорил писарь, нагнувшись и взглянув в лицо Алексея.

— Ты его знаешь? — спросили казаки.

— Да, да... Еще бы!.. Давай, Сидоров, ручник, нужно ему повязку! — ответил писарь. — А ты, старик, — обратился он к мельнику, — запрягай повозку, вези арестанта.

— Помилуй, сударь, — взмолился мельник, — одна у нас лошадушка и та еле ходит, захромала, уволь!

Сидоров дернул старика по спине нагайкой. Тот заметался, проворно вывел из закута сытую и здоровую лошадь и стал ее запрягать. Его старуха, указавшая казакам барина, принесла по приказу писаря ведро воды.

«Неужели это Прядышев? — думал, видя и слыша все, как сквозь сон, Алексей. — Тот же голос, вид, острижен по-мужицки, казацкая одежда... он, он!» Алексей хотел к нему обратиться, сказать: «Ты похищал мою жену, оскорбил нас, опозорил... Искупи же свой проступок, — видишь, что со мной, спаси меня...» Губы Алексея беззвучно шевелились. Полоса густого тумана надвигалась на его глаза. Он окончательно потерял сознание.

«Дуганов, Алексей Андреич! Вот где свела судьба, где свиделись! — рассуждал Прядышев, разув Алексея и обмывая рану на его ноге. — Думал ли я в Москве? Думал ли я в Киеве? Не он виноват, его свояк! Не обери меня Пантюшка да не догони тот нас тогда, в Киеве, не расстаться

бы мне с Серафимой, не очутиться бы здесь! Треклятый проповедник, сухарь! Не попался ты мне после, рассчитался бы я с тобой!»

— Вези его, — сказал Прядышев мельнику, когда рана Алексея была перевязана и его уложили на солому, в телегу. — Не отставать от нас, в город! Разберем!

— А нам, Федор Саввич, провожать его? Будет награда? — спросили казаки, поймавшие Алексея.

Прядышев ничего не ответил. Он сел на коня и направился от мельницы. Приехавшие с ним казаки последовали за ним. «Муж здесь, значит, и жена его недалеко! — мыслил Федор. — Это ясно... Он шел пеший, жену его, с детьми, полагать надо, задержали... Но где она, что с нею? Не иначе как в городе! Там Творогов — туда ждут и царя... Надо спасти их! Неужели не успею?» Прядышев погнал лошадь; его провожатые едва поспевали за ним.

Лес скоро кончился. Вправо обозначилась ограда монастыря, прямо село Пряслово, за ним река, за рекою виднелись церкви Курмыша.

— Ты, Федор, выходит, знаешь этого барина? — спросил Баранка, дожидавшийся Прядышева у переправы через Суру и узнавший здесь от его провожатых о пленнике, которого захватили казаки.

— Знаю.

— Где видывал его?

— В Москве.

— Кто он?

— Саратовский помещик, Дуганов.

— Богат?

Федор сообщил, что знал об Алексее.

— Чья будет добыча? — спросил Баранка, косясь на старика, есаула и на Прядышева. — За нами считать его!.. Решай, на Устина нечего смотреть... Так и объявим

царю! Ребята сказывают, у него карета, коляска, сколько добра...

— Бери его и все, что при нем окажется, — сказал Федор. — Деньги, имущество, лошадей... Одно мое...

— Какой такой клад? — удивился Баранка.

— Его хозяйка, жизнь ее, — ответил Прядышев.

Татарин сипло рассмеялся.

— Смотри, песье рыло, не попущу! — сказал Федор, придерживая коня. — Ты ли ее тронешь, другой ли кто, — как собаку застрелю.

У въезда в город стояла пугачевская стража. Караульные казаки, сидя на земле, пили из привезенного бочонка водку. Все были уже сильно навеселе.

— Здесь ли государь? — спросил, минуя их, Федор.

— Тута.

— Что делает?

— Деньги из казначейства забрал, вино забрал... И нас батюшка не забыл... Ну-ка, иди, угостим!

— А дворян собрано? — спросил Баранка.

— Видимо-невидимо, в ратушу согнали.

— Вешали кого?

— Только начали...

Прядышев хлестнул коня. Всадники поскакали.

— Смотри же, Баранка, — повторил Федор, въезжая в улицу, — все бери... а уж что сказано, голову расшибу.

— Ладно! — усмехнулся татарин.

Достигнув площади, Федор увидел верхи виселиц с казненными на них. Размахивая шапкой и во весь голос, на свой страх, крича: «Постой, постой! Будет отмена!» — он протискался сквозь бегущий навстречу ему народ и соскочил у церкви с коня. Ближняя виселица была переполнена жертвами. У стоявшей поодаль, на которой висели двое, еще толпилось несколько горожан.

Прядышев растолкал их, увидел спущенные с виселичной перекладины чьи-то длинные худые ноги, в штиблетах и чулках без сапог, и рядом с ними — черное, как бы

траурное платье и остановился, глядя на площадку, залитую кровью. Между виселицей и церковною оградой Прядышев разглядел что-то обезображенное, неподвижное. Свернувшись боком и поджав руки под грудь, виднелся, в темно-вишневом бархатном кафтане, убитый мужчина. В двух шагах от него, раскинувшись на окровавленной траве, лежала с разбитою головой и в ужасе открытыми глазами женщина... Трое детей валялись у ее ног. Прядышев узнал Серафиму. Ему показалось, что она еще жива и смотрит на него.

— Спасайте, голубчики! Доктора! Доктора! — крикнул Прядышев, припав к Серафиме и поднимая ее окровавленную голову. — Живые души, смилуйтесь! Неповинна она, даром изувечили каины-злодеи!

Никто не отзывался. Стоявшие возле, заслышав новые откуда-то крики, бросались по сторонам. На площадь, рубя саблями и коля пиками направо и налево, влетал взвод улан. Навстречу бегущим мятежникам, из-за церкви и из соседней улицы, грянули залпы гренадер. Попавшие под натиск улан и перекрестные выстрелы пехоты, мятежники кидались в соседние дворы и колодцы, лезли на крыши, в погреба.

— А, мошенники! Изменять, бунтовать? — кричал, въезжая на площадь худой и рыжий начальник отряда, граф Меллин. — Поручик Суходольский! — обратился он к адъютанту, отирая вспотевшее лицо. — Остановите стрельбу! Будет с них.

Приказав трубить отбой, адъютант подъехал к графу.

— Ваше сиятельство, — сказал он, взяв под козырек, — изволили видеть?

— Что? — спросил граф.

Суходольский указал за церковь, на виселицы.

— Там, ваше сиятельство, очевидно, не все еще погибли, — произнес он, — вон, изволите видеть, кто-то возится под второю виселицей — приводит кого-то в чувство.

— Лекаря зовите! Что же мы с вами? Коли жив еще, спасут.

— Франц Карлыч! — крикнул Суходольский полковому врачу, за шеренгой гренадер на корточках раскуривавшему трубку.

— Gleich! — отозвался врач.

— Что gleich, lieber Трейчке? Накуришься еще! — ласково крикнул Меллин, услышав ответ врача.

Граф, позванный медик и адъютант приблизились к виселице. Медик внимательно осмотрел лежавшие здесь тела.

— Nun, was meinen sie? — спросил, глядя на него, граф.

— Alle mausetot! — ответил медик. — Все умерли.

— И эта женщина? — спросил граф, всматриваясь в лицо Серафимы. — Так еще молода и красива...

— Fertig! — флегматически ответил врач. — Die Kleinen auch! (Готова! Дети также!)

— А ты кто? — спросил граф Меллин, увидев Прядышева, молча стоявшего у тела Серафимы и ее детей, из которых одно, как показалось графу, еще как бы шевелилось. — Родич погибшей или ее палач?

Федор, отирая слезы, назвал себя.

— Вот как! — удивился и даже отступил граф, оглядывая Прядышева. — Наконец-то изловлен! Ну-ка, Суходольский, связать его, да покрепче... Приставить к нему караул... Давно сокола следили и ждали!.. Ведь письмоводец Емельки, — обратился граф к прочим офицерам, — своего рода секретарь... Переписывал бумаги самозванца, а может, строчил и манифесты!

Приказав убрать и схоронить тела погибших, Меллин освободил остальных, запертых в ратуше, дал краткий отдых отряду и, выйдя за Курмыш, снова форсированным маршем бросился вдогонку за самозванцем.

Первыми бежавшие от его натиска пьяные сторожевые казаки наскочили у Пряслова на повозку, в которой мельник вез Алексея. Брошенный конвоем мельник связал

пленника по рукам и ногам. Нестерпимая боль в скрученной раненой ноге мучила Алексея. Он поминутно молил мельника развязать его. «Полежишь, сударь, и так!» — шамкал старик, сердито шагая лаптями по дороге и что-то обдумывая.

— Куда везешь? — окликнули казаки, встретив его у переправы через Суру.

— К батюшке государю.

— Был, да вышел — никого в городе нетути.

— Как же быть-то? Кто уплатит за извоз?

Казаки, смеясь, тронулись далее.

— Да вы постойте, окаянные, — крикнул старик. — Обман! Заплатите, одна у вас казна... Нешто даром трудились, изловили?.. За помещика, сказано, сто рублев, за енерала — тысяча, а може, ён енерал!

— Изволь, — ответили, перемигнувшись и снова возвращаясь к повозке, казаки, — вынимай барина, ставь его там вон, а сам становись тут... Деньги достанем, выкупим и пустим вас на все стороны. Становись же, да не оглядывайся, — будем деньги считать.

Мельник развязал Алексея и бережно ссадил его наземь.

— Стань, миленький, стань здесь вот, — говорил он, отводя Алексея в сторону. — Таки, видишь, порядки, получим выкуп с бабой, а ты, как отъедут, подбери полы да тоже скорехонько, с Богом, к своим.

Мельник провел Дуганова от телеги на берег реки, а сам стал на дороге, невдали от него.

«Боже! Скоро ли? Какая пытка, какое издевательство над живым человеком! — думал Алексей, глядя на Суру, тихо катившую желто-бурые, хмурые волны. — И за что все это?..»

Раздался ружейный залп. Мельник, ахнув, свалился навзничь. Алексей упал ничком, раскинув руки...

Пьяные казаки, отвязав лошадь мельника и сняв с Алексея кафтан, камзол и сапоги, ускакали по дороге на Алатырь.

XVIII

Прочтя полученное через моряка письмо Спесивцева, Глеб Дуганов решил немедленно воспользоваться давнишним предложением князя главнокомандующего и ехать безотлагательно на Волгу к жене. «Бедная! Чего она не натерпелась! — думал он теперь. — И в такое время я, безумный, оставил ее одну, с ребенком? Весь тот край в пламени; шайки злодеев рыскают всюду, сожгли Казань и, если встретят сильный отпор по сю сторону Волги, то как раз ринутся вниз, к Саратову».

Глеб навестил Шимкову, узнал от нее, что Мари в то время должна уже была возвратиться из Свиблова в Горки, сказал ей, что решился безотлагательно ехать туда, и наутро явился к Волконскому. Дом князя с недавнего времени окружала усиленная стража; площадь перед домом была уставлена пушками.

В Москве толковали об удивительном решении государыни Екатерины: забыв личную вражду к графу Петру Ивановичу Панину, которого в письмах к князю Волконскому она называла «известным вралем» и своим «персональным врагом», — назначить его главнокомандующим войск, отряженных на Волгу для усмирения и поимки Пугачева. «Брат воспитателя цесаревича ведет войско, — толковали в народе, — значит, именующий себя царем действительно самозванец! Против настоящего царя, цесаревича отца, такой вельможа не пошел бы». Волконский встретил Глеба сочувственно.

— Ну, и отлично, Дуганов, поезжай! — ответил он на просьбу своего адъютанта об отпуске. — Путь к Саратову еще не загроможден; самозванец пока вверху, за Сурой. Нынче ночью я получил и послал государыне эстафету. Отбитый от Казани, злодей двинулся за Чебоксары и Ядрин: не оставляет, видно, мысли о походе на Москву. Да я недреманным оком слежу за ним и к первопрестольной не допущу его. Отправляйся, с Богом; успеешь еще проехать на Пензу или Тамбов.

Глеб поблагодарил князя.

— Да что же я? — спохватился Волконский. — Тебе, кстати, есть и оказия. Государыня шлет из Петербурга особую секретную комиссию для приема злодея на случай могущей быть выдачи его от сообщников. Члены комиссии вчера прибыли, после обеда, и мне, по повелению, вчера же представлялись.

— Куда, извините, ваше сиятельство, посылается комиссия? — спросил Глеб.

— Всюду, где бы ни оказался самозванец... Ты — преданный монархине, испытанный подданный, — продолжал князь, оглядываясь и понижая голос. — Тебе могу сообщить, по секрету: яицкие казаки одумались, отрядили к государыне нарочного и письменно, за скрепой трехсот человек, предложили схватить, заковать злодея Емельку и выдать его живым в руки уполномоченных ее величества. Комиссия едет через два дня и везет с собой десять тысяч золотом, за выдачу Пугачева. Для охраны послов и этой суммы назначен конвой. Полагаю, и ты мог бы их сопровождать.

— Не знаю, как благодарить ваше сиятельство, — сказал Глеб. — Вы так милостивы ко мне...

— Очень рад, очень рад!

— Но кто, осмелюсь осведомиться, члены этой комиссии? — спросил Глеб.

Волконский взял со стола знакомый Дуганову портфель с секретною перепиской, отпер его небольшим ключиком, бывшим у него в денежном кошельке, достал из портфеля распечатанный толстый пакет, вынул из него бумагу и начал читать.

— Едет присланный из-под Казани от бунтовщиков яицкий казак Астафий Трифонов, весьма способный, бойкий и ловкий, как сообщают о нем, а провожают его, с особыми важными полномочиями, капитан гвардии Галахов и приданные ему в помощь отставной секунд-майор Рунич и несколько гренадеров.

Краска румянца залила лицо Глеба.

— Галахов, ваше сиятельство? — спросил он.

— Да.

— Как, извините, его имя и отчество, если сказано в сообщении?

Волконский снова взглянул в бумагу.

— Александр, Павлов сын, из потомственных дворян, — ответил он, — с начала яицких смут занимался в особом о них тайном комитете... А тебе что? Имеешь знакомцев из Галаховых?

— Ваше сиятельство, — произнес охваченный сильным волнением Глеб, — явите Божескую милость! Пособите к зачислению меня, в каком бы то ни было положении, в эту комиссию... Зная хорошо те края, я мог бы оказать посильную пользу делу и к своей семье доехал бы спокойнее... Что же до Александра Павловича Галахова, то мы не только, по отцам еще, близко знакомы и приятели, но даже в Петербурге в последнее время, состоя в вашей командировке, я у него и квартировал.

— Ну, и прекрасно. Найди его и Рунича, да нынче же — они где-то на Тверской, у родных Рунича, — предупреди их, а остальное я устрою.

Глеб бросился на поиски Галахова, сильно обрадовал его, познакомился с Руничем, и через сутки секретная комиссия, куда Глеба причислили в качестве квартирьера, выехала к отряду полковника Древица, в Муром. Здесь члены комиссии узнали, что Пугачев, отбитый от Курмыша, прошел 20 июля на Алатырь, бросился к Саранску и оттуда к Пензе, которую и занял 4 августа. Комиссия поспешила в Пензу, но здесь уже не застала самозванца. Повесив в Саранске укрывшихся там до трехсот человек обоего пола и всех возрастов дворян, а в Пензе посадив воеводой господского мужика на место сожженного живым на костре Всеволожского, Пугачев 5 августа вышел из Пензы, круто повернул влево и, по слухам, двинулся опять к Волге. У него в то время насчитывали еще тринадцать пушек и до четырех тысяч вой-

ска, из которых половина была с ружьями, остальные — с вилами, чекушами и дубинами.

Жители разграбленной и залитой кровью Пензы, только что избавившиеся от злодея, с ужасом рассказывали о замученных им жертвах. В городе и уезде, как узнала комиссия, были убиты, повешены и утоплены, с женами и детьми, граф Головкин, князь Звенигородский и генералы Пахомов и Сипягин; последнему мятежники живому предварительно распороли брюхо.

— Злодею, впрочем, недолго насильничать, — сказал кто-то в присутствии Глеба. — Он попал, наконец, в настоящие силки, очутился среди трех «мыслéте»... Михельсон наспевает за ним от Арзамаса, Меллин гонится по его пятам от Саранска, а Муфель спешит наперерез ему из Симбирска.

— Куда же в таком случае направится, по-вашему, Пугачев? — спросил Глеб.

— О, далеко теперь не уйдет... Разделка ему в Алатыре или в Краснослободске, не далее!

— И в этом вы убеждены?

— Так уверяют лазутчики; и если только новый ход злодея не маска и он как-нибудь ниже не прорвется за Волгу, ему в самом близком времени — капут!

«Ниже! А ведь там недалеко и Саратов! — думал с замиранием сердца Глеб. — Под Саратовом Горки, а в них беспомощная, не ожидающая этого нашествия Мари».

Комиссия поспешила выехать из Пензы. С трудом, а нередко и с оружием в руках, добывая и меняя в разоренных и брошенных жителями селах вольных лошадей, она только около половины августа достигла прибрежий Волги, не видя ни шаек Пугачева, ни гнавшихся за ним военачальников. В Петровске ее члены, к ужасу Глеба, узнали, что самозванец, ускользнув от погони, уже побывал в Саратове и четыре дня производил там всякого рода неистовства, но узнал о близости Муфеля и Михельсона и бросился тем же правым берегом Волги еще ниже, к Камышину.

Мысли Глеба не покидали Горок.

«Мари несомненно успела вовремя выехать из Горок, — думал он. — Но куда? Чуть не все Поволжье охвачено смутой. В Малороссию, в Ракитное? Нет, туда далеко и опасно... Медведица, Хопер и Дон, по слухам, также не надежны... Скорее всего, в Тамбов, — утешал себя Глеб, — тамошний воевода — однокашник по корпусу, а по полковой службе, сколько помнится, даже кум Травкина... У него Сила Фомич, провожая моих, лучше всего мог бы ждать более спокойной поры. Да, всего скорее, в Тамбове, даст Бог, найду Мари и сына...»

XIX

Мари с сыном и с Нинет Ладыженцовою, в сопровождении Травкина, возвратилась из Свиблова, близ Самары, в Горки в последних числах июля. Не застав здесь Алексея и Серафимы, она долго не знала, что ей делать.

Первою ее мыслью было ехать к свекрови в Ракитное или в Москву. Травкин и другие соседи советовали ей то же. Но в окрестностях Саратова в то время все было так спокойно, а самозванец, отбитый от Казани и, по слухам, будто бы повернувший оттуда к северу, на Чебоксары и Нижний, был так далеко, что Мари решилась остаться в Горках, о чем известила и свою приятельницу Шимкову, звавшую ее в Москву.

— Оно, действительно, лучше ожидать здесь, — согласился наконец и Травкин, — Алексей Андреевич не нынче завтра возвратится восвояси: не станет же он, как ни на есть, медлить, подвергая себя и своих опасностям. Тогда вкупе и постановите, как и что.

Прошло более недели. Алексей и Серафима в Горки не возвращались. Мари стала сильно тревожиться.

— Хоть бы вы, Сила Фомич, почаще наведывались в Саратов, — сказала она Травкину. — Там у вас столько

знакомых — аптекарь Аменде, астроном Ловиц, его помощник Иноходцев и чиновники. Они видят всяких людей, знают многое, особенно у Аменде в аптеке, надо полагать, больше всего собирается новостей. Хоть бы к Лаптеву съездили — он тоже знает многое.

— Был я, сударыня, и у Лаптева, и у Аменде, — ответил Травкин. — Хоть завтра готов съездить и к Егору Иванычу Ловицу... Все пока говорят в один голос: злодейские скопища по отбытии от Казани двинулись сперва к Нижнему, а потом повернули к Оке, то есть к Москве... Но их туда, без сомнения, не допустят.

— Разумеется, не пустят, — вмешалась в разговор сидевшая тут же за работой Нинет.

— Да почем ты все это знаешь? Почему так уверяешь? — раздраженно спросила Мари. — Толковали же все, что злодея не пустят к Казани, а он пришел и выжег ее! И куда теперь судьба занесла наших туровцовских, без сомнения, успевших бежать оттуда, разве тоже кто скажет и верно решит? Боже! Когда, наконец, этого изверга-самозванца схватят и за все его зверства казнят?

— Тебе, chère Marie, опять будет неприятно, — глядя в пяльцы и считая иглой канвовые петли, возразила Нинет, — но самозванец ли он еще? И разве, повторяю тебе, кто-нибудь наверное убедился хотя бы в этом?

Мари сильно побледнела. Судорога сжала ей горло.

— Слушай, Нина, — с усилием проговорила она, бросив на стол свое вязанье, — ты снова признаешь самозванца!.. Если ты хоть раз еще, хоть раз в моем присутствии скажешь это... Если позволишь себе...

— Да помилуй, — не слушая ее и покраснев до корней волос, продолжала, еще ближе склонясь к пяльцам, Ладыженцева — Пугачева я вовсе не отрицаю, — это было бы глупо и смешно! Но разве не может, в числе других слухов, оказаться вполне верным и тот, о котором так упорно толкуют в народе, что в отряде, который от Оренбурга и Урала ведет спасенный чудом, истинный

государь Петр Федорович, находится и этот его слуга — донской казак Пугачев?

— Замолчи ты, безумная, замолчи! — крикнула Мари, затыкая себе уши. — Не терзай меня, безжалостная, пощади!

— Да в чем щадить? — не унималась, бледнея в свой черед и отстраняясь от пялец, Нинет. — Пойми, наконец, и ты, что не могли же все сразу обезуметь! Я навестила на прошлой неделе в городе дочерей покойного здешнего коменданта Унгерна; им пишут из Сарепты, что идущий теперь к Москве государь вовсе и не прячется. Он по пути от Ижевских заводов к Казани, в день Петра и Павла, торжественно, при всем народе, справлял именины свои и сына, цесаревича Павла Петровича... А Пугачева тоже все видят у него в отряде и знают... На вылазках из крепостей этот казак нападающим на него прямо кричит во всеуслышание: «Зачем ловить Пугачева и назначать тысячи за его голову? Вот он сам идет к вам, с батюшкой царем!..» И если государь, наследник великих предков и царей, как уверяют, идет к своей столице, чтоб занять ее, в чем я, впрочем, сомневаюсь — войска у него мало, — то разве кому оттого будет хуже? Не одни философы говорят, что правление среднего по дарованиям мужчины неизмеримо выше правления даже первой по уму женщины... Est-ce que, ma chère, à ton avis, ce n'est pas vrais?

— Ах, оставь меня, ради Бога, уйди! — истерически рыдала Мари, стуча руками по столу.

Травкин едва успевал успокаивать и мирить спорщиц. Однажды он явился с хутора особенно оживленный и в духе. Мари и Нинет, по обыкновению, сидели за обычными рукоделиями в нижней столовой.

— Радостные вести, — сказал Сила Фомич, входя и кланяясь, — вся Волга, наконец, скоро отпразднует полную победу!

— Откуда вы это узнали? — недоверчиво спросила Мари, тоже втайне бывшая в каком-то особом, радостном возбуждении.

— Мимо Саратова, Марья Родионовна, вчера, перед вечером, проплыли две нижегородские расшивы, — ответил, обмахиваясь платком, Сила Фомич. — Их узнали по постройке и по другим приметам... Они плыли без единой живой души, но на каждой из мачт и на реях висели казненные казаки... Воронье кружилось над этими гекатомбами! Так эти плавучие виселицы и проследовали ниже, в назидание прочим мятежникам.

— Какой ужас! — не утерпев, вскрикнула Нинет. — И вы, добрый, человеколюбивый, радуетесь такому варварству?

— Не понимаю, — сказала, не слушая ее, Мари, — где вы, Сила Фомич, тут видите освобождение Волги от злодеев?

— А как же? — ответил Травкин. — Заезжал я к Лаптеву, он говорит, расшивы свободно плыли от самого Нижнего и никто на всем пути их не остановил, не посмел снять с них страшного груза; ну, и выходит, что вся Волга оттуда — как же вы этого не видите? — очищена и свободна от бунтовщиков.

— Да, пожалуй... Ваши соображения, может быть, и имеют долю основания, — несколько рассеянно сказала Мари, очевидно думавшая в это время о другом.

— Боже мой! Казни, смуты, кровь и плывущие виселицы! Ужас! — проговорила, встав и судорожно двинув плечами, Ладыженцева. — Да когда же, о Господи, все это кончится?

Подойдя к окну, она несколько мгновений постояла там, молча глядя на Волгу, мирно катившую свои голубые, тихие воды, и вышла.

Едва шаги Нинет затихли за дверью, Мари порывисто вскочила со стула, схватила за руку Травкина, увела его в свою комнату, заперла дверь на ключ и вынула из кармана письмо.

— Сила Фомич! Дорогой наш! — произнесла она, както вся сияя и обрываясь в словах. — Вы тоже не можете

не порадоваться, наш друг!.. Ах, я никому еще, даже няне и Нинет, не сказала, да, может, и вовсе не скажу... А вам, вам — все...

— В чем же, милая, голубушка, дело? Удостойте, сообщите скорей.

Мари хотела прочесть письмо и опять сжала его в руке; строки прыгали в ее глазах.

— Надя Шимкова, вы ее знаете, ну, приятельница моя... пишет из Москвы — сегодня я посылала в Саратов, привезли... Ах, не могу! Не могу! — произнесла, ухватясь за сердце, Мари. — Надя пишет, что Глеб Андреевич... прямо так и написала... Глебушка, представьте, возвратясь из Петербурга, получил командировку сюда, на Волгу, и будет, понимаете ли, не нынче завтра не только поблизости, но и здесь.

— Что же? Если Глеб Андреевич действительно командирован в приволжские окольности, то кто же помешает ему навестить и наши места? — удивленно спросил Травкин.

— Ах, вы не понимаете, не все знаете! Он узнал от Нади и, уж разумеется, едет прямо в Горки, в Горки! Ко мне! — восторженно вскрикнула Мари. — Теперь уже не выпущу его, нет! Как бы там и кого бы ни усмиряли, на Волге и за Волгой... Сегодня же стану собираться и, едва явится он, прямо отсюда, с ним, с Васей... и с вами — не правда ли? — на юг, в Ракитное, к maman! Туда, к нашим верным малороссам, не посмеют явиться никакие Пугачевы!

Сборы Марья Родионовна кончила очень скоро. Ликующая Сысоевна, взяв обратно от священника отданные ему на сбережение ее главные похоронки, объявила, что все в дорогу готово: ослабевшая в карете шина была перетянута, расковавшаяся пристяжная подкована и вымыто, выглажено и уложено все барынино и барчуково белье.

Мари поминутно глядела в окна и с крыльца, не едет ли дорогой гость. «Так он одумался? Раскаялся? —

мыслила она, радостно замирая. — Да, да! Надя именно пишет о его раскаянии... Он, очевидно, сам ей на это намекнул... Не только едет, но и раскаялся... Милый, милый!»

— А что же, матушка, насчет эвтого самого злодея? Где, слышно, эвтот Пугач? — спросила как-то свою барыню Сысоевна, сидя на сундуке с детским бельем и опорожняя, вприкуску, третью чашку чая.

— Брось ты о нем думать теперь, — ответила Мари. — Чего тебе более? Глеб Андреевич вот-вот будет, мы немедленно выедем... Ведь Ракитное — родина твоя...

— Да злодей-то нонче где? — не унималась Сысоевна.

— К Оке загнали всех, от Нижнего; там, вероятно, скоро перехватают их всех.

XX

Наступило шестое августа. Мари в этот день ждала к обеду Травкина. «Будут ваши любимые блюда — борщ с уткою и с ветчиной, пшеничка к маслу и жареные перепелки, — сказала она, приглашая его лично накануне, — смотрите же, приезжайте ранее; может быть, подъедет и другой гость». «Соблазнительно! Благодарствую и всенепременно буду, не опоздаю!» — ответил, кланяясь, Травкин. Ждали, однако, Силу Фомича весьма долго. Наступил уже и обеденный час; соседа не было. С хутора приехал нарочный с запиской. Мари прочла ее вслух.

«Извините, дорогая соседушка, — писал Травкин. — К вашей трапезе сегодня быть не могу: еду с Борей наскоро в Саратов; у него сильно разболелись зубы, все мед, лакомка, ел и навредил себе, надо показать его лекарю и взять медикаментов; да встретилось и другое неотлагательное дело; возвратясь, обо всем доложу.

— Зубы у крестника болят, вздор какой! — с неудовольствием сказала, выслушав записку, проголодавшаяся Нинет. — Из-за такого пустяка скакать в город, быть неаккуратным!

«Дело неотлагательное! — подумала Мари. — Что же это, однако, за дело? Даром Сила Фомич не поедет». Сердце Мари невольно сжалось. Томимая предчувствием чего-то необъяснимого и тяжелого, она вздохнула и, ничего не ответив на замечание Нинет, велела слуге подавать обед. Сели на обычных местах за стол: Нинет — против Мари, Вася — на высоком стульчике, рядом с нею. Сысоевна служила за Васей; слуга приносил и уносил кушанье и посуду. «Пустой прибор! — подумала Мари, глядя на приготовленный и неснятый прибор Травкина, — хороший знак — будет дорогой гость».

День был солнечный, теплый по-летнему и тихий. В раскрытые окна, как в мае или июне, несся запах с цветочных клумб; влетали и вылетали с веселым жужжанием мухи. Мари после прогулки с Васей в саду сидела в легком белом капоте и в кисейной косынке на запросто убранных волосах. Ежедневно пудрившая вычурную, высокую прическу даже в деревне, Нинет была в цветном шелковом платье на фижменах и корсете, удлинявшем и без того длинную и узкую ее талию. После борща подали душистую, сваренную к маслу, молодую пшеничку-кукурузу. В вазах на столе стояли к десерту клубника и только что поспевшие в оранжерее персики. Вася, грызя сочный и сладкий кочан пшенички, нетерпеливо поглядывал на ягоды и персики. Он сильно загорел и поправился за лето. Его черные, как у отца, курчавые волосы длинными локонами падали на белый воротник пикейной курточки. «Глеб не нарадуется на него!» — думала Мари, любуясь ребенком.

— Что нынче, разве праздник? — спросила Нинет, едва удостоив погрызть пшенички и чопорно вытирая салфеткой свои тонкие, с длинными, тщательно выхоленными ногтями пальцы, обмоченные сочным кочаном.

— Что за вопрос? Разумеется, праздник, Преображение Спаса, — произнесла Мари. — В церкви была ранняя обедня, я ходила.

— А я, по обыкновению, проспала, — ответила Нинет, — спросила же оттого, что с утра не слышно звуков топора; у бани, в саду, эти дни плотники что-то мастерили.

— Передбанник переделывают, — ответила Сысоевна, — да что, хоть бы господа скорее ехали; тут какой уже день все праздники да гулянье... Отава поспела, сеять пора, а здешние все точно очумели, шепчутся, толкутся у кабака. Не только нынче, и вчера весь день — хоть шаром покати, никого почитай не было на работе; а какой же вчера хотя был праздник? Мученицы Нонны и только.

— Ты почем это знаешь? Вот выучила календарь! — усмехнулась Ладыженцева.

— Кума у меня в Ракитном Нонна, вот что, — с неудовольствием ответила Сысоевна. — А что народ тут куда распущен, так это верно.

— Что же приказчику не доложишь? — продолжала язвить Нинет. — Он, кажется, не охотник баловать работников...

Сысоевна на это только махнула рукой. Убрав посуду после пшенички, слуга пошел в кухню за жареным. Сысоевна унесла тарелку барчонка. Прошло несколько минут. Ни слуга, ни Сысоевна не возвращались. Мари взглянула на часы в длинном, до потолка, ящике, стоявшие в углу столовой. Прошло еще с четверть часа.

— Что это? — с досадой сказала Мари. — Уж не запраздновал ли и повар?

— Кухня здесь не близкий свет, — возразила Ладыженцева, — ну, не поспели, может быть, заказанные тобой перепелки.

Часы медленно стучали в стихшей комнате. С птичьего двора и от деревни, бывшей за садом, доносились веселые крики петухов, дравших горло благодаря длившемуся ведру

и теплу. В окно влетел мохнатый шмель и, гулко пронесясь вокруг столовой, снова вылетел в сад. Небесная синева, без единого облачка, приветливо глядела в окна через верхи неподвижно стоявших лип и тополей.

В конце дома послышались торопливые шаги. По коридору бежало что-то тяжелое. В дверях столовой показалась растерянная, запыхавшаяся Сысоевна. С секунду она не могла произнести ни слова и, опершись плечом о косяк двери, только бессильно разводила руками.

— Спасайтесь, барыня, светик! Ох, скорее! — выговорила она наконец, бросившись к столу и схватывая ребенка на руки.

— Что ты, няня? Опомнись! — вскрикнула Мари.

— Злодеи! Пугач! Должно, сам, за деревней, в поле... с большой дороги, сказывают, едут ко двору... Да беги же, родимая, беги!

Мари обомлела. Она хотела встать и не могла: ноги не слушались ее. Комната, няня с Васей, Нинет, опрометью бросившаяся в прихожую, — все заколыхалось в ее глазах.

— Господи, Господи! — твердила Мари, ища глазами икону и не видя ее. — Спаси нас, Пречистая, угодники!

— Да беги же, сударыня! Поздно будет! — произнесла няня, схватив барыню за руку и таща ее через балконную дверь в сад.

Силы Мари возвратились. Она не отставала от няни. Пробежав главною аллеей, они своротили вправо, к рощице акаций, у которой, на скате пригорка, перестраивалась баня. Здесь Сысоевна остановилась у груды досок, разных обрубков и мелкой щепы. Мари дрожала всем телом. Испуганный ребенок тихо всхлипывал на руках няни.

— Ложись, сударыня, сейчас ложись! — сказала Сысоевна. — Спрячу тебя здесь, не найдут.

— А Вася? — спросила, ломая руки, Мари.

— Да ложись же, говорю тебе! — понизив голос, сказала няня. — За него и не бойся... Пробегу с ним

по задворкам к Маланье-коровнице либо к попу... Остригу его, переодену, назовется поповичем, что ли... У Маланьи дите недавно померло — рубашку, портишки авось добуду ему!

Сысоевна опустила Васю наземь, уложила Мари у колоды, прикрыла ее обрезками досок и засыпала щепками.

— Смотри же, матушка, не ворошись! Голоса не подавай! — сказала она, нагнувшись к Мари. — А Васеньку-светика спрячу так, что не найдут...

Подхватив ребенка, старуха пробежала за баню, постояла здесь, прислушалась и, спустясь с пригорка, низом сада, направилась к крестьянским дворам.

Едва Сысоевна, чуть помня себя от волнения и усталости, растрепанная, с упавшим на спину головным платком, добежала до ближайшего крестьянского огорода и уже занесла ногу на перелаз плетня, в барском доме послышались крики. Крестясь и шепча молитву, старуха тихо высунула голову из-за плетня, глянула и обмерла. Барский двор был полон всадниками. Часть их спешилась. Одни окружили дом, другие бежали в сад и на выгон, к церкви. Дом, очевидно, оказался запертым. Не попав в двери, нападавшие били окна и через них лезли в комнаты.

Сысоевна, собрав силы, перелезла через плетень и, творя молитву и прижимая к груди Васю, грядками огорода бросилась к крайнему крестьянскому двору. В барской усадьбе послышался выстрел. С колокольни раздался набат.

Сила Фомич Травкин поспешил с Борей в Саратов не вследствие зубной боли крестника и не по своему личному, как он писал, неотложному делу, а потому, что ездивший в город за солью для овец его ключник привез известие, что, по слухам в народе, среди охраняющих город гарнизонных солдат и волжских казаков явилось колебание и что горожане, купцы и чиновники стали

грузить на барки и лодки свое имущество и тайком бегут. Травкин завернул для разведок к аптекарю, но не застал его дома и заехал к Ловицу. От прислуги он узнал, что профессор вверху, на антресолях, и по витой деревянной лестнице прошел туда. Худой и высокий, без парика и в очках, лысый астроном сидел у раскрытого окна, глядя в зрительную трубу. Увидев Травкина, он ласково протянул ему руку и указал возле себя стул.

— Все ли у вас, Егор Иваныч, благополучно? — спросил Сила Фомич.

— О, вполне. Ссорятся только, по обычаю, начальники.

— Кто такой?

— Комендант и присланный уф город из гвардии поручик Державин.

— Но как же это? — удивился, сам бывший в военной службе, Сила Фомич. — Комендант — полковник; разве поручик, хотя бы и гвардеец, может не покоряться ему? Это предосудительно, противно дисциплине.

— И я то же говорю, — сказал Ловиц, — но это уж русски характер: один трактует за дислокацион войска за город, навстречу врага, если бы тот объявился; другой кричит: насыпай земляной вал, вперед города, до Волги. А какой тут вал, когда округ города высоки гор и с них легко все разрушайт и сжигайт... Aber, Gott sei Dank, все то уладится!

Травкин недоверчиво покачал головой.

— Ваши добри сосед Дуганов ишо не возратились из вояж? — спросил Ловиц.

— Нет, — ответил, вздохнув, Травкин, — и это просто непостижимо! Я сильно, сильно сомневаюсь на их счет... В такие попали места!..

— О, зачем так думайт? — сказал Ловиц, раскурив трубку и предлагая ее гостю.

— Благодарю, — отозвался Травкин.

— Вы в город до вечер? — спросил Ловиц.

— Нет-с, еду сейчас; нельзя, знаете... Родственница Дугановых, молодая, милая барыня, — вы ее видели — гостит

в их имении, без них, и очень беспокоится — я дал слово поспешить.

— А жаль! Ночью это, это... Такой вид на атмосфер!.. Ваши Дуганов думали на обратный путь взглянуть на кольца Сатурн... Теперь этот планет уф лучшем вид... ну, вот как серебряне поясочки округ голубой шар! Оставайтесь, увидите. Когда я были уф Гурьев и на Венера глядел...

— Благодарю, не до того теперь, — ответил, встав и кланяясь, Сила Фомич.

Провожаемый хозяином, он в раздумье спустился и вышел на крыльцо.

XXI

— Папа, — сказал Боря, встревоженно глядя на крестного, — тут проскакал какой-то верховой и крикнул лавочникам, Пугачев будто бы невдали от города.

— Что ты, что ты! — замахал в ужасе руками на крестника Травкин. — Опомнись! Что ты говоришь!

— Ей-Богу, так он и объявил, — настаивал Боря. — К Соколовой горе, говорит, движутся, видны и пушки...

Сила Фомич взглянул на Ловица, потом на улицу. Два соседних торговца, булочник и гончар, торопливо запирали лавки. Ловиц отвел Травкина в сени.

— Пойдем, — сказал он, взяв гостя за руку, — уф мой зрительный труба все видно как на ладонь.

Ловиц и Травкин снова поднялись на антресоли. Астроном передвинул на подставке трубу, навел ее ниже, за город, уставил стекло к Волге и развел руками.

— Глядел на атмосфер, под свой нос не видал! — растерянно сказал он, вставая.

Травкин присел к трубе, взглянул в ее стекло и отшатнулся. Он увидел нечто ужасающее.

К окраинам города, по московской дороге, надвигалась какая-то лавина. Обширный конный и пеший отряд виднелся

сквозь клубы пыли. Одна его часть тянулась к Соколовой горе, другая близилась прямо к городу и его предместьям. С городского вала, по выгону, взвивались разрозненные дымки ружейных выстрелов.

— Не слышно, а видно — это палят от города, — сказал Травкин, наклоняясь к трубе. — Ишь, выпалили и идут вперед! Благодарить Бога — наших хоть мало, а, кажется, стойко и смело стремятся на врага.

Ловиц нагнулся к трубе.

— Nein... Sie werfen ihre Waffen fort! — произнес он, всматриваясь в стекло. — Бросят свой оружие... sie übergeben sich... передают себя, бегут... О, die Verräther! Прямо к злодею.

— Прощайте, — сказал Травкин, бросаясь к лестнице.

Он быстро спустился вниз. Ловиц догнал его в прихожей.

— Послушайте, секунд один! — вскрикнул он, остановив гостя. — Скажите, — вы умный человек, — что вы намерен делать?

— Я? — удивился Травкин. — Разумеется, бежать!.. Не будь одна особа, давно не был бы здесь... А вы?

— О, кто бы ни оказался этот проблематичный человек — Пугачев, обманщик или царь, — произнес Ловиц, подняв на лоб очки, — он, делая таки умны походы, атак, оценит мирна учена заслуг... Надо ему речь о Волга и Дон...

Травкин сбежал с крыльца, вскочил на таратайку и, молча поклонясь профессору, погнал савраску вскачь. К торговой площади, мимо которой он взял в сторону, из соседних улиц и переулков бежал народ. Какой-то купец, стоя на телеге, среди толпы, покрывавшей площадь, что-то говорил, размахивая руками. Сила Фомич узнал в нем кума своего, богатого краснорядца. «Ура батюшке царю! К нему!» — кричала толпа, не слушая краснорядца.

Мелкие торговцы уносили с перекрестков лотки с товарами; купцы запирали лавки. Из дворов, протискиваясь между прохожими, выезжали нагруженные разным хламом возы.

Несколько колымаг и колясок, минуя главные улицы, неслись за город.

У опустелого комендантского двора Травкин увидел часть гарнизонных солдат и перед ними несколько офицеров и самого коменданта. Растерянный, на себя не похожий, полковник Бошняк, пряча за лацкан расстегнутого мундира скомканное батальонное знамя, оторванное от древка, ударял себя в грудь и говорил со слезами что-то трогательное и возвышенное остатку верного гарнизона.

— Вот, вот герой! Надеется пробиться с горстью храбрых! — сказал крестнику, смигивая слезы, Травкин. — Так и надо, и надо... Не хочет отдавать злодеям войсковой святыни.

— А мы пробьемся? — спросил Боря.

— Мужайся, Борис! Бог не выдаст, свинья не съест! — ответил Сила Фомич. — Да держись, гляди, крепче, не выпади на толчке.

Савраска неслась из всех сил. Травкин миновал последний переулок. Потянулись огороды, за ними монастырская роща; за рощей стало видно последнее подгородное здание — обширный казенный винный завод и рядом с ним — купеческий, канатный.

Едва таратайка въехала в рощу, несколько рабочих, шедших с канатного завода, преградили ей дорогу.

— Стой, кто едет? — спросили рабочие, окружив таратайку.

— Да вы же здешние, заводские! Неужели не знаете меня?.. Что вам надо? — удивился Травкин.

— Здешние-то, правда, да не прежние! — ответили рабочие. — Были царицыны, ныне опять царевы! Ну-ка, вставай, барин, да вертай.

Травкин ударил по савраске. Конь двинул было, но его осадили.

— Вязать их, братцы! — крикнули канатчики.

— На что? Один стар, другой дитя, вези и так!

Несколько рабочих сели на облучок таратайки и повезли пленников обратно в город.

— Да куда же вы? Нехристи вы, что ли? — спрашивал Сила Фомич канатчиков.

— Ладно! Вашего брата велено представлять, вышел указ... Там разберут!

Таратайка въехала в улицу. Мятежники тем временем уже ворвались в город. Разбив в предместьях несколько постоялых дворов и кабаков, они перепились и буйными шайками рыскали по улицам и площадям, грабя лавки, дома и церкви и убивая тех, кто пытался защищать свое добро. Надвинулась туча, поднялся сильный ветер. Улицы покрылись тучами пыли, заслонившей дома и заборы. Канатчики, задержавшие Травкина, едва пробираясь в пыли и то и дело наталкиваясь на следы грабежа и крови, сами струсили. Они хотели уже оставить пленных, но потом рассудили, не досталось бы им, скажут еще, что они выпустили господ за выкуп.

— Где батюшка царь? — спросили они на перекрестке яицкого казака, тащившего на спине из лавки огромного вяленого осетра. — Куда везти господ?

— Царь далече; на зимовнике Килимова, — ответил казак. — Время не пришло, еще не жалует в город; везите в лагерь, там скажут!

— А где, милостивый, будет это?

— Под лесом, у Алтынной горы.

— Не опасно?

— Вези, коли говорят.

Канатчики доставили пленников к Алтынной горе. Здесь, у юго-западной части города, наскоро располагался в это время под начальством Творогова главный пеший лагерь самозванца из разного сброда, вооруженного вилами, чекушами, косами и просто дубинами. Лагерь одним концом упирался в покрытую лесом Алтынную гору, другим подходил к городскому выгону. На гору мятежники втащили несколько пушек и открыли было из них пальбу по городу;

но ядра туда не долетали, да и город, узнав об измене гарнизона, сдался, и пушки, бывшие под ведением Чумакова, замолкли. В лагерь тащили с захваченных на Волге судов рыбу, соль, муку и другие припасы; у горы и по выгону рыли землянки, ставили старшинам палатки и разводили костры.

Пугачев с хромоногим своим фельдмаршалом Овчинниковым в это время с хутора колониста Килимова заправлял конным отрядом. Мелкие шайки верховых, ворвавшись в город, грабили его; более крупные, рассыпавшись по подгородным окраинам, доскакивали до ближних помещичьих сел и хуторов. Казаки, опустошая барские усадьбы, убивали или увозили с собой их владельцев, приказчиков и домочадцев.

Травкина и его крестника канатчики подвезли к наскоро установленным на взгорье, невдали друг от друга, палаткам есаулов Идорки и Баранки. Здесь, в обозе, под стражей, уже были и другие захваченные в плен дворяне, чиновники, купцы, несколько причетников и священник из подгородной слободки, знакомый Травкину. Новых пленных приняли и поместили среди остальных, безмолвно сидевших на земле, перед палатками, у телег обоза. Их еще не допрашивали. Идорка и Баранка с прочими из старших, следя с пригорка за устройством лагеря, закусывали у одной из палаток. Перед ними на разостланной попоне лежали краюхи добытого в предместье хлеба, захваченная у пристани вяленая белорыбица, свежая икра и осетровые балыки. Тут же стояли раскупоренные ящики с вином. Один уже был опорожнен, к другому только что приступили.

Хмель уже заметно охватывал трапезующих. Ветер стал стихать. От палатки неслись веселые возгласы и громкий смех. Раздавались треньканье балалайки, визг чибузги, а кто-то под нос затягивал песню.

— Стой, братцы! — сказал, покачиваясь, Идорка, остановив музыку и глядя на стражу, охранявшую пленных. — Что морить на жаре царских слуг? Порешить сперва иродово семя, господ, а стражу отпустить.

— Да погоди, черт, успеешь! — остановил его Баранка.

— Нет, так хочу, нельзя! — не унимался Идорка.

— Сядь, говорят тебе, яман! Оставь их и пей! — возразил не менее хмельной Баранка.

— Как? Эвту сволочь? Что ты, бачка! Опомнись! Дьяволовых шишиг жаль? — спросил, приподнимаясь и отталкивая удерживавших его станичников, пьяный Идорка. — Да кто же мне помешает?

— Я! — ответил, бледнея, Баранка. — И не советую тебе! Чтоб моя не знала, слышь, и не видала! Сунься, еще вдарю!

— Да как смеешь? Ты кто тут!

— А ты?

— Нет, ты кто? — настаивал Идорка.

— Начальник антилерии, фильцигмейстер, во кто! — ответил Баранка.

— Ах ты фи́льциг, пес! Право слово, пес! И пушки твои ни к дьяволу тут! А я енерального, значит, штапу, царский охранник и над всеми судья... Ну, и сужу.

— Не смеешь, собачье рыло! — огрызнулся Баранка.

— А вот увидишь, кол те в рот, — проговорил, весь красный и в поту, Идорка. — Стрепетов, Шульга! — крикнул он кухарям, сорвавшись с места. — Ходи, бачка, сюда!

Два здоровенных кухаря, сняв шапки, подошли к татарину.

XXII

Опешенный отпором царского любимца, худого и изуродованного оспой Идорки, приземистый, с рваными ноздрями Баранка только плюнул и отвернулся.

— Это овраг? — спросил кухарей Идорка, указывая на глубокую и узкую водороину за палаткой.

— Овраг.

— А то вон мачта или брус? — указал Идорка на длинное сосновое бревно, лежавшее с другими брусьями у водороины.

— Мачта.

— Волоки ее, мости поперек прорвы.

Кухари перекинули бревно через овраг.

— Давай, душа-человек, веревок.

Веревки были принесены.

— Да брось ты, Махмет Салтанович, — уговаривали Идорку товарищи. — Ну, сам батюшка приедет, он и решит.

— Без него рассудим! Веди брюхоморов, псов! — крикнул, расстегивая залитый вином алый бешмет, Идорка. — На висюлю их, вяжи шайтанов!

Он опять сел наземь. Кухари подвели пленных к палатке. Впереди их был высокий и полный подгородный священник.

— А, отец честной! — приподняв слегка шапку, усмехнулся попу потускневшими от хмеля глазами Идорка. — Не хотел честью выйти, с хоругвями и крестом? Наше вам-с!

Священник молча пощипывал свою бороду.

— А вы, кровопийцы, щеголи-дворянчики! Вы что теперь? — продолжал, глядя на понурые лица пленных, Идорка. — Не покаялись? Трусите, скаредные ярыжки, чинушки, да и ты, пузан торговец, — кто ты?

— Миколаев, сударь, — ответил, кланяясь в пояс, купец.

— А еще стрижен, ай-ай! В скобку и в бороде! Что, живодеры? Хо-хо! Жаль было свово добра? На царя-то, собачьи дети, да на такого-то, сказать, доброго, на монарха?

Идорка смолк, искоса поглядывая на растерянные, бледные лица пленных.

— Стрепетов, Шульга! — крикнул он. — Ну-ка, бачка, народу еще сюда! Вяжи им, каторжным, петли да с колоды-то, с висюли, по одному и спускай собачье племя в прорву...

Кухари, подозвав стражу, приблизились к купцу и стали вязать ему руки. «Боже милостивый, Боже правый! — шептал побелевшими губами Травкин, прижимая к себе дрожавшего от страха Борю. — Вразуми их, нехристей, укроти их злобу и ярость к неповинным... Защити, о, Господи, защити!»

Баранка сидел, покачиваясь и налитыми кровью глазами глядя в землю. «Молчит, песья харя, — думал о нем Идорка, следивший, как кухари вязали руки купцу. — Смирился небось! Не на того наскочил!» В лагере, между обозом, в это мгновение где-то снова тиликнула балалайка. За нею зазвенели бубны. Тихие, веселые звуки странно прозвучали среди омраченных предстоящею казнью лиц.

— Стой, Махмет! — сказал вдруг Баранка Идорке. — Что так-то, задаром, решать хоть бы этих псов? Повеселили бы малость ребят... Поплясали бы, что ли? Есть, чай, между ними и плясуны?

Не ожидавший такой выходки, Идорка подумал и усмехнулся. Рассмеялись и остальные из станичников.

— Да ты не наперекор только? — спросил Идорка, опомнясь и недоверчиво косясь на товарища.

— Убей Бог! — ответил Баранка. — Висюли одно, а пляска другое.

— Ну, и ладно! — решил Идорка. — Врешь ты али нет, а придумал ловко... Якши, ребята, брось их! Ну-ка, честный отче, — сказал он священнику, — начинай первый хоть ты.

Священник вздрогнул.

— Пощади! Вы тоже, Божьи чада, одумайтесь! — проговорил он едва ворочая пересохшим от страха, путающимся языком. — За что такое надругательство? Вы иной веры, ваша здесь власть — таково попущение Господне!.. Но почто такая издевка? Слугам ли алтаря, подумайте, в скоморохи идти, вас веселить? На то есть иные, хоть бы оный из малых сих, — указал он на Борю.

Идорка и Баранка опять заспорили, кому из пленных начинать пляс. Они кричали, скрежетали зубами, ворочая

белками и бросая шапки оземь. «Я заводчик тут всему!» — кричал Идорка. «Нет, я! Моя придумала, а не ты!» — не спускал ему Баранка.

— Как вам, отец Игнатий, не грешно? — укоризненно шепнул Травкин священнику. — И что вы вздумали? Ужли вам не жаль отрока, не жаль, наконец, меня, старика?

— Да полно-те, ничего! — ответил священник. — Нешто я спроста? Ведь не раз бывал в Горках, видел, как предивно пляшет ваш-от соколок.

— А как смешается, оборвется?

— Не оборвется, — шептал священник, не спуская глаз с татар.

Спорщики смолкли. Идорка взял с земли начатый бурдюк вина, потянул из него, отдохнул, еще выпил и утерся полой бешмета.

— Так-то, — сказал он Баранке, — прячь морду, не тебе тут командовать! Зови, Стрепетов, музыку сюда, пусть барчук попляшет.

Явились три балалайки, чибузги и несколько бубнов. Музыка заиграла трепака.

— Иди, да иди же, Боричка! — вполголоса уговаривал Травкин племянника. — Ну, что тебе? Ободрись, потешь их... Не нам, тебе, может быть, будет лучше.

Боря не помнил, где он и что с ним. Его ноги подкашивались. Слезы катились по лицу.

— Да выступай же, псенок! Что стоишь как пень? — крикнул недовольный медленностью мальчика, Идорка. — Или, твое благородие, не уважишь приказа?

Боря медленно выступил из среды пленных и покачнулся; но, взглянув на крестного, он опомнился, оправил на себе одежду и, взявшись под бока, плавно, под звуки музыки, приседая и опять выпрямляясь, пошел вкруг площадки. Казаки впились в него глазами. Сила Фомич крестил издали Борю. Священник тихо шептал молитву.

Мальчик оживился. Молнией промелькнул в этот миг в его мыслях тихий, летний день в Горках, проводы

Дугановых в Казань и как он, под игру крестного на виолончели, танцевал «Варварушку». «Варварушка, сударушка, не гневайся на меня», — вспоминал Боря и, как тогда, вдруг остановился и махнул рукой. Еще миг, он хлопнул ногой об ногу, припрыгнул и начал плясать, но ослабевшие от страха ноги не выдержали, он споткнулся и упал, залившись слезами. Толпа громко захохотала. Мальчик опомнился. Отирая слезы, он вскочил с разгоревшимся лицом, снова выпрямился, пустился в пляс и так разошелся, вертясь по площадке юлой, приседая и вскидывая ноги и руки, что только пятки его мелькали.

— Молодца, молодца! — кричали под звон и гул музыки казаки. — Ну-ка, вертун, еще! Так-то! Жарь, жарь...

Старшие, следя за Борей, тоже стали притопывать на месте и качаться, а младшие сорвались и сами пустились в пляс.

— Вот так лихо! Жги, вали! — раздался громкий и властный голос над толпой.

Музыка мгновенно стихла. Все оглянулись. На обрызганном пеной, тяжело дышавшем коне, сидел подскакавший главный начальник лагеря, Ивашко Творогов. Красный и потный, он был весь в пыли. Боря остановился, испуганно рассматривая подъехавшего казака, перед которым прочие, даже Идорка и Баранка, почтительно и молча сняли шапки. Пленные подумали, что перед ними был сам Пугачев.

— Что, соколы, тешитесь? — спросил Ивашко.

— Тешутся ребята, — ответил, кланяясь, Баранка. — С енарал-фильцигместром поспорили.

— О чем?

— Насчет то есть евтих самых господ, — произнес Идорка, также кланяясь и указывая на пленных.

— Ну, а каки-таки были ваши споры?

— Я говорю, — ответил Идорка, — надо их, псовых детей, на рели, а Гирей говорит, поплясать бы их сперва

заставить, повеселить ребят... Не отслужил ли бы кто за грехи?

— Ну, и что ж, старались? — усмехнулся Творогов.

— Преусердно, Иван Александрович! Не хочешь ли винца?

— Кто же первый? Не поп ли? — спросил Творогов, прикладываясь к поданному бурдюку и глядя на священника.

— Нет, пока избавили попа, мальчонок эвтот самый постарался, — указал Идорка на Борю. — Усердствовал то есть вот как.

— Видел, видел! Отслужил, выходит, за всех! — произнес Творогов, отдыхая и опять жадно припадая к бурдюку с вином.

Ивашке вспомнился его собственный путь от Урала до Казани и оттуда на Осу, Курмыш, Саранск и Пензу. Рекой огня и крови пронесся он с Пугачевым по этим городам. «Сколько повешено, побито дубьем и постреляно! — думал красавец Ивашко, глядя на новые жертвы казней во имя новоявленного государя. — И за дело ведь все удавлены и побиты!.. Не покорялись, не признавали царя!.. Саратов сдался без боя; знак хороший... Гонятся за нами генералы; а тут, видно, ничего не поделают. Богатства и всяких припасов тут без числа. Нагрузим барки, спустимся Волгой в Астрахань, оттуда в Каспий, ищи тогда ветра в поле... А выше меня у его величества нет никого!»

«Да, — мыслил в то же время Травкин, чувствуя, как его сердце билось шибко, замирая и падая куда-то без следа, — вот он, воочию, бунт низкой черни, стихийный, загадочный и безобразный... Был на Божьем свете Травкин, росла былинка, и мигом их не станет... Решайте, философы — Юм, Аристотель и Кант — что это? Все вместе и рядом, музыка и виселицы, смех и истязания, пляска и смерть...»

— Ну, коли потешил паренек молодцов, отслужил, так тому, видно, и быть! — сказал Творогов. — Разные, детушки, у нашего царя подданные, и разная от них служба...

Что до меня, именем его всех задержанных хоть бы и отпустить! А ты, Махмет, и ты, Гирей, за мной! — прибавил Ивашко, повернув коня. — Государя в город просят, к сдаче и к присяге... Немало у него там важных делов... Одной казны захвачено двадцать пять тысяч...

Старшины сели на коней.

— Что же, одначе, с пленными? — спросил, глядя на Баранку, Идорка.

— Да сказано ведь отслужили, ну, и ладно пока; всех полагал бы ослобонить! Пусть явятся к батюшке царю... Авось и его величество помилует и вовсе простит.

Пленные бросились друг к другу в объятия. Боря припал со слезами к крестному. Священник, усиливаясь сказать товарищам что-то трогательное и сердечное, только молча шевелил губами и бровями. Травкин, растерянно обнимая и целуя плакавшего крестника, сам тихо всхлипывал, недоумевая в испуге, действительно ли миновал их страшный, занесенный над ними удар.

XXIII

Спрятанная под грудой щепок, возле бани в саду, Марья Родионовна Дуганова лежала здесь долго, ежеминутно ожидая, что злодеи, рассыпавшись по саду, могут отыскать ее и убить. Она в ужасе слышала неистовые крики у дома, где, как она была убеждена, разбойники, наверное, захватили всю прислугу и не успевшую спрятаться Нинет. Относительно сына Мари всячески старалась успокоить себя. Преданная и так любившая Васю Сысоевна, без всякого сомнения, успела спрятать его у надежной крестьянки, на деревне, или у священника. Крики то смолкали, то снова усиливались возле дома, во дворе. Вскоре они послышались и в саду. Несколько человек пробежало к оранжереям, где раздался звон разбиваемых стекол; другие шныряли по аллеям и в нижнем саду, у реки. Послышались, наконец, голоса и невдали от

бани. «Откроют, найдут!» — думала, замирая, Мари, до слуха которой доносились звуки шагов, шелестевших по щепкам и высохшей траве. «Ушла, хвостатая, ушла!» — говорили шедшие снизу, мимо колод и бревен, между которыми лежала Мари. «Да ты лучше гляди... Почем знать? Может, она тут еще, в бане...» — «Лазил, Микишка, — пуста». — «Ну, так в роще либо в саду. За мной, братцы!» — «Полно, ребята... У берега, сказывают, лодка была, — ноне нетути. Уплыла, должно, с попом!» — «Это меня ищут, меня! — в ужасе думала Мари, усердно шепча молитву и боясь шевельнуться под своим прикрытием. — Господи, не дай в обиду, защити!»

Голоса и крики мало-помалу стихли. Не зная, длился ли еще день или настал вечер, Мари слегка двинула окоченевшими членами; доски подвинулись, щепки шевельнулись, но из-под их груды трудно было что-либо разглядеть. «Боже правый и милостивый, — молилась Мари, — пусть погибну я, пусть мне не жить, но спаси и охрани Твоею десницей неповинного ребенка!» Мари вспомнились дни в Ракитном, рождение сына, приезд туда мужа, жизнь в Москве, разрыв с мужем и поездка с дитятею за Волгу. «Но Глеб, Глеб, — говорила она себе. — Он должен был уже выехать сюда... Наверное, послано войско, он находится при нем». Мари почудился запах дыма. Все еще боясь приподняться, она сквозь щепы завидела странный какой-то, как бы ярко-красный, отблеск. «Вечер, догорает заря!» — подумала она и невольно вздрогнула. Ей послышался треск чего-то горевшего. Она быстро раздвинула щепки и приподнялась от колоды.

На дворе давно была ночь. Зарево пожара освещало деревню, двор и, из-за темного опустевшего дома, ближнюю часть сада. На площади, за усадьбой, полыхала, догорая, сельская деревянная церковь, подожженная грабителями. Никто не спасал ее. Площадь и улица перед церковью были пусты. «Что это: неужели все бросили село? — подумала Мари. — Или не спасают святыню потому, что сами в большинстве раскольники?»

Она гущиной деревьев направилась к роще, откуда ближе была видна деревня. «Не может быть, чтоб все ушли до одного, — рассуждала Мари, — кого-нибудь увижу из крестьян и умолю спасти меня». Не успела она приблизиться к тому месту, где когда-то старик Корней и его жена, бывшая птичница, Дарья зарывали под кустами свою худобишку, в стороне послышался шелест шагов. Мари в отблеске пожара узнала Дарью и, выйдя к ней, тихо окликнула ее. Старуха так испугалась, что несколько секунд не могла выговорить ни слова.

— Дарья, голубушка, неужели ты не узнала меня? — спросила ее Мари.

— С нами крестная сила! Вот напугала, матушка! — ответила Дарья. — А мы уж не ждали!.. Как помиловал Господь?

— Сын мой Вася, Васюта где? — спросила Мари, схватив Дарью за руки и теребя ее.

— Нешто, родимая, он оставался здесь? Мы и не знали.

— При мне Сысоевна унесла его на село.

— Нетути у нас, матушка, ни его, ни ее... Мужики поднялись и ушли за царевым войском в город, взяли и Корнея, и других стариков, о твоем же дитятке и слыхом не слыхать.

Мари не помнила себя от горя.

— Слушай, Дарьюшка, — сказала она, — иди на село, молю тебя, расспроси у тех, кто остался, где няня и где мой сын, дай мне знать, я тебя здесь подожду.

— Ох, матушка, боязно, не узнали бы... Еще убьют.

— Ты, Дарья, здесь весною спрятала свое добро; скажи, ведь тебе было бы жаль, если бы его нашли и ограбили... Ну, а я прошу о сыне, единственном моем дитяти, — сказала, плача, Мари.

— Оно, родимая, так, что и говорить, — ответила в раздумье Дарья, — да я насчет тебя... Как бы то есть через меня, глупую, не нашли бы здесь и тебя?

— Что же, Дарья, чему быть, того не миновать; сходи, голубушка, узнай, и, если няня с ребенком еще здесь, нельзя ли как-нибудь увезти нас отсюда?

— Да ты-то, родимая, как спаслась? — спросила, глядя на нее, Дарья.

Мари рассказала о происшедшем с нею. Слушая ее, старуха только крестилась.

— А барышня... Нина Александровна где? — спросила Мари. — Ведь она-то именно осталась в доме, не успела уйти.

— Никто, сударыня, не знает, что с нею и где она. Злодеи пытали прислугу и нас, грозили живьем в землю зарыть, да коли мы не сведомы, что же было и говорить?

— Ну, иди, милая, иди!

Дарья молча вышла из-за деревьев на поляну, осмотрелась вокруг и, сказав Мари: «Жди, сударыня, что смогу, постараюсь», — направилась, в обход дома, на деревню.

Мари присела под деревом. Брошенное жителями село молчало во мраке над Волгой. Изредка у опустевших дворов раздавался только лай собак. Освещенные отблеском пожара, дворовые здания и вершины сада красными полосами выделялись из ночной тьмы. Мари в волнении вглядывалась в эту тьму, вслушивалась в ее малейший звук. Ей припоминалась ночь, когда, подъезжая к Волге, она увидела огненно-красный, как бы кровавый метеор, вылетевший ей тогда навстречу из-за реки. «Он рассыпался с громом, — думала она, — исчез, не тронув никого... Пощадит ли нас теперешняя грозная беда?»

За деревьями, на ближней поляне, послышались тихие шаги. Мари увидела Дарью, робко пробиравшуюся к ней.

— Ну, что, Дарьюшка, что? — спросила Мари, бросившись к старухе.

— Благодари, матушка, Господа, благодари! Сына твоего нянька спрятала дальше.

— Где? Да говори же, говори!

— Ниже тут по реке, у Петра Ильича... У Волка...

— Лаптева?

— Он самый, он.

— Как же она добралась туда? Ах, Дарья, не мучай, говори сразу все... Кто довез и когда?

— Сынишка нашей соседки, мне крестник, Сидоркой звать.

— Да как же он довез? На телеге? Как не боялся?

— На лодке, матушка. И уж я ли его не допытывала: сперва не говорил от страха, а тут и сказал... Да что, милая барыня, уж так-то ты добра ко всем, — хочешь, он и тебя довезет? Их лодка и теперь спрятана в кустах, у берега.

Мари бросилась на шею старухе.

— Дарья, голубушка, слушай, — шептала она, — Все тебе и крестнику твоему отдам, а теперь вот тебе пока, — прибавила она, вынимая из ушей дорогие серьги. — Отдай крестнику и скажи, что ничего не пожалею.

— Что ты, матушка! Да как можно! Грех какой... Ничего он не возьмет.

— Иди, говорят тебе, иди, — твердила, в слезах, Мари, сунув серьги в карман старухи и понукая ее идти обратно на село.

Дарья, качая головой, удалилась. Прошло более часа. Мари с ужасом поглядывала на вершины деревьев, над которыми становилось как бы яснее. Очевидно, близился рассвет. «Не успеем, о, Господи, не успеем!» — волновалась, ломая руки, Мари. «Сюда, матушка, сюда!» — прозвучал чуть слышный оклик от тропинки, шедшей в нижний сад. Мари увидела Дарью и рядом с нею невысокого, худого, лет двенадцати, парнишку. Она опрометью кинулась к ним и по дну лесистого оврага спустилась с ними к Волге. «Скорей, голубчик, скорей! — шептала Мари, спотыкаясь в траве и цепких сучьях. — Не увидели бы нас — мне гибель, не помилуют и тебя!» — «Не бойся, барыня, — ответил Сидорка, — не из таких, чтоб изловили... Духом довезу!..» Парнишка оказался юрким и расторопным. Нырнув, как

мышь, в кусты, он повозился там, крикнул: «Бабка Романовна, подмоги!» — отвязал от ветви лодку, спустил ее без шума на воду и причалил ближе к берегу. Дарья накинула на плечи Мари свою кофту и прикрыла ей голову своим платком.

— Получил ты мой подарок? — спросила Мари, садясь при помощи Дарьи в лодку.

Сидорка молча взглянул на крестную.

— Отдал матери, забрала у него! — ответила старуха. — Она там такая, на три ступни скрозь землю видит все!

— Вот, Дарья, отдай еще и это его матери, — сказала Мари, сняв с руки и подавая старухе кольцо, — а ты сама... Век не забуду услуги твоей.

Лодка двинулась от берега, миновала отмель и скрылась в тумане, еще покрывавшем водную ширь. «Дай-то им, Господи, спаси ее с малым дитем! — думала Дарья, стоя у берега. — И впрямь жаль нажитого, жаль худобишки, а у них ведь жизнь берут, детей берут, а за что?» Лодка медленно двигалась во мгле. Туман поредел. В нем яснее все стало видно. Рыжий и бледный, в веснушках, мальчик оказался в меховой кудлатой шапке и огромных, очевидно отцовских, сапогах. Его глаза улыбались. Острый носик весело и смело глядел из-под густых бровей.

— Сидором звать тебя? — спросила Мари.

— Сидорка, — важно ответил мальчик, налегая на весла, с которых летели пенистые брызги.

— Куда везешь меня?

— Да туда же, сударыня, все к тому же барину, к Волку... Он — сердечный, примает вас всех.

— Ты, сказывала Дарья, свез туда и Сысоевну с ребенком?

— А то куда ж? Волку что! Он ведь не боится ничего.

Мари готова была кинуться к парнишке, расцеловать его рыжие вихры и пестрое от веснушек, востроносое и важное личико.

— Кого еще из наших принял Петр Ильич?

— Не могим, барыня, знать.

— Так и вправду он ничего не боится?

— А для че ему бояться? Сколько у него ружей, собак... А живет, как змей-колдун, в лесу, на горе!

— И ты действительно не знаешь, кого еще укрыл Петр Ильич? Мне можешь все сказать. Не видел ли ты сам кого?

— Как не видать! Три барышни-немки, зубатые да долговязые, вчерась еще утром проехали туда из города, с поклажей.

«Дочки коменданта Юнгера!» — подумала Мари.

— Не знаешь ли, они еще там и теперь? — спросила она.

— Были с вечера, на тонях, сказывают, барку нанимали под свое добро... Богачки! По-нашему говорят.

Мальчик замолчал. Лодка выплыла из тумана. Хмурые воды Волги подернулись розовым отливом. Правый берег реки стал близиться, с окутанными еще в тумане, зелеными холмами, черными водороинами и синеющими вдали гребнями нагорных вековечных дубрав.

— Вон жилье Волка! — произнес Сидор, указывая на взгорье, в гущине леса, какую-то точку.

Мари вгляделась и среди темной зелени приметила небольшую соломенную крышу лесного домика, в котором, как она знала, издавна жил Лаптев с двумя дочерьми, Варей и Соней. Он никуда почти не ездил, и редко кто посещал его самого. Потеряв жену, он отказался от света, поставил своих крестьян на оброк, но и оброка с них не требовал. Его деревенька была в двух верстах от барской усадьбы, за холмом, у реки. Лаптев жил доходом с аренды от рыбных тоней и видел своих крестьян только в то время, когда они являлись к нему с какими-либо просьбами. Они, вволю пользуясь

угодьями барина, жили также и рыбными промыслами. Дочки Лаптева обучались в Саратове, в пансионе, и только веснoю возвратились к отцу.

XXIV

Путники подплыли к берегу. Сидорка в последний раз взмахнул веслами, и лодка плавно въехала в небольшую, скрытую под вербами впадину.

— Приехали, — произнес он, скидая шапку.

— Ну, спасибо тебе, Сидор, — сказала Мари, встав из лодки на песчаную отмель. — Не выдавай же нас, не так еще отблагодарим.

— Зачем, барыня, выдавать? Будь покойна! — ответил Сидорка, отирая полой зипуна вспотевшее лицо.

— Куда же идти?

— Стой, провожу тебя, злые собаки тут, а меня знают.

Привязав лодку к вербе, Сидорка прошел с веслами в глубь деревьев, спрятал там весла и повел Мари на взгорье. Взойдя туда, он остановился.

— Умаялась, сердечная? — спросил он, видя, что его спутница едва переводила дух.

— Да, притомилась...

Пока Мари отдыхала, Сидорка оглянулся на реку. Сверху по течению Волги в утренней мгле двигалось что-то темное и длинное.

— Барка с заводских тоней! Достали-таки немки, — произнес, указывая на реку, Сидорка.

Он повел Мари узкою тропинкой к дому Петра Ильича. На пути, от лесной сторожки, на них с лаем бросилась стая огромных собак. Мальчик стал их отгонять. Из сторожки показались какие-то женщины. Мари узнала старшую дочь хозяина и девиц Юнгер.

— И вы здесь? Спасены? Слава Богу! — обратилась к ней дочь хозяина, Варя. — Зайдите, не бойтесь,

перебудьте у нас. Вот обрадуется отец! Он защитит, охранит вас...

— Мы ждем барку, хотите ехать с нами? — сказали девицы Юнгер.

— Где мой ребенок? Где няня? — обратилась Мари к Лаптевой. — Его увезли к вам, где он?

— Отец отправил его в более безопасное место.

— Куда? Где они? — вскрикнула Мари.

— Успокойтесь, Марья Родионовна, отец все устроил к лучшему. Сюда еще могут навернуться злодеи, он же отправил няню с вашим сыном на пасеку, в Дубцы.

— Где это? Да говорите же, ради Бога, далеко ли?

— Верст пять будет, сестра лучше знает, но она у отца... Он только что встал... Соня поит его чаем, а я вот пришла проводить их; они тут в скрытности ночевали.

— И это верно, как перед Богом, Вася и няня живы? — спросила Мари.

— Живы, Марья Родионовна, отец все объяснит, он с вечера тоже решил ехать туда, и лошадь уж, верно, готова, сам теперь вас и проводит; место, по его словам, таково, что и в голову никому не придет, еще глуше нашего, одни дубы столетние, овраги да холмы.

Мари радостно перекрестилась.

— А не видели ли вы, когда шли сюда, барки на реке? — спросила старшая из девиц Юнгер.

Сидорка, стоявший поодаль на поляне, ответил:

— Эвоси, гляди, уже близко!

Сестры Юнгер засуетились. Свою главную поклажу они отослали из города прямо на тоню, где ее ночью, по договору, и погрузили на барку. Оставалось идти туда им самим.

— Амальхен, Гретхен! — восклицала старшая из сестер, Лотхен. — Зовите людей, несите... Да идите же, Бог мой!

Девицы Юнгер поблагодарили Варю, простились с нею и с Мари и в сопровождении горничной, жены лесничего

и Сидорки, несших их ручные вещи, направились вниз к реке.

— А вы, Марья Родионовна? — отозвалась, обернувшись, Лотхен. — Не лучше ли ехать также с нами?

На это Мари молча махнула рукой.

— Войдите же, отдохните, — обратилась к ней Варя, введя ее в сторожку. — Закусите, вот булка, молоко... Я пошлю к вам Соню, а сама похлопочу о лошадях скорей. Отец узнает, сам вас проводит. Да вот и Соня...

Вошла младшая Лаптева. Обе сестры были в белых платьях и голубых косынках на русых, высоко подобранных волосах, и, как близнецы, были очень похожи друг на друга.

— Что папа? — спросила Варя.

— Пьет чай на крыльце, только что ему подала. Послал меня справиться, пришла ли барка и все ли благополучно с гостьями.

— Все у них готово, только что ушли... Ну, посиди же с Марьей Родионовной, а я позову отца.

— К нему пришли мужики.

— Какие?

— Наши.

— Зачем?

— По делу какому-то... Как всегда, видно, с просьбой.

— Все они выпрашивают только, а помощи от них никакой, — сказала с досадой Варя. — Кучер дома?

— Видела, поил вороных.

— Подождите же, Марья Родионовна, не показывайтесь, — сказала, уходя, Варя. — Чуть запрягут дрожки, я пришлю их прямо сюда просекой, отсюда вы с отцом и уедете.

Варя ушла.

— Кушайте, — обратилась к гостье Соня, наливая ей из кувшина в стакан молока и подвигая хлеб, — я и сама голодна, всю ночь возилась, и Спешневы ночевали у нас во флигеле, и Крюковы — уехали до зари.

— Вы же с отцом неужели остаетесь здесь? — спросила, закусывая, Мари.

— Остаемся.

— И не боитесь?

— Чего же бояться? — ответила Соня, наливая вновь в стаканы молока. — Оно, действительно, место глухое, а уж скучное притом, — и Боже упаси! — но потому-то оно теперь и безопасно. Во-первых, мы как есть в стороне, ну, совсем на отшибе, а во-вторых, и приманки тут для злых людей почти никакой. Отец живет совсем просто. Что у него есть? Мука для себя, масло, крупа, овощи — бери хоть все и без грабежа. Да и так отец раздает просителям. Он зовет себя пустынником и впрямь живет философом, как анахорет.

— А ваши крестьяне?

— Их мы почти не видим, они давно на оброке, рыбу ловят, отец лучшие тони им отдал и смеется, что они его обманывают. Принесут иной раз пустяк на нашу долю — он доволен, не принесут, будто улов плохой, — промолчит и сам с дворовыми сеть заводит. Папу крестьяне так и прозвали — не пан, а родной отец.

— Давно вы были в городе?

— С выхода из пансиона всего два раза: один раз в церкви, а другой, с Силой Фомичом, у Ловица — в телескоп на звезды смотрели. Да нам и некогда. Сестра любит цветы, развела столько в саду, перед домом, а я люблю голубей и коров... Кушайте еще — это сбор с моего хозяйства, — разумеется, в Горках, у ваших, все это лучше.

Петр Ильич Лаптев, в хлопотах о прибегших под его защиту знакомых, заснул уже в конце ночи. Едва стало рассветать, он встал, наведался в коровник, на птичник, в огород и к лошадям. «Готовь вороных в дрожки, — сказал он кучеру. — Наведаюсь в Дубцы». Узнав, что его дочери еще в сторожке, с гостьями, он умылся, оделся, усердно помолился в опочивальне и присел на дворовом крыльце с трубкой и с присланной ему Трав-

киным недочитанной книгой «Юнговые ночи». «Почитаю, — думал он, — книга успокоительная, особенно теперь...» Не успел он прочесть двух страниц, Соня явилась с подносом, поздоровалась с отцом, поставила перед ним чайный прибор, сливки, хлеб и масло, принесла самовар и сказала: «Кушайте, папа, а я наведаюсь к нашим». Поговорив с дочкой о гостьях, Петр Ильич, поглядывая в книгу, принялся за чай. Прошло с полчаса. В воротах показалась кучка мужиков. Они медленно шли к крыльцу. То были крестьяне Лаптева. Судя по их лицам, они успели уже сильно выпить, но все были чинны и смирны. Впереди прочих шел высокий и худой, с длинною белою бородою, подслеповатый старик Ермил. Вертя в руках шапку и щурясь на остальных мужиков, он произносил какие-то слова, которых Лаптев в первую минуту не разобрал.

— Говори, Ермил, толковее, что вам нужно? Точно каши ты в рот набрал.

Толпа придвинулась ближе. Лица у всех были красны, глаза блуждали.

— Не обидьтесь, батюшка Петр Ильич, не каша тут, — ответил, не глядя на барина, Ермил, — а паче того, не сумлевайтесь; как перед Богом, мы не причинны, а нам такой даден сказ, велено, — ну, мы, рабы рабские, все и сполняй...

— Кто велел? О чем сказ? — спросил, прихлебывая из стакана, Лаптев.

— Наш, значит, государь пресветлейший, выходит, Петра Федорович...

— И тебе, Ермил, не стыдно это говорить? — сказал Лаптев, оглядывая прочих мужиков. — Ну, был бы ты дитя малое, молокосос — куда ни шло, а то белая борода, столько на свете прожил! Не мы ли с тобой двенадцать лет назад служили в Саратове панихиду по этому самому тогда умершему государю? Ты у меня был за бурмистра, пришел манифест, а мы с тобой ездили в город.

Ермил почесал себе грудь, переступил с ноги на ногу и глянул в сторону. Прочие перешептывались, украдкой кивали друг другу.

— Что ж, что служили панихиду? — ответил он. — Значит, то была брехня, не умер в те поры царь; он живой, сударь, ноне в Саратове стоит, примает присягу и новые манифесты шлет.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, бывший царь жив, — сказал, подумав, Лаптев, — но вы зачем пришли? Что вам надо?

Мужики переглянулись.

— Не наша, батюшка, нужда, государева, — ответил кто-то. — Вышел, слышь, такой указ...

— О чем указ? — спросил, теряя терпение, Лаптев.

Ермил хотел ответить и промолчал. Его костлявые пальцы судорожно перебирали дырявую шапку.

— Да что ж, дедушка, молчишь? — раздались опять голоса из толпы. — Мир положил, мир, — ну, и сказывай; ён барин добрый, разумный, сам смекне...

— Видишь, батюшка Петра Ильич, видишь, родимый, — произнес, глядя в шапку, Ермил, — царь объявил приказ — не быть больше дворянам, помещикам, ну, и прочим чинам, а быть единому как есть хресьянству и володеть нам, хресьянам, значит, всеми землями в царстве, водами и всяким угодьем.

Лаптев рассмеялся.

— Старая сказка! — ответил он. — А вам она, пожалуй, и не в диковинку; ведь вы и так всем у меня сколько лет уже владеете. Правду ли говорю?

— Оно, сударь, так, да только ведь это по твоей милости, а в других местах и по указу все кончено — у Борщовых, Голеницыных, Болотиных и Тарских — царь все то порешил, а инде... И сами мужики.

— Как мужики? — спросил, нахмурясь, Петр Ильич.

— А так же, батюшка, сами, значит, по-своему... Как мир то есть положил.

Петр Ильич выбросил пепел из трубки, набил ее снова табаком и молча стал раскуривать. «Что это они? — рассуждал он, теряясь в догадках. — Лукавят, юлят, по обычаю, собираясь выпросить что-либо новое? Или у них худшее на уме? Нет, быть не может... В начале смуты, когда только первые вести о ней пошли, я спросил их на тони: «Коли Пугач нагрянет на нас, станете ли, ребята, меня оборонять?» «Куда ему в такую берлогу навернуться!» — ответили. «Ну, однако же, вдруг он явится?» — «Тебя-то, — ответили, — не оборонить? Грудью станем, ударим в ломы, в топоры...»

— Так как же, батюшка Петр Ильич, на чем положение твое? — спросил, видя молчание барина, Ермил.

«Не понимаю! — терялся в догадках Лаптев. — Неужели, наконец, все амбары и кладовые, к их удовольствию, надо отворить? Или и в самом деле к ним дошли какие-либо бунтовские листы?»

— Говори прямо, — объявил он, пересев ближе к мужикам, — тошно, право, с вашими обинякам.

— Оно точно, сударь, лучше прямо, — сказал Ермил, тряхнув шапкой, — прочие, видишь ли, по окольности и дальние мужички, сполняя, выходит, царев приказ, вчера и еще раньше... Порешили все.

— Что порешили?

— Не обидься, батюшка, а оно так и сталось... Прикончили.

— Что прикончили?

— Своих то есть бар... одних, о, Господи, пристрелили, других иначе, а мы, видишь, не сполняем приказу... Не ответить бы, вконец не лишиться бы живота и всего добра.

Всегда веселый, находчивый Лаптев сильно поблед нел.

— Так вы, ребята, что же это, пришли, чтоб погубить меня? — спросил он, превозмогая смущение. — Притом, может, и не меня одного?

Ермил обернулся к толпе. Его серые, стальные глаза сверкали ледяным блеском.

— Как решаете, братцы? — спросил он. — Одному барину конец или с детьми? Ну, сказывайте, как велит мир?

Мужики молчали. Ермил зорко смотрел на них, ожидая ответа. Старый рыбак Михей, худой, чахоточный, с впалою грудью, неистово закашлялся. У его внука, недавно женившегося красавца, черноглазого Сашки, тряслись руки, и он растерянно шевелил бледными губами.

— Говорите же, братцы, — глухо сказал Ермил под кашель надрывавшегося Михея. — Надо же... О, Господи!

— Вестимо, не одному быть в ответе, всем вместе! — послышались голоса из толпы.

— Так не обессудь, батюшка, — сказал, кланяясь барину, Ермил, — мы уж так тобою довольны, так... А что мир положил, так тому и быть!

Петр Ильич встал. Его руки дрожали; сердце билось сильно, глаза застилал туман.

— Извольте, ребята, готов! — произнес он, стараясь улыбнуться. — И как же теперь, в дубины или станете стрелять?

— Где нам, сударь, стрелять, — отозвались мужики, — и ружей у нас нетути, сам решай!

— Ну, ладно, — ответил Лаптев, — вижу, вам действительно приказано, и вы иначе не можете поступить.

— Вестимо, батюшка, не можем, пожалей и нас! — загалдела толпа. — Мы твои, и ты наш... Родителям твоим и тебе сколько служили... Нешто наша воля на то, подумай.

— Так вот что, я согласен, — объявил, помолчав, Лаптев, — с одним только уговором.

— Говори, отец, повсегда тебя слушали, исполним твою волю и теперь.

— Горько, ребята, помирать, не так ли?

— Что и говорить, ой как смерть не мила!

— Вы же решили кончить не со мной одним, но и с дочками? Так, кажется?

— Так, сударь, так, по приказу.

— Вот, ввиду этого самого мне и пришло на душу... Ведь отец с вами говорит, не чужой!

— Еще бы, у самих дети.

— Так вот именно по поводу дочек и сказ... Мне хотелось бы — и в том последнее мое слово... начните не с меня, а с них! Согласны?

— Почему с них? — удивились все более пьяневшие мужики.

— Да боюсь я, братцы, как помру, ведь они барышни взрослые, притом красивые, не обидели бы их после меня какие озорники.

— Что ты, батюшка, Господь с тобой! — заговорили в толпе. — Да нешто мы басурмане какие? Крест у нас, да и душа тоже, чай, хресьянская.

— Не о вас одних говорю; но всякие людишки нынче шатаются, могут и мимо вас наспеть... А я, други мои, вырастил, выхолил детей в страхе Божием, в правде и во всей чистоте.

— Что же, ребята, как полагаете? Можно это? — спросил Ермил.

— Можно, можно! Отчего же? Согласны! — ответили мужики.

— Спасибо, православные, — сказал Петр Ильич, кланяясь. — Теперь обождите маленько; пойду кликну дочек, а коли нет их в доме, пошлю за ними.

Лаптев вошел в сени.

— Не убег бы, ребята? — отозвались вслед ему из толпы.

— Не уйдет, эк, выдумали! — проговорил, надседаясь от кашля, Михей. — Нешто море какое, не нагнать его в лесу? Все тропочки — кахи́! кихи́! — знаем.

XXV

Петр Ильич бросился в комнату дочек, оттуда к себе в опочивальню. Здесь, у завешанного окна во двор, стояла Варя. На ней не было лица. Она слышала весь разговор отца с мужиками.

— Так, значит, все ты знаешь? — вскрикнул, шатаясь, Петр Ильич.

Варя молчала.

— Где Соня? — спросил Лаптев.

— В сторожке, с Дугановой.

— И она тут?

— На лодке приплыла, ищет сына. Я ей сказала, где он, и дрожки послала к ней туда.

— Беги же, голубушка, бери ее и Соню, и спасайтесь скорей.

Варя медлила. Лаптев перекрестил и поцеловал дочку.

— Ах, папа, неужели эти изверги исполнят то, что говорят? — спросила, плача, Варя.

— Успокойся, милая, пустяки! Но надо принять меры с этими дикарями, лаской образумить их... Одна ласка, доброе слово все порешат, успокойся... Господь с вами, беги!

Взглянув на образ, Варя обняла отца, отерла слезы и опрометью бросилась к сторожке. Лаптев постоял у окна. Из-за занавески ему были видны мужики. Одни горланили; другие, взявшись под бока и расшатываясь, поплевывали перед собой. Петр Ильич упал на колени перед киотом и стал молиться; кладя земные поклоны. «Боже, Господи! Что же я сделал дурного? — шептал он. — Чем я обидел их, чем согрешил перед Тобой? Не о себе молю, о детях...» Послышался скрип крылечной двери. «Неужели идут уже за мной?» — подумал Лаптев, вставая. Увидев заряженное ружье на стене, он хотел снять его и безнадежно махнул рукой. «Зачем оно? Не поможет в такой толпе!» — решил он и, пошатываясь, направился к мужикам.

— Вот и я, — сказал он, снова выйдя с трубкой на крыльцо. — Послал за барышнями, а пока дайте, голубчики, покурить.

— Что же, можно, батюшка, кури!

— А кто, однако, первый из вас, по совести скажите, собрал сход и решил это дело? — спросил Лаптев.

— Все мы, разом, все! — ответила, напирая, толпа. — Пришел вчера такой человек, от царского, значит, енерала и объявил.

— Ну, да ладно, ребята. Сейчас придут дочки, все кончим. А совесть все-таки надо очистить. Вы вот говорите, всем от меня были довольны... А может, и не всем? Говорите теперь прямо уже, без утайки... Ведь скоро конец, на том свете разве опять увидимся!

— Оно точно, Петра Ильич, коли требуешь, мы, как перед Богом, — начал, выдвинувшись из-за прочих, приземистый, в старом зипунишке и опорках, мужик Гаврик. — Ты вот берестову бухту отдал под тоню Тимошке, а чем он лучше хоть бы меня? Мы всем то есть миром тебе служили, а Тимошка что? Деду Ермилу зять, так ему, живоглоту, и все подай?

— Брюханы-черти! Право, брюханы! — вскрикнул, плюнув, Ермил. — Слопать деда и всю родню его захотели! Ты что, паршивец, разводишь? По правде говори!

— И скажу.

— Выспись прежде, спозаранку напился, — кричал Ермил.

— Ну, это ты ребят поил, а не я, — возразил цепляющимся языком Гаврик.

— А кто сети у купца покрал? За кем травкинские сторожа гнались?

— Не дело, дед, ябедничать, э-эх!.. Ты лучше о своем.

— А что мне? Вот невидаль! — отбивался Ермил. — Докажи свое; да не докажешь, лопнешь прежде, вот...

Толпа разделилась. Одни налегали на Гаврика, другие лезли на Ермила. От всех несло водкой, луком и потом.

Петр Ильич не слушал спорщиков. До его слуха из леса донесся чуть слышный стук колес. Они прозвучали где-то за просекой и замерли, отозвавшись далее, уже над берегом. Лаптев мысленно перекрестился, а чтоб скрыть свою радость перед мужиками, стал опять набивать себе трубку. «Уехали, голубушки, спаси их Господь! — думал он. — А со мной будь что будет... С Минихом, при Ставучанах, турок бил, Хотин брали, и жив остался! Неужели же, о Господи, погибнуть от мужицкой пьяной петли?»

Под шум и гам горланившей и махавшей руками толпы никто не заметил, что у высоких раскрытых ворот с резною кровелькой показался, с винтовкой за плечами, верховой, огромного роста казак. Он от хмеля едва держался на седле. Мутным взглядом окинув двор и толпу перед домом, он медленно подъехал к крыльцу. Мужики, завидев его, мгновенно смолкли. «Новый царский гонец», — испуганно шептали в толпе.

— Это ваш пан помещик, что ли? — спросил подъехавший, указывая нагайкой на Лаптева.

— Виноваты, батюшка, он самый и есть.

— Виноваты? Так вот вы как, нарушители, изменники своему царю? Вяжи его! — крикнул, шатаясь, казак. — Меды разводить? Бражничать? На осину! С ихним братом у нас расправа коротка!

Казак спустился с седла и, оступаясь и чуть не падая, полез на крыльцо. Мужики, нажимая друг на друга, последовали за ним. Судорожно ухватясь за притолок двери, бледный, растерянный Лаптев молча глядел на их так давно ему знакомые, обычно добродушные, теперь дышавшие непонятною злобой и ненавистью лица...

Марья Родионовна с дочерьми Лаптева благополучно, лесом, потом прибрежною тропинкой, доехала до пчельника в Дубцах. Им навстречу, у въезда в лесную засеку, встретился старик пчелинец. На вопрос, где ребенок и няня, ста-

рик, сняв шапку, ответил, что на заре в лес наехали в телегах какие-то незнаемые люди, должно, царевой команды, опрокинули лучшие ульи, выбрали в торбы мед и взяли с собой няньку и дитя.

— Куда взяли? — вскрикнула, бросаясь к пчелинцу, Мари.

— «Барчонка, вишь, схоронил, и ведьма мамка с ним! — закричали они. — Бери их, братцы, волоки туда ж!» — и поскакали.

Мари без чувств упала на траву.

— Воды, воды! — закричали девушки.

Пчелинец принес в крынке воды. Варя и Соня привели Мари в сознание. Она залилась слезами.

— Боже, недоставало этого! — говорила она, ломая руки. — Куда увезли? Ах! Говори же, дедушка, говори!

— Должно, в город, — ответил старик, — всех господ, старых и малых, слышно, свозят туда.

— Что же ты раньше не дал знать?

— И меня, сударыня, чуть не убили... Другие это опять тоже наезжали, последние соты вырезали, везде шныряли... Насилу спрятался от них в овраге...

«Что же делать теперь? — мучилась догадками Мари. — Остаться здесь, какая польза? Найдут... К Травкину ехать, он сам исчез... В город, в город! Всем овладел этот изверг, все теперь зависит от него. Он один во власти, один, если смилуется и захочет, спасет меня, сына, няню и этих девушек. Зверь, лютый тигр... не спрячешься от него. Не нынче завтра изловят клевреты его, приведут к нему... Так лучше попытаться самой добровольно явиться к нему!..»

— Далеко ли отсюда до Саратова? — спросила Мари кучера.

— Верст восемь.

— Ну, горой будет и десять, — заметил пчелинец.

— Нешто берегом, в объезд? — спросил деда кучер.

— А ты думал прямо дорогой? Попробуй, версты не минешь, изловят и коней отберут.

— Наших-то вороных? Ухну, птицей унесут.

Старик молча почесал в бороде.

— И вправду, дедушка, — сказала Мари, — как нам лучше проехать?

— На ту вон, сударыня, гору, — ответил пчелинец. — Оттоль низом к Волге, а там, версты через три, круто от берега влево, тут и самый город.

— Знаешь? Провезешь? — спросила Мари кучера.

— Не беспокойтесь, доставим.

— Согласны? — спросила Мари по-французски Варю и Соню.

— Ах, едем, едем, — ответили те, снова усаживая Мари на дрожки.

Кучер расправил вожжи, медленно выбрался из гущины старых дуплистых дубов, окружавших пчельник, на редколесную поляну и пустил лошадей рысью. Миновали гору. Дрожки спустились к реке. Дорога пошла берегом. Волга на всей ее ширине была пуста; ни паруса, ни челна не виднелось на ее водах. «Все замерло, притаилось с приходом чудовища... Счастливицы Юнгер, ушли!» — невольно думалось Мари. «А что-то бедный папа? Что с ним? — размышляли Варя и Соня. — Он такой находчивый, его так любят... Но сумеет ли он образумить пьяных?» Невдали, влево от дрожек, обрисовались верхи церквей и зданий Саратова. Дрожки въехали в подгородную рыбацкую слободу. У крайней избы стояли с дубинами сторожевые казаки.

— Куда едете? — спросили они, заграждая дорогу путницам.

— К самому государю, — важно ответил, придерживая коней, кучер.

— Кто такие?

— Барыня Дуганова с прошением и барышни Лаптевы.

— Раскрасавицы какие! Стой-ка, давай выкуп.

— Руки коротки! — ответил кучер, ударив по лошадям.

Дрожки помчались в улицу. «Держи, держи!» — раздались сзади голоса. Из ближнего двора двое выскочили вер-

хом и некоторое время гнались за дрожками. Вороные не выдали. Дрожки быстро умчались и скрылись в закоулках и огородах предместья.

Улицы и площади города, куда въехали путницы, были безлюдны и пусты, как и Волга. Ограбленные купцы и дворяне прятались в разоренных домах. Чернь толпилась только у подгородных кабаков и на выгоне, в лагере самозванца. На соборной площади, у длинного комендантского дома, Мари увидела ружья в козлах и часового. «Гауптвахта! — подумала она. — Здесь, значит, высшая власть!» — и велела подъехать туда.

— Кто здесь главный из начальства? — спросила она часового.

— Енарал Панин, — ответил тот, шагая с ружьем.

— Как к нему пройти?

— А тебе для че?

— С прошением к государю.

Часовой указал на крыльцо. Мари со спутницами вошла в сени, доложила о себе и была, с Варей и Соней, введена к «Панину». Начальник города «Панин», то есть Ивашко Творогов, встретил их, сидя за столом, и не предложил им сесть.

— С челобитной? — спросил он, не глядя на пришедших.

— Сына у меня малолетнего взяли, единственного сына! — проговорила сорвавшимся, молящим голосом Мари.

— Ну, так что ж? Абы жив был, не иголка, найдется! Как звать тебя?

— Жена капитана Дуганова, — ответила Мари.

— Дуганова? — спросил Ивашко, глядя на нее.

Мари повторила свое имя.

— Откуда родом? — спросил Ивашко. — Где твоя вотчина, где муж?

— У свекрови вотчина в Малороссии, в Изюмском уезде; своей не имеем; муж служит в Москве, а я гостила

здесь, у золовки, с ребенком, но его тайно от меня схватили с няней и, сказывают, увезли сюда.

— А эти кто будут? — спросил Творогов, указывая на Варю и Соню. — Сродственницы твои?

— Соседки золовки моей, Лаптевы; довезли меня из жалости сюда, но и сами сироты, без матери, при старике отце... Тоже ищут защиты. Не откажи, милостивый, помоги.

— Кто твоя золовка?

— Тоже Дуганова.

— Где она?

— С мужем своим, братом моего, отъехала в гости под Казань, и, что теперь с ними, не знает никто.

В глазах Творогова мелькнул огонек.

— Ладно! — сказал он, подумав. — Идите, вас не тронут; его величество теперь в лагере, завтра всех позовет и, как следует, рассудит.

По знаку Творогова Дуганову и Лаптевых отвели в ближний переулок, где три больших деревянных дома были заняты арестантами и городскими и дальними просителями из дворян, ожидавшими наутро допущения к самозванцу, у Соколовой горы. Мужчины здесь были помещены отдельно от женщин. Войдя на женскую половину, Мари присела от изнеможения в углу на стул. Ее спутниц окружили их знакомые. Пошли расспросы, как они спаслись и попали сюда. При рассказе об отце Лаптевы расплакались. Их стали утешать, говоря, что самозванец, не тревожимый в Саратове никем, оказался, сверх ожиданий, более снисходительным, что без его разбора и веления никого не тронут, а их отец, вдобавок совершенно добрый, никого не обижавший человек. Мари с тревогой вслушивалась в общий говор. «Вася мой, Вася! — думала она, — Жив ли ты и где тебя искать?» Из соседней комнаты вошла в это мгновение какая-то высокая, исхудалая и как бы где-то виденная Дугановою женщина в измятом платье и с беспорядочно взбитыми волосами.

— Машенька, ангел! Ты ли это? — вскрикнула вошедшая, бросаясь к Мари и со слезами обнимая ее. Мари узнала Нинет Ладыженцеву.

— И ты спасена? Как я рада! — с искренним участием проговорила Мари, усаживая ее возле себя. — Куда ты скрылась и как очутилась здесь?

— Я убежала в Горках через сад, лесом выбралась на дорогу и пустилась к Травкину; его хутор был уже разорен, усадьба сожжена. Я переночевала в саду, в беседке, и утром стала думать: что же далее? Сегодня спрячусь в одном месте, завтра в другом, но где-нибудь откроют, схватят, и тогда — верная гибель... Я решилась прямо отправиться сюда и вчера, договорив подводу соседнего колониста, приехала.

— И я поступила так же, — произнесла Мари. — Ах, Нина! Представь себе ужас, няню и Васю приютил было Лаптев, но их схватили у него на пасеке какие-то люди и увезли, как говорят, сюда. И где они, живы ли, не знаю.

— Что же ты намерена делать?

— Просить аудиенции у этого, как его здесь все называют, царя.

— Да, — ответила Нинет, — кто бы он ни был, но здесь он самодержец... А какие события, Бог мой, и что открывается! — продолжала, понизив голос, Ладыженцева. — Да нет, ты не ожидаешь, и мог ли кто предвидеть, не только наяву, даже во сне!

— Что же именно? Говори!

— Ах, нет, не могу, здесь не решусь, — ответила, оглядываясь, Нинет, — могут подслушать... Пойдем в другую комнату.

Мари встала. Нинет провела ее в небольшую, окнами во двор, горенку, где лежали узлы, верхние платья и другие вещи временных постоялиц этого дома. В горенке в это время не было никого.

— Видишь ли тот вон домишко? — спросила Нинет, показывая Мари в окно на угол двора. — Я эту ночь спала

там; здесь с вечера битком было набито, и некоторых переводили туда.

— Ну, и что же?

— Ах, не могу? Ты не поверишь... Какой странный случай, какое совпадение нежданных, невероятных событий!

— Говори же, говори!

XXVI

Ладыженцева молча прошлась по комнате, взглянула за дверь и села возле Мари.

— Прошлую ночь, повторяю, я спала с двумя здешними мещанками в том вон домишке, — начала она. — Там же, в другой, соседней комнате, за запертою дверью, помещалась какая-то арестантка с детьми. К ним был отдельный ход, и у их крыльца, как было видно из нашего крайнего окна, на карауле стоял часовой. Все было тихо. Мои компаньонки с вечера добыли через стражу водки, выпили и вскоре крепко заснули... Я, после всего испытанного особенно, никогда, пока жива, не забуду, как мы с тобой обедали и как после возгласа Сысоевны: «Пугачев!» — раздались крики и толпа стала ломиться в дом... Вспоминая пережитое, и вчера я долго не могла сомкнуть глаз. И вдруг слышу — это было уже незадолго до рассвета — в комнате соседки-арестантки сперва тихо, потом явственнее послышались два голоса — женский и мужской. Мужчина вошел туда, очевидно, с другого крыльца. «Но как его пропустил часовой?» — удивлялась я. Долго не могла я разобрать, о чем говорят. Но беседовавшие заспорили. Я лежала головой к печи, за которою в смежную комнату была, как я убедилась потом, для вентиляции, проделана отдушина; проходивший воздух покачивал неплотно припертою заслонкой. В эту отдушину я неожиданно услышала необычные вещи... Арестантка с плачем стала укорять пришедшего к ней человека. Какой ты мне муж, а детям отец, — говорила она, возвышая голос, —

коли вовсе отказываешься, не признаешь ни меня за жену, ни ребят за своих детей?» — «Слушай, Дмитриевна, — проговорил на это вошедший, — все пристали, начали просить, чтоб я принял звание и все... Ну, я и принял... Обожди, слушай, — на Дон двинемся, Дон поднимем, а оттуда в Туретчину либо в Персию... Озолочу вас всех, миллионы будут у нас...» — «Не надо мне твоих мильон мильонов — живи лучше по-божески! Ишь ведь ты каким собакой стал, не приступишься к дьяволу!» — «Молчи, дура, растяпа! — прохрипел мужской голос. — И попомни одно: помешаешь в чем, заикнешься кому, хоть словом, выдашь меня, — вот те крест святой, — своеручно при всех голову срублю!» Арестантка смолкла, потом будто тихо зарыдала. Вошедший сказал вполголоса еще несколько слов, которых я уже не расслышала, и прекратил разговор. Скрипнула наружная дверь. Я поняла, что посетитель уходит, бросилась к окну и стала глядеть в него из-за притолка. В это время уже начался рассвет. Я разглядела мужчину, медленно шедшего в двух шагах мимо окна, и замерла от изумления... Как ты думаешь, кого я узнала в том человеке?

— Не догадываюсь... Но для чего ты все это говоришь?

Ладыженцева схватила Мари за руку.

— Помнишь, близ Ракитного, в Кабаньем, — спросила она, задыхаясь, — помнишь, у тамошнего крестьянина Коровки проживал больной ногами казак Иванов и мы еще с тобой лечили его?

— Помню... Ну?

Нинет нагнулась к Мари.

— Не догадываешься? — спросила она. — Это и был тот самый казак Иванов — тот же вид, походка, те же глаза и борода, только разряженный, в бархатном кафтане и в шапке из золотой парчи.

— Что же удивительного? — сказала Мари. — Он, как и прочие казаки, пристал к самозванцу, разбогател, разумеется, на грабеже, мог возвыситься в этой шайке и отказывается теперь от семьи... Это так просто у них...

— Да арестантка-то эта, арестантка! — прошептала Нинет, сжимая руку Мари. — Утром спрашиваю у сторожей: кто под караулом в соседней комнате? Отвечают: жена с детьми казака Пугачева, верного слуги нашего истинного батюшки царя... Пугачева, мол, убили за помощь государю в Питере, царь нашел его жену в Казани и содержит ее с детьми, в память верного слуги, при себе. Поняла ты теперь?

— Ничего, извини, не понимаю.

Нинет всплеснула руками.

— Как же ты не понимаешь? Ну, эта арестантка — кто? Сторожа говорят, жена Пугачева... Прошлою ночью кто к ней приходил? Ее муж, который именует себя царем... Ясно теперь? Ну, ясно?.. Что нам за дело, какие там у них отношения и женился ли он на ней во время своих бедственных странствий или так держит ее при себе, будто бы в память услуг ее мужа, — этого я не знаю и знать не хочу. Но я доведалась, убедилась в одном, если только не обманули меня глаза: приходивший ночью к этой женщине человек был когда-то нашим пациентом, казаком Ивановым, а теперь он — царь!

— Что же ты хочешь этим сказать? — спросила Мари.

— А то, что теперь мы наверное спасены. У мужика Коровки, по соседству с нами, в бедности и нищете проживал истинный царь.

— Но ты же сама говоришь, что ночной посетитель грозил смертью той женщине, если она обмолвится, выдаст его обман...

— Еще бы! Он не желает, чтоб узнали о их связи... Ведь у него жива в Петербурге жена-царица.

— Нина! Ну, что ты говоришь? Да этот самозванец зимой, под Яиком, женился уже открыто на другой.

— Ложь это все, злые слухи, возле нас, повторяю, проживал истинный царь. И я завтра, если только допустят меня к нему, напомню ему наше внимание и заботы о нем.

— Не советую! — ответила, подумав, Мари. — Впрочем, что же я? Можешь поступать относительно себя, как

хочешь, меня же не впутывай, прошу... И не только прошу, заклинаю, требую — ни одним словом, ни взглядом не намекни обо мне...

— Да почему же? — удивилась Нинет.

— Не могу тебе этого объяснить, но какое-то неодолимое предчувствие тяготит меня... Ах, Нина, будь осторожна с этим роковым человеком... Царь ли он, — как ты вечно уверяла и теперь говоришь, — или самозванец, — как я убеждена, — но берегись... Он половину России залил кровью, и что еще ты сама слышала ночью? Ведь жене, матери собственных детей, за одно слово грозил он голову отсечь!

— Мне не отсечет, кто бы он ни был! Вспомни сказочную девушку, как она вынула занозу из лапы льва и что из того вышло... одна благодарность заставит его снизойти к нам и нас охранять.

— Ну, я все тебе сказала... Спасай, родная, себя; помоги тебе Господь... Меня же от его благодарности — за вынутую занозу — лучше избавь.

Нинет, нахмурясь, молчала.

— И о себе лучше не говори, просто проси его... Дай мне в этом слово... Даешь?

— Подумаю! — ответила, пожав плечами, Нинет.

На другой день просители и арестанты не были допущены к самозванцу. На вопросы истомленных напрасными ожиданиями, почему их не зовут к Соколовой горе, им отвечали, что царь-батюшка осматривает войска и делит запасы хлеба. В действительности Пугачев на радости, что так удачно занял Саратов, два дня подряд пьянствовал, и его прятали от глаз народа.

Было утро десятого августа. Погода стояла тихая, теплая, чисто летняя. На небе ни облачка. Лагерь мятежников передвинулся ближе к Волге, обогнув собой Соколову гору, на склоне которой, впереди очищенных под свиту самозванца

зданий канатного завода, виднелась большая белая палатка Пугачева. Невдали от этой палатки стояла другая, поменьше, для старшин и приближенных самозванца, а рядом с нею третья, так называемая канцелярия. С разровненной и усыпанной песком площадки перед этими палатками был виден весь город с его слободами, и оба лагеря: пеший — вправо, конный — влево.

Невдали от ставки самозванца стояло духовенство для приведения к присяге все еще подвозимых и приводимых из окрестностей помещиков, офицеров, чиновников и купцов. В заводском дворе под стражей виднелись ожидавшие решения своей участи арестанты, а впереди крайней заводской избы, под ее тенью, стояли, сидели на завалинке и полулежали на траве несколько городских и соседних дам и девиц, которым Пугачев назначил явиться к себе. Входную дверь в его палатку оберегал, с саблями наголо, в красных кафтанах, караул из яицких казаков, при барабанщике и трубаче. Бывшие во дворе и у избы с нетерпением ожидали, скоро ли откроются полы этой палатки и начнется обещанный прием.

Из другого, бокового входа в палатку вышел нахмуренный Творогов. Медленно сложив бумагу, бывшую в его руке, он направился в старшинскую ставку, где на кошме сидел Федор Чумаков. Последний что-то диктовал новому секретарю самозванца, Дубровскому, приспособившему свое писание на перевернутом пустом бочонке.

— Кончил? — спросил Ивашко, нетерпеливо глянув на Чумакова.

— Кончаю, — ответил тот.

Творогов подождал, пока Дубровский, дописав бумагу, забрал чернильницу и перо и вышел.

— Ну, Федор Федотович, — сказал, опустясь на кошму, Ивашко, — ухлопались мы, нечего сказать! Ни вперед теперь, ни назад.

— Что такое? — спросил, зевнув после ночной попойки, Чумаков.

— А то, что царь-то наш, — думал ли ты такое? — сдается мне теперь, как перед Богом, не царь, а просто мужик.

Чумаков привскочил на месте.

— Как? Что ты, Иван, сказал? Опомнись! Спьяну мало ли что покажется.

— Не спьяну, а ты слушай только, не перебивай.

Творогов встал, бережно выглянул из палатки и снова присел возле Чумакова.

— Давно, брат Федор, примечал я и догадывался, — начал он вполголоса, останавливаясь и прислушиваясь к двери, — что наш явленный-то царь неграмотен и как есть в письме и чтении несведущ... Еще первый его писарь, Почиталин, во хмелю раз проговорился мне, будто государь тайно сулил ему алмазный дорогой перстень и, под смертною клятвою, заставлял по ночам водить его рукой, обучая, как надо подписываться... «По-царски, мол, писать умею, но срок еще не пришел оказать мою монаршую руку, так поучи по-вашему писать, по-простому...» Я тогда промолчал, а Почиталин вскоре попался в плен. Ну, а теперь скажу — и впрямь, наш-то явленный оказался как есть неуч, в грамоте слеп...

Слова государева любимца сильно озадачили Чумакова.

— Как же ты доведался о том? — спросил он, глядя на рассказчика и думая: «Уж не подослан ли ты, не пытаешь ли с умыслом, чтоб погубить?»

— Узнал я, друг ты мой, вовсе как есть случайно. Написал с моих слов Дубровский заказанную мне вот эту самую грамоту к донскому войску, что, мол, верные мои донцы, встретьте меня верою и правдой, поддержите, иду к вам, ну, и прочее... Я взял ту грамоту, прошел это сейчас к нему и говорю: «Подпишите, ваше величество». Он взял ее, держит, вижу, перед собой вверх ногами и будто читает... А ты, Федор Федотович, знаешь, я был в певчих и хоть малость, а грамоте знаю, пишу неладно, каракулями, читать же горазд... «Что за оказия?» —

подумал я и жду, что будет далее. А он отдал мне бумагу и говорит: «Пусть за меня подпишется Дубровский; не время еще мою руку народу казать!» А я ему: «Прочитай хоть, батюшка, ладно ли все написано?» Взял он опять бумагу, также вверх концом, и говорит с сердцем: «Эх, дьяволы, как это у вас писаря плохо пишут! Ничего не разобрать, — прочти сам...» Тут только все мне и объяснилось. Дубровский плохо пишет? Да он, братец, не писарь — кудесник, нижет тебе слова кругло да четко, ну, как жемчуг, лучше печатной книги разберешь.

Чумаков слушал все это молча.

— Что скажешь на мои слова? — спросил Творогов. — Как нам быть?

— А ты как бы решил? — ответил Чумаков.

«Ишь, черт, виляет, прямо не говорит! — подумал Творогов. — Ну, ладно, сдашься и ты!»

— Что же, Федор Федотович, — ответил он, — наше дело, сам видишь теперь, так плохо, так плохо, что не угадаешь, как дальше быть!

— Дай время, надумаем, — сказал, вставая, Чумаков. — Я тоже, сказать тебе, давно в сомнении; а что делать, лучше обождем... Кто теперь у царя? Скоро ли станет принимать?

— Скоро, рядится теперь, — презрительно усмехнулся Творогов. — Потребовал от Мясникова орден, ленту и платье с повешенных вчера князей Баратаева и Шахматова. Не в духе, с похмелья, да и пил же черт! На что глотка у Баранки, и того перепил. Спрашивал тоже, кто просители.

— Кого потребует прежде?

— Разумеется, баб... Сколько их!

— Что же, видно, красивых опять припас ему Мясников?

— Всякие есть, — сердито ответил Творогов. — Да что ему? Абы были новые... Баловник-дьявол, не боится ни совести, ни сторонних, совсем осатанел...

Раздался звук барабана. Отряд конных казаков под предводительством Овчинникова, отделясь от лагеря, поднялся в гору и выстроился рядом с пешею охраной, возле палатки самозванца.

— Не верит нашему караулу, — заметил Ивашко, указывая Чумакову на подошедший отряд, — позвал конных.

Чумаков и Творогов прошли к государевой палатке и стали у ее входа. Полы палатки распахнулись. Выглянувший из-под них Мясников позвал Творогова к самозванцу. Через минуту Ивашко вышел оттуда, взял с собой двух казаков и направился в заводский двор к арестованным.

— Где тут барышни Юнгер? — спросил он, входя мимо стражи в ворота.

Из толпы арестантов вышли, едва ступая ногами, с заплаканными, обезображенными от страха лицами, дочери бывшего саратовского коменданта. Они робко оправляли на себе платья и прически.

— Вас перехватили на барке? — спросил Ивашко.

— Да, господин, мы сироты, бедные дворянки, отец умер, нашу мать убили, а все наши вещи, деньги и все отняли сегодня бурлаки.

— Зачем было бежать?

— Ах, защитите, господин, не дайте погибнуть.

— Идите, — ответил Творогов, подводя пленниц к палатке.

Девушки вошли в нее. Мари, с Нинет и другими просительницами стоя у заводской избы, с замиранием сердца следила за всем, что происходило у палатки самозванца. Эта огромная, из белой шелковой ткани палатка с золотою бахромой по швам и с алым плисовым верхом поражала своею красотой. Над нею развевался белый шерстяной флаг с нашитым на него восьмиконечным раскольничьим крестом из золотого галуна. Палатка, как толковали у избы, была взята в усадьбе пригородной вотчины казненного богача, князя Баратаева. Глядя на нее, Мари с содроганием соображала, куда

из ее дверей пойдут позванные к самозванцу сестры Юнгер: обратно ли, в заводский двор, или к ближнему холму? За последним, как толковали у избы, были устроены виселицы, где под надзором самозванцевых камергеров-палачей Ефима Давилина и Проньки Мертвецова в предыдущие дни вешали и иными способами казнили немало жертв.

Полы палатки приподнялись. На площадке снова показались сестры Юнгер. Идя обратно к прочим арестованным, они едва сознавали себя от волнения и, отирая слезы, издали радостно восклицали знакомым: «Помилованы! В Царицын велено! Простил!»

За девицами Юнгер были позваны дворяне Рахманинов и Быков, за ними офицеры гарнизонного батальона Астафьев и Мосолов. Всех четырех казаки от палатки увели за холм, где через мгновение раздался залп ружей. Услышав эти выстрелы, Мари чуть не упала в обморок. Она оглянулась на Нинет. Ладыженцеву в это время позвали к самозванцу. Она твердою поступью направлялась к его палатке. «Сдержит ли Нина слово? Не проговорится ли о себе и обо мне?» — с замиранием сердца думала Мари, провожая ее глазами.

Ладыженцева вошла в ставку Пугачева. В углублении, против двери, она увидела несколько возвышенный над полом помост, крытый алым ковром. На нем стояло большое, с высокою резною спинкой, обитое желтым сафьяном кресло, взятое из разоренной и сожженной усадьбы князя Шахматова, как и висевшие на стенах, по бокам кресла, в золоченых рамах, портреты: слева — императрицы Елизаветы Петровны, справа — цесаревича Павла Петровича. На кресле в мешковатом сером фраке, с голубою лентой через плечо и со звездой на груди, сидел, в синих казацких шароварах и в треуголке, сильно загорелый бородатый человек. У его пояса был морской кортик, в руке зрительная трубка.

— Подойди ближе, — послышался голос с возвышения. — Не бойся, говори, кто ты и что тебе нужно?

XXVII

Нинет взглянула на говорившего и едва совладала с собой, чтобы двинуться от порога. «Он, именно он! — пронеслось в ее мыслях. — Тот же голос, те же глаза и весь вид — тот самый, кто некогда проживал под именем казака Иванова в Кабаньем... Да, это царь! — говорила себе с радостною дрожью Нинет, разглядывая нахмуренное лицо и невыспавшиеся, устремленные на нее глаза самозванца. Он не прогневается! За что быть немилости? Такая заслуга... Все он сделает за помощь ему в годину бедствий, все!»

— О чем твоя челобитная? Говори! — повторил Пугачев. — Как твое прозвище?

— Ладыженцева.

— Откуда? Зачем явилась к нам?

«Время смутное, много всем поневоле обид, защити меня и других сирот-дворянок!» — хотела сказать Нинет и промолчала. Из глубины ее души рвались иные слова.

— Ваше величество, — вдруг произнесла она, — не казните, милуйте... Узнаете ли меня?

Самозванец, нагнувшись с кресла, ближе взглянул на просительницу.

— Видел будто, а где — не упомню, — ответил он. — Говори, что надоть?

— Вы, государь, были больны, раны на ногах... В Малороссии... Вспомните, в Изюмском уезде... В селе Кабаньем.

В сонных глазах Пугачева как бы что-то зажглось.

— И мне, вашей верноподданной, — продолжала Нинет, — выпало счастье лечить и вылечить ваше величество; я тогда гостила по соседству, у родных.

Лицо самозванца покрылось красными пятнами; левый глаз его задергала судорога. «Что это она? Куда метит? — подумал он, разглядывая просительницу. — Узнала во мне бывшего бродягу, мужика?.. Выкупа, что ли,

захотела? Их тогда было две... Кажись, и вторая была с просьбой!»

— Вы, государь, в то время, разумеется, скрывались от врагов, — проговорила Нинет, — не время было явиться... Но теперь вы снова в силе и власти, народ вас признал...

— Скрывался я, точно, в эвти самые годы, — произнес Пугачев, — и где только, в каких странах и у каких народов не бывал, от земли потерянный, подлинный я сам, на престол опять всхожу, только не помню что-то ни Кабаньего, ни тебя.

Нинет ожидала такого возражения. «Не диво, что он забыл, — столько испытал, бедный, с тех пор!» — подумала она.

— А это, ваше величество, помните? — сказала она, срывая с шеи и подавая самозванцу крестик. — Ваш дар, святыня от Ченстоховской Божьей Матери?

— Так, так, теперича вспомнил! — ответил Пугачев, взяв и рассматривая крестик. — И точно ведь выпало тебе счастье! Не всякому приводится своему царю, в бедности его и нищете, пособлять. Думала ли моя тетка или мой сын, — продолжал он, указывая на портреты императрицы Елизаветы и цесаревича Павла, — думали ли они, что я, великий, значит, русский царь, испытаю такие лютые горести? Проси, что тебе нужно...

— Дайте, государь, охрану свою нам, беззащитным, верноподданным вашим дворянкам, — многих, простите, обижают казаки. Страшно жить, ждешь всего...

— Ладно, будет исполнено. Еще что?

— Здесь тоже наши родные и ближние; у иных забрали все имущество, у других — даже детей. О последнем сами они, коли будет милость ваша, скажут...

— Ну, иди себе, все прикажу! — нетерпеливо ответил Пугачев. — Эй, кто тут? — крикнул он.

Вошел Творогов.

— Откинь занавеску, душно, — сказал самозванец.

Творогов открыл двери.

— Счастья и благоденствия вашему величеству! Много лет царствовать! — произнесла, делая форменный реверанс и уходя, Нинет.

Она слышала, как за ее спиной было произнесено имя Дугановой.

— Мужайся, — шепнула она, подойдя у избы к Мари. — Сейчас позовут тебя... О, если бы ты знала, как он великодушен и добр... И ты еще сомневалась!

— Дай-то, Господи...

— Иди смело, увидишь, все подготовлено, хотя о тебе не сказано ни слова.

Марья Родионовна, не помня ни себя, ни окружающего, через силу приблизилась к палатке Пугачева и вошла в нее. «Он самозванец, убийца стольких неповинных жертв, — думала она, цепенея от ужаса, — и в руках этого изверга судьба моего ребенка! Что я ему скажу, как буду просить?»

— Ближе стань, — послышался хриплый голос с кресла, — да говори скорее, что надоть? Все вы тянете, а у меня делов не ваши одни, и никто того понять не могут...

Мари ступила, шатаясь, от порога и беспомощно опустилась на колени. Слезы кипели в ее горле; язык отказывался служить.

— Что же скажешь? Говори! — повторил Пугачев.

Мари подняла глаза и остолбенела. Она в самозванце действительно узнала постояльца Коровки; Емельян сразу узнал ее. Они несколько секунд молча смотрели друг на друга. Мари пришла в себя.

— О помощи молю, о спасении дитяти, — сказала она, протянув руки. — Ребенка моего, единственного сына, схватили твои дозорцы, и — где он, куда его дели — неведомо никому.

— Где взяли твово сына?

— На пасеке, у соседа, в лесу.

— Прятала его там? Зачем?

— Как не прятать! Набежали казаки, ограбили усадьбу, где мы жили у родных, церковь сожгли, нянька, без моего ведома, увезла ребенка в лес.

— Кто ты, как прозываешься? — спросил Пугачев, не показывая вида, что узнал просительницу.

«Не признал меня, и отлично! — подумала Мари. — Еще недовольным мог бы остаться, что видела его простым как есть мужиком...»

Она назвала себя.

— Дуганова? — спросил Пугачев. — Прозвище как бы знакомое, — не имела ли сродственников возле Казани?

— Брат моего мужа, с женой и с детьми, уехал туда в гости... В их селе я с сыном ждала их возврата.

«Да! — рассуждал, вглядываясь в просительницу, Пугачев. — Не та рыжая, долговязая и зубастая, что хвасталась тут, а она, эта писаная красавица, — первая в то время сжалилась над больным, пропадавшим от ран сермяжником, осмотрела меня и прислала трав и ту, рыжую, лечить меня... Но почему не признается она, как та!» — И он продолжал вглядываться в Мари. Ему вспомнился Изюмский уезд, жизнь в Кабаньем у казака Коровки, раны на ногах от долгих скитаний в пустынной степи и эта сердобольная, ласковая барыня, вылечившая его в то тяжелое время.

— Кто твой муж? И где он? — спросил Пугачев.

— В Москве служит, был с поручением в Петербурге.

— Чем служит?

— Адъютантом московского главнокомандующего.

— Видела ли ты меня когда-нибудь прежде? — спросил самозванец. — Встань, не бойся, говори правду.

Сердце Мари сильно билось. Холод пробегал у нее с головы до пят. Она медленно встала.

— Нет, не имела случая, не видела! — ответила она побелевшими губами.

— Смотри получше, подумай, вспомни! — повторил, вглядываясь в просительницу, самозванец.

— Не помню... Не видела! — твердо выговорила Мари.

«Врет! Полагаю, помнит, даже, пожалуй, признала меня, только боится, — подумал Пугачев, — язык на привязи держит — надеяться можно, не разгласит, как та... А красавица какая... Волосы, глаза!»

Он хлопнул в ладоши. Вошли Творогов и Мясников.

— Дать эвтой барыне, от нашей монаршей милости, охрану! Тебе приказ, — сказал Емельян Мясникову, — поместить ее, слышь, в лучшем городском доме, хоть у Бошняка в палатах; сам ее навещу... Да, главное, оповестить в лагере и в городе — ребенка, сына ейного, какие-то озорники, завистцы нашего покоя, взяли у нее.

— И с няней Сысоевной, — перебила Мари. — Звать дитя Васей... Василием Глебычем, по отцу!

— Разыскать, слышьте вы, Василия Глебыча и с няней Сысоевной, — объявил Пугачев, — и возвратить ей немедленно, не дольше нонешнего вечера, а мне донести... Еще, барыня, не попросишь ли чего?

— Освободи, сударь, знакомцев, соседей моих родных, — отца и девиц Лаптевых и Травкина с сыном.

— Эвто старика-то с сыном-плясуном, что ты говорил? — спросил самозванец Творогова.

— Так точно, батюшка, — ответил, кланяясь, Ивашко.

— Освободить и их! — решил Пугачев. — Дать им мою коляску, ту голубую, на лесорах, — пусть едут, под охраной; а я нонче заеду, барыня, к тебе... Не попляшет ли эвтот паренек и нам?

Мари, поклонясь, направилась к выходу.

— Да строго, Иван Александрович, подтверди, — сказал самозванец Творогову, — не найдут, псовы дети, ее ребенка, головы порублю...

Что было дальше с Мари, как позвали Травкина с Борей и девиц Лаптевых, как подали им коляску и, усадив всех пятерых, повезли через лагерь в город, она уже не помнила. Пришла она в сознание перед вечером, когда в отведенном им помещении ей послышались вдруг веселые, сдержанные

возгласы и к ней, как буря, влетели обе Лаптевы. «Ангел, душечка! Марья Родионовна! — кричали они на бегу. — Посмотрите, кто в передней!» Мари, оступаясь, бросилась в прихожую. Там за дверью, отирая радостные слезы, стояла Сысоевна. Возле нее шевелилось что-то смеющееся и махавшее руками. То был остриженный, в чужом платье Вася. Мари вскрикнула и, подхватив его, осыпала поцелуями. «Где вы были, где?» — спрашивала она. «У татарина какого-то, Баранки, либо, как его, дьявола, Овечки!» — ответила Сысоевна. «Кто нашел, освободил?» — «Енарал ихний, Панин, что ли... По указу».

По отъезде Дугановой, Лаптевых и Травкиных с Соколовой горы к Пугачеву привели других просителей. Пока он решал их участь, у палатки появился высокий, лысый и сгорбленный старик в ученом академическом мундире с серебряным шитьем. Держа треуголку под мышкой, он что-то бормотал, разводя руками, и с нетерпением поглядывал на палатку, к которой протискался.

— Кто это? — спросил о нем Творогова Чумаков.

— Ученый звездочет, Ловиц.

— Зачем явился?

— Хвалебное слово хочет сказать государю, — да подождет, — пусть для почета, под конец.

Из палатки вышли два купца и аптекарь Аменде. Купцы удалились, сияя довольством; бледного, еле шагавшего аптекаря окружили стражей и повели к холму.

— Черти немцы, им все давай! — с гневом сказал Пугачев, показываясь из палатки. — Не смей, мол, ходить, в их Сарепту, не трогай их провизии и лошадей! А сам, белобрысый пес, скольких, чай, переморил аптекой... Ну, будет! Обедать пойдем.

Сопровождаемый приближенными, самозванец прошел в старшинскую палатку, где, пока он чинил суд и расправу, было все приготовлено для трапезы. Пугачев сел на кошму.

Творогов, Чумаков и Овсянников, стоя, прислуживали за государевым обедом. Емельян не столько ел, сколько пил, поднося и своим прислужникам. Начали донским перешли к сантуринскому, а кончили ромом.

— Пейте, други-станичники, — говорил Пугачев, наливая стаканы. — Пополнили мы тут нашу казну — двадцать пять тысяч рублев, муки и всяких припасов погрузили на суда, — в Астрахани поживимся еще более... Всех наделю, всех озолочу! Поддержите только, братцы, свово государя до конца.

Из-за трапезы Емельян встал уже совсем пьяный. Продолжать разбор дел в своей палатке он отказался. «Душно, братцы, — сказал он, отираясь. — На дворе маненечко как бы вольготней!» Кресло для него поставили снаружи, у входа в палатку. Оттертый караулом от государевой ставки, Ловиц, ожидая, через кого бы доложить о себе, видел, как к самозванцу подводили остальных арестантов и как вершилась их участь. Едва сидевший в кресле Пугачев, покачиваясь и то и дело отирая налившееся кровью лицо почти не слушал того что ему говорили, а в виде решения дела только махал вправо или влево платком. По знаку вправо — арестантов и просителей отпускали на свободу, влево — немедленно уводили к холму. «Куда же это, однако, их уводят?» — раздумывал Ловиц, не подозревавший рокового значения холма.

Все арестованные и просители были, наконец, выслушаны.

— Го́де, шабаш! — сказал, вставая и направляясь опять в палатку, Пугачев.

— Тут, батюшка, ваше величество, еще один человек, — начал было Творогов.

— Го́де, опосля! — ответил, не оглядываясь, самозванец. — Другие у нас дела...

Поддерживаемый под руки Мясниковым и Чумаковым, он прошел в дальнее отделение палатки, опустился, не раздеваясь, на сложенные здесь подушки, протянулся и почти мгновенно заснул.

Мари с Сысоевной, Лаптевыми и Травкиным, едва стал близиться вечер, начала в тревоге выглядывать в окна, не едет ли обещавший навестить ее страшный гость.

— А у меня, дорогая Марья Родионовна, и лошади, и экипаж готовы, — шепнул Сила Фомич. — Едва сбудем оного лютого зверя — беру всех вас и везу в ночь, да знаете ли куда?

— Не знаю.

— Прямо в Москву — надежнее будет, благо дают конвой.

Пугачев не явился в город к Дугановой. Смерклось, а он все еще спал. К нему быстро вошел и едва добудился его Чумаков.

— Вставайте, ваше величество, — сказал он, теребя его. — Уходить надо, царицыны войска поблизу.

— Откуда знаешь? Врешь! — крикнул Пугачев, вскакивая и ища близ себя оружие.

— Лазутчики донесли.

— Давай их сюда; бей тревогу! Поднимай лагерь... Чекмень, шапку... Коня!

Были введены лазутчики — дьячок и перебежчик-солдат. Пока самозванец расспрашивал их, Чумаков подавал ему дорожное платье. Емельян переоделся. Чумаков видел, как дрожали руки царя и как бегали по сторонам его красные от сна, светившиеся испугом и злобой глаза.

— Три дня были покойны, — сказал по выходе лазутчиков, навешивая к поясу шашку, Пугачев. — Думал и долее... Так нет! Опять, дьяволы, гонят, опять грозят и теснят... Муфель да Меллин — а где ж Михельсон? Отстал?.. Ну, да уж живыми, Федотыч, не сдадимся, на потеху свою не возьмут.

Емельян распахнул полы палатки и бодро вышел наружу. Конный казачий отряд, стоявший перед палаткой, преклонял знамя; пешая охрана взяла ружья на караул. С площади было видно, что лагерь уже зашевелился. Гремели барабаны. Скакали с приказаниями вестовые. В обозе снимались тяже-

сти и запрягались воловые и конные возы. Пугачеву подвели оседланного солового коня. Потрепав по шее любимого, не раз в последнее время выручавшего его иноходца, Емельян взялся за луку седла и только что занес ногу в стремя, сзади его раздалась иноземная речь.

— Eure Majestät, unser grosser Kaiser und Wohlthäter! — напыщенно и громко начал кто-то, пробившийся к нему в общей суете.

Пугачев оглянулся. В двух шагах от него, высоко подняв в руке треуголку с серебряным шитьем, стоял и восторженно что-то говорил ему по-немецки высокий и лысый, в мундирном кафтане старик. Искренно считая самозванца за императора Петра Третьего, питомца ученого немца Штеллина, Ловиц в отборных немецких выражениях излагал радость не только свою и города Саратова, но и всей юной русской науки, что пресветлый государь, внук Петра Великого, удостоил этот дальний, глухой и дикий край своим высоким посещением, и с особым ударением твердил: «Ich habe, Eure Majestät... Я, ваше величество, видел дальние звезды, планеты и кометы! Но выше и светлее их всех великий российский государь Петр Федорович... Vale imperator! Радуйся, покровитель искусств, торговли и бессмертных наук... hoch, hoch!»

XXVIII

— Что это он, немецкая колбаса, торочит тут? — вполголоса спросил Пугачев, обратясь к окружавшим его пособникам. — Знаю ихние иноземные языки, да галдит он несуразно; не все поймешь.

— О звездах, видно, — ответил с поклоном Творогов, — я давеча еще докладывал... Из Питера он, сказывают, наслан сюда для науки — промерщик и звездочет.

— Что же ему, дьяволу, нужно? — спросил, садясь на коня, Емельян.

Творогов молчал.

— Звездочет, говоришь ты? — произнес Пугачев, глядя на Ловица, пораженного таким обращением с ним.

— Так точно, царь-батюшка, — ответил Творогов.

Емельян оправился на седле.

— Ну, и придвинь его, Иван, поближе к звездам... Подвесь! — сказал, удаляясь с площади, самозванец.

Творогов поклонился.

— Да кстати, — произнес, уже отъехав и подозвав его к себе, Пугачев, — тут еще была эта рыжая высокая барышня, сухожилая такая... Из просительниц, помнишь?.. Еще с длинными, как у белки, зубами.

— Ладыженцева? — спросил Творогов.

— Она самая.

— Простить изволил ты ее, батюшка, и охрану отрядил — твоей милости она помощь где-то оказала.

— Откуда знаешь?

— Сама радовалась она, выйдя от тебя, — признал, говорит, его величество...

— Ну, Иван, так вот что! — сказал самозванец. — Раздумал я... Где эта барышня теперь?

— У попа в слободке ждет, — вон его жилье, под вербами, о чем-то еще хотела твою милость просить.

Пугачев глянул на пешие и конные свои полки, шедшие в облаках пыли к городу.

— Надумал я иное, — произнес он, в силу сдерживая коня, горячившегося от звуков барабанов и труб. — Оно, вишь, спокойнее будет... Пока поднимется весь обоз, пошли за этою рыжею и на своих глазах удави ее...

Вечером десятого августа полчища Пугачева, обогнув Саратов, потянулись в низовья Волги к Царицыну. У самозванца в это время, по слухам, было еще до пяти тысяч

снабженного оружием, доброконного войска, более двадцати пушек, огромный, нагруженный добычею и съестными припасами обоз в несколько сотен конных и воловых подвод и до десяти тысяч разного безоружного сброда, крючников, рыбаков и окрестных помещичьих и казенных крестьян. Сам Пугачев с полком яицких и волжских казаков, калмыков и татар ехал впереди отряда. За ним, в коляске и бричке, следовали его жена с детьми и прислужницы из пленных офицерских и помещичьих жен и дочерей. В нескольких верстах за Саратовом, у помещичьей усадьбы, самозванец услышал шум и крики впереди себя. Подъехав к шумевшим, он увидел окровавленных главных своих есаулов — Баранку и Идорку. Татары заспорили из-за какой-то лошади и бросились друг на друга с ножами. Зачинщиком оказался Идорка. «А, черт рябой! Не утихомирился? Баста теперь!» — крикнул Пугачев и велел вздернуть Идорку на ворота усадьбы. «Чей двор?» — спросил он. — «Дугановых», — ответили ему. Пугачев долго рассматривал разоренную, с погорелою церковью, усадьбу Горок, едучи мимо нее.

Травкин сдержал слово, данное им спасенной Мари. Едва полчища самозванца прошли через город и в наставших сумерках улеглись тучи пыли, поднятые в предместьях пушками и подводами мятежников, Сила Фомич вошел в комнату Мари.

— Не достал я роскошного и удобного экипажа, подобного вашему берлину, — сказал он ей, — но идемте, готов преобширнейший макарьевский тарантас — та же почитай коляска. Протопоп, отец Илларий, уступил по своей цене. Лошадей до ближней смены добыл у кума краснорядца.

— А конвой? — спросила Мари, все еще в страхе и тревоге, не встретилась бы в дороге какая-либо роковая случайность.

— Конвой? Да зачем же он теперь? — улыбнулся Травкин. — Ехать нам на север, а лютый аспид с своею оравой

ретируется ведь на юг... До Москвы теперь — скатертью дорога... Едем, едем! Молодцы Муфель и Меллин наспевают, за ними спешит Михельсон; злодеи от них и бегут. Не ночью, так к утру встретим авось и наши аванпосты.

— Но если вместо своих вдруг наткнемся на какую-либо отсталую шайку? — спросила Мари, боясь и думать о возможности спасения.

— Как? — удивился Травкин. — Вы полагаете, что кто-либо из этой сволочи остался, припоздал, когда вот-вот наскочат наши крылатые герои? Плохо же вы знаете эту чернь! Да она так теперь сломя голову бежит, что за городом обрушила два моста и бросает по пути пушки и тяжести. Сейчас пономарь воротился из лесу и сказывал.

Мари осенила себя и ребенка крестом, со слезами простилась с Варей и Соней Лаптевыми, которых пригласил под свой кров тот же протопоп Илларий, бодро вышла во двор, где уже были готовы лошади, и села, с няней и Васей, в тарантас.

— Да чья же, сударыня, — и не доведалась я, — на тебе кофта и чей платок? — спросила ее Сысоевна, когда суетившийся по двору с фонарем Травкин, разглядывая, удобно ли все уложено, посветил в тарантас.

— Дарьи-птичницы... Она дала мне, как я садилась в лодку.

— Бедная ты, горемычная! — проговорила, всхлипнув, Сысоевна. — Нет Глеба Андреича! Вот повидел бы он, чего ты не натерпелась!

— Ничего, милая барыня, с Богом! — сказал Сила Фомич, взлезая на козлы, где уже сидел его крестник Боря. — Лишь бы Господь помог, а о прочем не беспокойтесь... Дал нам кум на дорогу не токмо провизии — теплой покрыши для ночи, дубленок, полстей.

Тарантас выехал из ворот, миновал опустевшие Московскую и другие улицы, выбрался на выгон, где еще так недавно стоял шумный лагерь самозванца, и понесся к Медведице, по пути на Аткарск и Тамбов. «Сказать ли ей

о судьбе кузины ее? — раздумывал дорогою Травкин. — Да, наказана бедная философка!» И, наклонясь с козел, он сперва намеками, потом прямо передал Мари, что самозванец не пощадил Ладыженцевой и что, по словам отца Иллария, перед своим уходом, велел казнить ее. Услышав рыдания Мари, Сила Фомич промолчал об участи других знакомых.

Передовые отряды Муфеля и Меллина встретились путникам верстах в десяти за городом. Едва тарантас выбрался из леса, окружавшего город со стороны Соколовой и Алтынной гор, и, миновав овраги и водороины, спадавшие к Волге, поднялся на ровную, гладкую степь, впереди послышался конский топот. Увидев при свете месяца пыль, летевшую по дороге, путники свернули в сторону. Мимо них, к опушке леса, понеслись шеренги улан и гусар. Скакавшие врассыпную всадники с разбега натыкались на тарантас.

— А, черти! Кто тут? — кричали черные от пыли солдаты, осаживая коней и снова уносясь далее.

— Свои, братцы, свои! — кричал Травкин, стоя на козлах и размахивая шляпой. — Саратов очищен! Слышите ли, Саратов! Злодеи бежали вниз.

— Ура! — откликались скакавшие всадники, слыша радостную весть. — Ура! — гремело по ближним и дальним их рядам.

К тарантасу подъехал, в гусарском доломане и ментике, худой и черный, как жук, полковник Муфель. Вежливо поклонясь дамам, он стал расспрашивать о бегстве самозванца.

— От вас первых слышу радостную весть, — сказал он Травкину. — Скоро, скоро злодею конец.

— А где, позвольте узнать, другой наш герой, Иван Иваныч Михельсон? — спросил Сила Фомич.

— Его-то мы и ждали это время, — ответил Муфель. — Без него не решались двигаться к Саратову, а теперь он невдали; под тою вон горой встретите вы пехоту графа Меллина, а далее, если ваш путь на Аткарск...

— Да, да, к Медведице, на Аткарск, — сказал Сила Фомич.

— В таком случае, — произнес, откланиваясь, Муфель, — за Широким Буераком вы увидите и Ивана Иваныча.

В станице Широкий Буерак путникам предстояла смена лошадей. Задержанные на дороге конницей Муфеля и далее, под горой, мушкетерами и обозом графа Меллина, они доехали до станицы уже на рассвете. Вася крепко спал на руках усталой матери. Боря на козлах и Сысоевна в тарантасе, истомившись за ночь, так сильно покачивались, что едва, в неодолимой дремоте, не падали из экипажа. Один Сила Фомич бодрствовал. Остановясь у околицы, он ввел всех в ближайшую избу, наносил туда с хозяйкой-старухой сена и, уложив всех спать, бросился отыскивать свежих лошадей. Большая часть жителей станицы после прохода здесь Пугачева была в бегах. Оставшиеся говорили, что они стары и хворы, и на все просьбы с предложением щедрой платы отвечали отказом.

— Где нам, батюшка, взять тебе коней? — отвечали они, толпясь у ворот и с тупым любопытством разглядывая барина, уцелевшего от общего погрома. — Все заграбил и забрал антихрист.

— Да, может, лошади угнаны у вас, для охраны, на дальние луга или в лес? — спрашивал не ожидавший отказа Сила Фомич.

— Что ты, мил человек, полно! — возражали, кланяясь, мужики. — Не токмо лошадушки, последнего телка не оставили лиходеи, порезали на жратву, до малого тебе курченка и порося.

— Ничего, слышите, ребята, не пожалею, — твердил Травкин, соображая, что в кармане у него полный кошель золота, ссуженного тем же кумом краснорядцем. — Ну, не хотите отдать внаймы, продайте! Что возьмете за тройку?

— Ах-ах, батюшка, родимый ты наш! И не думай, ну, не беспокойся! Татары мы, что ли, аль супостаты тебе? Не-

што можно грабить! Мы с радостью, только, прости, нетути ни одного коня.

— А чьи вон там, внизу, пасутся? — спросил Сила Фомич, указывая с холма на берег реки.

— Клещовские, сударь, убей Бог, чужие.

— Ну, сходите, наймите или купите для нас.

— Где нам, светик! Стары мы, убоги, хворы, куда по горам ходить?

— Нечего, видно, делать, ступай хотя ты, — обратился Травкин к кучеру протопопа, — да не скупись, помни, а главное — не возвращайся без лошадей; иначе, что же это, как нам и сидеть?

— Оно точно, батюшка Сила Фомич, — сказал, почесываясь, кучер, — кому, значит, приятно? А как не добуду и я?

— Ну, тогда не прогневайся, — вспылил Травкин. — Тогда... Просто не отпущу тебя, как знаешь, а задержу... Покормим и двинемся далее. Сказано — до перемены, ну, и отпущу тебя, как найдем, чем переменить.

Кучер с неудовольствием отпряг лошадей, поставил их под навес к корму и, покачивая головой, отправился вниз к берегу. Сила Фомич присел в тарантас и задумался. Глаза его слипались; одолевал сон. «До этой Клещовки, — рассуждал он, — будет, пожалуй, не меньше трех-четырех верст; вон где виднеются ее мельницы. Пройдет часа два, а то и больше, пока он разыщет там хозяев да сладит с ними. Впрочем, оно и кстати, наши выспятся вдоволь, отдохнут. А пережито, пережито, Боже! Все ведь на волосок были от лютой, позорной смерти. Бедняжки же Лаптевы остались в ожидании ехать к отцу и не знают о его участи. А достойного Петра Ильича, ужас и подумать, своими глазами видел ехавший мимо его двора пономарь... Собственные подданные повесили бедняка на воротах его двора! А Тарский, Быков?» Задумавшись о роковой, страшной кончине старого знакомца и соседа, Лаптева, Сила Фомич склонился на кузов тарантаса. Надвинув ниже на лоб от солнца шляпу,

он вспомнил, как еще недавно он с Петром Ильичом на проводах хозяев из Горок в Туровцово играл плясовую на виолончели, а тот на скрипке. Прошептав со вздохом: «Мир праху твоему, добрый человек и истинный анахорет!» он крепко заснул. Спал он, как показалось ему, очень долго. Очнувшись от каких-то странных и резких криков, он оправил съехавшую на нос шляпу и растерянно взглянул на небо.

Солнце стояло высоко и сильно пекло. Было, вероятно, уже далеко за полдень. Лошади, доев корм, дремали под навесом. Возвратившийся ни с чем кучер мирно спал, раскинувшись на попоне, возле яслей, в холодке.

«Да что же это? И он не успел? — подумал Травкин, вылезая из тарантаса. — Неужели ни мольбы, ни деньги не в силах уже нам помочь?» Он направился под навес, к кучеру.

До его слуха снова донеслись взрывы криков. Через улицу, у противоположного двора, Травкин увидел среднего роста, в дорожной шинели плечистого офицера с нагайкой в руке. Сзади его виднелись, в гвардейских шапках, двое рослых солдат-гренадеров, а перед ним, опершись на палки, стояли те же станичные, в капелюхах и драных зипунишках, старики, которых так неудачно Сила Фомич утром упрашивал о лошадях.

— Так вы говорите, что у вас точно нет коней для смены? — визгливым, обрывавшимся от гнева голосом выкрикивал офицер.

— Нетути, ваше благородие... Последнюю то есть телку, все — до курятки, ен, леший, забрал.

— Ах вы бестии, бородачи! Вот вы какие! — крикнул, взмахнув нагайкой, офицер. — Так вот вы как? Перед вами говорит посланный ее величества, а вы... Ни телки, ни коня?

Мужики сняли шапки.

— На колени, ракалии!

Все упали на колени.

— Дибулин, Кузнецов! — скомандовал офицер. — Тесаки наголо! Становись сбоку и жди приказа... Не дадут — голову секи!.. Так у вас и вправду нет для смены под комиссию коней?

Мужики, склонив головы, молчали.

— Ни тройки, ни пары? — кричал офицер. — Ни одного даже, чтоб в город послать?

— Есть, милостивый, есть, не гневайся, прости! — взмолились, кланяясь в землю, мужики. — По клетям попрятаны, загнаны в камыши! Не опомнишься, батюшка, будут! Сколько тебе? Тереха, Евдоким, беги... У Прокла тоже кобыленка, у Савчихи меринок.

— Духом, черти! Две тройки, да добрых.

— Будут, соколик, будут.

Убогие и хворые с виду, старики прытко пустились по улице. Травкин вышел за ворота. «Ай, да молодчик! — мыслил он об офицере. — Для себя достал, добудет пожалуй, как попрошу, и нам». Сила Фомич оправил на себе одежду, даже смахнул платком пыль с сапог, крякнул и, наскоро обдумывая должное приветствие, с приподнятою шляпой в руке направился через улицу к офицеру. Тот, отдавая приказания солдатам, не слышал его шагов.

— Таких-то царевых слуг, таких смелых патриотов и нужно нам! — начал Сила Фомич. — В них надежда и спасение страны...

Офицер обернулся на его голос. Травкин взглянул и замер в изумлении, остолбенел. Перед ним был Глеб Андреевич Дуганов.

— Сила Фомич! Родной вы мой! Какими судьбами? — вскрикнул Глеб, обнимая его. — Вы живы, невредимы? Как я счастлив, рад!

Травкин едва стоял на ногах.

— Да говорите же, добрый наш, каким чудом спасены? Как очутились здесь? — спрашивал Дуганов, видя, что старик глядит куда-то в сторону. — А ваш Боря здоров ли, где он?

— Там, ох, там... За этим тыном, то есть, извините, забором, — проговорил сиплым, упавшим от радости голосом Травкин, тыча рукой через улицу. — Он здоров, благодарю сердечно-с, и, может быть, что я, наверное обрадуется...

— Крестник ваш, говорите вы, тоже здесь? Куда же вы направляетесь? Саратов действительно очищен?

— Да нет, помилуйте, не о том-с, — перебил, путаясь пересохшим языком, Травкин. — Саратов, положим, точно свободен, и злодей бежит вниз... Но можно ли о таком относительно иных лиц постороннем и неподходящем предмете? И что такое крестник или хоть бы все Борисы на свете! Одна моя несообразность и бессилие в такой поистине важный момент...

XXIX

Травкин отер пылавшее свое лицо. Глеб с удивлением смотрел на старика.

— Нет, благодетель; защитник невинных и слабых! Нет, не могу! — вскрикнул Сила Фомич, сняв и опять надев на себя шляпу. — Не здесь, среди улицы и в пыли, — в ином, так сказать, святом уединении и вдали от чужих, недостойных глаз...

Он ухватил Глеба за руку, крепко стиснул ее и, торжественно, загадочно поглядев ему в глаза, потащил его к воротам, из которых вышел. «Куда это он и что затеял? — думал Глеб, идя за Травкиным. — Мари и Вася, очевидно, благополучны, спасены, и он собирается сообщить о них...»

Травкин и Глеб, войдя в соседний двор, приблизились к стоявшей там избе. В окне избы мелькнула и скрылась какая-то тень. Сила Фомич взошел на крыльцо, отворил дверь в сени и знаком предложил Дуганову идти вперед. Едва Глеб ступил в сени, справа растворилась другая дверь.

Что-то знакомое, несбыточное и сказочно-дорогое предстало и замерло на пороге.

— Глеб! Глебушка! Ах, да ты ли это? — послышался плачущий и вместе блаженно смеющийся голос Мари.

Она с безумно-порывистыми, горячими поцелуями повисла на груди растерянного и плачущего от радости мужа.

— Ну, представь, сейчас... Не поверишь, во сне, ну, как живого, видела тебя! — говорила Мари, увлекая мужа в избу. — И светлый ты, светлый такой, как теперь.

— А Вася? Где он? Здоров ли?

— Вот он, вот! — смеялась и плакала Мари, указывая мужу на улыбавшегося большими глазами, красного от сна, ребенка, пивщего молоко на коленях няни.

— С благополучным, сударь, возвратом! — сказала, встав с лавки и кланяясь, Сысоевна. — Уж ждали-ждали — принес Господь!

Вася стал лепетать что-то, морща брови и повторяя: бум, бум.

— Это он о пушках, что в лагере палили, под городом, — объяснил Боря.

— Нет, ты лучше сам скажи, как пляскою спас от гибели столько близких, — сказала ему Мари.

— Увольте, матушка, до того ли вам теперь? — возразил Травкин, кивая крестнику. — Бери картуз, Боря, иди сюда — дело есть...

Он увел мальчика на крыльцо. Няня с Васей ушла через сени к хозяйке. Глеб посадил Мари на лавку рядом с собой взял ее руки и долго смотрел ей в глаза.

— Не стою я тебя, Маша! — сказал он с чувством. — Вот где увиделись!.. Прости меня, прости, — я кругом перед тобой виноват...

— Что ты, Глебушка, полно, ну, можно ли? Да я и в мыслях на тебя никогда...

— Нет, нет, я был не прав, груб и жесток! — твердил Глеб. — И если нам еще суждено счастье, если ты не разлюбила, прости, позабудь!

Он опустился возле Мари на колени, обхватил ее, припал к ней головой. Его плечи судорожно двигались; слышались заглушенные рыдания.

— Если тебе, милый, дорогой, нужно мое извинение, — сказала Мари, положив ему руки на голову и сама плача, — Господь тебя простит! Прости меня и ты!

Две телеги у двора через улицу давно были запряжены, и давно неслись оттуда звуки колокольчиков и бубенцов. Товарищи Глеба, с снисходительным терпением поглядывая на избу, где он сидел с женой, разговаривали на завалинке с Травкиным. На их рассказы об ужасах в Пензе, Курмыше, Казани и иных городах Сила Фомич им передавал о зверствах мятежников в Саратове и его окрестностях.

Глеб в беседе с Мари, завел речь о том же. Передав ей слышанную в Пензе весть о гибели Туровцовой в разгромленной мятежниками ее усадьбе под Казанью, Глеб упомянул о брате и Серафиме и остановился.

— Ну, что ж ты замолчал? — спросила, глядя на него, Мари. — Где они? Спасены, надеюсь? Ты знаешь о них?

— Готовься услышать нечто ужасное, вопиющее, — сказал Глеб, мысленно подбирая слова. — В Петровске только вчера офицер из отряда Меллина сообщил мне слышанное от захваченного в Курмыше слуги наших, очевидно Дрона... Брат Алеша, Серафима и их дети настигнуты, представь, в том городе злодеями...

— Ну, ну? И что же с ними?

Глеб молча склонил голову. Мари, глядя на образ, крестилась.

— Они в плену? — спросила она. — Живы?

— Воля Божья... Будем молиться за них...

— Убиты, погибли?

— Покойники, кроме одного ребенка...

Мари с рыданиями упала на руки мужа.

— Бедный Алеша, бедный! А Серафима? Ужас! — твердила она. — Думали ль мы все, прощаясь с ними? А Лаптев! Знаешь о нем? Да, Бог мой, что же я! Главного и не сказала... Знаешь ли, что с Нинет?

— Не знаю.

— Она и Лаптев... Нет, не могу...

Мари задыхалась.

— Оба... погибли, оба, — проговорила он. — Я молила бедняжку Нину... Не послушала она меня... Ведь ты знаешь, кто этот Пугачев? Помнишь казака в Кабаньем? Ну, больного, помнишь?

Мари рассказала о гибели Ладыженцевой и Лаптева. Глеб слушал ее, понурив голову. Опять послышались колокольчики.

— Неужели пора? — сказал Глеб, взглянув в окно и тихо вставая. — Да и вам запрягли лошадей, поезжай с Богом! Путь до Москвы вполне теперь безопасен. Кончу свое дело, возьмем Пугачева, — не сомневаюсь в том, — с каким наслаждением вернусь опять в наш угол. Черный год сменится светлым...

Глеб медлил, не уходил. Явился Травкин — известить, что Галахов решил послать вперед Рунича с гренадерами, а сам подождет Глеба Андреевича. Дуганов просил благодарить его и еще остался с женой. Рунич уехал. Прошло более часа. Глеб и Мари продолжали говорить, строили планы, как они снова увидятся в Москве, как заживут в своем уютном гнезде, навестят Ракитное. У окна показался Травкин.

— Александр Павлович советует, — сказал он, постучав в окно, — может быть, останетесь, подъедете после?

Мари встала, обхватила мужа и замерла. Слезы давили ей горло.

— В самом деле, останься — разве нельзя? — спросила она...

— Совестно, видишь, ждут товарищи; скоро вечер.

— Благослови же меня, благослови сына! — сказала Мари, отворяя дверь в сени. — Сысоевна, неси Васю.

Глеб перекрестил дитя и жену, осыпал их поцелуями и вышел. Он представил Галахова жене. Разговор длился еще несколько минуть.

— Ну, едем! — сказал Глеб.

Колокольчики и бубенцы зазвенели. Тройки понеслись.

— Пиши же чаще! — кричала Мари, сквозь слезы глядя на отъезжавшего мужа и издали крестя его.

Глеб в силу сдерживал слезы.

По выходе из занятого и ограбленного Саратова Пугачев взял Камышин и Дубовку, выжег окрестности Царицына, разорил Сарепту и бросился в низовья Волги, к Черному Яру. Отряд Михельсона, опередив Муфеля и Меллина, гнался за ним по пятам. Члены комиссии, посланной для приема самозванца, следуя в нескольких днях расстояния за Михельсоном, с каждым днем убеждались, что уверения ехавшего с ними Долгополова о готовности казаков выдать Пугачева — ложь, что, напротив, к самозванцу ежедневно пристают новые полчища и что его сообщники, ввиду смелого его упорства и новых побед, очевидно, расположены защищать его во что бы то ни стало.

— Ну, Астафий Трифоныч, где же твой Емелька? — спрашивал Галахов Долгополова. — Что-то не выдают его казаки, а сам он, оказывается, и ухом не ведет.

— Подождем, увидим, — отвечал Долгополов.

В Дубовке им сказали, что движение Пугачева к Сарепте — только отвод глаз, что оттуда он предположил повернуть вправо, к близкому колену Дона, послал уже гонцов с воззваниями к донским казакам и что, заняв Дон, он окончательно двинется на Москву. «Царь Иван Грозный под Казанью семь лет стоял, — будто бы похвалялся он, — а у меня она в три часа пеплом покрылась, — то же будет и с Питером! Божественные книги указывают: быть мне на престоле опять! Ехавшие в отряде самозванца его жена и

дети сильно изнывали от жары и пыли. Он издали следил за ними, посылая им в коляску освежиться арбузов и дынь. В Сарепте нашли лавку с пряниками. Самозванец послал детям узел позолоченных рыбок и коньков, говоря: «Жаль мне детей верного моего слуги Пугачева; дайте им полакомиться».

На рассвете 24 августа отряд Михельсона нагнал самозванца на берегу Волги, у рыбного Сальникова завода. Узнав от разведчиков о наступлении, Пугачев поднял лагерь, установил на склоне холма длинный ряд пушек, а ниже, впереди их, пешие полки и готовился двинуть их под прикрытием общей пальбы с целью раздавить наступающих. Впереди последних ехал, отдавая окончательные приказания, Михельсон. Дувший от Волги резкий ветер, играя его гусарскими длинными локонами, заплетенными на висках в виде косичек, нес навстречу уланам и гусарам облака пыли. Михельсон не замечал ни ветра, ни пыли. Его открытое, круглое лицо было весело; быстрые, голубые глаза из-под надвинутой на лоб шляпы зорко вглядывались в полчища мятежников.

— Нечего их, подлых собак, ждать! — сказал он, видя, что его отряд готов и только ждал его приказа. — Ну-ка, чугуевцы! Донцы-молодцы! За бороды их, сермяжников, вперед!

Он дал шпоры коню. Рыжий горбоносый кубанец с подтянутыми ребрами, пройдя рысью, помчался вскачь. Уланы, гусары и малороссийские казаки слева, драгуны и донские казаки справа неслись возле него. На холме поднялись клубы дыма. Грянул залп пушек. Через головы нападающих звонко прогудело несколько ядер, упавших за пехотой и наспевавшей в облаках пыли кавалерией.

— В середину их! Бей прямо в середину! — кричал, размахивая саблей, Михельсон. — Надвое их, ребята, пополам!

Несшиеся всадники врезались в средину пеших мятежников. С обеих сторон загремели ружейные выстрелы, свистели пули. Два улана и несколько драгунов повалились с коней. Всадники рубили и кололи направо и налево. Невдали от нападавших донцов, на пригорке, среди мятежников виднелся, в красном чекмене, плечистый, с бородою, всадник. Донцы узнали Пугачева.

— А, Емельян Иваныч! Здорово! — кричали они, целясь в него и стреляя на скаку. — К нам, Емеля! Твоей хаты у нас в станице уже черт-ма́, сожгли... Выстроим новый острожек!

Мятежники дрогнули, бросились бежать. Пугачев помутившимся взглядом окидывал бегущих. Он хриплым голосом молил биться, грозил — никто не слушал его. Сквозь поредевшие ряды к холму помчался рослый, лихой донец-зимовеец, односелец Емельки, в белой, распахнутой на груди рубахе и с шапкой на затылке. Обскакивая бегущих, с арканом в голой волосатой руке, он усмехнулся, метя с коня накинуть петлю на Пугачева. Стоявший за самозванцем, бывший дугановский слуга, Сергей, увидел его, прицелился из винтовки и выстрелил почти в упор. Казак с арканом грохнулся наземь с седла. «Ура!» — кричали драгуны и уланы, обхватывая пригорок, где стоял Пугачев. «Ура!» — гремели, надвигаясь за ними со штыками наперевес, мушкетеры. Пугачев с силой стегнул нагайкой коня и, заслоненный горстью охранников, бросился вскачь к глубокому и длинному оврагу, куда скрывались остатки разбитых его полков. Раненная под ним в ногу лошадь слегка прихрамывала.

— Лови его, лови! Стреляй! — кричал Михельсон, указывая с холма на овраг.

Мушкетеры дали залп из ружей. Трое из охранников самозванца, в том числе Овчинников и Сергей, повалились с коней. Донские и волжские казаки оцепили в это время обоз самозванца и, задержав его коляску с детьми и казной, грабили добычу. Некоторые из них понеслись

было к оврагу, но, истомленные шестимесячною гоньбой за мятежниками, лошади не могли догнать беглецов. Пугачев оврагом доскакал до ближнего леса, перевязал ногу коня и с последними из сообщников скрылся в лесной трущобе.

Комиссия после длинного и утомительного перегона, не доезжая Царицына, остановилась в станице над Волгой переменить лошадей. Был конец августа. Погода стояла знойная, безветренная. Нагорные выжженные солнцем степи правого берега Волги расстилались желтыми пустырями. Дневная жара и сушь к ночи сменялись холодом и сыростью.

Близился вечер. Члены комиссии сидели у амбара, на выгоне станицы, из табунов которой ожидали свежих лошадей. Посланный туда гренадер Дибулин возвратился с известием, что в станице толкуют, будто Пугачев где-то ниже Сарепты вконец разбит, бросил войско и обоз и с главными пособниками едва спасся, переплывя за Волгу.

— Слышали мы такие басни! — сказал, зевнув на это, Галахов. — А вот мы лучше покурим; дай-ка, Трифоныч, огня.

Он закурил трубку. Рунич и Долгополов с ним заспорили. Амбар, у которого они толковали, стоял на высоком бугре, над рекой. Полулежа с прочими в его тени, Глеб прислушивался к говору собеседников и, соображая, где в это время могла быть Мари, доехала ли она до Аткарска, перебралась ли за Медведицу и скоро ли кончатся его собственные скитания, поглядывал на низменный, левый берег Волги, мирно катившей синие, сверкавшие на солнце воды. Вдруг он приподнялся на локте. На противоположном берегу реки он приметил несколько всадников, показавшихся из-за зеленой уймы камышей. Поодаль за ними заклубился и стал близиться к берегу столб пыли.

— Смотрите, господа, смотрите, — вскричал Глеб, — что это за конница?

Все вскочили, стали глядеть. Из-под пыли виднелись новые всадники. Они прыткою рысью неслись в обход прибрежного озера, направляясь вверх против течения реки. В нескольких десятках шагов за ними ехал, пригнувшись к солловому, слегка хромавшему иноходцу, одинокий, с ружьем за спиною, всадник. За ним следовало небольшое прикрытие, с вьючными лошадьми.

— Прячьтесь, прячьтесь! — крикнул Долгополов, в страхе убегая за амбар. — Боже Господи! Ведь это сам Пугачев!

Все последовали за ним.

— Да почему же ты, однако, думаешь, что это он? — спросил, глядя за реку, Галахов.

— Ах, не выставляйтесь... Бога ради! — жалобно молил бледный как полотно Долгополов. — Разве не видите? Его посадка, все ухватки и... соловый конь. При нем всегда зрительная трубка... И так мы врезались вон вперед войска... разглядит, пропали мы... Перевешает до одного!

— Пустяки! — сказал Глеб, оставшись. — Что он сделает нам?

Прочие, зайдя за амбар, молча следили оттуда за всадниками. Миновав озеро и камыши, последние выбрались на песчаный пригорок, поехали шибче и скрылись вдали.

— Что же, Александр Павлович, — обратился Глеб к Галахову, — как все это объяснить? Что, если и в самом деле мы только что воочию видели самого злодея и он действительно разбит?

— Увы, — ответил в раздумье Галахов, — слышали мы то же в Пензе и Саратове; наши странствия, полагаю, нескоро еще кончатся; если злодей и понес какое-либо новое частное поражение, что же из того? Видите сами, он уже на той стороне, и не один.

XXX

От станицы послышались звуки колес. По гладкому выгону к амбару мчались две телеги тройками.

— Добрых коней раздобыли, — сказал Галахов. — С такими к ночи будем в Царицыне.

Телеги приближались. На передней стоял второй из посланных в станицу гренадеров, Максимов. Держась за ямщика, он размахивал шапкой и издали еще кричал: «Победа, радость, ура!» Гренадер спрыгнул с телеги. Все окружили его.

— Говори, говори! — сказал ему Галахов.

— От генерала Михельсона, ваше высокоблагородие, только что проскакал через станицу гонец.

— Ну, и что ж?

— Он менял в расправе коня, из наших лучшего взял.

— И отлично.

— Так вашей милости приказал доложить: злодей Емелька у Сальниковой ватаги наголову, то есть вконец разбит.

— Стой, повтори, — произнес Галахов, — у Сальниковой ватаги, вконец? Где это?

— Не могим знать, сказывал, в степи где-то, невдали от Черного Яра. Бились четыре часа; положено немало главных начальников злодея и между ними, должно, его фельдмаршал Овчинников, а отнято двадцать пять пушек, весь обоз с добычей, коляска с дочками и казною Емельки, и — божился гонец — больше десяти тысяч пленных... Коляска, ваше высокоблагородие, как бежал злодей, опрокинулась на косогоре, донцы и захватили, а женка и сын Емельки ускакали за ними верхами.

Все молча сняли шляпы и перекрестились.

— Слава Тебе, Господи, слава! Поздравляю! — сказал Глеб Галахову. — Теперь не скажете больше, что наши странствия нескоро еще кончатся?

— А это? — спросил Галахов, указывая на синеющие пустыри за Волгой. — Кто изловит беглецов там, в этой

дикой, родной им степи? Недалеко соленые озера, а оттуда рукой подать — леса и камыши пустынных Узеней... Ищи тогда ветра в поле, гонись!

— Осмелюсь еще доложить, запамятовал, — сказал, вытянувшись и весело глядя в глаза Галахову, гренадер, — гонец тоже, значит, сказывал, — в Царицын ждут нового всем здешним корпусам командира.

— Кого, кого? — спросили офицеры.

— На простой тележке, один, говорит, как перст, проскакал через Сарепту.

— Да кто проскакал?

— Из Турции прямо... Генерал-поручик Суворов... И всем начальникам велено сдать ему команду.

Галахов вторично снял шляпу и склонил голову.

— Теперь и я скажу, — произнес он, глядя на Рунича и Глеба. — Залитую кровью донскую лисицу, пожалуй, ныне и вскоре закапканит этот ловец... Ну, Астафий Трифоныч, — улыбнулся Галахов Долгополову, — готовься и ты; живым ли, мертвым ли, а скоро повидишь теперь былого своего знакомца и земляка.

Долгополов, нахмурясь и как бы не слыша обращенных к нему слов, молча глядел на пустынный левый берег реки.

Комиссия прибыла в Царицын ночью. Узнав тут же, что Суворов уже в городе, ее члены решили пораньше представиться ему.

«Итак, я увижу того, к которому так стремился, о котором столько думал, — рассуждал Глеб, подходя к небольшой белой мазанке на краю города, в которой помещался вновь прибывший главный командир края, — комиссии, очевидно, нечего более делать; этот сам возьмет злодея — будет неустанная погоня, молодецкие лихие стычки. Не бросить ли театр бунта и эту уже ненужную для дела комиссию? Не поспешить ли в Москву обратно к Мари? Нет! Надо

до конца отслужить делу! Попрошусь в действующий передовой отряд».

Перед избой стояло несколько офицеров. Тихо перешептываясь друг с другом, они почтительно поглядывали на окна избы, у крыльца которой солдаты держали под уздцы оседланных лошадей. Галахов приказал доложить о себе и был позван к Суворову. Глеб успел сказать приятелю о своем желании перейти в действующий корпус и просил замолвить за него слово. Галахов недолго оставался в избе. В сенях послышался громкий, как бы сердитый голос. На крыльцо быстро вышел, в запыленной треуголке и в потертом, сильно полинявшем на солнце темно-зеленом мундире, невысокий, худощавый человек. Поведя перед собой красным от загара носом, странно выделявшимся среди белых, выбритых после долгого перерыва щек, вышедший взглянул на стоявших у крыльца и улыбнулся. Глеб сразу узнал Суворова, за которым стоял плотный полковник. «Михельсон!» — подумал Глеб, глядя на него.

— Так вот, Иван Иваныч, и прочие герои! — произнес Суворов, указывая Михельсону на остальных членов комиссии. — Молодцы! Явились живьем взять Емельку, да не удается все... Что же, помилуй Бог, попробуем!.. Курочка по зернышку клюет... Но один из вас просится в действующий отряд... Кто именно?

Глеб молча поклонился.

— Дуганов? — спросил, глядя на него, Суворов. — Очень рад, знал твоего отца; у него было двое сыновей — где твой брат?

Глеб рассказал о гибели Алексея и его семьи в Курмыше. Суворов внимательно слушал его, посматривая на лагерь, видневшийся невдали, у огородов, откуда неслись веселые солдатские песни: «Все мужья до жен добры, накупили им тафты... в бисер низанную — плеть насвистанную», — выводил запевала. Хор громко подхватывал.

— Знаешь о них? — спросил Суворов Михельсона.

— О ком?

— Слышал об участи родных ему страдальцев? — указал Суворов на Глеба.

— Как же, ваше превосходительство, своими глазами видел убитых... Уцелел, кажется, только младший ребенок, — ответил Михельсон.

— Мученики! Святые страдальцы! И сколько их... Сотни, тысячи неизвестных!

— И что еще прискорбно, — заметил Михельсон, — в шайке извергов, ограбивших и заливших кровью Курмыш, оказались, как помню, собственные слуги господ Дугановых — старик камердинер, важный такой толстяк, и молодой, грамотный лакей... Старику, кроме прочего, я на память обрезал уши, а молодой успел из-под стражи бежать и, по слухам, кажется, и теперь при самозванце.

«Дрон, камердинер... Неужели изменил? — подумал Глеб. — А молодой? Жена писала Шимковой о бегстве Сергея — неужели наш Сергей?»

— Так желаешь в действующие? — спросил Суворов Глеба.

— Удостойте, ваше превосходительство.

— Да, понимаю тебя и твои чувства... Не удерживаю, иди к тем вон, — указал Суворов на лагерь, — слышал? Не унывают лихачи, точно дома, в хороводах... Ты, слышал я, встретился на пути с женой, очень рад... Так и она побывала в когтях донской кошки? Расскажи...

Глеб передал о плене и спасении Мари.

— Дай ему, Иваныч, поработать, — сказал Суворов, указывая Михельсону на Глеба.

— От души рад, — ответил Михельсон, протягивая руку Дуганову.

Суворов опять указал на лагерь.

— И с такою горстью, помилуй Бог, — сказал он, — разбито пятнадцатитысячное скопище. Бессмертное дело! Летел я сюда прямо с Дуная, дорожил часом, минутой, а когда не давали лошадей, не стыдно сказать, принимал для успеха даже злодейское имя; бил турок, янычар, а

уж Емельку и подавно догоним и разобьем... Едем, Иван Иваныч, едем!

Вскочив на коня, Суворов понесся к лагерю. Михельсон и свита последовали за ним.

Причисленный к одному из передовых отрядов, посланных в погоню за самозванцем, Глеб с каждою посылкой на почту писал жене с похода. Он сообщал ей, как разбитый у Сальниковой ватаги Пугачев переправился через Волгу на рыбачьей лодке, а его сообщники прямо вплавь, подвязав к хвостам лошадей плоты из тальника с уложенными на них ружьями и одеждой, и как самозванец, спасаясь от налетевших на него команд Суворова, бросился сперва к елтоновским озерам, а оттуда, по слухам, в болота и камыши Узеней, с целью перебраться к черням и пескам у Каспийского моря и скрыться у дружественных ему ханов в Персии. «Задуманный план злодею не удался, — писал Дуганов жене. — Его главные пособники, Творогов и Чумаков, измученные бесполезным скитанием и голодом, поняли, что их дело потеряно и, уговорив других, решили мнимого государя связать при удобном случае и отвезти для выдачи законным властям в Яицк. Этот случай скоро представился. Сегодня в степи нам встретился верховой киргиз: он клялся, что вчера на привале, на Узенях, где раскольничьи старцы-монахи поднесли Пугачеву освежиться арбузов и «буквы», степной здешней репы, казаки-заговорщики выманили у него походный нож, как бы для того, чтоб разрезать огромный арбуз. Один из них крикнул: «Ты не государь, а Емелька! Вяжите его, братцы!» — а прочие схватили его, сняли с него шашку и стали вязать ему руки. «Как смеете так поступать с государем?» — крикнул Пугачев. «Нет, брат, теперь уже не обманешь! — ответили ему казаки. — Полно проливать безвинную кровь!» И представь, самозванец до того растерялся, что заплакал, божился, что не уйдет, и молил, чтоб его не вязали. Но едва посадили его на лошадь, он из всех сил

погнал ее и ускакал. Его догнали, сбили тупыми концами копий с седла и со скрученными за спину руками вновь посадили на другую, тощую лошадь. Арестанта, по слухам, повезли на Бударинский форпост, взятием которого осенью минувшего года начались все злодейства Пугачева, а оттуда препровождают в Яицк, куда из всех сил скачем, по этим пустыням, и мы».

«Радуйся, милая, дорогая Маша, — писал жене 15 сентября Дуганов, — мы в Яицке, и сюда же сегодня прибыл наш главный начальник, генерал-аншеф Суворов. Он тотчас принял в свое распоряжение злодея, выданного капитану Маврину. Я сосчитал — Пугачев свирепствовал почти ровно год, поднял знамя бунта 18 сентября прошлого года, а выдан и закован в кандалы нынешнего 15 сентября, описав истребительный круг злодеянии и крови — от Яика за Урал, к Казани и Курмышу, а оттуда — через Пензу, Саратов и Царицын — к Черному Яру и Узеням, — более чем в две тысячи верст. И странное совпадение: при обыске нашли у него кошель с золотою, серебряною монетой, и как думаешь, что оказалось среди последней? Медаль, выбитая двенадцать лет назад на погребение того самого покойного государя Петра III, имя коего он, невежда-злодей, столь дерзостно принял на себя. А наш Астафий Трифонов бежал от Галахова и Рунича на одном из ночлегов, увезя с собой и деньги, присланные за выдачу злодея... Для препровождения Пугачева к главнокомандующему графу Панину в Симбирск, по приказу Суворова, сооружается особая, на четырех колесах, деревянная, как бы звериная клетка и формируется конвой, из двух рот пехоты, с конною казачьей эскортою и двумя пушками. При этом конвое, в числе других офицеров, назначен шествовать и я».

В начале октября Мари получила от Глеба письмо из Симбирска, где он, передавая о привозе и представлении самозванца графу Панину, описал, как Пугачев, увидев графа, упал перед ним на колени и на его вопрос: «Как ты, изверг, дерзнул назваться царем России?» — оторопелым,

но ясным голосом при всех ответил: «Виноват перед Богом, государыней и министрами».

В течение октября Мари получила еще несколько писем от Глеба. В них он, передавая подробности о шествии с арестованным самозванцем, сообщил, между прочим, что на всех растахах их встречали особые гарнизонные команды, заготовленные князем Волконским, для охраны злодея от разъяренного против него черного народа. «Веришь ли, Машенька, — писал Глеб, — не только на всем пути от черни, но даже от колодников, недавних пособников изверга, изловленных в разных местах и, как и он, сгоняемых на разбор дела в Москву, нет нам отбоя. Все рвутся взглянуть на страшилище России, громогласно клянут его и, распалясь, грозят и готовы, если б не охрана, разорвать его на части. И еще вообрази, что я узнал давеча в Рязани... ты не ожидаешь... Известный нам обоим, сосланный отцом на завод, но оттуда скрывшийся, Федор Прядышев, уличенный в измене и нахождении в шайках Пугачева, был арестован в Курмыше; но, очевидно, подкупил гарнизонную стражу, под конвоем коей пересылался в партии прочих колодников в Москву и на днях, по выходе из Рязани, бежал, как слышно, с деньгами и добытым оружием. Бедный рязанский воевода в горе, боится ответа. Впрочем, его утешают, что этому арестанту долго не быть на воле, так как и родитель Прядышева не дерзнет укрывать такого преступника, и сам он, по наклонности своей, убежав, начнет, вероятно, прежде всего тем, что где-нибудь не выдержит, запьет, а потому без особого труда и выдаст себя.

Второго ноября Мари получила, наконец, письмо мужа из недалекой Коломны и, в радостных слезах, бросилась на шею гостившей у нее Шимковой.

— Ах, Надя, ах, мой друг! — вскрикнула она, едва владея собой. — Представь, Глеб... Уже в Коломне... Пишет, вот письмо!.. Послезавтра он будет в Москве. Едем, голубушка, завтра навстречу.

— Но нас не допустят.

— Как, да он из главных при страже. Едешь? У меня и шубка новая, и капор...

— Едем.

Москва заволновалась в ожидании привоза Пугачева. Улицы, площади и паперти церквей были полны народа. Все расспрашивали друг друга, собирались идти навстречу проклинаемого в церквах злодея. Множество пешего люда, богатых крытых возков, колымаг на полозьях, простых кибиток и пошевней потянулось из Рогожской заставы, по рязанскому тракту, к Бронницам.

XXXI

Около полудня третьего ноября к постоялому двору на окраине Бронниц съехался ряд экипажей, тройками, четвернями и шестерками. Невдали, против постоялого, виднелся окруженный частоколом острог; в переулке, за двором постоялого, был кабак. Съехавшиеся из Москвы любопытные не сводили глаз с ворот острога, стража которого с минуты на минуту ожидала прибытия Пугачева, и не слышали пьяных возгласов и песен, несшихся из кабака.

— Чтой-то, братец, у вас неприличие какое? — вполголоса спросил соймоновский кучер, указывая с козел подошедшему мещанину на переулок.

— Иоська-кабатчик мени́нник, — ответил мещанин. — Блаженного пресвитера Иосифа ноне, а у Иоськи дочь просватана — с утра он и угощает.

Кучер стал высматривать городских знакомцев. Экипажи и лошади Нелединских, Вязмитиновых, Архаровых и других были здесь; дугановских еще не было видно. Из улиц показалось несколько бегущих мальчишек. За ними, отдельными кучами, следовали взрослые. Повалила вскоре сплошная толпа. Все, оглядываясь, спешили к острогу. Махальный на соседней полицейской каланче дал знак. Выстроенные у острога солдаты по команде офицера вытянулись, взяв ружья

на плечо. Из-за невысоких, с черепичными и соломенными кровлями домиков показалась просторная рогожаная побелевшая от инея кибитка, справа и слева окруженная казаками. За нею в сопровождении пехотного отряда двигались на колесах две медные пушки. «Пугачев! Пугачев!» — пронеслось в толпе народа, запрудившего площадь перед острогом. Все ближе надвинулись к последнему. Туда же, кое-как пробираясь между толпой, подъехали и экипажи, а за ними протиснулись и гости именинника кабатчика.

— Так вот он, вот, — толковали в народе. — Мать Пресвята Богородица! Иисусе! И такой плюгавый, отрепанный, с бороденкой объявился царем! Почешет тебе, паскуднику, спину-то и ребра кат!

— Только-то? Спину да ребра? Ну, брат, за таки убивства да за пролитие тысячей крови нешто помирятся на том?

— Кончилось мужичье царство! — рассуждали в то же время в колымагах и возках. — Алчному тигру не властвовать, не пить больше крови... А, смотрите, наш-то Дуганов, Глеб Андреич...

— Где он? Где?

— Да вон, у кибитки, следит, как изверга высаживают казаки...

— Почему он тут?

— Разве не слышали? Он и Повалошвейковский причислены к отряду Галахова... Узнает ли? Хорошо бы подозвать его, расспросить.

Начал падать снег. Пугачев медленно вылез из кибитки, отряхнулся, искоса, как подстреленный волк, глянул на народ и бар, смотревших на него, и, звеня ручными и ножными кандалами, пошел среди конвоя в ворота острожного двора. В переднем ряду любопытных в это время стоял протискавшийся сквозь толпу рослый и плотный, в старом тулупе и меховой шапке, с опухшим и потемнелым лицом пьяный прохожий. Его налитые кровью глаза впивались в Дуганова. То был бежавший из-под стражи и направлявшийся к отцу Фе-

дор Прядышев. Он узнал Глеба. «Так вот где встретились! — думал он, охваченный дрожью, вглядываясь в Дуганова, — Ты счастлив, в почете — да каком! — самозванца на суд и казнь везешь! А я? Не укрыться, видно, изменнику-бродяге, везде найдут... Одна судьба, один конец!» Обрывки пережитого проносились в его хмельной голове. Смутно вспомнился ему спектакль у Соймоновых, бегство с Серафимой, приезд в Киев, цыгане, Луша, попойки, прибытие отца с Глебом, высылка за Урал и гибель Серафимы в Курмыше... Снег падал, осыпая ему лицо. Мрачные, дикие помыслы пронизывали его холодом и жарою. Что-то безобразное, подавляющее росло и поднималось в его душе. И в то мгновение, когда нежданно окликнутый знакомым голосом Глеб оглянулся, увидел перед собой Прядышева, на секунду удивленный этой встречей, остановился и с радостною улыбкой бросился на зов к чьему-то подъехавшему возку, Прядышеву показалось, что Глеб, приметив его, спешит его арестовать. Он рванулся из толпы, выхватил из-за пазухи пистолет, взвел курок и прицелился. Раздался выстрел.

— Ай-ай! Держи его, держи! — послышались крики. — Убили...

— Кого?

— Офицера... Гляди! Насмерть, видно! Упал, сердечный...

Дым от выстрела рассеялся. Схваченного Прядышева окружил народ. Шапка с него свалилась, тулуп был разорван. «Кушаки, ребята! Вяжи его!» — кричали одни. «На суд! На разбор самозванцева-то приспешника!» — кричали другие. «Сами, православные, разберем! Бей окаянника! В смерть его, пса!» Толпа навалилась на схваченного. Мелькали дубины и кулаки; летели клочки тулупа. Освирепевшая толпа мяла и терзала беспомощно хрипевшую жертву.

Галахов, Рунич и Повалошвейковский бросились к упавшему Дуганову.

— Что с тобой, голубчик Глеб Андреич? — спросил Галахов, нагнувшись к нему и расстегивая на его груди окровавленный мундир. — Ты ранен? Где?

Глеб не отвечал. Его большие черные глаза спокойно и кротко смотрели с бледного, неподвижного лица, как бы говоря: «Что с вами? Из-за чего тревога и смущение? Разве не видите? Я счастлив, счастлив вполне».

— Пустите, пустите! — раздался вопль среди экипажей.

Толпа расступилась. На площадке показалась молодая бледная женщина в голубой атласной шубке и собольем капоре. Она подбежала к столпившимся офицерам, вскрикнула: — Глебушка, Глеб! — и, рыдая, припала к простертому на снегу Дуганову.

— Кто это? — тихо спросил Галахов даму, помогавшую ему и товарищам его приподнять и привести в чувство упавшую.

— Боже мой! Жена его, жена! — ответила дама. — Но он, скажите, жив ли?

— Успокойтесь, жив, но сильно ранен, — ответил Галахов, — а того, тулупника, очевидно, порешили.

Четвертого ноября 1774 года Пугачева торжественно ввезли в Москву, на Монетный двор; десятого января его казнили за Москвой-рекой, на Болоте.

Гостивший у Дугановых и ухаживавший за больным еще Глебом Травкин присутствовал при этой казни. Благодаря служебным связям Глеба Силе Фомичу удалось поместиться у самого эшафота. Он видел, как самозванец, едучи по улицам, переполненным народом, на высоком помосте, устроенном поверх саней, держал в исхудалых руках большую горящую свечу желтого воска, таявшего от ветра и обливавшего ему судорожно стиснутые руки. Травкин видел, как Пугачев, взведенный на эшафот, молча выслушал приговор к четвертованию и «с уторопленным видом» стал кланяться на все стороны, громко повторяя: «Прости, народ православ-

ный! Отпусти, чем согрешил перед тобой! Отслужу, отслужу!..»

«В чем это он, изверг, надеется отслужить? — удивился Травкин. — Неужели и вправду, как уверяли, полагает, что такого небывалого злодея могли бы простить и дать ему загладить его вины на ином, хотя бы ратном, поприще?» Травкину вспомнился лагерь самозванца под Саратовом, виселица над оврагом и пляска его крестника перед пьяными душегубцами. Он не спускал глаз с эшафота. Также пристально вглядывался в самозванца и один из осужденных с ним преступников, стоявших на соседнем эшафоте. То был взятый в плен после сражения, приговоренный к кнуту и вырезанию ноздрей, старый уметчик Оболяев, он же и Еремкин-курица. Бывший хоругвеносец самозванца, с трепетом глядя теперь на скованного Емельку, вспоминал дни, когда Пугачев, проживая у него на умете, нежданно объявил себя царем и, увлекая других, таких же, как он, Оболяев, слепцов, пронесся по Заволжью потоком крови и пожаров. Пугачев, быстро подхваченный в это мгновение палачами, снявшими с него белый бараний тулуп и кандалы и рвавшими рукава его шелкового малинового полукафтана, стал было из всех сил упираться, но вдруг, как бы поняв весь ужас неизбежной, надвигавшейся над ним развязки, беспомощно всплеснул руками и, как чурбан, опрокинулся навзничь. По площади пронесся смутный гул...

На высоком столбе эшафота показалась воткнутая на железную спицу отрубленная, растрепанная и облитая кровью голова Пугачева.

— Вот тебе и корона, вот тебе и престол! — толковали в многотысячной толпе, теснившейся к эшафоту. — Тоже царем, сиволапый, захотел быть! Сказывали — туз, богатырь... Куда! Бородка жидехонька, и весь-то, ну, харчевник плюгавый, одно слово — мелкота...

«Да, — рассуждал Травкин, едучи с казни, — мелкота!.. А каких дел натворил! Сколько пролил крови, грозил двум столицам, да и им ли только грозил?»

В Москве говорили, что рана Дуганова не заживет, что он безнадежен, и одно время носилась даже упорная молва, что он скончался. Благодаря неустанным заботам Мари он остался жив, выздоровел и с наступившим летом уехал на родину, в Малороссию.

Весной, перед отъездом с мужем в деревню, Мари неожиданно получила письмо от Спесивцева. Это письмо было помечено 15 февраля 1775 года. Находясь для излечения в Италии, он писал ей, что на днях, от заезжего москвича, он случайно узнал печальную весть о роковом событии с Глебом Андреевичем и о его нежданной кончине. Спесивцев спрашивал, верен ли этот ужасный слух, скорбел о потере Марьи Родионовны и просил простить ему то, что невольно рвалось высказаться из его сердца. «Я когда-то был на волоске от смерти, — писал он Дугановой, — и теперь еще далеко я не Голиаф, едва, как видите, вожу пером; по-прежнему кашель и кашель... Но все превозмогает и, смело надеюсь, превозможет великая и могучая сила природы. А когда среди этой чудной южной весны, среди вновь зацветающих роз, сирени и гелиотропов (сравните с ними снега и морозы родного февраля в Москве!) воскресший безумец снова примчится к вам, о чем он только и мечтает на чужбине, и решится, наконец, сказать вам то, что давно таилось в его душе и о чем он не дерзал вам доныне даже намекнуть, — неужели вы не поверите ему, отвернетесь от него? Нет, вы пожалеете его, протянете руку обожающему вас безумцу».

Летом, уже в деревне, Дуганова, разбирая на балконе свои бумаги и как бы нечаянно вспомнив об этом письме, дала его прочесть Глебу, сидевшему здесь с кипой новых, привезенных с почты листов «Московских ведомостей».

— И что же ты отвечала ему на это? — спросил Глеб, прочтя письмо и помету на нем.

Его голос слегка дрожал; в глазах, устремленных на жену, мелькнуло томительное недоумение и как бы испуг.

Марья Родионовна заметила это. Она вынула из шкатулки и подала мужу другое письмо, с черною каймой. В ней незнакомый ей человек, на французском языке, по обещанию, данному им, как он выразился «соседу по загородной вилле» — русскому врачу Спесивцеву, — извещал ее, что названный Спесивцев — 20 февраля того же 1775 года, к сожалению всех, знавших его, скончался близ Палермо, на вилле «Fortuna dolce».

— Бедняк прожил после своего письма всего пять дней! — сказал, покачав головою, Глеб. — Жаждал так жизни, стремился на родину.

— Зато, пожалуй, и счастлив... Умер в надежде, не дождавшись моего ответа! — произнесла, с затаенным вздохом пряча письма, Мари.

В деревне Глеб Андреевич окончательно оправился, по совету матери вышел в отставку, съездил в Курмыш за осиротевшим сыном Алексея, Колей, и принял опеку над ним и над его имением.

В заботах о воспитании сына и племянника Глеб и Мари прожили в Малороссии тихо и счастливо длинный ряд годов.

По смерти матери Глеб занялся устройством Ракитного, развел новый плодовый сад, увеличил запашку, вырыл несколько прудов в степи, выписывал хозяйственные журналы и служил по выборам. Он держал себя со всеми чинно, но ласково, был всегда чисто, со вкусом одет и тщательно выбрит. Глядя на него и на Мари, посторонние говорили: «Вот голубки эти Дугановы! Входят в преклонные лета, а, кажись, влюблены доныне друг в друга, как юноши, не наглядятся один на другого». Случались, впрочем, иногда вспышки былого, забытого недуга. Глеб ни с того ни с сего, дома или в гостях, среди знакомых, добродушно оказывавших Мари знаки душевного почтения, вдруг чувствовал приступы обуревавшей его ревности. Он мгновенно бледнел, лицо его подергивалось судорогами, и в глазах сверкал зловещий огонек.

Но это длилось недолго. Он выпивал залпом, как бы от жажды, стакан-другой холодной воды и, когда был в гостях, немедленно уезжал, увозя с собой под каким-либо предлогом и жену, а если был дома — садился на коня и, как безумный, скакал по полям. За столом, у вечернего чая, все проходило и забывалось. «Ах, Маша, как я счастлив, — говорил он тогда, целуя руку жены и глядя на сына. — Такая ты добрая у меня, прощающая!»

Прошло двадцать пять лет. Сыновья Глеба и Алексея Дугановых, Василий и Николай, выйдя из кадетского корпуса, давно находились на службе, в одном из кавалерийских полков. Ракитным заведовал, как всегда, сам Глеб, Горками — крестный сын престарелого, еле уже двигавшего ноги, но еще бодрого душою Силы Фомича — Борис Травкин, прозванный с Пугачевщины «плясуном». В 1799 году двоюродным братьям привелось, с армией фельдмаршала Суворова, совершить поход в Италию, где оба они участвовали в знаменитых битвах, при Требии и Нови, против «корсиканского Пугачева», как Глеб называл Наполеона. Возвращаясь из похода с наградами за отличие, один — орденом, другой — чином, они решили сюрпризом заехать в Изюмский уезд, в Ракитное, где по-прежнему, безвыездно, мирно и счастливо жили Глеб Андреевич и Марья Родионовна и куда, как братья знали из писем, они около того времени ждали из Москвы Шимкову, а из Горок — Травкина с крестником-плясуном.

Едва со стороны деревни послышался звук их колокольчика, над столетними дуплистыми ракитами и липами сада поднялась с криком исполинская стая ворон и грачей.

— Точно нашего Суворова на смотру армия приветствует! — сказал Василий Дуганов брату, с улыбкой глядя на крылатые полчища, горланившие в небесной синеве.

— А вон, смотри, вон! — произнес Николай Дуганов, указывая из-за деревьев на дом, к которому они мчались.

Там, на обветшавшем крыльце, виднелся загорелый и седоусый, как всегда, прифранченный, в белом пикейном рединготе, Глеб Андреевич, рядом с ним, в палевой косынке на седых волосах, Марья Родионовна, с крошкой крестницей Фимочкой, дочерью Бориса Травкина, а возле них — Шимкова и махавший платком Сила Фомич. Все они сидели перед тем у стола, где Марья Родионовна кончала метки на белье, заготовленном для сына и племянника, а Глеб читал газеты, поданные ему старым Дроном, которому господами было разрешено постоянно ходить в особой плисовой шапочке с наушниками вследствие потери ушей, отрезанных у него «на память» в Курмыше Михельсоном.

Радостные слезы текли по красивому еще лицу былой Мари. Облокотясь на руку мужа и глядя на подъезжавших путников, она счастливо улыбалась. Не помнила Марья Родионовна в эти мгновения ни черного пугачевского года, ни других бед и горестей, пережитых ею. Ей вспоминалось одно, что в это мгновение она была вполне и бесконечно счастлива. «А если, — мысленно говорила она себе, — если этому счастью, как всему на свете, суждено когда-нибудь кончиться, Ты, Господи, охранял рабу Свою... приду под охрану Твою, прими тогда с миром!»

1887 г.



Слобожане

МАЛОРОССИЙСКИЕ РАССКАЗЫ

ВВЕДЕНИЕ

Лучше быть первым в местечке,
чем вторым в Риме!
Юлий Цезарь

Малороссия историческим путем образовала три отдельные страны. Запорожье, это славянское рыцарство, единственное в мире братство, жившее войной за родину и веру, представляет шумную, живописную вольницу днепровских островитян, летавших в легких лодках, с выборными атаманами, из бревенчатых куреней за шелками, коврами и золотом Турецкой Анатолии. Гетманщина, старая степная Гетманщина, где на кровавом поединке решен спор между туземным населением и польскими старостами, между православием и иезуитами, где вращались тени «Тараса Бульбы» и «гайдамаков» — представляется с своими сожженными городами, с гетманами и бунчуками, слепцами бандуристами и отважным казачеством... Третья часть Малороссии, молодая, светлая страна, степная Слобожанщина, представляет тихий, благодатный, живописный край, зеленые сады и пажити, широкие реки и торговые широкие проселки, леса и города, молодые и богатые, как сам край, старину, у которой нет ни одного воинственного, громкого имени, ни одного воинственного, громкого события, много счастливых хуторов и слободок, мирных добряков, лелеющих мечтательную лень среди зеленых весей и полей, героев домашнего очага, картин пустынных гладей, усе-

янных душистыми цветами, и этой благодатной старости и привольного детства среди тысячи предметов, питающих чудесность и страстную любовь к родному приюту... Что же это такое, Слобожанщина, и откуда она взялась? За двести лет страна, именуемая Слободскою, представляла пустыню безлюдных степей и диких лесов, по которым носились одни дикие татары и где возвышались одни дозорные места пограничных обывателей. Четыреста лет сряду эта богатая область была безлюдна и пустынна, с той самой поры, как набег ордынцев опустошил ее вместе с соседними русскими княжествами. И вот потомки ее владельцев вспомнили о покинутой отчизне... Донец, на триста верст протянувши логовище своих вод, леса и сенные раздолья, родной Донец принял забытых родичей, как некогда он же, по словам певца старого времени, принял издалека князя Игоря. Золотая, туманная старина встала из мрака. Донец, по словам вещего «Слова», сказал Игорю: «Княже Игорю! Не мало ль тебе ныне величия, а врагу нелюбия, а Русской земле веселья?» И отвечал родной реке князь Игорь: «О, Донче! Велик ты, лелеющий князя на волнах своих; велик ты, стелющий ему зеленую траву на серебряных прибрежиях, велик ты, одевший его темными мглами, под сению зеленого полесья!» Прошли многие столетия, и описанное певцом старого времени снова возникло... За двести лет назад близ берегов Донца, верхом на изнуренном коне, показался чубатый гетманец с пищалью и котомкой за плечами, в изношенной черкеске и синей шапке, подбитой смушками. Он окинул взором безмолвную пустыню лесов и полей, где жили некогда его мирные деды, страну, четыреста лет не видавшую своих родных изгнанников, и слез с усталого коня... На диком, глухом месте скоро поднялся уединенный курень; на заре дым легкою струей встал над куренем; через год в соседстве раскинулась пасека, в прибрежном тростнике заколыхался под рыболовной сетью челн... Немного лет спустя вокруг куреня поднялись, как из земли, другие бревенчатые курени. Из куреней возник хуторок, хуторок с садами, бахчею, колодцами и хлебными кладями... Пять-шесть хуторков соединились вниз

по реке в один, и возникла слободка. Слободка пустила в степь, как корни, свои хутора и курени, свои сады и огороды; народ засновал по перелескам и луговинам; стадо вышло на тучное пастбище; над оврагом заскрипел тяжелый воз, запряженный парой круторогих волов; вечером, севши на пороге хатки, чернобровая слобожанка затянула песню громкую и звучную; в праздник из слободки понеслись звуки церковного колокола... Прошло еще несколько лет. На вершине кургана показались усы и рысья шапка татарина... Слободка засуетилась, окружилась палисадником; из ее ворот вышел с распущенными значками легкий, летучий, бесстрашный отряд; быстрый натиск сломил и разметал врагов; слободка стала крепостцой, откликнулась другим городкам-слободкам, и пошла по свету весть о новой стране, о молодой, богатой Слобожанщине! Великий царь Алексей Михайлович объявил во всеуслышанье, что дарит русскому шляхетству и казакам Гетманщины и Запорожья земли по Донцу и соседним рекам, и бросили русское шляхетство и вольные казаки землю смутную и обагренную кровью, бросили Гетманщину и Запорожье для тихой, новой страны, для страны хуторов и слободок! Богатый край, под одной широтою с Северным Китаем и Северной Францией, край, почти с тремя миллионами десятин черноземной, нетронутой плугом степи и полумиллионом десятин лесов, край, где реки замерзают в начале декабря, а вскрываются в начале марта, где мороз постоянно не более десяти, а зной на солнце превышает тридцать градусов; где, наконец, уже в апреле все дышит весной, летят птицы, цветут деревья и кустарники, а в конце июня поспевает озимь, — этот край скоро возродился и закипел жизнью... Сперва отдельно, потом с семьями, наконец, целыми сотнями и тысячами семейств стали бежать и переселяться в Слобожанщину гетманские и запорожские казаки и русское шляхетство. Лучшие дворянские фамилии переселились в окрестности полковых сотенных городков. Выборные полковники продолжали раздавать, безоброчно и беспошлинно, леса и водяные мельницы, вольные грунты и сенные угодья, ольховые пристены, озера и пасеки.

Там, где четыреста лет сряду носились дикие татары, где шла уединенная и редко оживляемая пустынными обозами, по гребню возвышенности, пересекающей слободскую котловину, дорога в Крым, именуемая Муравским шляхом, там к началу нашего столетия было уже до шестисот церквей и до миллиона жителей. Реки усеялись винокурнями и мельницами. Луга и лесные раздолья наполнились косарями. Плуг пошел по косогорам и тучным прибрежьям. Амбары и степные одонья стали ломиться от хлеба. Богатства полились в руки землевладельцев! Скоро на земли слободские явились пришельцы чужеземные, сербские и болгарские переселенцы, румыно-валахи и, наконец, молдавские аристократические роды, положившие начало новым туземным фамилиям. Молодой университет поддержал литературные начинания, и в пятьдесят лет слобожане встретили сряду три громких имени: Сковороды, Каразина и Основьяненка! Слобожане вошли в пословицу своим богатством и, когда их живописная родина получила имя Русской губернии, на гербе новой губернии изобразили рог изобилия... Здесь север и юг отдают друг другу свои достояния. Сюда из Крыма прилетают аисты и пеликаны, с Кавказа заходят дикие козы! Реки и озера, полные рыб, здесь не замерзают целые две трети года. Ленивый плуг царапает землю, и посеянное зерно родит сам-шестьдесят. Это — не запорожская луговина, обнаженная и палимая солнцем! Здесь каждый овраг, каждый буерак зарос кустарником, а широкие реки с обоих боков тянут стены дремучего леса, на который взглянуть, так шапка валится! Трехпольное хозяйство не тяготит пахаря. Он запряжет в тяжелый плуг три пары волов, с погонычем-мальчишкой распашет в три дня две десятины и надолго спокоен... А сады его? Поезжайте-ка в Валковский уезд, так такие сливы и бергамоты, что не зубами, а губами их ешь, раскусишь, а они душисты, и сочны, и янтарны, и прозрачны, как липовый сот, и ни с чем в мире не сравнятся! В окрестностях Волчанска и Богодухова удивительные пчеловоды. А в Изюмском уезде найдете и сахароваров... С виду как будто и ничего эти слободки! А поезжайте к ним

поближе: дикая смесь соломы и глины, стогов и садиков, эти изгороди, перегородки и обгородки, эти клети, клеточки и подклетки вас ошеломят сразу! Зато как присмотритесь, что недаром слобожанин строит свои ульи и свои хаты из чистого липового теса, как присмотритесь и увидите вокруг этих светлых, белых мазанок пышные нивы пахотей и раздольные сеножати, как увидите, что все эти клети и подклетки, все эти перегородки и загородки полны домашней утвари, нарядов и хлеба, а ветви садиков гнутся и ломятся от яхонта слив и багрянца вишен, вы не то скажете. Вы скажете: чуден край этой благодатной Слобожанщины! И как ему не быть чудным! А прошу покорно усидеть охотнику на месте, когда зимой вышел в сад, а зайцы так и шныряют между кустами и щепами!.. А кто хочет пожить весело? Что вы скажете о Харькове? Где вы видели такой город? На Руси немало городов, о которых мягкосердые проезжие и услужливые обыватели постоянно говорят: «Да помилуйте-с! Да это уголок Петербурга-с». Но ни один русский город не заслуживает подобного отзыва, как Харьков, если только автор не будет также обвинен в излишнем мягкосердии и тайном покровительстве всех беспечных, чернобровых, добродушных и счастливых! Давно ли возник этот Харьков! Давно ли возник он на берегах Лопани и Нетечи, на берегах великолепных рек, которые могут поспорить красотой с Мансаресом потому, что и в них, подобно ему, летом едва хватает воды для гусей и уток! Не один из современников может применить к этому городу слова Августа: «Я застал Рим кирпичным, а оставляю мраморным!..» Что же представляет наш Слободской край в нынешнее время? Роскошная, нетронутая почва ждала только свежих рук и здоровых, свежих сил. Руки явились, семя брошено, и стройное дерево, не найдя на матерней почве враждебных, закоренелых, старых плевел, дало здоровый, свежий плод. Молодое общество созрело. Его могут упрекнуть только в молодости его; но это — порок, от которого мы исправляемся каждый день! Развитие деревенской жизни, как главное выражение края,

уклонившееся было от своих начал под общим модным поветрием века, стало снова перерождаться. Брошенная родная нива стала снова дорога владельцу. Забытые дедовские дома, стоявшие без мебели и окон, обновляются... И вот мы снова живем в своих хуторах. Лето всюду упоительно; не радует сердце одна жестокая, неумолимая зима! Но, быть может, и с нею мы сладим! Вечером, когда метель кружится и ветер воет в трубе, когда новая книга усыпляет, а болтливая газета, описывающая дебют нового дарования на берегах ликующей в снежном покрове Невы, валится из рук, — неожиданный колокольчик звякает по слободке, в темные ворота влетают тройки, тройки, в наметах и бубнах, и толпа соседей и соседок врывается в дремлющие комнаты... Шубы и шапки сброшены; рояль гремит под иззябшими пальчиками хорошеньких хуторянок! Шум, беготня... Старая ключница Аграфена, фрейлина бабушки и няня маменьки, дочек и внучек одной и той же семьи, — едва успевает отвечать на вопросы гостей, заказывающих ужин! Хозяин с сияющей улыбкой несет свечи в гостиную; гувернантка двух капельных крошек строгая Евгения Ивановна, ученая девица с добрым сердцем и прекрасными темными глазами, улыбается и складывает тетрадки и книги... И в мгновение ока тихий дом превращается в бальный зал, и целые недели гостят соседи у соседей! И выводится, наконец, в новом обществе дикое понятие, что одна скука рождает такое гостеприимство! Скука рождает зеленое море карточных столов, а не гостеприимство. Скука рождает все в этом мире, все, кроме гостеприимства. И плохо знают наши отдаленные области те, которые находят такое начало русскому областному гостеприимству! Нет, господа! Не медведи-степовики те, которые, изведав свет, хозяйничают и трудятся на клочках родной земли! Не медведи-степовики те, которые, выучившись, сами учат и, просветясь, идут в работе наравне со своими последними работниками! Эти медведи, господа, прежде вас выгнали плутов-приказчиков и сами возделывают данную Богом ниву! Они, господа, прежде вас стали выкупать имения из долгов, снятие

недоимок стали считать семейными праздниками и, входя в нужды крестьян, наполнять тишиною и счастьем свой домашний угол!.. Разумеется, везде есть исключения. На почву бросается сто зерен, а между тем девяносто девять не всходят, и всходит только одно зерно, которое зато возвращает посев сторицею! Эти-то исключения и любопытны, привлекательны потому, что ими еще резче обозначаются красоты целого, привлекательны и любопытны потому, что в наше время, более чем когда-либо, интересуются знать, как живется русскому человеку всюду, в костромских и в орловских лесах, на взморьях и в оренбургских равнинах, в городах и по великим русским рекам — везде, где русский дух и Русью пахнет...

Не все одинакого понятия о Малороссии, об этой житнице южной отчизны нашей. Для одних это — страна, где проживают ленивейшие в мире пожиратели вареников, о которых ходит по свету столько уморительных анекдотов — анекдотов, с которыми сравняются одни анекдоты об англичанах. Для других это — что-то до сих пор еще дикое, отсталое, где говорят на тарабарском наречии, носят чубы и ездят на волах. Для третьих веселонравная и простодушная хохландия — место, где винокурни держать очень выгодно, народ глуповат, хотя подчас лукав, арбузы нипочем, в деревне скука страшная, соседи неучи и женщины довольно, однако, красивы... Для четвертых, наконец, Малороссия — что-то такое, как бы вам сказать, такое странное, над чем иные восхищаются, как над Италией, и чего, впрочем, они никогда не узнают потому, что туда ехать страшно долго и неприятно, а они лучше поедут на Крестовский или в Новую Деревню — там, по крайней мере, весело, немец ходит по канату и музыка играет!.. Жители-туземцы тоже не одного понятия о Малороссии. Одни ее любят, другие совсем не любят; одни ею восхищаются, другие ею нисколько не восхищаются! Объяснимся примером... Был некоторое время соседом моим помещик по фамилии Ганчирка. Наливки он предпочитал всяким на свете заморским винам, никогда не брился, с утра до вечера ругался со смазливой ключницей и

знать не хотел ни о чем, кроме своего хутора! В числе других странностей было у него, между прочим, одно довольно любопытное убеждение. «Да помилуйте, — говорил он, улыбаясь так радушно и искренно, что и слушающие его при этом невольно улыбались, — да это подлецы-французы все выдумывают! Ну, поверьте мне, что нет на свете ни Парижа, ни Лондона, ни Америки! Ну, ей-Богу же, нет! А это все черти-французы выдумали!» Господин этот, как видите, весьма любопытный господин! Но рядом с ним существуют между нашими и такие, которые решительно не имеют понятия о том, что делается у них в деревне, такие, которые очень спокойно курят трубку где-нибудь в Гороховой, носят свои бобры напоказ мирным сослуживцам на Невский проспект, очень довольны картофельным супом варвара-кухмистра, где-нибудь на Васильевском острове, и в частой бессоннице, после карточной перепалки, мечтают о том, что вот, со временем, заведется у них этакая славная карета, на лежачих этаких рессорах и с этаким, черт возьми, жокеем в ботфортах! Но и подобные не выдержат! Попадись им инвалид-старик, храбрый русский воин из степи, для которого до смерти не существует слова «слушаю», а существует слово «чую», услышь они в частном доме занесенную Бог весть откуда степную песню, песню чудную, простую, от которой весело становится на душе, хоть бы ничего веселого на душе не было, — воскресшее сердце подхватывается на крылья воображения, подхватывается и уносится в далекие степи, в широкие степи, на тихий, сбежавший к речке хуторок, в маленький домик, где странник далекого края родился, где прижимала его к теплой груди стройная, черноглазая, добрая матушка, где он ползал и бегал, рос и проказничал, где пролетели незаметно его далекие, невозвратные младенческие годы! И рад он, и плачет тогда, и стремится всей душой вдаль, вдаль, прочь из душного города, и выходит в его мыслях клочок земли, несколько знакомых десятин родной земли!.. И рад он этой земле, рад этим десятинам, рад более всего в мире уголку — уголку, не знаемому светом, деревушке с доброй дворней, с доброй старой няней, с темной большой залой,

с гостиной, увешанными портретами предков, с отцовским кабинетом, где щегольский подбор ружей и охотничьих снарядов висит и сверкает за стеклами, и с этой перспективой тихих, раздольных окрестностей, тонущих в сумерках летней зари! И горд он, бедный степняк, тем, что, когда наступит время силам отойти на покой, найдет он на родине приют, где спокойно склонит усталую голову, найдет ряд детских воспоминаний, связанных с каждым кустиком, с каждой травкой, с бедным, источенным молью стулом и ветхим дедовским диваном... О, господа, ничто в мире не сравнится со счастьем бедняка, мечтающего о счастье!.. И вот в долгий зимний вечер, когда уже ничто не влечет рассеяться, когда театры полны радостной толпы и быстрокрылые экипажи гремят и несутся по улицам, — в такой вечер невольно мечтается о других местах и о других картинах! О, как бы хотелось тогда распахнуть промерзлое окно и встретить не пасмурное, холодное небо, не громады каменных, безмолвных домов, не театры и улицы, не гранитные и деревянные мостовые, а волшебным манием представшую степь — степь с панорамой лугов и пашен, с пестрой панорамой широкой реки, медленно идущей среди высокострельчатых, темных стен леса, уединенный курган с каменной, вросшей в него бабой, островерхий дозорный курень бахчевника, ряд красивых, нанизанных вдоль тощего ручья холмов и оврагов, ленивый, скрипучий обоз чумаков, хуторянскую ярмарку с криками, топотом и гамом хуторянского веселья, белеющий вдали дом помещика, дом старика хлебосола, готовящего отчизне пятерых молодцов-сыновей и красавицу дочку, ужин косарей в поле, бег степного дикого табуна, распеваемую на заре долгую, чудную украинскую песню — и всю эту дивную картину, которой имя — родина...

I

СТЕПНОЙ ГОРОДОК

Никто так не гордится своим положением, как житель тихого степного городка — городка и с улицами, и с домами, и с аптекой, и с лавками, городка настоящего, среди пустынь да полей и полей, полей без конца и оглядки. Это правда, местоположение городка незавидно; посмотрите на него: он непременно над рекой, широкой, но мелководной степной рекой, и потому у него справа песок, слева песок, спереди песок, везде песок! Так что зимой он похож на чернильницу, а летом на песочницу, и молодые подсудки его, вообще большие охотники до игры в мячик и в скрагли, в ветреную погоду не употребляют песочниц, а написанный лист бумаги просто выставляют за окно... Эти подсудки в слякоть употребляют особый род калош непомерной величины, чудовищной величины, в которые стоит только впрыгнуть, и дело с концом. Оно конечно, молодые подсудки иногда дерут друг друга за чубы; но вообще они — люди хорошие, и нигде в свете нет таких голубей, как у них. Что за голуби, что за голуби! И где они их только достают? Есть тут и турманы, и мохначи, и голуби припетни, и обыкновенные голуби: двуплекие, сероплекие, полвопегие с подпалиной и просто полвопегие; синехлупые, под парусом, дымножарые, панцирники и хвостари! И весело смотреть, как в праздники гоняют их с соломенных крыш молодые подсудки, и самому хотелось бы пожить в маленьком степном городке! Маленький степной городок был когда-то городком богатым и населенным; во времена давно прошедшие в нем помещалась даже резиденция одного из старейших слобожанских полков;

но пора настала другая; сперва набеги татар, потом пожары разорили его, и городок обезлюдел. Впрочем, по его улицам пасутся куры и гуси, а по городской площади разгуливает постоянно журавль, серый и старый, и разгуливает с таким гонором, как будто ему принадлежат и улицы, и подсудки, и голуби, и весь городок со всем, что в нем ни на есть! Городская река, уже, разумеется, милый сердцу Донец, издавна представляет, особенно с горы, под которой лег городок, занимательные виды от песчаных отмелей и наносов. На одном берегу его купаются мужчины, на другом — женщины; и между двумя берегами при этом всегда начинается такой разговор. Мужчины, войдя в реку, говорят: «Можно ли нырять? Мы под водой к вам не подплывем!» А женщины отвечают: «Нет, нырять нельзя, потому что мы уже вас знаем, и вы как раз подплывете под водой!» И вслед за тем они начинают барахтаться, подмахивая спиною кверху, что, как уже известно, означает женское плаванье. На той же реке толстая купчиха, гордость бакалейного торговца, у которого, под стать ей, есть хриплый перепел, широкозадый битюг, бархатный чай, пятиведерный самовар и всегдашняя одышка, тут же бережно входит в воду и говорит про себя, глядя подслеповатыми глазками на другой берег, а на другом берегу купается крошечный человечек: «И зачем это детей пускают в воду? Еще не равно утонет!» На эти слова с другого берега раздается сердитый голос: «Верно, матушка, глаза-то под мышки или в другое место спрятала, что не видишь? Я секретарь, а не дитя!» Говорящий это, непомерно маленького роста, но тем не менее не то, что сказала купчиха, а секретарь, выказывается из воды, и бакалейница видит, что он, точно, секретарь, а не дитя. Тут же, на берегу, в платье Адама моет снятую с себя рубашонку девочка и потом, в том же платье, идет разостлать ее на берегу просохнуть, пока она сама выкупается. В самый солнцепек, когда городские плотины, пожирательницы сапог и постолов, не гнутся от проезжающих обозов и торговки на базаре не перестреливаются мелкой бранью, именуемой бекасинником, в полдневный зной городок совершенно стихает, и все в нем остается до вечера в горизон-

тальном положении в домах с заколоченными наглухо ставнями. В горизонтальном положении, впрочем, появляются прежде всего почтенные старожилы, которые в это время уже пообедали и поспешили, как говорится, завернуть на село боковеньку! Не спят в это время одни модники: они делают визиты почтения и визиты уважения. Кто с кем давно знаком, то еще ничего и не выходит дурного; но с новичком при этом случаются странные истории. Проговорив немалое время с авантажной дамочкой, хозяйкой дома, проговорив в приятной темноте, с закрытыми ставнями, модник переходит из царства мрака в царство света, встречается с ней, иногда в тот же самый вечер, на улице и остается в остолбенении: авантажная дамочка, хозяйка дома, не узнает его! Но вот визиты кончаются. В горизонтальном положении все от мала до велика. Тогда мертвая тишина городка не нарушается ничем; она нарушается только звонким храпом Бориса Борисовича, или, как его называют в городке, Барбариса Барбарисовича Плинфы, отставного судьи; этот храп, в самом деле, так звонок, что внимающим ему все кажется, будто к порогу Плинфы пришли с поздравлением трубачи. Наконец уже не слышно и трубачей! Жара в полном разгаре. Тут скрытый глаз наблюдателя может подметить, как запоздавшая в болтовне с кумою загорелая мещанка в красной юбке и голубом шушуне идет, изнемогая от зноя, и, полусонная, вяжет на ходу чулок; а рыжий попович в набойчатом балахоне тащит за рога келейно похищенную у соседа козу, и коза упирается и шагает, пошатываясь, как марширующий рекрут. Но никогда так не шумен городок, как во время ярмарок. Главные ярмарки в нем бывают под Варвару, на Преполовенье и под Трех сестер и их матерь.

В обыкновенное время тут не достанешь даже донского, зато на ярмарках чего только не достанешь. Окружные помещики, съехавшись, прежде всего заводятся новыми картузами. Помещицы, съехавшись, прежде всего летят туда, где продаются чепчики, чепчики, чепчики — прелесть и очарование! Ремонтеры торгуются с цыганами и пьют го- и просто сотерн, а также шато-марго, который они зовут шатай-моргай. На го-

родских франтах появляются розовые кисейные накидки и брюки таких цветов, что на них постоянно лают собаки! Из неведомых стран возникает среди улиц извозчик, извозчик — чуда, извозчик — привидения, на пролетках, обитых полинялой нанкой, и на паре лошадей, из которых за одной следует годовалый жеребенок. Каждый молоденький паныч тут наперечет, женихов ловят, как перепелов на дудочку! При виде молоденького паныча обитательницы городка стараются тотчас обратить на себя внимание или костюмом, или словом, или чем-нибудь, чем-нибудь! Они возвышают голос громче обыкновенного. Одна говорит: «Ах, душенька кумушка, вы не поверите, что это за бондари! Макитры и товкачи еще дороже стали!» На это другая отвечает: «Ах, крошечка моя, это еще что, макитры и товкачики! А вот я борова приобрела за свое старое букмуслиновое платье, и что же? Еще приплатилась, матушка! Кочеты по полтине, рыжики по полтине, а к яйцам, с позволения заметить, и приступа нет!» Крик сластенницы заглушает голоса дам. Усевшись на дороге с железною печкою в спрятав под юбку, от мух и пыли, горшок с тестом, она кричит: «Панычи, голубчики! У меня возьмите! Панычи, душечки! У меня!» Или: «Господа-служба! вот у меня хорошие сластены!» Желающему она тотчас производит самую свежую сластену: для этого послюнит только пальцы, ухватит из-под завеса тесто и бросит его прямо в масло! Да, ярмарки городка — любопытные ярмарки! Спозаранку около пестрых яток уже идет гул и толкотня. Рыжий захожий суздалец, с книжками и коврижками, имеющий обычай, как говорится, спрятать в карманы по денежке и к вечеру в каждом спрашивать барыша, имеющий обычай, как тоже говорится, тереть полушку о полушку, в надежде, не выпадет ли третья, остановился и слушает, как отставной шевронист, побывавший за морем и дальше, толкует о том, и о сем, и о том, как солдат солдата в Туречине из глины лепит. «Э! Да ты, друг, уже слишком, — замечает суздалец, — этого, брат, быть не может!» — «Не может быть? — спрашивает шевронист. — Не мешай по-пустому; не твоя череда; без смазки сказки, что без полозьев салазки!

Сесть сядешь, только все изгадишь!» Громкий хохот сопровождает прибаутку шевронИста. Но вот близок обед. Толпа возрастает. Цыган с утра еще начал торговаться и для этого, по своему цыганскому обычаю, хлопать рукою в руку слобожанина и до обеда все еще хлопает, не сходясь с ним на целковом. «Ну, дашь за коня целковый?» — кричит, хлопает цыган. «Не дам целкового!» — отвечает оглушенный слобожанин. «Ну, обернись на сход солнца; обернись, красота! — говорит цыган и сам обертывается. — Ну, молись, красота! Конь твой!» Красота оборачивается и молится, но коня не берет за целковый, потому что, кроме целкового, он должен еще дать и своего коня, и сапоги, и куль привезенного гороха! Цыган в отчаянии; а уже когда цыган в отчаянии, то торгу недолго длиться, он приседает к земле и кричит, срывая горсть травы: «Чтобы так у меня животы оборвало, и еще родимец убил бы мою тетку, если конь не годится!» Слобожанин при этом чешет за ухом и соглашается потому, что цыган уже так побожился, что уже, кажется, и соврать никак не может. «Пидчеревей, шоб бахтировала!» — кричит пестрая меднолицая толпа, прыгая и потчуя коня пинками и тычками, и сколько осторожный слобожанин ни машет шапкою то в правый, то в левый глаз коня, слепая, разбитая кляча идет за зрячею! Но вот еще шумнее, еще пестрее! Торг в полном разгаре. Индейки кавкают на голоса школяров; дети, покинутые засуетившимися матерями, хныкают, а налетевший ветер заворачивает им рубашонки на головы; заводский караковый в сливах жеребец бьется и ржет на железной цепи, косясь на проходящий табун; торговки на мосту говорят все разом, и ни одна не хочет слушать! Ряды палаток с красными товарами расстилаются длинной, пестрой панорамой. Там еще шумнее! Один спорит, другой божится на весь базар отцом и матерью, дядей и теткой; третий наскоро подставил соседу тавлинку и сам собирается пропустить в ноздрю порядочный фейерверк, между тем как уверяет покупщика, что его ситец не ситец, а просто, так сказать, предводительская оранжерея; под яткой, где играют кобзы и цимбалы, кто-то растрогался, и плачет, и обещает брата из

тюрьмы выкупить, и говорит, что брата он так любит, как никого не любит; а вот несется за плетнем отрывистая брань, и чей-то бас иронически замечает: «Да уж где же тебе, Федя, спорить, когда у тебя весь рот набекрень!» Красноносая перекупка показывает уходящей бабе дулю. А около ставки, где выскакивает деревянная кукла, такой гам, что еще никогда и не слыхано; один хохочет, ухватившись за бока, причем шапка его съехала на самый затылок; другой жену громко кличет посмотреть; а третий, в оцепенении, объявляет, что у него разом из обоих карманов украли и трубку, и кисет! Но и это еще не все. Идите скорее в ветошный ряд; там продается всякая пестрая рухлядь. Старая лохмотница, обмотанная лентами, кусками распоротого желтого и красного сукна, несет на голове гору шляпок, а на руках гору брюк. К ней подходят без церемонии, берут ее шляпки и ее брюки, переворачивают их во все стороны, тут же примеряют, хлопают руками по сомнительным местам и снова отдают ей шляпки и брюки. В ветошном ряду продают также грушевый квас и соловьев! О, ярмарки в городке — очень любопытные ярмарки! Но никогда так не скучен городок, как после ярмарок. Тогда он совершенно пустеет, и ничто уже не в силах его развеселить. Один остряк сравнил городок после ярмарок — с сусликом, который спит, а городок во время ярмарок с сусликом, который радостно кричит на своей норке. На что только не пускаются горожане по обычаю всякого русского человека, который гнет — не парит, переломит — не тужит! И книги начинают читать, и друг другу стараются всучить кума или куму, сватают друг друга и в гости к румяному Ефиму Трофимовичу ездят, к которому до той поры, по одной причине, никогда не ездили, и принимаются, наконец, особенно пожилые и плотные дамы, верхом ездить, причем выписанные из губернии амазонки пышно обрисовывают их полные округлости. Вообще, надо заметить, туземные дамы из породы булок, что немало удивляет мужей, потому что невестами дамы вовсе не были булками, а были вообще барышни нежненькие, как говорится, барышни-хрящики, питавшиеся мелом и гри-

фелями! Иногда, впрочем, неведомое перо вдруг пустит неожиданный словесный брандскугель. Тут все оживает и поднимается. В ловких стишках говорится про особу, побывавшую в столице, что она «с чухной лично говорила и в кунсткамере была!» Про красавицу, предмет общих толков, говорится: «И как не веселиться тут земле и небеси, когда ты именинница, Эмилия, еси!» И долго шумят и волнуются по поводу словесного брандскугеля горожане, и долго городок не утихает, как присутствие после какого-нибудь билье-ду ревизионной комиссии. Но, наконец, и это умолкает. Тогда маленький городок — царство неисходной скуки! Один учитель пения тогда еще заходит изредка потолковать с аптекарем о том, что вот нет совсем ни уроков, ни больных; но и это бывает не надолго. Дверь в аптеку скоро заплетается паутиною, и аптекарские ученики пускают из окон на опустевшую улицу мыльные пузыри, а учитель пения открывает табачную лавочку и с улыбкой встречает каждого покупателя, редкого и счастливого покупателя!.. В один из таких-то послеярмарочных вечеров, именно когда маленький степной городок походил на суслика, который спит, к городской черте подъезжал на рысях дорожный дормез, запряженный шестериком почтовых. Лакей, толстый господин из разряда крупночубых бакенбардистов, качаясь, дремал сзади, усевшись в подушки рессорного человеколюбия. Заставы в городке никогда не водилось, на мосту собирали деньги за переправу через речку. Подслеповатый инвалид, починявший какое-то женское платье, принимая от лакея деньги, спросил: «А кто едет?» И получил в ответ: «Едет подполковник!» Хотя подполковник впоследствии оказался просто надворным советником. Дормез, въехав на пески, поплелся шагом. Приближаясь к городку, проезжий поминутно высовывался из окон. В улице пригородного села он разъехался с бричкой, из-под будочки которой выглянули два девических лица в мелких рыжих тирбушонах и голубых полинялых шляпках. Проезжий, бросив на них беглый взгляд, тихо вздохнул. Казалось, он жалел и о тирбушонах, и о голубых шляпках!

Далее, почти уже на городском мосту, он разминулся с толстой шестиместной хуторянской колымагой, набитой битком, как арбуз семечками, молоденькими, веселыми барышнями. Сердитая особа престарелого возраста, очевидно маменька, жалась в глубине экипажа, завинченная и сжатая со всех сторон. Кругленькие и беленькие, как гладенькое яичко, личики на стук дормеза выглянули из окон, выглянули с задержанными речами и изумленными взглядами, выглянули чуть не помирая со смеху, и проезжий слышал, как дружный хохот градом раздался за его спиною, едва дормез разъехался с колымагой. Проезжий тоже улыбнулся; казалось, он был доволен и кругленькими личиками, и звонким девическим хохотом. Скоро дормез поднял облака песку в городских улицах и остановился под крыльцом единственной гостиницы иногороднего еврея, Сруля Мошки, у которого дети были Юдка и Мордка, вечно бегавшие нагишом, и полная, белолицая жена Хаюня. Сруль Мошка держал гостиницу без вывески; но зато эта гостиница была с бильярдом и маркером. Проезжий вышел из дормеза. Едва его лысина, так называемая ранняя лысина, с волосами, зачесанными в виде артишоков с затылка на виски, показалась в сенях, с лавки вскочил растрепанный маркер, вставивший на одно место в брюках заплату голубого цвета. Проезжий, проходя по коридору, заглянул в зал. На бильярде, по обыкновению, сидела курица. Этот бильярд имел то похвальное обыкновение, что, куда бы шар по нем ни катился, он непременно попадал в левую среднюю лузу и, поставленный на навощенный шаростав, качался несколько минут, как акробат на канате. Окна в зале, поднимаемые в виде силков на подставке, имели тоже похвальное обыкновение иногда, совершенно неожиданно, хватить по просунутой в них шее. Войдя в номер, проезжий заметил маркеру, что не мешало бы выпить с дороги чаю. Суровый маркер на это ничего не сказал, но скоро загремел блюдечками и чашками; лакей-бакенбардист между тем, раскинув умом, что от хозяина скорее поживишься и съестным, и питьем, пустился на поиски Сруля Мошки.

Пройдя через двор, он остановился перед погребом, где, по справкам, должен был находиться жид. На дворе между тем уже окончательно стемнело. Под широким навесом в мерцающем полусвете он рассмотрел пейсы и черную бороду. И только что он, прокашлявшись и потерев для бодрости бока нанковой куртки, сказал: «Подполковник приехал, и потребуется сарай для кареты!» — как откачнулся назад и в ужасе раскрыл глаза... Рука его коснулась чего-то мягкого и теплого, и из глубины подвала выдвинулась, вместо жида, узкая морда старого конюшенного козла. Изумление лакея было неописанное; оглянувшись во все стороны, он пошел, как обкаченный водой пудель, и в то же время услыхал за забором чьи-то торопливые шаги. Впоследствии выяснилось, кому принадлежали эти шаги. Стягивая с барина сапоги и чулки, причем тот подергивал пятками потому, что боялся щекотки, он не выдержал и в волнении, почти умирающим голосом, рассказал свое приключение с козлом. Барин покачал головой и, стукнув лакея по красному затылку, весело заметил: «Это, Вася, счастье; это, Вася, пророчит большое счастье!» Едва проезжий разоблачился и надел ночную кофту, едва самовар, подпертый с одной стороны, за отсутствием ножки, замком, а с другой стороны ножницами, запыхтел и зарумянился на столе, — дверь комнаты отворилась, и на пороге явился господин, как говорится, из породы недоростков недостатковских. Склонив голову наподобие подстреленной дичи и прикладывая руку к груди, точно держал в ней прошение на погребение жены или дочери, вошедший начал говорить вдохновенно: «И возможно ли, и вижу мужа такого сана, и взоры меня не обманывают!» Думая, что это затем, чтобы точно просить на погребение жены или дочери, проезжий снял со стола кошелек и протянул вынутый из него четвертак к двери. Посетитель встрепенулся, посинел и, закинув голову, отступил...

— Не понимаю, не понимаю! — произнес он, запальчиво и заикаясь. — Что это может значить?

Проезжий тоже переконфузился.

— Вот, милый мой, возьмите, не церемоньтесь! — произнес он довольно неровно.

Посетитель засмеялся, как человек, соболезнующий об ошибке ближнего, и заметил: «Извините, тут вышло кипроко, и не одно, а целых два кипрока: во-первых, я не то, что вы думали; во-вторых, я — Борис Борисович Плинфа, здешний обыватель; и не стыдно ли вам потчевать меня четвертаками?» Читатель уже, вероятно, привел в памяти, что это был тот самый Плинфа, к которому в полдень обыкновенно приходили с поздравлением трубачи, и, вероятно, также догадался, что появление его произошло вследствие подслушанного разговора лакея с козлом. Проезжий согласился, что потчевать четвертаками, действительно, стыдно, и произнес: «Извините, я ошибся, прошу садиться, и не желаете ли стакан чаю?» — «Много благодарен! — подхватил Плинфа, утирая нос, кончик которого начала беспокоить выступившая из него капля. — Только уж позвольте вприкуску и пожиже; крепкий чай, говорят, раздражает нервы и заставляет думать о том, о чем иногда и не хочешь думать!» Проезжий... но прежде, нежели мы скажем, согласился ли проезжий с тем, что чай раздражает нервы и заставляет иногда думать о том, о чем бы и не хотелось думать, — скажем, что за человек был этот проезжий. Проезжий, мужчина лет сорока, был человек добрый, добрый, как говорится, не обидевший на своем веку мухи. И это, сколько нам кажется, происходило от его домашнего воспитания. Вследствие этого домашнего воспитания, выйдя в отставку и поселясь в деревне, он старую ключницу, мошенницу из мошенниц, звал Михеевной, а иногда тетенькой, атаману на все распоряжения его говорил: «Хорошо, хорошо, братец Силентий; это очень хорошо!» — и от скуки играл в карты с двумя горничными, которым имена были Гопка и Галька. На службе, ходя постоянно в широком фраке на вате и получая к столу все деревенские припасы, он слыл у молодых сослуживцев под именем зайца в мешке и сахарного тихони, а у пожилых — под именем прекрасного молодого человека. Эти пожилые только находили его несколько рассеянным. Рассеянность в самом де-

ле была любопытная... Бывало, поймает в присутствии кого-нибудь за пуговицу и начинает с ним говорить, да говорит до того, что слушающий готов в обморок упасть и не имеет сил вырваться. Один шутник в таком положении вынул из кармана ножик, отрезал пуговицу, за которую рассказчик держался, и улизнул. На службе же, бывало, остановит кого-нибудь в экипаже на улице, деликатно стащит его за пуговицу на мостовую, спросит: «Как ваше здоровье?» — и, получивши должный ответ, скажет: «А, хорошо!» и, сказавши: «А, хорошо!» — сядет спокойно в чужой экипаж и укатит, прежде чем владелец его успеет опомниться. В деревне он жил довольно порядочно; соседи езжали к нему на именины и поиграть в карты. Только вдруг однажды он задумался, думал-думал и решился произвести важный переворот в своем существовании. Каков был этот переворот, читатель увидит дальше... Проезжий, действительно, согласился, что чай расстраивает нервы и вселяет иногда предосудительные помыслы; гость на это помолчал и спросил с улыбкой: «Имя и отечество ваше?» — «Надворный советник Фока Пятизябенко!» — ответил хозяин также с улыбкой.

— Фока Лукич? — подхватил гость, покачнувшись и с улыбкой.

— Фока Ильич! — ответил хозяин, также покачнувшись и также с улыбкой.

Чай снова был разлит по стаканам.

— От вас, Фока Ильич, — начал гость, — вероятно, не укрылось, как беден и скучен наш город?

— Не укрылось! — ответил хозяин, расправляя и обсмактывая замоченные в чаю усы, которые он носил для некоторой прикрасы ранней лысины. — Только я не думаю, чтоб город ваш был точно скучен и беден.

— Скучен и беден, — подхватил гость, — скучен и беден! И вы не поверите, какие странные случаи бывают в нем! Вот, например, у меня на свадьбе, на первой еще свадьбе, потому что я вдовец, из самой, так сказать, брачной комнаты украли сапоги и брюки!

— Быть не может! — подхватил удивленный хозяин.

— Точно так, прошу не сомневаться! — подхватил гость, кланяясь. — И утащили в то время, как, кроме меня и жены, никого не было в комнате!

Последовало деликатное с обеих сторон молчание; хозяин налил гостю еще стакан чаю, помолчал и начал говорить... И то, что услышал Плинфа, поразило его неописанным удивлением; блюдечко зазвенело в его руках, когда Пятизябенко произнес последние слова и завершил: «Вот, Борис Борисыч, вот мое задушевное и неизменное желание!» Плинфа помолчал и спросил: «Да на ком же это вы думаете жениться?» — спросил, все еще не понимая вполне странного намерения помещика и мысля про себя: «Какая же это наша фефела наградит собой такого жениха?»

— Да я же вам говорю на ком, — ответил Пятизябенко и еще раз повторил в малейших подробностях сказанное Плинфе.

Далеко за полночь огонь погас в окне вновь занятого нумера гостиницы. Как обухом оглушенный, вышел Плинфа на улицу и почти опрометью побежал, повторяя про себя: «Ах ты, батюшки, батюшки, вот разодолжил!» И целый рой предположений заходил и завертелся в голове Плинфы. А надо сказать, что Плинфа был большой поклонник всякого рода новостей. Живя уже давно в отставке, он постоянно, по привычке, каждый день приходил, как будто по делу, в присутствие и весело здоровался с чиновниками, которые все знали и любили отставного судью и всякий раз говорили: «А! вот и вы, Барбарис Барбарисович! Ну, что, есть ли теперь что-нибудь новенькое?» На это Барбарис Барбарисович молча скрипел табакеркою, на которой была изображена таблица с расчетом для бостона, и отвечал: «Как же, есть!» «Да что же такое есть?» — допрашивали любопытные чиновники. «А вот и есть! — отвечал Плинфа, смотря себе на сапоги. — Вот, Вакулищенко мне новые сапоги сделал!» — «Да как же новые? — замечали на это пытливые чиновники. — Вы, Барбарис Барбарисович, еще на той неделе их показывали!» На это Плинфа качал головой и го-

ворил: «Э! то не те сапоги, то были совсем другие сапоги, а эти совсем новые сапоги!» Еще Пятизябенко спал на кровати, о которой выражалась одна надпись на стене нумера: «Горе и мука тому, кто будет осужден судьбой лежать на сей кровати!» — и которая точно представляла горе и муку потому, что поминутно двигалась и скрипела, издавая какие-то насмешливые звуки, точно говорила: «А что, брат, а-га, посмотрим, как ты заснешь, посмотрим! Что, брат, взял?» Еще маркер, в ожидании пробуждения гостя, поминутно смотря на вновь заплатанные брюки, вытирал кии и чистил бильярд, на котором шары, как известно, непременно падали в левую среднюю лузу, — а уже городок шумел, и целое море толков, споров и догадок колебало спокойствие низеньких домиков. Слово «жених» молнией облетело все девственные сердца и закоулки. Разнеслась весть, что приезжий помещик, надворный советник Пятизябенко, решился жениться на той, которую первую увидит в городке, разумеется, если эта первая согласится отдать ему свою руку, и уж также разумеется, что какая же не согласится отдать ему своей руки! Главную роль в этих городских толках играла высокоуважаемая девица-акушерка, Анна Ванна Гонорарий, как ее называли горожане, и которая на ванну, впрочем, нисколько не походила, а походила на бекаса, которого прозвище к ней и было навсегда припечатано. Надо заметить, что на эту птицу акушерка походила вследствие носа, который, как кран у самовара, торчал на ее миниатюрном личике. Еще до рассвета, по неисповедимым судьбам, эта особа узнала всю подноготную от Плинфы и до утра не могла сомкнуть глаз. С зарей она уже порхнула в тележечку, именуемую нетечанкою, и полетела с визитами к нуждающимся и не нуждающимся в ее искусстве, из которых первых, впрочем, постоянно было более в благословенном городке. Благословенный городок, скажем мимоходом, особенно пришелся по вкусу акушерке. Она прилетела сюда, по окончании курса, на почтовых и с той поры сделалась душою его общества. Увидев, как на одной станции она подкатила к крыльцу на перекладной, в

чепчике без вуали и с книжкой в руках, громко скомандовала запрягать и, выпив стакан молока, снова умчалась вперед, как добрый фельдъегерь, один проезжий, заслуженный генерал, заметил: «Ну, матушка, такая не сробеет!» И точно, Анна Ванна Гонорарий никогда еще не сробела. Разъезжая по городу в уютной нетечанке и служа первым приветствием всякому новому гостю мира, Анна Ванна в то же время слыла и модницей, и затейницей веселиться, и затейницей устраивать сговоры и свадьбы, а следовательно, и нужные подготовления будущих приветствий новых гостей мира. Выходя утром за ворота, она не пропускала ни одного хуторянина, идущего из окрестностей на базар, и всех почти знала по имени. «Ты это петуха, Онисим, несешь?» — спрашивала она. «Петуха, барышня!» — отвечал Онисим, держа перевернутого вверх ногами, с отекшей головой петуха. «Продай мне петуха, Онисим», — говорила она, ощупывая хлупь и бока петуха. «Берите, барышня, — говорил на это Онисим, — только позвольте прежде вашу ручку поцеловать!» С акушеркой жил еще маленький племянник Вава, который иногда сопровождал ее в поездках по городу. «Это что, тетя, какое слово написано на заборе?» — спрашивал он, подпрыгивая на нетечанке и рассматривая те надписи мелом, которые иногда производятся на стенах и заборах в отдаленных городских улицах. «Это, душечка, ничего, это неконченное слово, — говорила на это тетенька, оборачивая лицо Вавы в другую сторону, — ты этого не поймешь!» И точно, Вава этого не понимал. Не мешает также заметить, что, по туземному обычаю, помолвившись за Плинфу, о чем мы забыли сказать, Анна Ванна Гонорарий позволяла своему жениху при людях иногда некоторые золотые вольности. Она... целовалась со своим женихом. И надо было видеть, как она с ним целовалась! Так уже теперь не целуются на свете! Тонко намекая на румянец щек Анны Ванны, почтмейстерша, едва видела их вместе, обыкновенно говорила: «Барбарис Барбарисович, посмотрите, какая она хорошенькая! Уж поцелуйте ее, душечку, в стыдливое место!» На это

душечка краснела и, подставляя щеку, говорила: «Ах, право, уж вы мне с вашими просьбами!» И Плинфа, также зардевшись, исполнял желание почтмейстерши, то есть целовал невесту в стыдливое место... Совершив более десяти наездов на дома и домики, акушерка подлетела к крыльцу Плинфы и в волнении, сказав племяннику: «Ну, Вава, поставь лошадь под сарай, а сам побегай в саду; я зайду к дяде!» — быстро порхнула в сени. Вава поставил коня под сарай и пошел в сад. Пижон, собака акушерки, тоже подошел в сад, но прежде его настигли дворняги Плинфы и, составив около него кружок, стали, по своему обыкновению, как говорится, читать его диплом. «Ну, поздравляю вас! — вскрикнула акушерка, сталкиваясь в передней лицом к лицу с Плинфой. — Гость-то ваш оказался обманщиком, гнусным обманщиком! Он вам все, должно быть, налгал, и больше ничего!»

— Да помилуйте, — проговорил робкий Плинфа, подходя к ручке невесты, — чем же он мог налгать?

— Отстаньте! — вскрикнула акушерка, отдергивая ручку, одетую в перчаточку цвета майского жука, с отливом. — Что мокрой-то курицей такой смотрите! Срам, да и только! Объехала всех, была у всех, спрашивала всех, никто и не слыхал такой фамилии — Пятизябенко! И разве могут быть такие женихи на свете!

— Да что ж тут такого в этой фамилии, — спрашивал озадаченный Плинфа, — и чем же она худая фамилия?

— Была даже у буфетчика, у маркера Букана в гостинице! — продолжала гостья. — Заезжаю по дороге и спрашиваю: что, говорю, Букаша, приезжий жених уже посватался? Какой, говорит, посватался. Он еще спит, говорит! Спит! И это жених! Ну, такие ли бывают, на свете женихи? Да что же вы такой нюней стоите? Отвечайте! — почти сквозь слезы спрашивала акушерка...

Но не успела она произнести последних слов, как посреди улицы показался красивый господин в соломенной шляпе, не молодой, это правда, но еще румяный и с вожделенным

запасом здоровья. Он остановился перед окнами дома, против Плинфы. Сердце екнуло под лифом акушерки, и в глазах ее заходил сладкий туман. Ей показалось в первое мгновение, что прохожий заметил ее. Но скоро предположение это оказалось ошибочным: прохожий ступил на крыльцо и вошел в сени противоположного дома. Акушерка нервически оттолкнула Плинфу и, вскрикнув: «Ахти, матушка, опростоволосилась», — кинулась в ближний зал. Там, из-за горшков герани и занавесок, стала она в кулак наблюдать, что будет происходить в соседнем доме. Вот определите после этого сердце женщины; ведь, кажется, жених у нее стоял за плечами, а между тем... Нет, странное сердце женщины! На воротах дома, куда вошел прохожий, была надпись, еще шесть лет назад прибитая вверх ногами и до сих пор остающаяся в таком же положении: «Не служащего дворянина Обапалки». Пятизябенко между тем — это был он, — пройдя не без волнения две улицы, где, к удивлению своему, вместо ожидаемых девиц, видел все прифрантившихся на этот раз маменек и папенек, встречавших его даже с улыбками, точно давно знакомого и точно говоря: «А, здравствуйте, Фока Ильич, с приездом!» или: «А, вот и вы! Как провели ночь?» Пятизябенко очень обрадовался потому, что в окне дома, куда вошел, мелькнуло, как ему показалось, весьма смазливенькое лицо блондинки... Войдя не без волнения в переднюю, где не было ни души, и потом в зал, гость остановился на пороге. Хозяин и хозяйка, Обапалки, которые о нем уже, как и все горожане, знали всю подноготную, но никак не ожидали его появления, крайне изумились и остались безмолвны. Обапалка-муж, из породы кубариков, разглядывал в это время в зале перепелиные сети, собираясь починить их новыми нитками и думая про себя: «А это, однако же, любопытно: к кому зайдет приезжий помещик?» Обапалка-жена, также не далекая от породы кубариков, сортировала в зале же ягоды для настойки и тоже думала: «А это, впрочем, вещь любопытная: куда завернет приезжий помещик?» И вдруг этот помещик явился в их

собственном зале. Нет! Перо опускается, и недостает сил изобразить изумление почтенных супругов! Едва гость очутился на пороге и замер в невольном, понятном трепете, оторопевший хозяин бросил сети, взглянул на него с улыбкой и шариком укатился из залы в коридор. Там супруги пожали плечами и молча взглянули друг на друга. «Ну, ничего, мамаша, — произнес, помолчав, в одно мгновение все сообразивший муж, — ничего, это очень выгодно!» — «Что выгодно? — спросила супруга, смотря на него во все глаза и не понимая его. — Разве ты забыл, папаша, что у нас нет детей?» — «Ничего, дуся, ничего! Это очень выгодно, и не надо упускать случая, а уж мы ему достанем!» — «Как достанем, кого достанем? — спросила, внезапно проникнутая припадком ревности, супруга. — Ты с ума сошел!» — «Ну, с ума не с ума, котик, а уж ты не беспокойся; когда человек в таком аппетите женится, не надо упускать случая!» И муж поцеловал в обе полные щеки взволнованную жену. Поцелуй произошел в тишине, так же как и разговор, и через несколько минут супруги явились в зале, один уже во фраке и белом галстуке, а другая в новом шоколадном кисейном платье. Несколько минут и гость, и хозяин молча смотрели друг на друга. Наконец хозяин кашлянул и начал:

— Весьма осчастливлен! Чему обязан этим посещением?

Гость ответил:

— Мне сказали, что у вас есть продажные дрожки!

— Дрожек продажных у меня нет, — ловко вклеил хозяин, — но садиться милости просим!

Все сели. Разговор начался о городских новостях. Пятизябенко не хотел ударить лицом в грязь и обратился к прекрасному полу. Оглянув кисейное платье и в то же время шерстяные ботинки прекрасного пола, он с деликатной ловкостью спросил: «А отчего это, сударыня, в такое теплое время на ваших милых ножках такие вовсе не милые ботинки?» Хозяин нагнулся к уху гостя и шепнул ему одно слово, которое совершенно удовлетворило любопытство гостя, но

бросило его в порядочную краску. Немало также смутился гость, когда слуга внес поднос с закуской, и хозяин спросил: «Не угодно ли водочки и редечки?» Гость отведал и водочки, и редечки... Во время закуски хозяйка взглянула на мужа и произнесла: «Шерчик, фуршет!» Гость предупредил желание дамы. Но через секунду дама, потребовавши по-французски вилку, лежавшую перед ее носом, за хлебом пошла сама, в то время как этот хлеб лежал на другом конце стола. Гость изумился и долго не мог прийти в себя потому, что не смел ничего предполагать насчет познаний почтенной дамы. Для одобрения себя, пробуя какие-то маринованные в уксусе грибки, Пятизябенко спросил:

— А как фамилия, не знаете ли, той пожилой дамы с дочерьми, которую я встретил вчера на городском мосту? Еще у нее голубая карета?

— А! это та, Макортыт, помещица из Пупавок; еще сама, говорят, с дочерьми в пруду бреднем рыбу ловит! — ответил добродушный Обапалка.

— Ну, а те барышни кто такие, рыженькие и в голубых шляпках? — спросил кашлявший в салфетку гость. — Я их вчера тоже встретил за городом!

— Это, — подхватил добродушный хозяин, смотря на жену, — это завалишинские однодворки! У нас зимой, на балу, шутники-офицеры наименовали одну Кирпаша, а другую Мордата! Фамилия же у них, право, такая мудреная, на М, и, кажется, немецкая!

— Хоха! — подхватила супруга.

— Да, точно, Хоха, я и забыл, — прибавил супруг, — точно, Хоха, и не на М!

Разговор в этом тоне длился еще несколько минут. Наконец догадливая хозяйка вышла. Гость высморкался, сложил платок втрое, спрятал его в боковой карман фрака и начал:

— А вы, я думаю, уже догадались, зачем я явился к вам?

— Хи, хи! Как же не догадаться! Хи, хи! — подхватил, улыбаясь, хозяин, склоняя набок голову и в то же время смотря гостю в глаза.

— Так, значит, вы соглашаетесь? — спросил, приподнимаясь, гость.

— Соглашаюсь ли?..

— Да!

Обапалка потер переносицу. Пот градом катился с него. «Была не была! — подумал он, — подставим ему Акулину Саввишну!» И, еще раз сообразив, как полезно будет, для его отношений к супруге, подставить гостю Акулину Саввишну, он сделал из лица своего лицо важное и сказал:

— Я согласен на все, только с одним условием: оставим все это до сегодняшнего вечера; вечером мы все покончим! Да притом же надо и ей дать опомниться! — прибавил Обапалка уже с располагающей улыбкой. При слове «ей» Пятизябенко совершенно оживился, стал болтать о разных веселых вещах и вышел от Обапалки, чуть не подпрыгивая от радости...

— Так до вечера? — спросил он уже на улице, раскланиваясь с Обапалкой.

— До вечера, до вечера! — ответил, также раскланиваясь, Обапалка.

В окне противоположного дома между тем сильно заколыхалась розовая штора.

«Что бы это значило, — думала акушерка, следя из-за окна за уходящим гостем, — не задумал ли мерзавец Обапалка надуть гостя?» Как надуть, акушерка еще недоумевала, но видел ее копотливый ум какие-то сети, расставленные против интересного проезжего, и этого уже было для нее довольно. Никогда не питая к Обапалкам особенного сочувствия, она задумала и решилась разрушить их ковы. Так как окончание дела должно было произойти вечером, то акушерка предположила напустить к Обапалкам весь город: пусть тогда выбор незнакомца произойдет при всех, и судьба, одна судьба решит, кому из девиц торжествовать. Созвать же весь город к Обапалкам было очень нетрудно: для этого стоило только пустить в городе весть, что у них будет пить чай новый гость, и город полетит туда, где будет пить чай новый гость. Акушерка решилась, и нетечанка ее загремела и запрыгала но улицам.

Настал роковой вечер. Городок превратился в муравейник, на который мальчишка-пастух крикнул известную примолвку: «Комашки, комашки, прячьте подушки, татары идут!» И еще скорее он походил на тот же городок, в старину, когда произошла эта примолвка. Крик со степи «татары идут!» поднимал и старого и малого, и женщину и больного, и все по улицам степного слободского городка суетилось, кричало, металось и бежало опрометью куда глаза глядят. Так было и теперь; только горожане нынче знали, куда бегут. Кир Кирыч спешил к стряпчему; Пуд Пудыч спешил тоже к стряпчему. Секретарь Панмутьев летел к секретарю Панкутьеву, а секретарь Панкутьев к секретарю Панмутьеву, и оба на дороге, в приятном изумлении, сталкивались! Обыватель Андрей Андреич Крути-Верти кричал своей супруге: «Замолчи ты, Гавриловна, замолчи, или я тебе всю рожу разобью!» А толстенький ходатай по делам, тоже обыватель, Заткни-Перцу, брился перед миской с водой, вместо зеркала, и полоскал рот апельсинной водичкой по случаю сытного обеда у соседа с непристойным чесноком. Две застарелые, уже известные девицы в тирбушонах ехали в бричке, напудренные по самые ресницы, потупя глаза и в то же время говоря шепотом:

«А посмотри, посмотри, копочка, у поповны опять угорь вскочил на носу, а она все-таки едет!» Веселые барышни с сердитой маменькой тоже ехали. И ехал весь городок в гости к Обапалкам. Улица перед домом Обапалок совершенно запрудилась экипажами. Каких тут экипажей не было! И колымаги, и брички, и фаэтоны лилового цвета, и желтые дрожки, и краковские брички, и нетечанки, и чертопханы, и слобожанские таратайки, именуемые «беда» и на которых точно беда ездить! На некоторых ко́злах сидели обыкновенные кучера; на других — мальчики в непомерных шерстяных капотах, а на третьих — дворовые девки в рукавицах и шапках, очевидно занявшие места кучеров, ушедших на косовицу. Словом, съезд был хоть куда. Внутри дома также было пестро и шумно. Между собравшимися пролетел слух, что самих хозяев нет в доме. Все недоумевали, куда они могли

скрыться; недоумевала и акушерка. Чтобы как-нибудь пока замять дело, она распорядилась с чаем, и скоро казачки стали разносить уставленные подносы. «И куда улетели? — думала акушерка, обегая глазами шумное собрание, — неужели догадались и решились дать тягу?» Но не успела она подумать этого, как на улице послышался стук колес и дормез давно ожидаемого гостя подкатил к крыльцу. Приняв шумный съезд за особое расположение к себе новых родных, Пятизябенко с чувством удовольствия вступил в двери залы. На первых же порах, однако, он был удивлен, что хозяева не встретили его. Поклонившись с улыбкой и пригласив взглядом вставшее при его входе собрание сесть, Пятизябенко опустился в кресло и спросил:

«А хозяев, господа, еще нет?» «Да, хозяев нет еще!» — отозвались робко некоторые голоса, и вслед за тем в зале воцарилась мертвая тишина. Пятизябенко начал ощущать признаки робости и неловкости. В самом деле, положение его среди кучи незнакомых и невиданных лиц становилось затруднительным. Побарабанив пальцами по ручкам кресел, причем в лице его не было ни кровинки, он поднял голову и решился прибегнуть ко всегдашнему своему спасению, к красноречию.

— Вот, господа, — начал он, покашливая и стараясь попасть на веселый тон, — дожил я до горького разочарования в жизни; думал испить, как говорится, до дна чашу блаженства и остался холостяком; выходит, ладил человек челнок, а свел на уховертку! Такова-то наша жизнь! Такова-то наша печальная и поучительная жизнь! — Гость остановился; ответа на его слова не последовало... За спиной его только раздался прерывистый шепот и даже сдержанный смех; Пятизябенко не имел сил обернуться, да и хорошо он сделал, что не обернулся! Собрание, очевидно, начинало потешаться на его счет. Один только Борис Борисыч, проскользнувший в это время в зал и стоявший у двери, задумчиво склонив голову, с пальцем в петлице жилета, помолчал-помолчал, да вдруг выступил и ответил: «Точно так, Фока Ильич, точно так!» «А, это вы! —

произнес, не без ощущения внутренней радости, гость и ободрился. — А у нас тут шел очень интересный разговор о поучительности человеческой жизни!» — «Ну, — подумали при этом некоторые из собравшихся, — поучительность поучительностью, только, брат, это все еще не дело и порядочная-таки чепуха; пора бы, наконец, перейти и к главному!» Гость терялся окончательно...

— А где же милые наши хозяева? — начал он снова. — Я что-то не вижу между вами наших милых хозяев!

Деликатный Плинфа, желающий всегда, как о нем говорили, смягчить дело, или, как он сам выражался, подмазать сахарцем скипидарную пилюлю, хотел уже произнести: «А, верно, они тут же, и только чем-нибудь, верно, заняты!» — как слова его замерли на устах...

— Удрали куда-нибудь! — хватил напрямик и как будто про себя кривошей-подлекарь, прокладывавший, по общему мнению, понтоны через самые неприступные реки.

— Как удрали? — спросил Пятизябенко и заикнулся; ему показалось, словно какая струна при этом лопнула и зазвенела перед его ухом. — Я вас что-то не расслышал!

— Какой тут не расслышал! — заметил весело и опять-таки как будто про себя кривошей-подлекарь. — Он вам наврал, собачий сын, если сказал, что у него есть дочка! Ну, у какого беса он возьмет дочку и на ком вас женит? Разве на своей качке женит?

Тут строго внимавшее собрание не выдержало и прыснуло со смеху; веселые барышни звенели, как колокольчики. Одни девицы с тирбушонами долго крепились-крепились, но, наконец, не вытерпели и расхохотались, утирая обильные слезы. Пятизябенко был как на угольях; он теперь ясно видел, что его водили за нос.

— Ну, — начал он разбитым голосом, — вы, милостивый государь, произнесли недостойное слово...

— А когда недостойное, — заметил еще более в духе подлекарь, — так и значит, что он вас женит на своей качке!

Взрыв потрясающего хохота перешел всякие границы. Окна в зале дрожали, как на балу после выборов. Уже обиженный гость хотел встать и выйти, уже Плинфа порядочно трухнул и также намеревался выйти, как вдруг из-за ряда городских дам выступила акушерка и, поклонившись гостю, начала:

— Я девица не богатая и, смею сказать, даже неопытная, но позвольте, милостивый государь, заметить: смею ли я спасти вас от соблазну, да, спасти вас от соблазну? Ссылаясь на весь город, я, Анна Ивановна Гонорарий, акушерка, уверяю, что у Обапалок детей — ни мальчиков, ни девочек — никогда не было и быть не могло! И если они вас уверяли в противном, то не доживи я до светлого дня свадьбы, — потому что выхожу замуж, и даже скоро, и даже выгодно, и даже очень счастливо, и притом за человека, которому дорого одно мое внимание (пять шпилек разом вонзились и укололи сердце Плинфы!), — не доживи я до светлого дня свадьбы, если слова мои неправы!

Пятизябенко не помнил себя от смущения; в глазах его ходил туман! Тут еще, к довершению общего смятения, не успела акушерка вынуть платочек и, плюнув в него, положить его обратно в ридикюль, — что она из деликатности делала всякий раз, когда нужно было плюнуть, — как в дверях гостиной появились сами хозяева — Обапалки, бледные и неподвижные как смерть. Никто не знал теперь, не знал и впоследствии, откуда они явились, потому что акушерка, по собственным ее словам, обегала не только все комнаты и чердак, но и все прочие места.

— А, и вы здесь! — произнес, уже как с того света, Пятизябенко. — Ну, не грех ли, не стыдно ли вам? Надули, надули, как последнего школьника!

Тут подняла снова голос Гонорарий.

— Послушайте, милостивый государь, — начала она, покашливая, — не обижайтесь еще, не обижайтесь! Смиритесь! Дело ваше еще не потеряно, потому что выбор ваш сию же минуту может пасть на достойнейшую из девиц наших!

Пятизябенко потер лысину, откачнулся в кресло и засмеялся... Смех его стал неожиданно возрастать, возрастать, перешел в неописанный, неудержимый хохот и, как пламя, вдруг обнял и всколебал все собрание! Хохотал и Плинфа, хохотала и акушерка, хохотали и барышни, все хохотало самым неудержимым, самым неподдельным хохотом, хохотало, утирая слезы, охая и сморкаясь, сморкаясь и охая... Первый остановился гость.

— Ну, не умора ли, господа, — начал он, останавливаясь и задыхаясь от смеха, — ну, не умора ли все это событие? Ну, откуда мне показалось, ну, откуда мне это вздумалось, право? Нет, господа, это событие — невероятное событие. И как это так, вдруг приехал, увидел, и что такое увидел — и сам не знаю!.. Черт знает какая история! А впрочем, так как, господа, всякая история чем-нибудь кончается, то уж не откажите мне и отужинайте сегодня у меня, в саду гостиницы! Ведь, я думаю, там готовят хороший ужин? А?..

Собрание ответило, что, точно, ужин готовят хороший, и разошлось, шумно разбирая случившееся. И вот, далеко за полночь, в гостинице загремела полковая музыка, зазвенела посуда, захлопали пробки, и целый город стал веселиться наскоро, общими силами слепленным весельем! И что же? При последнем тосте, когда известный уже подлекарь проиграл на принесенной гитаре «Черничку», любимую песенку горожан, и Плинфа, по общему желанию, поцеловал свою невесту в стыдливое место, Пятизябенко встал и обнял Обапалку. Собрание открыло глаза и в приятном изумлении стало смотреть на достойный поступок гостя.

— Ну, скажите мне, — начал Пятизябенко, целуя Обапалку то в одну, то в другую щеку, — ну, скажите мне, за что вы меня хотели так общипать?

— Не хотел общипать, по совести, не хотел! — ответил, едва держась на ногах, Обапалка. — В окне у меня никакой барышни не было, а было что-нибудь другое, — при этом Обапалка робко взглянул на жену, — и вам это показалось:

а впрочем, господа, подкачнем нашего гостя! Гостя подкачнули, подкачнули, подкачнули дружно, весело и стали целоваться; и когда стали горожане целоваться, стали беседовать, и что говорили при этом веселые горожане, того решительно никто не мог уже разобрать! Веселые горожане еще крепко спали, когда дормез заезжего гостя снова покатил по пыльной дороге! Гость уже не выглядывал из окон на встречные экипажи; ему, по-видимому, было не до того! И жаль: в одном из этих экипажей сидела, полулежа на белой как снег подушке, обшитой кружевами, девушка — лет двадцати трех, брюнетка, в маленьком чепчике, с большими темными глазками и бледная, как мраморная Геба! Она окинула орлиным взглядом проезжего и подумала: «Вот бы муженек, и стар, и не беден, и порядочный, кажется, колпак!» Девица была дочь одной современной маменьки, где-то проживавшей домоправительницей, слыла у сверстниц под именем Тамерлана и теперь уезжала из одного семейства, где была, без году неделю, гувернанткой и где ей только что торжественно отказали.

Хорошенький Тамерлан в тот же день подъехал в чужой карете к лавкам, подъехал с целью блеснуть в последний раз интересною обстановкой и столкнулся там с акушеркой, у которой еще живо в памяти было вчерашнее событие. Когда услышала отставная гувернантка рассказ о госте, когда она услышала этот рассказ, лицо ее побледнело, слезы выступили из глаз, и батистовый платок вмиг превратился в клочки. Она тут же, как есть, перед подругой вызывалась садиться в перекладную и догонять гостя! И насилу ее уговорила и утешила «шерчик» акушерка, или, собственно, не утешила — потому что хорошенькая гувернантка долго не могла забыть этого события и долго была главной повествовательницей пассажа, нарушившего покой тихого степного городка.

II

СЛОБОДКА

Вахраманы — старинная малороссийская слободка. Вахраманы — слободка на речке Балаклейке. Что же это за слободка и где лежит она? Лежит ли она среди дубового леса; сбегает ли зелеными садами к морю; белым ли стадом, среди колодцев и тополей, раскинулась по влажной луговине; или сидит себе бочком, брошенная врассыпку на маковке изрытого дождями песчаного косогора, сидит себе, свесившись в одну сторону над синеющими равнинами болот и залежей, а в другую — над шахматными коврами черных пахатей и пышных озимей, клубящих по ветру свои перлово-оранжевые волны? Где она, эта слободка? И куда лежит к ней пустынная, малопроезжая дорожка?.. Слободка лежит далеко-далеко, там, где над степью возвышается курган, курган уединенный и зеленый, вокруг которого на приволье гуляет ветер! С него глядели, с этого кургана, и сторожевые дикари, поджидая издали родные полчища с гиком несущихся на степь ордынцев, глядели некогда и суровые жрецы, в белых одеждах, с поднятыми к небу руками, дымившие перед суровыми истуканами кровавые жертвы, жертвы во славу и спасение склонившихся вокруг холма суровых легионов! Все изменилось! Не видно более на кургане косматых сторожей; нет более на нем и жрецов в белотканых одеждах. С пустынного кургана глядит дикий коршун, недвижно сидя в ожидании новой добычи, да глядит с него еще забытая временем и отошедшими без вести народами и обычаями вросшая по пояс в землю каменная баба. Эта каменная баба с величайшей флегмой упирает косые, серые глаза в пус-

тынный воздух, и все равно ей, темно или светло на небе, покрыта ли земля цветом и зеленью или сувоями непроходимого снега, и скучно или весело жить на свете людям! Стоит каменная баба и смотрит. А между тем вокруг нее времена бегут и сменяются временами, солнце катится и перекатывается, совершается торжественное шествие пустынной жизни, и каждый миг уступает место идущему за ним преемнику без грусти и сожаления, уступает охотно и радушно, тихо и беззаботно, точно как будто его никогда и не было на свете! Что же видит каменная баба? Какие картины встают и вращаются, вспыхивают и гаснут перед ее недвижными взорами?..

Огромный, исхудалый грач с шумом пролетел, каркая, над степью. В воздухе повеяло робким, чуть слышным теплом. Под косвенным лучом затаяли паточины и родники; звучно падают первые брызги капели. Сомненья нет: зима где-то близко, где-то не за горой, где-то встретилась с летом! Сомненья нет: блеск и веселье на пороге!..

Весна!

Рыжий байбак вскидывается от спячки, становится у подмытой норки на задние лапки и пускает по степи пронзительный, оглушающий, долгий свист. Сквозь кору гололедицы пробивается душистая коронка синички. Ранняя цапля летит, согнув длинную шею, на оттаявшее болото. Байбак, синичка и цапля несут весну. Весна идет радостно и привольно, идет, захватывая врасплох, идет, все будя и зажигая, все наполняя силами и жизнью! Везде вода, везде сверкающие водные стекла, по которым стелется и бежит голубая паутина, едва пахнет и пронесется свежий, душистый весенний ветер! Проточины чернеют и зеленеют. Степь отливается поочередно, то желтыми, то лиловыми, то яркопламенными красками. Взошла поводь, налетели туманы... Дикие гуси плывут в недосягаемой вышине, плывут тупым углом, и вожатый, волнуя свой живоподвижный косяк, оглядывает из-под бегущих, тонких облаков поля и прибрежья, и окостенелый в дупле лесной груши ястреб, отряхивая иней с замерзших крыльев, встает и летит на добычу. Где же

люди? Встречают ли они так же радостно весеннее ликование? За лугами и пахотью, над косогором, едва черкнула румяная заря, там и сям тихо поднялись в воздух кудрявые полосы дыма. Жилья не видно. Виден с кургана только простор всюду оживающей степи. Но если бы каменная баба встала с кургана, освободила из-под земли свои неподвижные члены и пошла по направлению к сверкнувшему раннему дыму, она увидела бы сбежавший к речке хуторок, увидела бы уютную слободку Вахраманы. Иногда усталый, изнуренный зноем путник раздвигает руками чащу дикого кустарника, тщетно пролагая в дубраве тяжелый свой путь, и вдруг в лицо его повеет влагой, тень осенит его, и побег чистой, холодной струи затрепещет в легком сумраке тишины и свежести лесной чащи. Так же неожиданно, словно из-под травы, является путнику уединенная слободка, слободка на речке Балаклейке, слободка старинная, не новая, притаившаяся в глубине буерака, со своими обычаями и нравами, притаившаяся, как забытый летним зноем снег запоздалой зимы, как отнесенная с равнины успокоившегося моря щепка разбитого бурей корабля. О, весна еще радостнее встречается на слободке! Авдотья-кузнечиха пришла и стала над реками и озерами; Хиона-урви-берега пришла за ней. Щука хвостом разбила лед, и воды двинулись среди потопленных лугов. Егорий-с-водой был недолго; Никола-с-травой близится и заменяет его; жаворонки реют и слобожане поют: «Прилетел кулик из заморья, вывел весну из затворья!» Весна идет по слободке. Петухи заливаются криками с утра до вечера, заливаются на крышах и воротах соломенных хаток; волы жмурят глаза, грея у заборов свои плотные спины. Корова шумно дохнула и лижет оттаявшее окно; а с вошедшим в хату ребенком влетает свежесть и какое-то обхватывающее душу благоуханье воздуха. Летят травники и поручейники; летят кряквы и тудаки. Ласточки снуют, как мухи; далекий резкий крик гуся оглашает пустынные тростники; в ближней гущине кленов звучит и перезванивается золотая флейта иволги; а слобожанин, покинув объятия теплой печки, где лежал всю

зиму в просе, куря трубку, уничтожая горячие блины и любуясь молодой женой, вышел под навес хаты в одной рубашке и не без основания полагает, что иволга кричит: «Брось сани, возьми воз!» Пчелы засуетились, загудели и одна за другой вылетают из улья вялые и сонные, вылетают на луга и степи. Темным вечером, севши на заваленке, полновидая и чернобровая дивчина затянула песню, ей вторят другие, и слободка зазвучала! Песни-веснянки идут по слободке, соседним луговинам и рощам. Песни-веснянки поются шумными толпами слобожанской молодежи. Чернобровые девчата в лентах и монистах поют: «По три гроша молодец, как печеный горобец»; лихачи-парубки, в шапках, заломленных чертом, поют: «По копейке баба, по полушке девка!» Пестрая детская толпа прыгает и, хлопая в ладоши, кличет дождь: «Дождь-дождем, поливай ковшом!» — прыгает и поет: «Иди, иди, дождик, сварю тебе борщик, и с петрушкой, и с капусткой, и с желтыми печеричками!» Дождь шумит и падает, и благодатный солнцегрев словно тянет из земли пышные травы и овощи. При первом ливне девушки подставляют под холодные брызги свои пышные плечи и нежные щеки, а парубки свои густые кудри. При первом громе слобожанин считает долгом стать под забором и подпереть его своей спиной. По улицам несут хлеб, обложенный первой зеленью, несут деревянных ласточек. Чтобы явилась сорока, кладут на дороге к колодцу сорок палочек, а школяры несут дьяку сорок бубликов; впрочем, веснянки еще не несут теплоты, будет еще сорок морозов! Сорока является, и девчата и парубки едут в лес закликать кукушек. На зеленой просеке ждут первого крика птицы-предвозвестницы, беседуют с ней, едят и пьют, и шумно открывается пора цветных игр... Чеканчики, свинка, вдовья лоза, гори-цвет, скрагли, хрещик и рябец идут и сменяются друг другом. Пастух выбран: с каждой головы скотины обещано ему по грошу или по гривне за лето; стадо двинулось в поле, и дудка зазвучала. Мартовская брага ставится в глубокие подвалы, на случай близких сватаний и обмена ручников. Но прежде выбора пастуха

и обмена ручников наступает Фомин понедельник; идут на дедовские и отчие могилы, идут, прежде возделанья нив земных, на нивы Божьи, где почиют сном безмятежным отошедшие работники земли, почиют давшие жизнь племенам новым, племенам новым и счастливым. Слобожанин остается без шапки на родимом погосте; он молчит и трижды кладет земные поклоны... Но вот просохшие пахоти зовут в поле. Еремей-запрягальник несет плуг и борону; Ирина-рассадница копает огороды и бахчи, а вот не за горами и Аграфена-купальница, и Федосья-колосница. Духовник ближнего местечка совершает крестный ход на нивы и озими. Полевые работы начинаются: подсевки, засевки и досевки идут друг за другом. За первыми всходами, на засеянной ниве, после общего обеда в поле, на плугу, увитом цветами, атаман со слобожанами возят на себе пан-отца. Но вот летит уже из лесу стон и звон воздушных песен. Появляется желтоногенькая, вечно тиликающая птичка: это — мучимая жаждой, это — птичка, по словам слобожан, вечно просящая пить. Зной на пороге, лето не за горами. А вот оно и настало!..

Лето!..

Как ярко и зелено кругом! Как кипит заботливая жизнь! На Зилота собраны быстро отцветающие целебные травы. Настает зеленая неделя. Свежесть и влага весны еще не закатились за синеющие холмы окрестностей. Пояса плетутся из трав, шапки плетутся из трав, венки и черевики плетутся из трав! В косяки хат втыкаются синие васильки, голубые сокирки, панский мак, нагидки, лилово-сизые колокольчики, павлиньи глазки. Всюду зелень, всюду травы, всюду радость! Детвора дудит в осиновые дудки. Суровый чабан ладит лады и сердце на грубо отесанной очеретяной свирели. На каждой русой головке венок, на каждой русой головке любимый выбор стебельков руты, волошков, любистока, мяты, крученых панычей, гвоздики, чернобривцев, зинзивера и черевичков. Ковалева Катря, у которой густые брови, как черные жуки, сошлись и не расходятся, нацепила во всю косу, косу — шириною с ее собственную ладонь, целую лавку лент и увен-

чала их огромным пучком калины. Сирота Христя, у которой никто еще не видел улыбки, воткнула в волосы ветку божьего листа и человечьего веку. Чабанова Хитка украсилась нечесой-панночкой; а полногрудые и рослые дочки зажиточного атамана — атамана Самойлика, никогда не покидающего своей палки, обвили положенные венцом над русыми головками русые косы свои нитями вечнозеленого и вечно любимого барвинка, этого заветного, первого друга степной девической юности и последнего украшения старческой, одинокой, степной могилы. И все это поет, и веселится, и ждет в опьяняющем тумане радостей праздника заветного, праздника Ивана-Купалы, Иван-Купала сходит на холмы и долины. Красный петух зажарен; клей с девяти дерев собран; на перекрестке трех дорог подняты соломинки и сплетен венок из девяти трав, сорванных на девяти холмах. Сглаженные злым глазом выкупались в ранней росе, и деревянный огонь, или царь-огонь, приобретенный от трения двух ветвей лесной ивы, не слыхавшей ни шума воды, ни крика петуха, ивы, из которой свирель способна даже мертвого заставить плясать, уносится с торжеством в поле из тихой слободки. В темную, безлунную ночь пространства степей на целые сотни верст мгновенно вспыхивают и освещаются живыми огнями. В темную, безлунную ночь с холма к реке, по отлогому берегу, кладутся вереницей десятки костров, и посмотрите, как обливаются блеском ленты и дукаты, широколистые венки и груди, обнаженные ноги и ярко вышитые подолы стройных слобожанок, прыгающих под заунывные купальские песни через соломенные и посконные костры. А чучело марены из вещих трав, из былицы, богатеньки, одоленя и адамовой головы, в длинной белой рубахе, в желтой плахте и в монисте, в венке из алых махровых маков и чернобыльника, стоит себе на холме, среди тихоподвижного, громкого хоровода. И чуден издали вид быстро бегущих и волнующихся в дыму и пламени слобожанок! И поют слобожанки про Ивашка и Оленку, про Петрочка и Парасю, про Василька и Оксану, про Павлочка и Пидорку. И поют они, как ходили девочки

около мареночки, около того Вудала-Купалы, и как играло солнышко на Ивана. С шумом топят наконец в реке нарядную марену. И далеко разносится по темной долине над рекой песня: «Купался Иван и в воду упал!» И откликается тонущая в сумраке окрестность: «Иване, Иване, под гору зелененько, на месяце видненько, серденько!» И катятся с холма, обнявшись попарно, молодые подружки, и катятся с другой стороны, также с холма, парубки; пары разрываются, и кто к кому докатится, того и считают за назначенного судьбой жениха. А между тем головы более бесстрашные собираются тайком проскользнуть, до первых петухов, в лес или на болото, где скоро зацветет сатанинская трава папоротник, и не боятся они встретить качающихся на ветвях зеленых русалок и синих, в косую сажень величиной, ящериц, и не боятся они увидеть сотни рассыпанных по траве огненных ивановых червячков! И самые хороводы завиваются и гремят над долиной, пока, наконец, страшным голосом из лесу не станет их разгонять. Купала проходит, недалеко Петровка, недалеко задумчивые, уныло-тихие песни — петровочка, еще печальнее и еще элегичнее песен купальских. Слобожанин между тем не плошает. Он уже надел на лицо волосяную сетку и ловит рои, с шумом вылетающие из пасеки — пасеки в уютном грушевом садике. Он помнит, что завещала людям царица-пчела, от которой вышли все на свете пчелы: «Корми меня до Купалы, сделаю из тебя пана». Приходит, наконец, Петровка, хлопотуньи-хозяйки пекут вкусные мандрыки. Замолкла кукушка, замолкла лесная провозвестница. «Отчего же это она замолкла?» «Подавилась мандрыкою», — замечает седой, старый дед, обтесывая кривым рубанком рукоятку для серпа своей внучки. Веснянки, купальские огни, петровские песни и кукушки прошли; царство зноя, царство жары и засухи вступает в свои права. Утренние росы кропят еще едва остывающую за ночь, жаркую грудь земли; колос зреет и наливается, и пышно волнуется червонно-золотая, сквозящая огнем нива нового хлеба. Немного печалят люд Божий заломы колосьев: ночью чья-то

невидимая рука надламывает тяжелые колосья; ну, да ничего! Авось умолот будет хороший. И вот руки ломятся от размахов косы; спина ломится от сверканья кривым серпом; ноги ломятся от ходьбы по необозримой пажити. Работа идет живо и скоро. Обжинки, праздник нового хлеба, встречаются с сулеею вина и новыми песнями — песнями косовицкими и гребовицкими; золотой венок из колосьев, увитых васильками, надевается на голову лучшей жницы. Священник опять является с крестом и водой, среди разбросанных кучами снопов и копен. Кутья из первых зерен ячменя в миске, убранной цветами и листьями, отсылается в церковь. А вот толпа, радостная случаю повеселиться, убрала последний сноп из последних брошенных колосьев на ниве, убрала его в виде человека с руками и ногами и несет его с торжеством на слободку, и слободка снова не умолкает до зари. Покосы, запашки, засевки, помочи, замолоты, умолоты и перемолоты идут вслед за обжинками. Спиридон-солнцеворот недалеко. На Маккавеев производится макотрус и пекутся шулики из мака и сдобные коржики. Наступил Спас медовый и Спас яблочный. Бьют пчел и выбирают мед; тут пчела очень зла, и не один является на косовицу с дулей под глазами или целым огурцом под губой. Ягоды зреют, бахчи зреют, лен и конопля зреют. Потрепунки, колотушки, супрялки, порепицы, капустницы и дынекрадницы настают на слободке. Но что это? Куда стремится разряженная толпа? Возы скрипят, сапоги звенят подковами, алые черевики как жар горят. В соседнем местечке, в Лимане, соборный праздник и ярмарка. Что же это за ярмарка? Продаются ли тут кони и полотна, сукна и посуда? Стоят ли тут гордым строем разноцветные палатки и самовары, наставляемые по тринадцати раз в сутки? Нет тут ни коней, ни полотен, ни сукон, ни самоваров! Продается тут рыба-чехонь и птица-курица, торгует тут наш брат, слобожанин, торгует чем попало: и хлебом, и дегтем, и солью, и всячиной, и чем только он задумает. И поет тут свои бесконечные песни под звуки кобзы слепой кобзарь Гарбуз, или знаменитый Петро Колибаба, или, наконец, и

сам тростинецкий кобзарь — Залавский. Цыгане замолкли, крики торгашей замолкли, щебетухи-перекупки замолкли. Стоят слобожане кружком, подперши головы руками и свесив чубы, стоят и слушают кобзаря; и звучат потрясающие, унылые переливы украинского речитатива, и звучат торжественные думы о Голоте, о смерти атамана Федора Безродного, о Самойле Кумке, о Барабаше, о Морозенке и о вечно любимом гетмане, о гетмане Хмельницком — Богдане. А не хотите ли песни другой, будничной, песни соромницкой? Кобза загремела, мехоноша-поводырь дудит в дудку, и пошла греметь! «Ой бис мини раду дав, що я соби бабу взяв! Бабу, бабу, бабу, бабу, бабу взяв!» И внимающая толпа не выдерживает, пускается в пляс и подхватывает с громом: «Ой, сорока скрегоче, никто бабы не хоче! Бабы, бабы, бабы, бабы не хоче!» И площадь местечка долго гудит под сапогами веселых слобожан. И далеко наконец разносятся слова песни: «Ой, кто до кого, а я до Параськи!» И громко льется слободское веселье. Но вот последняя летняя гроза ползет и застилает половину неба. Укрывшись под развешенной на косе свиткою, лежит навзничь истомившийся косарь, лежит и не видит, как зловещая тень перебегает по копнам и сенным покосам, спавшее стадо поднимает тревожно головы, и стая диких уток летит, спеша укрыться в тростнике, которого верхушки уже срезались и переклонились от набегающего быстрого степного вихря. И вот подул ветер от солнца, несущий бури; звучно падают первые металлические капли ливня, и целое море дождя разом проливает на жадную землю последняя летняя туча. Быстро падает и быстро высыхает этот дождь. Через миг кругом уже светло, и в лучах солнца купаются последние клочки летящих без вести влажных облаков, а веселуха-радуга, переклонившись коромыслом, тянет из ближней реки воду. Только на дальней синеющей луговине поднялся дымок, под ним зарделась алая точка, и стог сена, подожженный молнией, клубит летучее пламя. Но вот Спиридон-солнцеворот наступил, солнце поворотило с лета, а лето на холод... Заяц выкунел и стал как

в меховых штанах. Алое сукно клубники застилает холмы и луговины. В буераке, за Балаклейкой, открыта волчья выводка. Поросята, что день, исчезают в ближнем стаде, и коренастый кабан не без тревоги посматривает с косогора на стада баранов, тонущие в густой, сквозящей головатыми маковками поляне цветов и трав. Осень!..

Семен-летопроводец обходит сады, пашни и огороды: край неба на заре багровеет! Она радует и не радует, греет и не греет, эта чудно-суровая степная осень. На Воздвиженье уже сдвинулась свита и подвинулся кожух. Слобожанин выходит из хаты, становится против солнца и пристально смотрит, блуждая взорами по опустевшей окрестности... Сколько потрачено на эту землю сил и трудов, забот и здоровья! Давно ли шумели по ней лезвия быстрых кос, и косари, как паруса кораблей, рядами шли и расходились по луговине? Давно ли огни поздних ужинов усыпали звездами темнеющее море степи, и за казанком водки батраки ели пшенную кашу с таранью, галушки с перепелками? Дым, как саван бледного привидения, шел по полю и исчезал в мерцании ночи, а багровый, гигантский шар запоздалого месяца, как голова сказочного богатыря, тихо высовывался из-за двух курганов, посылая прежде себя пожар далекого леса, или подобно раскаленному серпу, воткнутому в далекий стог сена, алел на небосклоне... Давно ли скрипели по проселку возы, нагруженные снопами, и на подвижной громаде их круглилась русая головка в венке из ярко-голубых васильков? Давно ли? А теперь в поле скучно и пусто, скучно и бедно! Задумывается слобожанин и решает, что близко паутинье лето и похороны мух. Паутинье лето и похороны мух наступают; летят по воздуху белые нити паутинок, сорванные ветром. Ведьмы ловят на помелах эти нити и свивают их в мотки на зиму. В арбузных корках строят могилки мухам, а день становится все менее и менее. Терн собран, арбузы на зиму насолены; сливянки, барбарисовки, смородиновки, черешневки, грушевки, клубниковки и всякие водянки настоены, слиты и укупорены в заветных дедовских подвалах. Знахарки, навьюченные травами и кореньями, десять раз уже

посетили соседние балки и рощи. Дикие журавли стадами бродят около копен сена и по курганам, выплясывая на солнце друг перед другом неистовые пляски. Молодой заяц мячом выкатывается из-под ног охотника. Рог звенит, и свора несется, чуть касаясь верхушек легкой травы. На тускле небес снуют и чернеют неподвижно распластанные кресты плавающих под облаками коршунов. Хлеборобы, гречкосеи, просомяты и домонтари жарче берутся за работу; одни чумаки, в ожидании умолота пшеницы и обычного похода в Крым за солью, лежат и греются под вишнями. В бондарке звенит под новым обручем бочка. Вол чешется о поднятую оглоблю воза, раскрашенного прохожим из Яковенковых хуторов маляром. Молодица, вся подоткнутая и подвязанная, только что выполоскала новую крашенину и опрокидывает ушат с водой, смешанной с синькой, а румяный мельник, с напудренной бородой и висками, остановился у своих ворот и из-под мешков с горохом и просом кричит проходящему кузнецу, чтоб не забыл подковать его новые желтые козловые сапоги. На длинных кольях изгороди, перевернутые вверх дном, торчат зеленые кубышки и миски, и локоны хмеля, выглядывая из-под морщинистых желтых тыкв, выросших на заборе, взбегают на жерди и вьются на воздухе махровыми кружевами. Среди слободки появляются навьюченные мешками и связками покупщики щетины, пеньки, перьев, полотна, воску и меду; товар меняется на гребни и иголки, на ленты и бусы. А вот и вирий начался. В теплые страны, в страны приморские улетает всякая птица. Плывут в небе нити диких гусей и стрепетов, мелкая дробь перепелов и скворцов, плывут снова косяки курлыкающих журавлей и огари с ярко-малиновыми ногами и носом, точно обмакнутые в ярко-пламенную киноварь. Волосяные кулички, и те летят. Длинные перья на их шее и хребте заворачиваются от ветра, и кажется, будто распукленные хлопки шерсти летят по воздуху. Дети пускают в это время из луков в перелетную птицу камышовые стрелы, облепленные на конце смолой. Большей частью эти стрелы уносятся под крыльями дюжей птицы; но иногда жирный, упитанный гусь, догнанный ловко пущенной стрелой, падает из

недосягаемой высоты и разбивается тут же о твердую землю. В воздухе свежеет. Пахнули первые утренники. Значит, зацвела где-то вовеки незримая трава глод. На Покрова толпа девушек идет молиться о Покрове женихам. Рослый, плечистый атаман, неподкупный атаман Самойлик, ведет с последней полевой работы, с опашки и засевков под озимь, своих слобожан и, остановясь среди улиц, угощает их водкою. Палка, усеянная бирками, отставлена в сторону, и веселье идет разливанной рекой; сам атаман расправляет усы и осушает муравленый шкалик. В кружке пьющих и поющих молодиц прохаживается здоровая, полноикрая бабенка; нос ее уж озарился лучами подступающего веселья, и, прохаживаясь мелким топотом, бренчит она подковами и припевает: «Вот, бабы, какая я хорошая! Вот, бабы, какая у меня плахта! Гуляй, бабко!.. Эх, но-ож, гуляй, бабусю!» Бабуся, однако, гуляет недолго! Синеводная весна, зелено-благоуханное лето и золото-багряная осень прошли; краски полей изменились: белая зима недалеко. Мороз неожиданно перекидывается из-за цепи приземистых косогоров, грянет стужа, и достанется тогда на славу всем лысым и плешивым. Иззябшие галки снуют по небу и каркают, пророча близкую зиму. Снег висит в каждой тучке, висит над омертвелой, опустевшей степью.

Зима! Долгая, скучная зима!

Вы хотите знать, как живется на слободке зимой? Как живется? Живется скучно! Нет на слободке ни каминов, ни газет, ни театров; нет на ней ни балов с ослепительным освещением, зеркальными полами, яркой зеленью и сверкающими, обнаженными плечами. Скучно живется зимой на слободке! Слобожане, однако, стараются разогнать эту скуку. Чуть пришла пора рекостава и подступили Егорий-с-гвоздем и Никола-с-мостом, окна законопатились, и земля с водой сплотилась одним непрерывным мостом. Время работ внутри двора настало. Эти, например, белые, чистенькие хатки разукрашиваются и убираются весьма затейливо. Стены под образами разрисовываются розовыми, голубыми и зелеными полосками, как цветут розы и васильки; тут же втыкаются пучки любистока. гвоздики

и полыни, и последняя трава считается травой очистительной. Выменянные у цареборисовских и салтовских маляров иконы, между которыми особенно уважается икона Межигорской Богоматери, освещаются перед каждым праздником восковыми свечами. Страстная свеча припасается на случай грозы. Тут же, в мешке, висят артос и ладан и для неизлечимых болезней полотенце, которым священник отирал с престола пыль. Над дверью, в пузырьке, висит крещеная вода; ею кропят перепуганных детей. Ткацкий стан стучит и хлопает с утра до ночи, и гребень с начатой мочкой пряжи уже не пускает Ковалеву Катрю, щеголиху и певунью, взглянуть лишний раз в обломок зеркальца, вмазанный между окнами. Начинается долгая пора домашних работ; работы коротают время и скуку. Хлопотуньи-хозяйки встают, или, как говорят слобожане, рушатся первые; задолго до рассвета, почти в полночь, зажигаются жировые каганцы, и пряжа прядется до самой зари. Усталые глаза липнут от дремоты, но веретено жужжит и прыгает по глиняному полу. Чуть заря, начинается стряпня обедов. Полностанная, полногрудая дивчина, взявши круглое коромысло с двумя ведрами на плечи, идет за водой, и пышно колышется на ней белая новая свитка с двумя черными сердечками на спине, у пояса. Время обеда, о вы, отдаленные читатели столичные, на слободке — десять часов утра. После обеда — кто садится опять за пряжу, кто за ткацкий станок, а кто и за шитье людям на сторону. С сумерками настает топка печей к ужину. Ужинают в пять часов, и вслед за тем на слободке уже не слышно человеческого голоса. Мужики, впрочем, как и следует, ленивее баб. Мужик, отработавшись осенью, до первой новой теплыни лежит себе на печи и знать ничего не хочет. Он и за золотые горы не пойдет зимой на заработки: чего ему еще надо? Хлеба у него полны закрома, в хате молодая жена, на ногах одни сапоги, а другие сапоги еще в дегте так и мокнут: только задумал, надел и щеголяй по слободке! «Жинко, найди трубку!» — говорит хозяин с печи. «А где ж она?» — говорит жинка, шаря по углам. «Да ты уж знаешь, где она», — говорит муж, потягиваясь и зевая на печи. «Где — знаешь! — не

знаю!» — говорит робко жинка, теряясь в тщетных поисках. «Да уж найдешь! — говорит непропетый лентяй. — Ты только ищи там, где пахнет!» И терпеливая жинка ищет там, где пахнет, и точно — находит трубку. Но печелюбы и лентяи — не главный народ слободки. Расторопный хозяин с зари уже за работой. Он идет на загон, задает корм волам и атаве, молотит, веет, толчет, мелет крупу, мелет муку, мелет табак, возит дрова или садится за какое ремесло — бочарное, столярное, кожевенное, кузнечное или малярное. Не заметишь, как Варвара уже ночи украла и дня притачала, — и смотрит слобожанин: не идет ли уже весна с поля? Нет, далеко еще, не идет! Будут и сильные вьюги, и сильные морозы; будет еще семь долгих морозов — морозы: михайловские, введенские, екатерининские, никольские, рождественские, афанасьевские и сретенские. В ясную оттепель гурьба ребятишек бежит за околицу катать снежные шары. Из шаров возникает огромный, головатый человек — и с руками, и с ногами, и с носом, и с усами; его обкачивают водой, и ледяной великан остается до первого дождя, служа непомерной потехой слободским ребятишкам. Но, наконец, пряжа и молотьба, всякие ремесла и снежный великан, и все надоело! Зима тянется нескончаемо. Настает пора сказок... Старухи гадают внучатам и внучкам на угли, на воду и красных петухов. Они говорят краснощеким внучкам: «Ты не бойся, глупышка моя, ты не бойся, муравленая; ты, кубышка, на счастье шла, макитру пирогов несла, еще курицу жареную, еще утицу перепаренную, будь здорова, кубышка моя!» Скопидомка-знахарка, старая старица, всегдашняя девица, сбрызгивает сглаженных недобрым глазом, выливывает переполох, заваривает сояшницы, лечит детскую чахлость и старческую вялость, шепчет на зубы, сводит куриную слепоту, сшептывает бельма, находит ведьмины горы и дарит охаянным хозяевам неразменный рубль. Приди только бедственное сердце, она утешит; приди сердце покинутое, она даст зелье на след; приди человек испорченный, она даст зелье на ветер; по петуху откроет вора и по пчелиному соту исправит пчелиное дело. Обратись к ней немощный, она оградит от всего; загово-

рит от тоски по насердке, от несчастия в дороге; заговорит от змеи, от крови, от зубной скорби, от икоты, от войны и мора, от черных муриев, от красных мышей с зеленым глазом, от живота и от подпечных «дидьков», принимающих такое участие в хозяйстве. А что такое подпечный «дидько» — это всяк уж скажет! Да я думаю, что даже и не скажет, потому что вряд ли кто решится сказать, когда — того и гляди — старец, величиной с воробья, в войлочной шапке и весь синий, выглянет из темного угла... А вот и неожиданная свадьба проглянула на слободке. Сваты, перевязанные ручниками, подходят к окну отца и матери невесты и говорят: «Мы слышали, что у вас есть гусочка, а мы приготовили гусака; так как бы их спарить, чтобы уж вместе ходили и вместе неслись?» На это отвечают: «Рады господам сватам!» — и пир горой начинается. Только что прошла свадьба и хмельные головы простыли, опять веселье и опять радость: сочельник рождественский на пороге. Хата заново обелена и размалевана. Над столом красуется новая картина; кадка меду чистого, как глыба первого снега, отдана за нее лиманскому звонарю, и еле переминался рыжий звонарь и утешился только тогда, как выпил еще кварту сливянки и взял на рубашки детям кусок полотна. На картине написан запорожский гайдамак в зеленом кунтуше и синих шароварах; чуб свесился за ухо и коротенькая люлька торчит в зубах. Тут же стоит белый конь и фляжка с водкой; на дереве — полковой герб, а на земле — ружье и рог. Гайдамак что-то шьет. А внизу надпись: «Сидит казак на стерну и штаны латает; стерна его очень колет, а он стерну лает!» Хозяин-домонтарь выбрил гладко бороду, подбрил усы и затылок и ходит по хате в ожидании праздника. Дети несут крестным отцам вечерю: узвар, кутью и пироги. В звездную, морозную ночь начинаются колядки. Толпа девчат идет чествовать святой вечер. Шумные толпы славят Христа. По улице несутся песни: «Ой, рано-рано куры запели; святый вечер!» По улице несутся песни: «Ивашко встал, лучком забряжчал, зовет братьев в поле; там куница в дереве, а дивчина в тереме!» Толпа парубков пересекает им дорогу,

сбивает их с голосу, и строгие песни колядок сменяются песнями шуточными. Раздосадованные девчата поют: «Поехали хлопцы на ловы до зеленой дубравы; та уловили комаря-звонаря; стали суды судити, стали комаря делити!» Парубки на это только слушают и ничего не поют. Колядки сменяются щедровками. На Меланку ребятишки и девочки ходят с мешками и поют под окнами стариков, собирая за это, точно убогие странники, куски хлеба, пироги, колбасы и блины. Но ничто так не радует детей, как утро нового года. Тут им полное раздолье. С шерстяными рукавицами, полными гороху, овса, гречихи и проса, они врываются в хаты дядьков и дедов, врываются и посыпают сонных дядьков и дедов полными горстями зерен, посыпают окна, столы и даже вставших хозяев, причитывая: «На счастье, на здоровье! Уроди, Боже, жито, пшеницу и всякую пашницу! С Новым годом и с Василем!» Пришло Крещенье... Сыплет и медленно падает мохнатый снег, сугробы застилают дорогу; на речке прочищена сверкающая полоса сине-зеленого льда, и толпа ребятишек скользит и катит по ней палки, подбивают друг друга, кричат и смеются на морозе; и не видят они, не замечают, как клонится к закату и угасает недолгий февральский вечер. Но что это? С холма, со слободки, идет длинная вереница; печально и тихо идет толпа, неся высокие кресты, церковные высокие фонари и хоругви. Солнце скрылось за сплошные белые тучи, и беспредельным саваном расстилаются белые степи. Умер атаман, умер высокий, чернобровый атаман, вождь и начало всех трудов, всех бесчисленных работ и забот слобожанских. Смежились долгим сном его зоркие глаза, и палка, усеянная бирками, навеки покинута! Жил он привольно и богато, и по заслугам, как говорится, одна рука его была в меду, а другая в патоке. Не станет он более перед косцами, не тряхнет рукой нависших на лоб волос, не скажет: «А ну-те, господа слобожанство, а где ваши руки, да и где ваши ноги?» И тут же, сорвав зеленую козельку, не прибавит более: «Хорошая козелька, славная козелька! Не дураки овцы, что ее так лю-

бят!» Довольно! Отработался первый и лучший работник слободки, отработался честно и до последней капельки силы! Толпа идет и несколько раз останавливается. И всякий раз, как она останавливается, священник в темной рясе читает во всеуслышанье вещую страницу разогнутой Вещей Книги. Толпа подходит к погосту. Могила принимает должное ей тело, и все тихо расходятся по домам. Придет опять весна, степи зазеленеют, но уже не встанет из могилы покойный атаман! И вот подул ветер, метель хлынула и заклубилась, степь потемнела, как море, и только с уединенного кургана смотрят недвижно недвижные взоры каменной бабы, смотрят и следят по-былому за тихим шествием пустынной, степной жизни...

А между тем последняя льдинка растаяла, с Афанасия полоз пошел глубже, корова бока стала греть. Аксинья-полузимница привела ясные дни и ясные ночи, и вот опять пахнула теплынь и радость, из вирия опять летят птицы, опять катится по небу животворящая весна; и не видит слобожанин, и не слышит слобожанин, как убегает перед ним вереница тихих годов, и самая старость для него не несет уже изнурения души и тела, не несет тоски и скучных жалоб дряхлости; она является к нему каким-то ясным, умиротворяющим возвратом к детству, возвратом к началу жизни, возвратом к тишине и незлобию стремлений и помыслов. Так-то живется в степной маленькой слободке, в слободке на речке Балаклейке...[1]

---

[1] Некоторые места этого рассказа вошли в очерки «Чумаки».

III

ДЕДУШКИН ДОМИК

(Над. Фед. Бантыш)

Теплинский лес выходит на большую чумацкую дорогу. В старину, по случаю частых разбоев, о нем говорили: «Кто минует голую долину, да высокую могилу, да теплинский лес, то не возьмет того бес!» Времена стали другие. Лес состарился и измельчал. Но одна половина его, именуемая Черточешенским уступом, по-прежнему пугает праздное вооображение людей. Дремучая дебрь уступа полна таинственности и мрачных красок. Впрочем, слово «дремучая» да не введет никого в ошибку; дремучего здесь, собственно, очень мало потому, что эта дебрь простирается не далее каких-нибудь двух или трех верст, и дремлется в ней разве одному усталому от зноя лесничему да старику-дровосеку. Нет в теплинском лесу ни рысей, ни песцов, ни росомах, ни горностаев; нет в нем ни барсуков, ни соболей, ни ланей, ни бобров, ни медведей. Зато в неисчислимом множестве прыгают в его чаще приземистые, красно-бурые лисицы; зато все дубки и орешники его усеяны белками; зато волки в нем, как дома: никто им, уже более пятнадцати лет, не мешает тут плодиться, делать набеги на соседние слободки и хватать из соседних слободок лучших поросят и барашков. Один только раз досталось в ближнем селе, Панковке, какому-то косолапому серку. Зато же он и наделал дел! Пробрался в околицу, да не только пробрался, а отыскал еще хату, — и чью бы вы думали? — самого атамана, Колоджного-Юхты,

он же и Хриновый-Буряк, — отыскал, вошел в сени, из сеней в двери, залез на печку, съел там три окорока, откопченных к петровским розговенам, закусил миской вареников с ягодами, да там же и заснул. И досталось же за это косолапому серку! Теплинский лес перерезан многими озерами, из которых Лебяжье, Плоское и Кривое считаются лучшими потому, что нигде нет такого множества дичи, как там. В Черточешенском уступе, о котором пойдет главная речь, протекает небольшое безымянное подвижное озеро, просачиваясь из безымянного же болота, и теряется тут же между тростниками. На низменной просеке Черточешенского уступа, на гребне зеленого косогора, над озером и болотом, стоит дедушкин домик. Он стоит тут уже с давних пор... Вид с косогора на воду, перебившуюся кучковатыми плесами, по которым, едва пробежит ветер, стелется лилово-сизый отлив, и на сочную зелень болота, в раме тростников и густолистых кустарников, — хорош особенно летом. Какая странная и причудливая растительность! Как перевиты эти сучковатые деревья диким хмелем! По окраинам озера стелются ползучие травы, называемые бабьим неводом. Чемерка, лопухи, козий листик и заячья капустка, былина и рясноголовая кульбабка, волошки и сочные козельки, так любимые собирательницами грибов и лесных ягод, козельки всех родов и свойств, и белоголовый, дрябчатый смодв, и сизый молочай, и голубая колючка, и рогоз, и, наконец, сладкие шпигаки: чего только нет в этом лесу! А как настанет весной прилет птиц — и запоет, застонет кудрявый лес. По влажному, остывшему илу, как на коньках, скользят и бегают пестрые курочки, и серая поверхность усеевается крестиками куриных ножек, как старинная рукопись старинными словами. Каждый куст, каждая ветка одеты своей благоуханной атмосферой. А носатый огарь, точно клок красного сукна, перебрасывается с дерева на дерево, бегает и тихо вытаскивает из влажной земли сладкие корешки, белые поросли камыша и прошлогодних букашек, или же, беззаботно набегавшись, стоит себе на одной ножке, зажмурив глаза по сторонам

поднятого носика, и дремлет под полусонное жужжание кузнечиков и мошек, и медленно качаются вокруг него широкие, сквозящие лопухи и махровые ленты хмеля, и тихо застилает его прохлада подступающего вечера, и проносятся над ним, как бродячие певчие струны, рогатые жукалки и трепетные, сумеречные бабочки. Но вот заливаются голубым и красным потоком цветущие некоси. Трещит и сохнет, отнесенный весенней водой, бурелом и разное мелкое ухвостье. В камышах пробираются облинялые бескрылые утки. Гнезда свиты, начинается бесконечная, громкая, роскошная лесная свадьба. Вот она идет и подступает... На тихой утренней заре, когда по темным деревьям только что мелькнули желто-пурпурные пятна и туман свился и плывет над болотом, — в недосягаемой вышине берут верх и идут какие-то чудные звуки: точно торжественный, таинственный благовест раздается под небесами и падает на землю. И вот — все слышнее и слышнее, все ближе и ближе. Несутся воздушные полки воздушных армий... На лес проливается целое море звуков. Чиркание болотных веретенников, сонное курруканье горлинок, звон травников, как теньканье крохотных стеклянных колокольчиков, резкое чоканье дроздов и дребезжащий смех пустынной хохотвы, как ауканье спрятанного в кустах лешего, долетающий откуда-то чуть слышный бой перепела, треск куличка и печальные перезваниванья иволги — сколько странных, сколько причудливых голосов и звуков! Но и в тихое осеннее время, когда матери перестали уже печально скликать разбежавшихся и разлетевшихся детей; когда в траве не шныряют уморительные куличата, и гусыня не переносит уже с плеса на плес за шейку крохотных гусенков; когда белоствольная береза ярко отделяется и сверкает на матовом багрянце вязов и сквозящего, лапчатого клена; когда, наконец, голубое сукно васильков уже не застилает ни болотной кутемы, ни пеструшки — и в тихое осеннее время теплинский лес имеет много торжественно-таинственного. Погоныш, как тень, скользит в сумерки по темной, ползучей шмаре; неугомонный дятел долбит и вьется вокруг дупла

столетнего, увешанного вороньими гнездами береста, и звучно падает в пустынной тиши иссохший лист, считая обнаженные сучки и ветви, и звучно уносится умирающая до новой весны певучая песня жизни...

Дедушка был не промах, когда построил свой домик на таком выгодном месте. Домик представляет любопытное зрелище. Он стар и покачнулся набок. Соломенная крыша его завихрилась и поднялась от ветра, как панцирь у ежа. Бревна его исчерчены иероглифами червей, а крыльцо, как остов павшего в степи коня, проросло крапивой. Небольшой ребенок даже и не взойдет на него; он взойдет на него только при помощи опрокинутого ведра или колоды, на которой дедушка кует проволочные крючки для своих удочек. Зато в теплую погоду, от весны до осени, окна домика раскрыты настежь, и свободно влетают в них мошки и сумеречные бабочки, и свободно летают в них лепестки цветущих яблонь и молодые ласточки и синички. Когда подобное обстоятельство случается, родители крохотных птичек долго летают и тиликают в ветвях соседних деревьев, предполагая, что это дедушка, хищным набегом на их владения, похитил маленьких птичек. А дедушка ходит себе в мерлушковом халате, ходит и знать ничего не хочет. Зеленый картуз с гигантским овально-продолговатым козырьком, весьма напоминающим утиный нос, покоится на его голове. И ходит себе дедушка, заглядывая под кусты и деревья, колируя и подпиливая засохшие сучки. И весело дедушка посматривает с зеленого косогора... А тишина в старом домике невозмутимая. Дедушка однажды сознался, что в какое-то особенно бурное лето птичка, именуемая овсянкой, влетела в окно его спальни, на глазах его свила в углу, в развешанных мотках пряжи, гнездышко, выкормила детей и с новорожденной семьей снова улетела из спальни. Как не последний мечтатель, дедушка дал этому событию такое значение: «Придет время, и вот он сам явится в домик с маленькой, своей собственной птичкой». Впрочем, это было еще давно-давно, в годы прошедшей юности. Черточешенский уступ видел дедушку и

ребенком, у которого щеки походили на спелые яблоки, а голова на репейник, и школяром, улетевшим из соседнего городка на каникулы с новоизобретенными хлопушками и незатянувшимся синяком под глазом, и офицером в мундире с желтым воротником, на который заглядывались соседние хуторянки, владетельницы пары черных бровей, полной груди, звонкого девического смеха и нескольких десятин зеленых грунтовых садиков; не видел только родимый лес дедушки счастливым... Но что же это за дедушка? Каково его начало и происхождение? История дедушки есть история его домика, и потому расскажем обстоятельно последнюю.

И, во-первых, история древняя.

С давних давен и старинной старины территория теплинского леса принадлежала предкам дедушки. Зажиточные предки, считавшие свои земли не клочками болот и озер, а десятками тысяч десятин нетронутой плугом, пустынной нови, по которой рыскала татарва, жили в высоком, пространном доме, срубленном из столетних дубов. Двойной частокол окружал дом; на столбе, середи двора, качался сторожевой колокол и звучал цепью привязанный к столбу медвежонок. Старые деды жили весело, родились и умирали, не выезжая далее соседнего поветового городка. В темные осенние ночи, когда волки выли за озером под проливным дождем, у ворот останавливался путник, колокол звучал над озером и селом с низенькой церковью, раскинутым у подошвы холма, рычал на цепи косматый сторожевой медвежонок. Столетний слепой садовник, отыскивая дорогу палкой, с фонарем вводил путника в просторный дом. Тут было тепло и отрадно, среди развешанной и расставленной утвари. Хозяин с кубком вина на серебряном блюде встречал гостя, а в высокую, резную дверь входила стройная панночка в парчовом платье и с корабликом на голове, панночка, у которой полный стан не перетягивался рюмочкой и густые брови были, как на шнурочке. Гость с хозяином заводил речи об иностранных землях и народах, о далеких штурмах и боях. Говорил гость, и долго, по его отъезде, чудились панночке и ее седоусому отцу бит-

вы и пожары, пышные убранства и громы музыки, турниры и чужеземные красавицы, и тихая, сладкая речь гостя, которого, наконец, догоняла, вдали от них, в чужом краю, вражья пуля. Тихо старился и разрушался величественный дубовый замок предков. Иногда, во время домашних праздников и пиров, при громогласных «ура!» и выстрелах пушек, стоявших у ворот частокола, немалое количество штукатурки падало с потолка на подносы, уставленные кубками, и стены дома многозначительно покрякивали на шумные заздравные тосты. Когда дедушка принял наследство и вышел в отставку, родовое село его за разные забавы и увеселения предков неожиданно продали и перевели куда-то за реку. Не спасли дедушку ни желтый офицерский воротник, ни диплом шляхетного корпуса, где он кончил свое воспитание. Дедушка скинул сюртук, сказал: «Ну, что же? Не взяла!» Подумал, подумал — и сломал свой старый, большой дом. В видах улучшения печальных обстоятельств на первый раз из обломков дома был выстроен овчарный загон, причем сам владелец поселился под косогором, в орешнике, в курене старой пасеки. Вследствие этого всяк, кто проезжал по лесу торною обозною дорогой, немало изумлялся при виде обширного овечьего загона с резными окнами и — игольчатыми на углах уцелевшей крыши. Но в одну бесснежную зиму пали все овцы дедушки, и планы на улучшение печальных обстоятельств рушились. Дедушка скинул и щегольской хуторянский бешмет, синий с выпушками, как мундир у сотника, надел мерлушковый халат и из овчарного загона выстроил маленький домик. Он выстроил его на пепелище старого дома, выстроил у подножия высокого, развесистого дуба, как под сенью мирного священного предания. Этот дуб вырос из желудя, посаженного перед крыльцом старого большого дома в тот самый достопамятный день, как дедушка дедушки впервые ввел в него свою молодую, стройную жену и, по тогдашней польской моде, торжественно поцеловал ее перед толпой собравшейся челяди. Желудь через много лет превратился в громадный зеленый дуб, который на тридцать

шагов протянул кругом свои тяжелые, плодоносные ветви, и под этими ветвями, как былинка у подножия одряхлевшего, павшего дерева, вырос скромный преемник пространных дедовских палат, низенький домик с двумя окошечками на озеро... В древней истории домика есть еще один довольно замечательный эпизод: именно, происхождение воздушного моста к домику у подножия холма... Воздушный мост произошел так. Устроивши свое гнездо, дедушка пустился мечтать о присоединении нового лица к своему уголку, которое бы согрело и осветило его жизнь, — задумал жениться. Вследствие этого он частенько стал переезжать узкую плотину, отделявшую часть озера и болота от холма, и появляться в тихих домиках соседних хуторян. Соседние хуторяне также нередко стали завертывать к обладателю Черточешенского уступа. Как вдруг, в одну дождливую весну, потоки с ближних меловых пригорков хлынули на болото и перерезали глубокой водомоиной плотину под холмом. Дедушка очутился в засаде, отрезанный от остального мира. Однако же он не потерялся и задумал выстроить через провалье мост. С этой целью он приказал единственному слуге и плотнику рубить по соседству удобные деревья. Удобнейшим оказался на первый случай высокий вяз, росший у самой водомоины, и плотник начал с него. Переправился через овраг, привязал к вершине дерева веревку, к веревке коня и стал рубить дерево. Громадный вяз затрещал, рухнул, но вместо того, чтобы упасть на сторону, где стоял плотник, упал на другой край провалья и своей страшной силой перекинул через провалье лошаденку. Дедушка в это время сидел у озера, в орешнике, колируя какую-то дикую щепу. Когда конь перелетел через овраг, он медленно поправил на голове картуз с утиным козырьком и заметил: «Какой это бесов сын там лошадьми кидается?» А растерянный плотник, стоя на другой стороне провалья, ударил об полы руками и заметил: «Что б было и волов привязать!» Это событие далеко обошло словоохотливый околоток. Вяз сделался с той поры мостом, через который весной, когда вода с шумом

бежит по дну оврага, посетители переходят безопасно, придерживаясь за суковатые ветви, а дедушка, которого посещать стало так же легко, как брать приступом крепости, получил прозвище Черточешенского кулика, и это прозвище, при помощи дедушкиного козырька и халата, навсегда за ним осталось...

Теперь средняя история дедушкиного домика. Средняя история дедушкиного домика обнимает только одно важное событие: именно — смерть той особы, которая долженствовала сделаться его подругой, долженствовала согреть и осветить его жизнь. Это трогательное событие излагается в туземных преданиях с малейшими подробностями. Дедушка посватался за дочку поветового комиссара, табуны которого до сих пор расхаживают по окрестной степи. Гордый предстоящим счастьем и родством, за несколько дней до свадьбы, по старинному обычаю, поехал дедушка со своей невестой на богомолье в соседнюю златоверхую пустынь. Дорогой неописанное горе посетило его: простудившись под грозой, невеста его заболела и умерла в виду златоверхой пустыни! Дедушка похоронил ее и вернулся домой один, без своей молодой невесты, вернулся один, с маленькой местной иконой из монастыря. Толпа соседей и родных весело поджидала его возвращения. Выйдя из брички, дедушка подошел к будущему своему тестю, который, с пенковой трубкой, стоял впереди всех, и, подавая ему икону, сказал: «Вот теперь моя невеста!» — сказал и тихо пошел в домик. И когда он опять вошел в домик, когда старые стены опять увидели его холостяком и сиротой, когда вспомнил дедушка овсянку, голос его задрожал, точно оборванная струна, и он заметил: «Ну, что же? Опять не взяла!» — сказал и стал довольно храбро утешать родных. Без гостей, однако же, он слег в постель, раздались его глухие рыдания, и никогда уже с той поры он не мог найти прежней беззаботной мечты о счастье и о супружестве. Дедушка сдержал слово и навеки остался холостяком. Никогда более не заводил он речи о прошлом, и одно только обстоятельство напоминало знающим его о невозвратной потере. На погосте хутора, где опущена в землю

дорогая особа, дедушка взял на память несколько отростков яблонь и посадил их возле своего домика. Яблони поднялись и разрослись и скоро верхушками своими стали заслонять от глаз дедушкин домик так, что теперь его уже и не приметишь из-за их зеленолистой стены! На чугунном же памятнике кладбища дедушка изобразил следующую многозначительную надпись: «Покойся, моя бедная!» и внизу: «Боже! не отринь ее от лица Твоего!» Тихо тосковал с тех пор дедушка. Бывало, чуть вечер, он уже сходит к озеру, садится на берегу, на обломок жернова, и закидывает в озеро удочку. Он сидит и смотрит в светлую воду, смотрит и дожидается, когда колыхнется поплавок. Вода недвижна, и небо, как раскаленная по краям яхонтовая чаша, опрокинулось над лесом. Что же это рыба так лениво ловится? Что же это она не играет и не плещется? Но вот стекло воды дрогнуло. Туман расстилается, и тени бегут и уходят на темное дно... Дедушка смотрит: дедушкин образ, как в живом зеркале, изменяется, яснеет — темные волосы змеятся вокруг лица, молодые глаза блещут жизнью, и смуглый румянец сгоняет суровые морщины. Дедушка уже не в мерлушковом халате, а в военном сюртуке, молодец-молодцом и красавец-красавцем. А вот и еще какое-то лицо вышло, и колышется, и блещет перебегающей тенью!.. Что ж с тобою, добрый дедушка? Слезы текут и застилают глаза твои, одинокое сердце сжимается тоской, ты вспомнил светлое, старое время!

О, добрый дедушка! Не вернуть тебе светлого, старого времени, не вернуть тебе улетевшей молодости, не воскресить сокровенной страстишки твоего сердца. Спит твоя красавица в могиле, спит в белом платье и в полевых цветах, спит — и пустынный ветер гуляет над ее могилой. Задумался дедушка и не видит, что рыбка давно уже дергает поплавок, крутая волна расходится кругами, и удочка скользит из ослабевших рук. «Что это с вами, барин?» — спрашивает старика работник, тот самый, который построил воздушный мост. «Э, враг бы забрал ту канальскую рыбу! — отвечает суровым голосом старик, пряча взволнованное лицо свое. — Все удочки оборвала канальская рыба, а толку — ни на лысого деда!»

Теперь, читатель, новейшая история дедушкиного домика. Но что сказать об этой новейшей истории? Что сказать о ней? Сказать ли, как дедушка ежедневно встает, выходит на ветхое, поросшее крапивой крыльцо и любуется видом владения, которое все, как на ладони, открывается с холма. Сказать ли о том, как дедушка любит свое зеленоводное болото и сладко верит в его постоянство и красоту? И не говорите старику о других событиях; не говорите ему о счастье света за чертой его лесного уголка! Не указывайте ему синеющую полосу большой проезжей дороги, как горизонт иной жизни и иного мира, видной с вершины косогора, — дороги, по которой несется пыль бегущих и пропадающих вдали экипажей, летят и затихают звуки колокольчиков, и уносятся чуть слышные песни идущих с поля слобожан, беззаботные песни, веселые и радостные песни. Дедушка махнет рукою и горько усмехнется. Не нужно ему ваших дорог и экипажей, не нужно ему ваших колокольчиков и песен. Есть у него другого рода песни, есть у него свой неумолкаемый, причудливый оркестр. Что за песни, что за звуки!.. Чуть заря и день переклонился к закату, — зеленое болото, пышное болото уже заводит строй своих разнообразных инструментов. В высоком тростнике то там, то сям начинают позвякивать вразлад, как смычки несмелых еще школьников. Им, робко и также вразлад, вторят колокольчики травников и рога далекой утиной стаи, где-то пролетающей на ранний ночлег. Но вот пронеслось чирканье коростеля, волторна филина огласила холмы и перелески, кваканье миллионов лягушек встало и поднялось в болоте, и окрестность потонула в море вечерней музыки, потонула до поры, когда ясная песня одинокого соловья-ночника раздастся, сменит все и воцарится до рассвета. Среди неумолкаемой музыки птиц и лягушек, в виду зеленого болота, дедушка создал еще особый мир друзей. У него, под стать болоту, был, например, недавно фаворит-петух. Иногда рано поутру дедушка, бывало, выйдет на крыльцо, переклонится через забор садика против солнца, которое начинает тихо вырезываться из-за леса, притягивая

лучи к белой, махровой маковине и осыпая ее пурпурными брызгами, а петух то и дело кричит с холма на озеро. Он кричит и прислушивается, кричит до того, что охрипнет и произведет такой странный звук, что сам отшатнется в сторону и долго высматривает, наставив голову так, что один глаз его смотрит в землю, а другой на крышу домика, кто это так странно крикнул. Дедушка на это тоже, бывало, слушает-слушает, и пойдет в комнаты, тряся головою и повторяя: «Эка, бес-птица, как кричит! Совсем как будто и не птица, и точно кричит что-нибудь другое!» Этот петух жил очень долго и пропал неожиданно без вести; все старания в поисках его остались без успеха. У дедушки было появился тоже еще другой слуга, кроме упомянутого выше плотника, какой-то белокурый, хорошенький мальчик из соседнего села, который пришел однажды зимою и нанялся на год. Должность его состояла в хождении за коровой и в топке печей. Но мальчик ужился не долго. Одна комната дедушки была снизу доверху увешана портретами предков. Раскрашенные портреты предков стали тревожить маленького истопника. Едва разложит он огонь и сядет у печки, едва поднимет голову — три ряда фамильных портретов, три ряда темных лиц уже и смотрят на него во все глаза! В первый раз от непреодолимого ужаса истопник убежал и не появлялся целых два дня; но потом догадался и раскаленною кочергою выжег глаза всем тетенькам, дяденькам, бабушкам и дедушкам дедушки. Нечего говорить, с каким триумфом был изгнан новый истопник из домика дедушки. И вот года бегут и заменяются годами, дедушкин домик ветшает и разрушается. Нет перед его крыльцом сторожевого колокола, нет перед ним медвежонка на звучной цепи, и далекие путники редко заезжают к нему. Зато в бурное невзгодье, когда осень расстилается над омертвелым лесом, когда в воздухе бушует холодная, пронзающая стужа и крупный дождь хлещет в окна домика и сбегает по ветвям столетнего дуба, — под крышу низенького домика собираются соседи и друзья дедушки... Все тут собираются в теплую, увешанную травами

и безглазыми портретами комнатку. В вечернем подступающем сумраке не видно никого; все молчат, будто заснули, и только голос рассказчика тихо раздается в комнате. Кто же рассказывает? Кому внимает уютный кружок слушателей? Рассказывает дедушка... «Жили-были старик да старуха, — рассказывает дедушка. — Вот и стала говорить старику старуха: пойди да и пойди в лес по яблоки! Пошел старик в лес, набрал яблок, а ночь надвинулась со всех сторон такая, что хоть глаз выколи, и заночевал старик в лесу, заночевал в хатке старой лесничихи. Лежит старик на лавке, лежит, а ветер так и воет, так и воет, и деревья бьются ветками над хаткой. Вот и слышит старик, кто-то подходит к окну и ударил.

«А что? — спрашивает лесничиха. — Что скажешь?» — «Родилось на свете столько-то новых людей! — отвечает голос за окошком. — Какова будет их доля?» Лесничиха подумала и весело ответила: «Доля будет легкая и счастливая!» Голос за окошком затих, и опять завыл по лесу ветер, и деревья опять забились ветками над хаткой. Не успел старик и глаз сомкнуть, кто-то опять подходит к окошку и ударил. «Что скажешь?» — спрашивает лесничиха. «Родилось еще на свете столько-то новых людей! — отвечает голос за окошком. — Какова будет их доля?» Лесничиха опять подумала, подумала и уже печально ответила: «Доля будет тяжкая и несчастная!» Старик чуть свет схватился из хатки и вышел. «Ну, — подумал он, — попал же я к лесничихе, нечего сказать! Переночевал чуть не у самой судьбы в гостях». Оглянулся: хатки уже нет, — вот точно ее и не было между деревьями, точно сквозь землю провалилась. Приходит домой — и того удивительнее: около печи колыска, и двое близнецов лежат подле жены! Ахнул старик и остановился на пороге...»

— Да, впрочем, может быть, такая сказка уж страшная, что и рассказывать ее дальше не надо? — спрашивает неожиданно дедушка, оглядывая нас с улыбкой...

— Ах, нет, нет, дедушка, рассказывайте, рассказывайте! — лепечут голоса маленьких слушателей. — Совсем, дедушка, и не страшно!

(А уж где не страшно? Просто, как говорится, нас всех давно из-за плечей хватало, и в темных окнах мерещились косматые лица.)

— Ну, когда не страшно, так я буду говорить, — замечает дедушка, — только вы, впрочем, и не бойтесь, дальше оно точно совсем уже и не страшно, и вы не смотрите на то, что пока оно, может быть, и страшно! — Табакерка дедушки скрипит, и кружок слушателей стесняется к столу ближе...

«Вот, — продолжает дедушка, — прошло немало лет, сыновья старика подросли и стали уже подмогою в хозяйстве. Только повесил голову старик... Близнец постарше, что бы ни делал, все делал хорошо, и работа кипела у него, как у целой артели работников. Но младшему ничто не удавалось. Куда бы ни кидался, за что бы он ни брался — все шло комом и все валилось из рук; а работал и бился он из всех последних сил. «Нет, — подумал старик, качая головою, — ты родился не вместе с братом, ты родился в то время, как судьба назначала людям долю тяжкую и несчастную!»

И решился старик еще раз попытать судьбу... Послал сыновей в лес, а сам положил на дороге, на плотине, мешок с деньгами и прилег подле в кустах, думая, что хоть обманом, а найдет-таки младший сын деньги, найдет и подумает, что он сам их нашел и разбогател потому, что разве уже один слепой их тут не найдет. Вот смотрит старик, выходит, выходит из лесу, точно, младший сын, выходит и идет к плотине. Только что же?.. Дошел бедняга почти к самому мешку, оглянулся посмотреть, идет ли старший брат из лесу, прилег на плотине, прилег обождать старшего брата и заснул... Ну, а уже старший брат, разумеется, подоспел, наткнулся на мешок и поднял его. Подождал старик, как ушли сыновья домой, встал и тогда только совсем понял, что доли своей уже никак не минуешь и что чего бы только человек ни выгадывал, чего бы только он ни делал, а уже доли своей никак не минуешь!..

Дедушка на минуту смолкает, оглядывает слушателей пристальным взором, и снова скрипит табакерка дедушки, и снова льются его рассказы... Но вот на дворе окончательно стемнело; слуга, сверстник дедушки, опять-таки тот самый, который построил мост, вносит свечу и бережно дрожащею рукою опускает ее на стол, в кружок слушателей... И когда свеча, потрескивая и лениво вспыхивая, разгорится наконец и медленно раздвинет по воздуху мерцающий круг своего света, в этот круг, одно за другим, выступают из темноты лица гостей. Выступает в него и лилово-бирюзовый нос соседнего винокура, и черные-черные усы юнкера, дедушкиного крестника, и русая, подобранная под золотую булавку коса дедушкиной внучки, склоненной над гарусным вязаньем, и огромный, в виде малахитовой печатки, глаз соседнего овцевода, страстного охотника послушать и не менее страстного охотника потом рассказать о слышанном, и несколько чепцов, и несколько вытянутых, при рассказах дедушки, маленьких личиков. Тут же рядом, захваченное полосою света, выясняется и молодое, обрамленное белокурою бородою лицо священника; он сидит в коричневой рясе, опоясанный розовым вышитым поясом, и на пальце опущенной вдоль кресла руки его блестит золотое кольцо. И ничем, вплоть до ужина, не нарушаются рассказы дедушки. Разве неожиданно погаснет среди страшного повествования догоревшая свечка, и пораженные слушатели после мгновенного остолбенения громко расхохочутся, да упадут с потолка на стол семечки и чирикнет проснувшаяся в клетке птичка, которой блеск свечи покажется светом загорающегося утра. История дедушки незадолго перед этим кончилась. Дедушка умер...

Случилось это очень просто. За какой-то должишко клочок земли, занимаемой болотом, был продан. Дедушка не унывал. «Ну, — думал он себе, — хоть болото теперь и не мое, а все-таки его отсюда видно, и оно точно как будто мое болото!» Дело, однако же, вышло иначе. Новый владелец купленной земли, какой-то франт и мечтатель, напустил на болото кучу землероев и механиков, очистил его, осушил,

вспахал и засеял какою-то новоизобретенною немецкою травкою, которую зовут травкою-фуфаркою. Травка-фуфарка принялась, а между тем болото, в пространство и красоту которого дедушка слепо верил, исчезло, и вслед за ним исчезло и озеро, вытекавшее из болота. Дедушка было попрежнему стал храбриться и произнес: «Ну, что же? Опять-таки не взяла!» — но решительно не перенес своей потери. Точно что оборвалось у его сердца! Иногда еще, правда, он забывался и выходил по-прежнему на крыльцо с намерением взглянуть на водяное зеркало, в раме камышей расстилавшееся у холма, выходил послушать музыку, музыку птиц и лягушек, наполнявших цветущее, зеленое болото... Но он тут же останавливался и закрывал лицо руками: не было более ни водного зеркала, ни камышей, ни чудной музыки природы! Тихо тосковал и угасал дедушка, слушая, как порою залетный филин садился на крышу ветхого домика и стонал, вещуя смерть. Ворчал старик и несколько раз порывался убить из ружья докучливую птицу. Но, наконец, махнул рукою, и филин спокойно допел свою унылую песню, когда дедушка, прислушиваясь к дремотливому лепетанию листков своих подросших яблонь, тихо покинул землю... В околотке разнесся недавно слух, будто через теплинский лес пройдет предназначаемая из слобожанских степей к южному морю железная дорога. Если это справедливо, то там, где еще недавно был маленький лесной домик и жил дедушка, лягут железные, длинные нити, и огненный паровоз, гремя и устилая небо дымом, полетит быстрее мысли, полетит, неся добро и пользу, и, устлав свой путь городами, игольчатыми станциями, садами, мостами, длинными трубами грохочущих фабрик и сверкающими домами новых сел, сотрет тяжелыми следами своими последние воспоминания о бедном, добром старике...

IV

ХУТОРЯНКА

Цареборисово, сотенный городок старинной Слобожанщины, основан выходцами из черкасов, как называли в былые времена воинственное племя приднепровских островитян, живописную и шумную вольницу, огненною рекой прошедших по равнине степей запорожцев. Этот городок построен при царе, давшем ему свое живописное в истории века имя, и некогда ознаменовался рядом мужественных стычек с татарами, жаловавшими на плодоносные прибрежья Донца. Теперь этот городок — небольшая вольная слободка, подобно соседям своим — Салтаву, Балакисе, Лиману и Славянцам, — пережившая блестящую эпоху подвигов во имя родного царя, на родине своих полков и полковников. Старинная деревянная церковь с почерневшею колокольней, ряды беленьких мазанок, фруктовые садики, тыквы, вьющиеся по заборам, с кружевными лентами дикой миранды, звуки запоздалых на пастбище стад, крик филина на старом здании сельского правления и под вечер песня чернобровой дивчины — вот все, что осталось от сотенного городка. Зато окрестности Цареборисова представляют прекрасные виды. Донец, с нагорной, или крымской стороны, усеянный меловыми, сталеобразными утесами, дикими и обнаженными, как причудливая развалина древних замков, резко оттеняет свой левый низменный луговой берег, далеко убегающий от правого, со своими вековыми дубовыми лесами, светлыми озерами, болотами, полными дичи, и длинною вереницею сел, пашен, винниц и водяных мельниц, с грохотом вращающих

свои тяжелые маховики. По этому-то левому берегу, часов около двух пополудни, пробиралась однажды высокая, пузатая хуторянская бричка, направляясь к Цареборисовскому перевозу. Недалеко от Поплеванковской пустоши, лепясь по окраине лесистого берега, бричка ехала-ехала, кудахтала-кудахтала на толчках кочковатого проселка и вдруг, совершенно неожиданно, рассыпалась... Кучер с козлами отъехал вперед, а сидевший в бричке господин остался с кузовом середи дороги, как утлая раковина, выкинутая на берег волною. Выйдя из брички, проезжий стал ходить около кузова, смотрел-смотрел и решил, что лучше всего оставить бричку в покое...

— Странная вещь! — заметил кучер, стоя с заложенными руками около козел. — И отчего это она рассыпалась?

— Ничего странного нет, — заметил с досадой проезжий, — бричка, кажется, была вовсе не надежная.

Проезжий молодой белокурый паныч в клетчатой фуражке, с обнаженною шеей и румяными щеками говорил о ненадежности брички напрасно, потому что прежде, нежели сесть в эту бричку, он совершил над нею обычный в отношении всех хуторянских бричек маневр. Именно, когда на ближней станции он послал о себе весть старому знакомому пану и старый знакомый пан, проживавший поблизости, послал эту бричку и приглашение заехать к нему, — паныч взял бричку за колесо и за дышло и покачнул ее несколько раз. Бричка издала несколько протяжных звуков, точно у нее был скрытый музыкальный механизм, но оказалась благонадежною. Благонадежною она оказывалась постоянно и у самого пана, который с утра до ночи разъезжал в ней, гонимый множеством хозяйственных и коммерческих предприятий. И в самом деле, сегодня подвижный панок появлялся в бричке в Юшковых буераках, а завтра уже его видели в Елабановке; сегодня он занимал деньги за десять процентов в Певунихе, а завтра отдавал те же деньги, за три процента, в Засорихе, — и от его собственного хутора, вплоть до По-

плеванковской пустоши, панка все знали и уважали. В бричке этой он и спал, и одевался, и брился, и в карты от скуки сам с собой играл — и вдруг эта бричка совершенно неожиданно развалилась! Кучер первый вышел из остолбенения. Предложив панычу подверх коренного, он оседлал этого коренного армяком и объявил, что до хутора пана осталось всего семь верст и что паныч туда доедет засветло, а ему надо остаться сторожить панскую бричку. Нечего делать! Согласился паныч и поехал. Но не миновал паныч и двух верст, как конь остановился и решительно отказался идти дальше. Чего ни делал паныч, и шпорил его, и стегал хворостиной, и поощрял словами, — ничто не помогало! Сидел-сидел паныч на косматой лошаденке и решил слезть. Держась за уздечку, он сел на траве и стал поджидать, пока коварный зверь образумится. Но солнце переклонилось уже на запад, воздух остыл, тени от кустов и деревьев вытянулись далеко-далеко, а коварный зверь и не думал образумливаться. Вот из ближней, скрытой за холмами слободки полетели мерные и громкие звуки вечернего благовеста. Вечер близился. Что тут было делать? Паныч подумал и решился еще попытать судьбы. Вспрыгнул снова на коня и дал ему шпоры. Но каково же было изумление паныча, когда, опустив глаза, он увидел, что уздечка на коне развязалась и во время его прыжка свалилась на траву. Паныч обомлел и ухватился за гриву. Конь замахал хвостом, подпрыгнул раза два и, забирая карьеру, понесся во весь дух. Ничто не помогало — ни пинки, ни угрозы! Паныч болтался почти на шее коня и в ужасе видел, как мелькали мимо него кусты и деревья. Ничто не помогало! И вот видит паныч, конь летит уже не прямо, а влево, по дорожке на село, где проживала знакомая ему пани, задорная и суровая пани, с целою кучей сынов и дочек. Что за сцена ожидала его, что за сцена! Вот конь вбегает на широкий двор, индейки кавкают, и петухи кричат, все это приветствует его, дети с шумом окружают коня и кричат: «А отчего это, дядя, ты держишься за гриву, и картуз у тебя, дядя, съехал на затылок?»

И все окна домика разом отворяются, и во всех окнах домика разом появляются насмешливые лица барышень. О, ужас! ужас! Спасите, спасите его! И спасение приходит — приходит совершенно неожиданно. Не успел паныч и опомниться, как злобный зверь, летя через поляну ржи, сделал какой-то особенно отчаянный скачок, и паныч стремглав полетел в колосья ржи. Оправившись от падения, паныч взглянул в даль дороги: конь летел по отдаленному косогору, преследуемый стаей пастушьих собак, и ветер играл его хвостом и гривою. «Ну, теперь уж сосед пусть не прогневается, — сказал паныч, отирая землю с колен и рукавов, — а я, должно быть, уж не попаду к нему теперь!» Сказал это паныч и сел отдохнуть на кургане. Вдали, спускаясь к лесистой балке, раздался скрип колес, и тяжелый слобожанский воз оказался на дороге.

— Где тут проехать на Цареборисово, на Поплеванковскую пустошь? — спросил паныч, сидя на кургане, когда воз с широкоплечим батраком поравнялся с ним.

— Не скажу! — заметил батрак, лежа на животе на куче мешков.

— Как не скажешь? Я тебя спрашиваю, как тут проехать на Цареборисово.

— Не скажу! — снова заметил батрак...

Паныч смерил его глазами.

— Отчего же ты не скажешь? — спросил он с неудовольствием.

— Не скажу! — заметил, зевая, батрак и, не изменяя своего положения, отъехал далее.

Недолго ждал опять паныч. Вдали, под осиновым леском, поднялось облако пыли, и к кургану подъехал новенький тарантасик, запряженный четвернею бурых в мыле коней. Из тарантасика выглянул господин пожилых лет, как говорится, узнавший-таки на своем веку, что такое порох и что такое бури, в голубой венгерке, алой ермолке и с витою трубкою в зубах.

— С кем я имею честь говорить? — спросил господин, кланяясь из тарантасика, когда кучер сдержал лошадей против кургана.

Паныч также приподнял картуз и ответил:

— Владимир Авдеич Торба!

— Не знаю! — заметил господин из тарантасика и стал набивать трубку. Затянувшись и пустив облака дыму, он снова обратился к панычу: — А вы не курите?

— Нет.

— Напрасно! Это очень хорошо и здорово в дороге!

— Позвольте узнать, — спросил паныч в свой черед, — где тут проехать на Цареборисово?

— А разве вы туда едете? — спросил проезжий, раскуривая трубку и наматывая завязку на кисет.

— Туда...

— Верно, покупать что-нибудь?

— Нет, в гости к одному помещику.

— А кто там такой живет?

— Один знакомый помещик, около Поплеванковской пустоши.

— Старик помещик? — спросил, усаживаясь в тарантасике, проезжий.

— Нет, не старик, а так — будет средних лет.

— Жаль... Вы меня простите, только я не знаю этого помещика; а если хотите заехать к Тавифе Павловне, к Перепелкиной Тавифе Павловне, так она тут недалеко и живет, и я укажу дорогу.

Паныч отказался от удовольствия заехать к Перепелкиной Тавифе Павловне, и тарантасик, тронувшись с места, закурил снова пылью и скрылся из виду.

«Этакой народ, — заметил паныч, — спрашиваешь грабли, а он тебе тычет куму! — и прибавил печально: — Ведь этак, пожалуй, и заночуешь в поле!» Подумал это паныч и хотел идти, как из золотоусой, головатой пшеницы поднялся перед ним, очевидно спавший до того времени, незнакомец в отставном полувоенном сюртуке, низенький, круглый и вообще

похожий на бочонок на двух наперстках, господин с таким веселым и добрым лицом, с такими сладкими, заплывшими глазками и медноцветным носом, что, когда, ставши перед панычем, он произнес: «Желаю здравствовать!» — паныч пожелал ему того же и, почувствовав к нему сразу влечение, спросил, кого он имеет счастие видеть в такой пустыне.

— Ну, душка, — ответил, переваливаясь, бочонок, — тут еще нет большого счастья — видеть меня в пустыне! А скажу вам прямо, что я — отставной брандмейстер Кирик Андреич Дуля... Произнеся последние слова, шутник-бочонок улыбнулся и сделал рукою то, что сказал. Паныч не мог также не улыбнуться и еще более почувствовал к нему влечение.

— Что же вы смотрите? — спросил кубарь. — Кругловат. А это, душенька, очень хорошо на старости; я же надеюсь, что вы не откажете завернуть ко мне на хутор и выпить рюмочку.

Паныч сказал, что рюмочку он редко пьет, но зайти на хутор зайдет, потому что страшно устал.

— Петр Петрович? — спросил дорогою брандмейстер.

— Владимир Авдеич! — ответил паныч.

— Очень рад, Владимир Авдеич, — заметил кубарь, переваливаясь, — очень рад познакомиться с таким приятным человеком! — и прибавил: — А не был ли у вас дяденька или деденька в пожарной команде в Харькове?

Паныч ответил, что ни дяденьки, ни деденьки у него не было в пожарной команде в Харькове, а был один сосед, еще кривой на левый глаз, если он помнит такого соседа.

— Хухра!.. Хухра! — подхватил толстяк и покатился со смеху, производя его тоненьким, дребезжащим голосом:. — Мы его однажды еще высекли на именинах. — И кубарь хохотал до тех пор, пока с гостем втащился на небольшой лесистый пригорок.

— А где же ваш хуторок? — спросил паныч.

— Да вот он, его отсюда только не видно, а его можно просто рукою отсюда достать, — ответил Дуля.

— А как называется ваш хуторок?

— Кухня!
— Отчего Кухня?
— А вот, видите ли, отчего Кухня, — произнес, лукаво улыбаясь, толстяк, — проживал я, скажу вам, у одного богатого помещика-магната на полную губу-с и строил ему кухню — с разными удобствами и крытыми ходами, духовыми печами и всякими затеями строил; ну, и попользовался, знаете (кубарь при этом потупился), потому что и при постройке кухни можно так повести дело, что легко и даже очень выгодно попользоваться; ну, я таким образом и приобрел потом хуторок и назвал его в воспоминание Кухнею. И вот вам — и Кухня моя! — произнес толстяк, останавливаясь на пригорке и указывая рукою на хуторок... Хуторок предстал глазам озадаченного паныча. «Вот, — подумал Торба, разглядывая выступивший хуторок, — этот господин, кажется, совсем не церемонится!» И точно, он впоследствии убедился, что Дуля совсем не церемонится. Хуторок выглянул из-за двух мельниц, которые взбрасывали на воздух крылья, точно кого-нибудь звали и тщетно размахивали руками. Дуля и Торба стали спускаться с пригорка к хуторянскому маленькому домику, и паныч невольно останавливался при виде этого тихого, маленького домика. Домик брандмейстера, с камышевою крышею, под сенью столетних ракит и буков, напоминал собою гнездо малиновки в расщелине дупла громадного дерева, между колеблемых ветром стрельчатых трав и широких порослей: тоненькие веточки маленького гнездышка переплетены жилками корней, внутренность его чисто-начисто выглажена и устлана пухом, и луч солнца, пробиваясь сквозь листья трав и лопухов, нависших над гнездом, колеблет в своей полосе золотые блестки мошек и цветочной пыли, колеблет и обливает золотом пару маленьких пестрых яичек гнездышка. Таков был хуторянский домик. Дуля и паныч вступили во двор. «Я уже пообедал и выспался, — заметил хозяин, — а дворня моя еще и до сих пор спит!» Это, впрочем, Дуля говорил напрасно: гость и без его слов это уже знал. Из крапивы под погребом чрез весь двор неслись

присвистывания в нос, сенник оглашался резким басом; из каретного сарая летел дребезжащий храп, и, по-видимому, храп не в один голос, а в два, точно два человека условились и исполняли вместе дуэт. «Ну, теперь мы отдохнем, закусим и освежимся наливочкой!» — сказал хозяин, ступая через порог домика в сени, усыпанные зеленою травою. Новые знакомцы, распорядившись закускою, отправились в сад, под кудрявую столетнюю грушу, и улеглись среди пирогов и бутылок с наливками на коврике, перед панорамою степей, лугов и извивов Донца.

Паныч стал излагать хозяину историю своего приключения с бричкой. Но скажем прежде, кто такой был хозяин и кто такой был его гость. Хозяин, как уже известно, отставной брандмейстер Дуля, некогда построивший очень выгодно у одного помещика кухню, был из породы степняков — несколько скупых и в то же время падких на сластолюбие, упрямых и неподвижных, ленивых и в то же время готовых ежеминутно хохотать и веселиться, ленивых донельзя и готовых в то же время надуть всякого встречного и поперечного — и считался в околотке умнейшим и добрейшим человеком. Пухленькие ручки его не сходились на животе, а широкий затылок и гусиные, чуть видные глазки изобличали особу, для которой покой был дороже всякой золотой сумятицы. Еще в отрочестве, когда в приходской школе рыжий дьяк сек его без милосердия каждую субботу и ходил он с толпою школяров петь песни пищунов и собирать под окнами пироги и колбасы, он решил, что возиться со службою, требующею движения и трудов, — то же, что из топора борщ варить, приискал где-то, в далекой крепости за Кубанью, местечко эконома и стал поживать припеваючи. Молодость иногда брала свое, и однажды расчетливый кулак-тихоня, как его звали товарищи, чуть не женился. Случилось это бурное событие в жизни Дули так. Жил он, как сказано, в закубанской крепости экономом, и жил в ней без малого восемь лет. А в крепости не было ни одной женщины, обыватели сами и рубахи мыли, и карпетки штопали, и доили

коров. Новый Робинзон Крузо в военные, тревожные дни еще не замечал своего одиночества; но в мирное время сердце искало сердца, молодость стремилась к молодости, и приходилось новому Робинзону Крузо так жутко, что хоть в воду! Ходит, бывало, по крепостному валу, голова в тумане, глаза в тумане, вернется домой, возьмет письмо, которое за час перед тем написал к сослуживцу за горы, и остолбенеет: точно не он писал, ничего не помнит! Бывало тоже, сидит у окна и смотрит: вот подходит вахмистр. «Смотр, — говорит, — комендантский, и вас велено тоже звать!» Одевается Дуля наскоро, шпажонку пристегивает к боку, бежит на площадь, а жара такая, что подошвы горят. Что ж? На площади — ни души. Он к вахмистру: «Ты звал меня?» — «Нет, — говорит, — и не думал; это, верно, вам представилось так!» И стал Дуля такие чудеса отпускать, что начальство только плечами пожимало; подумало начальство и намекнуло стороной, что не мешало бы Дуле другого где места приискать! Закручинился Дуля еще пуще прежнего. Сидит однажды, по своему обычаю, под окном, такой скучный, и трубку курит; входит поручик и рекомендует ему молодого раненого корнетика, только что прибывшего из Анапы. «Вот, — говорит, — к вам прислан на постой!» Поселился корнетик у Дули, и стали новые знакомцы жить да поживать. Корнетик оказался музыкантом и Дулю выучил тоже на скрипке играть. И так они жили долго, пока постоялец не проговорился, что в Анапе с одною дамою был знаком, что дама эта тоже музыкантша, и стал корнетик говорить, что милая дама и такая-то, и этакая, и густоволосая, и полновидная, и ручки пухленькие, и губы алые, и что богата она и недавно овдовела. Раззадорился Дуля, кровь в одиночестве закипела. «Напишите да и напишите, — говорит, — обо мне к этой даме!» Корнетик расхохотался. «Какое у вас смешное лицо, — говорит, — стало! а впрочем, — говорит, — извольте, напишу!» Сказал и написал. Дама из Анапы, через месяц, и ответ прислала: я, мол, говорит, тоже не прочь и очень рада! Кирик Андреич как прочел письмо,

стал белее мелу, ходил-ходил по комнате, тайно выхлопотал у коменданта отпуск, оседлал костлявого обозного драбанта, взял у солдата пику и ружье, взял у кого-то старенький чемоданчик и поехал в виде Дон-Кихота, как сам после рассказывал, прямо в Анапу, приезжает, отыскал дом вдовы, дом ветхенький, старенький, с обвалившеюся трубою, и девка на крыльце белье мыла; велел доложить, что такой-то известный уже Дуля приехал. Через полчаса зовут в гостиную. Выходит дамочка, в виде свежепросольного огурчика, полненькая и точно с алыми губками. Дуля к ручке, а она его в щеку поцеловала и просит садиться. Вот слово за слово, он объяснение, та говорит: «Что же, хорошо, только родных надо повестить!» И дело пошло сразу на лад. Дуля фертиком подъехал насчет красоты, вечером пуншику с ромом попросил, за пуншиком попросил настоечки и селедочки — и пошел куролесить. «Ах, душечка, — говорит, — позвольте уже и в губки поцеловать!» Таким образом дня три он куролесил-куролесил, к невесте уж и на дом переехал, и в халате стал ходить, да вдруг и одумался. «Эге-ге! — говорит — шалишь, за две-то мельницы да за дом старенький нечего губить себя! Подумал-подумал, выбрал опять темную ночь, сел на своего драбанта, взял пику и чемоданчик, да и поехал опять в виде Дон-Кихота, тайно от вдовы, в крепость. И так он и избавился, — сколько потом вдова ни писала к нему, даже в стихах, и даже уже тогда, как Кирик Андреич женился на Улите Романовне, дочери помещика, по соседству Харькова. Женился же он на Улите Романовне, теперь уже покойнице, тоже любопытным образом. Пустил тестю пыль в глаза тем, что у него где-то есть богатая тетка, тетка Марфа Николаевна Иванова, приехал свататься в чужом новом мундире, на чужой тройке и даже с чужим лакеем. Обман открылся на другой же день после свадьбы, когда лакей пришел к нему и потребовал назад барское имущество; но Дуля уже был женат и торжествовал. С той поры, до ловкого приобретения Кухни, у брандмейстера постоянно был и сытный обед, и чистая рубашечка, и теплая шинелька, и

на зиму теплые на волке сапожки, и хотя плохенькая, а все-таки была и таратаечка с четвернею приземистых лошадок. Приобретение Кухни положило полное окончание еще недавнему странствию желудка и чемодана Дули по знакомым, и он предался любимому постоянному занятию своему, именно — лежанию в поле, в пшенице или в саду, на коврике, под грушей; и стал попивать Дуля наливочки да водяночки, которые не переводились в его погребах, и так было весело ему, что и сказать нельзя! Таков был толстенький обладатель хутора Кухни. Теперь — его гость...

Гость обладателя хутора Кухни, Владимир Авдеич Торба, был сын зажиточного слобожанского помещика, за год перед тем отошедшего к дедам от неумеренного употребления маринованных в уксусе перепелов. Сын был вызван из городка, где служил по желанию отца писцом в суде, писал и отписывался, ездил в город, ездил из города, возил гостинцы Петру Семенычу, возил гостинцы Семену Петровичу и был, наконец, введен во владение несколькими стами душ и несколькими тысячами десятин земли. Родных у молодого Торбы почти не было, и потому, вняв совету одного из соседей, франта и некогда столичного жителя, он собрал, что успел, денег и решился ехать в Петербург на службу. Деревни своей, родимой деревни Упоиловки, он почти не знал, деревенская скука в несколько месяцев успела овладеть им, и, недолго думая, променял ее Торба на зовущую, далекую, чудную даль. И как было не ехать Торбе из степей в столицу! Денег теперь предстояло ему вдоволь, соседи и соседки наперерыв завидовали ему и говорили: «Ах, Владимир Авдеич! Вот теперь-то вы поедете в Петербург! Вот теперь-то вы заживете!» А пальцы уже успели забрызгаться чернилами в маленьком уездном городке. Да и друга не припас себе Торба в родимой школе, молодого соседа-друга с тройкою чертей, а не коней, с тройкою в наметах и бубенцах; друга разбитного, с длинным черешневым чубуком и хором домашних песенников; друга, который бы его подмигнул на какую-нибудь чернобровую Катрю или русокосую Мотрю, угостил

бы его травлею с ауканьем и попойкою под курганом в серенькую осень и сказал бы: «Эх, душа моя, Володя, оставайся, душа, в Упоиловке, и доживем мы с тобой весело до седых волос и до веселой тихой старости!» Не припас себе такого друга в школе Торба, потому что не мог припасти в школе никакого друга. В школе Володю занимали другие интересы и другие цели. Был в школе мальчик Володя лучшим изо всех лучших мальчиков и по поведению, и по учению. Не знал в школе хорошенький мальчик Володя ни резвых игр, ни затей, ни трескучей перепалки на морозе мячами и кулаками, ни келейного курения трубки в печку, ни невыучивания всем классом уроков из скучной математики. Вышел Торба из школы с похвальным листом, вышел первым и заслужил от старика отца, носившего усы по грудь, в награду старый бешмет на зайцах и штуценрейтерское ружье; и одно только горе было Торбе, что никто на прощанье из лентяев-товарищей, как нарочно, не кинулся к нему на шею, не обнял его жаркими юношескими объятиями и не сказал: «Ну, Торба, чтоб меня взяли сто чертей, если ты не славный малый и если я тебя когда-нибудь забуду!» Все чинно простились с Торбой и разъехались... Отчужденность Торбы замечена была еще и на последнем уроке учителя русской словесности. Этот учитель, страстный и пылкий труженик науки, всегда куривший отличные сигары, всегда чисто, со вкусом и даже несколько франтовски одетый, завитой и раздушенный, вследствие чего его особенно любили во всех женских школах, где он преподавал, — перед выпуском, на прощальной лекции, собрав свои тетрадки, сошел с кафедры и шутя стал предсказывать питомцам каждому подходящее будущее. Одному на вопрос: «Нерон Петрович, а я чем буду?» — говорит: «Ты, брат, Федор Никандрыч, будешь чиновником!» Другому на тот же вопрос отвечал: «Ты, Ваня, гусар!» Третьему: «Ты — бандурист, не измельчайся только, а ты будешь молодец!» «А я что буду?» — спросил с первой лавки забытый на прощальной перекличке Торба. «Ты... — произнес неожиданно впавший из веселого, беспечного в гру-

стный и суровый тон учитель, — ты будешь... — прибавил, он и губы его задрожали, — ты будешь... эх, жаль мне тебя, Володя, мало тебя секли, и не хотелось бы мне, чтобы ты был тем, чем ты будешь непременно!..» Учитель не кончил, и класс в безмолвии разошелся от прогремевшего в коридоре звонка. Что такое хотел сказать учитель, никто не знал. Но последствия оправдали слова его для одного Торбы, и Торба не раз, вспоминая прошлые дни, качал головою и жалел, что его мало секли. В суде товарищи-сослуживцы, чернильные бедняки, сморкавшиеся в руку, но тем не менее зараженные сатирическими наклонностями, прозвали его кислятиной; и точно: и его улыбка при чьем-нибудь несколько свободном выражении была тем, что говорили сослуживцы, и его деликатно протянутые при встрече со знакомым два пальца руки, никогда не пожимавшей дружеским, мужественным пожатием, были тем же самым, и сюртук его, и картуз, и все слова его осторожной речи были тем же, что говорили сослуживцы... И определился ясно в представлении всех богатый наследник Торба, за которым, как говорится, не водилось ни сучка ни задоринки, кроме одного, впрочем, счастливого волокитства где-то в домике бедной вдовы-торговки, и все говорили о паныче Торбе: «Ведь вот — хороший, кажется, человек, и тихий, и добрый, и сплетен не переносит; а ведь порядочная, однако же, кислятина!» Последнее имя, наконец, пришло на ум и толстенькому Дуле, когда он, переваливаясь бочоночком на двух наперстках, пришел в сад и улегся с ним на коврик под грушей... День стал прохладнее. Гость подкрепился пирогом с яблоками и добрым корцем наливки. Окинув глазом панораму сада и окрестностей, открывшихся с пригорка в легком тумане подступавшего вечера, он не раскаялся, что завернул на хуторок Дули. И точно, вид невольно бросался в глаза. Сад был вторично в цвету в одно лето. Почти все деревья и кусты его белели, осыпанные медвяными лепестками, точно столбы молочной пены били из зелени трав, а пчелы и мохнатые шмели то и дело сновали и роились над ними. По длинному стволу ре-

пейника, который, как косарь в алой шапке, стоял и покачивался от ветра, вился и бегал чубатый удод и сверкал, и отливался золотом, как перебрасываемый на солнце клочок двухцветного, металлического бархата, и было кругом то знакомое слобожанам благоуханье трав и цветов, в которое стоит только опуститься — и вмиг уже весь пропитаешься тонкою, опьяняющею степною амброю, пропитается и шапка, и руки, и волосы, и все платье...

— Славная сливяночка, очень хорошая сливяночка, Кирик Андреич! — говорил Торба, почмокивая губами и потягивая из корчика.

— Пейте сливяночку, Владимир Авдеич, пейте! — говорил Дуля, тоже почмокивая и потягивая из корчика. — она очень хорошая сливяночка, и ваш папенька, кажется, ее очень любил.

— А вы ее только и пьете, Кирик Андреич? — спрашивал Торба, почмакивая и прислушиваясь, точно вкус его производил звуки.

— Нет, душечка, я не ее только пью, — отвечал с улыбкою Дуля, — я и другое пью, только не так пью другое.

— А как же вы пьете другое, Кирик Андреич? — спрашивал Торба, не выпуская бутыли.

— Вот как пью, Владимир Авдеич! — отвечал Дуля, приподнимаясь на коврик. — Терновочку я пью по утрам, чуть-чуть заря, и пью в сухомятку, так, чтобы росинки до той поры не побывало во рту. После чаю клубниковку, и пью клубниковку с пыжами, как заряжают ружье: выпью рюмочку и заем коржем, выпью рюмочку и заем коржем. А уже перед обедом я иду в камору, а камора моя под замком, и там у меня есть одна настоечка на кишнице, гвоздичке, полыни и перчике; эту настоечку я зову красными угольками и запираюсь, когда пью, потому что (так говорит и наш отец Никита, если знаете), когда ее выпьешь, все равно точно проглотил кошку и потом стал тянуть ее назад за хвост. Впрочем, — заключил Дуля, — человек не зверь, и больше ведра не выпьет.

Торба несколько усомнился в том, что человек не зверь и больше ведра не выпьет, потому что Дуля скоро очистил такую пузатую сулею сливянки, что мало чем не превзошел ведра. Толстяк распоясался и опустился опять на коврик.

— А вы, маточка, — сказал он гостю, — распояшьтесь тоже и полежите тут или в траве где-нибудь. Когда же не хотите, так ступайте на речку; там девки полотна моют, и вы послушаете песен! Что? не хотите? Ну, как хотите! Да вы постойте, откуда вы теперь? — спросил, уже зевая, растянувшийся толстяк. — Я и забыл вас спросить!

Торба удовлетворил любопытство хозяина.

— Ну, конечно, душечка, ничего! — заметил толстяк, переворачиваясь пузырем с боку на бок. — Я вам дам лошадок до станции, а теперь погуляйте по саду, там и баба моя гуляет.

С этими словами Дуля заснул как убитый, а Торба встал, оправился, поглядел с пригорка и пошел по первой попавшейся дорожке сада — смотреть, какая это баба гуляет.

Торба спускался к концу сада, как из-за плетня, приподнявшись на перелазе с корзиною слив на голове, выступила перед ним красавица девушка. Из-за плетня неслись песни, как бы там ходил хоровод. Красавица девушка, остановившись на ступеньке перелаза за оградой, освещенная розовым отблеском угасающего вечера, точно внезапно зажглась вся, вместе с небом, на котором резко отделился ее грациозный очерк; точно зажглись и ее обнаженная ручка, и носик с пережабинкой, и алый спенсер, обхватывающий полную грудь, и фиолетовые сливы на голове, которые вдруг покачнулись и брызнули дождем на алый спенсер, полную грудь и мшистый забор сада. Торба стоял между тем в смущенье и припоминая что-то далекое, далекое, сладко-обаятельное, и вдруг вскрикнул, бросившись к забору: «Груша! Грушенька! Вы ли это?» Пылающий в воздухе очерк красавицы девушки был неподвижен и смотрел сверху, в то время как улыбка уже пробегала по его лицу. Красавица,

наконец, также радостно вскрикнула: «Володя!» — хотела переступить через плетень и не переступила. Не Володя, Владимир Авдеич, и не Груша, Аграфена Кировна, стояли теперь друг перед другом! И не дети, не далекие маленькие дети в тихом далеком городке, в шумной школе были они, а помещик Торба и панночка Дуля, владетель богатой слободы Упоиловки и хуторянка, наследница маленького хутора Кухни! И помещик, и панночка не имели сил ступить друг к другу; и помещик, и панночка стояли и смотрели — смотрели, точно с порога далекого, невозвратного времени, точно боясь за ступеньками перелаза встретиться и не узнать друг друга. Песни за плетнем грянули сильнее, песни огласили окрестность, и красавица девушка первая очнулась. Она медленно переступила через плетень и подошла к гостю... «Володя, Володечка! — сказала она с замирающим от радости сердцем, в то время как улыбка все еще трепетала на ее устах. — как это вы очутились у нас, в нашем саду?» Торба рассказал наскоро обо всем, случившемся после разлуки с Грушенькой, воспитывавшейся с ним вместе, в семье содержателя школы, друга ее матери. Волнение мало-помалу прошло в слушательнице, она поставила корзину на землю, оправила на густой пепельной косе, положенной широким венцом над головою, другой венец из ярко-голубых свежих васильков, села с гостем на лавку и, сложа руки накрест на коленях, стала опять улыбаться и слушать. И опять раздались и понеслись за плетнем громкие хуторянские песни...

— А помните ли, Грушенька, — начал Торба, — помните ли вы, как мы учились? — И он остановился.

— О! помню, помню! — подхватила весело красавица девушка. — Я так рада, так рада вам, что не хотела бы опять расставаться с вами!

— Беда наша, — заметил печально Торба, — таков удел мужчины — вечно отрываться от родимой почвы, вечно блуждать и странствовать!

— О! — подхватила Грушенька. — На месте мужчин я просто бросила бы все, стала бы жить вот так, как теперь живу.

— А слышали ли вы что-нибудь, Грушенька, о долге обществу, о трудах на пользу света? Если не слышали, так я вам скажу, что, как бы ни хотелось мне теперь жить вблизи знакомых мест, вблизи вас, я не могу отстать от жизни сверстников. Таков удел мужчины! Да что вы думаете, наконец, Аграфена Кировна, — спросил Торба уже несколько суровее, — если я наследовал теперь богатое имение, где старились отцы и деды мои, так сейчас и втесать себя в сеятели пшеницы и разводители пеньки и мериносов?

Грушенька слушала молча, сложа руки накрест и все так же освещенная отблеском зари, освещенная вся, со своим алым спенсером, ярко-голубым васильковым венком и густою пепельною косою, оплетенною вокруг головы.

— Нет! — сказала она, когда Торба кончил. — Я одно все-таки твержу: бросила бы я все на месте мужчин — и заботы о свете, и вес в обществе, и стала бы жить в деревне, особенно в вашей деревне, Владимир Авдеич, с лесами и озерами, в деревне, о которой так заботился при жизни ваш папенька и о которой вы сами когда-то так много рассказывали...

— Да как же, — подхватил тоном рассудительного человека Торба, — да ведь последний бедняк, сосед мой, был в свете и видел свет. Ведь этак сразу и назовут меня гречкосеем!

— Не назовут гречкосеем, Владимир Авдеич, не назовут, клянусь вам! — произнесла, строго и как бы взвешивая каждое слово, девушка. — Они вдали родины и были потому, что бедняки, и потому, что беднякам нужно служить вдали и честно снискивать себе пропитание. Вы же богаты, вы же чиновником не сумеете быть, и хочется вам видеть театры, гулянья, балы, а не служить обществу! Вот (кстати, что мы встретились с вами) я следила постоянно за каждым вашим шагом по выходе из школы, и помяните мои слова, — завертит вас эта жизнь, Владимир Авдеич, и сами вы потом себя не узнаете!..

Владимир Авдеич в изумлении слушал и недоумевал, как это может так рассуждать простушка девушка, взросшая на хуторе Кухне, и еще более недоумевал, как это завертит его новая жизнь и он сам потом себя не узнает...

— Откуда вы всего этого наслышались? — спросил он, не выдержав и даже несколько неделикатно.

— О! от многих наслышалась! — ответила Грушенька с улыбкой и продолжала, не обращая внимания на его изумление. — Помните ли вы наше школьное время, наших мальчиков и девочек; помните ли вы, как мы строили планы о будущем? Вы... я вам напомню — и это меня постоянно потом интересовало, — вы хотели, выйдя из училища, поселиться в деревне, оживить в своем быту старинные дедовские обычаи, воскресить в своем дому прошедшие золотые нравы старины, старинные убранства и стол, прислугу и тихую, старую жизнь, и помните ли, как вы жадно читали тогда каждую строчку, каждую заметку об этой старине?

Девушка замолчала. Слушатель ее тоже молчал.

— Ай, ай, ай, Владимир Авдеич! Так скоро измениться! Ну, не грешно ли вам? Ну, на что вам другая жизнь?

— Вот видите ли, — начал Торба, едва различая в сумерках лицо Грушеньки, — вот вы только поймите меня, я ведь только говорю на первое время, а потом я приеду и точно заведу в доме обычаи предков, старинные убранства, стол, прислугу и тихую, старую жизнь.

Грушенька помолчала и ласково улыбнулась.

— Нет, Владимир Авдеич, нет, не обманывайте себя! Не уважаете вы, я вижу, быта старых наших помещиков, мирных наших хозяев, веселых соседей и помощников в каждом добром деле родного околотка, и не быть вам среди нас добрым, величественным магнатом, которым назначили вам быть судьба и происхождение ваше и у которого бы, как говорит одна книга, было бы все наше добро и все наши сердца! Нет, Владимир Авдеич, откажитесь лучше совсем от превосходных планов прошлого, милого детства. Ведь вы уже не ребенок, ведь вы уже взрослый мужчина — не правда ли? — прибавила весело Грушенька...

Владимир Авдеич, которого сильно заинтересовали и смутили слова Грушеньки, недоумевал по-прежнему, откуда она набралась таких суждений, и еще более по-прежнему недоуме-

вал, как это может его завертеть новая жизнь и как он сам потом себя не узнает. Ведь все в жизни так легко казалось ему! Вот он несколько послужит, через каждые два года станет завертывать в Упоиловку, а там устанет и совсем поселится на покое. Кто же его удержит? Кто же заставит его изменить свои планы? Не знал Торба, что такое жизнь в свете — жизнь, где должны были забыться выученные школьные уроки и школьные планы, и все молодое и первобытное должно было забыться, и где суждено торжествовать одному холодному, всепоглощающему, безжалостному и бессовестному эгоизму. Не знал еще этого Торба и удивлялся... Впоследствии же он узнал все и не удивлялся никогда!

— Барышня, довольно сливы рвать? — раздался серебристый голосок в темноте. Крестьянская девочка с длинными, нависшими волосами стояла чуть видная вблизи на заборе.

— Довольно! — ответила тихо Грушенька. Девочка откинула за уши падающие на лоб волосы и опять спросила:

— А вы, барышня, не придете?

— Приду! — ответила Грушенька.

Девочка утонула в темноте, и вслед за тем послышался бег по траве, за плетнем, ее быстрых босых ножек.

— Вы пойдете, может быть, к папеньке? — спросила тихо Грушенька. — А я только отпущу девочек.

Торба молча поклонился и пошел искать старика Дулю. Старик Дуля, вставший между тем и сидевший на коврике под деревом, был печален и суров; это, впрочем, случалось с ним всегда спросонья, навеянного сливянкою или другою наливкою.

— Черт знает, что такое лезло в голову! — начал Дуля, сидя на коврике в одной рубашке, и плюнул. — Приснилось, будто меня похоронили с ящерицею, зеленою и такою толстою, как кошка! — И он опять сплюнул.

Торба улыбнулся.

— Черт знает, — подхватил опять с досадою Дуля, — и это часто теперь уже стало сниться мне! И вы не поверите! Недавно приснилось, будто покойная моя Улита Романовна,

в самый день поминок, когда кутья с медом стоит в зале, ночью спустилась мухой на кутью и стала пить! Я крикнул на нее, а она сказала: «Муру, муру! и ты, свистун, не отвертишься!» Сказала и улетела опять в окошко!

Торба засмеялся.

— Да что же тут смешного? — спросил серьезно Дуля и не мог понять, как это можно смеяться, когда человеку снится мертвец.

И весь тот вечер Дуля ходил, охая, из угла в угол, и был скучен. Развеселился Дуля опять только за ужином, когда на открытом воздухе, в саду, под тою же столетнею грушей, пламя свечей стояло, не колыхнувшись, и в чудной тишине слобожанской ночи только слышался по деревьям шелест кисейнокрылых мошек да жужжание золотопанцирных коровок, которые сыпались и падали на белую скатерть, уставленную соусниками с разными дымящимися соусами, жаркими, супами, ленивыми и всякими другими варениками. За ужином Торба и Грушенька сидели молча и молча разошлись по своим комнатам... И всю ночь, разметавшись под пологом сумрака, в бессоннице, красавица Грушенька думала, следя глазами проходящие в темноте картины далекого, туманного детства: «Так ли она предполагала встретиться с хорошеньким Володею, своим будущим соседом по имению, с Володею, который некогда забегал к директору, чтобы только наговориться с нею?» И всю ночь Торба, припав горячею щекою к подушке, вышитой руками Грушеньки, думал: «И как это может завертеть его новая шумная жизнь, так завертеть, что он потом и сам себя не узнает?»

Еще Дуля слегка всхрапывал в комнатке, завешанной от мух одеялами; еще спал около него, на другой кровати, и гость его, которому при пробуждении показалось, что гигантская розовая тыква лежит перед ним в перинах, а уже Грушенька, свеженькая и веселая, умывшись рано-рано холодною криничною водою, успела побывать и на пасеке, и на току, где молотили горох, и на бахче, и в роще с гурьбою девочек, отряженных собирать выглянувшие после

дождя красновики, и в бондарне, где выделывались новые колеса на плуги и телеги; побывала везде, без зонтика, в сереньком ситцевом платьице, и шла уже домой готовить чай и будить отца и гостя. За нею по двору, к тополям, шел без шапки высокий, подпоясанный зеленым поясом атаман, перебирая пучок сорванного, зеленого еще овса. «Да мы, барышня, вот что, — говорил атаман, кивая пятами, — мы, барышня, сегодня под ярину отрядим Евтея, а под озимь Евсея: Евтей, барышня, крестил сегодня дочку и легче управится с яриною, а Евсей не крестил дочки и управится легче с озимью!» «Нет, — ответила на неудачный каламбур барышня, — ты уже, Ничипор, не рассуждай, я тебя уже знаю! Евсей и Евтей пойдут у меня на ток горох молотить; горох покупают цареборисовские поставщики, и его нужно вымолотить поскорее». Ничипор знал уже свою барышню и потому, почесываясь, молча отходил назад и удалялся от тополей без замечаний... Когда Торба оделся и вышел с трубочкою на крыльцо, Грушенька стояла у перил, перегнувшись за балюстраду и наставив руку зонтиком над глазами.

— Что вы смотрите, Аграфена Кировна? — спросил Торба, здороваясь с нею.

— Недаром папенька пошел на сторожевую клуню глядеть! — заметила Грушенька. — Вон, посмотрите, поплеванковские панки едут к нам.

Не успел Торба взглянуть в сторону сада, за рекою уже закурилась пыль, и довольно грузный экипаж стал спускаться к гребле. Скоро странная картина представилась глазам Торбы. Громадный зеленый рыдван, как слон, вооруженный бойницами, пиками и флагами, стал съезжать с крутого прибрежья, запряженный шестериком круторогих волов. Кучер в слобожанской свитке, сидя на козлах, размахивал хворостиною, правя ею, как индийский слоноукротитель, пикою. Двое господ, еще толще самого Дули, в желтых сюртуках и таких же фуражках, сидели в рыдване и, чуть съехали к реке, начали махать платками, очевидно разглядев на сторожевой клуне Дулю. Новые гости, предводимые хозяином,

скоро вошли в комнаты, где тотчас им был представлен Торба. Оглядевшись, Торба заметил, что гостей около него было уже не двое, а что еще третий, миниатюрный, как бесперый цыпленок, выпорхнул из-за их желтых сюртуков и стал, шаркая, возиться у его ног.

— Это наш помещик Непейводы, — сказал хозяин, указывая на одного из толстяков в желтом сюртуке, — а это помещик Непейквасу, — прибавил хозяин, указывая на другого толстяка, — а вот это — милый Пал Палыч Павленко, или иначе — Пейводочку, как мы зовем его кстати!

Торба улыбнулся и услышал звон капельного колокольчика, какой привязывается на шею детским деревянным конькам; он поднял глаза и увидел, что это маленький третий гость хохотал, обрадованный обычною выходкой Дули. Пока подавалась закуска, грибки и огурчики, рыбка и водочка, пока раскуривались пенковые трубки и пошли наконец все за стол, уставленный блюдами и тарелками, — Торба успел поймать в коридоре Грушеньку, которая среди хлопот была в большом духе, и она весело разболтала ему всю подноготную о приехавших панках. Один из этих панков, именно панок Непейквасу, купивши с публичного торгу клочок земли умершего без роду и племени половинного владельца Поплеванковской пустоши, ехал поселиться на новом жилище и на соседней станции столкнулся с другим владельцем пустоши, который с ближней ярмарки спешил туда же. «Как ваша фамилия?» — спросил Непейквасу, рекомендуясь новому знакомцу. «Непейводы!» — отвечал новый знакомец. «Как-с? Я не расслышал, кажется!» Новый знакомец повторил свои слова и прибавил: «А ваша как?» Непейквасу отвечал: «Непейквасу!» Сначала панки приняли ответ друг друга за скрытую иронию; но потом, взглянув на полные животики каждого, расхохотались, весело уселись в один экипаж и скоро убедились совершенно, что ирония далека от их мыслей. О встрече Непевойды с Непейквасом любили еще несколько времени поболтать словоохотливые соседние пани; но потом и словоохотливые пани замолчали, и попле-

ванковские друзья зажили привольно и весело. Один из них, именно Непейводы, был очень добрый человек, но тянулся во что бы то ни стало сыграть роль богача. Дом его представлял подобие городского — совершенно городского дома! Непейводы выгнал его в три этажа, покрыл железом, вывел залы под лак и стены под мрамор — залы с хорами и паркетными полами, и это все на сто только своих душ; в три зимы сжег на этот дом чуть не весь свой лес, для убранства заложил и перезаложил именьице и пришел-таки к тому, что дом поныне до половины стоит без стульев и кресел, важных гостей по соседству вовсе и не знает, мраморные подоконники его просверлены, и зимою сквозь них, в подвешенные пустые бутылки, стекает вода со стекол, а сам хозяин лепится в какой-то маленькой бильярдной. И еще как лепится! Так не лепятся и не имеющие городских домов! Среди лета, тоже как-то ночью, со двора у Непейводы свезли воз сена, и никто из дворни до утра этого и не заметил. Говорят, что при этом затейливые воры еще на месте стога воткнули палку со следующею юмористическою запискою на веревочке: «Пришли Иван да Данила, наложили сена на вилы; а черт же тебя просил, что ты для них косил!» Другой панок, именно Непейквасу, был тоже очень добрый человек, но ездил не иначе как на волах, объедался, как журавль, был ленив до того, что, получив где-то наследство, собирался ехать за ним более десяти лет и кончил тем, что наследство его перешло к другим, а он только спаивал весь околоток. Был у него один напиток, состоявший из спирту и каких-то ягод, такой крепкий, что упомянутая настойка Дули — настойка, которую выпить значило то же, как выражался Дуля, что проглотить кошку и потом ее тянуть за хвост, — была перед этим напитком пресною водицею. Этому напитку, словно настоенному на огне и на гвоздях, имя было спотыкач, и одна рюмка его заставляла спотыкаться самого крепкого уничтожителя настоек. Владетель этого напитка любил обыкновенно говорить, несколько в пику своему строителю-соседу: «Что мне ваши мраморы да паркеты! Вы вот попробуйте, мило-

стивый государь, этой водички, тогда и говорите, нужны ли мраморы и паркеты!» Вслед за этим, кто ни пробовал водицы, действительно, соглашался, что мраморы и паркеты были вовсе не нужны! А сам хозяин, посещавший соседей, у которых не водилось спотыкача, заливал жажду чем ни попало. Однажды не застал он дома кумы своей, пани Цындри, жившей в слободке под Камышевахой, нащупал вечером в шкапу у нее бутылку настойки на шпанских мушках и выпил ее до капли! Насилу потом откачали его и отпоили.

— Да вы, господа, почти ничего не едите! — заметил Дуля в то время, как две девки разносили чуть не восьмое блюдо.

— Мы сыты, — отвечали на это гости, — и вас, Кирик Андреич, благодарим! А вот, рюмочку мы — так выпьем!

Кирик Андреич наливал гостям рюмочку, и гости весело выпивали.

— Боже мой, — сказала, вырвавшись после стола в сад, Грушенька, — что это они только делают!

Лицо Грушеньки было бледно, и на глазах дрожали слезы...

— И неужто они постоянно так проводят время? — спросил Торба. Грушенька закрыла лицо руками и ничего не отвечала. «Вот она, деревня-то!» — подумал Торба и тоже замолчал. Во весь обед он не сводил глаз с лица чудной девушки; во весь обед жадно ловил он каждый взгляд, каждое движение, каждое слово ее, и теперь, кажется, навеки ложились в воображении его и это печальное раздумье Грушеньки, и этот долетающий из комнат звон ножей и тарелок, и веселые речи веселых стариков собеседников, и маленький домик, где прикована была судьбою подруга его детства. Мысль, нежданная мысль, как звон зовущей трубы, раздалась в воображении Торбы: он был влюблен в Грушеньку! «На колени, к ногам этой редкой девушки! — шептало ему неокаменелое еще юношеское сердце. — Посмотри на эти косы, посмотри на этот бюст, на это доброе, кроткое созданье!» А голос другой, непонятный еще голос, говорил

ему: «Погоди! подобные шаги в жизни не делаются так опрометчиво!» И Торба, в смущенье глядя на Грушеньку, молчал, молчал и сам не мог дать себе отчета, что делалось внутри его. Кажется, впрочем, ничего не делалось важного, как это подтвердили потом и последствия...

— Котик, поди сюда, — кричал между тем нежным голоском раскрасневшийся Дуля, появляясь с двумя остальными толстяками на балконе, — поди сюда, потанцуй, котик! Пал Палыч будет нам на скрипочке играть!

— Папенька, я не могу танцевать, у меня голова болит! — ответила Грушенька и молча пошла на другое крыльцо в свою комнату.

— Ну, как знаешь, котик, — произнес Дуля, становясь под руку с двумя другими толстяками в позы танцующих граций, — а мы уже будем непременно танцевать!

И вслед за тем раздались в комнате звуки скрипочки, и толстые грации, отплясывая журавля, пустились вприсядку...

Покачиваемый в подушках легкой крытой таратаечки, которая вдруг пошла по кочковатой луговине, как бы свернула со столбовой дороги на проселок, Торба очнулся и стал припоминать, что с ним произошло в два или три последних дня. Звон ножей и тарелок, тиликанье скрипочки и гром веселого журавля, слезы и чья-то тихая, тихая речь в саду — все это мешалось в его мыслях. Но вот набежала в ночной темноте дождевая тучка, пыль прибило, и в воздухе посвежело. Таратаечка пошла лесом, поминутно цепляясь за ветви, и Торба стал припоминать прошлое яснее... Очевидно, он до того времени дремал, покачиваясь в подушках таратаечки. «Поезжайте, поезжайте, Владимир Авдеич, — говорила Грушенька, под общий шумок выпроваживая его через сад из хутора, — поезжайте, а то вам долго еще отсюда не уехать!» Вслед за этим Торба помнит ее ласковые напутствия и ласковые желания, помнит и свои горячие, горячие, невольно вырвавшиеся слезы... «Ах, Грушенька, — говорил

взволнованный Торба, — так тяжело мне, так тяжело с вами расставаться!» Сердце шептало ему еще сказать слово, слово последнее, окончательное; но Торба замолчал — и не сказал этого слова... «Вам не здесь, — говорил он взамен этого слова, — вам в столице суждено блистать яркою жемчужиной! И я верю, я надеюсь, вы будете блистать в столице!» — «Э, Владимир Авдеич, где нам до жемчужин! Останемся и при своих хуторских садиках да домиках!» — «Нет, Аграфена Кировна, — продолжал Торба, — клянусь вам, не пройдет и года, я вернусь сюда, только получу место, вернусь и тогда...» Он не договорил. «И тогда? — спросила Грушенька с комическою улыбкою. — И тогда Грушенька будет иметь честь представить вам новую пасеку, которую теперь строят в ливаде!» Торба опомнился, медленно поцеловал ей руку, перелез через тот самый плетень, на котором встретил в блеске и огне вечера Грушеньку, и, когда таратаечка отъехала от сада, он увидел, как красавица Грушенька обернулась и тихо пошла к домику по дорожке, плывя, как пава, и склонив в раздумье хорошенькую головку. «Решено, решено!» — думал Торба, катясь снова по гладкой стемневшей луговине в то время, как звезды одна за другою уже глянули на небе и издали летела ему навстречу освещенная месяцем березовая роща. «Решено: я только обзаведусь хорошим местом, возьму отпуск, прикачу сюда и женюсь на Грушеньке, женюсь и вырву из душного круга милое, доброе созданье, эту светлую, первобытную душу!» И, погружаясь снова в золотую паутину сладких мечтаний, Торба мысленно повторял: «Эту светлую, первобытную душу!»

— Прикажете на станцию? — произнес голос незримого в налетевшей темноте на козлах кучера.

— На станцию! — ответил встрепенувшийся Торба и стал жадно глотать понесшийся ему в лицо свежий воздух ночи.

Выйдя из таратаечки и отпустив кучера Дули домой с тысячью поклонов барышне, Торба остановился перед старым слугою, который три дня его тщетно прождал на стан-

ции, и, осененный какою-то мыслию, спросил его: «А что, брат Павладий, не остаться ли нам еще тут?» Брат Павладий на это горько усмехнулся и ответил: «Где тут оставаться! хуражу совсем нет!» Торба подумал, махнул рукою, упал на постель и заснул как убитый. Более часу на другое утро будил и толкал его старый Павладий, объявляя, что чай уже на столе и что пора уже ехать. «А? что?» — вскрикнул, наконец, Торба и стал одеваться. Пока Павладий возился с погребцом, крендельками и бубликами, в соседней комнате послышались шаги и чей-то свежий мягкий тенор, звавший лакея. Заглянув в дверь, Торба ничего не увидел. Не увидел ничего и подошедший в это время к двери компаньон тенора, сухой и длинный, длинный и сухой человек, как циркуль, поставленный на циркуль, и, как сорока, весь состоявший из костей и перьев! Этот сухарь, украшенный длиннейшими рыжими усами и в детской курточке, держал арапник и поминутно кашлял. «Ты, Петя, тут?» — спросил он, кашляя и не видя в соседней комнате ничего, кроме дыму. «Тут!» — отвечал из дыму приятный тенор Пети. «Эк, ты, Петя, напустил сколько! — заметил, кашляя, сухарь, точно бил по лопнувшему барабану заревую дробь, и прибавил: — Не пора ли, Петя, запрягать?» Петя на это произнес: «Ах, душа, позволь еще погадать!» — и вслед за этим из дыму выставилось свежее, красивое лицо темноволосого мужчины лет тридцати, в синей бекеше, какую носят небогатые степные поставщики хлеба и сена и вообще всякие туземные кулаки: он был сутоловат и румян, как майское утро, слегка улыбался и пускал кольца легкого серенького дыма из янтарного мундштука, закутанного, как старушонка попрошайка, во фланелевую душегрейку; в руках темноволосого пускателя колечек был старый экземпляр любимой книжки слобожанских холостяков «Новый гадатель». Показавшись на пороге, пускатель колечек, равно как и сухарь, поклонились Торбе и тотчас вошли с ним в разговор. Торба, ознакомившись с видом первого, подумал про себя, что этот из породы тех, которых армейские офицеры называют: «эдакой здоровенный камер-

тон»; армейских же офицеров, в свой черед, из породы таких камертонов, зовут уже не камертонами, а «брандеба с гвоздикой и счастливая этакая мордемондия!» Ознакомившись и со вторым, Торба, кроме сухаря, ничего более еще не подумал...

— Изволите в гвардию ехать определяться? — спросил камертон, разложив уже не в прежней комнате, а в той, где сидел Торба, размалеванного «Гадателя», который был подарен ему одним панком из веселой общины соседних холостяков, столько известной в окружности, и бросая на его роковые клетки пшеничное зерно.

— Нет, — ответил Торба, — я еще не знаю, но думаю служить по министерству... по министерству... гм!.. если примут! Камертон приятным голосом изъявил надежду, что примут, потому что теперь нуждаются в людях образованных и знающих языки. «Ну, — подумал при этом Торба, — что касается до знания языков, то я пас!» Камертон еще что-то стал говорить, но произносил уже эти слова одними отрывистыми, невнятными звуками, потому что в это время совершенно углубился в «Гадателя», а растрепанный мальчишка лет восемнадцати, в засаленном сюртуке, без брюк, однако же в военных сапогах со шпорами, Бог весть откуда к нему попавшими, поднес барину две трубки. Барин взял сначала одну трубку и вытянул ее залпом, потом взял другую и также вытянул ее залпом, и когда он вытянул залпом другую трубку, стол, диван, стулья, печь и косяки двери утонули в дыму, и остались видны только шпоры на сапогах мальчишки да усы сухаря. Заинтересованный гаданьем нового знакомца, Торба уже собирался было спросить его: «А позвольте узнать, на что вы это гадаете?» — как сухарь снова забил барабанную дробь, крутил, крутил усы, ходил, ходил по комнате, наконец, взялся под бока детской курточки и произнес: «Послушай, Петя, ты, по-моему, совершенно заслуживаешь название той дамской вещи, которую нельзя и назвать!» «Отчего же заслуживаю название той дамской вещи, которую нельзя и назвать?» — спросил с улыбкою Петя, бросая на

клетки «Гадателя» пшеничное зерно. «Оттого, — ответил циркуль, шагая по комнате, — что ты боишься посвататься за индикову дочку!» «Помилуй, как боюсь, — произнес гадающий, — да нельзя, потому что это дело важное, и сразу решиться нельзя! А впрочем, — заключил он, — вот посмотри, что теперь вышло!» Сухарь взял в руки книжку и стал читать: «Бысть некогда человек и позва его мати, и положи закон в своем наследстве — быти ему благопревознесенну в мире!» Камертон не помнил себя от радости, опять принял от мальчишки две трубки, задымил их, как винокурня зимою, и громко приказал закладывать...

— А позвольте спросить, — заметил Торба, когда новые знакомцы его садились уже на телегу, — вы изволили назвать индикову дочку; кто это такая индикова дочка?

Камертон, сияя, как летнее утро на пестром ковре тележки, поклонился и ответил:

— Это, милостивый государь, соседка моя, единственная дочка помещика Дули, Кирика Андреевича Дули, если знаете!..

О чем мечталось и думалось Торбе, когда он снова очутился на большой дороге и когда пошли мимо него, по обычаю всех больших дорог, проноситься и исчезать в туманной панораме версты, трактиры, станции, мосты, леса, поля, города и села? Что навевали ему впечатления нескольких счастливых дней, прожитых в маленьком хуторе? Много сладко-томительного навевали ему эти впечатления! Качаясь в мягких подушках, он дремал, дремал и видел картину жизни в высоком, незнакомом старом доме. В этом доме он учит детей; тут еще живет гувернантка, и гувернантка эта не кто иная, как Грушенька. Старый вдовец-хозяин скучает, его утешают старые сестры, безобразные старые девки. И вот зоркие сестры открывают, что молодой, бедный учитель влюблен в их гувернантку; молодому, бедному учителю и гувернантке отказывают от дома. Девушка в горячке; молодой, бедный учитель берет ее к себе на квартиру, ухаживает за нею, ухаживает и еще более влюбляется, влюбляется и

воскрешает Грушеньку; и вот идет и подступает новая картина, и движется туманный ряд сладких грез и сладких мечтаний, мучительно-сладких сцен счастливой любви!.. «Барин, а мы уже в Москве!» — замечает голос Павладия, и, выходя из экипажа, Торба радуется, что на дворе уже ночь и что сон его снова начнет и непрерывно будет ткать свои обаятельные ткани вплоть до Петербурга... Что же еще сказать о сладких радужных впечатлениях? Что же еще сказать? В одно серенькое, туманное утро Торба проснулся в Петербурге, и наемный камердинер, в лаковых сапогах и перчатках, принес ему новый, шитый золотом мундир. Торба был уже генералом, статским генералом, с почтенным брюшком, лысый, как колено, в парике и с порядочными морщинами. Несколько просителей — кто с рекомендательным письмом, кто с памятною запискою по предстоящему апелляционному делу, а кто с просьбою о денежном пособии — ожидали его появления, потому что Торба занимал место, с которым еще соединялась должность по одному из человеколюбивых обществ. Когда он вышел в приемную и спросил ласково у одного, а потом и у другого просителя: «Вы откуда?» — просители ответили, что из Малороссии. Добрый старик, потому что Торба успел уже состариться, от души обрадовался землякам, сделал нужные распоряжения, отправил потом секретаря за билетом во французский театр, сел в двухколесный кабриолет, взял вожжи и жокейский бич, махнул на рысака в шорах и покатился по торцевой мостовой на дачу — пользоваться весенним днем. Весенний день, впрочем, оказался, чем-то вроде табачно-бурого пейзажа старой фламандской школы с примесью неожиданной ванны из мелкого дождя. Торба в досаде заходил по кабинету легкострельчатой и многооконной летней дачи. Ходил, ходил Торба по кабинету, взял из рук секретаря привезенный билет, нежно заговорил с ним о его родных и будущности, узнал, через шесть лет его службы, что он тоже из Малороссии, обласкал его, подарил ему дублет какой-то заморской сигарочницы, причем секретарь не мог надивиться, откуда взялась доброта у та-

кого затянутого и расфранченного старикашки, — и в тот же день решился ехать в отпуск, ехать в отпуск на родину, которой он не видал чуть не двадцать пять лет, мелькнувших среди полезных и тяжких занятий. Через полторы недели быстрой езды на почтовых, в двухместной легкой каретке, Торба миновал военно-поселенную дорогу с полуверстовыми столбами в виде горящих на синем небосклоне беленых, кирпичных пирамидок, стал спускаться к Донцу и уже был в нескольких десятках верст от Упоиловки, где с трепетом и страхом ожидал его известный уже Павладий, состарившийся в качестве приказчика, — когда, проехав мимо одного кургана, вспомнил что-то зароненное и давно забытое в далеких юношеских воспоминаниях! Ямщик своротил на проселок, и, когда каретка пошла по узенькой Поплеванковской меже, смутные юношеские воспоминания встали и заколыхались перед глазами Торбы. Вспомнил Торба неожиданно, как во сне, и рассыпавшуюся бричку, и хуторок по имени Кухня, и теплый, все обливающий пурпурным блеском вечер, и красавицу девушку на перелазе плетня, и громкие песни за садом, и тихие речи, и кроткую улыбку, трепетавшую на милых устах. Вспомнил это Торба и в смущении смотрел, как выходил ему навстречу старый городок-слободка Цареборисово с деревянною, почерневшею колокольнею, рядами беленьких домиков, фруктовых зеленых садиков и плетней, увитых ползучими тыквами, выходил, словно воскресшее детство, детство с его невозвратными первыми забавами и с его первыми, невозвратными радостями. Нужно было взять вольных лошадей и ехать далее, мимо Поплеванковской пустоши и маленького хутора Кухни, в Упоиловку. Торба вышел из каретки и разговорился со стариком, отставным солдатом, который содержал в Цареборисове постоялый двор. С первых же слов солдата Торба не помнил уже себя от радости: семейство Дули жило в Цареборисове, в конце улицы, там, где колодец и сады сливаются с рощею! Одевшись наскоро, Торба кинулся по улице и скоро увидел указанный домик. Хозяева были в саду, около омшаника. Торба

пошел в сад и скоро завидел высокий старый омшаник, из-за которого летели ему навстречу хохот и детские крики. Семейная картина представилась глазам Торбы... Муж хозяйки, в котором Торба легко узнал знакомца на станции, некогда гадавшего на «Нового гадателя», был тот же веселый и румяный степняк, только несколько поседевший; он помещался на опрокинутом улье и сек на коленях березовым пучком какое-то подобие розового, полуобнаженного купидона, как Венера на одной картине сечет розою амура. Жена, стройная барыня с пышными плечами и пышными пепельными волосами, несколько бледная, но все та же прежняя Грушенька, стояла в стороне и хохотала до упаду. Тепленко и его жена (так теперь называлась Грушенька) узнали сразу дорогого гостя и с радостными криками бросились ему навстречу. «Как! Какими судьбами?» — понеслись вопросы, и при этом купидон освободился. Владимир Авдеич, почтенный Владимир Авдеич, был введен в комнаты. В комнатах, кроме купидона, уже оправившего свою курточку и другие, скинутые до того принадлежности, встретили Торбу еще три девицы — сестры хозяина дома. Девицы-сестры, внеся в гостиную полные воланы своих белых платьев, уселись по креслам в живописных позах. Пока Грушенька хлопотала с ужином, а хозяин раздавал приказания о приготовлении лошадей и экипажа владетелю Упоиловки, старшая из девиц, поддерживая разговор с гостем, успела изъяснить, как они скучают, очень скучают в Царереборисове. В это время высеченный, но опять веселый купидон сел перед самым носом Торбы и, покачиваясь, заметил: «А тетя Маша все врет, дядя! Они совсем и не скучают; а они ездили к Цепетновым, одного улана смотреть ездили, и мне улан давал конфетов, чтобы я не говорил, как он будет свататься за тетю!» Девица покраснела, как клубника, и вместе с другими сестрами готова была сквозь землю провалиться...

«Ты, душенька, не мешай!» — заметил разбитному мальчишке Торба и, посадив его к себе на колени, увидел, как он тотчас же завладел его часовою цепочкою и печатками.

Рассказчица переглянулась с сестрами и стала снова излагать, как никто, решительно никто к ним не заезжает. «А тетя Маша опять врет! — заметил мальчик. — Семен Семеныч из суда заезжал и играл с ними в карты, а меня тетя в детскую тогда запирала!» — «Ну, послушай, мой друг, — произнес Торба, — если ты будешь мешать тетеньке, я тебя разлюблю, разлюблю решительно!» Мальчик притих, но во время нового разговора, когда и маменька, и папенька его уже сидели в гостиной, вдруг спросил: «А отчего это, дядя, у тебя такие волосы на голове, будто чужие, и столько морщин? Тепленко побледнел, стиснул зубы, ухватил опять купидона за пояс и, как котенка, понес его на новую разделку... «Хи, хи! — смеялся гость в смущении, оправляясь перед дамами и стараясь придать своему лицу беззаботную мину. — Какой веселый ребенок!» Грушенька для ободрения гостя завела речь о Петербурге, о балах, о театрах, об опере, о городских новостях и даже о службе, которую, по словам ее, она любила и за которою постоянно следила, — и Торба, оживленный своею сферою и любезностью хозяйки, чуть не таял перед пышною степнячкою, хотя невольно при взгляде на нее и на себя думал: «Какая же это еще роскошная и свежая женщина!.. И какой ты, брат, уже истертый и измятый колпак!» «А ты, дядя, какой смешной!» — крикнул неожиданно розовый купидон, ворвавшись опять в гостиную, очевидно в отмщение новой совершенной над ним расправы, и увлек в погоню за собой и раздосадованного папеньку, и всех негодующих тетенек...

Нечего говорить более о встрече Торбы с Грушенькой. Торба боялся завести речь о прошлом, о планах детства, о предположениях жить в деревне и воскресить в домашнем быту предания старины и обычаи тихих, мудрых дедов. Грушенька это видела и также молчала. После веселого, оживленного перекрестным разговором ужина хозяйка дома ушла в маленькую гостиную и за полночь засиделась там с гостем. Когда гость вышел оттуда и, ласково раскланявшись, оставил хозяев с любезностию доброго, милого и почтенного старич-

ка, Грушенька склонилась на плечо мужа, и муж заметил, что она была бледнее обыкновенного и слезы дрожали в ее глазах...

Еще два слова. За ужином Торба разговорился с хозяином, превозносившим успехи своих трудов по имению жены, и узнал, что старичок тесть его недавно перед тем скончался. Тепленко выхлопотал ему местечко в канцелярии соседнего дворянского Депутатского собрания; Дуля бросил рюмочку, наполнился, что нередко у нас случается на старости лет, охотою труда и деятельности, более семи лет служил честно и благородно, и, вместе с прежними годами, был награжден за усердие пряжкою «За XXV лет службы». Старик чуть с ума не сошел от радости, стал показывать всем встречным и поперечным полученную пряжку, говоря: «Вот посмотрите, какая у меня пряжка!» — стал рисковать и расстегиваться на морозе от радости, простудился — и умер. На похоронах его были все прежние, старые друзья и, между прочим, были известные уже соседи по Поплеванковской пустоши — Непейводы и Непейквасу, доныне поживающие весело, как истые мелкопоместные панки, веселы и в здоровье — кроме, впрочем, Непейквасу, у которого недавно, от частых возлияний спотыкача, проявилось непроизвольное шатание и мотание тела вправо и влево, сопровождаемое еще трепетаньем десницы, а иногда и шуйцы, почему соседи дали ему тотчас прозвище деревянного пильщика, какой иногда продается на ярмарках, покачиваемый собственною тяжестью на жерди ярмарочных палаток...

V

ПЕЛЬТЕТЕПИНСКИЕ ПАНКИ[1]

— Что это такое?
— «Пан на всю губу!»

В слободской Малороссии благодаря полному отсутствию мудрых правил майората и совершенному незнанию того, что в других местах называется золотою жизнью холостяков, существует искони один род любопытных обывателей, средина между великорусскими однодворцами и казачеством старой Гетманщины, которых по-уличному в народе называют панками, полупанками и подпанками. Эти любопытные обыватели с недавних пор стали несколько исчезать, убегать из благодатных степей и перерождаться, появляясь в отдаленных городах и губерниях в виде помощников откупщиков, помощников барышников и других разных спекуляторов. Но иногда путник наталкивается в степях на слободку, жилище таких панков, слободку странную и причудливую, слободку любопытную, как ветхая, полупонятная рукопись на языке отошедшего без вести древнего наречия. Подобная слободка столько же занимательна, как храмы друидов, развалины Ниневии и мексиканские древности! Такой слободки даже и не увидишь, проезжая степью с большой дороги, потому что

[1] Первоначально «Пельтетепинские панки» и «Село Сорокопановка» составляли два отдельных рассказа, впоследствии же оба этих рассказа автором были соединены вместе под общим названием «Село Сорокопановка».

она всегда пригнездится в глубоком буераке, по берегам логовища тощей степной речонки или сидит себе в лесу, вокруг природных зеркальных ключей, над которыми вьются и стонут дикие чайки. Иногда только, рано на заре, с пустынного косогора или кряжа меловых холмов приметишь где-нибудь в стороне, на окраине степного горизонта, лиловый дымок, который рядом стройных, несущихся в воздухе столбов поднялся над чертою туманной дали, тихо протянулся по небу и, закудрившись на маковке, как капитель древней колонны, стушевался и исчез в тихом воздухе. Эти колонны — дым скрытых труб скрытой слободки. А подъезжайте ближе, сотни золотых скирд, как ряды гвардейских драбантов, толпы наймитов и наймичек с громкими песнями и сверкающими серпами и вереница вечно махающих, точно вечно зовущих кого-то со степи, мельниц встретят вас у околицы. Панки живут себе весело! Панкам и нуждочки мало в том, что иной раз они сами ходят за плугом, сами доят коров, сами молотят горох и смолят откормленных кабанчиков. Кабанчики вещь очень вкусная, и панки их не променяют ни на фраки, ни на модные визиты, ни на кипучее иноземное вино. Зато разбогатей панок, — у него является толпа наймитов, челядинцы совершают домашние работы, одевают, поят и кормят его, и панок ходит себе, заложа руки за спину смурого с подпалиной бешмета, ходит себе к соседу Точичке, попивает с соседом Точичкой наливки и водянки, водянки да запеканки, крестит с соседом Точичкой свою пятую дочку, и прочит свою пятую дочку в жены сыну соседа Точички, и кладет ей на зубок старый бабушкин шушун, шушун голубой, подбитый зайцем, старый бабушкин парчовый кораблик и алые бабушкины черевички; и, глядишь, через два десятка быстро мелькнувших лет и пирует на задуманной свадьбе соседей вся тихая слободка, и дивится слободка нарядам невесты, и никогда не выходят эти наряды из моды и вкуса незатейливых панков. Панки живут привольно! Панки так живут привольно, что болезнь — старость, а из жизненных неприятностей икота да чрезмерное плодородие — только и

известны между панками. Вследствие этого у большей части народонаселения панков загорелые лица походят на волчанские переспелые арбузы, руки походят на их собственные ноги, у пожилых дам иногда на полных губах сидят усы, а у дочек усов нет, зато глаза, нос и губы решительно тонут в молочных пышках щек. Сын зажиточного панка, щеголь подпанок, какой-нибудь Вайленченко, у которого отец был, по слобожанскому обычаю, Вайленко, мать — Вайленчиха, дед — Вайло, а бабуся — Вайлиха и сын которого должен именоваться поэтому Вайленя, а дети сына его — Вайленята, — надевает бекешу на лисьем меху и голубые ситцевые штаны с портретами, приводящими в азарт всех собак слободки, и ходит рындиком по широкой улице, и подмигивает чернобровым панночкам и подпанночкам, и смотрит, как панночки и подпанночки середи чистых двориков варят варенье, гонят водку нá вишневых косточках или же, поймав хохлатую наседку, делают рекогносцировку ее благосостояния и будущего ее приплода.

Весело живут панки, так весело и привольно живут панки, что самому хотелось бы приютиться на тихой слободке и пожить их жизнью... А были ли вы, господа, когда-нибудь в Волчанске? Нет! что я говорю! Разумеется, что были, потому что Волчанск так уже хорош, что и нельзя уже в нем не быть! Нет: были ли вы, господа, за Волчанском, были ли вы там, где идет дорога на Валки и где не идет дорога на Змиев, потому что вряд ли где-нибудь может идти дорога на этот скучный и однообразный Змиев.

Если были, то, наверно, помните, что тут, неподалеку, с крутой меловой горы виден долгий-долгий лес, за лесом — гора, а за горою — речка, и этой речки вы не найдете не только на какой-нибудь карте, но даже и в пяти верстах далее от подошвы горы и от ее собственного истока. Речка называется Маминька... На этой Маминьке по обеим сторонам, если взглянуть на нее с горы, кучками и врассыпку разбросаны все слободки, слободки и слободки... На этих слободках кое-где вы встретите настоящих панов и паней,

бывших в Харькове и дальше; а на других живут одни панки — панки небогатые и тихие, милые сердцу панки... Вот, например, слободка Пельтетепинка, или, как ее зовут завистливые соседи, слободка Непересчитовка. Сорок сороков окружных панков особенно знают, что такое Пельтетепинка, знают и посещают ее потому, что панки пельтетепинские — самый гостеприимный и немудреный народ в свете. Маминька, раскинув в этом месте несколько пространнее свои владения и убравшись высокострельчатыми тростниками, разделяет Пельтетепинку на две разные слободки, хотя обе эти слободки составляют одно целое и никогда, решительно никогда не считали себя чуждыми друг другу. Маминька в Пельтетепинке была в давние времена украшена мостом, который соединял оба берега; но как-то, в водополье, мост снесло, и его уже более, по заведенному обычаю, не возобновляли... Говоря по правде, и незачем его было возобновлять. Зимою одна сторона панков сообщалась с другою по льду, а летом речка пересыхала. Одна весна только представляла непреодолимую преграду... Да, впрочем, тогда каждая сторона предавалась упоению таинств любви и совершенно забывала о своей соседке. Наконец, если бы кому нужно было и тогда что-нибудь сказать, так стоило только стать на берегу Маминьки и крикнуть. Маминька нигде не была шире главной Бахмутской улицы, и потому слова звучно и легко перелетали с берега на берег... Пельтетепинские панки не то чтобы были совершенно богатые панки, однако же нельзя сказать, чтобы они были и бедными панками, скудельническою голытьбой, как их называют еще в некоторых сатирических уездных городках. Хлеба у них было достаточно; бараньи бешметы и волчьи шапки были у каждого, и ни одна панночка не засиживалась в девках далее пятнадцатого дня рождения, празднуемого под звуки трех скрипачей и слепого цимбалиста, оркестра пельтетепинской щебетуньи-шинкарки. Например, толстенький, веселый хохотун, пан Шпундик, — как он умеет ловко набить пенковую трубочку табаком, именуемым сампантре, и как в то же вре-

мя хорош алый коврик пана, постоянно вывешенный на крыльце, рядом с одним голубым костюмом пана, похожим на раскрытые ножницы!

Потом — пан Макитра, этот хлопотун и живчик, который при каждом веселом слове, своем или чужом, прыгает и шевелится, как картонная кукла с контрабасом, подергиваемая спрятанною сзади ниткою. А хоть бы и этот важный, молчаливый и всегда угрюмый пан Холодный, с животом, раздвигающим толпу, как крепостной, стенобитный таран, — пан Холодный, у которого куча детей, как куча круглых картофелин, поставленных на картофелину, и у жены которого лицо до того полное и странное, что однажды, в жмурки, рука незрячего приняла его не за лицо, а совсем за другое... Но ни пан Шпундик, ни пан Макитра, ни пан Холодный не сравнятся с Антон Минычем Морквой, у которого на нижней губе сидит нарост величиною с игольник, вот так, как будто бы у Антон Миныча всегда во рту недокуренная сигарка, и у которого все соседи, начиная с исправника, окружного, акцизного и судьи, до отца протопопа, матери протопопицы и двух соседних арендаторов, объедаются до того, что после обеда не могут пошевелить ни языком, ни пальцем и тотчас прибегают к некоторым облегчительным медикаментам; с Антон Минычем Морквой, у которого, наконец, однажды ужин, на его собственных именинах, состоял, как уверяют, из двадцати двух блюд! Нет спора, между обществом пельтетепинским есть, например, такие панки, как пан Дудочка, который лжет на каждом шагу, как жид на бердичевской ярмарке, лжет и всегда прибавляет: «Ну, ей-ей же, правда!» или: «Ну, чтоб же у меня рот передернуло, если это не так!» — и потом, как, например, сын бывшего гуртовщика, Пунька, который икает так неожиданно и так непристойно, что с некоторых пор его стали избегать в очень многих домах, где бывает дамское общество... Пельтетепинские панки еще большие искусники на разные изделия и приятные домашние занятия. Пан Шпундик, например, очень недурно рисует узоры для шитья

и играет на флейте; пан Макитра весьма недурно шьет по тамбуру; пан Холодный всем детям своим делает куклы, но при этом, как говорят, собственноручно же и сечет их каждую субботу. Пан Дудочка — бобыль бобылем и делает одни только неприятности своим знакомым; пан Пунька тоже делает неприятности, и еще более пана Дудочки, о чем изложено выше; но зато его подбородок всегда так выбрит, что ему говорят обыкновенно: «А знаете ли, Сал Салыч, за такого бритого, как вы, двух небритых дадут!» Наконец, всеми любимый Антон Миныч Морква. Антон Миныч — угоститель и упоитель, хотя и не рисует узоров, хотя и не шьет по тамбуру, не играет на флейте и не делает кукол, зато вы всегда увидите, как Антон Миныч, иногда в шлафроке, а иногда и просто, от жары, в платье Евы, сидит у себя в садике перед кадочкой и делает загибеньки и простые колбасы, такие вкусные, что если вам даст он попробовать и тут же, закрыв вам рукою глаза, спросит: «Что это такое?» — а вы и не скажете, что это такое! И, Боже мой! Сколько достойных и прекрасных людей, с талантами, не менее достойными и приятными, обитает в этой Пельтетепинке, в кругу этих пельтетепинских панков!.. Но чьи это два дворика стали на берегу с двух сторон речки Маминьки, стали и смотрят, как две молодицы, пришедшие с ярмарки, две щебетухи, в новых платках, лентах и дукатах, — смотрят и как будто сами говорят: «Вот! посмотрите на нас, добрые люди: вот мы так заслуживаем того, чтобы на нас посмотрели!» Чьи это два чистеньких и кокетливых дворика? Дворики принадлежат двум пельтетепинским дамам — двум достойнейшим дамам слободки: Дарье Адамовне Передерий, с левой стороны, и Дарье Адамовне, тоже Передерий, с правой стороны Маминьки... Как ни странен случай, но должно прибавить, что соседки, жившие друг против дружки через речку, точно носили одинакие имена и фамилии, хотя никогда не были родня друг другу и не имели решительно ничего схожего. Потомство Передерий искони существовало и по левую сторону Маминьки; потомство Передерий искони

существовало и по правую сторону Маминьки. Дело в том, что скопидомки-хозяйницы обе были еще и совершенно разного характера. Дарья Адамовна с левой стороны была подвижная и румяная, с носом, глядевшим вверх, или, иначе, с носом, подающим большие надежды, — затейница подтрунить на чужой счет, затейница устроить свадьбу, устроить шумную катавасию в посторонней семье и потом весело и беззаботно обо всем посплетничать. Дарья же Адамовна с правой стороны, хотя была также ничуть не прочь и подтрунить, и устроить свадьбу, и устроить катавасию, и потом обо всем посплетничать, но зато почти никогда не улыбалась, никогда не вертелась и не двигалась так, как ее соседка, все делала, напротив, молча и сурово, без смеха и прибауток, без ветреной веселости и шума, и даже была несколько падка к меланхолии. Иначе, Дарья Адамовна с левой стороны была, если можно так сказать, Дарья Адамовна-Комедия, а Дарья Адамовна с правой стороны была, если можно так сказать, Дарья Адамовна-Трагедия; характер обеих проявлялся во всем, до чего они ни касались, и потому их ни в каком случае нельзя было смешать. И так как до этих двух соседок главным образом будет относиться вся наша история, мы скажем, как жили пани Передериихи, чем занимались пани Передериихи и в каких отношениях были друг к другу и к остальному обществу Пельтетепинки... В то время как соседи двух соседок, с обеих сторон реки (а соседи были: налево, под гору — пан Кислый, за ним — Юнаши, за Юнашами — Билики, далее пасечник Горобец, у которого на голове не было ни единого волоска, зато борода была, как фартук, такая белая и всегда расчесанная; с правой стороны, под ольховою рощицей — пан Бубырь, далее панок бедненький и тихенький — Цуцыня, за ним — ломатель жидовских спин, весь заросший усами и бакенбардами, пан Чухрай-Перечухренко, возле него — пан Дешевый, рядом с ним — пан Дорогой; а там и пошли Сморченки, Скубенки, Виенки, Павленки, Пупенки, Савченки, Миненки и всякие енки, пока, наконец, у самого входа в слободку, не возвы-

шался дом винокура пана Ивана Побейшею), — в то время, говорю, как упомянутые соседи двух соседок занимались хлебопашеством, сами ходили за бороною и плугом, сами ковали лошадей и дергали шерсть с коз, — соседки предоставляли свое хозяйство двум задорным и зубастым наймичкам, хуторянкам из-под Волчьего Яру, а сами только солили огурчики, вялили грибки и вишенки, вышивали кошельки милым сердцу панычам — панычам, пожирателям девичьих спокойствий, или, как говорят о них, ненасытецким сердцеедам и беспардонным сумасбродам, — и проводили время в приятных разговорах... В то время когда Маминька замерзала или пересыхала, они посылали по вечерам просить дружка дружку на свечку, то есть, как это у них водится, посидеть, поболтать и поработать вместе, не вводя себя в лишний изъян по освещению. Когда же Маминька пышно стремила воды свои по лону зеленых берегов, они выходили через огороды на берег и переговаривались друг с другом через речку...

— Ну, так как же там у вас все идет? — начинала Дарья Адамовна с правой стороны, или Дарья Адамовна-Трагедия, поглядывая через речку и шевеля спицами шерстяного чулка.

— Да ничего, тетенька, очень хорошо идет! — отвечала Дарья Адамовна-Комедия веселым и почтительным тоном, что означало и прибавленное имя тетеньки, также шевеля спицами шерстяного чулка.

— Ну, да как же это хорошо? — допрашивала суровая соседка, прищуривая глаза через оловянные очки, оседлавшие ее нос.

— Да, так-таки, тетенька, очень хорошо! — подхватывала веселая соседка, выставляя напоказ свои румяные и свежие щеки.

— И терновку перелили в бутыли?

— И терновку перелила в бутыли!

— И кобелька приобрели от городничего?

— И кобелька приобрела от городничего!

— Ну, и солод уварили, Дарья Адамовна?

— И солод уварила, Дарья Адамовна!

— Скажите! вот как!.. Так, значит, и борова посадили в саж к розговенам?

— И борова посадила!

— Вот как! скажите пожалуйста!.. Это очень, скажу вам, любопытно, Дарья Адамовна! — произносила угрюмая соседка, то бледнея, то краснея от злости...

— Да-с, очень любопытно! — подхватывала, сверкая румяными щеками, соседка веселонравная. — А вам-то что, завидно, что ли, тетенька?

— Ну, матушка, завидно не завидно, а скажу вам по правде, что сегодня ваш селезень переплыл ко мне в огород!

— Ну, так что же, что селезень мой переплыл к вам в огород?

— А то же, матушка, что каналья я буду, если не сверну ему головы! — произнесла при этом Дарья Адамовна-Трагедия, превращаясь в полотно и едва шевеля от волнения спицами чулка.

— Ну, матушка, говорите это поповой кобыле, а не мне! Да я еще и посмотрю, как вы свернете селезню голову!

— А что разве?

— Да то же, что каналья и я буду, если и вам тогда не сверну головы!

— Мне? — подхватывала мрачная соседка, улыбаясь и задыхаясь от бешенства.

— Вам, именно вам!

— Ну, тогда уже позвольте вам послать дулю! — произносила запальчивая Дарья Адамовна-Трагедия, свертывая пальцы в шиш и протягивая их в направлении к левой стороне...

— А уж позвольте их при этой верной оказии послать вам целых две! — замечала Дарья Адамовна-Комедия и тут же посылала через речку обещанное...

Дарья Адамовна-Трагедия на это совершенно терялась и, помолчав, изъявляла убеждение, что с такою злодейкой, как Дарья Адамовна (не она, а другая Дарья Адамовна),

надо говорить, наевшись гороху. На это Дарья Адамовна веселонравная, в свой черед, заливалась дребезжащим хохотом, который далеко разносился по реке, и говорила:

— Да вы, Дарья Адамовна, мерзавка!..

— И, матушка, — отвечала на это соседка суровая, — мерзавка не мерзавка, только всем известно, что у вас от клубники губы пухнут!

— Как пухнут? — спрашивала озадаченная Комедия. — Этого быть не может, этого никогда я не замечала!

— Очень может быть, и замечала это я, я, я! — прибавляла с ожесточением Трагедия.

— Ну, когда пухнут губы, так я же вам доложу, что вы в шкапу, в спальной, держите водку на сосновых шишечках и пьете ее каждый день по пяти, а иногда по шести рюмок, и от того у вас нос красного цвета — отливается и наливается, как термометр, и глаза не свои!

— Тьфу! — плевала на это негодующая пани с правой стороны, и, сказав: — Вот же вам за это что! — уходила домой переволнованная и сконфуженная донельзя...

Иногда такая беседа кончалась неожиданным миром, и каждая пани, сказав: «Ну, матушка, вы себе, если хотите, гуляйте, а мне пора чай пить!» — расходились по домам. Но в другое время, вслед за дулями и громкою личною перебранкой, утомленные пани высылали на реку своих наймичек, и зубастые наймички звонкими, раздирающими дискантами оглашали окрестность и перестреливались не хуже запальчивых героев Илиады. «Да ты уже замолчи, — кричала одна наймичка другой, стоя на плетне огорода, — ты уже замолчи, потому что я уже знаю, какая ты!» «А какая же я?» — подхватывала противница, также стоя на плетне. «Да такая же, как и твоя мать!» — «А какая же моя мать, сякая ты такая?» — «Да такая же, как и ты!» — «А я какая, сякая ты такая?» — «Такая же, как и твоя мать!» И этот речитатив тянулся нескончаемо, при сбежавшихся с обеих сторон Маминьки зрителях, разжигаемый еще поощрительными криками самих хозяек... Наконец и этого еще было

мало: хозяйки расходились по домам и, в пику дружка дружке, каждая именовала свою свинью или слепую кобылу *Дарьей Адамовной*, и слободка долго волновалась, разделившись на два враждебных лагеря, ратующие каждый за свою обывательницу и не знающие пощады и снисхождения... Но такова судьба человеческого сердца! Подходили чьи-нибудь именины или крестины, и обе соседки, если был случай переправиться через речку, встречались снова друзьями и, ухватившись за руки, чмокали дружка дружку в губы, произнося: «Ах, это вы, душечка!» — и получая ответ: «Да, душечка, это я!»

Однажды (случилась эта история в самую засуху, когда Маминька не делила Пельтетепинки на две разных слободки) тотчас после обеда Дарья Адамовна-Комедия прибежала, запыхавшись, к Дарье Адамовне-Трагедии, залилась слезами и упала ей на грудь... «Что с вами, душечка?» — спросила хозяйка. «Ах, и не спрашивайте, милашка, я так взволнована, так взволнована!» — ответила гостья и снова залилась слезами. «Да что там такое?» — спросила хозяйка, оставляя чулок и снимая очки. Гостья на это достала платок, отерла глазки, отерла щечки и, вынув из-под лифа письмо, сказала: «Вот, послушайте, душечка, вот какой со мной сделался неожиданный случай!» — сказала и прочла вынутое письмо:

«Милостивая государыня и, если смею так назвать, друг не только мой, но и всего человечества! Успехи дружбы вашей ко мне заставляют сделать открытие, я влюблен голову совсем потерял! разумеется вот вам участь блаженство посланное а моя чем же я виноват хоть в речку! сна не имею, целую ваши ручки, если же когда вы обратите взор меня то прошу не откажите подарить меня вашею рукой вы меня знаете теперь же пришлите мне ниток на карпетки всего один моток и не забывайте дрожащего Ивана... (фамилию гостья прикрыла пальцем) а также и шерсти только той которую купили в городе а не вашей а письмо держите в секрете!»

Гостья кончила, но не могла произнести от волнения ни слова и сидела, потупясь, как пойманная с папироской пансионерка...

— Ну, что же, шерчик, очень рада! — возразила суровая хозяйка. — жених нашелся, не надо упускать, вот и все!

— Ах! — воскликнула гостья и снова повисла на шее хозяйки, и снова зачастили по щекам ее радостные слезы...

Вслед за этим соседки стали шушукаться, шушукаться и шушукались до тех пор, как вечер наконец застлал окна темнотою, и собеседницы совершенно потонули в сумраке маленькой гостиной. Так шушукались соседки и на другой день, и на третий день, и целую неделю, и положили, наконец, уведомив милого жениха, начать делать приданое... Через неделю после этого решенья соседка, получившая письмо, сидела также дома и также сидела после обеда, как вдруг дверь отворилась, и в ее гостиную вошла Дарья Адамовна-Трагедия. Дарья Адамовна-Трагедия вошла молча, молча поклонилась, молча и таинственно села на диван... На руке ее, на шнурке, висел походный чемодан (так называли в слободке ридикюль гостьи); она раскрыла стальную пасть чемодана и стала оттуда вынимать на стол разные вещи. Вышел оттуда клубок голубой шерсти и две огромные деревянные спицы с начатым чулком; вышел оттуда бронзовый наперсток в виде волчьей головы; вышли из чемодана и другие походные арматуры гостьи: тамбурная иголка, оловянные очки, рогулька для лент, костяная палочка для ковырянья в ушах, пузырек с нюхательным табаком, два хлопка корпии из морского каната для затыканья ушей от простуды, стальной игольничек в виде флейты, ножницы и кирпич, обернутый в вышитый гарусом чехол, для пришпиливания работы. Суровая гостья разложила все это в большой симметрии на столе, поковыряла в ушах уховерткою, заткнула их новыми хлопками из морского каната, надела нитяные перчатки без пальцев, оседлала нос очками и, вооружась спицами, произнесла:

— Ну, матушка, а я к вам тоже с новостью!

— С какою новостью? — спросила хозяйка, насторожив уши, как моська, в то время как, перележав все бока у ног мечтающей хозяйки, она неожиданно услышит «Жю-жжю!» или «Фиддель, ты все филасефствуешь?» и поднимет к хозяйке оскаленную мордочку... Гостья покинула спицы, взглянула через очки, покачала головою, причем заколыхался на ней накрахмаленный огромный чепец, распущенный, как перья на шлеме древнего рыцаря, и сказала: «Ну, пропала и я, душечка!» — и, сказав: «Ну, пропала и я, душечка!» — вынула из ридикюля письмо и стала его читать:

«Милостивая государыня и если смею так назвать друг не только мой но и всего человечества Дарья Адамовна! Не терзайте меня а я готов сейчас жениться на вас! У меня наследство семь десятин и пасека около Катышевахи — жду ответа не мучьте потому что мучить можно муху или что-нибудь другое но не мучьте меня нежный друг душечка! Слова ваши льются как алмазы из вашей фортуны, когда вас слушаю и притом у вас чисто русское сердце.

Иван... (фамилию гостья прикрыла также пальцем)».

Милостив... Сиятельство... Проба пера...

— Нет, — прибавила гостья, перевернув письмо, — эти слова попали сюда нечаянно, они находятся уже на другой стороне письма!..

Хозяйка замерла от удивления, думая про себя: «И в этакую старуху, и в этакую нюню — и влюбляются!» — и произнесла, кусая губы: — «Что же, Дарья Адамовна, счастье! Поздравляю от всей души! Не надо упускать такого счастья!» Гостья при этом слове стала опять смотреть через очки, медленно сложила письмо, закачала перьями шлема и заключила хозяйку в объятия...

Гостья и хозяйка стали снова шушукаться, шушукались, шушукались, положили также шить приданое, и посетительница, нагрузив снова известный уже чемодан, покинула левую сторону Маминьки не прежде, как ночь сошла на дремлющую землю и в реке заколыхался живоподвижный сверток червонцев, брошенный с неба полным, ярким меся-

цем... Вот пришел сороковой день рождения Антона Миныча Морквы, у которого, как уже также известно, во рту была всегда недокуренная сигарка и однажды ужин состоял из двадцати двух блюд, — пришел день рождения Антона Миныча, и Антон Миныч увидел вдруг весь дом свой полным, как тарелка с пшеницею, отобранною для пробы на посев. Скрипачи с слепым цимбалистом напиливали за завтраком и обедом; за десертом предстала на столе вавилонская башня из леденца и теста, из которой выскочила потом живая курица и много напугала и насмешила дамское общество. После обеда, увидевшего гибель двух или трех дюжин бутылок старой неподслащенной сливянки, когда две рослые девки, наймички Антон Миныча, в пучках и тяжинных юбках, внесли в зал дымящуюся чашу варенухи, — после обеда общество засело частью играть в шашки, а частью в карты, в любимую игру носки...

— Да помилуйте, да что же вы делаете, да этак вы лишите меня носа! — вскрикивал пан Макитра, тот самый, который походил на картонного музыканта, подергиваемого спрятанною сзади ниткою, подставив пану Холодному раскрасневшийся нос; а пан Холодный не слушал его и, прищурившись, с свирепою радостью хлопал его по носу картами, как кузнец по раскаленной шине, хлопал и еще злобно приговаривал... Слезы давно бежали по щекам пана Макитры, пан Макитра уже чувствовал озноб в пояснице и шее, который чувствуют все подвергаемые хлопанью по носу картами, как вдруг в дальнем углу комнаты, в густом дыму сампантре, голосок пана Дудочки произнес: «А вы, господа, не знаете, а у нас теперь две новые невесты!» Как мужчины пельтетепинские ни считали лгуном пана Дудочку, как они над ним ни трунили и ни потешались, но тут решительно не вытерпели и подступили к нему с расспросами, позабыв и о картах, и о носе пана Макитры...

— Да кто же это такие невесты? Да вы о ком говорите? — допрашивали Дудочку любопытные панки, теснясь к

нему со всех сторон. Дудочка сделал из своего лица лицо торжественное и мерным шепотом произнес: «А это, господа, наши пани: это — Дарья Адамовна Передерий и ее соседка, тоже Дарья Адамовна Передерий!» «Да ты, брат, врешь?» — заметил прямо пан Холодный, делавший детям своим, как уже известно, собственноручно куклы и в то же время, также собственноручно, секший их каждую субботу. «Ну, ей-ей же, это правда! Ну, чтоб же у меня рот передернуло, если это не так! — произнес пан Дудочка обычное свое утвердительное слово. — А они даже и приданое уже стали шить». Пан Холодный на это уставил лоб в землю, а общество единогласно решило идти к хозяину дома и объявить ему услышанную новость. Хозяин дома был найден обществом в гостиной, где он стоял на коленях, на ковре, в кругу обступивших его дам, и объяснял, едва ворочая языком, что это не день его рождения, а день его сердца, потому что столько милых особ сошлось приветствовать его сердце.

— Сердце, брат, сердцем, — произнес на это, входя в гостиную, с разбитым носом, пан Макитра, — а дело, брат, в том, что наши пани Передериихи обе с недавнего времени невесты!

Пани Передериихи на это вскрикнули: «Ах!» — хотели было бежать, но тут же и остались и взволнованным голосом, по требованию собрания, объявили, что, точно, они невесты и что каждой из них сделано предложение со стороны достойных людей, известных обществу. Хозяин, совладав не без трудностей с сигаркою, которая, при настоящем бессилии языка, решительно мешала ему говорить, пригласил взглядом собрание сесть и спросил у двух переконфуженных дам имя жениха каждой из них... Гул и крики поднялись в гостиной, едва дамы исполнили желание хозяина. Они обе, и в одно и то же время, произнесли требуемые имена, и эти имена у обеих оказались именем фельдшера соседней слободки, который незадолго перед тем гостил в Пельтетепинке и лечил открывшуюся тут болезнь овец... В гостиной прозвучало имя — Ивана, Андреева сына, Напреева.

«Изверг, варвар, душегуб, мерзкий волокита! да его надо отправить туда, где козам рога правят! — кричали гости, намекая на соседний уездный город, место правосудия: — Да чтобы над ним свет не светал и праведное солнце вовеки не всходило!» Пошли толки, соображения и выводы. Но, сколько гости ни толковали, сколько ни соображали и ни выводили, сколько ни утешали Дарью Адамовну с правой стороны и Дарью Адамовну с левой стороны, никто ничего не придумал для поправления печального дела. Один из гостей, именно какой-то заезжий немчик, Густав Густавыч, которого соседние панки звали Остап Остапыч и прозвище которому припечатали Мадаменко, по тому случаю, что он был сын где-то проживавшей гувернантки мадамы, — изъяснил, что надо на него подать жалобу в уездный суд; другой, именно поклонник французского языка, пан Чубченко, с флюсом, почему у него левая щека была в виде огромного яблока, говорил, что жалобы подавать не надо, а надо его оттаскать за виски и взъерепенить ему хорошенько марфутку (этим намекалось на бока фельдшера); остальные, наконец, говорили, что не надо его ни таскать за виски, ни взъерепенивать ему марфутки, а надо съездить к какому-то Силентию Викентьичу Шоколо, который хотя был так себе — Бог с ним! — но все-таки был хороший человек, курил не корешки, а цельный роменский табак и знал уже, как учить таких молодцов, как фельдшер. Посыпались новые догадки и предположения, догадки и предположения смешались, наконец, в неясный гул, и все в этом гуле потонуло, как вдруг в дверях гостиной показалась высокоумная и высокоуважаемая пани, пани Сенклетея Повсекакьевна Дра́тва, которую хозяин позабыл пригласить на свой праздник и которая, между тем, как позабытая на крестинах сказочная фея, сама явилась на этот праздник. Пока Антон Миныч стоял перед нею и, заикаясь, излагал свои извинения, гордая и решительная пани выслушала наскоро рассказ о происшедшей истории и, громко потребовав трубку, уселась на диван, затянулась, как любой гусар, пустила ряд колец, пронизала

эти кольца особою струйкой дыма и, подбоченясь, произнесла:

— А пани Передериихи лучше всего сделают, если сей же час сядут в мою бричку и поедут со мною к этому подлецу!

Собрание единодушно одобрило мысль пани Дра́твы и проводило из окон глазами скрывшуюся в конце слободки бричку... И покатила эта бричка прямо к коварному фельдшеру; но покуда бричка едет к коварному фельдшеру, скажем, кто была пани Дра́тва и кто был сам коварный фельдшер.... Сенклетея Повсекакьевна Дра́тва представляла весьма интересные черты. Она была необыкновенная хозяйка, сама молотила рожь, сама дергала за усы пьяного работника, сама стряпала на кухне и была грозою всей Пельтетепинки. Ее боялись и слушались, как мы, школьники, во время оно, боялись и слушались некоего беглого прусского фельдфебеля, бывшего у нас учителем географии и литературы, — фельдфебеля, откладывавшего из жалованья постоянно часть для платы пени сторожам, лишенным к каждому первому числу нескольких зубов на верхней или на нижней челюсти. Однажды с пани Дра́твой был любопытный случай. Она пригласила к себе исправника, и по этому случаю ее единственный слуга и косарь Микита был взят с поля, одет в суконную куртку и набойчатые шаровары и введен в буфет. «Ну, Микита, — говорила пани Дра́тва, вручая ему огромный поднос с чашками, — вот это тебе чашки! Смотри же, прежде всего подавай исправничихе: она такая полная, и ты, как войдешь, сейчас ее увидишь!» Микита бережно вступил в гостиную, окинул взором полукруг гостей и потерялся, потому что, в двух или трех местах полукруга, увидел одинаково полных паней: пани исправничиху, пани протопопицу и пани винокуршу! Он кашлянул и ступил к протопопице. «Не туда, Микита!» — шепнула с досадою хозяйка, дергая его за пояс. Микита повернулся и потерял присутствие духа; он захлопал глазами и в тумане направился к какому-то невзрачному панычу. «Не туда, Микита!» — шепнула хозяйка,

опять дергая его за пояс. И Микита ступал то вправо, то влево до той поры, а пани Дра́тва, говоря: — «Не туда, Микита! Не сюда, Микита!» — также до той поры дергала его за пояс, что пояс, наконец, развязался, и Микита очутился среди комнаты превращенный, как переодетая в секунду танцовщица в балете. «Вот так, пани матко, — сказал Микита, стоя с подносом среди ошеломленных гостей, — додергались до того, что теперь уже Микита совсем ни туда, ни сюда!» Это происшествие обошло далеко околоток, несмотря на всю любовь к пани Дра́тве. Что касается до фельдшера, то последний был еще замечательнее пани Дра́твы. Он был то, что называют белый араб: с крупными губами и курчавыми русыми волосами. Ходил он тихо, говорил тихо, чихал тихо, смеялся тихо, даже обычные слова: «Как ваше здоровье?» или: «А что, какова теперь погода?» — говорил на ухо и шепотом, точно сообщал какие-нибудь соблазнительные неприличности. Тем не менее, однако, он был большой хитрец и исподтишка иногда достигал осуществления таких планов, о которых не смели подумать и более смелые души...

Когда он был еще в ближнем городке и учился медицине у одного доктора, весельчака, азартного игрока в банк и общего друга и свата, он обыкновенно уходил рано поутру на рынок играть с мясниками в шашки и всегда возвращался домой с бараньим боком, связкою загибенек или филейкою, частью говядины для жаркого. Поселившись на слободке у какой-то троюродной тетки, Напреев сделался любимцем всех соседних маменек. Ему, на масленую, нередко навязывали сюрпризом на ногу деревянную колодку, провозвестницу свадьбы, и заставляли от нее выкупаться... Напреев не выкупался, потому что был страшно скуп и не любил терять даром гривенников и полтинников; колодкам же был очень рад и не упускал случая поволочиться за смазливыми хуторянками. Иногда в кадрили он вдруг говорил своей даме: «Позвольте, сударыня, поцеловать вашу ручку?» На это дама отвечала так: «Ах! как это можно! у вас есть своя!» —

«Своя дело другое, а ваша лучше и может меня осчастливить!» — замечал косвенно фельдшер, намекая на весьма понятный голос сердца, и был, словом, любезнейший и милейший в околотке молодой человек.

Однажды чуть даже не устроил он свадьбы, но дело неожиданно разошлось, и разошлось по весьма странной причине. Невеста Напреева оказалась совершенно чуждою познания многих общественных слов. Приехав однажды к матери невесты и не застав ее дома, Напреев чмокнул невесту в губы и произнес: «Скажите, душечка, мамаше, что я был с визитом!» — «С визитом? — спросила простушка, а время тогда было зимою. — Отчего же вы не попросите его в комнату: еще как бы не замерз!» В другое время, восстановляя здоровье невесты, нарушенное коликою от гречневых блинов с постным маслом, фельдшер сказал: «Кушайте и борщик, душечка, с аппетитом, и уточку кушайте, и вареники кушайте с аппетитом!» — «Да я посылала уже за аппетитом, — отвечала простушка-невеста, — да только его совсем не нашли на базаре!» Напреев закусил губы, ловко отказался от обещанной руки, и, когда аккуратная маменька невесты намекнула ему о долге, о занятых у нее двадцати пяти рублях, Напреев так же ловко составил к ней объяснительное письмо и в конце этого письма заметил: «А что касается, сударыня, до приведенного здесь долга, то я один лишь долг чувствую — именно долг совершенного почтения и преданности, с коими имею честь быть навсегда и вовеки такой-то!» К такому-то коварному человеку подкатила, наконец, бричка с тремя пельтетепинскими дамами. Но к чему описывать, к чему изображать, какое печальное и тягостное окончание имела эта затеянная поездка? К чему это изображать? Краска выступает на лице автора, и если бы он мог очутиться в эту минуту в своей книге, очутиться в виде какой-нибудь буквы среди изображаемых им строчек, он увидел бы, вероятно, краску и на щеках читателя! Секлетея Повсекакьевна вошла к фельдшеру, стала перед обманщиком, держа за руки трепещущие жертвы, и произнесла: «А ну-ка,

голубчик, говори, какая из этих двух дам избрана тобою? Говори! Письма-то ты писал к ним обеим!» Напреев, в положении, которое можно сравнить с положением пуделя, застигнутого в кухне над приготовленными к столу котлетами, стал было запираться, к ужасу обеих жертв; но пани Дра́тва нагнала на него такого холоду, что коварный волокита закрыл лицо руками, опустился к ногам дам и чуть слышным от страха и смущения голосом пролепетал: «Это я, Дарья Адамовна, нарочно... это я не влюблен... это я... боров... я хотел выпросить у вас борова на завод и сказал вам!..» Предоставляю читателю вообразить все негодование и весь ужас пельтетепинских дам, быстро покинувших жилище коварного волокиты, и замечу только, что все недоумение произошло вследствие того, что посланный фельдшера отдал письма, наведенный в ошибку по случаю одинаких имен соседок, не одной, которой они адресовались, а обеим вместе, и что фельдшер, действительно, замыслив выманить у Дарьи Адамовны с левой стороны для завода борова, решился достигнуть этого сердечным путем... Признание фельдшера было в тот же вечер у Антон Миныча Морквы сообщено всему пельтетепинскому обществу, и пельтетепинское общество повело против бессовестного волокиты такие мины, что не прошло и году, как этот волокита покинул ближнюю слободку и, под видом *будущего*, прописанного в подорожной одного проезжего офицера, уехал и с той поры пропал без вести... Соседки скоро успокоились и по-прежнему теперь снова выходят на берег Маминьки; выходят переговариваться, ссорятся и мирятся, мирятся и ссорятся, и служат знаменем дружбы или раздора для двух сторон слободки Пельтетепинки, и служат украшением обеих сторон общества милых и достойных панков слободки Пельтетепинки...

1854 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 8

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
Е. Дятлова

Технический редактор
Н. Привезенцева

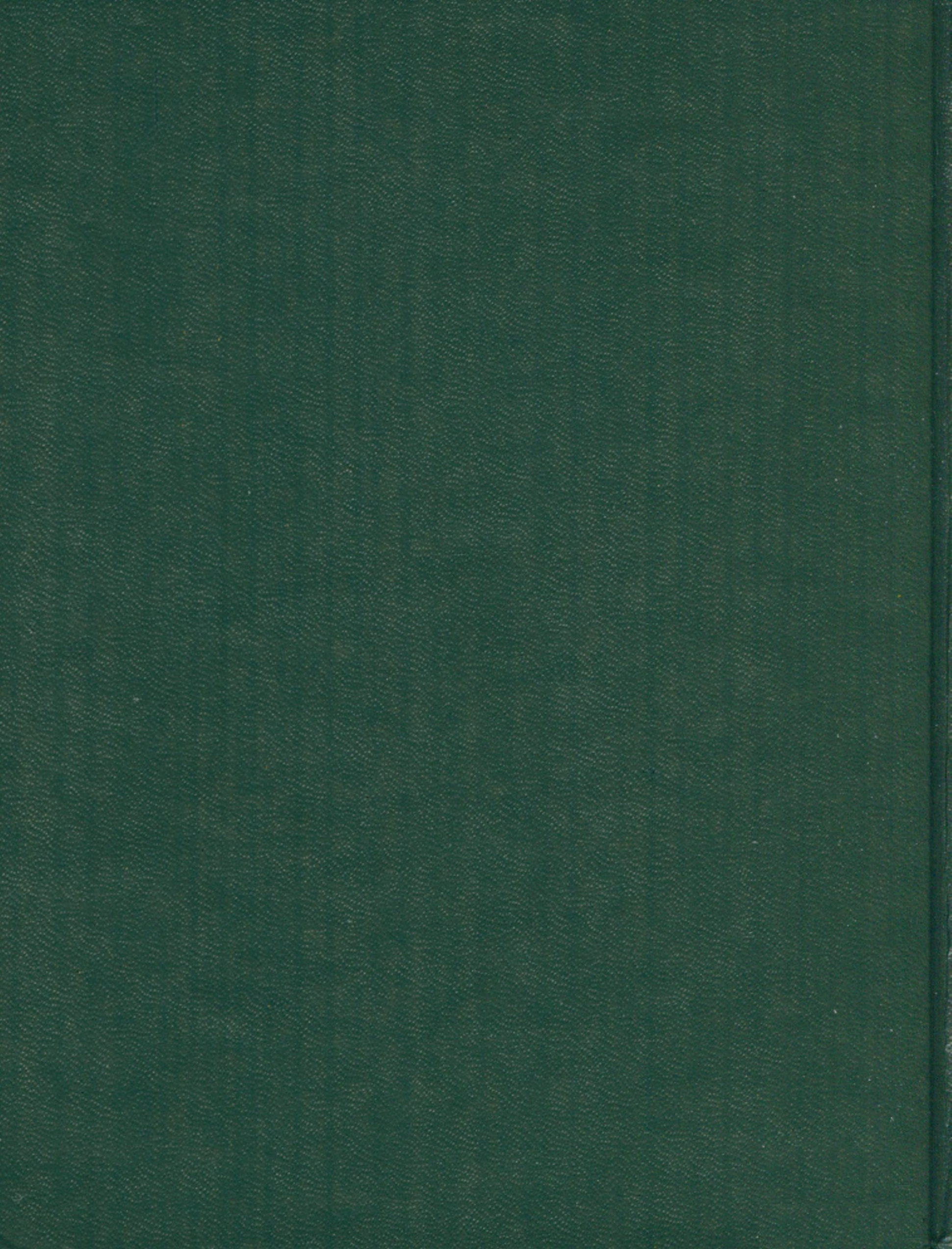
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 29.12.94. Формат 70 Х 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая.Усл. печ. л. 28,0. Уч.-изд. л. 33,77. Тираж 15 000 экз. Заказ 15.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.




Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ